ISSN 0130 – 6545

10. 1988

Иностранная литература

Цветные иллюстрации номера —
работы западногерманского фотохудожника Ханса Зивика
на темы венецианского карнавала масок

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

10 октябрь 1988

Содержание

КАРОЙ САКОНИ — Французская ферма *(Повесть. Перевод с венгерского Е. Малыхиной. Вступление Виктора Астафьева)* 3

АЛЬФРЕДО ВИВАР — Вариации *(Стихи. Вступление и перевод с испанского Сергея Гончаренко)* 42

УМБЕРТО ЭКО — Имя розы *(Роман. Перевод с итальянского Е. Костюкович. Окончание)* 47

УМБЕРТО ЭКО — Заметки на полях «Имени розы» *(Вступление, примечания и перевод с итальянского Е. Костюкович)* 88

ТАДЕУШ БОРОВСКИЙ — Стихи и проза *(Вступление Владимира Британишского. Перевод с польского Зигмунта Левицкого, Владимира Британишского, Е. Лысенко)* 105

Литературное наследие

ЛУ Ю — Стихи *(Перевод с китайского и вступление Мих. Басманова)* 137

Документальная проза

РОБЕР МЕРЛЬ — Солнце встает не для нас *(Роман-репортаж. Вступление Алеся Адамовича. Перевод с французского Ю. Стефанова)* 143

Публицистика

БОРИС АСОЯН — Принципы Додо *(Вступление Аполлона Давидсона)* 180

Критика

Навстречу нашим публикациям

Г. ЧХАРТИШВИЛИ — Мученичество святого Себастьяна, или Завороженный смертью *(Эстетика саморазрушения в творчестве Юкио Мисимы)* 203

ЮКИО МИСИМА — Патриотизм *(Перевод с японского Г. Чхартишвили)* 212

Наши публикации

Мир Хорхе Луиса Борхеса

В. ЗЕМСКОВ — Незрячий провидец 220

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — «Моя жизнь служит литературе» *(Из интервью разных лет. Составление и перевод с испанского Н. Богомоловой)* 223

Заметки писателя

ЯН ПИЛАРЖ — Мы едем в Москву *(Страницы из книги воспоминаний. Вступительное слово и перевод с чешского Светланы Шерлаимовой)* 233

К нашим иллюстрациям

Марина Заславская — «Праздник сладостной печали» 239

Наша почта 240

Из месяца в месяц 242

Авторы этого номера 254

© «Иностранная литература», 1988

КАРОЙ САКОНИ

Французская ферма

ПОВЕСТЬ

Перевод с венгерского Е. МАЛЫХИНОЙ

Зов Родины

«И все же он просуществовал так тринадцать месяцев, превратившись в иссохший скелет с отмороженными конечностями, позабыв, кто он есть, позабыв родину, позабыв весь мир...»

Но он, Йожеф Швец, вспомнит ее, любимую и такую нелюбезную, даже и немилосердную к нему. Родину и родителей не выбирают, и любовь к ней и к ним заложена в человеке от сотворения мира. Но какой высокой ценой оплачивается она, эта любовь, и какой жестокой бывает по отношению к верным детям своим.

Йожеф Швец в семнадцать лет не по своей воле попал в хортистскую армию, где вбито было в его мальчишескую голову то, что вбивалось и вбивается во всех армиях мира: «Критиковать приказы нельзя...»

И он вместе с шестнадцатилетним братом выполнял армейские приказы. Брат-мальчишка погиб, а Йожефу выпала судьба пройти сквозь все муки современного земного ада, устроенного такими же, как он, людьми. Американцы, пленившие венгерские войска, отчего-то, видимо по оккупационному статусу, передают мадьяров во французскую зону, из разговоров, кино, а то и по книжкам они, возможно, знали, какие французы «легкие» характером, образованные и культурные, уж они-то зла людям не сделают. Напластования времени затмили в памяти людей Варфоломеевскую ночь, злодейства, творимые наполеоновской армией в Европе и в России, свалку и резню в Париже во время революции, оставившей на память человечеству «невинную игрушку» под названием «гильотина». Французы из всех исторических переделок как-то умудрились до наших времен доскакать на мужественном мушкетерском рысаке все с тем же отважным и легкомысленным обликом «мусью» — гуляки-весельчака, любителя изящных искусств, безобидного повесы.

Но когда солдат-мадьяров американцы передали французам, то тут и стало им ясно: пленный всюду есть пленный... «Знаешь, что означало быть пленным во Франции? Кому довелось это испытать, тот свое отстрадал, на всю жизнь отмучился».

Но была и есть другая Франция, страна крестьян, вечных тружеников — страна мадам Бертен, ее невестки Амели и маленького Этьена, у которого отец не вернулся с войны.

В мире все может меняться, люди могут стервенеть в казармах, замерзать и гнить в окопах, но кормилец-крестьянин всюду одинаков и всюду одна у него мораль и задача: «рать кормится — крестьянин жнет».

Никогда крестьянин никому не мешал жить на свете, ему же мешали все и за добро его платили и платят черной неблагодарностью.

Волей-неволей заплатил неблагодарностью и Йожеф Швец — старая женщина, ее невестка — вдова Амели, взяли умирающего из лагеря венгерских военнопленных, отмыли, откормили, он стал членом крестьянской семьи, его полюбила молодая вдова, привязался к нему маленький Этьен, мадам Бертен собирается усыновить его и сделать наследником фермы...

Но зов далекой Родины! Он оказывается сильнее привязанности к доброй французской семье, сильнее мук совести, сильнее сердечной боли, сильнее первой любви и привязанности к женщине...

Пересказ — неблагодарное дело. Прочтите эту щемяще-печальную повесть и, кроме всего прочего, поймете, что прошлая война обрекла на великие страдания, нечеловеческие мучения не один наш народ. Она была пагубна для всех, кто был ввергнут в ее бездонную пучину.

Много в современной мировой литературе написано против войны и бесчеловечности ее. Повесть Кароя Сакони — еще одна яркая страница в антивоенной книге, которая писалась и будет писаться до тех пор, пока на земле существует угроза войны.

Виктор АСТАФЬЕВ

Досталась нам та осень... Мы получили повестки в середине ноября, в гарнизон прибыли под проливным дождем, десять дней лило без перерыва, куда ни глянь — хлябь и слякоть, двор казармы — сплошная лужа, все мокрое, прелое: строения, деревья, одежда, сапоги. Серым все помнится: серое небо, серые стены, серые дни. Мы выстроились гуськом под навесом у парикмахерской, курили, сутулясь, ждали своей очереди, чтобы сесть в парикмахерское кресло и встать из него остриженными наголо. Гоготали, оглядывая друг друга. Шапки съезжали на уши. С оттопыренными ушами плелись к себе в казарму, в умывалке смотрелись в зеркало, оглаживали голые черепушки — короткая щетина колко тыкалась в ладонь,— вышучивали друг друга, а на душе, по правде сказать, скребли кошки. Кителя были нам широки, сапоги ерзали на ногах: мы не умели как следует завернуть портянки. А подъемы, уж эти утренние подъемы: поспешные построения, яростные окрики офицеров, резкие команды; подъем на рассвете — на зарядку стано-вись! — бегом на холодный, мокрый от дождя казарменный плац: «при-сесть!», «лечь!», «встать!», «ать-два», колен не жалей, солдат!.. потом «па-а-стройсь!», «шагом'арш!», да с винтовками, а там и с минометами по горам, вверх, вверх, эй, за камень, за камень цепляйся, оружие не бросать, мать твою так, насидишься у меня на гауптвахте!.. Одним словом, как мы тогда выражались, дрючили нас и в хвост и в гриву. А компания собралась самая разношерстная: были сосунки лет семнадцати-восемнадцати — не терпелось им солдатами Михая Фаркаша [1] стать; были ворчуны призывники, клянущие все и вся, были и ребята постарше, призванные вдогон,— упущенный возраст, как говорится. Но и среди «переростков» несколько человек явилось добровольно, двадцатипятилетние добровольцы, старички — эти подались в армию, потому что не знали, чем заняться на гражданке, а здесь вроде как пристанище нашли; да вот хотя бы Луцек из нашего взвода, культурный парень, с залысинами уже, он был главным бухгалтером какой-то фирмы в Задунайщине, да не сошлась у него касса, и счел он за лучшее деру дать: написал заявление, его призвали, сразу почет и уважение, как положено, и кто теперь станет копаться в его делишках. Были рабочие, бухгалтеры, хуторские и деревенские парни, спортсмен-мотоциклист, награжденный золотой медалью (за год до того отхватил свою висюльку в Англии), горлопан с бойни, студент-католик (все молился по вечерам), служащий частной фирмы, баптистский проповедник... кого только не было, прямо иностранный легион. Сидели мы на своих сундучках, разглядывали друг дружку. Ливмя лил дождь, шинели не просыхали, от них несло псиной, как от намокшей собаки. Но порядок соблюдать приходилось. Вечером казарма так и сияла, на подошвах сапог пылинки не сыщешь, нас проверяли — задирали штанины и глядели, не ползают ли внутри по шву «солдатские пушинки», по ободу котелка булавкой скребли — если обнаружат грязь, изволь топать на рапорт, и уж тут меньше чем гауптвахтой не отделаешься. Но конечно, это было в основном уже после присяги, шесть недель спустя — эти шесть недель нас «приобщали»,— ну да мы и спеклись все как один, ничего не скажешь, спеклись основательно. Четыре года всего, как кончилась война, в армии еще бок о бок служили и старая «гарнитура» — офицеры из «Людовики» [2], юташские унтера [3]— и новые кадры; да и на гражданке нажим чувствовался сильный: тогда еще свеж был у всех в па-

---

[1] В описываемое время (1949 г.) — министр обороны Венгрии. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Военная академия («Academia Ludovica») — готовившая кадровых венгерских офицеров при Австро-Венгерской монархии (с середины XIX в.) и при Хорти, отличалась кастовым реакционным духом; просуществовала до 1945 года.

[3] То есть окончившие училище в Юташе для младшего командного состава хортистской армии и жандармерии; «юташский унтер» — в Венгрии понятие нарицательное, символ тупой и грубой силы.

мяти процесс Ласло Райка [1]. Солдаты последнего года службы показывали новичкам место в коридоре, где прежде висел портрет Райка, рассказывали, как сорок суток находились в состоянии полной боевой готовности — походное обмундирование, семьдесят боевых патронов на брата,— ожидая приказа выступить, но в один прекрасный день все улеглось... словом, полк никак не институт благородных девиц, мы и на себе это чувствовали, однако ж привыкли. Да и не о том теперь речь.

Я хочу рассказать о Швеце.

Швец, широколицый крепыш с сиплым голосом, двадцати одного года от роду, попал с нами вместе во вторую комнату. Поначалу и он был как все, разве что сноровистей других: меньше, чем кто-либо, доставлял хлопот старшине и сержантам, был первым на утренней поверке (вскоре уже он проводил утреннюю зарядку в нашем взводе), на строевой подготовке выделялся из всех, по-военному отдавал старшему сержанту рапорт, вещи свои содержал в полном порядке — черт знает как это ловко у него получалось! — наш старшина всякий раз останавливался у его койки.

— Хорошо, Швец! Так и надо,— говорил он.— Эй вы, жалкие штафирки, посмотрите на койку Швеца! Вон какие углы прямые, не койка — кирпич. Ладно, Швец, вы свободны, всем остальным заправить койки сызнова!

Не знаю уж, как так получилось, но мы почему-то не возненавидели Швеца. Может быть, потому, что он никогда не трепал попусту языком, не давал нам почувствовать, что хвалят-то его нам в укор. И в приятели никому особенно не набивался. Исполнял что положено, если похвалят, станет по стойке «смирно», да притом и тянется-то не слишком, ровно столько, сколько положено, негромко скажет: «Служу трудовому народу!» В солдатской лавчонке любителям выпить на дармовщину тоже не поддавался. Возьмет свой стакан, отойдет в сторонку и попивает себе не спеша. Покурит — сигарету он держал всегда между большим и указательным пальцами,— покашляет, потом повернется и уйдет в свою казарму.

В те времена учебные занятия продолжались у нас до трех часов — день начинался с политучебы (мы устраивались в какой-нибудь из солдатских спален на сундучках, каждый старался захватить такое место, где можно незаметно и подремать), потом топали на учебный плац. К трем часам выматывались вконец, возвращались в лагерь смертельно усталые, но, когда подходили к казармам, начальство всякий раз командовало: «Запевай!» — и Швец запевал, хотя никакого особого голоса у него не было; однако офицеры так уж к нему привыкли, что, командуя «запевай!», имели в виду Швеца.

Он никогда ни от кого не получал писем. Как-то после вечерней поверки, когда стали раздавать почту, я спросил его, не ждет ли он письма. Спросил просто так, по-приятельски, но тотчас же пожалел, что спросил. Швец взглянул на меня с недоумением и коротко, странно как-то сказал:

— Письма? А к чему?..

Скоро нас закрутила зима. Снега не было, сыпала только крупа, в долине, где расположился наш лагерь, беспрерывно выл ветер, у нас закоченели уши, но Шолтес, наш ротный, не разрешал ни отворот шапки опустить, ни поднять воротник шинели — извольте, мол, закаляться.

В тот день у нас были занятия по стрельбе из винтовки — в открытом поле, на учебном плацу Б., у самого леса. Ставка была достаточно

[1] Ласло Райк (1909—1949) — выдающийся деятель венгерской коммунистической партии; в 1949 году был оклеветан кликой Ракоши и казнен. В 1955 году реабилитирован.

высока: тот, кто выбьет «тридцатку», то есть трижды угодит в самое яблочко, получит два дня отпуска. Но пока дело дошло до нас, все помыслы об отпуске словно выветрило и мы думали только о том, чтобы поскорей отстреляться: глаза у всех слезились от холода, пальцы одеревенели.

Младший сержант Биро, проводивший занятия, раскладывал на маленьком зеленом столе боеприпасы: по три боевых патрона для «пукалки» образца сорок восьмого года. У нас были русские винтовки с длинным острым штыком. Винтовки хорошие, Биро сказал нам: оружие пристреляно, палит «как по-писаному», так что, кто промажет, пеняй на себя.

Нам выдали вязаные перчатки, но на морозе проку от них было мало, пока пришел наш черед занять место на стрелковой позиции, все мы дули на непослушные пальцы: хоть бы патрон-то вложить в магазин!

(С тех пор миновало ни мало ни много — двадцать лет. Не знаю даже, как мне все это вдруг припомнилось. Должно быть, из-за Швеца. Несколько дней назад я увидел Швеца в окошке городской трамвайной кассы. Он сидел там в синем суконном форменном костюме. Меня не узнал. Да и я узнал его с трудом: оплывшее, измученное лицо — лицо старика.

— Привет, Швец,— сказал я.

Он взглянул на меня. Недружелюбно спросил:

— Мы знакомы?

— Да вроде бы.

— По трамвайному тресту?

— Нет, не по тресту.

— По общежитию, что ли?

— С городка П... еще.

— С П...?! — Он наклонился над столиком кассы, чтобы лучше разглядеть меня из своей клетки. Встреча его не слишком обрадовала.— Второй батальон? Минометчик?

— Ну да.

— Как зовут тебя, позабыл,— проговорил он неохотно.— Что поделываешь?

— Живу. А ты?

— Перевели вот на инвалидность. Был вагоновожатым, да нельзя мне теперь трамваи водить. Пенсионером стал, в сорок-то лет.

— Что, травма?

— Легкие. Отхватили мне одно легкое...

— То есть как?!

Он махнул рукой.

— Это я еще там заработал. В чужих краях.

— А, в плену?

— Ну да, во французском плену. А потом еще через всю ведь Германию пёхом пер, да зимой. Тогда и подцепил... От всех этих мытарств да голодухи... Теперь вот проездные билеты продаю, все к пенсии прибавка, пятьсот форинтов в месяц.)

Мы лежали на стрелковой платформе и целились. Было немыслимо холодно, ветер дул прямо в лицо, нам едва видны были фанерные фигуры за шанцем. Фигуры выскакивали, цель крепилась у них на груди. Три выстрела. Огонь, открыть затвор, вставить патрон — огонь. Наобум, как придется. Я старался целиться, но болело лицо, болели руки, не видать мне, думаю, двухдневного отпуска как своих ушей. Все три раза винтовка при выстреле подскакивала, я знал, пули со свистом пролетают мимо фигурок. Солдат у шанца каждый раз показывал: «молоко».

— Так вас и так,— ругался лейтенант Шолтес, когда ему доложили о результатах.— И это солдаты?!

А у нас уши кололо словно иголками. Мы подобрали гильзы и кое-как построились в стрелковую цепь. Ждали, что будет дальше.

— Фамилия? — остановился Шолтес перед Швецем.

Парень выпрямился, грудь вперед, с обычной своей хрипотцой ответил:

— Рядовой Йожеф Швец!

— Товарищ младший сержант! — пересиливая вой ветра, крикнул Шолтес.— Еще три патрона... Имя, фамилия? Повторите!

— Швец. Рядовой Йожеф Швец.

— Еще три патрона Йожефу Швецу.

Он повернулся к отделению спиной и не торопясь зашагал к стрелковой платформе. Ждал младшего сержанта, который беглым шагом уже нес патроны.

— Ложись! — приказал ротный Швецу. И обернулся к младшему сержанту: — Позвоните в шанец, пусть прикрепят новую цель на четвертую фигуру.

— Сколько попаданий было у Швеца? — спросил Аши.

— Не видел, что ли? — мрачно огрызнулся Липот: он, единственный, попал два раза в девятку и один раз в пятерку.— Не видел? Три десятки. Ну и везуха!

— Огонь! — скомандовал Шолтес.

Мы топтались у времянки на стрельбище и мерзли. Ну что старикан привязался к Швецу? — думал каждый. Была уже половина третьего, все наши мысли кружились вокруг обеда. Уставясь на подбитые гвоздиками подошвы Швецовых сапог, мы слушали: выстрел — хлопок о мишень, выстрел — хлопок, выстрел...

Шолтес смотрел на четвертую куклу в бинокль. Не знаю уж, что он там увидел,— вслух ничего не сказал.

— По возвращении явитесь в полковую канцелярию,— объявил он Швецу.— Построиться на ходу!

— Ну и везет вам! — сказал Швецу младший сержант, проводивший занятия.

— Сколько выбил? — оживленно спросил Аши, пробегая мимо, чтобы стать в строй.

— Ого, приятель! — хлопнул Швеца по спине Деак, сосед его справа.— И эту троечку в самую сердцевину влепил?

Швец не отозвался. Ни словом.

Растянувшись цепочкой, мы как раз ожидали в коридоре обеда, когда из канцелярии вернулся Швец. Он зашел в нашу комнату за котелком и встал в хвост очереди.

— Швец, ступайте вперед,— сказал ему Петьо, старший по комнате.— Ребята, пропустите Швеца, он заслужил.

— Чего там, подойдет и мой черед,— угрюмо буркнул Швец.

— Не возражать! Даже лучший стрелок не вправе возражать старшему по званию!

Швец протопал вперед, подал свой котелок. Дежурный, люто завидуя, положил ему риса с мясом.

— Экий же ты везучий! — осклабился он.

Швец сердито на него покосился. И сразу ушел в комнату. Там он сел на сундучок, поставил котелок на колени и, мрачный, стал нехотя есть.

— Что, или аппетита нет? — жадно спросил Аши. Утроба у него была ненасытная, где что ни останется, он подбирал все.

— Бери.

— Еще бы,— сказал Луцек, бывший бухгалтер,— еще бы, у него теперь только домашняя еда на уме. Сколько дней получил-то?

Швец поглядел на него, но как будто не слышал вопроса. Он встал.

Мы все сидели между койками на сундучках и смотрели на Швеца. До тех пор мы его, в сущности, и не знали. Собственно говоря, двумя словами не перекинулись с ним за все время, подумал я вдруг.

— Ты все же не больно задирай нос! — буркнул Липот.

— Я не задираю нос,— тихо отозвался Швец.— Мне отпуска не дают.

— Не дают?!

— Да ты ж оба раза все три пули всадил в самое яблочко!

— То-то и беда,— сказал Швец с горькой усмешкой.

— Ты что, спятил? — накинулись мы на него.— Обещали же: кто отстреляется лучше всех, того отпустят домой.

— Швец! Встать! Смирно! — приказал старшина Петьо. Мы-то знали, что он просто шутит: нравилось ему изображать этакого живоглота-унтера.— Черт возьми! Если товарищи вас спрашивают, извольте отвечать как положено!

Швец вынул руки из карманов, оттолкнулся от койки. И, повернувшись к нам, своим сиплым голосом глухо проговорил:

— Товарищ лейтенант вызвал меня и спросил, *где* я научился так стрелять.

— И *где* же вы научились?— спросил Петьо.

— Научили,— тихо ответил Швец.

— Папенька, что ли?

— Нет у меня «папеньки»,— по-прежнему тихо сказал Швец.— Помер мой «папенька» в сорок втором. А стрелять обучили в отряде левенте [1]. Сперва и я мазал, но потом уж старался как мог, иначе-то у него, воспитателя нашего, напрыгаешься, бывало, лягушкой вокруг всего футбольного поля...

— Ну и?..— в полной тишине спросил Петьо.

— Однажды и я стрелял...— сказал Швец закипая. Он чуть повысил голос: — В Агфалве [2]. В сорок пятом. Первого апреля, рано на рассвете. Пять часов подряд палили. Мы ведь тогда и не соображали ничего... обделались потому что со страху. И был я тогда семнадцатилетний сопляк, позвольте вам напомнить, почтенные господа!

— И за это тебя не отпускают домой? — спросил Аши с набитым ртом: он доедал обед Швеца.

— Болван,— буркнул Луцек.— Ты прекрасно знаешь, почему его не отпускают.

— Я не знаю,— возразил Аши.

— Тихо! — сказал Петьо.— Продолжайте, Швец.

Швец молчал.

— Чем интересовался товарищ лейтенант?

Швец прислонился к койке. Он тихонько смеялся.

— Сказал, надо проверить мое дело.

— Твое *дело*?

— Я был на Западе. У «ами» и у французов.

— А, черт побери! — воскликнул Петьо.— Не ты один.

— Да, только я умолчал об этом.

— Пахнет жареным,— вздохнул Петьо.

— В каком смысле «пахнет жареным»? — осведомился Аши. Ел теперь уже только он и явно жалел, что приходится кончать со жратвой.

— Сам знаешь.

— Да не знаю, поймите вы!

— Тогда пошел ты к... матери,— раздраженно оборвал его Липот.

— Какого же дьявола ты промолчал про это? — спросил Петьо.— Ведь не по своей воле туда подался... я полагаю.

— Не по своей воле,— кивнул Швец. Он кивал и смотрел на Петьо,

---

[1] Профашистская молодежная организация в хортистской Венгрии, насильственно (особенно во время войны) обучавшая допризывников военному делу.

[2] Селение на границе между Венгрией и Австрией.

смотрел на нас всех.— Но не сказал вот... Не люблю я те времена вспоминать.

Мы сидели притихнув. Липот хмыкнул, усмехнулся:

— «Бдительность!» Швец — вражеский агент...

— Не валяй дурака! — одернул его Луцек.

— А что? Не знакомая, что ли, пластинка?

Под вечер, с пяти до шести, у нас были теоретические занятия. В третьей комнате. Уже смеркалось, посредине комнаты горела шестидесятисвечовая лампочка, двухъярусные койки отбрасывали тени, ефрейтор Ковач объяснял нам артиллерийские таблицы. Мы записывали, пристроив тетрадки на коленях.

— Минометчик должен знать артиллерийские таблицы,— вещал ефрейтор Ковач,— не хуже самих артиллеристов. Но для этого требуется голова на плечах. И даже, я бы сказал, интеллигентность. Это интеллигентная профессия. Считать уметь нужно. Луцек, вы, если не ошибаюсь, были бухгалтером. Не то чтобы я так уж верил, будто бухгалтеры умеют толком считать, но все же позволю себе оказать вам честь, предположив, что вы хоть сколько-нибудь кумекаете в математике. Так или нет?

Но не успел Луцек встать, как отворилась дверь и в комнату вошел майор. Кое-кто из нас знал его, фамилия майора была Зоран, он служил в полковой контрразведке.

— Смирно! — рявкнул ефрейтор.

Зоран махнул рукой — продолжайте, мол. Он остался у двери и, скрестив руки на груди, застыл с отсутствующим видом.

— Итак, хонвед [1] Луцек!

Луцек встал. Несмотря на молодость, он уже начал лысеть, был худ и костляв.

— Расскажите, что мы сейчас изучали.

Луцек постарался связно изложить материал, примеры приводил с логарифмами. Ефрейтор был откровенно рад, что Зоран слышит все это.

Мы же следили за ответом Луцека не слишком внимательно: одним глазом косились на майора — он стоял у двери спокойно, казался дружелюбным и даже стеснительным. Это был смугловатый мужчина, его густые брови вполне сошли бы и за усы. Втянув и без того тонкие губы, он внимательно оглядывал нашу группу из-под опущенных век.

Когда Луцек закончил, ефрейтор Ковач продолжил занятие.

— Прошу прощения,— негромко, вкрадчиво проговорил Зоран,— прошу прощения, товарищ ефрейтор. Мне хотелось бы задать вопрос.

Все разом повернулись к Зорану. Майор опустил скрещенные на груди руки и сделал шаг вперед. Каким-то образом он оказался именно возле Швеца.

— Вопрос принципиальный,— сказал он, слегка улыбаясь.— Что для солдата первее всего... скажем так: что важнее — слепое повиновение приказу или же выполнение приказа согласно велению совести? Какого мнения на сей счет, ну, например...— Он обвел нас взглядом, затем неожиданно кивнул ссутулившемуся возле него Швецу: — Например, вы?

Мы не совсем понимали происходящее, но что-то, должно быть, почувствовали и сидели затихнув, не шевелясь; да и самому ефрейтору Ковачу было словно не по себе, он переступал с ноги на ногу и, сам того не замечая, хрустел сцепленными пальцами. Этот хруст отчетливо слышался в мертвой тишине.

Швец встал. Они с Зораном оказались одного роста и стояли чуть ли не вплотную друг к другу.

— Критиковать приказы нельзя,— хрипло отчеканил Швец.

---

[1] Хонвед (honvéd — *венг.*) — буквально «защитник родины» — принятое в венгерской армии обращение к рядовому.

— Ни при каких обстоятельствах? — спокойно, чуть улыбаясь, спросил майор.

Швец выждал несколько секунд. Я слышал, как тикают часы у меня на руке. Швец кашлянул, прочищая горло, и ответил:

— Ни при каких обстоятельствах.

— Вы простудились или у вас всегда такой голос? — дружелюбно осведомился Зоран.

— Голос такой.

— Итак, критиковать приказы нельзя ни при каких обстоятельствах,— повторил майор вслед за Швецем.— Допустим, однако, солдат получает приказ, который противен его совести. Тогда? Как поступить тогда? — Зоран оглянулся на всех с улыбкой, но ответа ждал от Швеца.— Ай-ай-ай! — протянул он отеческим тоном, видя, что парень молчит.

— С дезертирами расправлялись,— тихо проговорил Швец.

— Что же с ними делали?

— Казнили.

— Гм...— хмыкнул Зоран. И покачал головой. Все еще покачивая головой, он прошелся по комнате, затем вновь улыбнулся Швецу.— На мой вопрос вы не ответили. А тема, между прочим, очень интересная. Зайдите ко мне как-нибудь, я охотно побеседую с вами об этом. Договорились? Завтра и зайдите, в четыре ноль-ноль.— Он остановился перед Ковачем.— Благодарю вас, товарищ ефрейтор! — И пошел к двери.

— Смирно! — громко скомандовал Ковач.

Солдатские наши ботинки грохнули по крашеному полу. Ближайший к двери солдат подскочил, нажал ручку, майор вышел.

На Швеца мы не смотрели. Ефрейтор долго молчал, потом взглянул на часы: он явно тянул время. Когда же заговорил, голос звучал совсем дружески:

— Ну, ребята... артиллерийские таблицы, значит... гм... у кого часы точные? По-моему, семнадцать пятьдесят уже... Так?

— Сорок семь,— сказал кто-то.

— Все равно. На сегодня закончили.

Швец не спал. Опершись на локоть, он рассеянно смотрел на освещенный прожекторами двор казармы. Аши храпел, Луцек, свернувшись клубком и натянув простыню на голову, мирно сопел под одеялом. Петьо отправился в соседнюю деревню, его койка у двери стояла неразобранная. Едва прозвучал отбой, как промерзшие и вымотавшиеся на учебном плацу парни дружно задали храпака.

— Ты чего? — спросил я Швеца. Он лежал на третьей от меня двухъярусной койке, у стены.

— Гм? — отозвался он вопросительно.

— Ты чего, говорю?

Дурацкий вопрос. Швец сел, обхватил руками подтянутые кверху колени и все так же молча смотрел в окно.

— Вот я и дома,— пробормотал он.

— Что-что?

— Ничего.

Я лежал на боку, пока у меня не затекла рука, и все думал, что бы такое сказать ему. Он повернулся от окна и долго смотрел на меня — я видел в его глазах отсветы прожекторов.

— Из нашей деревни всех допризывников угнали. Мы ведь в десяти километрах от австрийской границы жили. Велели снарядиться и повели. Что мне оставалось? Мне ж семнадцать лет было.

— Угу.

— Вас-то не тронули?

— Нас староста отстоял.

— Староста! — сказал Швец.— Плевать он на нас хотел, наш староста. Тебе сколько было?

— Пятнадцать.

— А мне семнадцать. Ночью выстроили нас перед сельской управой. Рюкзак, левентовская шапка. Продовольствия на два дня. В Кёсеге обмундировали, дали оружие...

— Нас тоже угнать грозились. Но потом обошлось — спасибо нашему старосте.

— Под Агфалвой бросили нас в бой. Тут мы и обоср... Пять часов подряд палили куда попало. Там мой братишка младший погиб.

— Младший?

— Сказал же — младший.

— И он с тобой был?

— Ему шестнадцать исполнилось. Вместе шли...

— И он погиб?

— Балда! — Швец уткнулся в колени лбом. И долго сидел так, я не смел его потревожить.— Из пушек по нам палили. Потом все стихло... В полдень уж и похоронили,— добавил он негромко.

— А удрать как-нибудь... не мог?

— Тогда я и сам уже не хотел. Без брата... Исполнял, что приказывали. Но в конце-то концов вернулся домой. Летом сорок седьмого...

— В конце концов все вернулись,— сказал я,— все, кто жив остался.

Швец засмеялся чуть слышно.

— Кто жив остался... Не всяк тот жив, кто двигается. Я тоже вот думал, что живу. Но меня еще посильней подстрелили, чем братана... беднягу. Он хоть со всем этим быстрее покончил.

— Говорят, для кого это все позади, тому хорошо,— нескладно поддержал я его.

— Лучше. Меня вот подстрелили, а потом убежать дали... Хотя... я и таких знаю, кто отряхнулся и — как с гуся вода! Ну а я — меня подсекли! Тогда ведь... Словом, ничего хорошего меня не ждет. Защищаться не умею.

За окном во дворе казармы взвыла машина. Должно быть, вылетел из ворот «випон» с дежурным отделением. На шоссе долго еще не смолкал рев мотора.

— Ты все же не тушуйся!

— Я и не ... тушуюсь. Только не умею я защищаться. Как-то мне сказала одна... ну, женщина одна, в общем, когда я уходил от нее: «Не про меня, видно, счастье». Так и сказала, последние ее слова были. Вот и я говорю: не про меня, видать, счастье...

И вдруг его как прорвало:

— Ну чего им от меня сейчас надо?! Чего, скажи! Ну, сопляк был, забрали меня, увезли. В Агфалве затолкали в «блиц», в Австрии вытолкнули из «блица» — сопляки, мол, и пёхом допрут! Что ж, перли пёхом. Среди телег, танков, автомашин... Спали в разбомбленных городах, сбившись в кучу с беженцами, с солдатами... «А ну, брысь, отсюда, шпана!» — орали нам солдаты, сталкивая с «блица». Люди... старые дурни — ну, те, кто этакое учинили! Почему не придумали как-нибудь так, чтобы не было ее, войны этой? Скоты! И нас бросили, мальчишек... в самую кашу!.. Когда американцы нас захватили, мы все уже были без сапог, от одежки только грязные лохмотья остались. «Ами» нас, правда, одели, по две смены белья выдали, накормили, снабдили презервативами, шоколадом. Ну, думаем, не иначе младенец Иисус народился. Презервативы мы надували и хохотали как бешеные. Но американцам, как видно, были мы ни к чему, и они отпасовали нас французам. Вот тут-то и мы расчухали, поняли: какой там младенец Иисус!.. Пленный... знаешь, что означало быть пленным во Франции? Кому довелось это испытать, тот свое отстрадал, на всю жизнь отмучился. И как еще отстрадал, мать их так...

Марсель.

Швецу смутно помнилось это название, должно быть, его поминали на уроке географии, может, он даже учил про город Марсель, наконец, что-то слышал о «Марсельезе». Но он ничего не знал про этот порт, море, доки, понятия не имел о том, что Марсель — столица департамента Буш-дю-Рон. Вряд ли слыхал он хоть что-нибудь об устье Роны, заводах Марселя, о больших его мыловарнях, университете, колониальных солдатах и уж во всяком случае ведать не ведал о существовании этой гладкой равнины, этих прибрежных песков, от которых отхватили порядочный кус, огородив его колючей проволокой: сюда-то по проложенным на скорую руку рельсам в красных вагонах для скота и прикатил Швец — с несколькими сотнями таких же, как он,— в середине лета.

Пленных охраняли колониальные солдаты, они наблюдали в бинокли со своих сторожевых вышек, по ночам стреляли наобум: стоило им приметить где-нибудь огонек сигареты, как они безжалостно посылали туда очередь. Со Средиземного моря дул ветер, сметая к баракам тонкие кварцевые крупинки дюн, песок скрипел у Швеца на зубах, с пересохшим горлом он сидел на земле, привалясь к дощатой стенке барака, в единственных своих штанах и рубахе цвета хаки — в том, что оставили на нем французы. Всем известен добрый совет: «Путешествуя, багажа берите поменьше!» — что ж, у Швеца его не было вовсе; солдатские башмаки свинцовым грузом оттягивали ноги, он сидел, бессильно уронив руки между колен, просиживал так целые дни, и никому не было до него дела. С моря к лагерю летели птицы. Швец смотрел на птиц, затылком касаясь дощатой стенки барака, он бездумно смотрел в обнаженное небо, видел птиц и от голода бредил: вот птица камнем падает вниз, он хватает ее, свертывает ей шею, ощипывает и съедает, судорожно давясь. Но птицы кружились в высокой синеве, и Швец закрывал глаза. Еще один день, думал он, и я усну мирным сном навеки, меня занесет песком, и никто не узнает, куда же я подевался,— ведь никто, никто не знает о том, что вот сижу я здесь, неведомо где, далеко от родного дома, и скоро умру.

На третий день, когда, озверев от голода, они уже и друг на друга глядели с лютой ненавистью, французский офицер — плоская каска, начищенные сапоги, прекрасно сшитые галифе и красиво облегавший тело китель — объявил им через переводчика, что желающие могут записаться в иностранный легион. Пленные заволновались. «Если останемся здесь, все передохнем»,— послышались голоса. Люди знали уже по опыту, как обращаются с пленными французы. В лагерях погибали сотнями, мерли от голода либо не выдерживали мучений. Швец стал в очередь перед лагерной канцелярией, все толкались, наперебой спешили ухватить счастье за хвост, даже дрались, лишь бы поскорей предстать перед вербовщиками: говорили, что легионерам немедленно выдают обмундирование, продовольствие, тут же оделяют спиртным и сигаретами. Стоя в извивавшейся по двору очереди, Швец ждал и боялся, что не выдержит, упадет. Его не интересовал иностранный легион, ему вообще ни до чего не было дела, кроме надежды получить острое, наперченное мясо, консервированную фасоль, сигареты и немедленно, хоть разок затянуться... Когда очередь дошла до него, уже смеркалось. За столом сидел венгерский фельдфебель с лиловыми погонами — интендант. Швец подивился тому, что у фельдфебеля сохранился мундир, но когда тот встал, оказалось, что штаны на нем парусиновые, а на ногах штатские туфли.

— Имя, фамилия? — спросил фельдфебель.
— Йожеф Швец.
— Какого года?
— Тысяча девятьсот двадцать восьмого.
— Место рождения?
— Чепрег.

— Чепрег? — вскинул голову интендант.

— Так точно, Чепрег.

— И фамилия Швец?

— Я уж сказал. Швец,— нетерпеливо отвечал парень.

Не нравились ему эти расспросы, он очень боялся: вот сейчас что-то помешает, что-то случится, неизвестное и непредвиденное, и его не включат в список. Он уже во рту ощущал вкус мясных консервов и дрожал от одной мысли, что не получит их.

— Как разговариваешь?! — рявкнул фельдфебель.

Швец, испугавшись, как бы и отсюда не пришла беда, покорно выговорил:

— Честь имею доложить, господин фельдфебель,— Швец. Йожеф Швец.

Фельдфебель о чем-то размышлял. У Швеца от волнения потемнело в глазах. Он держался из последних сил, судорожно сжимая кулаки. Интендант смотрел на него испытующе.

— Имя матери?

— Куташ Мария.

— Мария Куташ! Родилась в Коложваре [1]!

— В Коложваре,— испуганно, растерянно подтвердил Швец.

— Маришка! — вскричал фельдфебель.— Так ты Маришки сын?

— Откуда вы знаете мою мать? — сквозь зубы спросил Швец.

— Откуда? Да из Коложвара! В сороковом твоя мать приезжала в Коложвар!

Кровь ударила Швецу в голову. «Грязный негодяй,— билось в мозгу,— подлая, грязная тварь!» В сороковом году мать и вправду ездила в Коложвар навестить младшую сестру. Выходит, тогда-то и стакнулась с этим подонком?!

— Какое вам дело до моей матери? — крикнул Швец.

Фельдфебель засмеялся:

— Тише на поворотах, парень! Я твой дядя.

Он вышел из-за стола и обнял Швеца. Швец пристыженно молчал, отстранялся от родственных объятий: фельдфебель торопливо расспрашивал, что и как с семьей («Я для тебя дядя Пишта, слышишь?»).

— Бедная твоя тетя Анна, если бы она, бедняжка, знала,— все повторял он, но вдруг опомнился: ведь перед бараком еще змеилась длинная очередь.— Слышишь, парень, экая ведь удача, что ко мне ты попал. Уноси-ка отсюда ноги, да поживее! И в голове не держи согласие давать! Иначе заставят подписать контракт на пять лет, отправят в Индокитай, а знаешь ли ты, что это такое? Верная смерть!.. Ох и повезло же тебе, племяш дорогой...

Но Швец сурово прервал его:

— Вы здесь семейных сцен не устраивайте. Впишите-ка мое имя.

— А пинка в зад не хочешь, племяш?! Спятил я, что ли? Да как бы я после этого твоей матери в глаза поглядел! А ну, сгинь, пока не поздно!

Швец не уступал, но «дядя Пишта» силой вытолкнул его из канцелярии.

— Годен? — спросили его из очереди.

Швец отвернулся и сердито сплюнул. Горло сжимали рыдания. Кое-как он дотащился до своего барака, возле нар ничком грохнулся на земляной пол, заревел в голос. Потом изнемог и впал в беспамятство. Несколько часов он, должно быть, проспал, на дворе было уже темно. Растолкал его фельдфебель.

— Заболел?

— Оставьте меня в покое.

— Я тут кое-какое довольствие тебе принес. Припрячь.

Швец разодрал пачку печенья и, давясь, напихал полный рот. Вязкая масса пристала к деснам, к нёбу, в горле першило.

[1] Венгерское название города Клуж-Напока (Румыния).

— Гляди, не скрутило бы тебя,— совсем расчувствовался родственник.

Швец получил еще и консервы, сигареты, бутылку коньяку.

За окном опять взвыл «випон», шофер прогонял мотор, потом все стихло. Дежурная часть вернулась из села.

— Какой, ты сказал, город? — переспросил я.

— Нанси.

— Где это?

— От Марселя порядочно. Везли нас долго. В вагонах для скота. Зачем увезли, не знаю. Может, марсельский лагерь вроде распределительного пункта у них был.

— А Нанси? Где он, говоришь?

— В Лотарингии.

— Ага. Красивое, верно, место.

— Красивое? — Швец хрипло засмеялся.— Чтоб ему провалиться ко всем чертям! В самый распоганый лагерь угодили. Два месяца просидел я в Марселе, а потом — прощай, дядя Пишта и вся снедь, которую он под шумок выкрадывал для меня. Все прощай. Затолкали нас в вагоны, хочешь не хочешь — езжай... В дерьмовый тот лагерь, под Нанси.

— Много работать приходилось?

— Работать? Да нет, ни черта мы там не работали. Да и какие мы были работники. Доходяги. В чем только душа держалась. Совсем доходили там, возле Нанси этого...

Постепенно он позабыл вкус хлеба. На взвод — их разбили на подразделения по армейскому образцу — получали мешок картошки, но в самые неопределенные сроки. Дома Швец весил семьдесят два килограмма, в лагере едва тянул на тридцать восемь. Если удавалось разжиться где-нибудь топливом, картошку варили, но чаще с голодухи налетали сразу и пожирали сырой. Когда настали холода, люди мерли как мухи.

В середине октября щедротами UNRRA[1] им достался американский консервированный кофе. Собственно говоря, этот кофе был их единственной пищей. Вскрывали банку, на воздухе кофе загустевал, становился вроде шоколада. Ложку кофе на котелок воды. И сразу одолевала дрема. Словно в тумане бродил Швец между бараками, видел хмельные сны наяву, слышал странные звучные голоса... в такие мгновения он останавливался, прислушивался, думая, что его зовут — кто-то откуда-то зовет его,— и, спотыкаясь, брел на голос, брел из последних сил. Потом опять консервированный кофе — и одурь сна. Кожа у всех обрела восковую желтизну. В желудке постоянно ощущались спазмы, беспрерывно хотелось мочиться, и все испражнения состояли из воды, воды, воды... одной воды, и только. Жидкая коричневая кашица. Для отхожего места они рыли большие ямы, метров пять-шесть в глубину, за день-другой яма заполнялась доверху. Они сидели на корточках по краю ямы, кружком, гротесковым кольцом, сидели так днем и ночью. Подняться не хватало сил, а кто обессилевал окончательно, в полубеспамятстве валился навзничь в вонючую зыбь. Несчастные вскрикивали — то был последний проблеск инстинкта жизни,— но никто не бросался на помощь, ни у кого не было ни отваги, ни сил протянуть им руку, и, изнемогшие, они тонули в испражнениях. Остальные не дрогнув мочились прямо на них, тонущих или уже утонувших, они вообще ничего больше не чувствовали, ничего человеческого, и, покачиваясь, как призраки бродили в беспамятстве между бараками и отхожим местом.

[1] UNRRA (United Nation's Relief and Rehabilitation Administration, *англ.*) — Администрация Объединенных Наций по вопросам помощи и восстановления в правах.

Поначалу в мозгу у Швеца иногда что-то брезжило: он вдруг осознавал, где находится и что с ним, но несколько месяцев спустя и он утерял всякое представление об окружающем, его движения, поступки стали бессмысленными, тупо, ничего не различая, глядел он на песок, консервированный кофе, на воду и воздух, на выгребные ямы, на охранников, пленных, на французских офицеров и трупы, что баграми вылавливали из выгребных ям. Завшивевший, провонявший насквозь, он стал неузнаваем в своих лохмотьях.

И все же он просуществовал так тринадцать месяцев, превратившись в иссохший скелет с отмороженными конечностями, позабыв, кто он есть, позабыв родину, позабыв весь мир.

Весной сорок шестого года Швецу припомнилось вдруг, что в эту пору он родился на свет. Но сколько ему исполнилось лет, сосчитать не мог. Время смешалось в его голове. Он не знал, с каких пор видит перед собой колючую проволоку, с каких пор маячат перед ним каски французских офицеров и ел ли он когда-нибудь хоть что-то кроме сырой картошки, консервированного кофе, травы.

Ему исполнилось тогда восемнадцать лет, и было это год спустя после войны, недалеко от Нанси.

В мае начальник лагеря объявил пленным, что разрешит добровольцам наняться к крестьянам в работники. Швец слов начальника не понял. Он был в черных холщовых штанах и грязной-прегрязной майке. Он придерживал у пупка то и дело сползавшие штаны и не понимал, что говорит им начальник.

Стоявший рядом пленный стал лихорадочно втолковывать Швецу:

— У крестьян хоть поедим! Поедим...

Швец кивнул. Он тоже стал в строй и ждал — вдруг к нему подойдут. Женщины опасливо, издали их рассматривали. Они ходили вдоль строя взад и вперед, конвойные сопровождали их неотступно. Женщины двигались медленно, затаив дыхание, стиснув на груди руки. Наконец какая-нибудь указывала пальцем, и тот, на кого указали, был спасен.

— Как-как? — переспросил я Швеца шепотом: кто-то заворочался вдруг на своей койке, и я испугался, что это мы разбудили его.— Как, ты сказал, звали ту женщину?

— Старшую? Мадам Бертен. Мне объяснили, что я должен называть ее мадам Бертен. Она была старая, лет семидесяти. Другую Амели звали. Она тоже была там, позади старухи стояла, но все молчком. Приехали они на бричке, лошадьми правила молодая. Обе женщины сели впереди, на облучок, меня уложили на заднем сиденье. Сколько мы ехали, не знаю. Выбрались из города, переехали через мост... потом я заснул...

Лошади рысцой одолели Мозельский мост и затрусили по направлению к Вердену. Мадам Бертен иногда оглядывалась на паренька, но Амели смотрела только на дорогу; держа в руках вожжи, она изредка кнутом доставала лошадей. Мелькали усыпанные желтыми и белыми цветами кусты, из свежей зелени всходов взвивались ввысь жаворонки. Сквозь опущенные ресницы Швец видел ширь полей, придорожные шелковицы, узкую спину старухи, крепкие бедра молодой женщины, но мерные колыхания брички укачивали его, уводили в сон. По временам колеса вдруг начинали грохотать по булыжной мостовой, стеклянно звякали копыта лошадей. Швец видел красные черепичные крыши, замшелый камень оград, печные трубы, убегавшие назад железные ворота. Потом колеса опять мягко катили по грунтовой дороге, опять мимо проплывали деревья, посевы, виднелись горы вдали. Откуда-то вылетела голубиная стая, она быстро приближалась к бричке. Фыркали лошади. Был теплый май, солнце, мир.

Свернули на проселок, пересекавший поле; солнце уже клонилось к западу, густо рассыпая медвяного цвета лучи. Бричка вкатилась на обнесенную каменной оградой ферму, навстречу с веселым лаем бросилась собака, раздался ликующий детский крик: «Les voilà! Les voilà!» [1]. Швец с усилием приподнялся на заднем сиденье. Амели обогнула передний двухэтажный дом, за ним, в дальнем конце двора, оказались еще две постройки, одна поменьше, другая побольше: в первой были птичник и свинарник, половину второй занимал хлев, другую половину — сарай и амбар; огромные, до самой кровли, дощатые ворота были крест-накрест обиты железом. Возле колодца копошилось несколько кур, подальше, по обсаженной деревьями дороге, что вела в поле, шли вперевалку гусыни, предводительствуемые распустившим крылья гусаком.

Не дожидаясь, пока женщины сойдут с брички, мальчик вскочил на подножку и с откровенным любопытством уставился на вновь прибывшего. Старушка подтолкнула его легонько в спину. «Étienne! Étienne! [2]» — сказала она с укором и дружелюбно оглянулась на Швеца, словно поясняя: малышу не прикажешь! Этьен, вне себя от возбуждения, вцепился ручонками в собаку, собака оглядывалась на него, играя, хватала малыша за запястья, но при этом ворчала, недоверчиво принюхиваясь к Швецу. Амели закрутила вожжи за фонарь у облучка и, обходя бричку, что-то сказала сыну.

— Descendez, s'il vous plaît! [3] — впервые обратилась она к Швецу.

Швец постарался улыбнуться, он не понял ее. Правда, за минувший год он выучил несколько французских слов, но сейчас его мозг был не в силах трудиться. Обе женщины помогли ему спуститься с брички.

— Nous voilà!..— ласково сказала старшая.— Soyez le bienvenu! [4]

— Soyez le bienvenu... monsieur [5],— тихо повторила за ней Амели.

Швец стоял между ними. Мальчуган оставил собаку и ухватился за материнскую юбку. Было тихо. Гуси, гогоча, подошли к колодцу, смутив покой копошившихся там кур. Дворняжка бросилась к ним. У Швеца задергались губы. Он старался удержать слезы, но они, непрошеные, хлынули из глаз. Все сразу размылось, затуманилось — красный дом с жалюзи на окнах, худощавое лицо старой хозяйки, стройная фигура Амели. Швец не видел, но чувствовал, что его берут за руку и бережно ведут в дом.

Покуда Амели выпрягала лошадей, мадам Бертен занялась хворостом, что приготовлен был на кухне в углу. Печь, сложенная из кирпича, медный котел для нагрева воды, с маленьким краном внизу, каменные плиты кухонного пола, коричневые стулья напомнили Швецу их кухню в Чепреге... Светловолосый темноглазый Этьен наблюдал за незнакомцем, привалясь к дверному косяку; малышу явно нелегко было сдержать себя и не накинуться на него с вопросами. Швец смотрел на мальчугана, на склонившуюся к челу печки мадам Бертен, ощущал горьковатый дымок горящего хвороста и, сидя посреди кухни в полубессознательном состоянии, словно ждал, что вот сейчас придет с поля отец, поставит в угол палку, заостренную на конце, и скажет: «Ох, и проголодался я, Маришка!»

Вошла Амели, ополоснула руки в фаянсовом умывальнике под зеркалом, торопливо поправила чуть-чуть распустившийся узел волос, потом присела на скамеечку, расшнуровала высокие черные ботинки. Чулки на ней были черные; она что-то сказала Этьену, и он послушно достал из-под лавки, на которой стояли ведра с водой, суконные до-

---

[1] Приехали! Приехали! *(франц.)*
[2] Этьен, Этьен! *(франц.)*
[3] Сойдите, пожалуйста *(франц.)*.
[4] Вот мы и дома!.. Добро пожаловать! *(франц.)*
[5] Добро пожаловать... мсье *(франц.)*.

машние туфли. Потом Амели и мадам Бертен долго о чем-то совещались, дружелюбно улыбаясь при этом Швецу; наконец старушка взялась растолковать Швецу, каковы их планы относительно него. Она говорила громко и медленно, но Швец разобрал лишь несколько слов. Мадам Бертен всплескивала руками и смеялась, Амели улыбалась молча. Тогда мадам Бертен, чтобы Швец все-таки понял, что они намерены с ним делать, проговорила раздельно:

— Se déshabiller... Se laver et manger... Se laver, se laver, se laver... c'est bien? [1]

— Bien, bien [2],— закивал Швец, он понял: они хотят, чтобы он искупался, потом можно будет поесть.

С помощью Этьена Амели притащила из чулана большое корыто; его поставили возле плиты, налили туда воды. Принесли мыло, щетку, ножницы. Этьен присел на корточки и возбужденно, то и дело заливисто смеясь, ждал, когда начнут купать чужеземца, однако Амели беспощадно выставила его во двор. Поупрямившись, мальчик с большой неохотой повиновался. Мадам Бертен знаками показала Швецу, чтобы он разделся и сел в корыто. Швец растерянно моргал, но обе женщины, засучив рукава, уже ждали его возле корыта с водой; ему ничего не оставалось, как сбросить башмаки, стянуть с себя майку — это так его измотало, что пришлось ухватиться за спинку стула, чтобы не упасть; увидев, как дрожат у него икры, женщины подхватили его с двух сторон, легко приподняли и усадили в теплую воду. Бог знает, как давно он не мылся, им пришлось основательно потереть его, намыливая вновь и вновь; кожа от мочалки горела, но прикосновение теплой воды и ласковых женских рук было приятно, Швец лишь постанывал чуть слышно. Мадам Бертен, тяжело дыша от усилий, что-то ободряюще ему говорила, Швец иногда кивал ей, но не понимал ни слова. Старушка почистила ему щеткой ногти, Амели, как могла, ножницами подстригла волосы; потом намылили голову — он почувствовал, как массируют кожу головы легкие, но энергичные женские пальцы; наконец его ополоснули из жестяной бадейки чистой водой, подняли и завернули в груботканую простыню. Швец ощущал себя легким как перышко, никогда еще он не казался себе таким невесомым. Он сидел обессиленный, позволяя растирать себя досуха. Амели, присев на корточки, вытерла ему ноги, затем надела на них кожаные мужские шлепанцы, Швеца обрядили в белую рубаху (его костлявые плечи едва не продырявили полотно) и рабочие, по-видимому, штаны. Штаны оказались широки, но по длине в самый раз. Нашелся и пояс, только даже последняя дырочка для Швеца не подходила. Амели хотела было провертеть концом ножниц новую дырку, но мадам Бертен не позволила и просто завязала на Швеце пояс узлом.

Когда все было готово, женщины отступили немного назад, с детской радостью разглядывая дело своих рук. Несмотря на большую разницу в возрасте, они, как видно, хорошо понимали друг друга. В стекло кухонной двери постучался Этьен, его впустили. Мадам Бертен вернулась к плите, Амели стала накрывать, ставить на струганый, чисто выскобленный стол тарелки, стаканы, раскладывала приборы. Швеца посадили во главе стола. Вместе со всеми сел и Этьен. Положив на кулачки подбородок, он испытующе разглядывал незнакомца. Швец от купания разомлел, кружилась от голода голова; почуяв запах вареной картошки, масла и кипяченого молока, он закрыл глаза и слегка откинулся назад, боясь потерять сознание от нетерпения. Мадам Бертен, Амели и ребенок сидели напротив него, по другую сторону стола.

— S'il vous plaît,[3]— ободрила его старая хозяйка.

— Il y a des pommes,— воскликнул Этьен, которому давно не тер-

[1] Раздеться... помыться и поесть... Мыться, мыться... хорошо? *(франц.)*
[2] Хорошо, хорошо *(франц.)*.
[3] Пожалуйста! *(франц.)*.

пелось вставить словечко. Он пояснил: — Des pommes de terre au naturel [1].

— Etienne! — одернула его мадам Бертен и пододвинула к Швецу глиняную миску.

— S'il vous plaît! — взволнованно, ласково сказала и Амели.

Они ждали. Швецу вспомнился совет начальника лагеря: кто хочет жив остаться, после долгой голодовки не накидывайся на еду... Он взял вилку, чтобы положить себе на тарелку одну картофелину. Но вилка вдруг, звякнув, упала в миску, Швец бессильно уронил руку на стол. Те трое, потрясенные, молча ждали. Швец их не видел, он ощущал только запахи, язык прилип к десне, он тяжело дышал. Медленно, с огромным усилием он поднял руку, зацепил указательным пальцем край миски и подтянул ее к себе. Потом наклонился над ней — и потерял над собою власть: уткнувшись лицом в миску, он пожирал, пожирал картошку вместе с кожурой. Швец хватал ее прямо ртом, приостанавливаясь лишь затем, чтоб проглотить рассыпчатую теплую массу, картошка комом застревала в горле, он хватал кувшин с молоком, жадно пил... потом стал запихивать картошку в рот обеими руками и снова пил, пил молоко... И наконец поднял голову. Широко раскрытыми глазами Швец смотрел на двух женщин и ребенка, только сейчас осознав, что он не один. Этьен сидел молча, все в той же позе, упершись подбородком в кулаки, мадам Бертен и Амели беззвучно плакали. Сидели напряженные, прямые и плакали.

Швец откинулся на спинку стула. У него смешно выпячивался живот. Тоненькая палочка — тело, а посредине — бочонок.

— Mon Dieu! — вздыхала старушка в конце стола. Сцепив пальцы, она прижимала руки ко лбу и тихо всхлипывала.— Mon Dieu! Mon enfant! Oh, mon pauvre fils! [2]

Амели, опустив голову, рыдала.

Швец хотел им сказать что-нибудь, но в голову не шло ни одного слова, какое было бы к месту.

— Спасибо,— сказал он по-венгерски.— Спасибо. Спасибо вам...

— Que dit-il? [3] — оживился Этьен.

Амели потянулась к сыну, прижала белокурую головку к груди. Женщины еще повсхлипывали, потом высморкались в платок, стало тихо. Вероятно почувствовав, как сиротливо сейчас Швецу, они старались улыбаться ему сквозь слезы и усиленно кивали.

— Quel est votre nom? [4] — спросил Этьен. Его блестящие глазенки выражали живейший интерес.

Швец смотрел на него, изо всех сил стараясь понять, но не разобрал ни слова.

— Quel est votre nom? — громче повторил Этьен.

— Non, non [5],— улыбаясь проговорил Швец и пожал плечами.

Амели наклонилась над столом.

— Moi... mon nom est Amélie. Amélie. Hein? [6]

— О, понимаю,— воскликнул Швец.— Тебя зовут Амели.

— Etienne,—указала молодая женщина на мальчика,—mon enfant... mon fils... Et le chef de la famille... la grand' mère.— Она потянулась к мадам Бертен и погладила ее по руке.— Oh, chère grand'mère! [7]

— Et quel est votre nom? [8]— спросила теперь мадам Бертен.

Он кивнул в знак того, что понял ее. И сказал:

— Швец... Швец Йожеф.— Ответил так, как отвечал в лагере.

---

[1] Картошка... Картошка в мундире *(франц.)*.

[2] Господи!.. Господи! Дитя мое! Бедный сыночек! *(франц.)*.

[3] Что он сказал? *(франц.)*

[4] Как ваше имя? *(франц.)*

[5] Нет, нет *(франц.)*.

[6] Меня... мое имя Амели. Амели. Ну же? *(франц.)*

[7] Этьен... мой мальчик... сын... И глава семьи... бабушка... О, дорогая бабушка! *(франц.)*

[8] А ваше имя? *(франц.)*

— Швец,— повторила за ним мадам Бертен.

— Швец,— тихо выговорила Амели.

И Этьен вслед за ними:

— Швец...

С тех пор они так и называли его: Швец. Думали, это имя.

— C'est bien, Chwetz...— проговорила мадам Бертен и поднялась из-за стола.— Il fait tard [1]...

Амели проводила Швеца в его комнату. На второй этаж вела деревянная лестница. Оклеенные обоями стены украшали гравюры с изображением старинных французских городов. Комната, отведенная ему мадам Бертен, была довольно просторна, в углу стояла медная, аккуратно застеленная кровать, возле нее умывальный стояк с фаянсовым тазом и большой кувшин с водой. Простенок между двумя окнами занимал старомодный шкаф, ковра на полу не было, только у кровати — потертая баранья шкура. Еще был столик, около него стул, на столе — керосиновая лампа.

Амели молча и чуть-чуть торжественно указала ему поочередно на каждый предмет в комнате. Она не произнесла ни словечка и казалась сейчас более скованной, чем была внизу. Каждой вещи она коснулась рукой, взглядывая при этом на Швеца, потом повернулась, задернула занавески на окнах и вышла.

Швец разделся и утонул в чистой, сладко пахнувшей свежим бельем постели; он потерся лицом о подушку, укрылся периной до самого носа, потянулся; хотелось как можно полнее ощутить счастье лежать на чистой постели, но не успел он опустить ладони на розовое, в полоску полотно, как сон сморил его.

Он не знал, долго ли спал — проснулся же от кошмара: его гнали вверх, на какой-то холм, забрасывая камнями, камни то и дело попадали в грудь, в поясницу, Швец хотел крикнуть, но голос застрял в горле, и вот он уже катился вниз, в бездонное какое-то ущелье, потом его опять гнали в гору, а там настигли солдаты, что-то орали ему в самое ухо и штыками кололи в живот.

Глаза как-то сами открылись: вокруг была тьма, Швец позабыл, где он, искал рукой край деревянных нар, занозистые сосновые доски, но вместо них ощутил под пальцами что-то гладкое — прохладное, гладкое полотно! Он прислушался, но вдруг — ножевой удар, удар штыка! — мучительная боль свела желудок. Обливаясь потом, он прислушался к этой боли, вскрикнул, рывком лег на бок, но боль не проходила; он крутанулся сильно, сел, потом опять навзничь распростерся на кровати — виски сжимало словно обручем. Во время короткой паузы между спазмами он вдруг пришел в себя, в сознании промелькнуло: обожрался! Я умру, подумал испуганно, я же умру! О господи, я умру! Вот сейчас умру... Он не представлял, что ему делать, подняться не было сил, да и не знал он, где искать хозяек, понятия не имел, день сейчас или ночь. И вдруг его охватила ярость. Нет! Сейчас мне нельзя помереть! Теперь-то уж нет, ни за что! Проклятая, подлая картошка! Так я же тебя задавлю сейчас!

Он перевернулся на кровати, лег ничком и с искаженным мукой лицом терпел боль, со всей силой вжимая живот в матрац: ох, только бы вмять, размять желудок, заклинал он себя в туманном полусне. Наконец усталость победила жгучую боль — он уснул.

На другой день — или когда это было? — он проснулся с ощущением голода. Сквозь занавески просеивался свет, должно быть, день стоял на дворе. Швец поднялся, сел на край кровати и стал разглядывать комнату. Она была ему вроде бы знакома, но в то же время и незнакома, он только сейчас увидел здесь все — чистый пол, обои, медные шарики на кровати.

Кто они?— думал он, одеваясь и затягивая узлом на животе слишком широкий для него пояс. Кто они, эти люди, которые при-

[1] Ну ладно, Швец... Уже поздно... *(франц.)*

няли его, искупали, накормили? А знают ли они, что работать он не может, что у него нет сил? Или не знают? И что сделают, когда поймут? Вышвырнут? Прогонят?

Его тревога была напрасной. Мадам Бертен пока и слышать не хотела, чтобы Швец делал что бы то ни было, кроме как отдыхал, регулярно питался и набирался сил. Теплое молоко с двумя вбитыми в стакан яичками — поначалу он получал только это. Его обломанные, потрескавшиеся ногти заблестели, ребра уже не выпирали, и сам он не напоминал скелет. Он мог без дела сидеть перед домом или пойти гулять с Этьеном, мальчик показывал ему ферму, прилегающие к ней земли. Потом они лежали на траве где-нибудь возле овсяного поля; мальчугану нравилось обучать Швеца, он старательно выговаривал слова, и Швец с готовностью повторял за ним: «Ciel... l'air... la terre... pigeon...» — а потом заставлял Этьена повторять то же самое по-венгерски: «Небо... воздух... земля... голубь...» — и смеялся над неловким произношением малыша так же весело, как тот только что веселился, слушая его.

Амели звала их обедать — она выходила за угол дома, козырьком приставляла ладонь к глазам; когда они показывались на ведущей к дому аллее, она радостно улыбалась и шла им навстречу; Швец вел ребенка за руку, издали приветственно махал Амели; она приседала перед Этьеном на корточки, что-то говорила ему, поглядывая между тем на Швеца; последнее время, когда парень понемногу становился похож на себя, прежнего, Амели всякий раз вспыхивала, встречаясь с ним взглядом.

Мадам Бертен подсовывала ему самые лакомые кусочки и не скрывала радости от того, что Швец набирается сил, лицо его округляется, движения становятся сильными, по-мужски решительными. Но она по-прежнему не пускала его в поле, за поденщиками присматривала сама или посылала Амели (держать постоянного работника они не могли, мужчин было мало, а кто соглашался наняться, запрашивал слишком дорого). В конце концов Швец сам стал искать себе дела, то ладил что-нибудь в хлеву, то старался перехватить работу из рук мадам Бертен или Амели. По воскресеньям ходили в церковь: шли в ближнюю деревню пешком; на главной площади Швец встречался иногда с товарищами по лагерю, многие жаловались, что с рассвета и до позднего вечера не разгибают спины, а спят в сарае; Швеца так и подмывало похвастаться, однако он проглатывал готовые сорваться слова, предпочитая утаить, как с ним обходятся,— повздыхает, пробормочет что-то невразумительное да и уйдет к своим.

Однажды, увидев, как он шагает слева от Амели, бывшие сотоварищи присвистнули, крикнули вдогонку: «А ты чертовски ловко устроился, приятель!» Конечно, Амели слов не поняла, но взгляды мужчин смутили ее, она ускорила шаг; Швец, сконфуженный, следовал за ней; он, правда, и загордился немного, поняв, что́ про него думают, однако же покраснел: ведь он был еще совсем несмышленыш в любовных делах. И на всякий случай лишь тогда взял тянувшуюся к нему ручонку Этьена, когда компания уже не могла их видеть. В тот день они шли домой быстро и всю дорогу молчали (мадам Бертен ходила к утренней мессе и теперь стряпала дома обед); Амели, понурясь, молча переживала смутившую ее сцену, а Швец, приотстав, смотрел на ее бедра, на пушистые завитки волос на длинной шее, просвечивавшие сквозь накидку из черного тюля. За обедом они сидели друг против друга; в иное время Амели и мадам Бертен наперебой развлекали Швеца; едва понимая друг друга, они все же беседовали, женщины расспрашивали его о жизни дома, весело смеялись его привычкам (тому, например, что он каждый третий кусок запивает глотком кисловатого красного вина) — на этот же раз Амели подчеркнуто занималась только Этьеном, выбирала из его тарелки кости, добавляла к мясу соус и всячески избегала взглядов Швеца. Швец тоже делал вид, будто

занят едой, на самом же деле из-под ресниц неотступно глядел на Амели; воскресное шелковое платье позволяло видеть очертания ее плеч, ее трепещущие груди, в вырезе угадывалась и ложбинка между грудями; Швец позавидовал вдруг Этьену, которому можно было коснуться обнаженной руки матери; как хотелось ему, чтобы Амели взглянула на него своими карими, чуть широковато расставленными глазами или, как прежде бывало, изогнула в улыбке резко очерченные креольские губы. Но напрасны были его ожидания, напрасно и мадам Бертен старалась завести обычный непринужденный разговор: молодые — Амели и Швец — рассеянно копались вилками в своих тарелках. Заметив это, старушка — знавшая, вероятно, и по собственному опыту, что сие означает,— стала над ними подшучивать, по крайней мере так казалось Швецу по интонациям мадам Бертен и все возраставшему замешательству Амели. Внезапно старушка помрачнела, перестала есть и, сложив руки на коленях, умолкла, застыла. В этот момент Этьен уронил вилку, и Амели — ни с того ни с сего — на него накричала. Ребенок надулся, закапризничал, мать раздраженно его отчитала и так распалилась, что стукнула рукой по столу и, резко отодвинув стул, выбежала из кухни.

Швец с виноватым видом кое-как справился с обедом. Мадам Бертен не удивилась разыгравшейся сцене, она спокойно дождалась, когда все доедят, собрала тарелки и отослала Этьена играть. Швец поднялся в свою комнату, однако какое-то смутное беспокойство не позволило ему прилечь отдохнуть. Поведение молодой женщины взбудоражило его, он вдруг почувствовал, что непременно должен ее увидеть; прежде чем спуститься во двор и поискать Амели, он смочил волосы водой и долго неловко причесывался перед зеркалом, ощущая, как бешено колотится сердце.

Внизу он Амели не нашел. Все больше нервничая, Швец обходил усадьбу. Стоял летний воскресный день, тот час, когда мадам Бертен обычно уходила к себе, чтобы подремать, прикрыв лицо толстым воскресным номером местной газеты. Швец боялся, что не найдет Амели, но еще больше боялся ее найти; он опасался, что неверно толкует ситуацию и у Амели даже в мыслях нет, будто нынче «что-то случилось». Да и сами эти бесплодные поиски мало-помалу отрезвили Швеца, он уже не так страстно жаждал быть с Амели. И вдруг у дальнего конца дома Швец наткнулся на мадам Бертен. Он этого не ожидал — и даже вздрогнул, словно воришка, застигнутый на месте преступления. Мадам Бертен сидела в холодке на скамеечке и чистила яблоки. Она знаком показала Швецу место рядом с собой. Швец сел. Жужжали налетевшие на сладкий яблочный дух шмели, кожура, завиваясь, стекала из-под рук старой крестьянки на усеянную щебнем землю. Старушка протянула дольку яблока Швецу, другую положила в свой беззубый рот и скорей сосала ее, нежели грызла. Парень уныло жевал яблоко.

— Швец,— проговорила мадам Бертен, не подымая головы с заплетенными в косичку седыми реденькими волосами.—Dites-moi... dites-moi, Chwetz... Est-elle belle, Amélie? Est-elle jolie? [1]

Швец молчал. Он понял мадам Бертен, но молчал. Мадам Бертен продолжала все так же тихо:

— L'aimez-vous, Chwetz, aimez-vous Amélie? Je le vois. Nous aussi nous t'aimons bien, oui. Moi, Etienne et Amélie. Oui... Oui, Chwetz [2]...

Она вытерла о передник нож, положила его рядом с собой на щебенку. Швец сидел опустив голову, стараясь разобрать негромкую медленную речь мадам Бертен.

— Этот хутор может стать твоим. Все, что здесь есть. Мой сын...

---

[1] Скажите... Скажите мне, Швец... Ведь Амели красивая? Правда же, она хороша? *(франц.)*

[2] Вы любите Амели, Швец, вы любите ее? Я ведь вижу. И мы тебя любим, правда. Я, Этьен, Амели. Да... Да, Швец... *(франц.)*

моего сына убили немцы. Забрали на войну, убили. Амели и внучек теперь одни. Я уже старуха, скоро уберусь, мое место на кладбище... Люби их... Отчего вам не полюбить друг дружку... Ты славный парень, Швец... Вот и Теодор был точно такой... Теодор, мой сынок. Такого же роста... и ласковый. Ты погляди на Этьена, он в отца пошел. Только глаза материны. Большие глаза, карие. А вот нос, губы, ты присмотрись... Я старая... но так хотелось бы, чтобы у меня опять был сын. А Амели молодая. Негоже ей одной оставаться с ребенком... Вы хорошо заживете. Bien... toujours bien. J'y veillerai...[1] Все это может стать твоим.

Договорив, мадам Бертен не стала ждать ответа, даже не взглянула на него, просто встала, и Швец понял, что должен следовать за ней. Старая крестьянка, по-видимому, и не сомневалась в этом — войдя в дом, она даже не прикрыла за собой дверь и в свою комнату тоже оставила дверь открытой; здесь она остановилась и указала на стену:

— Théo... mon fils [2].

Швец еще ни разу не входил в комнату мадам Бертен. Здесь было сумрачно, по обе стороны от двери стену закрывали тяжелые резные шкафы, у противоположной стены стояла высоко застеленная кровать, над кроватью висела фотография, портрет незнакомого мужчины, улыбчивое лицо лотарингского парня. Мадам Бертен знаком велела Швецу подойти ближе. Он потерянно стоял перед портретом — нужно было что-то сказать, но у него перехватило горло. Он подумал о матери, о погибшем брате, о сгинувшем на Дону отце... кусая губы, расширившимися глазами смотрел он на творение провинциального фотографа, на рамку орехового дерева — ему было страшно. Страх гулко бился в груди. Под шагами мадам Бертен заскрипел пол, старушка позвала Швеца за собой, повела в комнату Амели. Здесь тоже все было чужое, чужая сдвоенная кровать, чужое, ржавого цвета тяжелое покрывало, наброшенное на обе кровати сразу, обеденный стол, фарфоровая керосиновая люстра, зеркало и туалетный столик, заставленный флаконами, щетками, диван Этьена, фотографии: Теодор и Амели — она стоит, склонив голову мужу на плечо; затем фотокарточки поменьше — напряженно выпрямившись, они сидят вдвоем возле дома; Теодор с Этьеном у молотилки; Амели в подвенечном платье... Мадам Бертен открыла один шкаф, Швецу ударил в нос запах нафталина; на плечиках — мужские костюмы, на полках — рубашки, шляпы, внизу — туфли, пара сапог... Швец понял, что все это время носил вещи Теодора, содрогнулся и, устыдясь себя, попятился от фотографий, ему казалось, этот чужой мужчина смотрит на него с ненавистью. Мадам Бертен с волнением, по-матерински заботливо перебирала одежду сына, вынула один костюм, поднесла к Швецу, показывая: как раз его размер. Это был драповый, в полоску костюм, пустой рукав пиджака вдруг качнулся, Швец испуганно вскинул руку, словно защищаясь. А мадам Бертен семенила по комнате и все говорила:

— Tout ça... tout ça... tu l'auras... [3]

Они не заметили, как вошла Амели. Ее туфли были в пыли, на лбу выступили капельки пота. Мадам Бертен остолбенела, прижала к себе полосатый драповый костюм и пристыженно, хотя и сама приготовившись к нападению, ожидала упреков невестки. Швец с отчаянием смотрел на молодую женщину.

— Je... non... je... non... [4] — запинаясь, бормотал он.

Амели побледнела, губы ее задрожали, и вдруг она затряслась от безмолвного хохота. Согнувшись, припала к шкафу — мадам Бертен

---

[1] Хорошо... всегда хорошо... Уж я позабочусь об этом... *(франц.)*

[2] Тео... мой сын *(франц.)*.

[3] Это все... все будет твое... *(франц.)*

[4] Я... нет... я... нет... *(франц.)*

смотрела на нее не шевелясь, Швецу хотелось скрыться, исчезнуть, однако он счел за лучшее замереть и не двигаться. Наконец Амели перестала смеяться, подошла к старухе — мадам Бертен чуть-чуть попятилась — и ласково взяла у нее из рук полосатый костюм. Она разгладила плечи пиджака, поправила завернувшийся клапан кармана и вновь повесила костюм в шкаф. Заперев его на ключ, она зажала ключ в руке и молча ждала. Швец двинулся к выходу, мадам Бертен за ним. Этьен было позвал его, но Швец, разъяренный и униженный, бегом поднялся в свою комнату.

В течение нескольких дней только мадам Бертен да Этьен были ласковы с ним, Амели ходила среди домашних, словно онемев. Швец еще пуще старался найти себе дело, чтобы не болтаться попусту под ногами. Силы окончательно вернулись к нему, он работал в охотку, безделье самому ему было теперь в тягость. Он пристрастился разговаривать в хлеву с лошадьми и, подозревая, что они не понимают его венгерских речей, локтем толкал их в бока, а сам спрашивал между тем:

— Понимаешь, Français?[1] Она сердится,— объяснял он лошадям.— На меня сердится. А затеяла-то все старуха. Ну а та думает, будто я место мужа ее занять нацелился, вот и злится... Но я ни на чье место не целюсь, понял, français? Старуха уже в лагере меня затем и присмотрела, чтоб откормить, значит, словно племенного быка...

Собственно говоря, ему не давало покоя только одно: он полагал, что Амели считает его пройдохой. Ему все тяжелей было сносить молчание молодой женщины, слишком много ласки и тепла получал он от нее вначале, чтобы теперь, всего лишившись, не ощущать, как сильно ему этого не хватает. Да и вообще, после того воскресенья Амели была для него уже не только другом и благодетельницей: его все неудержимей влекло к ней, к ее женской сути; теперь во время совместных трапез — безмолвных и потому мучительных — он смотрел на нее и открывал для себя все новые и новые ее прелести; он не совестился даже подсматривать за ней; на рассвете он вставал теперь первым, спускался в кухню, чтобы наломать хворосту и сложить его горкой возле плиты, но Амели, становясь на колени, чтобы развести огонь, принимала его помощь лишь коротким «спасибо»; по утрам она выходила без блузы, в белой, на широких бретелях сорочке; с сильно бьющимся сердцем Швец пожирал глазами ее гладкую, юную спину, но Амели, проговорив: «Je vous remercie»[2], больше не обращала на него внимания.

Возникшее между ними напряжение перекинулось на мадам Бертен и Этьена, а тут еще навалились заботы с жатвой, с молотьбой, бесчисленные дела и тревоги; молотильщиков надо было кормить, Амели стряпала без конца, пунцово-красная от кухонного жара; мадам Бертен у весов вела счет мешкам с зерном и Швеца не отпускала от себя, учила взвешивать. Перед людьми она держалась с ним так, словно он уже был их хозяин, однако поденщики не ставили его ни во что, посмеивались над его корявым французским, а кое-кто и вовсе не скрывал своей к нему неприязни; хотя мадам Бертен требовала, чтобы его называли мсье Швец, люди чаще, подзывая его, кричали «Valet!»[3]

В последний день молотьбы — с самого утра воздух словно застыл и нещадно пекло — под вечер вдоль аллеи вдруг подул ветер, закрутил над сараем полову большущей воронкой, в этаж высотой, а вдалеке, от реки Мёз, донесся раскат грома. В небе заиграли зарницы. Нужно было спешить. Зерно уже сносили в амбар, Швец подавал мешки, мадам Бертен суетилась, кидалась то туда, то сюда; вскоре ураган достиг хутора, деревья со стоном гнулись к земле, небо потемнело, и,

---

[1] Француз? *(франц.)*
[2] Благодарю вас *(франц.)*.
[3] Слуга *(франц.)*.

едва успели закончить работу, хлынул ливень. Люди бросились под навес. Дождь и ветер сперва только взбили пыль, но вскоре бурные потоки воды уже мчались под уклон, унося листья, ветки. Вот тут с мадам Бертен и случилась оплошка — ей хотелось сразу же, не откладывая, угостить людей вином, она быстро-быстро засеменила в подвал, потом опять пересекла двор, неся три бутыли вина,— пока вбежала в дом, вымокла до костей. От нее шел пар. Она, смеясь, суетясь, стаскивала с себя мокрый платок, жилетку. Амели помогала ей, хотя и корила, но мадам Бертен отмахивалась: мол, пустяки — а дело-то было плохо. Вечером она сидела за ужином с блестящими от жара глазами, вялая, жаловалась на боль в пояснице, в запястьях, трещала суставами пальцев, наконец ушла к себе спать.

Швец, измотавшись за день, спал крепко и с трудом пробудился от стука. Он удивился — никогда еще не будили его среди ночи, но удивление его возросло еще больше, когда, откинув задвижку, он увидел за дверью Амели с лампой в руках, обычно стоявшей в хлеву.

— La grand' mère,— испуганно говорила она,— oh, mon Dieu, la grand' mère [1]...

Она была в ночной рубашке с наброшенным на плечи белым шерстяным платком.

Швец оделся. Амели попросила его запрячь лошадей и съездить за доктором. Став на колено, она рисовала на полу указательным пальцем, где найти в деревне доктора. Парень, еще не проснувшись толком, но тревожась за мадам Бертен, неуверенно кивал; Амели схватила его за руку и, снизу взглянув на него, взмолилась:

— Depêchez-vous donc, un peu!.. [2]— И вдруг бурно разрыдалась, выплеснув всю придавленность, безнадежность, одиночество последних дней. Уткнувшись лбом в руку Швеца, она повторяла: —Je suis désolée, je suis désolée [3]...

Швец растроганно слушал ее, затем медленно коснулся рукой ее волос на затылке, но и этого легчайшего прикосновения довольно было, чтобы обоих словно пронзило током, Швец высвободил запястье из пальцев Амели, рванул ее к себе, обхватил за талию; грудью, животом ощущал он жар этого дугой отгибавшегося от него тела; ногти Амели впились парню в затылок, короткая, острая боль еще прибавила ему силы, он чуть не раздавил молодую женщину в объятиях. Амели не то чтобы сопротивлялась, но все же до какой-то степени сохранила трезвость и, беспокоясь за мадам Бертен, умоляюще повторяла:

— Non, pas encore, attendez [4]...

Наконец она уперлась руками в грудь Швеца, пытаясь освободиться из его объятий. Швец с трудом уступил — в конце концов он и сам понимал, что нужно спешить за врачом. Охваченный радостью, он пулей слетел с лестницы, распахнул входную дверь — Амели сверху взмолилась: тише! — в хлеву разбудил лошадей; вывел под навес только одну и запряг в двуколку; должно быть, и на соседних хуторах было слышно, как неслась она, с грохотом подпрыгивая на ухабах, по проселку, ведущему на шоссе.

Эта ночная скачка пришлась как нельзя более кстати; Швец стыдился того, что взбудоражен не столько тревогой за судьбу мадам Бертен, сколько вдруг открывшейся ему любовью Амели; он погонял сивую кобылку, чтобы поскорей вернуться к молодой женщине, но при этом, обманывая себя, думал, что спешит ради мадам Бертен. Доктор не слишком обрадовался ночному путешествию. На обратном пути Швец вновь и вновь объяснял ему, уговаривал — он только теперь понастоящему понял, что мадам Бертен в опасности (для старушки лю-

---

[1] Бабушка... о боже мой, бабушка... *(франц.)*
[2] Пожалуйста, поскорее!.. *(франц.)*
[3] Я в отчаянии, я в таком отчаянии... *(франц.)*
[4] Нет, не теперь, подождите... *(франц.)*

бая хворь могла оказаться роковой), и, когда это дошло до его сознания, разволновался всерьез: ведь мадам Бертен всегда была к нему так добра, и теперь его долг сделать для нее все возможное.

Врач, прошедший войну сорокалетний мужчина, ворчливый и недоверчивый — что весьма характерно для бывших военных врачей,— сидел рядом со Швецем, плотно запахнув свой френч, и всякий раз, когда парень подстегивал лошадей, придерживал вожжи со словами: «N'allez pas si vite» [1]— очевидно, тряска мешала ему дремать. Швецу казалось, они никогда не прибудут домой. Каждый миг без Амели был для него пыткой; всего лишь час назад он держал ее в своих объятиях, пусть каких-нибудь несколько секунд, быть может, еще мгновение — и он поцеловал бы ее, а теперь вот время уходит, и, как знать, вдруг для Амели это был лишь мимолетный порыв, да и вообще (промелькнуло вдруг в голове) неожиданным этим сближением он обязан, возможно, лишь безмерной тревоге молодой хозяйки: просто выдался случай, единственный случай, а воспользоваться-то им и не довелось.

Амели, уже одетая, ожидала их на пороге, она подобострастно поблагодарила доктора; на Швеца не обратила никакого внимания. Кровь бешено застучала у него в голове, особенно когда он увидел, что высокий, приятной наружности врач не стесняется фамильярничать с Амели у постели больной. Откуда ему было знать, что доктор просто испытывает потребность в невинной разрядке во время работы, ну а Амели ему наивно подыгрывает. Мадам Бертен горела в жару, однако доктор сказал, воспаления легких, пожалуй, удастся избежать. Он прописал аспирин и тотчас дал больной несколько таблеток из собственного запаса; затем принял из рук Амели стакан красного вина, выпил еще второй и третий стакан и стал разговорчивей. На обратном пути и со Швецем завел беседу — очень тяжко, мол, обслуживать участок без автомобиля, но, что поделаешь, собственный «лимузин» он отдал в свое время на службу родине, и его где-то «распатронили», а теперь когда еще удастся заполучить новую машину. Потом заговорил об Амели, шесть лет назад он принял у нее сына («Quel est déjà son nom? Étienne?») [2], роды были тяжелые, малыш, видно, долго раздумывал: «стоит ли высовывать голову на свет божий», его отец... («Monsieur Bertin, aha, oui, monsieur Bertin! Où est-il donc?» [3]—«Mourir [4],— раздраженно ответил Швец.— Исчез, помер...» — «Oh,— удивился врач.— Le pauvre homme» [5].) Он призадумался, вспомнил, видно, фронт, затем стал рассказывать, как волновался мсье Бертен во время родов: все грозился пристрелить из охотничьего ружья, если с женой что-то случится... У Швеца сузились глаза, он сидел в двуколке, не шевелясь, позабыв даже погонять лошадей, он ненавидел врача за то, что он вызывает к жизни прошлое Амели, за то, что знает ее тело, без конца поминает господина Бертена, за то, что делает еще сложнее его и без того сложную жизнь. С самого воскресенья, когда нахлынула на него впервые страсть к Амели, он не желал более принимать во внимание, что она уже не девушка и рожала, была чьей-то женой,— любовь заставила его обо всем этом забыть, да Амели и была для него девушкой, которая вскоре будет впервые принадлежать ему. Ведь Швец был еще очень молод, ему едва исполнилось шестнадцать, когда он покинул свой дом, а за минувшие полтора года парень думал о чем угодно, только не о любви; и теперь он инстинктивно старался забыть прошлое Амели, боясь, что ее опытность окажется лишь во вред их любви или что ему придется стыдиться собственной неискушенности. Болтовня доктора — как ни мало он разбирал его речь — перевернула ему душу, он ощущал невыносимую ревность к мужчине, которого

[1] Не гоните так *(франц.)*.
[2] Как же его назвали? Этьен? *(франц.)*
[3] Мсье Бертен, ага, да-да, мсье Бертен! Где же он? *(франц.)*
[4] Умереть *(франц.)*.
[5] Бедняга *(франц.)*.

нет в живых, хотя и понимал, что ничего не может быть глупее. В эту минуту и Амели стала ему вдруг далека; такое часто случается даже и при самой цельной, совершенной любви, когда мы понимаем вдруг, что другой (другая) жил (жила) с момента рождения своего не только для нас, не только ради нас; это ли не свидетельство, сколь одинокими ощущаем мы себя на свете: мы отчаянно жаждем, чтобы на путях нашей жизни рядом с нами всегда был кто-то, во всем на нас похожий, во всем с нами заодно. Да, мы безнадежно одиноки, помочь нам могут только животные наши инстинкты: физическая страсть помогает забывать о тоске душевной, побуждает к действию, мы силимся в этой осуществленной связи найти то самое, чего мы жаждали, силимся поверить, что это оно и есть.

Вот так и Швец, покуда трусил на двуколке домой в зачинающемся рассвете, усиленно отгонял от себя то и дело настигавшие его картины прежнего «я» Амели. Чем ближе был хутор, тем больше волновало его ее женское естество; в нескольких метрах от красностенного дома ночная сцена опять стала чудиться ему реальностью — пальцы Амели, сжимавшие затылок, впивающиеся в кожу ее ногти, его ладонь на ее спине, талии, ощущение под пальцами ее позвонков, дыхание ее, напоенное страстью, голые ноги, бесстыдно рассыпавшиеся волосы. Во дворе хутора было темно. Нервничая, он выпряг кобылку, подсыпал ей немного овса, два-три раза взмахнув вилами, сбросил сена, напоил, задал корма и второй лошади — до обычной утренней кормежки оставалось совсем немного. Швец тянул время. Он не знал, что ему делать, как продолжить то, что началось этой ночью. Надеялся, что Амели придет ему на помощь: вот так-то, теперь он лукаво рассчитывал именно на опытность ее! Светало, защебетали птицы; Швец умылся у колодца. На дворе все еще стояли лужи после пролетевшей грозы, воздух был свеж и пахуч, полон бурными испарениями травы, листьев. У дверей Швец соскоблил с сапог грязь о железную скобу, вошел. После свежего утреннего ветерка показалось, что воздух в доме спертый; стоял полумрак, не слышалось ни единого звука. Разочарованно — но и с облегчением: свободен от решения какой-то неясной задачи! — Швец убедился, что Амели спит; значит, отдыхает и мадам Бертен — должно быть, лекарство уже подействовало. Было часа четыре утра, он поднялся в свою комнату. Скрип ступенек, подумалось ему, еще может послужить Амели сигналом, однако все было тихо по-прежнему. Отворив дверь, он подошел к окну и отдернул занавеску, чтобы взглянуть во двор. Вдруг какой-то шорох насторожил его. Внутренне оцепенев, он обернулся. Амели, скорчившись, сидела бочком на медной его кровати; обвив руками прутья изножья, пригнув голову, она исподлобья, со страхом смотрела на парня.

Восемь — десять дней, пока болела мадам Бертен, они жили совсем как супруги. Работу по усадьбе делали вместе. Амели как-то незаметно передала управление Швецу, даже на то, чтобы задать корм скоту, распоряжений ждала от него, а уж тем паче кого на поденщину нанимать: Шарля ли (который, как известно, очень уж много требует в дополнение к договоренной плате и вообще больше любит о погоде беседовать или о том, где какие птицы обитают на свете: «А серые дрозды водятся в ваших краях, мсье Швец?») или лучше Гийома — он хоть постарше, да поусерднее (правда, особенно многого с него не потребуешь, совестно). Швец поначалу только плечами пожимал да посмеивался, ему куда больше хотелось прижать к себе Амели, чем о хозяйстве думать, но Амели упорствовала, всем своим поведением показывала, что не только любовника хочет в нем видеть, но хозяина, мужа. В конце концов и Швецу по душе пришлась эта роль. Да и тревоги его отпали: страх, что его любовь не удовлетворит Амели, оказался напрасным; он и не подозревал, какую веру в себя даст ему эта безмолвная его победа. Сидя на кухне в ожидании

трапезы, он блаженно наблюдал, с какой готовностью накрывает Амели на стол, как старается угодить ему. Но при всем том Швец не злоупотреблял ее преданностью, он и сам был с ней ласков, тем более что испытывал к ней истинную нежность. Пока мадам Бертен оставалась в постели — состояние ее, к счастью, улучшалось, организм одолевал опасную для нее простуду,— они безмятежно исполняли свои роли; Швеца смущал только Этьен, он боялся, как бы не вспыхнуло в малыше ревнивое чувство, инстинктивная неприязнь к любовнику матери. Ему казалось, что он виноват перед Этьеном, словно и вправду обокрал малыша, обманул. Но Амели, как он заметил, ни о чем таком не тревожилась, мать не скрывала своих чувств перед ребенком; Швец, когда они бывали втроем, вроде бы притворялся невольно, она же без оглядки то и дело касалась его руки или поправляла ему прядь волос, хотя движения эти выдавали их истинные отношения. Очевидно, Амели была права: Этьен принимал положение таким, как есть,— он, должно быть, угадывал многое,— поэтому откровенность шла лишь на пользу, настроение матери передавалось и ему, он привязался к Швецу еще больше прежнего; и Амели, видя это, была счастлива.

Когда мадам Бертен поправилась и начала выходить из своей комнаты, они оба старались вести себя сдержанней. Один только Этьен остался прежним, облегчая тем положение влюбленных — через ребенка они могли хоть как-то выразить друг другу свою нежность. Но мадам Бертен не вчера родилась на свет, к тому же разве только слепой не увидел бы, что происходит между молодыми людьми. Она не противилась этому. Больше того, устраивала так, чтобы молодые почаще оставались одни. Однажды за ужином, перехватив их друг на друга устремленные взгляды, она заговорила о том, сколь неисповедимы пути господа, когда вздумает он позаботиться о тех, кто ему угоден; мы-то вот болезнь за беду почитаем, а того, глупенькие, и не ведаем, для чего она и зачем. Амели сделала вид, будто не понимает намеков свекрови. Что заставляло ее прятать свои чувства — только ли женская стыдливость или искреннее желание щадить мать умершего мужа? А может, она считала несправедливым, что судьба послала ей счастье? Живые страшатся обманывать даже мертвых — это одно из тех превосходнейших свойств, какие делают человека человеком. Амели догадывалась, что мадам Бертен тоже неверна, что в сердце своем она уступила место сына этому чужестранцу, который, правда, тоже несчастен, но все же не столь беззащитен, как мертвый; и, хотя сама она уже ничему не могла противостоять и сердиться не могла на свекровь за ее слабость, ей все же казалось, что, если она скроет свои чувства, проступок будет меньше и счастье — простительней, по крайней мере перед свидетельницей ее прежней жизни. Верность мертвым — да, все это так, но не освобождают ли нас от этого долга, не изменяют ли самую нашу верность все те естественные вожделения, что против воли и желания пробуждаются в нашем теле, в душе?

Женщины, оказываясь вместе, все еще сомневались — пришла ли пора уступить естественному порыву. Мадам Бертен не знала, кого видит в Швеце ее невестка — просто мужчину или также и спутника жизни. Амели в свою очередь, хотя и помнила сцену, когда свекровь примеряла Швецу костюмы Тео, тем не менее боялась, что то было лишь старческое наваждение и, если свекровь догадается, что этот чужак для невестки не чужак больше и тот, другой, ее Тео, стал далеким, чужим, старушке будет больно. Как ни любила Амели Швеца, сделать открыто рискованный шаг не могла.

В конце концов ситуацию прояснила сама мадам Бертен.

Стоял октябрь, время, когда рушат кукурузу, по утрам на землю ложился иней, только к одиннадцати часам воздух немного прогревался, дни становились короче; с сумерками все шли в сарай обдирать

початки. Ранние холода были мадам Бертен не на пользу — она часто жаловалась, что, стоит ей позабыться и, выйдя вечером на воздух, не прикрыть рот платком, тотчас в горле будто щекочет, кашель так и рвется наружу.

— С тех пор как хворала я летом, что-то со мной неладно,— все повторяла она.— Je suis trop faible... [1]

Однажды, хотя день был не воскресный, она с утра оделась по-праздничному. И Амели и Швец очень удивились, стали спрашивать, куда она собралась; спрашивали даже с испугом, особенно Амели — она боялась, уж не тронулась ли старушка умом; ее опасения нарастали еще оттого, что мадам Бертен на вопросы не отвечала, только улыбалась загадочно. Она то и дело выходила за угол дома и пристально смотрела на дорогу, потом зашла на кухню, поставила на стол вино, стаканы и опять стала нетерпеливо поглядывать в сторону шоссе. Амели сердилась: почему не скажет, кого поджидает? Старушка лишь улыбалась, потом вдруг, словно опомнясь, велела Швецу принарядиться. Он оглянулся на Амели, словно прося совета, но та ничем ему не могла помочь и только знаком показала: иди, мол, сделай, как хочет мадам Бертен. Амели нервничала: дело шло к полудню, а она не знала, затевать ей стряпню или нет. Наконец свекровь, опять вышедшая поглядеть на дорогу, закричала:

—Voici les messieurs! [2]

Швец уже заметил гостей из своей комнаты: к хутору катили на велосипедах двое мужчин. Ему доводилось видеть обоих: тот, что ехал впереди, в черном берете, темно-сером костюме, с толстым шарфом, обмотанным вокруг шеи, был мэр, позади него крутил педали худой мужчина в черной шляпе и венгерской офицерской шинели — переводчик.

Они сошли с велосипедов, прислонили их к стене. Мэр стянул перчатки, поздоровался за руку с мадам Бертен и Амели, затем представил господина Гашпара — «monsieur Gaspar». При виде двух официальных особ Швец смутно встревожился, сам не ведая почему. Он уже переоделся — чистая рубашка, черные брюки, вязаный свитер,— но все еще мешкал в нерешительности и, стоя посреди комнаты, прислушивался: может, разберет, зачем явились эти люди? Однако до него доносился лишь голос мадам Бертен, любезно встречавшей посетителей, да бормотание мужчин: «Merci, madame, merci» [3], потом шум отодвигаемых стульев и звон стаканов. Швец был уже на лестнице, хотя и не знал толком, желают ли собравшиеся, чтобы он к ним присоединился, как вдруг услышал вопрос мэра:

— Qu'y a-t-il pour votre service, madame Bertin? [4]

В этот момент мадам Бертен увидела Швеца и, вместо того чтобы ответить на вопрос, представила его приехавшим господам.

— Вы были солдатом? — спросил Гашпар.

— Левентовцем.

— Ага. Ну что, хорошо здесь с вами обращаются, а?

— Очень хорошо, господин...

— ...Господин капитан! — поспешил вывести его из затруднения Гашпар.

— Очень хорошо, господин капитан.

— Ну-ну,— сказал Гашпар. Он заметил, что мэр и домашние прислушиваются к их разговору. Натянуто улыбнувшись, он слегка поклонился — так представлял он себе по дурным кинофильмам истинно французские манеры. В гражданской жизни капитан был торговцем либо каким-нибудь дельцом, лет ему было что-нибудь около пятиде-

---

[1] Очень я стала слаба... *(франц.)*

[2] А вот и они! *(франц.)*

[3] Спасибо, мадам, спасибо *(франц.)*.

[4] Чем могу служить, мадам Бертен? *(франц.)*

сяти, и он весьма желал сохранить за собой должность переводчика, дававшую определенные преимущества.

— Pardon, madame,— сказал он. И тут же обернулся к мэру: — Plaît-vous, monsieur? [1]

Мэр знаком показал, что готов выслушать мадам Бертен. Старушка предложила Швецу сесть, при этом указав ему место рядом с Амели и ребенком. Швец, смущаясь, сел, особенно приводил его в замешательство соотечественник, ибо, неизвестно почему, ему казалось нарушением субординации, если и он как равный сядет со всеми за стол. Между тем Гашпар не слишком был занят его особой, он без стеснения рассматривал обстановку, Амели и бутылку с вином. При этом всякий раз, заметив на себе взгляд женщин, он как-то вытягивался и забавно дергал головой.

Мадам Бертен говорила взволнованно и немного торжественно. Рассказала, что ее сын погиб на войне, что очень трудно на ферме без мужчины и как они довольны пребыванием у них Швеца, как все они полюбили друг друга, вот и Этьен очень к нему привязался, не меньше, чем Швец к Этьену... Мэр слушал ее терпеливо и рассеянно, иногда энергично кивал или понимающе вытягивал губы, а впрочем, более всего занят был тем, чтобы придать своему берету форму кораблика; у него ничего не получалось, но он упорно начинал все сызнова. К счастью, мадам Бертен этого не замечала, она не сомневалась, что ее слова у всех вызывают одинаковые чувства. Швец в общих чертах понимал, о чем идет речь, и неловко ерзал на стуле, Амели с гордостью на него поглядывала, а переводчик только и ждал паузы, чтобы поднять наконец стаканы.

Мадам Бертен продолжала говорить, Швец не все разбирал, он только увидел, что Амели вздрогнула, густо покраснела, мэр перестал мять берет, а переводчик одобрительно прищелкнул пальцами и поглядел на него с откровенной завистью.

— Ayez la bonté, monsieur! [2]— повернулся к Гашпару мэр, когда мадам Бертен кивнула, показывая, что волю свою высказала.

— К вашим услугам, сударь! — угодливо изогнулся толмач.

— Connaissez-vous cet homme-là? [3]

— Je ne le connais pas [4],— ответил тот.

— Aha· Demandez au garçon, quel âge il a? [5]

— Господин мэр спрашивает, сколько вам лет,— повернулся переводчик к Швецу.

— Восемнадцать. Уже исполнилось... господин капитан.

— А вы, знаете ли, счастливчик! — фамильярно заметил Гашпар.— То, что они тут ради вас затевают...

— Что они затевают? — испугался Швец.

— Уж не хотите ли, чтобы я поверил, будто вы и не знаете ничего? — удивился Гашпар.

— Не пойму я, о чем тут речь идет... господин капитан.

— Ладно, «господина капитана» можете опустить...— махнул переводчик рукой.— Словом, вы ничего не знаете?

— Quel âge a-t-il? — переспросил мэр.

— O, pardon, monsieur,— заулыбался Гашпар.— Dix-huit [6].

Мэр кивнул.

— Вы, может, растолкуете мне, о чем речь? — нетерпеливо спросил Швец.

Мадам Бертен взволнованно ожидала, склонив голову набок, не смея взглянуть ни на Швеца, ни на Амели, хотя последняя явно была рада затее свекрови.

---

[1] Изволите начать, сударь? *(франц.)*
[2] Будьте любезны, сударь! *(франц.)*
[3] Вы знаете этого человека? *(франц.)*
[4] Не знаю *(франц.)*.
[5] Так. Спросите его, сколько ему лет? *(франц.)*.
[6] О прошу прощения... Восемнадцать *(франц.)*.

— Старуха желает усыновить вас,— сказал Гашпар.— Вы и вправду не знали?

— Как это? Усыновить, словно дитя малое?!

— Осторожней, у вас по лицу видно, что вы сердитесь,— предупредил его толмач.— Так вы не рады?

— Да ведь как же так? Это, выходит, чтобы я здесь остался? Навечно?.. Да я ж домой вернуться хочу!

— Que dit le garçon? [1]— заинтересовался мэр.

— Un instant, monsieur [2],— улыбнулся переводчик. И опять повернулся к Швецу: — Даже если так... если и не рады... не подавайте виду! Старуха от души вам предлагает...

— Знаю,— закусил губу Швец.

Мэр тронул переводчика за руку и что-то спросил. Швец смотрел прямо перед собою в пол; Амели под столом нашла его руку, крепко сжала. Швец криво улыбнулся. Мадам Бертен, раскрасневшаяся, сидела во главе стола; она всей душой радовалась щедрости своего дара, но понимала при этом, что принять его тоже непросто.

— Мэр спрашивает вас,— обратился переводчик к Швецу,— имеются ли у вас официальные документы. Далее, ежели таковых при вас не имеется, можете ли вы назвать двух человек, которые бы удостоверили вашу личность. С вашим возрастом все в порядке, вы еще несовершеннолетний [3]. Он спрашивает также, желаете ли вы, чтобы вас усыновили. Известно вам, что это дает? Вы можете стать гражданином Франции, наследовать имущество вашей хозяйки и так далее. Если у вас есть голова на плечах, такое предложение вы не отвергнете... Но это я вам говорю неофициально, от себя. Полагаю, мне не нужно вам особенно расписывать, что творится там, дома. И что ожидает нас в ближайшее время. Ну и потом, Франция есть Франция... У нас кое-кто недолюбливает французов: они, мол, коммунисты, вольнодумцы и всякое такое... Но не так страшен черт... Жить здесь можно. И эта ферма... Не хочу вас уговаривать, но вам дьявольски повезло. И старушка эта вас любит... Да и молодушка, а?..

Швец свирепо глянул ему в лицо.

— Я домой вернуться хочу, понятно вам? Лучше скажите, что имто ответить...— И, понизив голос, добавил: — Чтоб обидно им не было...

Переводчик вздохнул:

— Ах, мальчик, мальчик... Откуда вы родом?

— Из Чепрега.

— Чепрег? Это деревня, что ли?

— Ну да.

— Послушайте-ка... Вы все-таки скажите: документы у вас есть?

— Нет у меня никаких документов.

— А знакомые найдутся?

— Сказано вам: я домой хочу.

— Ладно, ладно, поедете. Поедете домой... Скажите им, что вы все обдумаете. Ну, идет? Так им и объявим...

— И что благодарен я им.

— Как?

— Скажите: спасибо им большое.

Переводчик кивнул. Мадам Бертен возбужденно вслушивалась в их разговор. Швецу стало жалко старушку. Он перегнулся через стол и коснулся ее руки:

— Je vous remercie...

Он был глубоко тронут; гнев, страх прошли, и только теперь осознал он, что же предлагает ему мадам Бертен!

---

[1] Что он говорит? *(франц.)*

[2] Одну минутку, сударь *(франц.)*.

[3] В то время во Франции совершеннолетними считались молодые люди, достигшие 21 года.

— Ну а сейчас-то чего вы хотите? — раздраженно спросил переводчик.

— Все то же, что сказал,— глотая слезы, ответил Швец.

Переводчик изложил мэру положение Швеца. Его французский был, видно, не первоклассный, потому что мадам Бертен не разобрала его как следует, а возможно, была слишком взволнована или скорей всего надеялась на иной ответ; как бы то ни было, она ожидала от мэра объяснений. Мэр сухо изложил факты: для усыновления препятствий нет, однако «мсье» просит дать ему время на размышление... Мадам Бертен не сумела скрыть разочарования.

— Да, но сколько времени? — воскликнула она с детским испугом.— Ведь я уже стара!

Мэр с бесстрастным лицом, полуприкрыв глаза, вежливо наклонил голову:

— Vous avez raison, madame, et vous êtes trop obligeante![1] — однако добавил, что юноша тоже прав: он не может в столь важном вопросе решать сгоряча.

Двое приезжих сидели напротив Швеца; они же — две женщины, ребенок и он сам — выглядели уже и теперь как одна семья. Но Швец знал, что эта семья не станет его семьей: сейчас, когда он услышал о намерениях мадам Бертен, его словно жаром обдала тоска по дому, призабытая за каждодневной нескончаемой вереницей событий и дел. Еще не было и речи о том, чтобы вернуть пленных домой, но ведь наступит же время, когда их отпустят! Швец мысленно пережил свое возвращение: вот он приезжает, идет по улице, здоровается со знакомыми, мать как раз на заднем дворе, возле свинарников, он говорит ей «здравствуйте, мама», она роняет корзину, бежит к нему, сынок мой, сыночек...

И вдруг все стало ему здесь чужим — эта французская ферма, мадам Бертен и сама Амели. Он нетерпеливо ждал, когда же наконец мэр и переводчик откланяются. Ему хотелось остаться одному, чтобы вновь и вновь переживать в душе минуту возвращения.

Гости выпили еще по стаканчику вина и отправились восвояси. Все домашние вежливо проводили их до ворот, Гашпар еще раз посоветовал Швецу не валять дурака, не упустить удачу.

— Вы еще молоды, вам стоит попытаться. А там, глядишь, и домой станете наезжать уже как французский гражданин. И будете кум королю...

Когда они вернулись в дом, Амели — на глазах у мадам Бертен и Этьена — схватила Швеца за руки, прижалась к ним лицом.

— Je suis heureuse,— шептала она, — je suis très heureuse![2]

Она и не вспомнила, что Швец еще ничего не решил,— наконец-то она могла свободно выражать свои чувства, сбросить тяжкий гнет скрытности: свекровь избавила ее от угрызений совести. Швец с мучительной неловкостью принимал радостные восклицания Амели. Мадам Бертен лила слезы, растроганная собственным великодушием, впрочем, ею руководила и самая искренняя привязанность к юноше. А Швец чувствовал, что обманывает их: ведь он-то всеми помыслами был уже в Чепреге, у матери; и еще, так же как они до сих пор почитали предательством, когда боль свою от потери Теодора подменили привязанностью к нему, так и он с испугом думал сейчас, что, не объявив им прямо, что не собирается принять великодушный дар мадам Бертен, предает тем своих, свою мать...

С этих пор обе женщины еще больше, если это возможно, старались угодить ему. Мадам Бертен чуть ли не каждый день ждала согласия Швеца, Амели же держалась так, словно иного решения, кроме как остаться с ними, и быть не могло. Ей особенно легко так

[1] Вы правы, сударыня, и так добры! *(франц.)*

[2] Я счастлива... я очень счастлива! *(франц.)*

думалось — этому способствовала физическая их близость, и всякий раз, бывая вместе, они безобманно убеждались в том, что неразделимы, что принадлежат друг другу. Вообще жизнь на ферме шла уже так, словно все формальности были позади. Старая мадам Бертен наконец могла переложить на Швеца тяжкие хозяйственные заботы; Амели отдала в его распоряжение весь гардероб Тео, больше того, однажды он заметил, что она убрала со стены фотографии, на которых была снята вместе с Теодором.

Дни становились короче, они все больше времени проводили вчетвером; едва темнело, все собирались на кухне: мадам Бертен дремала возле плиты, Амели что-нибудь штопала, латала, маленький Этьен рассматривал книжки с картинками или вдруг затевал свою любимую игру: сидя напротив Швеца, с веселыми воплями гонял пуговки по разлинованной доске. А Швец, как ни хорошо ему было среди них, как он ни любил их, неотступно раздумывал о том, что лучше: дожидаться, пока своим чередом попадет в транспорт военнопленных, отправляемых на родину, или самому искать способ добраться домой. Его нетерпение объяснялось не только тем, что ему до смерти хотелось увидеть мать и родной дом,— он боялся застрять здесь навсегда: потому ли, что внезапно умрет мадам Бертен — она ведь уже старенькая — и как же тогда он оставит Амели, или потому, что слишком уж долго он их обнадеживает и вдруг да не найдет в себе сил оторваться от них... Не мог он раскрыть им свои намерения. И особенно теперь, после того как видел от них столько добра. Ему было легче от сознания, что он не просил у них помощи, но все же они спасли ему жизнь, они, эти две женщины и ребенок, были не просто добры, они дали ему много больше. В конце концов он решил, что постарается щадить их, а вот как... да так, как мы чаще всего это себе представляем.

Он хотел избавить их от разочарования и потому действовал тайно. Строил планы. Если он собирается бежать, а иной возможности в ближайшее время явно не представится, значит, ему нужны деньги. На хуторе его снабжали всем необходимым, получал он и карманные деньги, по несколько су, но того, что он из них отложил, было ничтожно мало. В эту пору он раз в неделю непременно выезжал на двуколке в соседний городок — то продать урожай, то прикупить кое-что; теперь он решил использовать эти поездки для того, чтоб приторговывать и в свою пользу. Он тайком собирал яйца из-под несушек (понемногу, чтобы Амели не бросилось в глаза, как плохо стали нестись куры), припрятывал их, а прикатив в городок, сбывал с рук. Денег едва-едва прибавлялось. На чердаке он нашел довольно объемистый вещевой мешок, таясь, снес его вниз и спрятал под стогом люцерны. Это был надежный тайник, здесь же он хранил и деньги. Позаботился Швец и о съестных припасах, припрятав там же добрые куски сала, сахар, лущеную кукурузу. Вся эта подготовка, сборы возбуждали его, однако с тех пор, как принялся он за осуществление своих планов, на него обрушилось одиночество; с одной стороны, ему совестно было красть, с другой — он сердился на мадам Бертен, добротой своей принудившей его действовать именно так; необходимость таиться вырвала его из их мирного кружка, он уже не чувствовал себя с ними так непринужденно, как прежде. И их ласковое внимание к себе он принимал теперь сдержанней. «Я ведь почему их обманываю? Боль не хочу причинить,— рассуждал он.— Добра им желаю, вот и приходится на бесчестное дело идти». Его тяготило притворство, поэтому хотелось как можно скорее пуститься в путь. А погода между тем становилась все хуже, уже миновал и ноябрь; репу убрали, закрыли в ямы, полевые работы были окончены, сыпал мелкий дождь вперемежку со снегом, и Этьен

уже мечтал о рождестве. Швец, без дела мыкаясь среди них на кухне в эти зимние, все удлинявшиеся вечера, нетерпеливо ожидал, когда же наберется довольно денег и припасов на дальнюю дорогу. Но по утрам, пересекая скованный морозом двор, он опасливо думал о том, как-то вынесет долгие переходы, да еще теперь, в самое суровое время года, ибо понимал: весь путь до французской границы, потом через Германию ему скорее всего придется одолеть пешком, вряд ли представится какой-либо иной вид передвижения, да и вообще города, селения разумнее обходить стороной, если не хочешь, чтобы тебя схватили как беглого пленного. Его комната, теплая постель, объятия Амели, стряпня мадам Бертен были так надежны, что заставить его все это покинуть могла лишь страстная тоска по дому, но эта тоска — то ли инстинктивная, то ли рожденная от сознательно принятого однажды решения — становилась все нестерпимей. Она не отпускала его даже в объятиях Амели. Их ночные свидания стали регулярными, хотя Амели не была по натуре жадной до любви, скорее покорной; но к этому времени Швец уже искал в ее любви лишь способ снять копившееся в нем напряжение.

Он становился все озабоченней. Бывая в городке, вступал в разговоры с чужими людьми, словно бы невзначай, походя расспрашивал их о том, куда и как ведут в этих краях пути-дороги; на рынке он встретился как-то с рабочим из Саргемина (тот, слегка подвыпивший, отстаивал за соседним столиком добрую славу саргеминского фаянса, ввязавшись в спор с каким-то торговцем церковной утварью) и, как ни жаль было тратиться, поставил ему стакан бургундского, зато сумел выпытать, как далеко от границы — уже там, в Германии,— находится Саарбрюккен. Рабочий-то больше клял немцев почем зря, но Швец все же немало полезных сведений почерпнул из его речей.

Возвращался он из этих поездок всякий раз с неловким чувством. Сообщив мадам Бертен о привезенной с рынка выручке, он, багровея, отсчитывал франки на стол; угрызения совести лишь усиливались оттого, что мадам Бертен не хотела от него подробного отчета. «C'est bien,— кивала она,— merci, mon fils».

Швец вполне мог бы (и дьявол не однажды искушал его) придержать несколько су из денег, причитавшихся мадам Бертен, но пока что он противился соблазну; довольствуясь стоимостью украденных яиц, он внушал себе, что это все же не столь великий грех — ведь яйца он берет прямо от кур, а не у своих благодетелей. По ночам он вдруг вскакивал и сторожко прислушивался к какому-нибудь неясному шуму, часто ему казалось, что припрятанные сокровища обнаружены и к нему уже идут, чтобы призвать к ответу. Но женщины ничего не подозревали. Они готовились к рождественским праздникам, стряпали, что-то друг от друга припрятывали, все их мысли заняты были подарками. И правда, в начале рождественской недели Амели отправилась в городок вместе со Швецем. Она обошла все магазины и лавки и вернулась на рынок, к двуколке, с дюжиной пакетов, не меньше. Покупки сунула в корзину, прикрыла ее попоной. Она выглядела довольной, глаза блестели от радости. Швец в это время — он был в коротком полупальто с бараньим воротником — беседовал со своим знакомым по лагерю для военнопленных; фамилия знакомого была Бабаи, он работал неподалеку — у учителя и так же, как Швец, подумывал о побеге. Они возбужденно обсуждали, как все устроить. Бабаи обещал бежать вместе со Швецем: вдвоем все же легче одолеть такой путь. Бабаи видел у учителя карты и собирался стянуть ту, что окажется более подходящей для них, а если повезет, говорил он, то и деньжат раздобудет. Чертя каблуком по земле, Бабаи объяснял, какое направление считает наилучшим, сыпал названиями хуторов, сел, городов, которые встретятся им по

пути. Амели мало что могла понять из всего этого. Они разговаривали по-венгерски, а названия населенных мест могли поминать и по иной какой-нибудь причине. Но все же, когда она уже направилась к ним, чтобы позвать Швеца — пора было трогаться в обратный путь,— что-то заставило ее остановиться в нескольких шагах от молодых людей: она слишком любила Швеца, чтобы не почувствовать его отчужденность в эту минуту. Тем более стало ей страшно, когда Швец, заметив ее, сделал своему приятелю знак помолчать, хотя то была излишняя предосторожность, и попросил Амели подождать самую малость, всего несколько минут: ему нужно закончить разговор с товарищем. Швец условился с Бабаи, что после рождества, двадцать восьмого декабря, они встретятся утром на берегу Мёз, возле деревни. Раньше, сказал он, никак нельзя, не хватит у него духу испортить мадам Бертен праздник. «Придешь ты или не придешь,— сказал он,— а я все равно отправлюсь. Подожду до рассвета, а потом пойду хоть и один...» Бабаи клялся, что не подведет.

Швец поспешил назад, к Амели. Она испытующе всматривалась в него, искала его взгляда.

— Qu'est-ce que c'est? [1]— спросил он и неискренне засмеялся.— Поехали. Me voilà prêt... [2]— Он суетился вокруг двуколки, поправлял пакеты, коробки с покупками.— Avez-vous tout acheté [3].— И тут же:— Il fait froid... Quel vent! [4]— А сам тем временем снял попону с сивой кобылы, поправил вожжи, взобрался на сиденье, потом вдруг вспомнил, что надо же помочь сесть Амели, соскочил — и все говорил, говорил, неловко посмеиваясь: — A cinq heures... nous arrivons à la maison... Oh, qu'il fait froid! [5]

Он закутал ноги Амели, подложил под них попону. Амели посматривала на него с тревогой, что-то в его поведении ей не нравилось. Заметив это, Швец понял, что лучше бы ему прикусить язык. Но при одной мысли, что у него будет спутник, его распирала радость. Теперь он не сомневался: побег удастся, уж вдвоем они как-нибудь да выберутся! Хотелось свистеть на радостях, он едва сдерживал себя, хотя и видел, что Амели не находит себе места. На дороге был гололед, и вроде бы задул ветер — а может, это просто воздух бьет навстречу от быстрого бега двуколки? Да нет, кобылка трусила неспешно. Амели вся съежилась, уткнулась подбородком в шерстяной платок, руки сложила на животе. А Швец насвистывал весело. Он и сам понимал, что на него нашло наваждение, что надо бы ему не молоть всякую чепуху, найти для Амели хоть два-три ласковых словечка. Да просто обхватить за плечи или улыбнуться ей по-хорошему, и того было б довольно — так нет же! Они сидели рядом, но на самом деле были далеко друг от друга, между ними разверзлась пропасть, и они оба это чувствовали. Амели только женский инстинкт ее подсказывал надвигавшуюся беду. Но Швец знал, отчего испытывает отчужденность: он жил теперь лишь мыслями о предстоящей дороге.

Пока они добрались до фермы, совсем стемнело, небо было беззвездно, ночью вполне можно было ожидать снега. Амели молчком перенесла в дом покупки; если бы Швец помнил, как радостно сияли ее глаза еще нынче, на рынке, когда она укладывала эти же самые покупки в двуколку, он от души пожалел бы ее сейчас — такая она была убитая. В тот вечер они рано разошлись спать — да и намерзлись за целый день, устали; однако утром Амели поднялась чуть свет и поджидала Швеца на кухне с горячим чаем.

---

[1] Что такое? *(франц.)*
[2] Я готов... *(франц.)*
[3] Все купили? *(франц.)*
[4] Холодно... Какой ветер! *(франц.)*
[5] К пяти часам... будем дома... Ох и холодно! *(франц.)*

— Il neige [1],— с надеждой в голосе сказала она и подозвала Швеца к окну.

За окном кружились крупные пушинки, снег толстым слоем накрыл каменную ограду, черные ветки деревьев, землю. У Швеца екнуло сердце, сразу вспомнилась зима в родных краях (минувшей зимой в Марселе он снега не видел), но Амели ожидала совсем другого: она прильнула к нему, и Швец не мог не почувствовать, как она трепещет.

В последовавшие за этим дни лишь мадам Бертен да Этьен оставались веселы, как всегда, они же, Амели и Швец, не могли вернуться к былой беззаботности. Чем бы ни был занят Швец, он неотступно думал о побеге: до назначенного срока оставалось всего несколько дней, а сколько всего надо еще подготовить! Он пересчитал деньги: их было, конечно же, мало; следовало также хорошенько обдумать, что брать с собой из одежды, ему совсем не улыбалось таскать лишний груз, но и оказаться без чего-то необходимого тоже не хотелось. Что же до Амели... она лишь смутно догадывалась, чего, собственно, страшится, ее мучили дурные предчувствия, не раз она откладывала неоконченную работу и пристально следила за Швецем; и то, что он давно уже не стремится каждый миг быть рядом с ней, тоже казалось ей дурным знаком.

Так наступил сочельник. К семи часам в кухне накрыли стол. Швец катал Этьена на санках (женщины попросили его заняться малышом, чтобы им можно было спокойно украсить елку и разложить подарки), мальчуган совсем расшалился, соскакивал с санок, бросал в Швеца снежки, купал дворняжку в снегу, потом опять требовал, чтобы его катали, да бегом, вдоль аллеи за усадьбой. Он любил Этьена, мальчик напоминал ему, должно быть, погибшего брата, и не раз уже мелькала мысль, что Этьена ему будет очень недоставать. Время от времени малыш вдруг переставал куролесить, спрашивал нетерпеливо: «Quelle heure est-il?» [2] — и поглядывал на дом: не зовут ли их.

Наконец раздался зов колокольчика. Этьен вихрем влетел на кухню, кое-как под увещеванья матери и бабушки стащили с него запорошенные снегом пальто и сапожки; мальчику пришлось еще вымыть руки и позволить причесать себя — словом, он претерпел ужасные муки, пока наконец не был впущен в комнату. Местом празднества избрали комнату Амели. Она освещалась сейчас только свечами на рождественской елке — красивой серебристой елке, до самого потолка. Под ней на белой скатерти лежали подарки — игрушки, кое-что из одежды и еще складной Вифлеем из папье-маше: за красным целлулоидным оконцем хлева тоже горела малюсенькая свечка.

Этьен стоял под высоким деревцем, от восторга по спине у него бежали мурашки, крик замер в горле. Мадам Бертен всхлипывала, Амели, бледная, молча стояла позади всех, Швец, держась чуть в стороне, смотрел на них, всех троих, и глотал слезы: он хмелел от мысли, что собирается домой, к матери, и рано или поздно доберется туда, но при этом ему и совестно было, и не верилось самому, что он все-таки покинет это семейство.

Пришел черед разбирать подарки; после короткой молитвы, которую Этьен выпалил, разумеется, скороговоркой, малыш вне себя от возбуждения кинулся к сверткам, но Амели ласково призвала его к порядку. Взяв в руки пакет в шелковой бумаге, она протянула его Швецу, и в этот миг глаза ее вновь засияли.

— Voilà pour toi... [3]— вымолвила она чуть слышным, дрожащим голосом.

---

[1] Снег идет *(франц.)*.
[2] Который час? *(франц.)*
[3] Это тебе... *(франц.)*

Швец взял пакет, развернул, чувствуя на себе ее испытующий взгляд, в пакете был серый свитер с высоким воротом, а сверху еловая веточка и маленькая записка, на которой рукой Амели выведены были два слова: «Счастливого рождества».

— En es-tu content? [1]— спросила она робко, и Швец почувствовал себя последним негодяем, ибо первой его мыслью было: свитер отлично пригодится в дороге. Он поскорей отогнал от себя свою навязчивую идею, закивал горячо: «C'est charmant... C'est très charmant» [2]— и, с подарком в руках, показал на Этьена: как радуется малыш разноцветным кеглям, деревянным грузовичкам, книжкам с картинками!

Мадам Бертен позвала ужинать. Они расселись вокруг стола, покрытого скатертью, украшенного веточками ели и омелы. На ужин была рыба, из буфета достали серебряные приборы. После ужина на стол поставили блюда со всевозможными сластями: пирожными, печеньями, яблоками и орехами. Вскоре Этьен опять заторопился в комнату, к игрушкам, мать последовала за ним, мадам Бертен тоже захотела понаслаждаться радостью внука. Швец счел за лучшее тотчас подняться к себе. Он был уже на лестнице, когда Амели, оставив Этьена, выбежала из комнаты и крикнула ему вдогонку:

— Où vas-tu? [3]

Швец остановился, растерянный.

— Счастливых праздников! — сказал он по-венгерски.

— Que dis-tu? [4]— испуганно воскликнула Амели.

Устало улыбнувшись, Швец ответил опять по-венгерски:

— Сказал, что желаю вам всем счастливых праздников, бедная ты моя...— И добавил по-французски: — Je vais me coucher [5].

Амели ухватилась за перила лестницы, Швец видел, что она едва сдерживает слезы. И все же... он махнул рукой и стал подыматься по ступенькам. Амели неотрывно смотрела ему в спину.

В комнате у Швеца тоже была елочка, совсем маленькая. Амели поставила ее на стол, ей хотелось, чтобы и здесь, наверху, он радовался рождеству. Швец зажег свечки, сел на кровать, не шевелясь, смотрел на трепещущие огоньки. Спать он и не думал, жаждал только одиночества, чтобы собраться немного с мыслями. Через три дня на рассвете он должен встретиться с Бабаи. За это время надо будет изловчиться и спрятать в рюкзак необходимые вещи. Денег набралось мало, но думать об этом пока не хотелось: как-нибудь все устроится! И сразу кровь волной прилила к голове. Швец знал: в этом «как-нибудь» притаилась подленькая мыслишка, которую он даже про себя никак не укладывал в слова, хотя однажды позволил все-таки этой мыслишке на несколько мгновений приютиться в мозгу. Но нет, нет, опять отгонял он ее от себя, в этом нет никакой нужды. Он предпочитал сейчас думать о том, как все-таки покинет этот дом. Написать им несколько слов? Или не стоит? Не легче ли будет им — и мадам Бертен, и Амели — примириться с его исчезновением, если они не поймут его и просто разлюбят — сочтут предателем?

Так он сидел и думал, думал. Перебирал в памяти все добро, какое видел от них. И все зло, выстраданное в лагерях. Теперь, по прошествии времени, он не понимал уже, как можно было обращаться с пленными так жестоко. Или такова вообще судьба пленников? Он не знал иного плена, не знал, как обстояло дело в других лагерях. Была ли необходимость в том, что погибло столько народу, едва не погиб и он сам? Или могло быть иначе? Ненавидели их охранники или просто им было все равно? А может, привыкли на войне к виду

---

[1] Нравится? *(франц.)*

[2] Красиво.. очень красиво *(франц.)*.

[3] Ты куда? *(франц.)*

[4] Что ты сказал? *(франц.)*

[5] Пойду лягу *(франц.)*.

страданий, к смерти и считали так: ну, еще несколькими сотнями, тысячами больше в списке потерь — какая разница? А может, солдаты-охранники так обращались с ними, врагами, из патриотических чувств? Но почему же тогда мадам Бертен и Амели не видели в нем врага? Он получил в этом доме столько человеческого тепла, а в лагере перенес столько мук, что невольно пришел к такой мысли: у простых людей и у тех, кто облечен властью, разные пути; кто видит в другом человеке такого же человека, как они сами, те по одной дорожке ходят, а те, что принуждают делать различия между народами,— по другой. И эти последние чувствуют себя вправе дать волю самым дурным своим свойствам, коль скоро речь идет о враге. Там, в лагере, Швец усвоил, что смерть его или жизнь важны ему одному, и мир, устроенный так, был понятен и прост. Но, увидев, почувствовав теперь, сколь важно спасение его для других — для той же мадам Бертен и Амели,— он не знал уже, как тут все рассудить. И в этот вечер, придавленный всем гнетом их любви к себе, зная теперь твердо, с полной определенностью, что покинет их непременно, покинет против их воли, он мучился мыслью, что тем поколеблет их веру в людей, научит их ненавидеть. Но кто скажет, что Швец не вправе вернуться на родину? И кто скажет, что не это его первейший долг?! А вместе с тем — Швец чувствовал это,— как только он обманет бескорыстную их любовь, в мире на какую-то малость прибавится жестокости.

В дверь чуть слышно постучали, вошла Амели. Мадам Бертен и Этьен уже спят, сказала она, а зашла она просто узнать, не нужно ли чего Швецу. Швец понимал: не затем она здесь! Миновал сочельник, и Амели покинули силы, что помогали ей держаться ради праздника: ее лицо выражало то же смятение, что и несколько дней назад, когда они возвращались домой с рождественскими покупками, так же испытующ был ее взгляд, всем существом своим она напоминала испуганного зверька.

— Non,— проговорил Швец, внутренне сдаваясь,— non, merci... [1]

Амели медленно к нему подходила. Возле рождественской елки остановилась, долго глядела на огоньки. Ее зрачки расширились, пальцы забегали по кружевной скатерти, перебирая бахрому.

— Je suis malheureuse dans tout ce que j'entreprends [2],— произнесла она чуть слышно. И, взглянув на Швеца, улыбнулась.

Ее лицо при свете свечей было прекрасно.

Мгновение спустя она повернулась и вышла. Швец дернулся было, хотел позвать ее... Нет, нет, подумал тут же, надо быть сильным! Сгорбившись, он опустил голову на сжатые кулаки. Слушал медленный скрип ступенек. И знал: ему будет трудно забыть тело Амели. Трудно будет забыть ее голос, смех.

Три дня! Рождественская торжественность, праздничный обед, большая месса. Швец жил в таком нервном напряжении, что и французская проповедь аббата заставила его прослезиться, хотя он, право же, понял из нее немного. Он увиделся с Бабаи, тот заверил его, что все будет в порядке и Швец может смело на него рассчитывать. Швец разговаривал с Бабаи наспех, опасливо озираясь: ему не хотелось, чтобы Амели еще раз увидела их вместе. Бабаи же не сторожился вовсе и просто не понял, отчего это Швец ни с того ни с сего от него отпрянул.

— Ну так как же,— крикнул он вдогонку,— ты идешь или нет?

Швец ответил, побагровев:

— Ясное дело...

Ибо в тот самый миг на церковной лестнице показалась Амели.

---

[1] Нет... нет, спасибо... *(франц.)*

[2] Не про меня, видно, счастье *(франц.)*.

И потому всю дорогу домой он терзался мыслью, не понял ли Бабаи его поведение превратно, не подумал ли, что он все еще не решился окончательно, и теперь, чего доброго, не придет в условленное место на берегу Мёз. Чем ближе подступал назначенный срок, тем нескладней, неустроенней виделась ему вся затея. Мадам Бертен рассказывала за обедом о давно минувших рождествах, Этьен звал после обеда гулять, просил покатать его на санках, а Швец в это время думал о том, не на двадцать седьмое ли уговорились они в последний раз с Бабаи... его пот прошиб при мысли, что они разминутся, потом он опять стал мучиться тем, не счел ли Бабаи, будто он, Швец, пошел на попятную. И в довершение всего отчаянные, молящие взгляды Амели, обращенные к нему! Сразу после обеда он поспешил к стогу люцерны взглянуть, там ли рюкзак, убедившись же, что все в порядке, испугался: вдруг кто-нибудь из домашних заметил, как он копается в люцерне, пять раз он отходил от стога и вновь возвращался, стараясь угадать, откуда его могло быть видно. Наконец наткнулся на Этьена, бежавшего ему навстречу с санками; малыш сразу же уселся в санки и потребовал, чтобы Швец бегом прокатил его по крепкому, замерзшему насту

— Tu es le cheval! [1] — кричал он. — Tu es le cheval!

Когда он наконец водворил Этьена в комнату, Амели там не было, но она вошла почти следом за ними. И увидела, что Швец смотрит на стену над ее кроватью: там опять висели те карточки, на которых Амели была сфотографирована вместе с Тео.

Двадцать седьмого, в последний день Швеца на ферме, нетерпение, возбуждение сникли; он проснулся с бесконечно тяжелым чувством. К тому же с мучительной головной болью — во сне он ссорился с Бабаи, Бабаи был пьян, сдуру расшумелся, поднял на ноги жандармов, жандармы схватили их и вернули в лагерь, там он опять валялся голый, на вшивых нарах, над ним склонялся Гашпар, смеясь, стучал по груди, спрашивал: «Это у вас ребра, не так ли?» Швец приподнял голову, чтобы глянуть на свое тело, и, увидев голые, обтянутые сухой кожей кости, с ужасом понял, что сейчас умрет.

Рассвет занимался пасмурный. Швецу не хотелось вставать, кровать не отпускала его; он закрыл глаза, заслонился еще и рукой; хоть немножко бы еще ни о чем не думать! — взмолился он про себя. На душе становилось все муторней. Неотступно преследовал ночной кошмар: почему во сне привиделась гибель, а не добрый какой-либо знак? Вдруг почудилось, что он захворал, быть может простыл: рубашка на нем была мокрой от пота, лоб сжимало точно обручем. Он испуганно нащупал пульс, потрогал горло — не хватало еще свалиться в жару! Вскочив на ноги, погляделся в зеркало. К счастью, все обошлось. Швец потер подбородок — с тех пор как он покинул Венгрию, у него стала расти борода, и вот уж год, как он бреется. Швец обрадовался щетине: было чем занять себя. Медленно, старательно он намылил лицо, направил бритву — хотелось забыться, забыть о времени. Но как ни тянул, нужно было идти к ним. На кухне мадам Бертен медленно жевала размоченные в молоке хлебные кубики. Амели, закутанная, только что вошла со двора и как раз собиралась одевать Этьена... В эту минуту, стоя на верху лестницы, Швец видел их так, словно они были не живые, словно это проплывали перед ним в воспоминании безмолвные туманные образы.

Всеми в доме овладела странная вялость, обычное состояние после богатых и милых сердцу праздников. Они почти не разговаривали, и Швецу было это на руку: меньше приходилось притворяться. Однако в безделье день тянулся бесконечно. Швец вызвался поправить дверцу в свинарнике — по крайней мере можно было выбраться во двор, на волю. Теперь возле него крутился только Этьен. Швец

[1] Ты моя лошадь! *(франц.)*

и правда увлекся работой, однако время от времени руки с инструментом опускались, не отвечал он и на вопросы ребенка — застыв, вперял перед собой неподвижный взгляд... Двойственность его положения не давала ему покоя: с одной стороны, просто не верилось, что еще несколько часов, и словно внезапная смерть разлучит его навсегда с остальными обитателями фермы — он никогда больше их не увидит; с другой стороны, он сам, колдующий тут над дверцей свинарника, представлялся себе же кем-то чужим, его уже не было здесь, он покинул, покинул ферму!

На свежем воздухе голова болеть перестала, лишь в груди ощущал он то же стеснение, с каким проснулся утром. Швец прерывисто, глубоко дышал, было такое чувство, что воздуха вот-вот не хватит и он задохнется. В течение дня тоска его лишь усилилась. К вечеру он почувствовал себя таким разбитым, что кружилась голова и он боялся упасть.

Сели ужинать. Этот долгий, нескончаемый ужин! Швец все старался подгадать так, чтобы поднести ложку ко рту в тот момент, когда обе женщины склонятся над своими тарелками: боялся, что дрожь в руке выдаст его. Мадам Бертен заговорила о том, что завтра надо будет наколоть дров, за праздники израсходовали все дрова, наколотые раньше. Швец, побагровев, закивал и тут же поспешил перевести разговор. На днях заходил Шарль, сказал он, пьян был, шапку свою искал. Мадам Бертен, рассмеявшись, стала вспоминать всякие историйки про Шарля, Этьен забавлялся от души и просил бабушку рассказать что-нибудь еще про пьянчужку-поденщика. Амели тоже иногда смеялась. А Швец, как тот Иуда на последней вечере, сидел, съежившись в конце стола, но ему потребовалась вся его воля, чтобы не крикнуть громко: «Прокляните же меня! Проклятите, ибо я предам вас!»

К счастью, мадам Бертен вскоре захотела спать и ушла к себе. Но Швецу нельзя было укрыться в своей комнате, он должен был знать, когда ляжет и Амели, когда затихнет весь дом. Все, что он брал с собой, уже лежало наготове, припрятанное под люцерной. В эту ночь он не собирался спать: чтобы поспеть к условленному месту до рассвета, выходить нужно было сразу поле полуночи. Амели еще мыла посуду, Швец, сидя возле лампы, листал воскресный номер местной газеты, он не прочел ни одной буквы — впрочем, и при иных обстоятельствах разобрал бы разве что несколько слов,— но делал вид, будто увлекся разглядыванием картинок. Амели не замечала его маневров. Она гремела тарелками, выплеснула воду во двор, стала перетирать посуду. Швец чувствовал, что иногда она смотрит на него, но не подымал глаз, хотя это было невыносимо тяжело. Наконец все затихло. Амели сняла фартук, помолчала.

— Veux-tu boire un verre de vin? [1] — спросила наконец чуть слышно.

Швец вздрогнул. И не посмел отказаться. Амели налила ему вина. Он уже отхлебнул было из своего стакана, как вдруг заметил, что и она собирается с ним выпить. Тогда он подождал ее. Амели залпом выпила свое вино, потом с той же усталой улыбкой, с какой в последние дни часто смотрела на Швеца, сказала:

— Je dormirai bien... [2]

Швец вскинул на нее ошеломленный, подозрительный взгляд. Возможно, Амели имела в виду действие вина. Возможно. Но он боялся, что эта короткая фраза относилась совсем к другому.

Амели ушла к себе. Он видел узел ее волос, затылок, колыхание голубого бумазейного платья, руку на дверной ручке. Он видел это в последний раз. Дверь затворилась. Швец вцепился пальцами в стол и долго сидел так, не сводя глаз с захлопнувшейся двери. По-

[1] Хочешь стакан вина? *(франц.)*
[2] Я буду крепко спать... *(франц.)*

том встал. Торопливо прошел по комнате, однако спешить было некуда. «Самое трудное еще впереди»,— подумал он. Сердце колотилось в горле. Хотя он действительно ни разу не посмел додумать свой замысел до конца, этот замысел жил в нем. Но пока еще только в мыслях. Еще ничего не свершилось. Швец поднялся к себе и ждал. Стоя у окна, из-за отодвинутой в сторону занавески смотрел в ночь. Скоро он будет в пути. Выйдет — и никогда больше сюда не вернется.

Он начал действовать после полуночи. Снял сапоги, чтобы не слышно было шагов. «Я вынужден так поступить,— уговаривал он себя,— речь идет о моей жизни. О жизни... нельзя же мне из-за такой мелочи просто сгинуть в пути... речь идет о жизни...» На лестнице он замирал после каждого шага, пугаясь малейшего шума. Впрочем, он вообще ничего не слышал, кровь клокотала в ушах, расширившимися глазами он вглядывался в темноту. На цыпочках пересек кухню. Буфет был не заперт, мадам Бертен подкладывала под дверцу сложенную в несколько раз бумажку, иначе она беспрерывно открывалась. Швец осторожно открыл дверцу. Деньги лежали в банке из-под компота. Он потянулся к ней, но вынужден был прижать сперва руку к груди: сердце бешено колотилось. «Мне эти деньги нужны позарез,— твердил он себе,— на дорогу нужны... иначе мне не добраться до дому...» Он уже два раза сделал попытку достать банку из-за стаканов и кувшинов, но движения были неверны, руки отчаянно дрожали. Наконец удалось. Несколько купюр он оставил на дне банки. Сунул деньги в карман, осторожно притворил дверцу, одним духом взлетел к себе. И без сил привалился к дверному косяку. Прошло немало времени, пока он собрался с силами, обулся в свои солдатские ботинки и надел новый свитер: лихорадочная дрожь все не унималась. Затем, опять крадучись,— вниз; там — бесшумно отворить дверь, затворить за собой... пока он выбрался во двор, совсем обессилел. Вытащив из-под люцерны рюкзак, с трудом закинул его за спину и, обойдя дом, по обсаженной деревьями дороге покинул усадьбу.

Было темно, снег скрипел под ногами, мороз прошибал до слез. Швец торопился. Пар клубами вырывался у него изо рта, когда, тяжело отдуваясь, он выбрался на шоссе. Дорога сама вела его, он шагал, уцепившись большими пальцами за лямки рюкзака и глядя на снег под ногами. Красный дом, окруженный серой каменной оградой, затерялся в ночи. Там мирно спали его хозяева, те трое, ему поверившие, его полюбившие. Но сейчас Швец не думал о них. Его вела вера в то, что он действует правильно, что иного выбора у него нет. Да и был ли он, выбор? Разве не вынуждены мы любой ценой следовать назначенным нам путем? Швец ли решил покинуть Амели, покинуть предназначенную ему ферму — или этот день, этот час, когда он пустился в путь, должен был прийти независимо от его воли? Но если так, вправе ли мы наказывать или прославлять себя за какие бы то ни было наши поступки? Верно одно: бóльшая часть наших намерений — это добрые намерения, по крайней мере вера в это всех нас поддерживает...

Швец верил, что меняет хорошее на лучшее, что его призывает в путь сознание долга, что, как бы там ни было, он должен уступить необоримому влечению — да, он должен вернуться на родину, вернуться в те края, где он родился, вернуть матери сына, ибо сын тоже вправе вновь увидеть ту, что дала ему жизнь.

Мы не ведаем нашей судьбы, мы лишь вечно куда-то стремимся. Мы почти не отличаемся от перелетных птиц, кочующих с севера на юг и с юга на север. Различие между нами и птицами лишь в том, что нам известно: совершаем поступки мы сами.

Швец шагал и шагал по дороге; это оказалось целительно, мучительная напряженность наконец отпустила его. Полтора часа спустя

он шел уже по берегу реки. Мимо проплывали льдины, ветви ив покрывал иней. Совиное уханье остановило его. У тропы, ведущей в селение, в нескольких метрах от рыночных весов, навстречу ему вылез из канавы Бабаи.

— А я и водки прихватил,— сказал он со смехом,— давай-ка прямо сейчас и тяпнем по глотку, так-то оно будет лучше.

Водка обоих взбодрила. Бабаи, опять разъясняя свой план, начертил предстоящий им маршрут на выкраденной у учителя карте.

— Уж я в этих делах соображаю,— хвастался Бабаи: в армии он служил денщиком у штабного офицера.

Швец доверился своему спутнику.

В первые дни все шло как по маслу. Оба они набрались сил, к тому же еды, питья было вдоволь. Тогда еще Швец не знал, что их паломничество растянется на месяцы, что настанет время, когда он, без гроша за душой, станет подбирать на улицах хлебные корки, рыться в мусорных ящиках. Тогда он еще не подозревал, что в Штутгарте Бабаи от него отстанет, объявив, что с него хватит этих безнадежных блужданий среди нескончаемой зимы. Он не поверил бы — хотя ведь высчитывал, сколько сотен километров предстоит им пройти,— что только к лету доберется до родных мест, что там его никто и ничто не ждет, кроме дома с забитыми досками крест-накрест окнами и дверями (его мать умерла в феврале сорок седьмого — обнаружилась опухоль в животе, ее оперировали в Шопроне, и домой она уже не вернулась),— нет, такому он попросту не поверил бы.

В новогоднюю ночь они перебрались через границу возле Саргемина. У них оставалось еще немного водки, выпили. Швец думал об Амели. Он слегка захмелел, да и успех, до сих пор им сопутствовавший, горячил его. «Ишь, развесила по стене карточки,— бормотал он про себя. — Опять вынула те фотографии, с Тео...» Он представлял все дело так, будто разочаровался в Амели. Несправедливость к ней была ему сейчас необходима.

(Когда мы встретились у трамвайной кассы, он сидел там уже несколько дней, продавая билеты. Меня, как я говорил, едва признал. Совсем старик, подумал я, а ему ведь сорок, не больше.

— Может, высвободишься на полчасика? — спросил я. — Опрокинули бы по фрёчу[1].

— Я не пью,— сказал он. — Отвык. Я свое выпил. В общежитии предупредили: если не завяжу, выставят.

— Ты живешь в общежитии?

— Да вот, понимаешь, повезло: разрешили. Я ж старый холостяк, мне эдак-то лучше всего. И плата — гроши... несколько форинтов... Постельное белье дают, топят хорошо. В комнате нас четверо, но кого-нибудь всегда нет, работа посменная. Даже готовить себе можно. Только вот женщин приводить запрещается... и, если пьяный явишься, не впускают. Приходится внизу сидеть, в холле, покуда не протрезвеешь... — Он засмеялся. — Ты-то как?

— Хорошо, спасибо... Послушай, а куда тебя перевели, когда от нас взяли?

— А ты и не знаешь? В Р., в рабочую роту. А мне вроде помнится, что читали про это приказ по полку. Оттуда я и демобилизовался... потом вот в трамвайщики поступил. Да только скоро прихватила меня эта хворь паскудная. Счастья мне, вишь, не было... Теперь-то живу хорошо. Есть у меня радио, слушаю иногда. В кино хожу. Иной раз из одного кинотеатра выйду, в другой иду. Бывает, уж и голова кругом, а я смотрю и смотрю...

Он умолк, покачал головой.

— Ну и дела, гляди-ка ты, узнал ведь!)

[1] Смесь натурального вина с содовой водой.

АЛЬФРЕДО ВИВАР

Вариации

Природа
Любовь
Одиночество

Вступление и перевод с испанского
Сергея ГОНЧАРЕНКО

В 1976 году в Боготе скончался великий «алхимик слова» и «певец противуречий» Леон де Грейфф. Известный колумбийский критик писал тогда: «Хотя де Грейфф — один из крупнейших поэтов Латинской Америки, в латиноамериканской поэзии нет ничего сколько-нибудь похожего на его стихи инструментарием звукосмысловой техники». А между тем, можно сказать, неподалеку — в Эквадоре — в типографии университета г. Куэнки уже лежала рукопись первой книги Альфредо Вивара — «Вариации».

Была она, с одной стороны, бесконечно далека от всего, что выходило из-под пера лирического «пересмешника» де Грейффа (в том числе и от опубликованных в 1932 году его «Вариаций на тему пустоты»), но с другой — почти безупречно повторяла, вернее, не повторяла, а подхватывала и продолжала, как раз «звукосмысловой инструментарий» знаменитого колумбийца. В ней можно было обнаружить все разложенные литературоведами по полочкам «уникальные» признаки грейффовской поэтической техники. Тут и концентрированная (в духе испанского барокко) игра слов, целенаправленно «остраняющая» (по В. Шкловскому) звучанье и значение стиха — в результате такой насыщенной многосмыслием звукописи поэтическое слово обнаруживает в себе неожиданные семантические сферы, не предуказанные ему нормой «практической» речи:

...билась тонкой жилкой
била током
точка
притяжЖенья...

Тем самым поверхностная «музыка звука» перетекает здесь в глубинную «музыку мысли», что так или иначе, конечно же, характерно для всякого истинного поэта, но тем не менее в испаноязычной традиции нигде еще до Грейффа не проявлялось в столь концентрированном и самоцельно-самоценном виде. Тут и массированные приемы грамматической «тайнописи» — так называемой «каллиграмматики», поэтически трансформирующей морфологию и синтаксис естественного языка:

карие крылья мед-но-мед-ленных ресниц —
ласточки...
всплываю в корчах в карий круг
ко(рабле)-к(рушенья)
боже мОЙ!

И так далее — вплоть до столь странных для экваториальной страны славянизмов типа «тройки» и «саней», а самое главное — до «паронимического акробатизма», как один эквадорский поэт сочувственно аттестовал пристрастие А. Вивара сводить вместе паронимы, то есть близкозвучные, но разносмысленные слова, добывая из их столкновения «божию искру».

Выходит, что описанный В. П. Григорьевым[1] протяженный и направленный «паронимический взрыв» в русской поэзии XX века (взрыв, подготовленный творчеством В. Хлебникова и длящийся в стихах не только В. Маяковского, Б. Пастернака, М. Цветаевой, но и многих наших современников, будь то А. Межиров, Е. Винокуров или А. Вознесенский) подспудно вызревал и в испаноязычной лирике — латиноамериканские критики назовут его позднее «лингвистической детонацией»[2].

«Вариации» — первый и поздний поэтический сборник А. Вивара, увидевший свет, когда автору было сорок четыре года и он уже не только успел закончить три факультета — строительный, архитектурный и философский — в университете г. Куэнки, но и снискал признание как тонкий мастер графики и акварели, а заодно и как одаренный режиссер местного драматического театра. Нельзя сказать, чтобы «Вариации» принесли ему шумный успех (как, впрочем, в свое время и «Вариации» де Грейффа — колумбийскому поэту). Литературная известность пришла позднее, в 1986 году, после выхода двух первых томов его семичастной «Песни, у которой нет конца» («SONSINFIN»). Тогда-то и вспомнилась первая книга, и оказалось, что уже в ней автор в полной мере засвидетельствовал яркий талант особого свойства, которое у нас М. Бахтин определил как умение поэта «выжимать все соки из языка».

«Поэтическую речь живит блуждающий, многомысленный корень» — эта фраза О. Мандельштама вполне могла бы стоять среди шести эпиграфов к «Вариациям» А. Вивара. Ее там нет. Но зато помещена цитата из Маяковского: «На мне ж с ума сошла анатомия: сплошное сердце — гудит повсеместно...»

* * *

Кто мне скажет
какая звезда
одиночества
ночи
очнулась
у тебя
в очах?

* * *

Сколько бесёнков
бессонного солнца
у тебя в гала-галактике глаз...

Бродят медом под бронзовой крышей
бровей
карие крылья мед-но-медленных ресниц —
ласточки...
Слиться глазами
как сплести пальцы...
Па-а-даю
в родниковую голубизну
галактической глуби
всплываю в корчах в карий круг
ко(рабле)-к(рушенья)
боже мОЙ!

В маг-и-маг-нитной сумятице
кромешно — крамольного моря
стрелка не выстрелит в север...
все... всё...
люби-
мая
моя.

---

[1] В. П. Григорьев. Поэтика слова. М., 1979, с. 251—299.

[2] Jorge Dávila Vázques. En la puerta del infinito son. Cuenca, 1987, p. 7.

* * *

Донизу: до дна
донырнул
дотянулся
день

Тень
тонет:
тянет тину
тьмы

Сердце колотится
как голос
в колодце:
чужое

Минус минута —
много ли
минуло?
Микро-миг
Но
нота ночи
снищет снова
сноп света:

взор зрячей
зари
заряженной зароком —
не зарубцуется зарубка:
ты. Только что
билась тонкой жилкой
била током
точка
притяжЖенья
Все Исчерпан
счет Но — память
Вычеркнуты ли черты?
Черта с два
Черная черта не чтима
и не чета
чуду
чу:
печется
мечется
печаль
мечты:
меч-
ты.

* * *

Любимая моя
Любима-я
Я
зову тебя
почти что воя

Рог ли рок трубит —
пусть...
Барабанит
пульс
Пусто без твоих
глаз ладоней уст:
усталь грустная

И тропа темна
и стопа слепа

и мутна луна —
словно мертвая

Люблю $\frac{\text{тебя}}{\text{ее}}$ $\frac{\text{слышишь ли?}}{\text{слыши-те?}}$

Л ю б л ю т е б Я
не остерегшись остри-я
Я
кану в эту стынь и синь
Солнце в моем оконце...
Сон невесомый солнца
Солнечно — синяя полынь
Не окинуть тебя
не покинуть тебя
не поки-и-инь!

* * *

Варварский ветер
ворвался вором! Вырвал
комель с корнем... Вверг
в ветреную веру:
в роман и ром ромашки
в лепоту и лепру
лепетанья лепестков:
любит в глубине...?
глупая не любит...?

«Да» ли льда?
«Нет» ли льна?
Колется каленый лен
но льну ко льну
Выли ли Вы?
Лю-би-ли ли
лю-би-
мых?

Перепелиное перо
перепишет тишину
вверенного ей веретена
вертикального ветра:
верь в верх, ветвь!

Перо ли лепестка
лепет ли трепет ли
пернатых листьев —
любовь! на ниточке твоей
вишу —
завишу...

* * *

Зря ли душа зарыла взор
в зарю?
В зарослях
вселенной
нет уголка
в который бы ты
не вселилась
Ты — всюду

Всю тебя
помню —
понимаешь?
Переполнен тобой
полонен
ополоумлен
каждый миг
моей крови

* * *

Опять брести, вестимо, и про
вести,
которые весна несет в горсти,
вести беседу с ветром...
С ним же вместе
грустить:
мол, надо ж так
не повезти!
Поет
петух,
и куры
на насесте
кудахчут:
нынче
жемчуг
не
в чести!
Ah, mamma mia,
так не повезти!
Нить памяти,
однако же,
нанижет
все,
до словечка,
время наших встреч:
твой профиль,
губы,
грудь,
и все, что ниже.

и все,
что выше,—
трепетную
речь.

Что, в сущности,
от яви и от сути
твой, память,
не вберет
стереоскоп?

Ее дыханье?
Жуть ли
перепутья?
Ее
язык,
сквозь губы
льнущий?

Стоп!
Не в этом дело.
Мир воспоминаний?

Мир призраков?

Вранье
и
воронье!

Вот, логос,
твой подлог:
река — в лохани?!
Весь мир твой
пуст,
поскольку —
без НЕЕ!

* * *

Раз — и свет!

Во мне светает утро.
Утро пробирает до нутра.
Сон — как солнце.
Снег во сне...
И мудро
было б тройку
мне запрячь с утра.
Ах, белым-белы и снег, и кони,
и в пегасах ветер не угас.
То ли ускользаю от погони?
То ли настигаю, беглых, нас?
Сани сами бросили
касанье
с настом, с настоящим —
в пустоте
я лечу,
приятый небесами,
в красно-
сине-
белой
черноте.
Безгранична бесовская бездна,
но в единой сходится
звезде.
Значит, расстоянье бесполезно,
и конец разлуке нашей...

Где?!

■

УМБЕРТО ЭКО

Имя розы

РОМАН

Перевод с итальянского Е. КОСТЮКОВИЧ

День шестой

Шестого дня
ПОЛУНОЩНИЦА,

где князи восседают, а Малахия валится на землю

Мы сошли к полунощнице. Этот час окончания ночи, когда уже, можно сказать, нарождается новый неотвратимый день, был все еще полон тумана. Пересекая церковный двор, я чувствовал, как сырость проникает в тело до самых костей. Вот расплата за неспокойные сны! Хотя в церкви было тоже холодно, я вздохнул с облегчением, опускаясь на колени в тени ее вольт, в укрытии от стихий, в островке тепла, исходившего от других тел и от жаркой молитвы.

Пение псалмов только началось, когда Вильгельм указал мне на пустое седалище в ряду напротив нашего, между Хорхе и Пацификом Тиволийским. Это было место Малахии, который всегда усаживался сбоку от слепого. И не мы единственные обратили внимание на его отсутствие. С одной стороны, туда же был устремлен беспокойный взгляд Аббата, который, конечно, уже научился понимать, сколь мрачным предзнаменованием может оказаться такая пустующая скамья. По другую сторону находился старый Хорхе, как я заметил — тоже охваченный сильным волнением. Лицо старика, обычно непроницаемое из-за его белых потухших очей, было затенено на три четверти. Но нервность и тревогу выдавали руки. То и дело рука его тянулась вбок, к месту соседа, и отдергивалась, удостоверясь, что место это пустует. Он повторял и повторял свое движение через ровные промежутки времени, как будто надеялся, что отсутствующий с минуты на минуту явится. Но и опасался, что он может не явиться уже никогда.

«Где же это библиотекарь?» — прошептал я Вильгельму.

«Малахия,— отвечал Вильгельм,— оставался единственным держателем той самой книги. Если не он совершил предыдущие убийства, тогда может статься, что он и не знает об опасностях, скрытых в ней...»

Добавить было нечего. Только ждать. И все выжидали: мы, Аббат, продолжавший сверлить глазами пустую скамейку, Хорхе, продолжавший водить рукой в темной пустоте.

Когда литургия кончилась, Аббат напомнил монахам и послушникам, что следует готовиться к большой рождественской обедне. И по-

Окончание. Начало см. в № 8, 9.

сему, как принято издавна, время, остающееся до хвалитных, будет отдано совершенствованию хорового пения некоторых песней, положенных к рождеству. Хотя надо сказать, что эта семья богомольцев и без того в момент служения сливалась в некое единое существо, в единый голос, и чувствовалось, что в обращении долгих и долгих лет создана такая общность, когда как будто одна-единственная душа исторгается в пении.

Аббат начал. Запели «Sederunt»:

«Восседают князи,
Собираются против меня,
Замышляют неправедно,
На меня ополчились.
Пособи мне, о Господи,
Боже мой, упаси же меня.
О яви Твое величайшее милосердие...»

Я подумал, что неспроста Аббат выбрал именно этот градуал именно для этой ночи, в которую на богослужении среди нас в последний раз присутствовали посланники князей мира (...). Но мысли мои, унесшиеся было далече, внезапно замерли и остановились. Потому что, глянув на место Малахии, все еще во власти задумчивости и поглощенный песнопением, я вдруг различил среди других молельщиков фигуру библиотекаря. Как будто он никуда и не пропадал. Я повернулся к Вильгельму и прочел в его глазах выражение облегчения, и то же самое — во взгляде Аббата. Насколько я мог разобрать издалека. А Хорхе снова вытянул вбок руку и, встретив сбоку тело соседа, сразу ее отдернул. Но что касается его чувств, и было ли среди них облегчение, тут я судить не могу (...).

Монахи-бодрственники обходили ряды с фонарями, поднимали свет, заглядывали в лицо поющим, следили за каждым и как могли изгоняли дремоту тела и души. Поэтому именно один из бодрственников первый, прежде всех нас, заметил, что Малахия как-то странно покачивается из стороны в сторону, как будто он оглушен внезапно налетевшей дремотой и бредет по туманной дороге сна. Что могло быть вполне естественно, если ночью он не спал. Монах поднял фонарь к лицу Малахии. Тут и я взглянул более внимательно. Тот как будто не почувствовал света. Монах тронул его за плечо. Библиотекарь грузно повалился вперед. Монах еле успел подхватить его, а не то бы он грянулся об пол.

Песнь замерла, голоса стихли, началась суматоха. Вильгельм мгновенно сорвался с места и в два прыжка был уже там, где Пацифик Тиволийский и бодрственник опускали на землю Малахию, потерявшего сознание.

Мы подоспели почти в одно время с Аббатом. В свете фонаря нам предстало лицо несчастного. Я уже описывал наружность Малахии. Но той ночью, при том освещении, лицо его было ликом самой смерти. Заострившийся нос, глаза в черных кругах, запавшие виски, побелевшие, съежившиеся уши с вывернувшимися наружу мочками. Кожа лица вся как будто заскорузла, натянулась, пересохла. На скулах проявились желтоватые пятна и щеки вроде бы обтянуло какой-то темной плевой. Глаза были еще открыты. Дыхание натужно вырывалось из опаленных уст. Он широко открывал рот. Наклонившись позади Вильгельма, приникшего к умирающему я из-за его плеча разглядел, как в оцеплении зубов колотится совершенно черный язык. Вильгельм приподнял лежащего, обхватил за плечи, рукой отер пот, заливавший лицо Малахии. Тот ощутил чье-то касание, чье-то присутствие, вперил взгляд в какую-то точку прямо перед собой, разумеется, ничего не видя и, конечно, не различая, кто перед ним. Трясущейся рукой он дотянулся до груди Вильгельма, вцепился в

одежду и рванул его к себе. Теперь лицо его почти соприкасалось с лицом Вильгельма. Малахия напрягся всем телом и прохрипел: «Меня предупреждали... Это правда... В нем сила тысячи скорпионов...»

«Кто тебя предупреждал? — спрашивал, склонясь к нему, Вильгельм.— Кто?»

Малахия хотел еще что-то сказать. Но тело его пронзила ужасная судорога. Голова откинулась навзничь. С лица сбежали все краски, всякая видимость жизни. Он был мертв.

Вильгельм поднялся на ноги. Рядом стоял Аббат. Вильгельм взглянул на него и не сказал ни слова. Потом увидел, за спиной Аббата, Бернарда Ги.

«Господин Бернард,— обратился к нему Вильгельм,— кто же убил этого человека, если вы так великолепно поймали и обезвредили всех убийц?»

«У меня не надо спрашивать,— отвечал Бернард.— Я никогда не говорил, что правосудию преданы все злодеи, обосновавшиеся в этом аббатстве. Я, конечно, охотно выловил бы их всех... будь моя воля...— и смерил взглядом Вильгельма.— Теперь же в отношении остальных приходится рассчитывать на суровость... или, скорее, на излишнее попустительство его милости Аббата». Услышав это, Аббат, молча стоявший рядом, побелел как мел. Бернард удалился.

Тут до слуха донеслось какое-то еле слышное повизгивание, хлюпанье, всхлипыванье. Это был Хорхе. Он так и не поднялся с колен, со своего места в хоре. Его поддерживал какой-то монах, по-видимому, описавший ему происшедшее.

«Это никогда не кончится...— выговорил Хорхе прерывающимся голосом.— О Господи, помилуй всех нас!»

Вильгельм еще на мгновение наклонился над мертвецом. Взявшись за запястья, он повернул руки трупа ладонями вверх. Подушечки первых трех пальцев правой руки были черного цвета.

Шестого дня
ХВАЛИТНЫ,

где назначается новый келарь, но не новый библиотекарь

Наступил ли уже час хвалитных? Или дело происходило до того? Или позднее? С этой минуты я потерял ощущение времени. Может быть, прошло несколько часов, а может быть, и нет. В общем, за это время тело Малахии успели уложить в церкви на носилки, а собратья полукругом выстроились около него. Аббат отдал распоряжения насчет будущих похорон. Я слышал, как он подзывает Бенция и Николая Моримондского. Менее чем в одни сутки, сказал он, аббатство лишилось и библиотекаря и келаря. «Ты,— обратился он к Николаю,— примешь дела Ремигия. Тебе известно, кто и чем обязан заниматься по нашему аббатству. Подбери человека себе в замену на кузню. А сам займись тем, что необходимо для сегодняшних трапез. Распоряжайся в кухне, в трапезной. От богослужений освобождаешься. Ступай.— Потом обратился к Бенцию: — Тебя вчера как раз назначили помощником Малахии. Позаботься об открытии скриптория и следи, чтоб никто самовольно не подымался в библиотеку». Бенций робко заикнулся, что еще не посвящен в тайны хранилища. Аббат смерил его тяжким взглядом. «Нигде не сказано, что будешь посвящен. Твое дело — следить, чтоб работы не останавливались и исполнялись с усердием, как моление за упокой погибших собратьев... И за тех, кому еще суждено погибнуть. Пусть каждый ограничивается книгами, которые уже выданы. Кому надо, может смотреть каталог. Больше ничего. Ты освобождаешься от вечерни и во время богослужения запрешь Храмину».

«А как же я выйду?» — спросил Бенций.

«Ах да. Хорошо. Я сам запру после вечерней трапезы. Ступай».

И оба вышли, сторонясь Вильгельма, который пытался заговорить с ними. В хоре осталось совсем немного народу: Алинард, Пацифик Тиволийский, Имарос Александрийский и Петр Сант-Альбанский. Имарос ухмылялся во весь рот.

«Возблагодарим Господа,— сказал он.— После смерти этого германца приходилось опасаться, что назначат еще большего варвара».

«А теперь кого, вы думаете, назначат?» — спросил Вильгельм.

Петр Сант-Альбанский загадочно улыбнулся: «После всего, что мы видели в эти дни, вопрос уже не в библиотекаре, а в аббате».

«Замолчи»,— оборвал его Пацифик. Вмешался Алинард со своим бессмысленным взглядом: «Они подстроят новую несправедливость... Как в мое время... Нужно помешать им...»

«Кому?» — спросил Вильгельм. Тут Пацифик Тиволийский доверительно взял его под руку и отвел подальше от старика, к входной двери.

«Ох, этот Алинард... Ты ведь знаешь, что мы все его очень любим. Он для нас олицетворяет древность, традицию, лучшие времена аббатства... Но иногда он сам не знает что говорит. А назначением нового библиотекаря мы очень интересуемся. Нужно найти достойного человека, зрелого, мудрого... Вот и все».

«Он должен знать греческий?» — спросил Вильгельм.

«И арабский. Таково правило. И для работы это ему нужно. Но среди нас есть многие с такими данными. Я, грешный... и Петр, и Имарос...»

«Бенций тоже знает греческий».

«Бенций слишком молод. Не знаю, чего ради Малахия вчера взял его к себе в помощники. Хотя...»

«Адельм знал греческий?»

«Кажется, нет. Точно нет. Не знал ни единого слова».

«Но греческий знал Венанций. И Беренгар. Прекрасно. Большое спасибо».

Мы вышли и направились на кухню слегка закусить.

«Зачем вы выясняли, кто знал греческий?» — поинтересовался я.

«Затем, что все, кто умирает с черными руками, знают греческий. Логично предположить, что очередным мертвецом будет также кто-то из знающих греческий. Включая меня. Ты вне опасности».

«А что значили последние слова Малахии?»

«Ты же слышал. Скорпионы. Пятая труба знаменует, среди прочего, появление саранчи, которая должна мучить людей своим жалом, подобным жалу скорпионов. Тебе это известно. А Малахия дал нам понять, что кто-то ему что-то похожее предсказал».

«Шестая труба,— пробормотал я,— предвещает коней, у которых головы как у львов, изо рта их выходят огонь, дым и сера, а на них всадники, одетые в брони цветов огня, гиацинта и серы».

«Это как-то чересчур. Хотя... Не исключено, что следующее преступление произойдет возле конюшен. Придется посматривать туда... Так. Дальше. Потом прозвучит седьмая труба. Значит, будет еще две жертвы. Кто самые вероятные кандидаты? Если предмет убийства, как и прежде, предел Африки — значит, в опасности все, кому известна его тайна. По моему представлению, из таких людей остался в живых один Аббат... Но, конечно, за это время могла перемениться и вся интрига. Как мы только что слышали,— ты ведь слышал? — затевается заговор с целью смещения Аббата. Алинард называл кого-то «они». Во множественном числе...»

«Надо предупредить Аббата»,— сказал я.

«О чем? Что его убьют? У нас нет убедительных доказательств. Я исхожу из того, что преступник рассуждает примерно так же, как я. А что, если у него другая логика? И прежде всего... Что, если здесь не один преступник?»

«Как это?»

«Я сам еще толком не разобрался. Но ведь я тебя учил, что всегда надо попробовать вообразить любой возможный порядок. И любой возможный беспорядок».

Шестого дня
ЧАС ПЕРВЫЙ,

где Николай повествует о самых разных вещах, показывая гостям крипту с сокровищами

Николай Моримондский в своем новом качестве келаря отдавал распоряжения поварам, а те отдавали ему отчет относительно разных кухонных служб. Вильгельм хотел поговорить с ним, но тот попросил обождать несколько минут. После чего, пояснил Николай, он сойдет в крипту, где располагается сокровищница, и будет лично следить за работой тех, кто чистит ризы. Это часть его былых обязанностей, за которую он отвечает и теперь. Там он будет более свободен и изыщет время для беседы.

И действительно, вскорости он предложил следовать за ним. Мы вошли в церковь, завернули за центральный алтарь (в это время монахи устанавливали в одном из нефов катафалк и готовились ко бдению у тела Малахии). Вслед за Николаем мы спустились по небольшой лесенке и попали в зальцу с очень низким потолком, нависавшим над массивными столбами из необработанного камня. Это была крипта. В ней хранились богатства монастыря. Та самая сокровищница, которую Аббат оберегал более чем ревниво и вход в которую дозволял только в самых крайних обстоятельствах и самым значительным гостям (...).

Лицо Николая, когда он показывал нам сокровища, просто светилось. Все движения были исполнены величайшей гордости. Вильгельм похвалил увиденные вещи, а потом спросил у Николая, что за человек был Малахия.

«Странный вопрос,— сказал Николай.— Ты ведь с ним тоже был знаком».

«Да, но недостаточно. Я никак не мог понять, какие мысли он скрывает... И...— Он помедлил. Видимо, совестился говорить подобное о недавно почившем.— И было ли что скрывать».

Николай послюнил палец, провел по грани кристалла, там, где заметна была легкая шершавость. Потом ответил, пряча глаза и усмешку: «Вот видишь, тебе не о чем расспрашивать. Так и есть. Кое-кому Малахия казался мрачным мыслителем. А на самом деле это был очень простодушный человек. По словам Алинарда, дурак и больше ничего».

«Алинард обижен на кого-то за какие-то давние дела. За то, что тогда ему не дали занять место библиотекаря».

«Да, я тоже что-то такое слыхал. Но истории этой очень много лет. Пятьдесят. Или больше. Когда я поступил сюда, библиотекарем был Роберт из Боббио, а старики были недовольны и ворчали, что вроде какая-то несправедливость допущена в отношении Алинарда. Но я не стал углубляться. Потому что не хотел проявлять неуважение к старшинам ордена. И не хотел раздувать сплетни. У Роберта был помощник, который скоро умер, и на его место назначили Малахию, в то время еще совсем молодого. Многие были недовольны. Говорили, будто он не заслужил. Будто он утверждает, что знает греческий и арабский, а это неправда. И будто он не более чем способная обезьяна, которая переписывает красивым почерком рукописи на этих языках, а сама не понимает, что переписывает. Говорили, что библиотекарь должен быть гораздо более образованным человеком. Алинард, который тогда был еще в расцвете и полон сил, отзывался об этом

назначении с большой горечью. Он намекал, что пост отдан Малахии только из-за интриг одного его заклятого недруга. Но я не понял, на кого он намекает. Вот все, что я знаю. У нас часто шептались насчет Малахии, что он сторожит библиотеку, как цепной пес, сам не понимая, к чему приставлен. С другой стороны, стали злословить и о Беренгаре, как только Малахия выбрал его себе в помощники. Говорили, что он не понятливее своего учителя, что он обыкновенный интриган... И еще говорили... Да ты, наверно, и сам слыхал сплетни... что существовала некая особая связь между ним и Малахией... Ладно. Дело прошлое. При этом, как ты, должно быть, знаешь, то же самое говорилось насчет Беренгара и Адельма. Молодые писцы уверяли, будто Малахия страдает от тайных мук ревности. Кроме того, сплетничали и о взаимоотношениях Малахии с Хорхе. Нет, нет, не в том смысле. Не подумай только! Никто и никогда не сомневался в чистоте Хорхе! Речь о другом. Малахия, став библиотекарем, был обязан, по традиции, ходить на исповедь к Аббату, тогда как все остальные монахи исповедуются Хорхе. Или Алинарду. Но старик сейчас уже почти совсем слабоумен... Ну так вот. Все знали, что несмотря на это Малахия предпочитал советоваться с Хорхе. Очень часто ходил к нему. Получалось, что Аббат направляет его душу, а Хорхе руководствует телом, поступками, всеми трудами. С другой стороны, как ты, наверное, и сам знаешь... Полагаю, ты не раз наблюдал... В общем, всякий, кому были нужны сведения насчет древних и забытых книг, обращался не к Малахии, а к Хорхе. Малахия заведовал каталогом и ходил в библиотеку, но только Хорхе знал, что обозначается тем или иным названием...»

«А почему Хорхе так хорошо знает библиотеку?»

«Он самый старый, не считая Алинарда. Он здесь с ранней юности. А сейчас ему уже больше восьмидесяти. Зрение он потерял, по слухам, в сорок... Или раньше...»

«Как же он успел изучить столько книг до слепоты?»

«О, о нем рассказывают чудеса. По рассказам, еще на мальчика на него снизошла благодать, и там у себя в Кастилии, еще не созревши телесно, он уже читал книги арабов и греческих риторов... Да и потеряв зрение, даже сейчас, он целыми днями сидит в библиотеке. Велит читать себе вслух каталог, потом заказывает книги, а какой-нибудь послушник их ему читает. Час за часом. Хорхе не знает устали. Он запоминает все. И помнит. Не то что выживший из ума Алинард. Но для чего ты меня расспрашиваешь обо всем этом?»

«Теперь, после гибели Малахии и Беренгара, остался ли хоть кто-нибудь посвященный в тайны библиотеки?»

«Аббат. И Аббат может передать секреты Бенцию. Если захочет».

«Почему ему не захотеть?»

«Потому что Бенций слишком молод, потому что, когда его назначали помощником, еще существовал Малахия... Это разные вещи — быть помощником библиотекаря и быть библиотекарем. Согласно традиции, библиотекарь потом становится Аббатом...»

«Ах, вот как! Вот почему на место библиотекаря столько желающих! Значит, и наш Аббон был прежде библиотекарем?»

«Нет. Аббон не был. Его назначение состоялось до того, как я попал сюда. Раньше тут аббатствовал Павел из Римини. Удивительный был человек. О нем рассказывали очень странные вещи. Он якобы был ненасытным читателем, знал наизусть все книги библиотеки. Но у него была редкая болезнь. Он не мог писать. Его звали «Неписьменным аббатом» — «Abbas agraphicus». Он сделался аббатом в самом молодом возрасте. Говорят, его выдвинул и поддерживал Альгирд Клюнийский, «Квадратный доктор». Но все это давние разговоры, пустые пересуды монахов... В общем, Павел был назначен аббатом. Тогда Роберт занял освободившееся место в библиотеке. Но его грызла какая-то хворобa, он сох и таял, и было понятно, что управлять

судьбами аббатства ему не под силу. Поэтому, когда Павел из Римини пропал...»

«Умер?»

«Нет, пропал, неизвестно куда. Однажды уехал по делам и не вернулся. Может, его убили разбойники где-нибудь по дороге... В общем, когда Павел пропал, Роберт не мог притязать на его должность. И начались какие-то темные дела. Аббон, говорят, был естественнорожденным сыном одного из здешних господ. Рос он в аббатстве Фоссанова. И рассказывают, что в самом юном возрасте он находился при Св. Фоме, когда тот умирал. А когда он умер, Аббон руководил выносом этого великого тела вниз по винтовой башенной лестнице, где было так узко, что гроб не удавалось развернуть... Но Аббон прекрасно справился. Это и был его звездный час, острили злые языки. Так или иначе, аббатом он был избран, хотя и не заведовал библиотекой. И кто-то, по-моему, тот же Роберт, ввел его в тайны книгохранения...»

«А сам Роберт за что был назначен?»

«Не знаю. Я всегда старался не слишком вникать в подобные вещи. Наши аббатства — пристанища святости. Но вокруг должности настоятеля, к сожалению, иногда плетутся чудовищные интриги. Я всегда занимался своими стеклами и своими кивотами и в другие дела не мешался. Теперь тебе понятно, почему я говорю, что не знаю, захочет ли Аббат обучать Бенция. Это значило бы прямо назвать его своим преемником. Доверить монастырь легковесному мальчишке, с его грамматикой и с его варварством, выходцу с крайнего Севера... Что он знает о нашей стране, о роли нашего аббатства, о связях с местными господами...»

«Но Малахия тоже не был итальянцем. И Беренгар. А библиотеку отдали им...»

«Темная история. Монахи брюзжат, что вот уже полвека как наше аббатство утратило все традиции. Оттого-то пятьдесят лет назад, или даже раньше... я не помню... Алинард и боролся за библиотекарское место. Библиотекарями здесь всегда бывали итальянцы. Слава Богу, у нас на родине способных людей хватает. А так видишь что получается.— И Николай замялся, как будто не решался выговорить, что у него на душе.— Видишь? Малахию и Беренгара убили. Возможно, их убили, чтоб они не стали аббатами».

Он содрогнулся и провел рукой по лицу, будто желая отогнать нечестивые помыслы. Потом осенился крестным знамением. (...) И повел нас смотреть реликвии, которые я вряд ли сумею толком описать из-за их невероятного количества и великолепия.

Там был, в ларце из цельного аквамарина, один из гвоздей со святого креста. В стеклянном сосуде, помещавшемся на подушке из маленьких засушенных роз, лежала частица тернового венца. А в другом кивоте, тоже на лепестках, покоился пожелтевший лоскут салфетки с тайной вечери. Затем был там кошель Св. Матфея, серебряный, кольчужной вязки, а рядом в трубке, опоясанной фиалковой лентой, полуистлевшей от времени. опечатанной золотой печатью, локтевая кость Св. Анны. Увидел я там и наичудеснейшее чудо: прикрытую стеклянным колоколом и уложенную на алую, расшитую жемчугами, ткань щепку от Вифлеемских яслей (...).

Вывел меня из самозабвения Вильгельм. Он тряхнул меня за плечо. «Я ухожу,— сказал он.— Мне нужно в скрипторий, кое-что еще выяснить».

«Но книг же не выдают,— сказал я.— Бенцию приказано...»

«Я посмотрю те книги. которые читал вчера. А они все как лежали, так и лежат в скриптории на столе Венанция. Ты, если хочешь, оставайся. Эти сокровища — прелестная иллюстрация к дискуссии о бедности, которую ты прослушал накануне. Теперь ты знаешь, ради чего твои собратья рвут друг другу глотки, когда грызутся за аббатский сан».

«Значит, вы приняли версию Николая? Значит, преступления связаны с борьбой за инвеституру?»

«Я же сказал, что пока что не хочу бросаться голословными гипотезами. Николай много о чем говорил. Некоторые вещи меня заинтересовали. И все-таки я должен проработать до конца еще один след. А может, это тот же самый след, но взятый с другого конца... Кстати, не очень обольщайся по поводу этих реликвий. Обломков креста я перевидал очень много и в самых разных церквах. Если все они подлинные, значит, нашего Господа терзали не на двух скрещенных бревнах, а на целом заборе...»

«Учитель!» — вскричал я, потрясенный.

«Но это так, Адсон. А бывают еще более роскошные реликвии. Когда-то в Кельнском соборе я видел череп Иоанна Крестителя в возрасте двенадцати лет...»

«Какое диво! — отозвался я с восхищением. И сразу же, усомнившись, воскликнул: — Но ведь Креститель погиб в более зрелом возрасте!»

«Другой череп, должно быть, в другой сокровищнице»,— невозмутимо отвечал Вильгельм. Никогда я не мог понять, шутит он или нет. У меня на родине, когда хотят пошутить, сперва произносят что-нибудь, а потом начинают хохотать, как бы приглашая всех окружающих посмеяться над шуткой. Вильгельм же смеялся только говоря о серьезных вещах. И оставался совершенно серьезным, когда, по моим представлениям, шутил.

Шестого дня
ЧАС ТРЕТИЙ,

где Адсон, слушая Dies irae[1]*,*
видит сон, или, скорее, видение

Вильгельм поблагодарил Николая и ушел в скрипторий. Я тоже уже успел налюбоваться сокровищами и решил перейти в церковь, помолиться за упокой души Малахии. Никогда этот человек мне не нравился, и боялся я его, и не скрою, что долгое время считал виновником всех преступлений. Но теперь я понял, что он, видимо, просто неудачник, истерзанный тайными страстями; сосуд скудельный между железных сосудов; свирепый лишь оттого, что нелепый; молчаливый и уклончивый лишь оттого, что ясно сознавал, что сказать ему нечего. Я испытывал какой-то стыд перед ним и надеялся, что молитва о его загробном успокоении снимет с моей души тяжкое чувство вины перед покойником.

Теперь церковь была освещена неяркими синюшными огнями. На катафалке возвышалось тело несчастного монаха. Всю церковь заполнял мерный шопот братии, читавшей заупокойную службу (...).

Я вторил братьям, почти не сознавая, какие слова выговариваются моими губами. Голова у меня покачивалась, глаза трудно было разлепить. Прошло много времени. Должно быть, я задремывал и просыпался не менее трех-четырех раз. Наконец хор завел «Dies irae». Гимн подействовал на меня, как наркотик, и дремота плавно перешла в сон, вернее не в сон, а в какое-то тревожное оцепенение. Почти лишившись чувств, скорчившись на холодном полу собора, я свернулся в клубок, как зародыш, не вышедший еще из материнской утробы. И вот во власти этой душевной одурманенности, переселившись в предел, не принадлежащий к нашему миру, я имел видение. Или сон. Не знаю точно, как лучше и назвать.

Я двигался по винтовой лестнице, проложенной внутри какой-то тесной каменной кишки. Я вроде бы шел в крипту с сокровищами.

---

[1] «День гнева» *(лат.)* — заупокойное песнопение.

Однако, когда наконец открылся выход (где-то очень глубоко внизу), я оказался в огромном помещении, еще более просторном, чем монастырская поварня, занимавшая низ Храмины. Да это и точно была поварня, но оснащенная не только печами и всяческой посудой, а наряду с тем — кузнечными мехами и молотами. Как будто здесь сошлись для своего дела еще и подмастерья Николая. Воздух пламенел от зарева печей и расплавленного железа; из огнедышащих кастрюль вырывался пар, а на поверхности варева вздувались, булькали большие круглые пузыри и с треском лопались, наполняя все вокруг густым непрерывным шумом. Повара скакали тут и там, размахивая вертелами, а среди них послушники, сошедшись тоже тут, сигали в воздух — кто выше,— стараясь достать куриц и прочую мелкую живность, насаженную на раскаленные железа. И рядом, в двух шагах, кузнецы лупили молотами с такою силой, что самый воздух, казалось, глох, и тучи искр вспархивали с наковален, сшибаясь на лету с другими искрами, вырывавшимися из двух натопленных печей.

Я не понимал, где нахожусь: в аду или, наоборот, в раю, устроенном по представлениям Сальватора, в раю, залитом мясными соками и трепещущем от жареных колбасок. Но не было времени задумываться, где я, потому что орава каких-то недомерков, каких-то карапузов с огромными, вроде ушатов, головами, взявшись непонятно откуда, накатилась на меня, потащила за собой в трапезную и впихнула силой в двери.

Все было убрано к балу. Огромные ковры и гобелены висели на стенах, но рисунки ковров были не такие, которыми обычно внушаются благоговейные мысли или прославляются доблести царей, а больше всего напоминали маргинальные иллюстрации Адельма, причем из всех его рисунков были выбраны самые нестрашные и потешные: зайцы, пляшущие вокруг куканского древа, рыбы, плывущие поперек реки и выпрыгивающие из вод прямиком на сковородку, хороводы обезьян, переодетых епископами-поварами, животастые уроды, вьющиеся в облаках пара вокруг котлов.

Во главе стола находился Аббат, наряженный, как на праздник, в облачении из расшитого пурпура. Он вздымал свою вилу, как скипетр. С ним рядом Хорхе, держа огромный кубок, тянул вино, а келарь, в одежде Бернарда Ги, набожно читал из книги, сделанной в виде скорпиона, жития святых и отрывки из Евангелий. Но во всех в них рассказывалось о том, как Иисус потешался над Апостолом, втолковывая ему, что он-де есть камень и на этом бесстыдном камне, катящемся по равнине, и придется ему основать свою церковь. Звучали и слова Св. Иеронима, толкующие Библию, о том, как Господь собирался обнажить зад Иерусалима. И на каждом стихе, прочитанном келарем, Хорхе с громким хохотом ударял кулаком по столу и орал: «Ты — будущий аббат, клянусь божьими потрохами!» В точности так он произносил: Господи спаси меня и помилуй.

По торжественному манию Аббата двери отперлись и показалась вереница дев. Блистательной толпой вплывали необыкновенно одетые красавицы, во главе которых, как мне сперва показалось, шла моя мать, но тут же я увидел, что обознался и что это передо мною, конечно же, та самая девица, ужасная, как выстроенное к битве войско. На голове у нее возвышалась корона из белых жемчужин, и к каждой жемчужине был привешен диамант величиной со сливу. (...) Что касается прочих дев, я не заметил, как они были одеты, потому что изо всех сил пытался понять, кто они, те, кому положено сопровождать девицу, внезапно уподобившуюся в моих глазах непорочной деве Марии. И обо всех женщинах я как-то дознавался, кто они. Как если бы каждая держала в руках или во рту табличку с собственным именем. Так я почему-то понял, что это Руфь, Сарра, Сусанна и другие женщины, знаемые из Священного Писания.

Тут Аббат гикнул: «Тащите, блядины дети!» И в трапезную вторг-

лась новая толпа святейших лиц, которых я распознал мгновенно. Одеты они были кто скромно, кто роскошно. Во главе этой ватаги возвышался Сидящий на престоле, и это был Пресвятый наш Господь, но в то же самое время и Адам, облеченный в пурпурную мантию и в массивное ожерелье, ало-белое от жемчугов и рубинов, удерживавшее мантию на плечах. А на голове у него была корона, такая же, как у девицы, и в руке тяжелая чаша, наполненная свиною кровью (...).

И вот, когда вошли и смешались оба шествия, по приказу Аббата Соломон стал накрывать стол к пиршеству, Иаков и Андрей приволокли копну сена, Адам уселся перед всеми, а Ева на листвии, Каин явился со своим сошником, а Авель с подойником, и пристроился доить Гнедка, Ной триумфально въехал на ковчеге, подгребая веслами, Авраам сел под деревом, а Исаак на церковный цельнозолотой алтарь, Моисей поместился на камне, а Даниил на катафалке, присоединившись к Малахии, Товия вытянулся на ложе, Иосиф запрыгнул на хлебную меру, Вениамин плюхнулся на мешок, и подобно поступили и иные, однако тут видение стало совсем смутно, Давид оказался на всхолмии, Иоанн на голой земле, Фараон на песке (разумеется, сказал я себе, но с какой стати?), Лазарь на столе, Иисус у колодезного сруба. (...).

В трапезной становилось все более людно, и все угощались за обе щеки, Иона принес к столу тыквы, Исаия — овощи, Езекииль — тутовые ягоды, Закхей — плоды смоквы, Адам лимоны, Даниил бобы, Фараон дыни, Каин волчцы, Ева — фиги, Рахиль — яблоки, Анания — сливы, крупные, как диаманты, Лия — луковицы, Аарон — оливы, Иосиф — яйцо, Ной — виноград, Симеон — персиковые косточки, а в это время Иисус распевал «Dies iгае» и радостно выжимал на все кушания уксус из маленькой губки, которую он снял с наконечника пики одного из лучников французского короля (...).

Все уже, без сомнения, очень сильно перепились, и одни повалились на пол, оскользнувшись на вине, а другие в кастрюли, и торчали только ноги, как две воткнутые жерди. А у Иисуса пальцы были выпачканы черным, и он всем подсовывал листы из книги, приговаривая: «Возьмите и съешьте, вот вам загадки Симфосия, в частности про рыбу, которая есть Сын человеческий и ваш Спаситель». И все опять упиваться, Иисус изюмным, Иона марсиковым, Фараон соррентским (с чего бы это?), Моисей гадитанским, Исаак критским, Аарон адрианским, Закхей ягодным, Фекла огневым, Иоанн альбанским, Авель кампанским, Мария синьинским, Рахиль флорентинским.

Адам поперхнулся, изблевал, и вино пошло у него из ребра. Ной сквозь сон поносил Хама, Олоферн храпел в безмятежности, Иона спал как убитый, Петр бодрствовал до петушьего крика, а Иисус внезапно пробудился, услыхав, как Бернард Ги с Бертраном Поджеттским сговариваются сжечь девушку. И воскричал: «Отче! Если только ты можешь! Да минует меня чаша сия!» И кто худо мешал, кто славно пил, кто умирал со смеху, а кто смеялся до смерти, кто вносил сосуды, а кто пил из чужой посуды. Сусанна вопила, что нипочем не уступит свое дивное белое тело келарю с Сальватором за поганое бычачье сердце, Пилат слонялся по трапезной, как неприкаянная душа, и выпрашивал у всех воды, чтоб ему помыть руки, а брат Дольчин в шляпе с пером подносил ему воду, а потом, хихикая, распахнул одежду, показывая багровый окровавленный лобок. А Каин дразнил его, тиская красавицу Маргариту Тридентскую. И Дольчин заплакал и удалился приклонить главу на грудь Бернарда Ги, величая того ангелическим папой. Убертин пытался утешить его древом жизни, а Михаил Цезенский золотым кошельком, обе Марии умащали его притираниями, а Адам уговаривал откушать свеженького яблочка.

После этого отверзлись своды Храмины и с небес опустился Рогир Бэкон, несомый махиною на воздусех плывущей, ею же един муж воссед правит. Тогда Давид заиграл на гуслях, а Саломея заплясала под семью покрывалами, и каждый раз, сбрасывая очередное покрывало, она дула в одну из семи труб и показывала одну из семи печатей, пока не осталась одетой только в солнце. И все приговаривали, что не бывало другого такого развеселого аббатства, и Беренгар задирал всем одежду, как мужчинам, так и женщинам, и целовал каждого в промежность. Тут пошли пляски, Иисус оделся учителем, Иоанн охранником, Петр сетеловителем, Немврод охотником, Иуда доносчиком, Адам садовником, Ева ткачихою, Каин разбойником, Авель пастырем, Иаков бегуном, Захария жрецом, Давид царем, Ювал гусляром, Иоахим рыбарем, Антиох кухарем, Ревекка — водоносицей, Молассадон — дураком, Марфа — прислужницей, Ирод — неистовым, Товия — лекарем, Иосиф — плотником, Ной — пьянчугою, Исаак — мужиком, Иов — страдальцем, Даниил — судиею, Фамарь — блудницею, Мария — госпожою, и стала требовать, чтобы слуги принесли еще вина, потому что сын ее, растяпа, никак не соберется претворить воду в вино. (...)

И среди прочих показывалась девица, невредимая и прекраснейшая, и говорила ко мне: «Все это ничего, ничего, вот увидишь, скоро я вернусь и буду еще лучше, чем прежде, дай только я на минуточку взойду на костер и сгорю, а потом мы увидимся вот где!» И показывала, прости меня Господи, свое лоно, и я устремился в него и попал в великолепнейшее ущелье, напоминавшее благодатный луг золотого века, росистый, с родниками и плодами, и с деревьями, на которых вызревали сыры под одеялом. И все, кто там был, хвалили Аббата за превосходный праздник, и благодарили, и, чтобы выказать свое расположение и свою любовь, молотили его кулаками, пинали ногами, рвали на нем одежду и валили его на землю, и лупили розгами по срамному месту. Он же похохатывал и умолял не делать ему так щекотно. Затем верхом на конях, у которых изо рта выходили облака серы, въехали братья бедной жизни, и у каждого на поясе колыхался кошель, набитый золотом, и посредством того золота они обращали волков в агнцев, а агнцев в волков, и тех волков короновали императорами при всенародной поддержке народной ассамблеи, распевавшей гимны во славу неизъяснимого всемогущества Господня. «Ut cachinnis dissolvatur, torqueatur rictibus!» [1] — голосил Иисус, подбрасывая терновый венец. Вошел папа Иоанн, распекая всех за беспорядок и приговаривая: «Раз пошли такие дела, не знаю, чем это все кончится!» Однако над ним все посмеялись и во главе с Аббатом отправились, взявши свиней, в лес за трюфелями. Я хотел идти со всеми, но в углу показался Вильгельм. Он шел из лабиринта. В руке у него был магнит, стремительно увлекавший его ко крайнему северу. «Не бросайте меня, учитель,— закричал я.— Я тоже хочу увидеть, что там, в пределе Африки!»

«Ты уже видел!» — был ответ Вильгельма откуда-то издалека. И я пробудился в ту минуту, когда под сводами церкви звучали последние слова погребального гимна:

«День плачевный, полный страха,
Когда зиждется из праха
Муж, судим за прегрешенья.
Боже, дай ему прощенье!
Иисусе Господи,
Всем им дай спокойствие».

Это свидетельствовало, что мое видение, молниеносное, как все видения, успело пронестись если не за один аминь, то во всяком случае скорее, чем спели «Dies irae».

[1] «Всем полопаться от смеха, скорчиться от хохота!» *(лат.)*

Шестого дня

ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ЧАСА,

где Вильгельм толкует Адсону его сон

С трудом приходя в чувство, я выбрался на улицу. У центрального портала стояло несколько человек. Это были отъезжавшие францисканцы и Вильгельм, прощавшийся с ними.

Я присоединился к теплым пожеланиям и братским объятиям. Потом спросил у Вильгельма, когда должны уехать те, другие, и увезти заключенных. Он ответил, что они уже отбыли полчаса назад, когда мы были в сокровищнице. Или, скорее всего, подумал я, как раз когда я видел свой сон.

Я ощутил что-то вроде удара. Потом взял себя в руки. Лучше так. Я бы не смог смотреть, как их увозят. Злополучного бунтаря-келаря, Сальватора и, разумеется, девушку. Смотреть и думать, что я больше никогда их не увижу... К тому же я еще не отошел от своего сонного видения, и все чувства мои до сих пор как будто не оттаяли.

Пока обоз миноритов втягивался в ворота монастырской ограды, мы с Вильгельмом, застыв у соборной паперти, провожали его глазами. И оба были удручены, каждый по своей причине. Потом я решился пересказать учителю необычный сон. Несмотря на ужасную пестроту и бессвязность видения, я, как выяснилось, запомнил все до мельчайших подробностей и необыкновенно отчетливо: образ за образом, движение за движением, слово за словом. Так что я рассказывал, ничего не опуская, потому что известно, что сны — как таинственные письмена, они часто содержат важные вещи, и мудрецы могут их читать, как писаную грамоту.

Вильгельм слушал меня в полном молчании. Потом спросил: «Знаешь, что тебе приснилось?»

«То, что я рассказал...» — растерянно ответил я.

«Ну да, понятно. Но сознаешь ли ты, что многое из рассказанного тобой существует на письме? Люди и события последних дней стали у тебя частью одной известной истории, которую ты или сам вычитал где-то, или слышал от других мальчиков, в школе, в монастыре. Попробуй вспомнить. Это же „Киприанов пир"».

Какую-то минуту я стоял в ошеломлении. Потом сообразил. Ну конечно! Название сочинения я действительно успел забыть. Но кто из взрослых монахов, кто из неугомонных молодых монашков не улыбнулся или не посмеялся хоть раз над этой повестью, в любом переложении, в прозаическом или в стихотворном? Над этим перепевом Священного Писания, входящим в богатейшую традицию пасхальных потех и ioca monachorum? [1] (...)

«Хотел бы я быть Артемидором, чтоб выжать из твоего сна все, что можно,— сказал Вильгельм.— Но думаю, что и без артемидоровой науки легко понять, как это получилось. За последние дни ты пережил, мой бедный мальчик, целый ряд событий, в которых, казалось бы, нарушены основные жизненные правила и установления. Ты беспрерывно думаешь об этом, и в твоем мозгу всплывают подспудные воспоминания о некоей комедии, где, хотя и в иных целях, мир тоже вывернут наизнанку. Сюда вплетаются самые свежие впечатления, напоминают о себе недавние страхи, отчаяние. Оттолкнувшись от маргиналий Адельма, ты дал жизнь веселому карнавалу, в котором все на свете как бы перевернуто вверх тормашками. И тем не менее, как и в «Киприановом пире», каждый занят тем же, чем и в действительности. И в конце концов ты сам задумался, во сне, над вопросом: который же из миров перевернутый? И в каком положении вещи поставлены с ног на голову, а в каком — наоборот? Твой

[1] Монашьих забав *(лат.)*

сон уже не может указать, где верх, где низ, где смерть, где жизнь. Твой сон опровергает все заповеди, которые в тебя вдолбили».

«Но это не я,— возразил я целомудренно,— а сон. Что же, значит, сны — не божественные письмена, а дьявольские обманы? И в них не содержится истина?»

«Не знаю, Адсон,— отвечал Вильгельм.— В нашем распоряжении уже столько истин, что если в один прекрасный день кто-то соберется выискивать истины еще и в снах, я скажу, что уж точно пришли антихристовы времена. И все-таки чем больше я думаю о твоем сне, тем больше нахожу в нем смысла. Именно для себя, а не для тебя. Ты извини, что я пользуюсь твоими снами для подкрепления собственных гипотез. Я знаю, это нехорошо, но что делать... Кажется, твоей дремлющей душе удалось разобраться в таких вещах, в которых я не разобрался за шесть дней бодрствования...»

«Правда?»

«Правда. Или нет. Неправда. Твой сон имеет смысл в первую очередь потому, что подтверждает одну мою гипотезу. И все-таки ты мне очень помог. Спасибо».

«Да чем я помог? Что такого в моем сне? Бессмыслица, как и прочие сны!»

«Здесь есть второй смысл, как и в прочих снах. И в видениях. Его надо читать аллегорически. Или анагогически».

«Как Писание?»

«Да, сон — это писание. А многие писания не более чем сны».

•

Шестого дня

ЧАС ШЕСТЫЙ,

где расследуется история библиотеки и кое-что сообщается о таинственной книге

Вильгельм снова повел меня в скрипторий, хотя сам только недавно спустился оттуда. Он потребовал, чтобы Бенций выдал нам каталог, и стал поспешно листать его. «Где-то здесь,— бормотал он.— Я же видел час назад...» И наконец нашел нужную страницу. «Вот,— сказал он.— Читай это описание».

Под единым грифом («предел Африки!») числились четыре наименования. Это означало, что речь идет о едином томе, содержащем несколько текстов. Я прочел:

«I. ар. о речениях некоторых глупцов

II. сир. книжица алхимическ. египетск.

III. Повествование Магистра Алькофрибаса о пире блаженного Киприана Карфагенского Епископа

IV. Книжка безголовая о лишении девства и любви позорной».

«Ну и что?» — спросил я.

«Это наша книга,— прошептал Вильгельм.— Вот почему твой сон подтверждает мои выводы. А кроме этого,— и он продолжал вглядываться в соседние листы, и в предыдущие и в последующие,— кроме этого, вот список книг, над которым я давно ломаю голову. Вот они, все рядышком. Сейчас мы кое-что подсчитаем. Дощечка при тебе? Отлично. Требуется немного вычислений. И постарайся как следует вспомнить, что именно сказал позавчера Алинард. И что мы сегодня услышали от Николая... Прежде всего, мы узнали, что Николай появился тут около тридцати лет назад. В это время Аббон уже был назначен аббатом. До него аббатом был Павел из Римини. Верно? Предположим, что назначение Аббона состоялось около 1290 года, годом раньше, годом позже — значения не имеет. Так. Николай сообщил нам, что, когда он поступил в монастырь, библиотекарем был Роберт из Боббио. Записали? Записали. Потом Роберт умирает. И место отходит к Малахии. Скажем, в начале нынешнего века. Запиши. Однако

некогда, до появления Николая, Павел из Римини тоже был библиотекарем. С какого это, примерно, года? Сведения отсутствуют. Можно было бы, конечно, посмотреть по монастырским хроникам, но, как я понимаю, они находятся у Аббата, а мне в данный момент не хотелось бы обращаться к нему. Предположим условно, что Павел был избран библиотекарем шестьдесят лет назад. Так и запиши. А теперь подумаем, почему Алинард жалуется, что приблизительно пятьдесят лет назад причитавшееся ему библиотекарское место отдали другому человеку? Кого он имеет в виду? Павла из Римини?»

«Или Роберта из Боббио!» — сказал я.

«Казалось бы, так. Однако обратимся к этому каталогу. Известно, что книги сюда заносятся, как сообщил в первый же день Малахия, в порядке поступления. А кто их вписывает в реестр? Разумеется, библиотекарь. Значит, чередование почерков на этих листах позволяет восстановить преемственность библиотекарей. Теперь исследуем каталог начиная с конца. Последний почерк — явно почерк Малахии, очень готический, видишь сам. Он встречается только на нескольких листах. Не много же книг приобретено аббатством за последние тридцать лет! За ними идут листы, исписанные дрожащим вялым почерком, что, на мой взгляд, является недвусмысленной приметой больного и немощного Роберта из Боббио. Таких листов тоже немного. Роберт, надо думать, пробыл в должности совсем мало времени. И что мы видим на следующих листах? Столбцы за столбцами, множество столбцов совершенно иного почерка, прямого, уверенного, и все эти новые поступления, в том числе и четыре текста, которые я тебе показывал,— действительно бесценны! Как же много, выходит, трудился Павел из Римини! Поразительно много, если учесть, что сказал Николай: что Павел стал аббатом в самом молодом возрасте. И тем не менее предположим, что всего за несколько лет этот юный ненасытный читатель обогатил аббатство множеством книг... Но разве нам не сказано, среди всего прочего, что он был прозван «Неписьменным аббатом» из-за странного не то калечества, не то заболевания, не позволявшего ему писать? Значит, писал не он. Чей же, выходит, это почерк? Изволь, я скажу, чей. Это почерк его помощника. Но только в одном случае. В случае, если затем этот помощник сам занимает пост библиотекаря. Только в этом случае он продолжает своей рукой заполнять каталог. И только тогда объясняется, почему такое множество страниц исписано одним и тем же почерком. А это означает, что здесь работал после Павла, но до Роберта еще один библиотекарь, избранный около пятидесяти лет назад. И он и есть таинственный соперник Алинарда. Алинард полагал, что сам, как более старший, должен наследовать Павлу. Но вместо него назначили этого таинственного библиотекаря. А потом таинственный библиотекарь куда-то делся. Его сменил Роберт, но проработал недолго. И непонятно почему, снова против ожиданий Алинарда и прочей братии, библиотекарем был назначен Малахия» (...)

Тут к нам приблизился Бенций. «Погодите,— сказал он.— Я хочу поговорить». И поманил нас за собой из скриптория на лестницу, спускавшуюся в кухню, чтобы никто посторонний не мог подслушать. Губы у него дрожали.

«Я боюсь, Вильгельм,— сказал он.— Вот они убили и Малахию. Теперь я слишком много знаю. И меня ненавидит компания итальянцев. Они не хотят инородца в библиотекари. Я думаю, что и всех других убили из-за этого. Я никогда вам не рассказывал... Но Алинард давно не любил Малахию, у него с ним давние счеты...»

«Ты можешь сказать, кто именно обошел его с назначением много лет назад?»

«Я не знаю. Он всегда говорит ужасно путано. И было это очень давно. Наверно, все перемерли. Но эти итальянцы, которые крутятся вокруг Алинарда, всегда говорят... говорили насчет Малахии... Что

это соломенное пугало, и кто-то им управляет, и все делается с ведома Аббата. А я, не соображая, что делаю, ввязался в борьбу двух группировок. Я только сегодня это понял. Италия — страна заговорщиков. Тут отравляют пап. Что уж говорить о бедных парнях вроде меня. Вчера я этого не понимал. Я думал, что вся суматоха из-за книги. Но сегодня я вижу все по-другому и понимаю, что книга — только предлог. Вы же видели, что Малахия до книги добрался, но его убили все равно. Я должен... я хочу... я хотел бы спастись. Посоветуйте мне что-нибудь».

«Для начала успокойся. Теперь тебе, значит, понадобились советы? А вчера ты хорохорился, как хозяин мира! Глупец! Если бы ты мне вчера помог, мы предотвратили бы последнее преступление. Это ты передал Малахии книгу, которая его убила. Но скажи мне хотя бы вот что. Ты эту книгу сам держал в руках, открывал, читал? И почему в таком случае ты не умер?»

«Не знаю. Клянусь, я вообще ее не трогал! Вернее трогал, там, в лаборатории, но только чтобы взять... Я взял ее и не открывал, а спрятал под одеждой, отнес в келью и засунул под тюфяк. Я понимал, что Малахия за мной следит, и тут же побежал в скрипторий. А потом, когда Малахия предложил мне место помощника, я повел его в келью и указал, где лежит книга. Все».

«Не ври, что ты ее вообще не открывал».

«Ну да, открывал, перед тем как спрятал... Но я только хотел убедиться, что это именно та книга, которую вы ищете. Там сначала шла арабская рукопись, потом другая — вроде бы по-сирийски, потом один текст по-латыни, а потом по-гречески...»

Я снова как будто увидал обозначения, проставленные в каталоге. Первые два названия сопровождались пометками «ар.» и «сир.» *Та самая книга!* А Вильгельм все напирал: «Значит, ты касался книги и все-таки не умер. Значит, умирают не от прикосновения. Ладно. Что ты можешь сказать о греческом тексте? Ты его смотрел?»

«Почти нет. Только заметил, что название отсутствует. Такое впечатление, будто утеряно начало...»

«Безголовая книга...» — пробормотал Вильгельм.

«Я попытался прочесть первый лист. Однако, по правде говоря, греческого я почти не знаю... Мне надо было больше времени... Да, еще меня удивила одна вещь. Это как раз насчет греческих листов. Я даже просмотреть их не мог. Не удалось. Все листы... как бы это описать... Отсырели, что ли, и склеились между собой. Может, дело в этом странном пергаменте... Он мягче, чем обычный пергамент. Первый лист, самый затрепанный, вообще почему-то расслоился... В общем, странный пергамент...»

«Странный! То самое слово, которое употреблял и Северин!» — сказал Вильгельм.

«Да он вообще не похож на пергамент. Он вроде ткани. Но очень хлипкий»,— продолжал Бенций.

«Charta lintea, или хлопчатый пергамент,— сказал Вильгельм.— Ты что, никогда его не видел?»

«Я слышал о таком, но самому видеть не приходилось. Говорят, он дорог и недолговечен. Поэтому его используют редко. Он в ходу у арабов, кажется?»

«Арабы его открыли. Но теперь его делают даже здесь, в Италии, в Фабриано. Его делают еще... О-о, да это же бесспорно, ну да, совершенно верно! — И глаза Вильгельма засверкали.— Какое интереснейшее, замечательнейшее открытие, друг мой Бенций! Благодарю тебя от всей души! Ну да, я допускаю, что здесь, в библиотеке, хлопчатая бумага — редкость, потому что самые современные книги сюда почти не поступают. Кроме того, многие опасаются, что бумага не выживет в веках, как выживает пергамент. И, наверно, справедливо опасаются... Хотя, может быть, здесь нарочно выбран такой мате-

риал, про который не скажешь: „бронзы литой прочней"? Тряпочный пергамент, да? Превосходно. До свидания. И не волнуйся. Тебе ничто не грозит».

«Правда, Вильгельм? Вы уверены?»

«Уверен. Если не будешь высовываться. Ты и так достаточно напортил».

И мы удалились из скриптория, оставив Бенция если не в более веселом, то хотя бы в более спокойном расположении духа.

«Идиот,— цедил сквозь зубы Вильгельм, спускаясь по лестнице.— Мы бы уже во всем разобрались, если бы он не путался под ногами».

В трапезной мы увидели Аббата. Вильгельм подошел прямо к нему и попросил аудиенции. На этот раз Аббону некуда было деться и он назначил встречу через несколько минут в его собственном доме.

Шестого дня
ЧАС ДЕВЯТЫЙ,

где Аббат отказывается выслушать Вильгельма, а предпочитает говорить о языке драгоценностей и требует, чтобы расследование печальных происшествий в монастыре было прекращено

Покои Аббата находились над капитулярной залой, и из окна поместительной и пышной комнаты, где он нас принимал, видна была в эту ясную, ветреную погоду, поверх монастырской церкви, массивная громада Храмины. (...)

«Хотелось бы обсудить известные вам события последних дней. Я долго размышлял о них»,— сказал Вильгельм.

Аббат, стоявший лицом к окну, повернулся и глянул на Вильгельма. Взгляд его был суров. «Я сказал бы, слишком долго. Не скрою, брат Вильгельм, от вас ожидали большего. С тех пор, как вы появились, прошло шесть дней. В эти шесть дней погибло, не считая Адельма, еще четыре монаха. И двое арестованы инквизицией. Арестованы, конечно же, по справедливости, и все-таки этот позор мы могли бы предотвратить, если бы инквизитору не пришлось самолично заняться неразгаданными убийствами. В довершение всего, важнейшая встреча, при организации которой я выступал посредником, именно из-за этих вскрывшихся безобразий дала самые плачевные результаты... Согласитесь, я имел основания надеяться на более успешный ход дела, когда договаривался с вами о расследовании гибели Адельма...»

Вильгельм виновато молчал. Разумеется, прав был Аббат. Еще в зачине повести я указывал, что мой учитель обожал изумлять людей стремительностью дедукций. Можно вообразить, до чего было уязвлено его самолюбие обвинениями, и отнюдь не беспричинными, в нерасторопной работе.

«Вы правы,— отвечал он. — Я не оправдал ожиданий. Но мне хотелось бы, ваше высокопреподобие, объяснить — почему. Ни одно из преступлений не связано ни с местью, ни с какой-либо враждой между членами обители. Преступления совершаются в силу особых причин, вытекающих из давней истории вашего монастыря...»

Аббат нетерпеливо перебил Вильгельма: «Что вы хотите сказать? Мне тоже ясно, что ключ к преступлениям не в биографии злосчастного келаря. Злодейство келаря совпало с иным непотребством, о котором я некоторым образом извещен. Однако, увы, я не имею права сказать о нем вслух... Я надеялся, что вы дойдете до него своим умом и сами скажете...»

«Ваша милость имеет в виду сведения, полученные во время исповеди? — Аббат отворотил лицо. Вильгельм продолжал: — Если ваше высокопреподобие желает узнать, смог ли я сам, безо всяких под-

сказок вашего высокопреподобия, узнать о существовании недозволенной связи между Беренгаром и Адельмом, с одной стороны, и между Беренгаром и Малахией, с другой,— ну так вот, узнайте, что в аббатстве это знают все и каждый».

Аббат налился кровью. «По-моему, безответственно обсуждать подобные вещи в присутствии послушника. И тем более мне не кажется, что теперь, после окончания встречи, вам все еще нужен писец. Выйди, мальчик»,— властно приказал он мне. Я, устыженный, покинул комнату. Но поскольку я был очень любопытен, я прильнул к двери с обратной стороны и затворил ее неплотно, так, чтобы в щелку слышать весь дальнейший разговор.

Вильгельм продолжил свою речь. «Тем не менее, хотя эти непотребные связи и существовали, убийства к ним почти не имеют касательства. Ключ здесь иной, и вам, я полагаю, он известен. Все убийства совершены ради обладания некоей книгой, которая раньше много лет хранилась в пределе Африки, а ныне снова возвращена туда стараниями Малахии. Хотя от этого, как вы заметили, цепь преступлений не оборвалась».

Наступило долгое молчание. Потом послышался голос Аббата. Хриплый, потрясенный голос человека, услышавшего чудовищную новость. «Это невероятно. Вы... Откуда вы можете знать о пределе Африки? Вы нарушили мой запрет и проникли в библиотеку?»

Вообще-то Вильгельму следовало сознаться. Но тогда Аббат рассвирепел бы сверх всякой меры. Однако и лгать Вильгельму тоже не хотелось. И он вывернулся, ответив вопросом на вопрос: «Не вашим ли высокопреподобием сказано в первую же встречу, что такой человек, как я, способный точно описать Гнедка, никогда не видав его, без труда освоится и в помещениях, куда вход ему воспрещен?»

«Ах, вот как,— сказал Аббон. — Понятно. Ну и как же вы додумались до того, до чего вы додумались?»

«Долго рассказывать. Но могу доложить вам, что все совершившиеся преступления взаимосвязаны и подчинены единой цели. Цель эта — не допустить, чтобы людям открылось то, чего открывать кто-то не желает. К нынешнему моменту все, кто знал хоть что-то о тайнах библиотеки... по праву или самоуправно, это сейчас неважно... все эти люди мертвы. За исключением только одного. Вас».

«Вы намекаете... Вы намекаете...» — судя по голосу, вены на шее Аббата раздулись, он задыхался.

«Не надо превратно толковать мои слова,— отвечал Вильгельм (хотя вполне вероятно, что он действительно попробовал намекнуть). — Я только говорю: существует некий человек, который знает сам, но не хочет допустить, чтобы знал кто-нибудь еще. Вы последний знающий. Следовательно, вы можете стать первой новой жертвой. Если только не расскажете мне, и немедленно, все, что вам известно о запрещенной книге. И самое главное. Скажите, кто из живущих здесь в монастыре может знать о библиотеке столько же, сколько вы? Или даже больше? Кто это?»

«Холодно тут,— сказал Аббат. — Выйдем».

Я стремительно отскочил от двери и дождался их, стоя на верхней ступеньке идущей вниз лестницы. Аббат увидел меня и улыбнулся.

«Каких ужасов, должно быть, наслушался этот монашек за последние дни! Ничего, мальчик. Не давай себя запугать. Поверь, тут напридумано больше козней, чем есть на самом деле». (...)

Он протянул мне кольцо для поцелуя. Я опустился на колени. Он погладил меня по голове. «Так что ты, мальчик, скорее забудь все жуткие и несомненно ложные вещи, которые тебе внушили. Ты вступил в самый великий и знатный из всех монашеских орденов. В этом ордене я — один из старшин. Ты у меня в подчинении. Слушай мой

приказ. Позабудь все это. Пусть уста твои замкнутся навсегда. Клянись».

Растерянный, подавленный, я уже готов был поклясться. И тогда тебе, добрейший читатель, не читать бы ныне эту мою правдивую хронику. Но вмешался Вильгельм. Он вмешался, я думаю, не для того, чтобы удержать меня от клятвы, а просто из какого-то безотчетного противоречия, негодования, желания возразить Аббату и развеять тот словесный туман, которым Аббат совсем замутил мне голову.

«При чем тут мальчишка? Я задал вопрос, я предупредил об опасности, я хочу услышать имя... Может, вы теперь и от меня ждете, что я поцелую вам перстень и пообещаю забыть все свои наблюдения и выводы?»

«Ну, вы... — равнодушно протянул Аббат. — Нельзя же требовать от нищенствующего монаха, чтобы он понимал красоту наших обычаев или чтобы он уважал нашу сдержанность, наше достоинство, наши тайны, существующие во имя милосердия... Да, во имя милосердия и чести! Мы уважаем заповедь молчания, на коей зиждется величие ордена. А вы рассказывали тут что-то странное, неправдоподобное. Запрещенная книга, из-за которой убивают всех подряд... Кто-то посвященный в тайны, которые должны быть известны только мне... Бредни, безосновательные вымыслы! Кричите о них, если хотите, вам никто не поверит! А если бы даже какая-то крупица правды в ваших измышлениях и оказалась... Что же, отныне я беру это дело в свои руки и под свою ответственность. Я отвечаю за исход. У меня достаточно средств воздействия, достаточно власти. Я сделал большую глупость в самом начале. Нельзя было доверять постороннему, хоть бы и семи пядей во лбу, хоть и заслуживающему, казалось бы, доверия. Нельзя было просить постороннего расследовать то, что должно оставаться исключительно в моем ведении. Но ничто не потеряно. Вы верно поняли мою мысль. И от вас я наконец услышал что хотел. Я-то с самого начала знал, что причина всех преступлений — нарушение обета целомудрия. Мне только нужно было (и тут я допустил неосторожность!) услышать от какого-нибудь третьего лица то, что я и так узнал на исповеди. Теперь все в порядке. Теперь я услышал это от вас. Я очень благодарен вам за все, что вы сделали или старались сделать. Переговоры проведены. Ваша миссия у нас окончена. Полагаю, вас с нетерпением ждут при императорском дворе. Таких людей, как вы, надолго не отпускают. Даю вам позволение покинуть аббатство. Сегодня, наверно, уже поздно, я не хочу, чтоб вы ехали на ночь глядя, дороги небезопасны. Поедете завтра рано утром. О, не благодарите меня. Это было чистое удовольствие — принять вас как брата среди братьев и почтить нашим гостеприимством. Сейчас вы с учеником можете собирать вещи. Я приду проститься с вами завтра на рассвете. Благодарю вас от всего сердца. Разумеется, не трудитесь продолжать расследование. И не беспокойте больше монахов. Идите же».

Итак, нас не просто выпроваживали, а гнали в шею. Вильгельм поклонился. Мы спустились по лестнице.

«Что это значит?» — спросил я. Я уже ничего не понимал.

«Постарайся сам построить гипотезу. Ты должен был научиться это делать».

Если на то пошло, я действительно научился правилу: что строить надо по меньшей мере две сразу, одну невероятнее другой. «Что ж,— начал я и замялся. В гипотезах я все-таки был не слишком силен. — Ладно. Гипотеза первая. Аббат все это давным-давно знает. Но был убежден, что вам ни до чего дойти не удастся. Вы вполне устраивали его как следователь. На первых порах, пока речь шла только об Адельме. Но потихоньку он начал понимать, что дело все запутывается и запутывается и каким-то боком захватывает его са-

мого. И теперь он боится, что вы вытащите эту историю на свет божий. Гипотеза вторая. Аббат не подозревал ни о чем (впрочем, о чем — я сам не знаю, поскольку не знаю, о чем подозреваете вы). Он только и мог предполагать, что все убийства — сведение счетов между... между монахами-мужеложцами. Ну, а сейчас вы открыли ему глаза. Внезапно он понял что-то ужасное. Ему известно имя преступника. Он точно знает, на чьем счету все злодеяния. Но он хочет покончить с этим без постороннего вмешательства. И отсылает нас, чтобы спасти честь аббатства».

«Я доволен. Ты начинаешь рассуждать вполне прилично... Значит, и ты подметил, что в обоих случаях нашего Аббата больше всего интересует репутация монастыря. Убийца ли он или несчастная обреченная жертва — в любом случае он не желает, чтобы по ту сторону гор распространились порочащие сведения о жизни здешнего святого содружества. Убивай сколько хочешь монахов, только не тронь честь монастыря... О-о, чтоб вас... — Вильгельма все сильнее и сильнее душила ярость. — Этот господский ублюдок, этот павлин, вознесшийся после того, как поработал похоронщиком при Аквинате, этот раздутый бурдюк! Всех-то заслуг что таскать кольцо величиной с фигу! Спесивое отродье! Все вы спесивое отродье, вы, клюнийцы! Вы хуже любых князей! Вы больше бароны, чем любые бароны!»

«Учитель!» — обиженно, укоризненно заикнулся я.

«Помолчи, ты! Ты сам из их теста! Вы же не простецы какие-нибудь, не сыновья простецов. Столкнет вас жизнь с простолюдином — вы его, может быть, и приютите. Но если понадобится, как вчера,— не поморщитесь выдать его светской власти. А вот кого-нибудь из своих — это уж нет, этого вы прикроете! Аббон вполне способен сам справиться со злодеем. Он проткнет его кинжалом где-нибудь в сокровищнице и распихает косточки по кивотам заместо реликвий... Только бы честь аббатства не пострадала! И вдруг вылезает какой-то францисканец, какой-то плебей-минорит, и раскапывает навозную кучу посреди вашего благородного дома! Нет уж, этого Аббон не позволит ни при каких обстоятельствах. Премного вам благодарны, брат Вильгельм, император вас заждался, полюбуйтесь, какое у меня прекрасное кольцо, и убирайтесь вон. Но не на того напали! Я имею дело не с одним Аббоном. Я имею дело с неоконченным расследованием. Я могу вас всех заверить, что не покину эти стены, пока не дознаюсь. Он хочет, чтобы я уехал завтра? Отлично, он здесь хозяин. Но до завтрашнего утра я дознаюсь. Я обязан».

«Обязаны? Но теперь-то кто вас понуждает?»

«Никто и никогда не понуждает знать, Адсон. Знать просто следует, вот и все. Даже если за это не поздоровится».

Я все еще был сконфужен и удручен теми яростными словами, которые Вильгельм обрушил на мой орден и на его аббатов. И постарался частично оправдать Аббона, предложив Вильгельму третью гипотезу. В этой науке я, похоже, совершенствовался на лету. «Вы не берете в расчет третью возможность, учитель,— сказал я.— В течение этих дней мы установили... Вдобавок, это подтвердилось сегодня утром и словами Николая, и теми смутными намеками, которые прозвучали в церкви... Словом, существует группа монахов-итальянцев, которых не устраивает, что библиотекой занимаются инородцы. Они обвиняют Аббата в отходе от монастырских традиций. Насколько я могу понять, они, прикрываясь авторитетом дряхлого Алинарда, поднимают его на щит и требуют смены верховного руководства. Думаю, что я довольно точно уяснил расстановку сил, потому что у себя в монастыре, даже будучи всего только послушником, я успел столкнуться и с разговорами, и с наговорами, и с заговорами того же самого свойства. Поэтому Аббат, вполне вероятно, опасается, что ва-

ши разоблачения дадут очень сильное оружие в руки его врагам. Видимо, он хочет подойти к этому делу с величайшей рассудительностью...»

«Возможно. Но все равно он надутый бурдюк. И даст себя проколоть».

«Ну, а что вы скажете о моих дедукциях?»

«Скажу попозже».

Мы шли церковным двором. Ветер дул все неистовее, сумерки все сгущались, хотя девятый час только миновал. Но день близился к закату. Оставалось совсем мало времени. На вечерне Аббат обязательно известит братию, что Вильгельм отныне не имеет права ни расспрашивать всех, ни ходить повсюду.

«Поздно,— сказал Вильгельм. — А когда времени не хватает, хуже всего — потерять спокойствие. Мы должны вести себя так, будто в запасе вечность. Передо мной одна-единственная задача: понять, как попадают в предел Африки. Именно там нас ждет полный ответ на все вопросы. Кроме того, нужно спасти одного человека. Кого именно — я еще не решил. И, наконец, следует ожидать каких-то событий около конюшен... Тебе придется понаблюдать там... Гляди, какая беготня!»

И действительно, на площадке между Храминой и собором было непривычно людно. Еще раньше один из послушников, состоявших при аббатском доме, бегом скатился со ступеней и промчался к Храмине. Затем из Храмины вышел Николай и торопливо направился в спальные палаты. В углу двора топталась та же самая группа, которую мы видели утром в соборе. Пацифик, Имарос и Петр что-то втолковывали Алинарду, пытались его в чем-то убедить. Наконец они, кажется, приняли решение. Имарос взял под руку Алинарда, все еще упиравшегося, и вместе с ним направился к аббатской резиденции. Когда они поднимались по ступеням, из почивален показался Николай, ведший под руку Хорхе. Они шли туда же. Николай увидел на лестнице аббатского дома тех двоих и что-то прошептал на ухо Хорхе. Но старец отрицательно затряс головой, и оба двинулись дальше и вошли в помещение капитула.

«Аббат решил забрать в кулак все нити»,— пробурчал Вильгельм довольно скептически.

Из Храмины высыпали и другие монахи, которым уж точно полагалось в это время быть в скриптории. Последним вышел Бенций и сразу же бросился к нам, еще сильнее взволнованный, чем раньше.

«В скриптории невозможно находиться,— сказал он. — Никто не работает, все шушукаются... Что это значит?»

«Это значит, что все до одного люди, способные внушать подозрение, теперь мертвы. До вчерашнего дня все косились на Беренгара, который был глуп, хитер и похотлив. Потом на келаря, которого подозревали в ереси. Потом на Малахию, которого никто не любил. А теперь непонятно, кого надо опасаться. Вот они срочно и ищут какого-нибудь врага или козла отпущения. И все подозревают друг друга. Одни напуганы, как ты, другие предпочитают сами запугивать окружающих. Все вы слишком много суетитесь... Адсон, твое дело — посматривай почаще, что делается около конюшен. А я пойду отдохну».

Раньше бы я очень удивился. Улечься в кровать в такое время, когда остается только несколько часов — на первый взгляд не самое умное, что можно сделать. Однако я уже достаточно изучил своего наставника. Чем в большей прострации пребывало его тело, тем более подвижен и кипуч был ум.

Шестого дня

ОТ ВЕЧЕРНИ ДО ПОВЕЧЕРИЯ,

где коротко рассказывается о долгих часах замешательства

Довольно трудно восстановить, что происходило в следующие несколько часов, от вечерни до повечерия.

Вильгельм отсутствовал. Я слонялся возле конюшен, но не усмотрел ничего необычного. Работники заводили в стойла коней. Те слегка волновались из-за усиливающегося ветра. В остальном все было покойно.

Я вошел в церковь. Монахи уже находились на своих местах. Но Аббат заметил, что место Хорхе пустует. Он дал знак задержать службу и кликнул Бенция, чтобы послать за Хорхе. Но Бенция тоже не было. Кто-то из монахов предположил, что Бенций, очевидно, готовит скрипторий к ночи. Аббат раздраженно ответил, что Бенций ничего готовить не должен и не может, потому что не знает правил. Имарос Александрийский поднялся с места. «С позволения вашей милости, я за ним схожу...»

«Тебя никто ни о чем не просил»,— резко оборвал его Аббат, и Имарос возвратился на место, не преминув послать Пацифику Тиволийскому многозначительный взгляд. Аббат кликнул Николая. Того тоже не было. Кто-то напомнил, что Николай хлопочет об ужине. Аббат с досадой отмахнулся — наверное, был сердит, что все вокруг видят и замечают его волнение.

«Хочу, чтобы Хорхе был здесь,— крикнул он. — Ищите! Иди за ним»,— велел он наставнику послушников.

Кто-то указал ему, что Алинарда тоже нет. «Это я знаю,— ответил Аббат. — Он нездоров». Я сидел рядом с Петром Сант-Альбанским и услышал, как он шепчет соседу, Гунцию из Нолы, на среднеитальянском наречии, которое я немного понимал: «Охотно верю. Сегодня после беседы с Аббоном бедный старик еле шел. Аббон ведет себя в точности как шлюха Авиньонская!»

Послушники испуганно озирались. Своим полудетским чутьем, ничего не зная и не понимая, они все же ощущали тревогу, нависшую над хором, как ощущал и я. В тишине, в потерянности тянулись долгие минуты ожидания. Аббат приказал читать псалмы и выбрал наугад три каких-то первых попавшихся, даже не предписанных правилом для вечернего богослужения. Все переглянулись, потом стали вполголоса молиться. Вернулся наставник послушников. За ним шел Бенций, который, не подымая глаз, проследовал на свое место в хоре. Хорхе не нашли ни в скриптории, ни в его келье. Аббат приказал начинать богослужение.

После вечерни, когда все направились в трапезную, я зашел за Вильгельмом. Тот одетый возлежал на кровати, вытянув ноги, в глубокой задумчивости. По его словам, он не думал, что уже так поздно. Я кратко пересказал ему все, что происходило в его отсутствие. Он покачал головой.

У дверей трапезной мы столкнулись с Николаем. В последний раз мы видели его, когда он вел Хорхе в аббатские покои. Вильгельм спросил его, сразу ли Хорхе был принят Аббатом. Николай ответил, что нет, пришлось довольно долго дожидаться перед дверью, потому что у Аббата были Алинард и Имарос Александрийский. Потом Хорхе вошел, некоторое время говорил с Аббатом, а он, Николай, ждал снаружи. Выйдя, Хорхе попросил проводить его в церковь. Это было за час до вечерни, и в храме в это время было совершенно пусто.

Аббат заметил, что мы говорим с келарем. «Брат Вильгельм,— вмешался он,— вы все еще ведете следствие?» И пригласил его, как обычно, пройти к своему столу. Бенедиктинское гостеприимство превыше всего.

Ужинали тише, чем обычно. Все были печальны. Аббат, погруженный в тяжелые думы, почти не касался еды. Через некоторое время он велел братии поживее собираться к повечерию.

Алинард и Хорхе снова отсутствовали. Монахи шептались и указывали друг другу на пустующее место слепца. По окончании службы Аббат призвал всех прочесть еще одну молитву — о спасении Хорхе Бургосского. Никто не понял, о телесном ли спасении идет речь или о спасении души. Но все почувствовали, что над аббатством нависло новое несчастье. Молитву прочли, и Аббат приказал всем без обычных промедлений разойтись по кельям и лечь в кровати. Он объявил, что ни один человек,— ни один, произнес он с особым ударением,— не имеет права находиться вне здания почивален.

Первыми храм покинули перепуганные послушники, опустив капюшоны, наклонив головы, даже и не думая на этот раз шушукаться, пихать друг друга локтями, лукаво пересмеиваться и тайно, коварно подставлять друг другу подножки, хотя обычно они только этим и занимались. Ибо послушники, пускай они уже и монашки, на самом деле все еще полудети, и тщетны все укоризны наставника: он не в силах сразу отучить их от ребяческих шалостей, к которым подталкивает юный возраст.

Когда стали выходить взрослые, я пристроился, не подавая виду, к той группе монахов, которых я теперь мысленно называл «итальянцы». Пацифик прошептал на ухо Имаросу: «Ты думаешь, Аббон правда не знает, где Хорхе?» А Имарос ответил: «Скорее всего, знает. И знает, что оттуда, где он есть, ему уже не выйти. По-видимому, старик слишком многого хотел. А Аббон не захотел больше терпеть его».

Чтобы не вызвать подозрений, мы с Вильгельмом сделали вид, будто возвращаемся в странноприимный дом. Не успев отойти, мы увидели, что из церкви выходит Аббат, поспешно направляется к Храмине, подымается на крыльцо, открывает не запертую дверь трапезной и входит внутрь. Вильгельм шепнул, что надо обождать. Мы замедлили шаг. Когда на улице не осталось ни одного человека, мы бегом пересекли открытое пространство и снова оказались в церкви.

Шестого дня
ПОСЛЕ ПОВЕЧЕРИЯ,

где почти случайно Вильгельм разгадывает тайну, как войти в предел Африки

Мы притаились, как двое убийц, около входа, за колонной, откуда было хорошо видно часовню с черепами.

«Аббон пошел закрывать Храмину,— прошептал Вильгельм. — Когда он заложит двери засовами изнутри, он сможет выйти только через оссарий».

«А потом?»

«А потом посмотрим, что он будет делать».

Но что он делал пока что — мы видеть не могли. Минул час, а его все не было. Наверно, пошел в предел Африки, сказал я. Может быть, ответил Вильгельм. Но меня уже приучили выдвигать сразу несколько гипотез, и я продолжал: а может быть, он снова вышел через трапезную и отправился искать Хорхе. Вильгельм в ответ: возможно и это. Может быть, Хорхе уже мертв, философствовал я дальше. А может быть, он засел в Храмине и сейчас убивает Аббата. А может, наоборот, они с Аббатом заодно, а кто-то третий поджидает их в засаде. Чего добивались «итальянцы»? И почему так трясся Бенций? Не был ли его испуг личиной, нарочно надетой, чтобы сбить нас с толку? Зачем он задержался в скриптории во время вечерни, если не знает, ни как запереть Храмину, ни как выйти после этого? Пробовал пробраться в лабиринт?

«Все может статься,— отвечал Вильгельм. — Но только одна вещь точно сталась... с какой-то стати... с меня сталось... Радуйся, Адсон! Бесконечное милосердие Божие наконец ниспослало нам твердую уверенность хотя бы в чем-то!»

«В чем?» — спросил я, озаряясь надеждой.

«В том, что брат Вильгельм из Баскервиля, который до сих пор считал, что может понять все на свете, оказался бессилен понять, как входят в предел Африки. В стойло мне надо, Адсон, в стойло. Пошли».

«А если налетим на Аббата?»

«Притворимся привидениями».

Этот выход показался мне не самым лучшим, но я промолчал. Вильгельм на глазах терял самообладание. Мы вышли из-под северного портала, пересекли кладбище. Ветер неистово выл нам в уши, и я как мог молил бога избавить нас от встречи с настоящими привидениями — поскольку неприкаянных душ этой ночью в аббатстве витало сколько угодно. Наконец мы добрались до конских стойл и услышали, что кони беспокоятся еще сильнее, видимо, из-за разгула стихий.

Поперек главного входа в конюшню был уложен на уровне человеческой груди толстый железный брус. Поверх него можно было заглянуть внутрь постройки. В темноте еле различались тени лошадей. Я узнал Гнедка — он занимал крайний слева денник. Немного дальше, третий в том же ряду конь поднял голову, учуяв нас с Вильгельмом, и заржал. Я усмехнулся: «Третий в конях».

«Как?» — переспросил Вильгельм.

«Да никак. Вспомнил беднягу Сальватора. Он собирался какие-то чудеса творить над этим конем. И звал его на своей дикой латыни „третий в конях" — „tertius equi". То есть „u"».

«Почему „u"?» — снова переспросил Вильгельм, следивший за моей болтовней вяло, без всякого интереса.

«Ну, потому, что „третий в конях" означает не „третий конь", а «третья буква в слове „конь"». То есть по-латыни — „u". Глупость, конечно...»

Вильгельм остановившимися глазами смотрел на меня. Даже в темноте я, казалось, видел, что происходит с его лицом. «Да благословит тебя Господь, Адсон,— произнес он, когда снова смог говорить. — Ну разумеется, suppositio materialis [1], рассуждение дается de dicto, а не de re [2]. Боже, какой я идиот! — Со всего размаху, открытой ладонью он нанес себе такой удар по лбу, что раздался треск, и я решил, что ему станет худо.— Мальчик мой! Второй уже раз за сегодняшний день твоими устами глаголет истина! Сперва во сне, а теперь наяву! Беги, беги в свою келью, бери лампу, вернее обе лампы, которые у нас есть. Только смотри не попадись. И скорее возвращайся. Я буду ждать в церкви. Никаких расспросов! Беги! Живей!»

Я и побежал без расспросов. Обе лампы были спрятаны у меня под тюфяком и хорошенько заправлены маслом. Об этом я позаботился заранее. В рясе у меня имелось огниво. Схватив свои драгоценные орудия, я снова помчался в церковь.

Вильгельм, примостившись под треногой, перечитывал пергамент с выписками Венанция.

«Адсон,— сияя, окликнул он меня.— „Первый и седьмой в четырех" значит не первый и седьмой из четырех, а первая и седьмая буквы в слове „quatuor" — „четыре"!»

Я не сразу понял, но скоро дошло и до меня. Super thronos viginti quatuor! Надпись! Стих Апокалипсиса! Слова, выбитые над зеркалом!

[1] Подмена предмета *(лат.)*.

[2] О словах, а не о вещах *(лат.)*.

«Бежим,— торопил Вильгельм. — Может, еще успеем спасти его!»

«Кого?» — спросил я. Но Вильгельм был уже возле черепов, вертел там что-то, тыкал пальцами в глазницы, открывал проход в мощехранилище.

«Того, кто этого не заслуживает»,— отвечал он мне на бегу. Мы мчались по подземному коридору, свет мигал и трясся в такт нашему бегу, дверь, ведущая в кухню, оказалась перед нами.

Я уже говорил, что коридор упирался в эту деревянную дверь, выходящую в кухню, как раз за хлебной печью, у подножия винтовой лестницы, которая вела наверх в скрипторий. Так вот, как раз когда мы взялись за эту дверь и она подалась под руками, мы вдруг услышали слева от себя, внутри стены, глухие стуки. Они доносились из толщи стены, откуда-то рядом с дверью, где кончалась череда ниш с черепами и костями. Там, где должна была быть последняя ниша, вместо нее шел участок глухой стены, сложенной из крупных квадратных каменных блоков, а в середине была вмурована старинная гробовая плита с какими-то затертыми буквами. Удары слышались вроде бы из-за этой плиты, или из какой-то более высокой точки, то ли из стены, то ли откуда-то чуть ли не с потолка.

Если бы подобная история случилась с нами в первую ночь, я, конечно, перепугался бы покойных монахов. Но сейчас я уже привык ожидать самого худшего от монахов живых. «Кто бы это мог быть?» — прошептал я.

Вильгельм широко распахнул дверь, и мы выбрались в кухню из-за хлебной печи. Удары были слышны на всем протяжении стены, огибавшей винтовую лестницу. Как будто кто-то бился, находясь внутри этой самой стены.

«Кто-то заперт там внутри,— сказал Вильгельм. — Я всегда предполагал, что должен существовать еще один ход в предел Африки, раз уж в этой Храмине такое множество всяких тайных лазов... Вот он и существует. Из мощехранилища. Можно не идти через кухню, а отвести кусок стены и попасть на лестницу, параллельную вот этой, только упрятанную в стене. И подняться прямо в замурованную комнату».

«Но кто же там сейчас бьется?»

«Второй человек. Первый сидит в пределе Африки. Второй хотел до него добраться. Но тот, что сверху, заблокировал подъемник, управляющий обеими дверьми. Таким образом, посетитель угодил в ловушку. И не удивительно, что он там колотится, потому что, думаю, в эту хитрую кишку воздух почти не поступает».

«Кто же это? Надо спасти его!»

«Кто это — мы очень скоро узнаем. А что касается спасения, для этого надо разблокировать подъемник сверху, потому что снизу мы не умеем. Не знаем секрета. Так что бежим!»

И мы побежали. Пронеслись через скрипторий, взлетели по ступеням в лабиринт и довольно скоро домчались до южной башни. Не меньше двух раз я был вынужден укрощать собственный бег, потому что ветер этой ночью бушевал так сильно и с таким неистовством врывался в амбразуры, что ледяные дуновения пронизывали все залы и коридоры, подхватывали в воздух листы, оставленные на столах, и я по необходимости замедлял шаг, загораживая руками огонь.

Но все-таки довольно быстро мы добежали до южной башни, до комнаты с зеркалом. Сегодня мы не испугались его уродливых призрачных отражений. Подняв повыше лампу, мы осветили надпись, венчавшую зеркальную раму: Super thronos viginti quatuor. Ныне тайна была разгадана. В слове quatuor семь букв. Нажимать следовало на q и r. Вне себя от возбуждения, я заторопился сделать это сам. Чтоб освободить руки, я резко поставил фонарь на стоявший посре-

ди комнаты стол, но не рассчитал движение, пламя выхлестнулось из лампы и лизнуло корешок какой-то лежавшей на столе книги.

«Тише, дурень! — вскрикнул Вильгельм, бросаясь задувать огонь. — Ты что, решил спалить библиотеку?»

Я ахнул, стал извиняться и вытащил было огниво, чтобы снова зажечь лампу. «Ладно, не трать время,— остановил меня Вильгельм. — Хватит и моей. Бери ее и посвети мне, потому что буквы все равно слишком высоко. Ты не дотянешься. И давай поскорее».

«А если тот, кто там, вооружен?» — спросил я в то время, как Вильгельм в потемках, почти на ощупь, нашаривал роковые буквы, вставши на цыпочки — при его-то росте! — и еле дотягиваясь до апокалиптической надписи.

«Подыми лампу, ради всех чертей, и не трусь, Господь с нами!»— отвечал он мне довольно-таки непоследовательно. Наконец его пальцы отыскали в слове quatuor букву q. Я, стоявший чуть поодаль, лучше него мог видеть, что он делает. Я уже говорил, что буквы всех надписей в лабиринте были не то вырезаны, не то инкрустированы в камне. А буквы слова quatuor совершенно явно были залиты краской в металлические профили. К этим-то профилям и крепился таинственный упрятанный в стене механизм. Буква q, как только за нее взялись и потянули на себя, выскочила из стены, издав сухой щелчок, и то же самое повторилось, когда Вильгельм нащупал r и потянул за нее. Вся рама зеркала как будто отпрыгнула от стены, и зеркальная поверхность осталась сзади, отдельно от рамы. Зеркало — это и была дверь, подвешенная на петлях за левую боковину. Вильгельм просунул руку в выемку, открывшуюся между правым краем зеркала и стеной, и потянул на себя. Скрипя, дверь подалась и стала медленно поворачиваться. Вильгельм поднажал, и открылась щель, достаточная, чтоб ему пролезть внутрь. Я скользнул вслед за ним, держа лампу высоко над головой.

Через два часа после повечерия, при скончании шестого дня, в самую сердцевину ночи, открывавшей собою следующий, седьмой день, мы с Вильгельмом вошли в предел Африки.

День седьмой

Седьмого дня
НОЧЬ,

где, если перечислять все потрясающие разоблачения, которые тут прозвучат, подзаголовок выйдет длиннее самой главы, что противоречит правилам

Мы стояли на пороге комнаты, точно такой же, как три прочие безоконные семиугольные комнаты, занимающие середины башен. В нос ударил запах затхлости и отсырелых книг. Светильник в моей поднятой руке озарил сначала потолочные своды, потом луч переместился ниже, вправо, влево, и неяркие блики заметались вдалеке по стенам, по книжным шкапам. Наконец осветился посреди комнаты стол, заваленный бумагами, а у стола сидящая фигура, которая как будто дожидалась нас неподвижно, в полной темноте. Если только это был живой, а не мертвец. Луч светильника еще не добрался до его лица. Но Вильгельм без колебаний заговорил.

«Добрая ночь, достопочтенный Хорхе,— сказал он.— Ты ждешь нас?»

Мы сделали еще несколько шагов, и луч света попал наконец на лицо старика, обращенное навстречу нам — как будто он мог нас видеть.

«Это ты, Вильгельм Баскервильский? — спросил он.— Я жду те-

бя целый вечер. Я поднялся сюда еще до вечерни. Я знал, что ты придешь».

«А Аббат? — спросил Вильгельм.— Это он бьется на лестнице?» Хорхе ответил не сразу. «Он еще жив? — спросил он.— Я думал, он уже задохся».

«Прежде чем начнется разговор,— сказал Вильгельм,— мне хотелось бы выпустить его. Ты можешь открыть дверь с этой стороны».

«Нет,— устало ответил Хорхе.— Уже не могу. Механизм управляется снизу нажатием на гробовую плиту, а тут сверху работает рычаг и открывает дверь. Сзади, за полками,— и он указал через плечо.— Ты можешь видеть там у шкапа колесо с противовесами, действующими на рычаг. Но когда я услышал, что рычаг поворачивается, и понял, что Аббон вошел в нижнюю дверь, я перерезал веревку, на которой висели грузы. Обе двери захлопнулись навсегда. Теперь открыть их невозможно ни с той, ни с этой стороны. Оборвавшуюся связь и тебе не восстановить. Аббат уже мертвец».

«Зачем ты его убил?»

«Сегодня он меня вызвал и сказал, что благодаря тебе открыл все. Он не знал и так и не узнал, за что я сражаюсь, что защищаю. Он никогда не понимал, в чем ценность и смысл библиотеки. Он захотел, чтобы я разъяснил ему то, чего он не знал. Он захотел, чтобы предел Африки открыли. Группа итальянцев потребовала от него положить конец, как они выразились, „секретности", созданной мною и моими предшественниками. Эти люди взбудоражены идеей обновления...»

«И ты, вероятно, обещал, что пойдешь сюда и положишь конец собственной жизни, как положил конец чужим. Что честь аббатства не пострадает. Никто ни о чем не догадается. Потом ты объяснил, как ему самому прийти через некоторое время, чтобы удостовериться в твоей смерти. И засел здесь, чтобы убить его. А если бы он пришел через зеркало?»

«Нет. Аббон малого роста. Он не дотянулся бы до надписи. Я рассказал ему о тайной лестнице. Я один, из живых, знал о ней. Это дорога, которой я ходил много лет. В темноте она самая простая. Только добраться до часовни, а потом мерить путь по мертвым костям. До конца прохода».

«И ты велел ему прийти, заранее зная, что убьешь его?»

«Я уже не мог верить и ему. Он был напуган. Он добыл свою славу в Фоссанова, сумев спустить мертвеца по винтовой лестнице. Пустая слава. Он погиб, не умея поднять по такой же лестнице себя самого».

«Ты сорок лет использовал его. Заметив, что слепнешь и скоро не сможешь управлять библиотекой, ты все обдумал. Ты выдвинул в аббаты доверенного человека. Библиотеку ты передал сначала Роберту из Боббио, которого обучил по своему усмотрению, а потом Малахии, который вообще не мог работать без твоей помощи и не ступал ни шагу, не спросясь тебя. Сорок лет ты был полновластным хозяином аббатства. Именно это поняла группа итальянцев. Именно это твердил Алинард, которого не слушали, считая слабоумным. Так ведь? Но ты зачем-то сидишь тут и ждешь меня, хотя механизм зеркала ты не сможешь сломать — он замурован в стену. Зачем же ты меня ждал? И откуда ты знал, что я приду?» Это был вопрос, но по тону Вильгельма чувствовалось, что он предугадывает ответ и ждет этого ответа, как награды за работу.

«С первого дня я понимал, что ты поймешь. По голосу, по тому, как ловко ты сводил разговор на темы, которые я не велел обсуждать. Ты был лучше других. И я понял, к чему это приведет. Ты-то знаешь — нужно только вдуматься и воссоздать в своем сознании мысли другого человека. Вдобавок, я слышал, какие вопросы ты задаешь монахам. Правильные вопросы. Но ни одного вопроса о биб-

лиотеке. Как будто секреты библиотеки тебе были уже известны. Ночью я стукнул в дверь твоей кельи. Тебя не было. Я понял, что ты здесь. Из кухни пропали две лампы. Я слышал, как служки их искали. И наконец — когда Северин заговорил с тобой в сенях капитула, я убедился, что ты идешь по моему следу».

«Но ты сумел вырвать у меня книгу. Ты отправился к Малахии, который ни о чем не подозревал. Он сходил с ума от ревности. Растравлял себя мыслями, будто Адельм переманил его ненаглядного Беренгара, которого потянуло на свеженькое мясцо. Он только не понимал, при чем тут Венанций. Ты постарался еще сильнее сбить его с толку. Ты сказал, что Беренгар имел связь и с Северином, и в уплату дал тому книгу из предела Африки. Не знаю точно, что ты ему сказал. Малахия совсем ошалел, бросился к Северину и убил его. Но книгу, описанную тобой, найти не успел, потому что появился келарь. Так было дело?»

«Более или менее».

«Но ты не хотел, чтоб Малахия умер. Он, думаю, ни разу не дотронулся до книг из предела Африки. Он верил в тебя, уважал твои запреты. Аккуратно зажигал на ночь травы для устрашения возможных нарушителей. Травы он брал у Северина. Именно поэтому Северин открыл Малахии дверь лаборатории. Решил, что это обычный дневной приход за травами. Травы составлялись ежедневно по особому распоряжению Аббата. Я угадал?»

«Ты угадал. Я не хотел, чтоб Малахия умер. Я велел ему любой ценой разыскать книгу и принести сюда, не открывая. Я сказал, что в ней сила тысячи скорпионов. Но впервые в жизни этот безумец действовал своим умом. Я не хотел его смерти. Он был хороший исполнитель. Но довольно. Не стану больше слушать твои догадки. Я знаю, что ты знаешь. Не хочу тешить твою гордость. Утром в скриптории ты спросил Бенция о „Киприановом пире". Я понял, что тебе остается шаг до истины. Не знаю, как ты разгадал секрет зеркала. Но когда Аббат сказал, что ты говорил с ним о пределе Африки, я понял, что скоро ты будешь здесь. Поэтому я пошел тебя ждать. Говори, чего ты хочешь?»

«Я хочу видеть,— сказал Вильгельм,— последнюю рукопись из тома, в котором она переплетена вместе с одним арабским текстом, одним сирийским и с латинской переделкой или стихотворным переложением „Киприанова пира". Я хочу видеть грекоязычную копию, выполненную, скорее всего, арабом или испанцем, и найденную тобой, когда ты, числясь одним из помощников Павла Риминийского, добился, чтобы тебя отправили на родину за лучшими Апокалипсисами королевств Леона и Кастилии, за чудесным приданым, которое тебя и прославило в этом аббатстве, после чего ты захватил место библиотекаря, по праву принадлежавшее Алинарду, старшему тебя на десять лет. Я хочу видеть эту греческую копию, переписанную на хлопчатой бумаге, которая тогда была большой редкостью и производилась именно в Силосе, неподалеку от Бургоса, твоего родного города. Я хочу видеть книгу, которую ты, прочитав, увез с собой, так как не хотел допустить, чтоб ее прочитал хоть кто-нибудь еще. Ты спрятал ее здесь, тщательно продумав тайну хранения. Ты не уничтожил ее. Потому что такие люди, как ты, не могут уничтожить книгу, а могут только спрятать ее и следить, чтобы никто ее не касался. Я хочу видеть вторую часть „Поэтики" Аристотеля. Ту часть, которая считается утраченной или вовсе не написанной. И которая существует в твоих руках, надо думать, в единственном на свете экземпляре».

«Какой замечательный библиотекарь вышел бы из тебя, Вильгельм,— произнес Хорхе с восхищением, но и с печалью.— Значит, ты знаешь все. Иди сюда. С той стороны стола должен быть табурет. Садись. Вот твоя награда».

Вильгельм сел и поставил рядом лампу, взяв ее у меня. Лицо Хорхе осветилось снизу. Старик поднял книгу, лежавшую перед ним на столе, и протянул Вильгельму. Я узнал переплет: это была та книга, которую я раскрыл в лаборатории и тут же закрыл, посчитав за арабскую рукопись.

«Читай, ну же, листай же, Вильгельм,— настаивал Хорхе.— Ты победил».

Вильгельм глядел на книгу, но не притрагивался к ней. Он вытащил из рясы пару рукавиц. Но это были не обычные рукавицы с открытыми кончиками пальцев, которые он надевал прежде, а другие, снятые с рук убитого Северина. Он медленно приподнял ветхую, истертую крышку переплета. Я подошел ближе и склонился к его плечу. Хорхе своим редкостным слухом уловил мое приближение. И сказал: «Ты тоже тут, мальчик? Я и тебе покажу... Потом...»

Вильгельм быстро пробежал первые листы. «Это арабская рукопись о речениях каких-то глупцов, как говорится в каталоге,— сказал он.— О чем это?»

«А, вздор. Болтовня неверных. Доказывается, что глупцы умеют говорить весьма красно, чтобы одурачивать священников и очаровывать халифов».

«Вторая рукопись сирийская, но в каталоге описана как египетская книжица об алхимии. Почему она сюда приплетена?»

«Это египетское сочинение третьего века нашей эры. Оно перекликается с последующим, но не так опасно, как то. Никто не примет всерьез бредни какого-то африканского алхимика. Он пишет, что мир сотворился от Божьего смеха.— Хорхе поднял лицо к потолку и прочитал наизусть, почти не напрягая свою волшебную память — память гениального читателя, сорок лет повторяющего в уме то, что он прочитал, еще обладая зрением.— „Когда Бог засмеялся, родились семь божеств на управление миром; когда захохотал, стал свет; когда снова захохотал, стала вода, а на седьмой день Божьего смеха стала душа..." Чушь. Как и далее идущее сочинение одного из неисчислимых глупцов, толкующих „Вечерю". Но тебя же не они интересуют».

Вильгельм действительно не задержался на первых рукописях, а поспешил открыть греческий текст. Сразу было видно, что листы сделаны из другого, более мягкого материала. Начало было полуоторвано, поля изъедены, усыпаны бледными пятнышками, которые обычно появляются на книгах от старости и сырости. Вильгельм прочитал первые строки сначала по-гречески, потом перевел на латынь и продолжал читать уже по-латыни с тем, чтобы и я мог следить за начальными рассуждениями роковой книги:

«В первой части мы говорили о трагедии, как она посредством сострадания и страха совершает очищение подобных страстей. Теперь же, как обещано, скажем о комедии (а также о сатирах и мимах): о том, как комедия, извлекая приятное из смешного, тоже способна очищать подобную страсть. До какой степени подобная страсть заслуживает внимания — мы говорили уже в книге о душе, заметив, что единственный среди всех животных — человек одарен способностью смеяться. Определим же, какому виду поступков подражает комедия, затем рассмотрим средства, которыми она вызывает смех, и эти средства суть действие и речь. Покажем, как в действии смешное рождается от уподобления лучшего худшему и наоборот, от неожиданного обмана, от всего невозможного и противоречащего законам природы, от незначительного и непоследовательного, от принижения характеров, от употребления площадных и непристойных пантомим, от нарушения гармонии, от выбора наименее достойных вещей. Затем покажем, как смешное в речи происходит от двусмысленности, то есть от употребления сходных слов для различных вещей и различных слов для сходных вещей, от заикания и путаницы, от игры словами, от уменьшительных слов, от погрешностей выговора и от варваризмов...»

Вильгельм переводил с напряжением, подыскивая слова, часто останавливаясь. При переводе он улыбался, будто текст предлагал ему именно то, что он рассчитывал найти. Он перевел до конца первого листа книги, потом умолк, как бы утратив интерес, и быстро просмотрел следующие несколько листов. Но оказалось, что листать

эту книгу не так-то просто. Вдоль верхнего поля и вдоль обреза ее листы слиплись, склеились. Так бывает, когда книга отсыревает из-за дурного хранения. Ее бывает невозможно открыть. Пергаменты перестают отделяться один от другого, превращаясь в плотную клейкую массу. Хорхе заметил, что шорох перевертываемых листов смолк, и снова обратился к Вильгельму:

«Ну что же ты! Читай, листай! Это твое, ты это заслужил!»

Вильгельм в ответ расхохотался, и я увидел, что происходящее его действительно забавляет. «Невысокого ты мнения обо мне, Хорхе! А говорил, что считаешь меня умным человеком. Ты не видишь — но я в рукавицах. Пальцы закрыты. Я не смогу отделить листы один от другого. Мне бы снять рукавицы, работать голыми руками, смачивая пальцы о язык, как я и делал сегодня утром в скриптории — благодаря чему вдруг, счастливым озарением, сумел разгадать и эту тайну. А по твоему замыслу я должен был листать и листать, покуда яд не перешел бы с пальцев на язык во вполне достаточном количестве. Тот яд, который ты однажды много лет назад выкрал из лаборатории Северина, наверное, уже тогда забеспокоившись, наверное, уже тогда услышав, как кто-то в скриптории проявляет неуместный интерес то ли к пределу Африки, то ли к утраченному сочинению Аристотеля, то ли к тому и другому вместе. Ты долго хранил эту склянку, не пуская отраву в ход. Выжидал, когда понадобится. А понадобилось несколько дней назад. Ты учуял опасность. С одной стороны, Венанций слишком уж близко подошел к теме этой книги. С другой стороны, Беренгар из тщеславия, из похвальбы перед Адельмом повел себя не так сдержанно, как был обязан. Тогда ты пошел наверх и отравил приманку. И как раз вовремя. Потому что очень скоро, ночью, Венанций забрался сюда, нашел книгу, унес ее и стал листать с нетерпением, с почти плотоядной жадностью. Через положенное время он почувствовал себя дурно и бросился за спасением в кухню. Там он и умер. Я не ошибаюсь?

«Нет, продолжай».

«Дальше все просто. Беренгар нашел тело Венанция в кухне и испугался, что начнется расследование. Потому что, по сути говоря, Венанций смог попасть ночью в Храмину только из-за нескромности Беренгара, выболтавшего секреты Адельму. Теперь надо было что-то делать. Что — он не знал. Он взвалил труп на плечи, дотащил до бочки со свиной кровью и бросил, надеясь, что все подумают, будто тот утонул».

«Откуда ты знаешь, что это было так?»

«Оттуда же, откуда ты. Я видел, как ты повел себя, когда у Беренгара нашли окровавленную простыню. Этой простыней он весьма неосторожно вытирал руки, навозившись с трупом и бочкой крови. Однако и сам он пропал. А пропасть он мог не иначе как с книгой, содержанием которой и он заинтересовался. Поэтому ты ждал, что с минуты на минуту его найдут где-нибудь, но не окровавленным, а отравленным. Дальше все еще проще. Книга попадает к Северину, потому что Беренгар перед смертью принес ее в лечебницу, собираясь читать вдали от любопытных глаз. Посланный тобой Малахия убивает Северина. Но умирает и сам, зачем-то пожелав узнать, что такого запрещенного содержится в предмете, из-за которого его сделали убийцей. Вот, пожалуйста, объяснение для каждого трупа. Какой идиот...»

«Кто?»

«Я. Хватило одной фразы Алинарда, чтобы я вообразил, будто череда преступлений повторяет музыку семи апокалиптических труб. В случае Адельма — град; а это было самоубийство. В случае Венанция — кровь; а это была нелепейшая мысль Беренгара. В случае самого Беренгара — вода. А это была чистая случайность. В случае Северина — третья часть небес... А Малахия попросту ухватился за

звездный глобус как за первый попавшийся тяжелый предмет. Наконец, Малахия и скорпионы... Зачем ты сказал ему об этой тысяче скорпионов?»

«Нарочно. Для тебя. Алинард делился и со мной догадками насчет Апокалипсиса. Тогда же кто-то из монахов сказал мне, будто ты готов в это поверить. И я осознал, что некий божественный порядок определяет эту цепочку смертей, а я за них не в ответе. И предупредил Малахию, что если он будет любопытствовать, он погибнет согласно тому же божественному порядку. Что и произошло».

«Вот, оказывается, как вышло! Я сочинил ошибочную версию преступления, а преступник подладился под мою версию... И в то же время именно эта неправильная версия помогла мне выследить тебя. В наши времена все бредят книгой Иоанна. Но ты, по моему ощущению, озабочен ею больше, чем другие. И не только из-за своих занятий Антихристом. А еще и потому, что ты родом из страны, создавшей лучшие в мире Апокалипсисы. Сначала я услышал от кого-то из монахов, что самые красивые рукописные копии этой книги, имеющиеся в библиотеке, привезены тобой. Потом Алинард упомянул о своем таинственном противнике, что тот ездил за книгами в Силос. Меня, признаться, сбили с толку его слова, что враг „до времени отбыл в страну теней". Можно было подумать, что тот умер. А он намекал на твою слепоту! Силос расположен рядом с Бургосом. Сегодня утром я проследил по каталогу большую партию приобретений, включающую все испанские Апокалипсисы. Все это куплено в период, когда ты либо уже заступил, либо готовился заступить на место Павла Риминийского. В ту же партию входит и вот эта книга. Но я не мог быть полностью уверен в правоте своего вывода. Мне нужно было последнее доказательство. И тут я узнал, что похищенная и искомая книга переписана на хлопчатой бумаге! Силос — центр бумагопрядения. Это решило дело». (...)

«Ладно,— сказал Хорхе.— Я не настаиваю на твоей смерти. Может, я сумею тебя убедить. Но ответь сначала, как ты догадался, что речь идет о второй части Аристотеля?»

«Конечно, для этого мало было одних твоих проклятий смеху и тех обрывков твоих речей, которые мне пересказали, описывая памятную дискуссию. Больше всего мне помогли записи, оставленные Венанцием. Сначала я вообще не мог понять, о чем там говорится. Но потом я обратил внимание на слова о бесстыдном камне, катящемся по равнине, о цикадах, которые будут петь с земли, и о достопочтенных фигах. Они показались мне знакомыми. Что-то похожее я уже читал. За несколько дней я выяснил, что это было. Эти примеры приводятся Аристотелем в первой книге „Поэтики" и в „Риторике". Затем я припомнил, что Исидор Севильский определяет комедию как то, что повествует о лишении девства и о позорной любви... Так постепенно в моем сознании стала вырисовываться вторая книга Аристотеля. Вернее, то, чем она должна быть. Я могу пересказать тебе ее почти целиком, даже не читая, не дотрагиваясь до ее смертоносных листов. Комедия рождается в komai, то есть в крестьянских селениях. Она рождается как потешный праздник, как завершение трапезы или торжества. Она рассказывает не о лучших и знаменитых людях, а о худших, низких, но не опасных, и не должна кончаться смертью персонажей. Она вызывает смех, показывая обыкновенных людей, их недостатки и пороки. Аристотель рассматривает наклонность к смеху как добрую, чистую силу. Смех у него имеет и познавательную ценность. Смех обучает людей: иногда — посредством остроумных загадок и неожиданных метафор, иногда — показывая вещи даже неправильно, не такими, каковы они есть, а вводя нас в обман и этим понуждая внимательнее рассмотреть предмет. Рассмотрев, мы говорим: вот как, оказывается, обстоит дело, а я и не знал! Так истина добывается через показывание людей и мира

худшими, нежели они есть или мы о них думаем, и во всяком случае гораздо худшими, нежели они выводятся в героических поэмах, трагедиях, житиях святых. Что, я правильно рассказываю?»

«Более или менее. Ты пришел к этому, читая другие книги?»

«Да. Я читал труды, с которыми работал Венанций. Думаю, Венанций давно охотился за этой книгой. Он, должно быть, обнаружил в каталоге то же описание, которое нашел и я, и сразу понял, что это та самая, необходимая ему книга. Но он не знал, как попасть в предел Африки. Когда же он подслушал, что Беренгар толкует Адельму о чем-то подобном, он рванулся по следу книги, как гончий пес по следу зайца».

«Так оно и было. Я тоже сразу понял. Понял, что пришло время защищать библиотеку когтями и клыками».

«И пустил в дело мазь. Трудно, наверно, тебе было... В темноте».

«Теперь мои руки видят не хуже, чем твои глаза. От Северина я в свое время вынес особый помазок. И я, как и ты, работал в рукавицах... Хорошая была идея, ведь правда? Тебе ведь трудно было догадаться?»

«Да. Я вообразил более сложное устройство. Отравленный шип или что-то в этом духе. Должен сказать, что твое решение — идеальное. Жертва отравляет себя сама. Именно в той мере, в какой она интересуется книгой».

Я слушал их и с содроганием видел, что эти люди в эти минуты, сойдясь для смертельной схватки, поочередно восхищаются друг другом, как если бы оба трудились единственно чтобы заслужить одобрение другого. Меня пронзила мысль, что все искусство, употребленное Беренгаром для совращения Адельма, и все те простые, естественные движения, которыми давешняя девица возбуждала мое желание и страсть,— ничто по сравнению с безумным мастерством, с чудовищным арсеналом очарования, пущенным в ход на моих глазах этими двумя, стремившимися соблазнить друг друга. Нить, сладострастно связующая их, распутывалась семь дней, и каждый из двоих всякий раз назначал другому, так сказать, невидимое свидание, и каждый тайно вожделел одобрения другого, в то же время боясь и ненавидя его.

«А сейчас ответь мне на один вопрос,— продолжал Вильгельм.— Почему? Почему эту книгу ты охранял крепче, чем любые другие книги? Почему другие книги ты хотя и старался утаить — но не ценой преступления? Трактаты некромантов, сочинения, в которых — скажем даже — поносилось имя Господне? И только ради вот этой книги ты погубил собратьев и погубил собственную душу? Существует очень много книг, посвященных комедии, и очень много книг, восхваляющих смех. Почему именно эта внушила тебе такой ужас?»

«Потому что это книга Философа. Каждая работа этого человека разрушала одну из областей знаний, накопленных христианством за несколько столетий. У отцов было сказано все, что требовалось знать о значении слова Божия. Но как только Боэций выпустил свое толкование Философа, божественная тайна Слова превратилась в сотворенную человеком игру категорий и силлогизмов. (...) Каждое из слов Философа, на которых сейчас клянутся и святые, и князи церкви, в свое время перевернуло сложившиеся представления о мире. Но представления о Боге ему пока не удалось перевернуть. Если эта книга станет... Если эта книга стала бы предметом вольного толкования, это означало бы падение последних границ».

«Но что тебя так испугало в этом рассуждении о смехе? Изымая книгу, ты ведь не изымаешь смех из мира».

«Нет, конечно. Смех — это слабость, гнилость, распущенность нашей плоти. Это отдых для крестьянина, свобода для винопийцы. Даже церковь, в своей бесконечной мудрости, отводит верующим время для смеха — время праздников, карнавалов, ярмарок. Установлены

дни осквернения, когда человек избавляется от лишних гуморов, от лишних желаний и замыслов... Самое главное — что при этом смех остается низким занятием, отдушиной для простецов, поруганьем таинства — для плебеев (...). Нам не страшны проклятия народа, потому что даже в богохульстве мы умеем услышать опосредованные отголоски гнева Иеговы, обрушенного на ангелов-мятежников. Нам не страшна злоба тех, кто убивает пастырей во имя какой-то мечты об обновлении, потому что это та же злоба, с которой князи стремились уничтожить народ Израилев. Нам не страшны жестокость донатиста, самоубийственное безумие бегуна, похотливость богомила, спесивая нищета альбигойца, кровожадность флагелланта, коловращение зла, проповедуемое братьями Свободного Духа. Мы знаем их всех и знаем, что у их грехов тот же корень, что у нашей святости. Эти люди нам не опасны. И мы прекрасно знаем, как уничтожать их, то есть как устроить, чтобы сами они себя уничтожали, упрямо доводя до зенита ту жажду гибели, которая зарождается в глубинах их надира. Более того. Я твердо убежден, что и само их существование необходимо, неоценимо, поскольку именно их уравновешиваем в Божием мироздании мы. Их греховность поощряет нашу добродетель, их поносные речи воодушевляют нас петь хвалы, их оголтелое покаяние умеряет нас, приучает к разумности в жертвованиях, их безбожие оттеняет нашу набожность, так же как и князь тьмы был потребен миру, с его протестом и с его безысходностью, дабы ярче всего сущего воссияла слава Господня, сие начало и сей конец всяческого упования. Но если бы в один прекрасный день, и уже не в качестве плебейского дозволенного буйства, а в качестве неотъемлемого права мудрецов, закрепленного столь священным документом, как эта книга,— стало бы дозволенным искусством, свойственным даже и благородным и свободным людям, а не одним плебеям — искусство осмеяния! О! Если бы хоть однажды сыскался хоть один, посмевший сказать (и быть услышанным): „Смеюсь над Пресуществлением!" О! Тогда у нас не нашлось бы оружия против его богохульства. Тогда пошли бы в наступление темные силы плотского вещества, те силы, которые проявляются в рыгании и газопускании, и газопускание и рыгание присвоили бы себе то право, которым пользуется один только дух — дышит где хочет!»

«Ликург поставил статую смеху».

«Ты вычитал это в книжонке Хлорития, который старается оправдать мимов. Он пишет, что какого-то больного излечил врач, велевший рассмешить его. Зачем надо было его излечивать, если Господь постановил, что земной его день близится к закату?»

«Не думаю, чтобы он излечил больного от болезни. Скорее научил его смеяться над болезнью».

«Болезнь не изгоняют. Ее уничтожают».

«Вместе с больным».

«Если понадобится».

«Ты дьявол»,— сказал тогда Вильгельм.

Хорхе как будто не понял. Если бы он был зряч, я бы мог сказать, что он ошеломленно уставился на собеседника. «Я?» — переспросил он.

«Ты. Тебя обманули. Дьявол — это не победа плоти. Дьявол — это высокомерие духа. Это верование без улыбки. Это истина, никогда не подвергающаяся сомнению. Дьявол угрюм, потому что он всегда знает, куда он придет, и куда бы ни шел — он всегда приходит туда, откуда вышел. Ты дьявол, и как дьявол, живешь во тьме. Если ты старался убедить меня — у тебя ничего не получилось. Я тебя ненавижу, Хорхе, и если бы я мог, я выставил бы тебя там, на улице, голым, с воткнутыми в зад птичьими перьями, с лицом, размалеванным, как у фигляра или шута, чтобы весь монастырь смеялся над тобой и никто бы тебя больше не боялся. Я бы с удовольствием

вымазал тебя медом и вывалял в пуху, и таскал бы тебя на поводке по ярмаркам, и показывал бы всем: вот тот, кто возвещал вам истину и уверял, что у истины вкус смерти. А вы верили не столько его словам, сколько его важному виду. А теперь я говорю вам, что в бесконечном коловращении вероятностей Господь дозволяет вам вообразить даже и такой мир, в котором бывший провозвестник истины — всего лишь поганое пугало, бормочущее несколько слов, заученных сто лет назад».

«Ты хуже дьявола, минорит,— сказал тогда Хорхе.— Ты шут. Как тот святой, который всех вас породил. (...)»

«Святой Франциск учил людей смотреть на вещи с другой стороны».

«Ничего, мы вас переучили. Ты посмотрел вчера на своих собратьев, правда? Они вернулись в наши ряды. Они уже не говорят на языке простецов. Простецы вообще не должны говорить. А в этой книге доказывается, будто речь простецов может содержать что-то вроде истины. Эту мысль невозможно пропустить. И я ее не пропустил. Ты говоришь, что я дьявол. Ты не прав. Я был перст Божий».

«Перст Божий созидает, а не рушит».

«Существуют границы, за которые переходить нельзя. Господь пожелал, чтоб на некоторых документах стояло: „Hic sunt leones"» [1].

«Господь и разных гадин создал. И тебя. И обо всем этом позволил говорить».

Хорхе дотянулся дрожащими руками до книги и придвинул ее к себе. Она лежала перед ним открытая, но перевернутая, так что Вильгельм мог бы по-прежнему читать написанное на листах. «Тогда почему же,— снова заговорил Хорхе,— Господь дозволил, чтобы этот труд в течение многих столетий оставался в неизвестности, в небытии, и чтобы сохранилась одна-единственная копия, и та пропала неведомо куда, и чтобы единственная копия с этой копии пролежала еще множество лет погребенная в собрании язычника, не понимавшего по-гречески, а после этого и вовсе потерялась в подвале старой библиотеки, куда я, именно я, а не ты, был прислан провидением, чтобы разыскать ее, увезти с собой и прятать в своем тайнике еще очень много лет? Я знаю, знаю так же ясно, как будто это написано передо мной диамантовыми буквами, перед моими очами, которым видно то, чего тебе не увидать,— я знаю, что в этом-то и проявилась воля Господня, исполняя которую я сделал то, что я сделал. Во имя Отца, Сына и Святого Духа».

Седьмого дня
НОЧЬ,

где случается мировой пожар и из-за преизбытка добродетелей побеждают силы ада

Старец умолк. Обеими раскрытыми ладонями он придерживал книгу, как будто лаская ее листы, как будто разглаживая бумагу, чтобы удобней было читать. А может быть, прикрывая ее от чьей-нибудь хищной хватки.

«В любом случае все это оказалось бесполезно,— произнес Вильгельм.— Игра окончена. Я нашел тебя, я нашел книгу, а мертвые умерли напрасно».

«Не напрасно,— ответил Хорхе.— Слишком многие — это да, это возможно. Если нужно доказывать, что эта книга проклята богом,— вот тебе еще одно доказательство. Но умерли они вряд ли напрасно. И чтобы они точно не напрасно умерли — пусть добавится еще один мертвец».

---

[1] Тут львы *(лат.)*.

И выговорив это, он взялся своими бесплотными, почти прозрачными руками за один из листов и медленно потянул его на себя, отрывая полоску, потом еще одну, и еще, раздирая на клочки мягкие листы рукописи и запихивая обрывки один за другим к себе в рот и старательно жуя, будто гостию святого причастия, которая должна перейти в плоть его собственной плоти.

Вильгельм сидел и смотрел, как завороженный, казалось, не сознавая, что происходит. Еще не выйдя из оцепенения, он перегнулся к старику и крикнул: «Что ты делаешь?» В ответ Хорхе ощерился, обнажив бескровные десны, и желтоватая слюна потекла с бледных губ на седую, с проплешинами, щетину, покрывавшую подбородок.

«Ты ведь ждал седьмой трубы — разве не так? Слушай же, что говорит голос с неба! „Скрой то, что говорили семь громов, и не пиши сего, а пойди, возьми раскрытую книжку и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед". Видишь? Вот я и скрываю то, чему не следует звучать, скрываю в своей утробе и сам становлюсь ему могилой».

И он смеялся, Хорхе. Впервые за все время я услышал, как он смеется. Он смеялся гортанью, так странно и невесело кривя губы, что казалось, будто он не смеется, а плачет. «Ты не ждал такого, Вильгельм, правда? Не ждал такой развязки? Милостью божией старик снова перехитрил тебя, правда?» И поскольку Вильгельм все тянулся, стараясь ухватить книгу, Хорхе, улавливая его движение по какому-то неощутимому колыханию воздуха, отстранился от стола, левой рукой притискивая книгу к самой груди, а правой продолжая раздирать ее на части и класть эти части в рот.

Между ними находился стол. Вильгельм, не в силах дотянуться до старика, бегом кинулся в обход стола, но зацепился подолом за табурет, тот рухнул на пол, и по его грохоту Хорхе разгадал уловку противника. Тогда он захохотал снова, на этот раз еще громче, и с неожиданным проворством вытянул правую руку, нашаривая лампу; струи нагретого воздуха безошибочно указывали ему, где она; поднеся ладонь к пламени, он схватился за фитиль, как будто не чувствуя боли. Свет потух. Все покрылось мраком, и в третий, последний раз послышался смех Хорхе, кричащего: «Ловите меня теперь! Теперь я вижу лучше вашего!» Смех оборвался. Больше ничего не было слышно. Ходить он умел, как мы знали, совершенно бесшумно, что и делало всегда такими внезапными его появления. И только время от времени в разных местах комнаты раздавался резкий звук рвущейся бумаги.

«Адсон! — заорал Вильгельм что есть мочи.— Стой на дверях, не давай ему уйти!»

Но он опоздал со своими распоряжениями. С самого начала я прикидывал, дрожа от нетерпения, как мне схватить старика; и, чуть только погас свет, я ринулся ему наперерез, предполагая обогнуть стол с другой стороны, не с той, где стоял Вильгельм. Слишком поздно я сообразил, что тем самым открываю Хорхе свободный проход к двери, тем более что старик перемещался в темноте с необыкновенным проворством. И действительно, звук рвущейся бумаги послышался уже у нас за спинами, и так глухо, как будто шел из соседней комнаты. Вместе с ним до нас донесся и другой звук — натужный, нарастающий скрип заржавелых дверных петель.

«Зеркало! — взвыл Вильгельм.— Он нас запирает!» И мы бросились на шум, туда, где, должно быть, находился выход. Я налетел на скамейку и больно стукнулся ногой, но почти не заметил этого, потому что мозг, как молния, пронизывала мысль: если Хорхе захлопнет дверь, нам отсюда живыми не выйти. В темноте мы не сумеем открыть замок, тем более что неизвестно, ни где спрятана пружина, ни как она действует.

Думаю, что Вильгельма вела та же сила отчаяния, что и меня.

потому что тела наши столкнулись в ту самую секунду, когда мы, добежав до порога двери, приняли на себя удар зеркальной рамы, захлопывавшейся нам в лицо. Видно, мы поспели более чем вовремя. Дверь, встретив сопротивление, дернулась, ослабела и подалась. Мы напирали: она пошла назад и открылась. Вероятно, Хорхе почувствовал, что силы неравны, бросил дверь и снова ударился в бегство. Итак, из проклятой комнаты мы спаслись, но оставалось только гадать, в каком направлении улепетывает старец. Тьма была непроглядная. Внезапно я сообразил, что выход есть.

«Учитель, да ведь у меня огниво!»

«Так чего ты ждешь! — завопил Вильгельм.— Ищи лампу, зажигай скорее!» Я снова бросился в темноту, обратно, в предел Африки, вытянув руки, ощупывая все вокруг в поисках фонаря, и наткнулся на него почти сразу же — по-моему, это было одно из чудес Господних. Сунув руки в складки рясы, я отыскал огниво. Руки у меня дрожали, и зажечь фонарь удалось только с третьей или четвертой попытки. А Вильгельм, стоя в дверях, все подгонял: «Скорее! Скорее!» Наконец лампа засветилась.

«Быстрее! — крикнул Вильгельм, бросаясь в темноту.— Иначе он сожрет всего Аристотеля!»

«И умрет!» — горестно вторил я, устремляясь за ним в глубины лабиринта.

«Велика важность, что он умрет, проклятущий!» — отвечал Вильгельм, обшаривая глазами тьму и вращая головой во все возможные стороны.— Все равно он уже так наелся, что надеяться ему не на что. Но книга!»

Потом он остановился и заговорил более спокойно. «Погоди. Так мы его никогда не поймаем. Ну-ка замри и молчи». Мы застыли в полном безмолвии. И только благодаря этому безмолвию смогли расслышать где-то очень далеко шум столкновения тела с чем-то твердым и звук падения нескольких книг. «Он там!» — вскрикнули мы одновременно.

Мы рванулись в сторону, откуда доносился шум, но тут же обнаружили, что быстро бежать не можем. Дело в том, что вся библиотека, за исключением предела Африки, была пронизана воздуховодами, откуда в эту ночь внутрь здания проникали потоки шипящего и стонущего воздуха, то усиливающиеся, то ослабевающие в зависимости от скорости ветра на улице. Эти перемещения воздуха вкупе с быстрым перемещением огня грозили загасить свет, с таким трудом нами добытый. Так что быстрее продвигаться мы не могли. Надо было как-то задержать Хорхе. Я ломал голову, как бы это сделать. Но Вильгельма осенила противоположная мысль, и он громко прокричал: «Эй, старик, считай что мы тебя поймали! Мы теперь с фонарем!» И это была замечательная мысль, потому что, услышав такое, Хорхе, по-видимому, засуетился и наддал ходу, нарушая свой привычный темп, всегда позволявший ему путешествовать в потемках, как зрячему при ярком свете. И, должно быть, поэтому очень скоро опять послышался грохот. Когда, бросившись на шум, мы вбежали в залу Y (YSPANIA), мы увидели, что Хорхе упал на землю, по-прежнему с книгой в руках, и теперь, силясь встать, барахтается в куче других книг, обрушившихся на него со стола, о который он споткнулся и, свалив его, свалился сам. Он пытался встать на ноги, но в то же время продолжал разрывать страницу за страницей, как будто цель его была — как можно полней и скорее насытиться добычей.

Когда мы подбежали, он уже встал на ноги и, расслышав наше приближение, пятился, не отворачивая от нас незрячее лицо. Лицо это в красном отливе фонарного луча предстало совершенно чудовищным. Черты были искажены, болезненный пот струился по лбу и щекам. Глазницы, обычно белые, как смерть, сейчас набухли кровью.

Изо рта торчали концы пергаментных полос, как у сказочного чудища, так наполнившего брюхо, что новая еда не идет уже в желудок и лезет обратно из пасти. Корчи страдания, распространение яда, в избытке змеившегося по всем кровеносным сосудам, и отчаянная, дьявольская тяга к самоуничтожению сделали свое дело. То, что прежде составляло почтенную наружность седого старца, превратилось в нечто уродливое и позорное. В другое время это могло бы вызвать неудержимый смех. Но сейчас наши души не отзывались на смешное: мы как будто сами превратились в каких-то зверей, в собак, учуявших подбитую дичь.

Ничто не мешало нам спокойно задержать старика. Вместо этого мы налетели со всего размаху. Он вывернулся, обнимая руками книгу, крепко прижатую к груди. Я действовал одной левой, правой в это время пытаясь поднять как можно выше лампу. Но как-то вышло, что дыхание огня тронуло его лицо. Он почувствовал жар и с полузадушенным воем, с хрипеньем, роняя изо рта полупережеванные листы, высвободил правую руку, удерживая книгу только левой, вцепился рукой в лампу и с дикой силой рванул на себя, размахнулся — и метнул ее куда-то вперед, как можно дальше от нас.

Фонарь упал на самую середину кучи книг, ссыпавшихся со стола и валявшихся одна на другой в распахнутом, растрепанном виде. Масло потекло из лампы. Огонь мгновенно схватился за хрупкие пергаменты, как за связку сухих сучьев. Все случилось в течение нескольких секунд. Книги вспыхнули с такой яркостью, как будто их тысячелетние страницы с незапамятных времен вожделели очистительного пламени и ликовали теперь, найдя возможность утолить лютую жажду пожара. Вильгельм, увидев это, на мгновение ослабил хватку. Старец вырвался и тотчас отбежал на несколько шагов. Вильгельм махнул руками, не зная, что предпринять (по правде сказать, долговато он решал!): хватать ли снова Хорхе или кидаться сбивать пламя, плясавшее на вершине небольшого костра. Одна из книг, самая старая, вдруг полыхнула ярко и резко, выбросив к потолку длинный язык огня.

Тоненькие сквозняки, способные загасить слабый огонь, на живое, сильное пламя действовали противоположным образом: они раздували его и вдобавок подхватывали обрывки горящей бумаги и возносили их к потолку.

«Гаси огонь, скорее! — закричал Вильгельм.— А то все сгорит!»

Я подскочил к костру и остановился, не зная, что предпринять. Видя мое замешательство, подбежал и Вильгельм. Голыми руками сделать ничего было нельзя. Мы метались, вытягивали руки, ища, чем бы сбить огонь. Тут меня как будто осенило. Я схватился за подол рясы, задрал ее, стаскивая через голову и набрасывая на пылающее пламя. Но пламя было уже слишком сильным, оно обхватило мою одежду и пожрало ее в мгновение ока. Я еле успел выпростать обожженные руки, повернулся к Вильгельму и увидел за его спиной Хорхе, неслышно подкравшегося к нам. Жар был уже так силен, что он прекрасно знал, куда идет. Уверенным движением он занес над головой руку и швырнул Аристотеля в самое пекло.

Вильгельм издал непонятный вопль и с дикой жестокостью, со всей силы толкнул старика. Тот отлетел к шкапу, ударился головой об угол и рухнул на землю... Но Вильгельм, с уст которого сорвалось, мнится мне, ужаснейшее ругательство, даже не поглядел на упавшего. Он кинулся к книгам. Слишком поздно. Аристотель, вернее то, что осталось после стариковского угощения, уже догорал.

Тем временем самые живые искры, покружившись под потолком, прилипали к стенам, и переплеты книг в одном из пристенных шкапов начали выгибаться, видимо, поддаваясь натиску огня. Стало ясно, что в комнате занялись уже не один, а два пожара. (...)

Мы кое-как нашли путь к лестнице. Зарево освещало и соседние комнаты, хотя по мере удаления идти становилось все темнее, а в последних залах мы искали дорогу почти на ощупь. На втором этаже было тихо. Бледный ночной свет еле-еле озарял скрипторий. Мы сбежали ниже, в трапезную. Вильгельм бросился в кухню за водой, а я к наружной двери. Я тряс засов, не в силах сообразить, как он отодвигается. От возбуждения я не владел ни головой, ни руками и потратил на этот засов уйму времени. Наконец я справился с ним, распахнул дверь и вылетел на улицу, метнулся было к спальным палатам, но тут же понял, что слишком долго придется будить всех монахов по очереди. И тут меня снова осенило, и я побежал к церкви, на ходу стараясь вспомнить, откуда идет лестница на колокольную башню. Задыхаясь, взлетел я на колокольню, ухватился сразу за все канаты, идущие от колоколов, и стал раскачивать языки. Я тянул что было мочи; канат главного колокола, расходившись, возносил меня все выше и выше. В библиотеке я обжег тыльную сторону рук. Ладони тогда не пострадали. Их я изранил теперь, сдирая кожу о канаты, пока не полилась обильно кровь и мне не пришлось ослабить хватку.

Но шуму и так должно было хватить. Я снова скатился вниз с лестницы — как раз в то время, когда первые монахи выскакивали из почивален, а издалека долетали голоса разбуженных служек, толпившихся на порогах своих жилищ. Ко мне обращались, меня расспрашивали, но внезапно я забыл все слова и не мог ничего сказать, а потом с уст почему-то посыпались звуки моей родной речи. Окровавленной рукой я указывал на окна южного крыла Храмины, в которых за гипсовыми стеклами колыхался необычно яркий свет. По силе свечения я догадался, что в то время, пока я бегал и звонил в колокола, огонь перекинулся уже в другие залы. Все окна Африки и весь переход между южной и восточной башнями озарялись алыми сполохами.

«Воду, носите воду!» — наконец закричал я.

(...) Николаю кое-как удалось согнать перепуганных монахов и служек к дверям кухни. Тем временем кто-то сшиб замки. Кто-то еще догадался принести факелы. Нашим глазам открылся полнейший разгром: я понял, что это Вильгельм метался по кухне, ничего не видя, пытаясь отыскать воду и какую-нибудь посуду для ее переноски.

В это время дверь, ведущая в трапезную, приоткрылась и высунулся Вильгельм: обожженное лицо, тлеющая ряса, в руках большая кастрюля. Меня охватила ужасная жалость к нему. Это была аллегория человеческого бессилия. Я понимал, что если даже ему удалось дотащить горшок с водой до третьего этажа в полной темноте, и даже если он сумел проделать это не один раз — все равно он мало чего добился. Я вспомнил из жития Св. Августина, как ему явился мальчик, вычерпывавший ложкой море. Мальчик был ангел и таким манером потешался над святым, вознамерившимся проникнуть в тайны божественной природы. И как тот ангел, заговорил ко мне Вильгельм, прислонившись в изнеможении к косяку дверного проема: «Это невозможно. Нам этого не одолеть. Даже со всеми монахами аббатства. Библиотека погибла». В отличие от ангела, Вильгельм плакал.

Я прижался к нему, в то время как он срывал скатерть со стола и укутывал ею мои плечи. Обнявшись, мы наблюдали, обессиленные, убитые горем, за тем, что происходило вокруг.

Люди бестолково метались во все стороны, многие бежали с голыми руками вверх по винтовой лестнице и сталкивались с другими, которые с такими же голыми руками, движимые безрассудным любопытством, уже побывали наверху, а теперь спускались за какой-нибудь посудиной. Более расторопные с самого начала запасались

ведрами и ковшами и лишь после этого обнаруживали, что воды в кухне явно недостаточно. Внезапно в залу ввалилась вереница мулов, тащивших кувшины с водой. Мулы метались и взбрыкивали, погонщики ударами усмиряли их, снимали кувшины и, нагрузив на спины, направлялись с ними к очагу пожара. Но они не знали дороги в скрипторий, и дополнительное время терялось на то, чтобы узнать от кого-нибудь из писцов, как пройти. Дальше, взбираясь по лестнице, они сталкивались с теми, кто в ужасе бежал вниз. При этом возникала толкотня; несколько кувшинов разбилось, и вода без толку протекла на пол; другие кувшины, придерживаемые доброхотными чужими руками, благополучно доплыли до верху лестницы. Я бросился следом за погонщиками, но дальше скриптория пройти мне не удалось. С лестницы, уходившей в библиотеку, валил густой дым, и последние из тех, кто пытался прорваться вверх по лестнице восточной башни, отступали, корчась от кашля, с красными глазами, уверяя, что в этот ад войти уже невозможно.

Тут я увидел Бенция. С перекошенным лицом, надрываясь под тяжестью огромного кувшина, он спешил наверх с первого этажа. Услышав горькие слова отступавших, он выкрикнул, обращаясь к ним: «Ад все равно поглотит вас, трусы!» Потом оглянулся, как будто ища поддержки, и увидел меня. «Адсон,— прорыдал он,— библиотека... библиотека!» Ответа он не ждал. Дотащил свой кувшин до лестницы, взвалил его на плечи и скрылся в дыму. Больше его никто никогда не видел. (...)

Весь монастырь был охвачен ужасом. Но это было только начало катастрофы. Торжествующая, рокочущая огневая туча, вывалившись из окон и через крышу потонувшей в огне Храмины, на крыльях ветра пронеслась по воздуху и обрушилась на перекрытия церкви. Кто не знает, сколько величайших соборов погибло от нападения огня! Ибо хотя дом Господен с виду прекрасен и защищен подобно Иерусалиму небесному своей каменной оболочкой, которой он по праву кичится, но при этом его стены и перекрытия стоят на уязвимой, хотя и превосходной деревянной конструкции. И хотя собор построен из камня и походит на чудный лес своими колоннами, расходящимися к вышине, как ветви, переплетенные с вольтами потолка, колоннами величественными, как вековые дубы,— все же часто самая его основа и вправду состоит из дуба, так же как из дерева состоит все его внутреннее убранство: алтари, хоры, расписанные доски, скамьи, седалища, канделябры. Так же была устроена и аббатская церковь с ее непревзойденным порталом, поразившим меня в первый же день. И занялась она в считанные минуты. Монахи и все обитатели монастырской ограды поняли, наконец, что дело идет уже о выживании всего аббатства. И забегали еще более решительно и бестолково, стараясь дать отпор бедствию.

Конечно, церковь была гораздо доступнее и поэтому гораздо защищеннее, чем библиотека. Библиотека была приговорена с первой минуты в силу самой своей непроницаемости, таинственности, оборонявшей ее столько лет, в силу крайней затрудненности доступа к хранилищу. Церковь же, по-матерински распахнутая для всех в часы молитвы, распахнулась для всех и в час, когда ей потребовалась помощь. Но в аббатстве уже не было воды. Вернее, ее было очень мало. Были исчерпаны или подходили к концу все накопленные запасы, а из источников вода поступала равномерно, но очень скудно. Природа в своей равнодушной медлительности не желала сообразовываться с требованиями момента. Пожар в церкви потушить было можно, но никто уже не понимал, с какой стороны за это браться. К тому же огонь шел сверху вниз. Непонятно было, как попасть наверх, чтобы сбивать оттуда пламя, душить его землей и тряпками.

А когда огонь доорался до низа, бросать в него землю и тряпки было уже бесполезно, потому что тогда обвалилась и крыша, похоронив под собой немало сражавшихся с пожаром.

Так к воплям, оплакивающим дивные богатства, присоединились и возгласы боли. У многих были обожжены лица, переломаны кости, много тел навеки исчезло под камнепадом рушащихся вольт.

Ветер дохнул с новым пылом, и с новым пылом забушевала чума над несчастным аббатством. Сразу после церкви загорелись конюшни и хлевы. Обезумевшие животные, порвав цепи, своротили стойла, вышибли ворота и, одурев от ужаса, заметались по подворью, оглашая воздух ржанием, мычанием, блеянием, хрюканьем. В гривы нескольких лошадей залетели горящие искры, и потрясенному взору тех, кто мог еще видеть, явились адские существа: огненные кони, летящие по равнине, круша все на своем пути, не зная ни цели, ни предела. Я видел, как дряхлый Алинард, чудом уцелевший в сыроматохе, стоял и озирался, не понимая, что творится вокруг него. Со всего разбега на него налетел красавец Гнедок, объятый пламенем, сшиб с ног и пронесся сверху, втоптав его в пыль. Он остался лежать — бедная бесформенная оболочка. Но я не мог, не успевал ни подбежать к нему, ни оплакать его кончину, потому что подобные страшные зрелища окружали меня со всех сторон.

Загоревшиеся кони разнесли огонь повсеместно, туда, куда ветер еще не добросил языки пламени и искры. Горели уже и кузни, и дом послушников. Толпы народу метались по площади без всякой цели или с совершенно бесполезными целями. Я увидел Николая, с пробитой головой, в продранной одежде, побежденного отчаянием. Он стоял на коленях возле въездных ворот, посылая проклятия проклятию Господню. Я увидел и Пацифика Тиволийского. Даже не пытаясь помочь тушившим пожар, он ловил пробегавшего мимо испуганного мула. Схватив мула и вскочив на него верхом, он встретился глазами со мною и крикнул, чтобы я скорее следовал его примеру и бежал отсюда, спасаясь из этого жуткого подобия Армагеддона.

Тут я вдруг ужаснулся и подумал: а где Вильгельм? Не пострадал ли и он под каким-нибудь обломком здания? Я стал разыскивать его — и наконец обнаружил недалеко от церковного двора. В руке он держал свой походный мешок. Когда огонь уже подобрался к странноприимному дому, он зашел в келью, чтобы спасти хотя бы свои драгоценные орудия. Он захватил и мой мешок, где я нашел во что переодеться. Переводя дыхание, мы остановились и оглянулись вокруг.

Аббатство было обречено. Почти все его постройки в большей или меньшей степени были затронуты пламенем. То, что еще не горело, должно было загореться с минуты на минуту. Все в природе, от расположения стихий до действий спасателей, способствовало тому, чтоб монастырь сгорел дотла. Огня не было только на участках, где не было и строений — на огороде, в саду перед церковным двором. Больше ничего нельзя было сделать, чтобы спасти постройки. Оставалось бросить всякую надежду спасти их и, отойдя в безопасное место, спокойно смотреть, как все погибает.

Ближе всего к нам была церковь, которая сейчас горела уже совсем вяло. Это общее свойство подобных больших строений: разом вспыхивать всеми деревянными частями, а потом дотлевать по многу часов, иногда по многу дней. Совсем иначе горела Храмина. В ней питание для огня было гораздо более богатое. Пламя, целиком завладев скрипторием, спустилось уже в помещение трапезной и кухни. А третий этаж, в котором прежде на протяжении многих сотен лет располагался лабиринт, был уничтожен почти полностью.

«Это была самая большая библиотека христианства,— сказал Вильгельм.— Сейчас,— продолжил он,— Антихрист, должно быть, действительно возобладает, потому что нет больше знаний, чтобы

от него защищаться. Впрочем, сегодня ночью мы уже смотрели ему в лицо».

«Кому в лицо?» — ошеломленно переспросил я.

«Хорхе. В этом лице, иссушенном ненавистью к философии, я впервые в жизни увидел лик Антихриста. Он не из племени Иудина идет, как считают его провозвестники, и не из дальней страны. Антихрист способен родиться из того же благочестия, из той же любви к Господу, однако чрезмерной. Из любви к истине. Как еретик рождается из святого, а бесноватый — из провидца. Бойся, Адсон, пророков и тех, кто расположен отдать жизнь за истину. Обычно они вместе со своей отдают жизни многих других. Иногда — еще до того как отдать свою. А иногда — вместо того чтоб отдать свою. Хорхе совершил дьявольские деяния потому, что он так сладострастно любил свою правоту, что полагал, будто все позволено тому, кто борется с неправотой. Хорхе боялся второй книги Аристотеля потому, что она, вероятно, учила преображать любую истину, дабы не становиться рабами собственных убеждений. Должно быть, обязанность всякого, кто любит людей — учить смеяться над истиной, *учить смеяться саму истину*, так как единственная твердая истина — что надо освобождаться от нездоровой страсти к истине». (...)

В эту минуту часть перекрытий спальных палат рухнула вниз с ужасающим грохотом, выбросив к небу снопы сияющих искр. Стадо овец и коз, мечущееся по двору, отбежало поближе к нам с надрывающим душу блеянием. Служки толпой промчались в другом направлении, крича и вопя, чуть не свалив нас с ног.

«Слишком большая сумятица тут,— сказал Вильгельм.— Не в смятении, не в смятении Господь».

Последний лист

Аббатство горело три дня и три ночи, и никакие усилия ни к чему не привели. Уже утром на седьмой день нашего пребывания в тех местах, когда все уцелевшие увидели, что ни одну из построек спасти они не в силах, когда стены самых великолепных зданий рассыпались в порошок, а церковь, изогнувшись вокруг оси, проглотила собственную башню — тогда уже ни у одного человека не осталось желания бороться против божьей кары. Все более устало тащились люди со своими жалкими ведрами к источнику за водой. В отдалении тихо истлевала капитулярная зала, над ней горели пышные аббатские покои. Когда огонь дополз до задворок кузни, служки, заблаговременно вынесшие оттуда всю ценную утварь, даже не пытались тушить пожар, а предпочитали гоняться по склонам горы за разбежавшейся скотиной, которая в ночной суматохе сумела как-то найти выход за монастырскую ограду.

Я видел, как некоторые служки рылись на пепелище церкви. Я понял, что они, наверное, ищут ход в крипту с сокровищами, хотят награбить ценностей, прежде чем удариться в бегство. Не знаю, удалось ли им что-нибудь откопать, не знаю, не ушла ли под землю крипта, не знаю, не ушли ли вместе с нею в земные недра и безрассудные грабители, польстившиеся на церковное добро.

Понемногу стали подходить мужчины из деревни, то ли предложить помощь, то ли посмотреть, не найдется ли и для них какой-нибудь поживы. Мертвые как лежали, так и оставались лежать среди тлеющих развалин. На третий день, перевязав раненых, похоронив те трупы, к которым можно было подступиться, монахи и прочие жители окрестностей собрали что могли и оставили еще курившуюся ды-

мом гору как место, проклятое Богом. Не знаю, куда они все потом делись.

Мы с Вильгельмом покинули эти места верхом на двух лошаденках, пойманных поблизости в лесу. Мы посчитали их res nullius[1] (...). Добравшись до Мюнхена Баварского, я вынужден был расстаться, обливаясь слезами, с моим добрым учителем. Его будущее было смутно. Мои родители предпочли, чтобы я возвратился в Мельк. С той ужасной ночи, когда Вильгельм делился со мною своим отчаянием у падающих стен аббатства, мы по какому-то молчаливому соглашению ни разу больше не говорили о том, что было. И ни словом не коснулись этого предмета во время нашего горестного прощания.

Учитель дал мне много полезных советов относительно предстоящего ученья и подарил стекла, сделанные Николаем, так как к нему тогда же вернулись его собственные. Ты еще совсем молод, сказал он при этом, но наступит день, когда они тебе понадобятся (и точно, сейчас они на носу у меня, пишущего эти строки!). Потом он крепко обнял меня, с отеческой нежностью, и уехал.

Больше я его не видел. Очень много лет спустя я узнал, что он умер в моровую язву, опустошившую Европу в середине нашего века. Не устаю молиться, чтобы Господь принял его душу и простил ему многочисленные приступы гордыни, которым он был подвержен из-за дивной смелости своего ума (...).

В скриптории холодно, палец у меня ноет. Оставляю эти письмена, уже не знаю кому, уже не знаю о чем. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. [2]

■

[1] Ничьим добром *(лат.)*.

[2] Роза при имени прежнем — с нагими мы впредь именами *(лат.)*.

УМБЕРТО ЭКО

Заметки на полях «Имени розы» [1]

Вступление, примечания и перевод с итальянского Е. КОСТЮКОВИЧ

Всякий прочитавший роман «Имя розы», публикация которого заканчивается в этом номере «ИЛ», заметил, как важен в нем мотив маргиналий — рисунков и заметок на полях текста. Очень часто эти маргиналии потешны, пародийны. Но осмеяние, подчеркивает Эко вслед за М. М. Бахтиным, не угрожает восприятию явления культуры, а напротив, придает ему новую жизненность и силу.

Пояснения, дополнения, развертывание тем — к этому сводится и большинство откликов на роман. Снят (и уже куплен для показа в СССР) вполне иллюстративный фильм с бывшим Джеймсом Бондом (Шоном Коннери) и Федором Ф. Шаляпиным в главных ролях. Художники окружают портрет Эко средневековыми атрибутами, вписывают его фигуру в буквицу, кладут ему под ноги (как автор этой иллюстрации — Туллио Периколи) типичных маргинальных чудовищ с лапами, вытянутыми на поля рисунка: создаются маргиналии к маргиналиям. На иллюстрирование, толкование нацелен и труд многих критиков. Разъясняются непонятные слова, проверяется точность воспроизведения средневековых реалий. Бывает отношение к этому тексту и почти комическое в своей серьезности, когда исследователи видят в нем чуть ли не подлинный документ эпохи и судят, не анахроничны ли некоторые образы.

А между тем перед ними — довольно озорная работа гуманитария, конструирующего детектив из общих мест своей науки, часто сбивающегося на современный университетский говорок и не отказывающего себе в удовольствии вынудить средневекового инквизитора к словам «Элементарно, дорогой Адсон!» При этом автор вставляет в текст целые страницы латыни — и ничего, книга читается миллионами итальянцев, англоязычных и франкоязычных читателей без перевода латыни и без каких бы то ни было словариков трудных слов! Таков был замысел автора: разъяснять ничего не надо. Он рассчитывал на эффект «погружения», как при изучении языка.

Подобным же образом рассчитана им и идейная структура книги. На обложке, перефразируя Л. Толстого и Л. Витгенштейна, он предупредил: «Автор отказывается сообщить, что именно хочет сказать его книга. Если бы он хотел доказать некую идею, он написал бы статью (как многократно поступал прежде). Но он написал роман — потому что, достигнув зрелости, открыл для себя простую истину: о чем нельзя теоретизировать, о том следует повествовать».

Поэтому объяснения «Имени розы» в «Заметках...» дано не будет. Речь пойдет о проблемах литературы и культуры вообще. И поведет ее Эко как бы полуиграя: именно так он каждую неделю обращается к широкой публике с последней страницы «Эспрессо», где он ведет колонку «Почта Минервы». Там знаменитый семиотик остроумно трактует общекультурные темы, импонируя читателю «серьезными» научными вкраплениями. Похожий тон слышится и во «Вступлении» к роману, и в «Заметках на полях...» Не случайно ныне «Заметки...» печатаются не только отдельными изданиями, но и под одним переплетом с романом, на правах эпилога.

[1] Postille a «Il nome della rosa». Alfabeta n. 49, giugno 1983.

Rosa que al prado, encarnada,
te ostentas presuntuosa
de grana y carmín bañada:
campa lozana y gustosa;
pero no, que siendo hermosa
también serás desdichada.

Juana Inés de la Cruz[2]

Заглавие и смысл

После выхода «Имени розы» я получаю читательские письма с просьбой объяснить смысл заключительного гекзаметра и его связь с названием книги. Отвечаю: цитата взята из поэмы «De contemptu mundi»[3] бенедиктинца Бернарда Морланского (XII в.). Он разрабатывает тему «ubi sunt»[4] (откуда впоследствии и «où sont les neiges d'antan»[5] Вийона). Но у Бернарда к традиционному топосу (великие мужи, пышные города, прекрасные принцессы — все превратится в ничто) добавлена еще одна мысль: что от исчезнувших вещей остаются пустые имена. Напоминаю — у Абеляра пример «nulla rosa est» использован для доказательства, что язык способен описывать и исчезнувшие и несуществующие вещи. Засим предлагаю читателям делать собственные выводы.

Автор не должен интерпретировать свое произведение. Либо он не должен был писать роман, который по определению — машина — генератор интерпретаций. Этой установке, однако, противоречит тот факт, что роману требуется заглавие.

Заглавие, к сожалению, — уже ключ к интерпретации. Восприятие задается словами «Красное и черное» или «Война и мир». Самые тактичные по отношению к читателю заглавия — те, которые сведены к имени героя-эпонима. Например, «Давид Копперфильд» или «Робинзон Крузо». Но и отсылка к имени эпонима бывает вариантом навязывания авторской воли. Заглавие «Отец Горио» фиксирует внимание читателей на фигуре старика, хотя для романа не менее важны Растиньяк или Вотрен-Колен. Наверно, лучше такая честная нечестность, как у Дюма. Там хотя бы ясно, что «Три мушкетера» — на самом деле о четырех. Редкая роскошь. Авторы позволяют такое, кажется, только по ошибке.

У моей книги было другое рабочее заглавие — «Аббатство преступлений». Я забраковал его. Оно настраивало читателей на детективный сюжет и сбило бы с толку тех, кого интересует только интрига. Эти люди купили бы роман и горько разочаровались. Мечтой моей было назвать роман «Адсон из Мелька». Самое нейтральное заглавие, поскольку Адсон как повествователь стоит особняком от других героев. Но в наших издательствах не любят имен собственных. Переделали даже «Фермо и Лючию»[6]. У нас крайне мало заглавий по эпонимам, таких, как «Леммонио Борео»[7], «Рубе»[8], «Метелло»[9]. Крайне мало, особенно в сравнении с миллионами кузин Бетт[10], Барри Линдонов[11], Арманс[12] и Томов Джонсов[13], населяющих остальные литературы.

Заглавие «Имя розы» возникло почти случайно и подошло мне, потому что роза как символическая фигура до того насыщена смыслами, что смысла у нее почти нет: роза мистическая[14], и роза нежная жила не дольше розы[15], война Алой и Белой розы[16], роза есть роза есть роза есть роза[17], розенкрейцеры[18], роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет[19], rosa fresca aulentissima[20]. Название, как и задумано, дезориентирует читателя. Он не может предпочесть какую-то одну интерпре-

---

[2] Роза алая, зорькой ясной
Возвышаешься, горделива,
Багрецом и краскою красной
Истекают твои извивы:
Но хоть ты и дивно красива,
Все равно ты будешь несчастной.

Хуана Инес де ла Крус

[3] «О презрении к миру» *(лат.)*.

[4] «Где теперь...» *(лат.)* — «Где те, которые до нас жили на свете?» — из средневековой студенческой песни «Gaudeamus igitur» — «Будем веселиться!». Традиционная тема лирической поэзии.

[5] «Но где снега былых времен?» *(франц.)* — из «Баллады о дамах былых времен» Фр. Вийона. *(Перев. Ф. Мендельсона.)*

[6] Заглавие первого варианта (1821) романа А. Мандзони «Обрученные».

[7] Роман (1911) итальянского писателя А. Соффичи.

[8] Роман (1921) итальянского писателя Дж. А. Борджезе.

[9] Роман (1955) итальянского писателя В. Пратолини.

[10] «Кузина Бетта» (1846) — роман О. де Бальзака.

[11] «Воспоминания Барри Линдона» (1844) — роман У. М. Теккерея.

[12] «Арманс» (1827) — роман Стендаля.

[13] «История Тома Джонса, найденыша» (1749) — роман Г. Филдинга.

[14] «В Божественной комедии» Данте Алигьери (Рай, XXX—XXXIII) и у средневековых писателей-мистиков.

[15] Строка из стихотворения Ф. де Малерба «Утешение г-ну Дюперье» (1598). *(Перев. М. Квятковской.)*

[16] 30-летняя война (1455—1485) за наследство правящих домов Великобритании — Ланкастерского и Йоркского.

[17] Строка из произведения американской писательницы Г. Стайн «Священная Эмилия» (1931).

[18] Члены немецкого, нидерландского и итальянского тайного общества XVII в., боровшегося за обновление церкви. Их герб — андреевский крест с четырьмя розами, символами тайны. Впоследствии розенкрейцеры — одна из высших степеней франкмасонства.

[19] У. Шекспир. «Ромео и Джульетта», II, 2, 44. *(Перев. Б. Пастернака.)*

[20] «Роза свежая, благоухающая» *(итал.)* — первые слова анонимного стихотворения-спора («Contrasto») (1231), известного как одно из первых стихотворений на итальянском языке.

тацию. Даже если он доберется до подразумеваемых номиналистских толкований последней фразы, он все равно придет к этому только в самом конце, успев сделать массу других предположений. Название должно запутывать мысли, а не дисциплинировать их.

Ничто так не радует сочинителя, как новые прочтения, о которых он не думал и которые возникают у читателя. Пока я писал теоретические работы, мое отношение к рецензентам носило протокольный характер: поняли они или не поняли то, что я хотел сказать? С романом все иначе. Я не говорю, что какие-то прочтения не могут казаться автору ошибочными. Но все равно он обязан молчать. В любом случае. Пусть опровергают другие, с текстом в руках. Чаще всего критики находят такие смысловые оттенки, о которых автор не думал. Но что значит «не думал»?

Одна французская исследовательница, Мирей Каль-Грубер, сопоставила употребление слова «semplici» в смысле «простецы, бедняки» с употреблением «semplici» в смысле «лекарственные травы» и пришла к выводу, что подразумеваются «плевелы ереси» [21]. Я могу ответить, что существительное «semplici» в обоих случаях заимствовано из контекстов эпохи — равно как и выражение «плевелы ереси». Разумеется, мне прекрасно известен пример Греймаса о двойной изотопии, образующейся, когда травщика называют «amico dei semplici» — «друг простых». Сознательно или бессознательно играл я на этой двусмысленности? Теперь это неважно. Текст перед вами и порождает собственные смыслы.

Читая рецензии, я вздрагивал от радости, видя, что некоторые критики (первыми были Джиневра Бомпьяни [22] и Ларс Густафсон [23]) отметили фразу Вильгельма в конце сцены инквизиционного суда (стр. 388 итал. пзд.): «Что для вас страшнее всего в очищении?» — спрашивает Адсон. А Вильгельм отвечает: «Поспешность». Мне очень нравились, и сейчас нравятся, эти две строчки. Но один читатель указал мне, что на следующей странице Бернард Ги, пугая келаря пыткой, заявляет: «Правосудию Божию не свойственна поспешность, что бы ни говорили лжеапостолы. У правосудия Божия в распоряжении много столетий». Читатель совершенно справедливо спрашивал: как связаны, по моему замыслу, боязнь спешки у Вильгельма и подчеркнутая неспешность, прокламируемая Бернардом? И я обнаружил, что случилось нечто незапланированное. Перекличек между словами Бернарда и Вильгельма в рукописи не было. Реплики Адсона и Вильгельма я внес уже в верстку: из соображений concinnitas [24] я хотел добавить в текст еще один ритмический блок, прежде чем снова вступит Бернард. И конечно, когда я вынуждал Вильгельма ненавидеть спешку (от всего сердца — именно поэтому реплика так мне и нравится), я совершеино забыл, что сразу вслед за этим о спешке высказывается Бернард. Если взять реплику Бернарда безотносительно к словам Вильгельма, эта реплика — просто стереотип. Именно то, чего мы и ждем от судьи. Примерно то же самое, что слова «Для правосудия все равны». Однако в соотнесении со словами Вильгельма слова Бернарда образуют совершенно другой смысл, и читатель прав, когда задумывается: об одной ли вещи говорят эти двое, или неприятие спешки у Вильгельма — совсем не то, что неприятие спешки у Бернарда. Текст перед вами и порождает собственные смыслы. Желал я этого или нет, но возникла загадка. Противоречивая двойственность. И я не могу объяснить создавшееся противоречие. Ничего не могу объяснить, хоть и понимаю, что тут зарыт некий смысл (а может быть, несколько).

Автору следовало бы умереть, закончив книгу. Чтобы не становиться на пути текста.

Рассказывание процесса

Автор не должен объяснять. Но он может рассказать, почему и как он работал. Так называемые исследования по поэтике не раскрывают произведение, но могут раскрыть, как решаются технические задачи создания произведения.

По в «Философии творчества» рассказывает о «Вороне». Не о том, как надо читать эту вещь, а о том, какие задачи ставились в процессе создания поэтического качества. Поэтическое качество я определяю как способность текста порождать различие прочтения, не исчерпываясь до дна.

Пишущий (рисующий, ваяющий, сочиняющий музыку) всегда знает, что он делает и во что это ему обходится. Он знает, что перед ним — задача. Толчок может быть глухим, импульсивным, подсознательным. Ощущение или воспоминание. Но после этого начинается работа за столом и надо исходить из возможностей материала. В работе материал проявит свои природные свойства, но одновременно напомнит и о сформировавшей его культуре (эхо интертекстуальности).

Если автор уверяет, что творил в порыве вдохновения, он лжет. Genius is twenty per cent inspiration and eighty per cent perspiration [25].

Не помню, о котором своем знаменитом стихотворении Ламартин писал, что оно пришло к нему внезапно, грозовой ночью, в лесу. После его смерти нашлись черновики с поправками и вариантами: это, наверное, самое вымученное стихотворение во французской словесности.

Когда писатель (и вообще художник) говорит, что, работая, не думал о правилах, это означает только, что он не знал, что

---

[21] M. Calle-Gruber. De la réception des bons livres. «Il nome della rosa» et les degrés de la lecture.— Lectures, N. 17, Bari Ed. del Sud, 1986. (Эко цитирует, видимо, по неизданному оригиналу.)

[22] G. Bompiani. Il romanzo. — Europeo, 10 nov., 1980.

[23] L. Gustafsson. Bruder Humor, Schwester Toleranz — Der Spiegel, N. 48, 29 nov., 1982.

[24] Соразмерность *(лат.;* риторический термин).

[25] Гений — это на двадцать процентов вдохновение и на восемьдесят — потение *(англ.).* Из газетного интервью Т. А. Эдисона. У Эдисона — «на один процент» и «на девяносто девять...»

знает правила. Ребенок отлично говорит на родном языке, но не мог бы описать его грамматику. Однако грамматист — это не тот, кто единственный знает правила языка. Их превосходно знает, хотя об этом не знает, и ребенок. Грамматист — единственный, кто знает, почему и как знает язык ребенок.

Рассказывать, как написана вещь,— не значит доказывать, что она написана хорошо. По говорил, что «одно дело — качество произведения, другое — знание процесса» [26]. Когда Кандинский [27] и Клее [28] рассказывают, как они пишут картины, ни один не доказывает, что он лучше другого. Когда Микеланджело предлагает взять глыбу мрамора и убрать лишнее, он не доказывает, что Ватиканская Пьетá лучше, чем Пьетá Ронданини.

Лучшие страницы о процессе творчества написаны большей частью посредственными художниками. В своих творениях они не достигали вершин, но прекрасно умели рассуждать о собственных действиях: Вазари [29], Горацио Гринуф [30], Аарон Копленд [31]...

Разумеется, средневековье

Я написал роман потому, что мне захотелось. Полагаю, что это достаточное основание, чтобы сесть и начать рассказывать. Человек от рождения — животное рассказывающее. Я начал писать в марте 1978 года. Мне хотелось отравить монаха. Думаю, что всякий роман рождается от подобных мыслей. Остальная мякоть наращивается сама собой.

Идея убийства вызрела, думаю, еще раньше. Я нашел свою тетрадь 1975 года. Там полный список монахов несуществующего монастыря. Список — и все. Для начала я проштудировал «Traité des poisons» Орфила [32], купленный мною за двадцать лет до того у букиниста с набережной Сены — из чистого уважения к Гюисмансу («Là-bas») [33]. Поскольку ни один из его рецептов меня не устроил, я попросил приятеля-биолога найти мне нужный яд. Яд должен был действовать постепенно, переходя с предмета на кожу рук. Письмо, где приятель сообщал, что не знает яда, подходящего к моему случаю, я уничтожил сразу же по прочтении, ибо документ такого характера, воспринятый в другом контексте, может подвести под высшую меру.

Сперва я собирался поселить монахов в современном монастыре (вспомнил одного монаха-следователя, подписчика «Манифесто» [34]). Но поскольку любой монастырь, а в особенности аббатство до сих пор живет памятью Средневековья, я разбудил в себе медиевиста от зимней спячки и отправил рыться в собственном архиве. Монография 1956 года по средневековой эстетике, сотня страниц 1969 года на ту же тему; несколько статей между делом; занятия средневековой культурой в 1962 году, в связи с Джойсом; наконец, в 1972 году — большое исследование по Апокалипсису и по иллюстрациям к толкованию Апокалипсиса Беата Лиебанского: что ж, мое средневековье содержалось в боевой готовности. Я выгреб кучу материалов — конспектов, ксерокопий, выписок. Все это подбиралось начиная с 1952 года для самых непонятных целей: для истории уродов, для книги о средневековых энциклопедиях, для работы о списках... В какой-то момент я решил, что поскольку средневековье — моя мысленная повседневность, проще всего поместить действие прямо в средневековье. Как я уже говорил в каких-то интервью, современность я знаю через экран телевизора, а средневековье — напрямую. Однажды на даче мы жгли костры и жена укоряла меня, что я не смотрю на искры, как они взлетают к вершинам деревьев, к электрическим проводам. Прошло время. Она прочла главу о пожаре и спросила: «Значит, ты все-таки смотрел на искры?» Я ответил: «Нет. Но я знаю, как на них смотрел бы средневековый монах».

Десять лет назад в предисловии к своему комментарию к комментарию к Апокалипсису Беата Лиебанского (предисловие составлено в форме письма издателю Франко Мария Риччи) я писал:

«Так или иначе, я шел к этой работе сквозь леса символов, населенные единорогами и грифонами. Я соотносил зубчатую и квадратную архитектуру соборов с хитроумными смыслами, запрятанными в четырехсложных формулах «Сумм» [35]. Я переходил от Вико дельи Страми [36] к цистерцианским нефам [37]. Я вел увертливую беседу с учеными, надутыми монахами Клюни [38]. Толстень-

---

[26] Эстетика американского романтизма. М., Искусство, 1977, с. 113.

[27] В. В. Кандинский. «Точка и линия в отношении к поверхности» (1926).

[28] П. Клее. «Дневник» (опубл. в 1957), «Современное искусство» (1924), «Педагогические записки» (1925).

[29] Дж. Вазари. «Жизнеописания знаменитейших живописцев, скульпторов и архитекторов Италии» (1550).

[30] Г. Гринуф. «Эстетика в Вашингтоне» (1851), эссе и письма к брату по вопросам эстетики.

[31] А. Копленд. «Наша новая музыка» (1941), «Музыка и воображение» (1952, русск. перев.— «Советская музыка», 1968, № 3, 4).

[32] М.-Ж.-Б. Орфила. «Трактат о ядах минерального, растительного и животного происхождения, или Общая токсикология» (1813—1815).

[33] В романе Ж.-Ш. Гюисманса «Там, внизу» (Là-bas, 1891) разрабатываются мотивы сатанизма, оккультных ритуалов.

[34] «Манифесто» — выходившая в 60—70-е годы итальянская газета, орган «Партии пролетарского единства» (PDUP).

[35] Сумма (*от лат.* «вершина») — компендиум некоей науки. Явления обычно рассматривались на четырех уровнях: буквальном, аллегорическом, моральном, символическом.

[36] Вико дельи Страми — Соломенный проулок — приводится в «Божественной комедии» Данте «Рай», X, 137) как адрес факультета искусств средневекового Парижского университета.

[37] Цистерцианцы — ветвь бенедиктинского ордена.

[38] Клюни в Бургундии — головной монастырь «клюнийской конгрегации» бенедиктинского ордена.

кий рационалист Аквинат недоверчиво косился на меня. И манил, чаровал Гонорий Августодунский [39] своими фантастическими землеописаниями, в которых одновременно объясняется и quare in pueritia coitus non contingat [40], и как доплыть до Пропащего Острова, и как поймать василиска, вооружась одним только карманным зеркальцем и неколебимой верой в Бестиарий [41].

Любовь ко всему этому, страсть ко всему этому вошли меня навеки, хотя из-за моральных и материальных причин я двинулся по другой дорожке. Ремесло медиевиста требует обеспеченности и свободного времени. Кто в состоянии без конца мотаться по дальним библиотекам и микрофильмировать рукописи? Но Средневековье живо во мне. Если не как профессия, то как хобби и как неотступный соблазн. Я вижу его в глубине любого предмета, даже такого, который вроде не связан со Средними веками — а на самом деле связан. Все связано.

Каникулы, проведенные под сводами Отёна [42], где аббат Гриво сейчас, в наши дни, пишет руководство по обращению с дьяволом в тетради, пропитанной серой. Летние набеги в Муассак [43] и Конк [44], где сходишь с ума от старцев Апокалипсиса и от чертей, пихающих в раскаленные котлы души грешников. И наряду с этим чтение, спасающее разум. Беда, монах-просветитель [45] Оккам [46], дарующий рациональное утешение, вводящий нас в тайны Знака, когда Соссюр [47] еще не вырисовывается во тьме будущего. И дальше, и дальше — не в силах разлучиться душой с «Плаванием Святого Брандана» [48], постоянно проверяя свое миросозерцание Книгой из Келлса [49], пропуская Борхеса через кельтские Kenningars [50], рассматривая психологическую обработку масс, проводимую властями, сквозь призму дневников епископа Сугерия [51]...»

Маска

Итак, я решил не только, что рассказ пойдет о Средних веках. Я решил и что рассказ пойдет из Средних веков, из уст летописца той эпохи. Раньше я никогда не рассказывал и на рассказывающих смотрел с другой стороны баррикад. Мне было стыдно рассказывать. Я чувствовал себя как театральный критик, который вдруг оказывается перед рампой и на него смотрят те, кто совсем недавно, в партере, были ему союзниками.

Можно ли породить фразу «Было ясное утро конца ноября» и не превратиться в Снупи [52]? А что, если это скажет сам Снупи? Что, если фразу «Было ясное утро конца ноября» произнесет тот, кто имеет на это право, потому что именно так говорили в его время? Маска. Вот что мне было нужно.

Я сел перечитывать средневековые хроники. Учиться ритму, наивности. Хронисты скажут за меня, а я буду свободен от подозрений. От подозрений, но не от эха интертекстуальности. Так мне открылось то, что писатели знали всегда и всегда твердили нам: что во всех книгах говорится о других книгах, что всякая история пересказывает историю уже рассказанную. Это знал Гомер, это знал Ариосто, не говоря о Рабле или Сервантесе. Поэтому моя история могла начинаться только с найденной рукописи — что также, разумеется, представляет собой цитату. Я срочно написал предисловие и засунул свою повесть в четырехслойный конверт, защитив ее тремя другими повестями: я говорю, что Валле говорит, что Мабийон говорил, что Адсон сказал...

Так я избавился от страха. После чего прекратил писать. На год, не меньше. Дело в том, что я открыл еще одну истину, которую знал и раньше (все ее знают), но яснее всего осознал, взявшись за работу.

Я осознал, что в работе над романом, по крайней мере на первой стадии, слова не участвуют. Работа над романом — пред-

---

[39] Гонорий Августодунский (1-я полов. XII в.) — церковный писатель, автор сочинений «Светильник» (Elucidarium), «Ключ к физике» (Clavis Physicae) и «Образ мира» (Da Imagine Mundi).

[40] Отчего у детей не бывает соития *(лат.)*.

[41] Бестиарии — средневековые сборники полунаучных-полубаснословных описаний животных.

[42] Отён (в древности Августодун) — город на западе Франции, знаменитый собором Св. Лазаря (1120—1132 гг.), портал которого, с изображением Страшного суда, очевидно, послужил У. Эко прототипом портала аббатской церкви.

[43] Муассак — городок во Франции, где сохранилось аббатство X—XII веков, с храмом Св. Петра (ценные рельефы портала, церковного двора, капитулярной залы).

[44] Конк — французский город со средневековым бенедиктинским аббатством. Портал церкви Св. Веры (XI в.) также украшен рельефом Страшного суда и тоже, вероятно, описан у Эко, как и сокровищница-реликварий Св. Веры (Конкская сокровищница).

[45] Беда Достопочтенный (672/73—735) — англосаксонский летописец, автор церковной истории англов.

[46] У. Оккам (1285—1349) — английский философ, церковно-политический писатель, францисканец, главный представитель номинализма XIV в.

[47] Ф. де Соссюр (1857—1913) — швейцарский лингвист, один из основоположников современной семиотики — науки о знаках.

[48] Св. Брандан (484—577) — ирландский монах, по многим средневековым легендам, совершивший плавание к «Обетованному Острову» (раю), герой жития «Плавание Св. Брандана» (X в.) и англо-норманнской поэмы «Путешествие...» (1121).

[49] Книга из Келлса (VIII в.) — список Евангелий со знаменитыми иллюстрациями ирландской работы. Ныне хранится в Тринити-Колледже (Дублин).

[50] Кеннинги, древнескандинавские метафоры

[51] Сугерий (Брабантский) — французский церковный и государственный деятель XII века, автор «Книги об управлении...».

[52] Снупи — песик, герой комикса Ч. Шульца (США) «Мелкота» (Peanuts, с 1950 г.) — воплощение тривиального мещанского сознания.

приятие космологическое, как то, которое описано в книге Бытия (надо же на кого-нибудь равняться, как говорит Вуди Аллен) [53].

Роман как космологическая структура

То есть для рассказывания прежде всего необходимо сотворить некий мир, как можно лучше обустроив его и продумав в деталях. Например, взяв реку с двумя берегами и на левом берегу посадив удильщика со скверным характером и несколькими судимостями, можно уже начинать писать. Начинать фиксировать в словах то, что не может не произойти. Что делает удильщик? Удит. Следует более или менее традиционная серия жестов. А потом что происходит? Происходит то, что рыба либо клюет, либо нет. Если клюет, удильщик выуживает ее и, довольный, идет домой. Конец истории. Если же она не клюет, и при его скверном характере, он должен обозлиться. Скорее всего он разнесет об колено удочку. Небогато, но все-таки зарисовка. Однако тут возникает индейская пословица насчет того, что надо «сесть на берегу реки и ждать — труп твоего врага обязательно проплывет по реке». Что, если сплавить по реке, мимо удильщика, труп его врага? Учитывая, что такая возможность содержится в интертекстуальном ареале реки? Нельзя забывать и о судимостях удильщика. В их свете эта ситуация ничего хорошего не обещает. Как он станет выпутываться? Удерет? И сделает вид, что не заметил труп? Плывет труп человека, с которым он собирался разделаться. Решит ли он, что его ловят по системе «На воре шапка горит»? При его злобном нраве не разъярится ли, что долгожданную месть совершил не он? Видите, стоит совсем немножко обустроить воображаемый мир — и сюжет определяется. Определяется и стиль, потому что фигура удящего предписывает рассказу медлительность и плавность (сообразно его ожиданию, вынужденному и терпеливому), но с оттенком нервозности — ведь удильщиком владеют нетерпение, ярость, жажда мести.

Задача сводится к сотворению мира. Слова придут сами собой. Res tene, verba sequentur [54]. В противоположность тому, что, видимо, происходит в поэзии: verba tene, res sequentur [55].

Первый год работы я потратил на сотворение мира. Реестры всевозможных книг — все, что могло быть в средневековой библиотеке. Столбцы имен. Кипы досье на множество персонажей, большинство которых в сюжет не попало. Я должен был знать в лицо всех обитателей монастыря, даже тех, которые в книге не показываются. Читателю с ними знакомиться незачем, а вот мне — необходимо. Кто сказал, что проза сама себе муниципалитет? По-моему, она к тому же сама себе строительная контора. Сколько времени отдано архитектурным разысканиям, проведено над снимками и планами, над страницами энциклопедий! Я разработал план аббатства, выверил все расстояния, пересчитал все ступеньки винтовой лестницы. Марко Феррери [56] как-то сказал, что мои диалоги кинематографичны. Они длятся ровно столько времени, сколько заявлено. Еще бы! Если у меня герои начинают беседовать по пути из трапезной на церковный двор — я слежу за ними по плану и когда вижу, что они уже пришли, обрываю разговор.

Нужно сковывать себя ограничениями — тогда можно свободно выдумывать. В поэзии ограничения задаются стопой, строкой, рифмой. Всем тем, что мои современники называют «вдох по велению слуха» [57]. В прозе ограничения диктуются сотворенным нами миром. Это никакого отношения не имеет к реализму (хотя объясняет, в числе прочего, и реализм). Пусть мы имеем дело с миром совершенно ирреальным, в котором ослы летают, а принцессы оживают от поцелуя. Но при всей произвольности и нереалистичности этого мира должны соблюдаться законы, установленные в самом его начале. То есть нужно четко представлять себе, тот ли это мир, где принцесса оживает только от поцелуя принца, или тот, где она оживает и от поцелуя колдуньи? Тот мир, где поцелуи принцесс превращают обратно в принцев только жаб? Или тот, где это действие распространено, положим, на броненосцев?

В созданном мною мире особую роль играла История. Поэтому я бесконечно перечитывал средневековые хроники и по мере чтения понимал, что в роман неминуемо придется вводить такие вещи, каких первоначально у меня и в мыслях не было,— например, борьбу за бедность и гонения инквизиции на полубратьев.

Скажем, почему у меня в книге появились полубратья, а с ними — XIV век? Если уж сочинять средневековую повесть, мне бы взять XIII или XII век — эти эпохи я знал гораздо лучше. Но требовался сыщик. Лучше всего англичанин (интертекстуальная цитация). Этот сыщик должен был отличаться любовью к наблюдениям и особым умением толковать внешние признаки. Такие качества можно встретить только у францисканцев, и то — после Роджера Бэкона [58]. В то же время разработанную теорию знаков мы находим только у оккамистов. Вернее, раньше она тоже существовала, но раньше интерпретация знаков либо носила чисто символический характер, либо видела за знаками одни идеи и универсалии. И только от Бэкона до Оккама, в этот единственный период, знаки использовались для изучения индивидуалий. Так я понял, что сюжет при-

---

[53] В. Аллен (род. в 1935) — американский режиссер, актер и писатель-юморист. Имеется в виду реплика из комикса с участием персонажа — Аллена.

[54] Имей вещи, слова придут *(лат.)*. Парафраз формулы Горация («Наука поэзии», 311).

[55] Имей слова, вещи придут *(лат.)*.

[56] М. Феррери (род. в 1928) — итальянский кинорежиссер.

[57] См.: Ch. Olson. Projective Verse. Poetry, New York, 3, 1950.

[58] Р. Бэкон (ок. 1214—1292) — английский францисканский философ, придававший огромное значение эмпирическому изучению естественных наук, по легенде, изобретатель телескопа, пороха, очков.

дется разворачивать в XIV веке, и остался очень недоволен. Это мне было гораздо труднее. Раз так — новые чтения, а за ними — новое открытие. Я твердо понял, что францисканец XIV века, даже англичанин, не мог быть безразличен к дискуссии о бедности. Тем паче, если он друг, или ученик Оккама, или просто человек его круга. Кстати, сперва я хотел сделать следователем самого Оккама, но потом отказался от этой мысли, потому что как личность Venerabilis Inceptor [59] мне малосимпатичен.

Далее. Почему действие датировано именно концом ноября 1327 года? Потому что к декабрю Михаил Цезенский уже в Авиньоне. Вот что значит до конца обустроить мир исторического романа. Некоторые элементы — такие, как число ступенек лестницы, — зависят от воли автора, а другие, такие, как передвижения Михаила, зависят только от реального мира, который чисто случайно, и только в романах этого типа, вклинивается в произвольный мир повествования.

Но ноябрь — это было для меня рановато, так как я собрался колоть свинью. Зачем? Затем, чтоб воткнуть труп вверх ногами в бочку с кровью. А это зачем? Да затем, что вторая труба Апокалипсиса возвещает... В Апокалипсисе я ничего менять не мог. Это часть условного мира. Ну, а свиней колют, как я выяснил, только в холода. Значит, ноябрь — для меня рано. Если только не расположить аббатство в горах, так, чтобы в ноябре уже имелось сколько надо снега. Если бы не это условие, действие с тем же успехом развернулось бы на равнине, в Помпозе или в Конке.

Созданный нами мир сам указывает, куда должен идти сюжет. Все меня спрашивают, почему мой Хорхе и по виду и по имени вылитый Борхес и почему Борхес у меня такой плохой. А я сам не знаю. Мне нужен был слепец для охраны библиотеки. Я считал это выигрышной романной ситуацией. Но библиотека плюс слепец, как ни крути, равняется Борхес [60]. В частности потому, что долги надо выплачивать. К тому же именно через испанские толкования и испанские миниатюры Апокалипсис захватил все средневековье. Но когда я сажал Хорхе в библиотеку, я еще не понимал, что он станет убийцей. Как принято выражаться, он дошел до этого сам. И прошу не путать мои слова с идеалистической болтовней в том духе, что персонажи-де живут самостоятельной жизнью, а автор сомнамбулически протоколирует все, что они творят. Это чушь из выпускного сочинения. Речь о другом. Персонажи обязаны подчиняться законам мира, в котором они живут. То есть писатель — пленник собственных предпосылок.

Морока была и с лабиринтом. Все известные мне лабиринты — а я пользовался превосходной монографией Сантарканджели [61] — были без крыши. Все сплошь замысловатые, со множеством круговоротов. Но мне нужен был лабиринт с крышей (кто видел библиотеку без крыши!). И не очень трудный. В лабиринте, перегруженном коридорами и тупиками, почти нет вентиляции. А вентиляция была необходима для пожара. Этот-то момент, то есть что Храмина в конце концов должна сгореть, был мне ясен с самого начала. В частности, и по космологическим, и по историческим причинам. В Средние века соборы и монастыри полыхали, как серные спички, и представить себе рассказ о Средневековье без пожара так же трудно, как фильм о войне на Тихом океане без объятого пламенем истребителя, пикирующего в волны. Провозившись два или три месяца, я сам построил нужный лабиринт. И все равно в конце концов пронизал его целями-амбразурами, иначе, как дойдет до дела, воздуха могло бы не хватить.

Кто говорит?

Задач было много. Я должен был выгородить замкнутое пространство, концентрический универсум, и, чтоб замкнуть его получше, необходимо было подкрепить единство места единством времени (единство действия, увы, оставалось весьма проблематичным). Отсюда — бенедиктинское аббатство, где вся жизнь размерена каноническими часами. Возможно, подсознательным образцом мне служил «Улисс» с его железной разбивкой по часам дня. В то же время сыграла роль и «Волшебная гора» — высокогорное прибежище с целебным воздухом, располагающим к продолжительным беседам.

Из-за бесед и возникало больше всего вопросов. Однако постепенно я их решил. Существует область теории прозы, до сих пор разработанная крайне слабо. Это вопрос о turn ancillaries — способах, которыми автор передает слово другому персонажу. Обратите внимание на различия между следующими пятью диалогами:

1. — Как поживаешь?
   — Неплохо, а ты?
2. — Как поживаешь? — спросил Джованни.
   — Неплохо, а ты? — отвечал Пьетро.
3. — Ну,— спросил Джованни.— Как поживаешь?
   Пьетро выпалил:— Неплохо! А ты?
4. — Как поживаешь? — разлетелся к нему Джованни.
   — Неплохо, а ты?— отрезал Пьетро.
5. Джованни спросил:— Как поживаешь?
   — Неплохо,— ответил Пьетро тусклым голосом. Потом, чуть улыбнувшись, выдавил: — А ты?

Во всех показанных случаях, кроме первых двух, соблюдается то, что принято называть «ориентацией изложения». Автор вводит в текст свой комментарий, подсказывая, в каком ключе следует воспринимать реплики беседующих. Но полностью ли отсутствует такая ориентация в подчеркнуто скупом изложении первых двух примеров? И в каком случае читатель располагает большей свободой? В случаях

---

[59] Достопочтенный Зачинатель *(лат.)* — почетное имя Оккама.

[60] Х. Л. Борхес, несмотря на слепоту, работал директором аргентинской Национальной библиотеки.

[61] P. Santarchangeli. Il libro dei labirinti. Storia di un mito **e di** un simbolo. Firenze, Vallecchi, 1967.

первых двух вариантов, где ему дается полная возможность попасть под влияние скрытых, внешне немотивированных подсказок? Вспомним подчеркнутую аскетичность хемингуэевских диалогов. Или он более свободен в последних трех случаях, где хотя бы понятно, в какую игру играет автор?

Это проблема стилистическая, проблема идеологическая, проблема поэтическая. Не в меньшей мере, чем выбор внутренней рифмы или ассонанса или употребление парагамм. Все со всем должно быть согласно. Мой вариант, надо сказать, был облегченный, потому что все диалоги вводятся Адсоном и более чем очевидно, что ориентация изложения отражает точку зрения Адсона, а не мою.

В связи с диалогами возникала еще одна проблема. Насколько средневековыми они должны были быть? Другими словами — работая над книгой, я все больше сознавал, что в структурном отношении она подобна опере-буфф; пространные речитативы, длинные арии. Арии (например, описание портала) подчинялись правилам великой риторики Средневековья: образцами я располагал в изобилии. С диалогами выходило сложнее. В какой-то момент я пал духом и сказал себе, что диалоги у меня из Агаты Кристи, в то время как описания — из Сугерия или Св. Бернарда [62]. Я бросился перечитывать средневековые романы — в смысле рыцарские эпопеи — и успокоился. Оказалось, что, за небольшими вольностями, в основном я держусь сжатого стиля, вполне существовавшего в прозе и поэзии Средневековья. Но эта проблема долго терзала меня, и я до сих пор не уверен, сумел ли отладить перепрыгивания из арии в речитатив и обратно.

Еще одна проблема: рассказ в рассказе, или нарративные инстанции. Я (я-рассказчик) сознавал, что пересказываю сюжет чужим голосом. Во вступлении к книге я предупредил всех, что этот чужой (Адсона) голос в свою очередь пропущен через две другие нарративные инстанции — через рассказывание Мабийона и через рассказывание аббата Валле. Это весьма существенно, даже если условно допустить, что предыдущие рассказчики не вышли за рамки филологической работы, не меняли текст (а кто проверит?). Но, даже не беря в расчет эти два голоса, само по себе рассказывание Адсона (первое повествовательное лицо) — непростой случай. Восьмидесятилетний Адсон рассказывает, что он пережил, будучи восемнадцати лет. Кто здесь рассказчик: восьмидесяти- или восемнадцатилетний? Оба сразу. Так вышло, так и замышлялось. Моя игра состояла в том, чтоб как можно чаще высвечивать фигуру Адсона в старости, давать ему комментировать то, что он видит и слышит в качестве молодого Адсона. Образец в данном случае (я не перечитывал книгу, хватило отдаленных воспоминаний) — Серенус Цейтблом из «Доктора Фаустуса». Двойная игра с повествователем для меня была интересна и важна. В частности, и потому — снова вспомню сказанное о маске,— что, раздваивая Адсона, я вдвое увеличивал набор кулис и ширм, отгораживающих меня как реальное лицо или меня как автора-повествователя от персонажей повествования (в их числе и от повествующего голоса). Я чувствовал себя все лучше защищенным. Эта игра все сильнее напоминала мне, чувственно-телесно, с неотвратимостью печенья «мадлен», размоченного в липовом чае [63], детские игры под одеялом, как я плыву в субмарине и оттуда шлю телеграммы сестре, плывущей в пододеяльной субмарине в своей кроватке, и мы оба не существуем для внешнего мира, и для нас не существует внешний мир, и мы свободны — можем сколько угодно не выплывать со дна молчаливого моря.

Адсон был для меня очень важен. Мне хотелось рассказать мой сюжет — со всеми его неясностями, с политическими и религиозными сложностями, с его двуплановостью — от лица человека, который участвует во всех событиях, фиксирует их своей фотографической памятью подростка, но сам эти события не понимает и не поймет, даже став стариком (недаром он выбирает побег в божественное ничто, а не тот побег, к которому звал учитель). Моя цель была — дать понять все через слова того, кто не понимает ничего.

Изучая отзывы, я вижу, что это — один из тех аспектов романа, которые произвели наименьшее впечатление на критиков и ценителей. По крайней мере никто или почти никто на этом аспекте не останавливается. В то же время я спрашиваю себя: не этот ли аспект обеспечил широкое распространение романа даже в среде самых простых читателей? Они смогли идентифицировать себя с неискушенным повествователем и благодаря этому чувствовали себя комфортабельно, даже когда мало что понимали. Я позволил им предаваться привычным фобиям: страху перед сексом, перед неизвестными языками, перед умствованиями, перед тонкостями политической жизни... Все это я четко осознаю только теперь, après coup [64]: наверно, я передал Адсону свои собственные юношеские комплексы — в частности, в том, что связано с его любовным трепетом. И при этом я был гарантирован от чрезмерного обнажения, так как Адсон выговаривает свою любовную драму исключительно чужими словами, только теми, которые употребляли, говоря о любви, доктора церкви. Искусство есть побег от личного чувства. Этому учили меня и Джойс и Элиот.

Борьба с личным чувством далась мне нелегко. Я сочинил замечательную молитву по образцу «Плача природы» Алана Лилльского [65]. Ее должен был произносить в решающий момент Вильгельм. А потом я понял, что так, пожалуй, мы оба расчувствуемся — и я как автор, и он как герой. Мне же как автору по законам поэтики расчувствоваться не полагалось. Он как герой

---

[62] Св. Бернард Клервоский (1091—1153)— религиозный деятель, писатель.

[63] Знаменитый образ из романа М. Пруста «По направлению к Свану» (1913). Вкус печенья автоматически возвращает героя к воспоминаниям детства.

[64] Задним числом *(франц.)*.

[65] Алан Лилльский (ок. 1128—1202) — средневековый богослов и писатель, ректор Парижского университета.

тоже не мог расчувствоваться, так как слеплен не из того теста и все его чувства либо умозрительны, либо подавлены. И я выбросил эту страницу. Прочитав книгу, одна моя приятельница сказала: «Единственное, что мне не нравится — что Вильгельм ни разу не испытывает сострадания». Я пересказал эту оценку другому приятелю, который ответил: «Да, у него такой способ сострадать». Наверно, так и есть. Пусть так и остается.

Фигура умолчания

Адсон помог мне решить еще одну задачу. Благодаря ему я сумел развернуть сюжет в эпохе Средневековья. Как было обойтись без пояснения реалий? В современной прозе, если герой говорит, что Ватикан не утвердит его развод, ведь не приходится же объяснять, что такое Ватикан и почему он утверждает или не утверждает разводы. Но в историческом романе без объяснений нельзя. Иначе мы, люди другой эпохи, не можем понять, что, в сущности, произошло и в какой мере то, что произошло, важно и для нас сегодняшних.

Существует риск впасть в «сальгаризм». Герои Сальгари[66] бегут по лесу, спасаясь от погони, и налетают на корень баобаба. Тут повествователь откладывает в сторону сюжет и начинает ботаническую лекцию о баобабе. Теперь это воспринимается нами с какой-то нежностью, как недостаток милого человека. Но делать так все-таки не следовало.

Сотни страниц я перечеркал, стараясь избежать подобных провалов. Но кажется, ни разу не сформулировал сам для себя, как же я решаю эту задачу. Уяснил я это, пожалуй, только два года спустя, пытаясь понять, почему мою книгу читают даже те люди, которые не любят и не могут любить такие «трудные» книги. И я понял, что повествовательный стиль Адсона базируется на определенной фигуре мысли, которую принято называть preteritio — «умолчанием». Помните знаменитый пример? «Цезарь, не вспоминаю, что на каждом побережье...» То есть заявляется, что незачем рассказывать о вещи, которую все прекрасно знают. И тем самым об этой вещи рассказывают. Примерно так поступает и Адсон. Он вводит лица и факты так, будто они всем хорошо известны, и тем не менее характеризует их и поясняет. Что же касается тех лиц и событий, о которых подразумеваемый Адсоном читатель — немец конца XIV века — ничего знать не должен (так как они связаны с Италией начала века) — тут Адсон, чувствуя себя в своем праве, пускается в описания и читает самые назидательные лекции, что донельзя типично для средневекового летописца. У тех было принято сопровождать энциклопедическим комментарием каждое нововведенное понятие. Прочитав книгу в рукописи, моя приятельница (уже другая) сказала, что ее удивила журналистская интонация, как будто она читала не роман, а статью в «Эспрессо». Так она, кажется, выразилась, если я правильно помню. Сначала я удручился, а потом понял то ощущение, которое она передала, но не смогла объяснить. Именно так и повествовали летописцы тех далеких столетий. Именно те хроники — праматери нашей газетной и журнальной хроники.

Дыхание

Но длиннейшие рассуждения вводились в роман и для иных, не дидактических целей. Прочитав рукопись, мои друзья из издательства предложили мне подсократить первые сто страниц, показавшихся им чересчур серьезными и скучными. Я моментально отказался. Потому что был убежден, что тот, кто собирается поселиться в монастыре и прожить в нем семь дней, должен сперва войти в его ритм. Если это ему не под силу — значит, ему не под силу прочитать мою книгу. Такова очистительная, испытательная функция первой сотни страниц. А кому не нравится — тем хуже для него, значит, на гору ему не влезть.

Входить в роман — все равно что участвовать в восхождении . Надо выработать дыхание, наладить шаг. Иначе быстро выдохнешься. То же самое с поэзией. Вспомните, как невыносимо читают стихи актеры. Они заботятся о выражении и плюют на стихотворный размер. Они делают логические enjambements[67]. Как будто читают не стихи, а прозу. Они думают, что содержание важнее ритма. Между тем, чтоб читать одиннадцатисложные терцины, надо уметь воспроизводить тот напевный ритм, который заложен в них поэтом. Лучше уж читать Данте как стишки из журнала «Вестник детства», чем изо всех сил гоняться за смыслом.

В прозе ритм задается не отдельными фразами, а их блоками. Сменой событий. Одни романы дышат как газели, другие — как киты или слоны. Гармония зависит не от продолжительности вдохов и выдохов, а от регулярности их чередования. Хотя — и тем значительнее эффект — в определенные моменты, но не слишком часто, вдох может внезапно пресекаться и главка (или последовательность главок) обрывается, когда дыхание еще не переведено. И это может сыграть колоссальную роль в звучании рассказа. Так обозначаются важнейшие сломы. Действие приобретает особую эффектность. По крайней мере, так выглядят примеры, встречающиеся у великих: «Несчастная ответила»[68].— Точка.— Абзац.

Это не тот же ритм, что «прощайте, горы»[69]. Но и в том и в другом случае, когда приходят эти фразы, кажется, что чистое небо Ломбардии затекло кровью. В великих романах авторы всегда знают, когда пришпорить, когда натянуть поводья и как рассредоточить внезапные спотыкания ритма, оставляя ритмический фон равномерным. Это в музыке можно ускорять темп, да и то не слишком. Не уподобляясь тем

---

[66] Э. Сальгари (1863—1911) — итальянский детский писатель («Черный корсар», 1884, «Тайны черных джунглей», 1895, и др.).

[67] Переносы из строки в строку *(франц.)*.

[68] А. Мандзони. «Обрученные», X глава.

[69] Там же, VIII глава.

кошмарным исполнителям, которые наперегонки лупят по клавишам и думают, что это и есть Шопен.

Я сейчас рассказываю не о том, как успешно решил задачи, а о том, в каком виде они были поставлены. Однако если бы я заявил, что ставил их сознательно,— я солгал бы. Нет. Я просто повиновался чутью, обязательному для пишущего. Оно сказывается в ритме ударов пальцев по клавишам пишущей машинки.

Вот пример того, как рассказывание подчиняется ритму бегущих пальцев. Всем ясно, что любовная сцена на кухне составлена из обрывков богословских текстов, от Песни песней до Св. Бернарда, до Жана де Фекана [70], до Св. Хильдегарды из Бингена [71]. Во всяком случае, даже тот, кто не искушен в средневековой мистике, но имеет уши, понял это. Но когда сейчас ко мне обращаются с вопросами, откуда какая цитата взята и где кончается одна и начинается другая,— я не в состоянии ответить.

Дело в том, что у меня были заготовлены десятки карточек с выписками, книг с закладками, ксерокопий. Уйма всего, гораздо больше, чем мне удалось использовать. Но писал я эту сцену не отрываясь, на едином дыхании. Только потом я кое-что подчистил, прошелся поверху лаком, чтобы швы не сквозили. Я писал, а приготовленные цитаты лежали рядом в полном беспорядке, и глаза мои метались от одной выписки к другой, и я хватался за что-то одно, а продолжал уже из другого места. Эту главу (черновой вариант) я сделал значительно быстрее, чем какую бы то ни было другую. Лишь потом я понял, что во время работы воспроизводил на клавишах ритм любовного акта, и, значит, никак не мог останавливаться и подыскивать более удачную цитату. Единственное, что оправдывало мгновенный выбор цитаты и помещение ее в соответствующую строку — был ее ритм. Тот ритм, который был мне в эту минуту нужен. Мои глаза проскальзывали, не видя, мимо всего, что могло бы замедлить бег пальцев. Не могу похвастаться, что описание события заняло ровно столько времени, сколько само событие (хотя бывают и довольно длинные любовные акты). Но я старался как мог сократить зазор между долготой любовного акта и долготой моего письма. «Письмо» я употребляю не в бартовском смысле [72], а так, как употребляют это слово машинистки. Я говорю о письме как о материальном, физиологическом акте. И я говорю о ритмах тела, а не о ритмах чувства. Чувство, очищенное и преображенное, было где-то в самом начале, в самом решении слить мистический экстаз с эротическим. Чувством я одушевлялся, читая и выписывая тексты для будущей сцены. Но после того как я сел за машинку — никакого чувства. Это Адсон переживал любовный акт, а не я. Я должен был только передать его чувство игрой моих глаз и пальцев, как если бы я выстукивал любовную сцену на барабане.

Сотворить читателя

Ритм, дыхание, испытание... Для кого? Для меня? Нет, конечно, для читателя. Когда сочиняют, думают о читателе. Так художник пишет и думает о будущем созерцателе его картины. Ударив разок кистью, он отходит на два или три шага и оценивает впечатление. То есть рассматривает картину с той же точки, с которой будет смотреть, при нормальном освещении, публика, когда картину повесят на стену. По окончании любой работы завязывается диалог между произведением и публикой. Автор из него исключается. А пока работа еще не кончена, ведутся два других диалога. Во-первых, между создаваемым текстом и остальными, ранее созданными текстами (каждая книга говорит только о других книгах и состоит только из других книг). И во-вторых, диалог автора с идеальным читателем. Я рассказывал об идеальном читателе в книгах «Lector in fabula» или еще раньше — в «Открытом произведении». Но выдумал его не я.

Бывает, что автор рассчитывает на какую-то специальную, эмпирически знакомую публику. Так обстояло дело с основоположниками современного романа: Ричардсоном, Филдингом, Дефо. Они писали для коммерсантов и коммерсантских жен. Но думал об определенной публике и Джойс, адресуя свой труд идеальному читателю, замученному идеальной бессонницей. В обоих случаях — и когда адресуются к публике, которая в полной осязаемости, с кошельком в руках ждет за дверями, и когда уповают на читателя, который «придет и сможет оценить», писательство — всегда конструирование самим текстом своего идеального читателя.

Что значило рассчитывать на читателя, способного преодолеть первую тернистую сотню страниц? Это именно и значило написать такую сотню страниц, посредством которой выковывается читатель, способный постичь остальные страницы.

Бывают ли писатели, работающие только на потомков? Не бывает, несмотря на все уверения. Мы не Нострадамусы. Мы не можем представить себе идеального читателя будущего поколения. Мы знаем только своих современников. Есть ли писатели, пишущие для меньшинства? Да. Они сознают, что их идеальный читатель наделен такими качествами, которыми не могут обладать многие. Но и в этих случаях пишущие руководятся надеждой — и не слишком таят ее,— что именно их книгам суждено произвести на свет, и в изобилии, новый тип идеального читателя. Вожделенный тип, созданию которого отдано столько сил и артистического блеска, тип, воспитанный, выпестованный именно их трудом.

Разницу я вижу только между текстами, ориентированными на формирование ново-

---

[70] Монах аббатства Фекан во Франции (серед. XIII в.), автор «Хроники монашеской жизни».

[71] Св. Хильдегарда из Бингена (1098—1179) — автор мистического латинского сочинения «Sci vias» («Путеведение», 1141—1151).

[72] «Письмо» — термин Р. Барта (1915—1980), автора книги «Нулевая степень письма» (1953).

го идеального читателя, и текстами, ориентированными на удовлетворение вкуса публики такой, какая она есть. Во втором случае мы имеем дело с продуктом, изготовленным по стандарту серийного производства. Автор начинает со своеобразного исследования рынка, а потом подстраивается под его законы. Что он работает по шаблону — становится ясно немного погодя, при рассмотрении нескольких его книг в совокупности: во всех этих книгах, меняя имена, географию и детали, он развивает один и тот же сюжет, которого ждет от него публика.

В других же случаях — когда автор создает новое и помышляет о читателе, которого пока нет,— он действует не как исследователь рынка, составляющий перечень первоочередных запросов, а как философ, улавливающий закономерности Zeitgeist'а [73]. Он старается указать читателю, чего тот должен хотеть,— даже если тот пока сам не знает. Он старается указать читателю, каким читатель должен быть.

Если бы Мандзони хотел учитывать запросы публики — в его распоряжении была готовая формула: исторический роман со средневековым антуражем, со знаменитостями в главных ролях. Нечто вроде греческой трагедии. Одни короли и принцессы. А разве не это видим мы в «Адельгизе»?[74]. Возвышенные, благородные страсти, военные действия и воспевание итальянских доблестей. Надо выбирать те времена, когда Италия еще была землей сильных. Разве не так поступали и до Мандзони, и при нем, и после него бесчисленные авторы исторических романов, более или менее бездарные,— ремесленник Д'Адзелио [75], пылкий и грязноватый Гверрацци [76], неудобоваримый Кантý [77]?

Что делает вместо этого Мандзони? Он берет XVII век, эпоху рабства Италии, и персонажей-мужиков, а единственный в книге кавалер — негодяй, а о сражениях и дуэлях вообще ни слова, да еще автор осмеливается дополнительно утяжелять книгу за счет документов и grida [78]... И книга нравится, нравится всем без исключения, ученым и неучам, большим и малым, святошам и безбожникам! Потому что он почувствовал, что читателям — его современникам — нужно именно это, даже если они еще сами этого не знают, даже если они сами этого не просят, даже если они еще не понимают, что это съедобно. И сколько же он тратит труда, орудуя топором, пилой и молотком, прополаскивая одежды [79],— повышая усвояемость своего продукта, вынуждая читателей эмпирически данных превращаться в читателей идеальных, в тех, кого он вымечтал!

Мандзони писал не чтоб полюбиться той публике, которая уже есть, а чтобы воспитать новую публику, которой еще нет, но которая в его книгу не может не влюбиться. Пусть только попробует не влюбиться. Тем хуже для нее. Это начинаешь понимать, вслушавшись в его лицемерно-лукавые рассуждения о двадцати пяти читателях. Куда там! Двадцать пять миллионов ему было надо. Не меньше.

На какого идеального читателя ориентировался я в моей работе? На сообщника, разумеется. На того, кто готов играть в мою игру. Я хотел полностью уйти в Средневековье и зажить в нем, как в своей современности (или наоборот). Но в то же время я всеми силами души хотел найти отклик в лице читателя, который, пройдя инициацию — первые главы, станет моей добычей. То есть добычей моего текста. И начнет думать, что ему и не нужно ничего, кроме того, что предлагается этим текстом. Текст должен стать устройством для преображения собственного читателя. Ты думаешь, что тебе нужен секс или криминальная интрига, где в конце концов виновного поймают? И как можно больше действия? Но в то же время тебе совестно клевать на преподобную тошнятину, состряпанную из «рук покойницы» и «монастырских цепей»? Отлично. Так я тебе устрою много латыни, и мало баб, и кучу богословия, и литры крови, как в Гран-Гиньоле [80]. И ты в конце концов у меня взвоешь: «Что за выдумки! Я не согласен!». И тут-то ты уже будешь мой и задрожишь, видя безграничное всемогущество Божие, выявляющее тщету миропорядка. А дальше будь умницей и постарайся понять, каким способом я заманил тебя в ловушку. Ведь я же, в конце концов, предупреждал тебя! Ведь я столько раз повторил, что веду к погибели! Но прелесть договоров с дьяволом в том и состоит, что, подписывая, прекрасно знаешь, с кем имеешь дело. Иначе за что бы такое вознаграждение — ад?

Поскольку целью моей было представить в приятном свете единственное, что нас по-прежнему страшит — а именно метафизический ужас,— я не мог не остановиться, из всех типов сюжетов, на самом метафизическом и философском. То есть на детективном.

---

[73] «Дух времени» *(нем.)*. Термин «духовно-исторической» школы исследователей (XIX—XX вв.).

[74] «Адельгиз» (1822) — историческая трагедия А. Мандзони.

[75] М. Т. Д'Адзелио (1798—1866) — итальянский писатель и политический деятель, автор исторических романов «Барлеттский турнир, или Этторе Фьерамоска» (1833) и «Никколо де Лапи» (1841).

[76] Ф. Д. Гверрацци (1804—1873) — итальянский писатель и политический деятель, автор исторических романов «Битва при Беневенто» (1827), «Осада Флоренции» (1836) и др.

[77] Ч. Канту (1804—1895) — итальянский писатель автор исторического романа «Маргарита Пустерла» (1838), исторической поэмы «Альджизо, или Ломбардская лига» (1828) и др.

[78] В текст романа Мандзони «Обрученные» введены подлинные «прокламации» XVII в.— «grida».

[79] Шлифуя свой литературный язык и опираясь на флорентийскую норму, Мандзони в годы работы над романом переехал жить из Милана во Флоренцию. Он называл это «прополоскать одежду в водах Арно».

[80] Гран-Гиньоль — парижский театр конца XIX — нач. XX века, основанный на эстетике шутовской жестокости.

Метафизика детектива

Не случайно книга начинается как детектив и разыгрывает наивного читателя до конца, так что наивный читатель может и вообще не заметить, что перед ним такой детектив, в котором мало что выясняется, а следователь терпит поражение. По-моему, люди любят детективы не потому, что в них убивают, и не потому, что в них всегда в конце концов торжествует норма — интеллектуальная, социальная, юридическая и моральная,— а зло, то есть ненормальность, уничтожается; детектив любят за другое. За то, что его сюжет — это всегда история догадки. В чистом виде. Однако и медицинский диагноз, научный поиск, метафизическое исследование — тоже догадки. В сущности, основной вопрос философии (и психоанализа) — это и основной вопрос детектива: кто виноват? Чтобы узнать это (точнее, уверить себя, что знаем), надо начать с догадки, будто все вещи объединены определенной логикой, той логикой, которую предписал им виноватый. Любая история следствия и догадки открывает нам что-то такое, что мы и раньше «как бы знали» (псевдохайдеггерианская отсылка). Этим объясняется, почему у меня основной вопрос (кто убийца?) раздроблен на множество других вопросов, каждый со своей догадкой — и все они в сущности являются вопросами о структуре догадки как таковой.

Абстрактная модель догадки — лабиринт. Но они известны трех видов. Первый — греческий: лабиринт Тесея. В нем никому не удастся заблудиться. Входишь, добираешься до середины и из середины выходишь. Потому-то в середине и сидит Минотавр. Иначе пропал бы весь смак предприятия. Это была бы обычная прогулка. Ужас берется (если берется) из неизвестности: неизвестно, куда ты угодишь и что выкинет Минотавр. Но на пороге классического лабиринта в твою ладонь сразу ложится нить Ариадны. Собственно, лабиринт — это и есть нить Ариадны.

Существует еще лабиринт маньеристический. В плане это что-то вроде дерева — корни, крона. Разветвленные коридоры со множеством тупиков. Выход один. Но как его найти? Ариаднина нить нужна и тут. Такой лабиринт — модель trial-and-error process [81]. И наконец, существует сетка — то, что у Делеза и Гаттари называется «ризома» [82]. «Ризома» так устроена, что в ней каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. Потенциально такая структура безгранична. Пространство догадки — это пространство ризомы. Мир, в котором Вильгельм (как он обнаруживает) обитает,— этот мир выстроен уже как ризома. Вернее, по идее выстроен как ризома. Хотя на самом деле не достроен до конца.

Один семнадцатилетний юноша сказал, что ничего не понял в моих богословских дискуссиях, но воспринимал их как некое продолжение пространственного лабиринта. Эти куски текста для него — то же самое, что «жуткая» музыка в фильмах Хичкока. Думаю, он прав. Этот простой читатель учуял, что мой текст — в сущности история лабиринтов, и совсем не только пространственных. Думаю, что, как ни странно, самые простые прочтения оказались самыми структуралистскими. Наивный читатель, не защищенный теоретическими «буферами», впрямую наталкивается на ту истину, что у книги не может быть только один сюжет. Так не бывает.

Развлекательность

Я хотел, чтоб читатель развлекался. Как минимум столько же, сколько развлекался я. Это очень важный момент, хотя, на первый взгляд, противоречащий нашим глубокомысленным представлениям о романе.

Развлекаться не значит от-влекаться от проблем. «Робинзон Крузо» развлекает идеального читателя множеством арифметики и отчетами о повседневной жизни примерного homo oeconomicus [83], очень похожего на этого самого идеального читателя. Но двойник Робинзона, читая роман о самом себе и развлекаясь этим, получал еще кое-что дополнительно, становился немножко другим человеком. Развлекаясь, он обучался. Узнает ли читатель новое о мире, или же он узнает новое о языке — это специфика того или другого типа поэтики, но главное не меняется. Идеальный читатель «Поминок по Финнегану» в конечном счете развлекается не меньше, чем читатель Каролины Инверницио [84]. Ровно столько же. Но по-своему.

Далее. Понятие развлекательности исторично. Способы развлекать себя и других менялись в зависимости от возраста жанра. Современный роман попробовал отказаться от сюжетной развлекательности в пользу развлекательности других типов. Я же, свято веруя в аристотелевскую поэтику, всю жизнь считал, что в любом случае роман должен развлекать и своим сюжетом. Или даже в первую очередь сюжетом.

Всем понятно, что когда роман развлекает — он пользуется успехом. Из-за этого стало принято считать, что успех у публики — дурной признак: если роман имеет успех, значит, в нем нет ничего нового и публика получила как раз то, чего ей надо.

Я все-таки считаю, что это не одно и то же. Фраза «если роман дает публике то, чего ей надо — он имеет успех» не означает, что «если роман имеет успех, значит, он дал публике, чего ей было надо».

Второй из этих тезисов не всегда верен. Достаточно назвать Дефо и Бальзака, а из современных — «Жестяной барабан» и «Сто лет одиночества».

Мне могут напомнить, что уравнение «популярность равняется недоброкачественность» в свое время поддерживалось поле-

[81] Метод проб и ошибок *(англ.)*

[82] G. Deleuze, F. Guattari. Rhizome. P., Minuit, 1976.

[83] Человек хозяйственный *(лат.)*.

[84] К. Инверницио (1858—1916) — плодовитая итальянская писательница, олицетворение дешевой популярности.

мической деятельностью «Группы 63» [85], куда входил и я. Да, это так. В 1963 году и даже несколько раньше мы отождествляли популярный роман с конъюнктурным, а конъюнктурный — с сюжетным и поклонялись эксперименту — а публику он приводил в страх. Да, мы утверждали все это. Тогда это имело смысл. Именно из-за этого бесились добропорядочные сочинители, и именно этого не могут нам забыть летописцы эпохи. И правильно делают, так как в расчете на них все и говорилось. А также в расчете на поклонников и производителей традиционного романа с его несомненной конъюнктурностью и нежеланием хоть как-то обновить схемы, восходящие к прошлому веку. Ну а потом началась война и в пылу фракционных споров совершенно разные вещи полетели в одну кучу — это уж как водится.

Помню, главными нашими врагами были тогда Лампедуза [86], Бассани [87] и Кассола [88]. Сейчас я безусловно вижу разницу между этими тремя фигурами. Лампедуза написал прекрасный роман, хотя ошибся веком. Против него пришлось воевать, потому что его выставляли первооткрывателем новых горизонтов итальянской литературы, в то время как он блистательно закрывал старые. Насчет Кассолы я мнения не переменил. А о Бассани судил бы сегодня гораздо осмотрительнее. Думаю даже, что, вернись сейчас 63-й год, я назвал бы его союзником и попутчиком. Но не об этом сейчас речь.

Оказывается, никто не помнит, что произошло очень вскоре, в 1965-м. А следовало бы вспомнить очередную конференцию нашей группы в Палермо (дискуссия об экспериментальном романе, см. материалы в сб.: Il romanzo sperimentale, Feltrinelli, 1966).

На этой дискуссии всплыли прелюбопытные вещи. Прежде всего заслуживает внимания вступительный доклад Ренато Барилли [89]. В те годы он был уже признанным теоретиком всех ответвлений «нового романа» [90]. Тогда он пытался разобраться с Роб-Грийе нового периода [91], с Грассом [92] и Пинчоном [93]. (Не забудем, что хотя теперь Пинчона принято считать одним из основоположников постмодернизма, тогда этого термина не существовало, во всяком случае в Италии — его только начинал вводить Джон Барт в Америке [94]. Барилли ссылался на Русселя [95], говорил, что видит этого поклонника Жюля Верна новыми глазами, и не ссылался на Борхеса, потому что тогда на него новыми глазами еще не смотрели. Итак, что же сказал Барилли? Что все ратуют за отсутствие действия, за голые ощущения и упоение веществом текста, а между тем наступает новый этап в романистике — этап реабилитации действия. Хотя, возможно, это будет другое действие.

Я выступил с разбором фильма, который нам показали накануне — забавный киноколлаж Барукелло [96] и Грифи [97] «Ненадежная проверка». Там составлен сюжет из обрывков сюжетов, точнее — из самых стандартных ситуаций, «топосов» коммерческого кино. Я отметил, что публика одобрительно реагировала в тех местах фильма, которые прежде — всего лишь несколько лет назад — возмутили бы ее. А именно, в тех, где логическая и темпоральная причинность, обеспечивающая традиционное действие, нарушена: ожидания публики жестоко обманываются. Итак, авангард на глазах превращался в традицию. То, что еще несколько лет назад было шоком, ныне как мед ласкало слух (или очи). Вывод из этого напрашивался только один. Неприемлемость сообщения переставала выступать главным критерием качества для прозаического повествования (как и для прочих видов экспериментального искусства), поскольку теперь неприемлемость кодифицировалась как приятность.

Намечался покаянный возврат к приемлемому — но уже в новых формах — и закрепление новых критериев приятного. Я напомнил присутствующим, что во времена футуристских вечеров Маринетти публика обязательно должна была свистеть. «Но ныне бесперспективна установка на то, что эксперимент, нормально принятый публикой, — проваленный эксперимент. Эта установка отбрасывает нас к ценностным критериям авангарда начала века; всякий, кто критикует авангард с этих позиций — запоздалый маринеттианец. Надо понимать, что лишь в определенный, узкий исторический момент неприемлемость сообщения выступала критерием качества... Мне, честно говоря, кажется, что мы обязаны отказаться от этой arrière pensée [98],

---

[85] «Группа 63» (по году образования) — объединение итальянских писателей и критиков — теоретиков литературы эксперимента. В «Группу» входили критики Р. Барилли, А. Гульельми, поэты Э. Сангуинети, Н. Балестрини и др.

[86] Дж. Томази Ди Лампедуза (1896—1957) — автор знаменитого исторического романа «Леопард» (1955—1957).

[87] Дж. Бассани (род. в 1916) — крупный итальянский писатель.

[88] К. Кассола (1917—1987) — итальянский писатель, автор популярных реалистических романов.

[89] Р. Барилли (род. в 1935) — литературный критик, один из идеологов «Группы 63».

[90] «Новый роман», «антироман» — термин, обозначающий творчество ряда французских писателей 50 — 70-х годов (Натали Саррот, А. Роб-Грийе, М. Бютор, К. Симон), вырабатывавших приемы бесфабульного и безгеройного повествования.

[91] А. Роб-Грийе (род. в 1922) — известный представитель французского «нового романа». В 1965 году перешел от статичного «шозизма» к игре стереотипами массовой культуры.

[92] Г. Грасс (род. в 1927) — известный западноберлинский писатель, чье творчество вмещает элементы гротеска, фантастики.

[93] Т. Пинчон (род. в 1937) — крупнейший американский писатель-постмодернист.

[94] Дж Барт (род. в 1930) — американский писатель, постмодернист, лидер и теоретик школы «черного юмора».

[95] Р. Руссель (1877—1933) — французский писатель, почитавшийся сюрреалистами как их предтеча.

[96] Ф. Барукелло (род. в 1929) — итальянский киносценарист.

[97] А. Грифи (род. в 1934) — итальянский кино- и видеорежиссер-концептуалист.

[98] Задняя мысль *(франц.)*.

постоянно присутствующей в наших дискуссиях: от мысли, что скандал — единственное доказательство ценности работы. Противопоставление порядка — беспорядку, творчества на потребу — творчеству провоцирующему не утратило своих рабочих качеств, но теперь, по-моему, его надо рассматривать в иной перспективе. То есть я уверен, что элементы разрушительности, революционности могут присутствовать и в таких работах, которые вроде бы рассчитаны на легчайшее усвоение. А в других работах — на первый взгляд будоражащих публику — никакой революционностью не пахнет... В эту неделю я видел таких людей, которые, если книга им «чересчур нравится», настораживаются и спешат объявить ее плохой книгой...» Ну и так далее.

1965-й... Годы зарождения поп-арта и таким образом — годы прощания с традиционным противопоставлением экспериментального, не фигуративного искусства — искусству массовому, нарративному и фигуративному. В эти годы Пуссёр [99] говорил мне о «Битлз»: «Они работают на нас». Тогда он еще не способен был понять, что и он работает на них. Только когда появилась Кэти Берберян [100], мы убедились, что «Битлз», возвращенные, как и следовало, к Перселлу [101], могут идти в одном концерте с Монтеверди [102] и Сати [103].

Постмодернизм, ирония, занимательность

С 1965 года по сей день окончательно прояснились две идеи. Во-первых, что сюжет может возродиться под видом цитирования других сюжетов, и, во-вторых, что в этом цитировании будет меньше конформизма, чем в цитируемых сюжетах. Один «Ежегодник Бомпьяни» (по-моему, от 1972 года) был озаглавлен «Реванш сюжета», хотя означенный реванш по большей части знаменовался ироническим (и в то же время восторженным) переосмыслением Понсон дю Террайля [104] и Эжена Сю [105], а также восторгами (почти без иронии) по поводу лучших страниц Дюма. И все-таки можно ли было представить себе роман и нонконформистский, и достаточно проблемный, и, несмотря ни на что, — занимательный?

Создать этот сложный сплав и заново открыть не только сюжет, но и занимательность предстояло американским теоретикам постмодернизма.

К сожалению, «постмодернизм» — термин годный á tout faire [106]. У меня такое чувство, что в наше время все употребляющие его прибегают к нему всякий раз, когда хотят что-то похвалить. К тому же его настойчиво продвигают в глубь веков. Сперва он применялся только к писателям и художникам последнего двадцатилетия; потом мало-помалу распространился и на начало века; затем еще дальше; остановок не предвидится, и скоро категория постмодернизма захватит Гомера.

Должен сказать, что я сам убежден, что постмодернизм не фиксированное хронологически явление, а некое духовное состояние, если угодно, Kunstwollen [107] — подход к работе. В этом смысле правомерна фраза, что у любой эпохи есть собственный постмодернизм, так же как у любой эпохи есть собственный маньеризм (хоть я и не решил еще — не является ли постмодернизм всего лишь переименованием маньеризма как метаисторической категории). По-видимому, каждая эпоха в свой час подходит к порогу кризиса, подобного описанному у Ницше в «Несвоевременных размышлениях», там, где говорится о вреде историзма. Прошлое давит, тяготит, шантажирует. Исторический авангард (однако в данном случае я беру и авангард как метаисторическую категорию) хочет откреститься от прошлого. «Долой лунный свет!» — футуристский лозунг — типичная программа любого авангарда; надо только заменять «лунный свет» любыми другими подходящими существительными. Авангард разрушает, деформирует прошлое. «Авиньонские девушки» [108] — очень типичный для авангарда поступок. Авангард не останавливается: разрушает образ, отменяет образ, доходит до абстракции, до безобразности, до чистого холста, до дырки в холсте, до сожженного холста; в архитектуре требования минимализма приводят к садовому забору, к дому-коробке, к параллелепипеду; в литературе — к разрушению дискурса до крайней степени — до коллажей Бэрроуза [109], и ведут еще дальше — к немоте, к белой странице. В музыке эти же требования ведут от атональности к шуму, а затем к абсолютной тишине (в этом смысле ранний период Кейджа [110] — модернистский).

Но наступает предел, когда авангарду (модеризму) дальше идти некуда, поскольку им выработан метаязык, описывающий его собственные невероятные тексты (то есть концептуальное искусство). Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его

---

[99] А. Пуссёр (род. в 1929) — бельгийский композитор, музыковед.

[100] К. Берберян (род. в 1928) — американская певица-авангардистка.

[101] Г. Перселл (1659—1695) — английский композитор, создатель первой английской оперы «Дидона и Эней» (1689).

[102] К. Монтеверди (1567—1643) — итальянский композитор.

[103] Э. Сати (1866—1925) — французский композитор-авангардист.

[104] П.-А. Понсон дю Террайль (1829—1871) — популярный французский автор романов-фельетонов («Приключения Рокамболя» и проч.).

[105] Э. Сю (1804—1857) — французский писатель, автор увлекательных романов «Парижские тайны», «Вечный жид», «Семь смертных грехов» и пр.

[106] На любой случай *(франц.)*.

[107] Художническая воля *(нем.)*.

[108] «Авиньонские девушки» (1907) — картина П. Пикассо.

[109] У. Бэрроуз (род. в 1914) — американский писатель, крайний авангардист, тяготеющий к разрушению любых повествовательных структур.

[110] Дж. Кейдж (род. в 1912) — американский композитор и исполнитель, автор произведения «4 минуты 33 секунды». В течение этого времени музыкант сидит, не прикасаясь к инструменту.

уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить: иронично, без наивности. Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей «люблю тебя безумно», потому что понимает, что она понимает (а она понимает, что он понимает), что подобные фразы — прерогатива Лиала[111]. Однако выход есть. Он должен сказать: «По выражению Лиала — люблю тебя безумно». При этом он избегает деланной простоты и прямо показывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому; и тем не менее он доводит до ее сведения то, что собирался довести — то есть что он любит ее, но что его любовь живет в эпоху утраченной простоты. Если женщина готова играть в ту же игру, она поймет, что объяснение в любви осталось объяснением в любви. Ни одному из собеседников простота не дается, оба выдерживают натиск прошлого, натиск всего до-них-сказанного, от которого уже никуда не денешься, оба сознательно и охотно вступают в игру иронии... И все-таки им удалось еще раз поговорить о любви.

Ирония, метаязыковая игра, высказывание в квадрате. Поэтому если в системе авангардизма для того, кто не понимает игру, единственный выход — отказаться от игры, здесь, в системе постмодернизма, можно участвовать в игре, даже не понимая ее, воспринимая ее совершенно серьезно. В этом отличительное свойство (но и коварство) иронического творчества. Кто-нибудь всегда воспримет иронический дискурс как серьезный. Вероятно, коллажи Пикассо, Хуана Гриса[112] и Брака[113] — это модернизм, так как нормальные люди их не воспринимали. А вот коллажи Макса Эрнста[114], в которых смонтированы куски гравюр XIX века,— это уже постмодернизм; их можно читать, кроме всего прочего, и просто как волшебную сказку, как пересказ сна, не подозревая, что это рассказ о гравюрах, о гравировании и даже, по-видимому, об этом самом коллаже. Если «постмодернизм» означает именно это, ясно, почему постмодернистами можно называть Стерна и Рабле и безусловно — Борхеса; и как в одном и том же художнике могут уживаться, или чередоваться, или сменяться модернизм и постмодернизм. Скажем, у Джойса. «Портрет...»[115] — рассказ о движении к модернизму. «Дублинцы», хоть и написаны раньше,— более модернистская вещь, чем «Портрет». «Улисс» — пограничное произведение. И наконец, «Поминки по Финнегану» — уже постмодернизм. В нем открыто постмодернистское рассказывание: здесь для понимания текста требуется не отрицание уже сказанного, а его ироническое переосмысление.

О постмодернизме уже с самого начала было сказано почти все. Я имею в виду такие работы, как «Литература истощения» Джона Барта — это статья 1967 года[116], ныне снова опубликованная в седьмом выпуске «Калибано», посвященном американскому постмодернизму. Я не совсем согласен с той «табелью о рангах», которую теоретики постмодернизма (включая Барта) ввели для писателей и художников, определяя, кто из них постмодернист, а кто не вполне. Но мне кажется любопытной та теорема, которую теоретики этого направления доказывают, исходя из своих предпосылок. «По моим понятиям, идеальный писатель постмодернизма не копирует, но и не отвергает своих отцов из двадцатого века и своих дедов из девятнадцатого. Первую половину века он таскает не на горбу, а в желудке: он успел ее переварить. (...) Он, может быть, и не надеется растрясти поклонников Джеймса Миченера[117] и Ирвинга Уоллеса[118], не говоря о лоботомированных масс-культурой неучах. Но он обязан надеяться, что сумеет понять и увлечь (хотя бы когда-нибудь) определенный слой публики — более широкий, чем круг тех, кого Манн звал первохристианами, то есть чем круг профессиональных служителей высокого искусства. (...) Идеальный роман постмодернизма должен каким-то образом оказаться над схваткой реализма с иррелизмом, формализма с «содержанизмом», чистого искусства с ангажированным, прозы элитарной — с массовой. (...) По моим понятиям, здесь уместно сравнение с хорошим джазом или классической музыкой. Слушая повторно, следя по партитуре, замечаешь то, что в первый раз проскочило мимо. Но этот первый раз должен быть таким потрясающим — и не только на взгляд специалистов,— чтобы захотелось повторить».

В 1980 году Барт продолжает тему, на этот раз под заглавием «Литература восполнения»[119]. Разумеется, те же мысли можно сформулировать и более парадоксально — как это делает Лесли Фидлер[120]. В том же выпуске «Калибано» публикуется его статья 1981 года, а в 1980 году в «Салмагунди» вышла его дискуссия с несколькими американскими писателями. Фидлер их явно дразнит. Он расхваливает «Последнего из могикан», приключенческую романистику, готические романы, всякое чтиво, презираемое критиками, но способное порождать мифы и занимать воображение не одного читательского поколения. Фидлер гадает — не появится ли в литературе что-либо сравнимое с «Хижиной дяди Тома», которую с одинаковым упоением читают на кухне, в гостиной и в детской. Шекспира он при-

[111] Лиала — прозвище итальянской писательницы Лианы Негретти (род. в 1902), популярной в 30—40-е годы.

[112] Х. В. Грис Хуан (Гонсалес) (1887—1927) — испанский художник-кубист.

[113] Ж. Брак (1882—1963) — французский живописец-кубист.

[114] М. Эрнст (1892—1976) — немецкий художник, один из основателей кельнской группы дадистов.

[115] «Портрет художника в юности» (1916).

[116] J. Barth. The Literature of Exhaustion. Ahtlantic Monthly, Aug. 1967, p. 29—34.

[117] Дж. Миченер (род. в 1907) — американский писатель, автор романов, популяризирующих историю.

[118] И. Уоллес (род. в 1916) — американский писатель, работающий в русле массовой культуры.

[119] J. Barth. The Literature of Replenishment. Athlantic Monthly Jan. 1980 p. 65—71.

[120] Л. Фидлер (род. в 1917) — американский писатель и литературовед фрейдистского направления.

числяет к «тем, кто умел развлекать» и ставит рядом с «Унесенными ветром». Фидлер всем известен как критик слишком тонкий, чтоб во все это верить. Он просто хочет снести стену, отделяющую искусство от развлечения. Он интуитивно чувствует, что добраться до широкой публики и заполонить ее сны — в этом и состоит авангардизм по-сегодняшнему; а нам он предоставляет полную возможность самим дойти до мысли, что владеть снами вовсе не значит убаюкивать людей. Может быть, наоборот: насылать наваждение.

Исторический роман

Два года я отказывался отвечать на бессмысленные вопросы типа: «У тебя открытое произведение или закрытое?» [121] Почем я знаю. Это ваша проблема, а не моя. Или: «С каким из твоих героев ты идентифицируешься?» Господи боже мой, да с каким идентифицируется любой автор? С наречиями, разумеется.

Из всех этих бессмысленных вопросов самый бессмысленный — насчет того, что, рассказывая прошлое, этим-де спасаешься от настоящего. Так ли это? — спрашивали меня. Я отвечал: возможно. Если, конечно, Мандзони рассказывает о XVII веке потому, что не интересуется своим XIX. Если Джусти в «Св. Амвросии» [122] действительно занят своей эпохой и австрийцами, а Берше в «Понтидской присяге» [123] рассказывает какие-то сказки былых времен. Если «Love story» [124] — вещь о своем времени, а «Пармская обитель» сосредоточена исключительно на том, что было за двадцать пять лет до того...

Надо ли объяснять, что все проблемы современной Европы сформированы, в нынешнем своем виде, всем опытом средневековья: демократическое общество, банковская экономика, национальные монархии, самостоятельные города, технологическое обновление, восстания бедных слоев. Средние века — это наше детство, к которому надо возвращаться постоянно, возвращаться за анамнезом... Но Средние века можно в принципе преподнести и а-ля «Экскалибур» [125]. Поэтому проблема состоит в другом, и ее не обойдешь. Что значит написать исторический роман? По-моему, существует три способа рассказывания о прошлом. Первый способ — romance [126]. От романов бретонского цикла [127] до Толкиена [128], включая и «готический роман». Здесь прошлое используется как антураж, как предлог, как фантастическая предпосылка: среда, дающая свободу воображению. Поэтому действие romance не обязательно должно быть отнесено в прошлое. Для этого действия важно только разворачиваться не «сейчас» и не «здесь», а также чтобы о «сейчас» и «здесь» вообще ничего не говорилось, даже аллегорически. Большая часть научной фантастики на самом деле romance. Romance — это повесть о «где-то».

Затем второй способ — это роман плаща и шпаги в духе Дюма. В романе плаща и шпаги выводится прошлое «подлинное», узнаваемое; его узнаваемость обеспечивается наличием персонажей, взятых из энциклопедии (Ришелье, Мазарини), которые здесь совершают действия, не зафиксированные в энциклопедии (интриги с миледи, сотрудничество с неким Бонасье), но и не противоречащие тому, что сказано в энциклопедии. Конечно, эти исторические персонажи должны соответствовать данным историографии и делать то, что они в действительности делали: осаждать Ла-Рошель, вступать в любовную связь с Анной Австрийской, договариваться с Фроидой. В эту обстановку так называемой «подлинности» помещены и выдуманные лица. Но действуют они согласно общечеловеческим мотивировкам, естественным и для людей других эпох. Д'Артаньян, доставивший из Лондона подвески королевы, мог проделать то же самое и в XV или в XVIII веке. Не обязательно жить в XVII веке, чтобы иметь психологию д'Артаньяна.

Исторический роман — третья разновидность — напротив, не обязательно выводит на сцену фигуры, знакомые из популярных энциклопедий. Возьмите «Обрученных». Самый известный из персонажей — кардинал Федериго. Но до Мандзони о нем слышали очень немногие. Гораздо более известен был другой Борромео — Св. Карл. Однако любое действие, совершаемое Лючией, Ренцо и братом Кристофоро, может быть совершено только в Ломбардии и только в XVII веке. Все поступки героев необходимы для того, чтобы мы лучше поняли историю — поняли то, что имело место на самом деле. События и персонажи выдуманы. Но об Италии соответствующего периода они рассказывают то, что исторические книги с такой определенностью до нас просто не доносят.

В этом смысле я безусловно писал исторический роман. И не потому, что реально существовавшие Убертин и Михаил долж-

---

[121] Вопрос отсылает к проблематике ранней работы У. Эко по семиотике текста «Открытое произведение» (1962).

[122] «Св. Амвросий» (1846) — сатира итальянского писателя, борца за освобождение Италии от австрийского гнета Дж. Джусти (1809—1850).

[123] «Понтидская присяга» (1847) — историческая поэма с современными аллюзиями итальянского поэта Дж. Берше (1783—1851).

[124] «История любви» — роман американского писателя Э. Сигела, легший в основу сценария одноименного популярного фильма (1970) режиссера А. Хиллера.

[125] «Экскалибур» (1980) — костюмная мифологизированная кинопостановка «из средневековой жизни» англо-американского режиссера Дж. Бурмана.

[126] Romance *(англ.,* в противоположность novel) — роман о необычайных приключениях (исторический, фантастический).

[127] Бретонский цикл — один из циклов средневековых рыцарских романов, основанных на кельтских сказаниях о легендарном короле бриттов Артуре, о Тристане и Изольде, о поисках св. Грааля.

[128] Дж. Р. Р. Толкиен (1892—1973) — английский писатель, автор сказочно-фантастической эпопеи «Властелин колец» (1954—1955).

ны были у меня говорить примерно то же, что они говорили на самом деле. А потому, что и выдуманные персонажи вроде Вильгельма должны были говорить именно то, что они говорили бы, живя в ту эпоху.

Не знаю, насколько я соблюл верность взятому курсу. Но не думаю, что отступил от него, вводя в текст замаскированные цитаты из более поздних авторов типа Витгенштейна [129], подавая их как цитаты той эпохи. Всякий раз я прекрасно сознавал, что это не люди Средневековья у меня осовременены, а люди современных эпох мыслят по-средневековому. Я гадал: когда мои вымышленные герои складывают воедино disjecta membra [130] вполне средневековых мыслей — не рождаются ли концептуальные «козлоолени» [131], которых Средневековье никогда бы за своих не признало? И я отвечал себе, что исторический роман и этим обязан заниматься: не только прослеживать в прошедшем причины того, что случилось в грядущем, но и намечать пути, по которым причины медленно продвигались к своим следствиям.

Когда мои герои, сталкивая две средневековые идеи, извлекают из них третью, более современную, они совершают то же, что впоследствии было совершено развитием культуры. И хотя, возможно, никто и не писал того, что они у меня говорят, я глубоко уверен, что кто-нибудь — пусть в самой неопределенной форме — что-то такое продумывал (но мог никому об этом не говорить в силу самых разных сомнений и страхов).

Как бы то ни было, больше всего меня умиляет одна деталь. Сто раз из ста, когда критик или читатель пишут или говорят, что мой герой высказывает чересчур современные мысли — в каждом случае речь идет о буквальных цитатах из текстов XIV века.

А на других страницах читающие находили «утонченно средневековые» пассажи, которые я писал, сознавая, что неприлично модернизирую. Все дело в том, что у каждого есть собственное понятие — обычно извращенное — о Средних веках. Только нам, тогдашним монахам, открыта истина. Но за нее, бывает, жгут на костре.

Чтоб закончить

Недавно — года через два после написания романа — я нашел свою запись 1953 года, еще университетских времен.

«Горацио с другом обращаются к графу П. по поводу расследования тайны призрака. Граф П.— эксцентричный джентльмен, флегматик. Ему противостоит молодой капитан датской гвардии (американские методы). Нормальное развитие действия (трагедийная модель). В последнем акте граф П., собрав семью, раскрывает секрет: убийца — Гамлет. Слишком поздно. Гамлет умирает».

Через много лет я обнаружил, что похожая идея появлялась у Честертона [132]. Кажется, группа «Улипо» [133] недавно составила таблицу всех возможных детективных ситуаций и пришла к выводу, что остается написать книгу, в которой убийцей будет читатель.

Мораль: существуют навязчивые идеи; у них нет владельца; книги говорят между собой, и настоящее судебное расследование должно доказать, что виновные — мы.

---

[129] Л. Витгенштейн (1889—1951) — австрийский философ и логик, выдвинувший программу построения искусственного «идеального» языка.

[130] Разъятые члены (*лат.*).

[131] Образ Аристотеля («Об истолковании», I, 16а).

[132] Эссе «Гамлет и психоаналитик» — см. Г. К. Честертон. Писатель в газете. М., Прогресс, 1984, с. 209—214.

[133] «Мастерская потенциальной литературы», основанная в 60-е гг. Р. Кено, Ж. Переком и др.; цель объединения — литературная игра, математизированное комбинирование литературы из элементов — «блоков».

◆

ТАДЕУШ БОРОВСКИЙ

Стихи и проза

■

С польского

О Тадеуше Боровском

О Тадеуше Боровском написано гораздо больше, чем написал он сам. Внимание вот уже нескольких поколений продолжают привлекать не только его знаменитые рассказы об Освенциме, ставшие хрестоматийными в Польше и переведенные в большинстве стран Европы и в США, не только его поэзия, но и сама его личность, его судьба.

Он принадлежал к поколению погибших поэтов. Даты смерти большинства его сверстников, товарищей юности,— 1943-й и 1944-й. Годы оккупации и Варшавское восстание. Русский читатель знает одного из этих поэтов — Кшиштофа Бачиньского. В рассказе «У нас в Аушвице...» Боровский вспоминает еще двоих: Вацлава Боярского и Анджея Тшебиньского. Все они были студентами подпольного Варшавского университета. Все у них было тогда подпольное: университет, литературные вечера, дебюты.

Дебютировал Тадеуш Боровский в декабре 1942 года: на ручном гектографе в подпольной типографии была отпечатана в количестве 165 нумерованных экземпляров книжка его стихов «Везде, где земля...». В рассказе «Прощание с Марией» Боровский вспоминает, что обложки будущего тиража книжки сушились на веревке в помещении склада варшавской строительной фирмы, где молодой поэт работал кладовщиком.

Вторая книжка Боровского, включавшая семь стихотворений, обращенных к возлюбленной, вышла в 1944 году, тоже подпольно, стараниями его друзей. А сам Тадеуш Боровский и Мария Р., которой стихи были посвящены, в феврале 1943 года, незадолго до их готовившейся свадьбы, были арестованы гестапо.

Мария зашла к знакомому подпольщику из ППР Чеславу Манкевичу. Но хозяин квартиры был уже выслежен и взят, в квартире была устроена засада. Взяли Марию. Там же взяли и Тадеуша.

Аллея Шуха (гестапо). Потом — варшавская тюрьма Павяк. И — Освенцим. К этому времени разросшийся комбинат Аушвиц-Биркенау (Освенцим-Бжезинка) включал «старый» Освенцим и два новых лагеря Биркенау, мужской и женский. Тадеуш был в мужском лагере, Мария — буквально рядом — в женском.

Лагерная судьба улыбнулась Боровскому. После тяжелого воспаления легких врачи оставили «лагерного поэта» в больнице ночным сторожем, затем устроили на курсы санитаров, помещавшиеся в больничном блоке в «старом» Освенциме. Эти курсы подробно описываются в первых главках (или «письмах») рассказа «У нас в Аушвице...». Работая в больнице, Боровский пришел в себя и весной 1944 года записался в бригаду кровельщиков: кровельщики работали в женском лагере, и в течение нескольких месяцев Тадеуш имел возможность ежедневно видеться с Марией.

В августе 1944 года гитлеровцы эвакуировали Освенцим. Марию увезли, как потом выяснилось, в Равенсбрюк. Тадеуш попал в Даутмерген, затем — в Дахау-Аллах близ Мюнхена. Именно в этих «малых» лагерях Боровский чуть было не погиб. Он стал «доходягой», к моменту освобождения — 30 апреля 1945 года — весил 35 килограммов. Эсэсовцы, охранявшие Дахау-Аллах, собирались добить заключенных, но не успели: части американской армии ворвались в лагерь неожиданно.

В заметках лета 1945 года Боровский записывал: «Эти здоровые добродушные парни освободили нас, но кто освободит нас от этих парней?» Он снова оказался под охраной: в лагере перемещенных лиц во Фреймане в предместье Мюнхена, в помещении бывших эсэсовских казарм. Здесь Боровский провел четыре месяца, с мая по сентябрь. По мотивам двух рассказов Боровского о его жизни в этом лагере Анджей Вайда поставил фильм «Пейзаж после битвы», шедший и на наших экранах.

Первые два стихотворения предлагаемой ниже публикации написаны Боровским в Освенциме в 1943—1944 годах, остальные — во Фреймане и в Мюнхене. Выбравшись из лагеря перемещенных лиц, Боровский прожил в Мюнхене еще девять месяцев. Лихорадочно писал. За год написал около сотни стихотворений и первые несколько рассказов.

И лихорадочно занимался розысками Марии. Стал работать в Бюро розысков мюнхенского отделения Польского Красного Креста. Помогал другим полякам, потерявшим родных и близких в вихре событий второй мировой войны. И искал сам. В вечер именин Марии, 8 декабря 1945 года, он получил открытку с сообщением, что

Мария находится в Швеции: в апреле, за две недели до капитуляции Германии, шведы вывезли в нейтральную Швецию целый транспорт женщин-узниц из германских концлагерей, Мария была среди них.

В письмах из Мюнхена к родным, к однокурсникам и однокурсницам по Варшавскому подпольному университету Боровский живо интересуется происходящим в Польше. Многие его стихи этого времени по жанру — тоже «письма»: «Письмо из безоблачного лета», «Письмо варшавянке в Лондон». В «письме», адресованном землячке, оказавшейся в Лондоне, Боровский изливает всю свою тоску по Варшаве, всю свою любовь к этому городу.

Но в стихотворении, написанном чуть раньше, еще в казармах Фреймана, он гадает: «Сталин... Трумэн?». И было над чем думать. Ведь о Сталине, о сталинщине Боровский знал не из немецких пропагандистских антисоветских брошюр (одну такую читает — в его рассказе «Битва при Грюнвальде» — сосед рассказчика по лагерю для перемещенных, польский хорунжий). Боровский многое знал из личного опыта.

Из писем Боровского, опубликованных десять лет спустя после его смерти, из рассказов его матери выяснились ранее неизвестные обстоятельства его детства. Оно было столь же драматичным, как вся его последующая жизнь. Боровский родился в 1922 году в Житомире в семье поляка. Ему было четыре года, когда арестовали и отправили «под Мурманск» его отца, восемь лет — когда мать отправили на Енисей. Мальчик жил у тетки. К десяти годам, когда он, его отец и старший брат приехали в Варшаву как репатрианты, он уже многое пережил; а мать удалось вызволить лишь через два года. Так что в 1945—1946 годах в Мюнхене, размышляя «куда?», поглядывая на запад и на восток, Боровский не мог, разумеется, не вспоминать, что довелось пережить его родителям и ему самому в сталинской России.

И все же Боровский не поехал ни в США, ни в Канаду или Аргентину:

> В Канаду? Положим.
> В Аргентину? Можно.
> Но мне дороже
> Мазовше.

Он выбрал Варшаву, Мазовше, Польшу не только потому, что не мог «отречься от Отчизны». Еще и потому, что, несмотря на незабытые обиды и шрамы детства, его тянуло к «коммуне», к коммунизму. К коммунизму он приходил «низом» как выходец из рабочей семьи и срывался «с небес поэзии», как Маяковский. К коммунизму его толкала, как многих тогда польских писателей-гуманистов, надежда радикально переделать европейскую действительность, породившую нацизм и Освенцим.

Он выехал в Варшаву 31 мая 1946 года.

В ноябре к нему приехала Мария. Он встретил ее в Гдыньском порту. В декабре состоялась их свадьба.

А вскоре после встречи с Марией он взялся за рассказ «Прощание с Марией», давший название первой книге его прозы (1947). В книге — пять рассказов. Три из них Боровский написал уже в Варшаве, по приезде из Мюнхена: «Прощание с Марией» — о долагерной жизни в оккупированной Варшаве 1942—1943 годов; «Смерть повстанца» — о пребывании в одном из «малых» лагерей в Германии, после Освенцима, в 1944 году; «Битва при Грюнвальде» — об американском лагере для перемещенных лиц. Но ядром первой книги прозы Боровского были два рассказа об Освенциме, написанные еще в Мюнхене в конце 1945 года: «День в Хармензах» и «Пожалуйте в газовую камеру».

Вернемся к мюнхенским месяцам жизни Боровского. Сразу же по освобождении из лагеря для перемещенных Боровский, вместе с двумя другими молодыми поляками (но старыми освенцимцами), Кристином Ольшевским, впоследствии архитектором, и Юлиушем Седлецким, впоследствии инженером, по инициативе еще одного недавнего узника гитлеровских концлагерей, а в прошлом — варшавского издателя и книжного графика Анатоля Гирса, берется за книгу об Освенциме. По мысли Гирса, эта коллективная книга — сборник воспоминаний, рассказов, очерков — должна была стать историей Освенцима и энциклопедией освенцимской жизни. Книга «Мы были в Освенциме» вышла в Мюнхене в начале 1946 года. Боровский написал в ней четыре рассказа: «День в Хармензах», «Пожалуйте в газовую камеру», «У нас в Аушвице...», «Люди, которые шли».

Первым произведением Боровского-прозаика был рассказ «У нас в Аушвице...», который публикуется в этом номере.

«У нас в Аушвице...» — самый автобиографичный из всех освенцимских рассказов Боровского. Рассказчик предстает здесь не только бывшим студентом филологии, но и поэтом, рассуждает о Платоне, о философии романтизма, вспоминает идеологические споры литературной молодежи в оккупированной Варшаве, даже цитирует свои стихи. К подобной автобиографичности Боровский вернется еще раз в рассказе «Прощание с Марией», но в последующих рассказах о лагере он от такого образа рассказчика, от такой степени тождества рассказчика и автора откажется. И очень резко.

«У нас в Аушвице...» — первый освенцимский рассказ Боровского. Здесь происходит формирование художественных принципов его лагерной прозы.

Здесь мы можем заглянуть в лабораторию прозаика, ищущего новых, небывалых решений для своей небывалой темы. Мы можем подслушать его внутренний разговор с самим собой. «Очисть,— обращается он к самому себе, — повседневные

события от их повседневности, отбрось ужас, и отвращение, и презрение, и найди для всего этого философскую формулу. Для газа и для золота, для поверки и для пуфа, для новичка и для старого номера».

Со временем Боровский пришел к выводу, что в рассказах о лагере, о гигантской организованной системе физического и нравственного уничтожения масс людей и каждого отдельного человека,— что в таких рассказах любые слова осуждения, любые моральные оценки недостаточны, неадекватны, стало быть, неуместны. «Отбрось ужас, и отвращение, и презрение». Рассказчиком должен быть не кто-то особенный, не интеллигент, не поэт, не человек мыслящий и оценивающий, не герой, святой или мученик, а «человек лагерный», средний обитатель лагеря, привыкший здесь ко всему, приспособившийся, научившийся борьбе за выживание в лагерных условиях.

Именно таков рассказчик в последующих освенцимских рассказах Боровского — Тадек. Иногда он форарбайтер, то есть помощник капо, иногда привилегированный лагерник иногда обычный лагерник с лопатой, но во всех случаях он — продукт лагеря, мыслит категориями лагеря, поступает по лагерным нормам, не хочет быть героем и мучеником, хочет выжить Полемичным и вызывающим было то, что Боровский дал такому рассказчику не только многие свои черты и многие (впрочем, типичные) детали своей лагерной биографии, но и свое имя.

Боровский теперь сознательно разынтеллигенчивает рассказчика, отнимает у него студенческое прошлое и поэтический талант, подчеркивает его плебейство — плебейскую хватку, плебейское умение держаться на поверхности, умение добывать и устраиваться, не пропасть. Обостренный всепронизывающий глобальный моралистический морализм Боровского-прозаика требует, как он считает, чтобы его рассказчик совсем не был моралистом, пусть даже выглядит циником.

Результат был неожиданный. За циника приняли — самого Боровского. Первая публикация освенцимских рассказов «День в Хармензах» и «Пожалуйте в газовую камеру» в польской печати (журнал «Твурчость», апрель 1946-го) вызвала буквально шок.

Не подготовленные к такому образу рассказчика, к такой художественной манере, к такому реализму, польские читатели и критики были возмущены. На Боровского набросились все: католики, марксисты, либеральные интеллигенты. Самым мягким было обвинение в «натурализме». Обвинили в оскорблении христианской морали, европейской культуры и т. п. и т. д. Более того, отождествляя автора с рассказчиком, обвиняли Боровского в «недостойном поведении» в лагере, требовали суда над ним. Возникло «дело Боровского». До суда, даже товарищеского, дело не дошло, но Боровский был уязвлен до глубины души, а еще более удивлен.

Удивлен, хотя он сам это спровоцировал и продолжал провоцировать. Не только в журнале, но и в первой своей книге «Прощание с Марией» Боровский публикует лишь самые жестокие освенцимские рассказы, не включая в нее «слишком мягкий» — «У нас в Аушвице...». Он ценил этот рассказ и, проектируя позже сборник лучших своих рассказов, имел в виду и его, но пока что он хотел его утаить.

Польские читатели и критики еще не знали в то время поэзии Боровского, которая могла бы помочь им (знай они хоть одну строку: «...я, певец человека, в грязном лежу бараке...») понять эволюцию писателя и его позицию. Не знали они и рассказа «У нас в Аушвице...», который был и естественным мостом между поэзией Боровского и его прозой, и естественным введением к последующим освенцимским рассказам, ключом к ним.

«У нас в Аушвице...» — самый большой из освенцимских рассказов Боровского, развернутый в пространстве и во времени. Панорама и краткая история Освенцима.

Чуть отвлекаясь, добавим, что только в этом из освенцимских рассказов временна́я перспектива есть и в жизни и в сознании самого рассказчика: он вспоминает свое долагерное прошлое, Варшаву, он размышляет и мечтает о будущем. В последующих освенцимских рассказах и прошлое и будущее исчезнут, останется только настоящее, только лагерь как мера всех вещей.

В освенцимском цикле рассказ «У нас в Аушвице...» — и самый аналитический, переходящий в исследование, в социологический очерк. Таково письмо VII: социологический и экономический анализ лагерной системы третьего рейха. То есть то, чем потом займутся ученые.

Пересматривая всю традиционнную европейскую философию истории, Боровский в этом рассказе сопоставляет тоталитарную «цивилизацию» гитлеровского рейха с рабовладельческими цивилизациями античности, которые столько столетий идеализировались и в которых лишь опыт концлагеря позволил узнику прозреть их тоталитарный характер. Этой страничке VII письма («...Только теперь я понял цену античности...») суждена была в польской литературе особая судьба. Переосмысление (и «критика») античности, античности, которая в силу «греко-латинского» характера польской культуры всегда занимала важное место в творчестве польских поэтов, драматургов, прозаиков, отныне пошло под знаком Боровского: «они», то есть рабовладельцы, и «мы», то есть рабы. Отсюда, например, самый ход мысли многих «античных» стихотворений выдающегося польского поэта Збигнева Херберта.

Постепенно появились у прозы Боровского и защитники, и даже энтузиасты, но, оказавшись на первых порах один «против всех», будучи человеком упрямым, непокорным, темпераментным, Боровский не стал отвечать на обвинения, оправдываться, обороняться, а сразу же перешел в наступление. Так он стал критиком. Он публикует рецензии и статьи о выходящих в это время рассказах и книгах польских писателей о

лагере, об оккупации, о войне. Пишет резко, беспощадно, бьет всех тех, кто приукрашивает, ретуширует, умалчивает, кто не отказался от устаревших форм и норм литературы и мышления. Критические выступления Боровского — интересное и заметное явление польской литературы тех лет, но здесь нам особенно важны фрагменты, где он высказывает свою «программу»: к а к надо писать о лагере, о фашизме, о войне. «...Нельзя писать об Освенциме безлично... Первая обязанность освенцимцев — дать отчет о том, что такое лагерь... да, но пусть они не забывают, что читатель, который читает их сообщения и проберется наконец через все ужасы, неизбежно спросит: ну, ладно, а как получилось, что именно ты выжил(а)?.. расскажите же, как вы покупали место в больнице, в хорошей команде, как сталкивали в крематорий доходяг, как вы покупали женщин и мужчин, что вы делали на лагерных складах, в «канадах», больничных блоках, в цыганском лагере, расскажите это и еще множество мелочей, расскажите о буднях лагеря, о воровстве, об иерархии страха, об одиночестве каждого человека. Но пишите, что именно вы все это делали. Что часть мрачной славы Освенцима и ваша тоже по праву. Может быть, нет?»

Достаточно одной этой цитаты, чтобы понять, почувствовать, с какой болью переживал Боровский свою в и н у — то, что он выжил, а другие не выжили, с какой страстью он взваливает на себя ответственность за соучастие в существовании Освенцима, в существовании всей системы лагерей, в существовании фашизма. С позиций такого нравственного максимализма Боровского не могла удовлетворить никакая и ничья проза о войне и фашизме. И не удовлетворяла. Он требовал от всех гораздо большего. Не только в его критике, но и в следующей книге прозы Боровского, книге коротких рассказов «Каменный мир», заметны элементы памфлета, пародии, полемики, спора со многими авторитетными польскими писателями тех лет.

Ярослав Ивашкевич, один из тех «старших», на которых молодой Боровский нападал со всей присущей ему резкостью, Ивашкевич, который был старше Боровского почти на тридцать лет, но близко знал многих ровесников Боровского и с интересом и доброжелательностью приглядывался к нему самому, писал много лет спустя, что Боровский был из поколения, «жаждавшего в е р ы, веры в человечество и в человека как индивидуума. Гуманистические стремления трагически столкнулись для людей этого поколения с «годами презрения», с человеческим унижением и оподлением до, казалось бы, непереступимых границ. Из этого столкновения, из жажды порядка и цели, которая натыкалась на хаос и нигилизм, родились все противоречия, так характерные для внутренней драмы автора „Прощания с Марией"».

Новым актом внутренней драмы Боровского были последние годы его жизни: 1948—1951. Они начинаются крутым поворотом — вступлением в партию. В партию Боровского привела та самая «жажда веры», о которой говорит Ивашкевич. Выросший в католической среде, а в 30-е годы учившийся некоторое время в школе-интернате при одном из варшавских монастырей, Боровский рано стал атеистом, хотя сохранил уважение к Библии, часто перечитывал ее и хорошо знал. Но, будучи атеистом, он был человеком, склонным к «религиозности» в широком смысле этого слова, мучительно переживал крах той «религии культуры», которую он обрел в годы подпольного университета в Варшаве и потерял — в Освенциме («нет красоты, истины, добра, нет культуры, если возможен Освенцим»). Коммунизм Боровский принял именно как «веру», стал фанатиком этой «веры», готовым — как всегда во всем, что он делал, писал, говорил,— идти «до конца».

Он с головой окунается в публицистику, в политическую и общественную деятельность. Не хотелось бы приукрашивать и ретушировать эту часть его биографии. Но не стоит и упрощать. Речь шла не о том, чтобы приспособиться или сделать карьеру. Боровский был искренен. Был убежден, что прав. Многим его друзьям, товарищам по литературе, даже людям, наблюдавшим издали и со стороны, его обращение к публицистике виделось гибелью писателя. «Потрясающей,— вспоминает Ивашкевич,— была борьба, которую Боровский вел с демоном литературы, когда поверил, что важнее в данный момент публицистика...» Друзья впрямую заговаривали с ним об этом в личных беседах. Он отвечал им — в печати: «Социализм изменяет само понятие писателя. Писатель становится культурным деятелем и превращается — если нужно — в пропагандиста, воспитывает читателя, принимает участие в его конкретной жизни и помогает в ежедневной классовой борьбе...»

Но его коммунистическим идеалам, которые он как новообращенный отстаивал особенно страстно и непримиримо, предстояли нелегкие испытания. Щецинский съезд польских писателей в 1949 году повернул литературу на путь жесткого догматизма. Ситуация парадоксальная: Боровский — секретарь съезда, сидит в президиуме, но не выступает. Да и что он мог бы сказать, если оба официальных докладчика разносят его прозу за «нигилизм», за «неверие в человека». Он должен отказываться от лучшего своего, от всё большего в себе, от себя.

Менялась не только литературная жизнь. Были арестованы секретарь ЦК Польской рабочей партии Владислав Гомулка и член Политбюро заместитель министра обороны Мариан Спыхальский. Вслед за Спыхальским арестовали и начальника его канцелярии полковника Манкевича того самого подпольщика, на квартире которого в 1943 году гестапо схватило Марию и Тадеуша. Боровский пошел к всесильному руководителю польской госбезопасности. Он ручался за Манкевича.

— У нас есть доказательства,— получил он ответ.— А если вы понадобитесь, вас вызовут.

Он не понадобился. До процесса Манкевича он не дожил.

В июле 1951 года Боровский покончил самоубийством.

«Самое потрясающее событие в нашей творческой жизни после войны»,— писал об этом десять лет спустя Адольф Рудницкий. Потрясены были все — и друзья, и недруги, и посторонние. Размышляли и спорили о причинах и непосредственных поводах, как всегда в подобных случаях. Как всегда, это был, конечно, целый клубок. Был и внутренний кризис писателя, кризис человека мыслящего. Были и личные сложности. Был и многолетний «фон»: неизлечимая душевная травма, которую оставил по себе Освенцим.

Безраздельно посвятив себя прозе, а потом публицистике, Боровский по возвращении в Польшу стихов больше не писал, не постарался даже издать написанные стихи отдельной книгой. Но при мысли о его конце приходят в голову именно его стихи.

И строки, написанные еще в Освенциме: «...Лирика раненой птицей бьется, во мне погибая...»

И «Лабиринт», последнее стихотворение, написанное в Мюнхене, стихотворение-предчувствие:

Мир — лабиринт перепутанных линий,
линий, плетущих чудовищный узел...

Узел затянулся. Но концовка стихотворения «Лабиринт» — «торжествую» — концовка неожиданная, парадоксальная — тоже была пророческой. Смерть Боровского стала началом его посмертного торжества.

Среди откликов на его гибель тогда же, в 1951 году, были два стихотворения Чеслава Милоша. Одно так и называлось: «На смерть Тадеуша Боровского». Другое называлось — «Поэт». Милош сопоставлял гибель Боровского с гибелью Маяковского. Предсказывал, что о Боровском будут вспоминать и плакать «внуки века».

Через три года после трагической смерти Боровского, в 1954 году, несколько варшавских писателей — его друзей и энтузиастов — собрали и опубликовали пятитомное собрание его сочинений: том стихов, четыре тома прозы, критики, публицистики. При всех нареканиях на неполноту и неакадемичность этого издания оно сыграло свою роль. Но время подлинной оценки и подлинного осмысления наследия Боровского пришло позже, после 1956 года. Для молодых польских поэтов, прозаиков, драматургов «поколения 1956-го» Боровский стал, наряду с Ружевичем, одним из учителей и предтеч. Не только для них. Влияние Боровского на всю послевоенную польскую литературу, на польский театр, на польское кино огромно и непреходяще. Как писал польский критик Анджей Киёвский, к Боровскому «нужно будет возвращаться как к источнику каждый раз, как мы будем говорить о поисках новых форм прозы, нового видения человека — такого, которое выразит правду «нашего двадцатого века».

На протяжении последних тридцати лет вновь и вновь переиздаются в Польше его рассказы, которые входят в круг обязательного школьного чтения старшеклассников. Публикуются его неоконченные вещи, сохранившиеся письма, дневники. Издаются его стихи. Двумя изданиями (1972, 1977) вышла книга Тадеуша Древновского о Боровском — «Бегство из каменного мира» — одна из вершин послевоенной польской биографистики.

60-е и 70-е годы — годы триумфального шествия Боровского по Европе: в 1964 году его рассказы выходят в Париже и в Амстердаме, в 1966-м — в Праге, в 1967-м — в Лондоне, в 1971-м — в Будапеште, в 1974-м — в Стокгольме и Братиславе...

В Москве том его избранных рассказов выйдет в издательстве «Художественная литература» в 1989 году.

ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ

Ночь над Биркенау

И снова ночь. И небо снова
упорно кружит, как стервятник.
Над лагерною тишиною
восходит месяц в трупных пятнах.

И словно щит, что брошен в битве,
лег Орион в ночном просторе.
Рычат во тьме автомобили,
блестит глазами крематорий.

В бараке — душно. Сон — могила.
Дыханья нет. Хрипенье в горлах.
Стопой тяжелой грудь сдавило
молчанье трех мильонов мертвых.

Ночь, ночь без края. Нет рассвета.
Глаза, измученные снами.
Как Божий Суд на всю планету,
нисходит мгла на Биркенау.

Невесте

Небом здесь служат доски, а горизонтом — стены,
в проволоке колючей ток струится рекой,
с той стороны — березы, иволги свист и пенье,
ветер метет по тропкам синий пепел людской.

Солнечный образ лета. В небе гора цветная
летних ситцевых платьев — закатов, рассветов ряд.
И над болотом кружат гусей перелетных стаи,
там, где струится с пастбищ свежести аромат.

Мир, как ладонь, открытый. Лес за постами синий,
сладкая земляника зреет в густой траве.
Меж серебристых веток домики-апельсины,
словно этюд художника: шутка, покой, привет.

Наша любовь и юность, штили сердец и бури,
бросили нас, как ветку, в речку — и вдаль несут.
Мы же с тобой — как дети, брошенные в лесу,
те, что пришли к избушке ветхой на ножках курьих.

Что есть страх человека, бег боязливой крови,
если смотреть должны мы в ночь, как в пожар громов.
Ток напрягает жилы, кровью налился провод,
люди горят, как груды добрых смолистых дров.

Люди идут колонной. Поезд, бараки, газ.
Золотом платят страже, чтобы прожить мгновенье.
Мифы, кошмары, сказки сбываются ныне в нас,
но не поверят в это грядущие поколенья.

Блоки, набитые теплым, парным человеческим мясом,
пеплом, еще живущим. Общие дождь, жара,
общие нары, миска, вера, надежда, страх,
руки у всех трясутся над полусъедобной массой.

Я, певец человека, в грязном лежу бараке,
взглядом ловлю легенду, как птичий полет в облаках,
только ищу напрасно в глазах человеческих знака.
Есть человек, лопата, ров да похлебки черпак.

Не человек — лишь тело. Пепел, зола и копоть.
Только бездонность неба, полнящая глаза.
Чужды друг другу, пришли мы в лагерь со всей Европы,
дальше — одна дорога: в землю умерших, в леса.

Не человек — лишь тело. Руки к лицу подымаю.
Тело мое — чужое, в нем кто-то чужой живет.
Лирика раненой птицей бьется во мне, погибая.
Прежде чем сникнуть — молит, прежде чем пасть — зовет.

Камера, газ, флегмона, голод, что правит всеми,
миг — и взлетает тело без имени в синеву.
Так возникает эпос. Дышит трагично время.
Руки к лицу подымаю. Да, Мария, живу.

Письмо из безоблачного лета

Здесь ночь — изумрудом чудесным,
а день — золотистой рекой,
но что мне их прелести, если
огромной я полон тоской.

Здесь ночь, словно лампа, качаясь,
мигает, маня и слепя,
как будто нет в мире печалей,
отчизны, разлуки, тебя.

Здесь я по лугам и оврагам
гуляю, в траву погружась,
как будто лишь снились мне лагерь,
война, крематории, газ.

Здесь тело, как мед, загустело
в тепле васильковой земли,
как будто не мучили тело,
не рвали его и не жгли.

Здесь, полная летнего пыла,
земля так тепла и свежа,
как будто во рвах и могилах
никто в ней вовек не лежал.

Здесь женщина хлеб мне и воду
дает и не ведает зла,
как будто я не был тут сроду
и этой земли не познал.

Здесь встречный мужчина бесцветный
проходит, ничуть не смущен,
как будто не бывший я häftling[1],
не бывший эсэсовец — он.

Перевод ЗИГМУНТА ЛЕВИЦКОГО

Молитва о спасении души Кальтенбруннера[2]

Творец, исцели Кальтенбруннера,
который лежит с кровоизлиянием в мозг
в американском госпитале.
Господи, не мучь Кальтенбруннера
призраками битых палкой людей,
не дай ему обезуметь.
Боже, не хлещи Кальтенбруннера
Огненной Розгой Гнева.

Ты, который высший порядок
установил на земле и на небе —
в гигантских туманностях Галактики
и в миниатюрном ядре атома,
дал тиграм клыки и когти,
яд змеям,
разум человеку,
Ватикану — Капитал,
Капиталу — Ватикан,
а демократам — атомную бомбу
на Хиросиму и Нагасаки —
Ты дал Кальтенбруннеру власть,
ибо всякая власть от Бога,

[1] Заключенный *(нем.) (Здесь и далее прим. перев.)*
[2] Кальтенбруннер — глава службы безопасности гитлеровского рейха. Приговорен в Нюрнберге к смертной казни и казнен в 1946 году.

но не судят Тебя в Нюрнберге,
соучастник всех злодеяний.

Боже, не оставь соучастника,
прости соучастнику,
неразумному, неумелому разбойнику,
отведи от него болезнь,
верни здоровье,
дай ему всяческое благополучие
и все человеческие радости.

Вложи ему в руки Евангелие,
может быть, он еще одумается,
может быть, к Тебе еще вернется
слугой смиренным.
Ибо в небе больше обрадуются
обращению грешного Кальтенбруннера,
чем шести миллионам сожженных евреев
и двадцати миллионам расстрелянных христиан,
которые были праведники...

Лагерная прогулка

Я по лагерю [1] гуляю,
я гляжу и размышляю,
я хожу с тяжелой думой:
«Сталин, Черчилль, Черчилль, Трумэн».

Вот, гляжу, лежат девицы,
жрут салат, грызут редиску,
ясный день, сияют дали,
я ж гадаю: «Трумэн, Сталин?»

Вижу бункер, то есть карцер,
вижу флаг американский,
наш надсмотрщик ходит хмурый,
я гадаю: «Сталин, Трумэн?»

Я хожу, лелея в мысли
Скарышевскую, Повисльe,
я хожу, брожу, решаю...
«Эх, вернуться бы в Варшаву».

Я хожу с тяжелой думой,
на закат гляжу понуро,
на восток —ну , что ж, коммуна...
Сталин, Черчилль, Черчилль, Трумэн?

* * *

Так пахнет здесь липовым цветом
и розы пылают ало.
Как сон — этот Мюнхен летом,
сквозь сон ты зовешь меня, мама...

Река голубая струится,
и в шелесте лип медоносных
мне издали ветер тенистый
твой голос зовущий доносит.

И тучки, жемчужные тучки,
гонимые ветром по небу,
похожи на поезд идущий,
в котором к тебе я поеду.

И вот уже тучи домчались,
ты выйдешь встречать меня, мама,
и, словно мы не разлучались,
обычными встретишь словами.

[1] Здесь имеется в виду американский лагерь для перемещенных лиц во Фреймане.

Ты встретишь меня — и прямо
домой мы пойдем с тобою,
я буду хвастаться, мама,
что был молодцом и героем,

вот-вот подойдем уже к дому,
и скажешь ты с легкой улыбкой:
«Вернулся, ну, слава Богу,
Бог слышал мои молитвы».

Письмо варшавянке в Лондон

Далекой незнакомой далекий незнакомый...
Давно ль в кафе богемных, в подполье коловратном,
а уж всё глубже тонем в глухой тоске по дому,
блуждаем, будто тени Великих Эмигрантов.

Еще порой мы вспыхнем влюбленностью былою,
еще мы руку тянем к перу и к револьверу,
а уж над нашей жизнью и счастьем и волей
волной взметнулась горечь, выше всякой меры.

Еще в нас те пейзажи, привычные для глаза:
березы и распятья, песчаная дорога...
Треск выстрелов мы слышим и слова приказа,
и горький запах гари города родного.

Еще морозным мраком тело наше дышит
и лагерною грязью и смрадным бараком,
а в нас уж вырастает, вздымаясь все выше,
выше, чем жизнь и счастье и воля и разум,—

любовь, любовь без края Кто ж из нас забудет,
бродя в чужих столицах, богатых и пышных,
руины (вновь живут в них бездомные люди),
кто ж тихий-тихий шепот издали не слышит?..

Каждый булыжник улиц, каждый дом аллеи,
свет фонарей вечерних, тень подворотни каждой
будят глухую память, надежду в нас лелея,
что мы... «Ведь там, в Варшаве, у нас точь-в-точь так же...»

И дерево любое, любой каштан в ограде,
любой мотивчик песни, мелодии модной
напомнят ночь тогдашних подпольных типографий,
ночь у наборной кассы и радио Лондон...

Дождь осенний, дождь польский, льет, по лицам льется,
и резкий ветер треплет ясень безлистный,
идут к востоку тучи, зовет нас издалёка
Отчизна. Как мы можем отречься от Отчизны?

Еще звучат нам струны гектографа ручного,
крики Аллеи Шуха, мертвый мрак тюремный,
а нам уже лишь мыслью, лишь памятью снова
возвращаться. Но лучше — если память дремлет.

Еще в глазах та осень, руины и пожары,
в дыму, в дыму проклятом город наш, дом наш,
и тот прощальный голос радио Варшавы,
и — ну, конечно,— плач твой. Помнишь ли, помнишь?

А нам уж на чужбине, под чужой луною,
где чужие руины, как сгустки крови, ржавы,

видеть и видеть в грезах пепелище родное
и так идти через Мюнхен, как будто через Варшаву.

И я напрасно, напрасно пытаюсь перечить зову,
тоску заглушить пытаюсь, но сердце ее не поборет.
Как будто небо сквозь тучи, дно ручья сквозь воду,
сквозь город чужой просвечивает мой единственный город...

И в час, когда месяц в небе обливается кровью,
а ночь — как там, в Варшаве, сине-золотая,
песнь, что полна тоскою, жалобой и любовью,
я шлю туда, в наш город, как журавлиную стаю.

Земля расстрелянных

Что ты такое? Рвы и ямы
видений и тревожных снов?
За дальней далью, за морями —
вернись! — зовет твой грозный зов.

Что ты? Руина или пустошь,
навязчивейшая из муз!
Зачем мне душу вечно сушишь,
внушая пепла затхлый вкус?

Что ты? Борюсь с тобой упрямо,
душу́ твой крик, твой зов и все ж
иду, куда ко рвам и ямам,
земля расстрелянных, зовешь.

Погибшие поэты

Вы сожжены, вы расстреляны, вы безмолвны,
мои товарищи юности, я пишу вам.
Текут и текут над вами земные волны,
шумят — зеленым шумом.

В темных земных пучинах полузамерзших
пусто, недвижно, немо в загробном мире —
где же такая боль, чтобы губы мертвых
заговорили?

Ночь, над стволами, из вас растущими, высясь,
вихрем шумит, будто все же еще зачем-то
ваши уста, на которых земля да известь,
слов ищут тщетно ——

Поздно уже, слишком поздно связанным крепко
руки заламывать в бурях неугомонных.
Тщетно живых вы зовете в выкриках ветра,
в горестных стонах.

Тщетно, все уже тщетно. Вихрь клубится заблудший,
зовет травяная глубь, лугов замогильных зелья,
дальше иду, под землю, глубже и глубже,
к вам в подземелья.

Поздно уже, слишком поздно. И я умолкну,
мину, кану в забвенье. В мертвых зеницах
деревья колышутся, с иволгами, а волны
ослепших земных потоков будут струиться —

И мы, приникнув к папоротниковым корневищам,
к корням берез, в гущине малины дичайшей,
плывем, умолкнув, куда? и чего мы ищем?
дальше, дальше ———

Лабиринт

Мир — лабиринт перепутанных линий,
линий, плетущих чудовищный узел,
в легкой, в изысканной их паутине
я задыхаюсь, хриплю, обезумел.

Небо пружинистой ветвью чернейшей
пе́тлю на горле сжимает тугую.
Так я вишу и танцую, как гейша,
и — к удивленью толпы — торжествую.

Перевод ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО

У нас в Аушвице...

Рассказ

I

...Итак, я уже на медицинских курсах. Выбрали нас десятка полтора из всего Биркенау и будут учить чуть ли не на докторов. Нам предстоит узнать, сколько у человека костей, как происходит кровообращение, что такое брюшина, как бороться со стафилококками да как со стрептококками, как производить стерильно операцию слепой кишки и для чего делают пневмоторакс.

Миссия у нас весьма благородная: мы будем лечить наших товарищей, которых, «по воле злого рока», мучает болезнь, апатия или отвращение к жизни. Мы должны — именно мы, полтора десятка из двадцати тысяч мужчин в Биркенау, — уменьшить смертность в лагере и поднять дух узников. Так говорил нам при отъезде лагерный врач, он еще спросил у каждого о его возрасте и профессии и, когда я ответил: «Студент!»— удивленно поднял брови:

— Что же вы изучали?

— Историю литературы,— скромно ответил я.

Он с неудовольствием покачал головой, сел в машину и укатил.

Потом мы шли по очень красивой дороге в Освенцим, видели уйму всяческих пейзажей, потом кто-то где-то устраивал нас, в каком-то больничном блоке в качестве санитаров-гостей, но я этим не слишком интересовался, я сразу пошел со Сташеком (помнишь, он мне дал коричневые брюки?) по лагерю — искать кого-нибудь, кто бы передал тебе это письмо, а Сташек — к кухне и к складу, раздобыть на ужин белого хлеба, маргарина и хоть немного колбасы, а то ведь нас тут пятеро.

Я, конечно, никого не нашел, я же миллионщик, а тут сплошь старые номера, и они смотрят на меня свысока. Однако Сташек обещал с помощью своих связей переслать письмо, только, мол, чтоб было недлинное, «это же, наверно, такая скучища, писать девушке каждый день».

Вот когда я выучу, сколько у человека костей и что такое брюшина, я, может быть, смогу тебе помочь от твоей пиодермии, а соседке твоей по нарам — от лихорадки. Боюсь только, что даже когда я буду знать, как лечить ulcus duodeni[1], мне не удастся стащить для тебя эту дурацкую противочесоточную мазь Вилькинсона, потому что сейчас ее нет во всем Биркенау. Больных чесоткой у нас поливали мятным настоем, произнося при этом некие весьма эффективные заклинания, которые, к сожалению, нельзя повторить.

Что ж до сокращения смертности, в моем блоке лежал один лагерный «аристократ», было ему худо, сильный жар, он все чаще говорил о смерти. Однажды подозвал меня. Я присел на край кровати.

— А ведь в лагере меня знали, правда? — спросил он, тревожно глядя мне в глаза.

— Ну конечно, как можно было тебя не знать... и не запомнить,— вполне простодушно ответил я.

— Смотри,— сказал он, указывая рукой на красное от зарева окно. Сжигали там, за лесом.

— Знаешь, я хотел бы, чтобы меня положили отдельно. Чтобы не вместе. Не в кучу. Понял?

— Не бойся,— сердечно сказал я.— Я даже дам тебе простыню. И с уборщиками трупов тоже поговорю.

Он молча пожал мне руку. Но все это было зря. Он выздоровел и прислал мне из лагеря пачку маргарина. Я им сапоги мажу, он, знаешь, рыбой отдает. Но пожалуй, хватит об этом, слишком уж лагерные темы.

Почти месяц как нет писем из дому...

II

Чудесные дни — без поверок, без выходов на работу. Весь лагерь стоит на апельплаце, а мы, высунувшись в окно, глядим — зрители из другого мира. Люди нам улыбаются, и мы им улыбаемся, нас называют «Товарищи из Биркенау», отчасти сочувствуя, что наша судьба такая незавидная, и отчасти стыдясь, что им так повезло. Пейзаж из окна вполне невинный, крематория не видно. Люди влюблены в Освенцим, говорят с гордостью: «У нас в Аушвице»...

И в общем-то, хвалиться есть чем. Попробуй представить себе, что такое Освенцим. Возьми Павяк, этот мерзкий сарай, прибавь Сербию[2], помножь на двадцать-восемь и поставь их так близко друг к другу, чтобы между Павяками было совсем немного места, обведи все вокруг двойным рядом колючей проволоки, а с трех сторон — бетонной стеной, замости проходы, посади хилые деревца — и между всем этим размести тысяч пятнадцать человек, которые несколько лет провели в лагерях, терпели невообразимые муки, пережили самые худшие времена, а теперь у них брюки с ровной, как стрела, складкой, и ходят они вразвалку,— сделай все это и ты поймешь, почему они так презирают и жалеют нас, выходцев из Биркенау, где есть только дощатые бараки-конюшни, где нет тротуаров, а вместо бани с горячей водой — четыре крематория.

Из лазарета, в котором очень белые, как-то не по-городскому белые стены, цементный тюремный пол и много-много трехэтажных нар, прекрасно видна дорога на воле — то человек пройдет по ней, то машина проедет, то телега с решетками по бокам, то велосипедист, возможно, рабочий, возвращающийся после работы. Дальше, но уже очень-очень далеко (ты не представляешь себе, какие просторы умещаются в таком вот небольшом окне, я хотел бы после войны, если ее переживу, жить в высоком доме с окнами на поле), видны какие-то

---

[1] Язву двенадцатиперстной кишки *(лат.)*.

[2] Сербия — женское отделение тюрьмы Павяк в Варшаве.

дома, а за ними синий лес. Земля черная, наверно влажная. Как в сонете Стаффа — помнишь «Весеннюю прогулку»?

Есть, однако, в нашем лазарете и кое-какие более уютные вещи, например, кафельная печь из цветных майоликовых изразцов, таких, какие у нас на складе лежали. В этой печке есть хитроумно встроенная решетка для жарения — вроде бы ничего не видно, а хоть поросенка жарь. На нарах «канадские» одеяла, пушистые, как кошачий мех. Простыни белые, хорошо выглаженные. Есть стол, который иногда накрывают скатертью — для праздничных трапез.

Окно выходит на обсаженную березами дорогу — Биркенвег. Жаль, что теперь зима, и ветки плакучих берез без листьев висят как растрепанные метлы, а вместо газонов под ними липкая грязь — наверно, такая, как в «том» мире за дорогой, только здесь нам приходится ее месить ногами.

По березовой дороге мы гуляем вечерами после поверки, чинно, степенно приветствуя кивками знакомых. На одном из перекрестков стоит указатель с барельефом, а на барельефе изображены двое сидящих на скамейке, один что-то шепчет другому на ухо, к ним наклонился третий и, насторожив ухо, подслушивает. Предупреждение: каждый твой разговор подслушивается, обсуждается, доносится куда надо. Здесь о каждом известно все: когда ты был доходягой, что и у кого раздобыл, кого задушил и на кого настучал, и каждый ехидно усмехается, когда кого-то похвалишь.

Итак, представь себе Павяк, во много раз увеличенный, окруженный двойным рядом колючей проволоки. Не так, как в Биркенау, где и вышки вроде аистов, стоят на высоких тонких шестах, и лампы горят через три столба, и проволока одножильная, но зато участков — пальцев не хватит сосчитать!

Нет, здесь не так: лампы горят через каждые два столба и вышки на массивных каменных основаниях, проволока двойная да еще стена вокруг.

И гуляем мы по Биркенвегу в наших штатских костюмах, прямо из прожарки — единственная пятерка не в полосатых робах.

Гуляем мы по Биркенвегу выбритые, свежие, беспечные. Народ бродит кучками, толпится перед десятым блоком, где за решетками и за наглухо забитыми окнами сидят девушки — подопытные кролики, но самая большая толпа собирается перед канцелярским блоком, и не потому, что там есть зал для оркестра, библиотека и музей, но просто потому, что на втором этаже там — «пуфф». Что такое пуфф, напишу в другой раз, а пока пусть тебя разбирает любопытство...

Знаешь, так странно писать тебе, ведь я уж очень давно не видел твоего лица, твой образ расплывается в моей памяти, и даже большим усилием воли мне не удается его вызвать. И в снах есть что-то жуткое, ты снишься мне так явственно, так рельефно. Ведь сон — это, знаешь, не столько картина, сколько переживание, при котором ощущаешь пространство, тяжесть предметов и тепло твоего тела...

Мне трудно вообразить тебя на лагерных нарах, с остриженными после тифа волосами... Помню тебя по Павяку: высокая, стройная девушка с легкой усмешкой и печальными глазами. В Аллее Шуха ты сидела, опустив голову, и я видел только твои черные волосы, теперь остриженные.

И вот это самое заветное, что осталось во мне оттуда, из того мира: твой образ, хотя мне так трудно тебя вспомнить. И потому-то я пишу тебе такие длинные письма — это мои с тобой вечерние беседы, как тогда на Скарышевской. И потому в письмах моих нет тревоги. Я сохранил в душе большой запас спокойствия и знаю, что ты тоже его не утратила. Несмотря ни на что. Несмотря на склоненную перед гестапо голову, несмотря на тиф, несмотря на воспаление легких и — на коротко остриженные волосы.

А эти люди... Они, видишь ли, прошли страшную школу лагеря, того первоначального лагеря, о котором ходят легенды. Они весили тридцать кило, их били, из их рядов отбирали в газовые камеры — понимаешь, почему теперь у них такие смешные пиджаки в обтяжку, особенная качающаяся походка, и почему они на каждом шагу хвалят Освенцим?

В общем, так вот... Гуляем мы по Биркенвегу, этакие франты в штатском. Но что поделаешь — миллионщики! А здесь — сто три тысячи, сто девятнадцать тысяч, прямо с ума сойдешь, почему нам не достались более ранние номера! Подошел к нам некто в полоску, двадцать семь тысяч, такой старый номер, голова кружится. Молодой парень с мутным взглядом онаниста и походкой зверя, чующего опасность.

— Вы откуда, друзья?

— Из Биркенау, приятель.

— Из Биркенау? — Он недоверчиво посмотрел на нас.— И так хорошо выглядите? Но ведь там ужасно... Как вы там могли выдержать?

Витек, мой долговязый друг и отличный музыкант, одергивая манжеты, ответил:

— Фортепиано у нас там, к сожалению, нету, но выдержать можно.

Старый номер посмотрел на нас будто сквозь туман:

— А мы-то боимся Биркенау...

III

Начало курсов все откладывается, потому что ждем санитаров из соседних лагерей: из Янины, из Явожна, из Буны. Должны также прибыть санитары из Гливиц и из Мысловиц, лагерей более дальних, но еще относящихся к Освенциму. Тем временем мы выслушали несколько возвышенных речей чернявого начальника курсов, невысокого, худенького Адольфа, который недавно приехал из Дахау и весь пропитан духом товарищества. Он будет улучшать состояние здоровья лагерников, просвещая санитаров, и снижать смертность, обучая, что такое нервная система. Адольф — исключительно симпатичный парень и не из того мира, однако, будучи немцем, он не понимает соотношения предметов и представлений и цепляется за значение слов, как если бы они были реальностью. Он говорит «Kameraden» и думает, что мы действительно товарищи; он говорит «уменьшать страдания» и думает, что это возможно. На воротах лагеря сплетенные из железных прутьев буквы: «Труд дает свободу». Пожалуй, они и впрямь в это верят, эти эсэсовцы и заключенные немцы. Те, которые воспитывались на Лютере, Фихте, Гегеле, Ницше. В общем, курсов пока нет, и я брожу по лагерю, совершаю краеведческие и психоведческие экскурсии. Точнее, бродим мы втроем: Сташек, Витек и я. Сташек обычно крутится возле кухни и склада, высматривая тех, кому он когда-то что-то дал и кто теперь должен дать ему. И вот вечером начинается хождение. Являются какие-то типы с гнусными физиономиями, любезно улыбаются, морща бритые щеки, и вытаскивают из-под узеньких пиджаков кто пачку маргарина, кто белый больничный хлеб, этот колбасу, тот сигареты. Они бросают все это на нижние нары и исчезают, как привидения. Мы делим добычу, разбираем из пачек сигареты и готовим себе еду в печке с цветными майоликовыми изразцами.

Витека не оторвешь от рояля. Стоит эта черная бандура в музыкальном зале того блока, где находится и пуфф, но в «арбайтсцайт»[1] играть не разрешается, а после поверки там играют музыканты, которые, кроме того, дают каждое воскресенье симфонические концерты. Обязательно схожу послушаю.

[1] Arbeitszeit — рабочее время *(нем.)*.

Против музыкального зала мы обнаружили двери с надписью: «Библиотека», но люди сведущие утверждают, что там всего несколько детективных романов и выдают их лишь «райхсдойчам». Проверить не мог, потому что двери всегда заперты.

Рядом с библиотекой в этом блоке культуры есть политический отдел, а возле него — зал музея. Там находятся фотографии, изъятые из писем, и, кажется, больше ничего. А жаль, могли бы ведь там поместить ту недожарившуюся человеческую печень, за надкус которой моему приятелю, греку, всыпали двадцать пять ударов по заду.

Но самое главное находится на втором этаже. Это пуфф. Пуфф — это окна, полуоткрытые даже зимой. В окнах после поверки появляются женские головки всевозможных мастей, а из голубых, розовых и салатовых (я очень люблю этот цвет) халатиков выглядывают белые, как морская пена, плечики. Головок, я слышал, пятнадцать, значит плечиков — тридцать, если не считать старой Мадам с могучим, эпическим, легендарным бюстом, которая сторожит эти головки, шейки, плечики и т. д. Мадам в окно не выглядывает, зато исполняет службу цербера у входа в пуфф.

Вокруг пуффа стоят толпой лагерные аристократы. Если Джульетт десяток, то Ромео (и отнюдь не завалящих) тысяча. Поэтому к каждой Джульетте толчея и конкуренция. Наши Ромео стоят в окнах бараков, находящихся напротив, кричат, сигнализируют руками, манят. Среди них старший в лагере и главный капо, и больничные врачи, и капо из команд. У многих Джульетт есть постоянные обожатели, и наряду с уверениями в вечной любви, в счастливой совместной жизни после лагеря, наряду с упреками и шутливой перебранкой слышны речи о вещах более конкретных — о мыле, духах, шелковых трусиках и сигаретах.

Среди соперников царит дух товарищества — нечестных приемов не применяют. Женщины в окнах очень нежны и соблазнительны, но недоступны, как золотые рыбки в аквариуме.

Так выглядит пуфф снаружи. Внутрь можно проникнуть только через канцелярию, по талону, который является наградой за хорошую, усердную работу. Правда, мы в качестве гостей из Биркенау и здесь пользуемся привилегией, однако мы отказались, у нас ведь красные треугольники[1], пусть уж уголовники пользуются тем, что им положено. Поэтому — извини, но сведения будут не из первых рук, хотя они исходят от таких почтенных свидетелей и таких старых номеров, как санитар (впрочем, уже только почетный) М. из нашего блока, у которого номер почти в три раза меньше, чем две последние цифры моего номера. Представляешь — член-учредитель! Поэтому он ходит вразвалку, как утка, и носит широкие брюки клеш, скрепленные спереди английскими булавками. Вечерами он возвращается возбужденный и веселый. Он, понимаешь, наладился ходить в канцелярию и, когда зачитывают номера «допущенных», ждет, нет ли отсутствующего; тогда он кричит «hier»[2], хватает пропуск и бежит к Мадам. Сует ей в лапу пару пачек сигарет, она проделывает ему ряд гигиенических процедур, и, весь промытый, санитар наш мчится во весь опор наверх. Там по коридору прохаживаются стоявшие у окон Джульетты в небрежно запахнутых на голом теле халатиках. Какая-нибудь из них, проходя мимо санитара, лениво спрашивает:

— Какой у вас номер?

— Восьмой,— отвечает санитар, для верности посмотрев на талончик.

— А, это не ко мне, это к Ирме, вот к той блондиночке,— разочарованно скажет девушка и шаркающей походкой отойдет к окну.

[1] Нашитые на лагерную одежду цветные треугольники обозначали категорию узника, в частности красные — «политических».

[2] Здесь *(нем.)*.

Тогда санитар входит в дверь с восьмеркой. На дверях он еще прочитает, что таких-то и таких-то развратных манипуляций производить не разрешается, за это карцер, а разрешается лишь то-то и то-то (подробный перечень) и лишь на столько-то минут, со вздохом посмотрит на глазок, в который иногда заглядывают товарки, иногда Мадам, иногда командофюрер пуффа, а иногда даже сам комендант лагеря, кладет на стол пачку сигарет и... да, еще он замечает, что на тумбочке лежат две пачки английских. Потом, наконец, совершается то самое, после чего санитар выходит, по рассеянности сунув в карман те две пачки английских сигарет. Тут он опять подвергается дезинфекции и, веселый и счастливый, все это рассказывает нам.

Впрочем, дезинфекция порой подводит, из-за чего в пуффе некогда пошла зараза. Пуфф закрыли, проверили по номерам, кто был, вызвали их по списку к начальству и подвергли лечению. Поскольку же торговля пропусками ведется широко, лечили не тех, кого надо. Ха-ха, такова жизнь. Женщины из пуффа также совершали экскурсии в лагерь. Ночью в мужских костюмах они спускались по лестнице и участвовали в пьянках и оргиях. Но это не понравилось часовому из ближайшей будки, и все прекратилось.

Женщины есть и в другом месте: блок десятый, экспериментальный. Там производят искусственное оплодотворение (так говорят), прививают тиф, малярию, делают хирургические операции. Я мельком видел того, кто занимается этой работой: в зеленом охотничьем костюме, в тирольской шляпе, утыканной спортивными значками, лицо добродушного сатира. Говорят, профессор университета.

Женщины защищены решетками и заборами, но сплошь да рядом мужчины прорываются и туда и оплодотворяют их отнюдь не искусственно. Старый профессор, наверно, бесится.

Ты пойми, люди, которые этим занимаются, не извращенцы какие-нибудь. Весь лагерь, как люди поедят и выспятся, говорит о женщинах, весь лагерь мечтает о женщинах, весь лагерь рвется к ним. Старший надзиратель лагеря угодил в карательный транспорт за то, что систематически пробирался в пуфф через окно. Девятнадцатилетний эсэсовец застукал в амбулатории дирижера, толстого почтенного господина, а также нескольких врачей в не вызывающих сомнения позах с партнершами, пришедшими рвать зубы, и не мешкая отвесил оказавшейся у него в руке тростью надлежащую порцию ударов по надлежащему месту. Подобное событие — не позор: просто им не повезло.

В лагере нарастает психоз влечения к женщине. Поэтому к женщинам из пуффа относятся как к нормальным женщинам, которым говорят о любви и о семейной жизни. Женщин таких десять, а мужчин в лагере больше десяти тысяч.

Поэтому они так стремятся в ФКЛ[1] в Биркенау. Эти люди — больные. И подумай: Освенцим ведь не единственный. Есть сотни «больших» концентрационных лагерей, есть «офлаги» и «шталаги», есть...

Знаешь, о чем я думаю, когда пишу тебе все это?

Сейчас поздний вечер, я сижу, отгороженный шкафом от большой палаты со множеством тяжело дышащих во сне больных, сижу в маленьком закутке у черного окна, в котором отражаются мое лицо, салатовый абажур лампы и белый лист бумаги на столе. Франц, молоденький паренек из Вены, договорился со мною в первый же вечер, и я сижу теперь за его столом, при свете его лампы и пишу тебе на его бумаге. Но я не буду писать о том, о чем мы говорили сегодня,— о немецкой литературе, о вине, о философии романтизма, о проблемах материализма.

Знаешь, о чем я думаю, когда пишу тебе все это?

Я думаю о Скарышевской улице. Смотрю в темное окно, вижу

[1] ФКЛ (FKL — Frauenkonzlager) — женское отделение концлагеря.

в стекле отражение своего лица, а за стеклом — ночь и внезапные вспышки прожекторов на сторожевых вышках, выхватывающие из темноты куски лагеря. Смотрю и думаю о Скарышевской улице. Вспоминаю бледное, усеянное искрами небо, развалины сгоревшего дома напротив и переплет оконной рамы, рассекающей эту картину, как витраж.

Я думаю о том, как мучительно тосковал по твоему телу в те дни, и порой слегка улыбаюсь, когда мелькает мысль о том, как они, наверно, бесились, когда после нашего ареста нашли у нас наряду с моими книгами и стихами твои духи и халат, красный, как парча на картинах Веласкеса, тяжелый, длинный халат (мне он ужасно нравился, в нем ты выглядела роскошно, хотя я никогда тебе об этом не говорил).

Я думаю о том, сколько в тебе было зрелости, сколько доброты и — прости, что я это тебе пишу теперь,— сколько самоотверженности ты вложила в наши отношения, как охотно входила в мою жизнь: крошечная комнатенка без воды, вечера с холодным чаем, несколько полуувядших цветков, собака, которая все грызла, и керосиновая лампа у моих родителей.

Я думаю об этом и снисходительно усмехаюсь, когда мне толкуют о морали, о законах, о традициях, о долге... Или когда отвергают всякую нежность и сентиментальность и, показывая кулак, говорят о жестоком веке. Усмехаюсь и думаю, что человек снова и снова находит человека — через любовь. И что это — самое главное и самое неизменное в человеческой жизни.

Я думаю об этом и вспоминаю камеру в Павяке. В первую неделю я не мог себе вообразить дня без книги, без вечернего светлого круга под лампой, без листа бумаги, без тебя...

И смотри, что значит привычка: я ходил по камере и в ритме шагов сочинял стихи. Одно стихотворение я записал в Библии товарища по тюремной камере, но из других — то были песни в горацианском духе — я помню лишь отдельные строфы, например, вот эту из стихотворения к друзьям на воле:

Друзья дорогие мои на свободе! Тюремною песней
Я с вами прощаюсь, чтоб знали: отчаянью я не поддался.
Я знаю, что после меня и любовь и стихи не исчезнут
И что покуда вы живы, я жить буду в памяти вашей.

IV

Сегодня воскресенье. До полудня гуляли, глазели сверху на экспериментальный женский блок (они просовывают головы в решетку, точно как кролики моего отца, ты помнишь, серые с одним обвислым ухом?), потом внимательно осматривали блок ЗК [1] (там во дворе пресловутая черная стена, у которой прежде расстреливали, теперь убивают тише и скромнее — в крематории). Видели городских: две испуганные женщины в мехах и мужчина со смятым, невыспавшимся лицом. Вел их эсэсовец — только не пугайся! — в камеру временного заключения, которая как раз находится в блоке зондеркоманды. Женщины с ужасом смотрели на людей в полосатых робах и на внушительные лагерные сооружения: двухэтажные здания, двойная колючая проволока, за проволокой стена, массивные сторожевые вышки. А если б они еще знали, что стена — так говорят — уходит на два метра вглубь, чтобы нельзя было сделать подкоп! Мы им улыбались, это же просто комедия — посидят неделю-другую и выйдут. Разве что им докажут-таки, что они занимались спекуляцией. Тогда отправятся в крематорий. Смешные эти городские. Реагируют на лагерь, как дикари на огнестрельное оружие. Они не понимают механизма нашей жизни, им чудится во всем этом что-то невероятное, мистическое, превосходящее силы человеческие. Помнишь, как ты, ког-

[1] ЗК (SK — Sonderkommando) — крематорная команда.

да тебя арестовали, сидела в оцепенении,— ты мне об этом писала. Я читал у Марии «Степного волка» [1] (она тоже была в чтении переборчива), но не слишком себе представляю, как себя чувствуешь при аресте.

Теперь же, когда мы запанибрата с невероятным и мистическим, когда крематорий — наша повседневность и кругом тысячи флегмонозных и чахоточных, испытав, что такое дождь, и ветер, и солнце, и хлеб, и суп из брюквы, и труд ради спасения, и рабство, и власть, живя, так сказать, наравне со скотом,— я смотрю на них, на городских этих, чуточку снисходительно, как ученый на невежду, как посвященный на профана.

Очисть повседневные события от их повседневности, отбрось ужас, и отвращение, и презрение и найди для всего этого философскую формулу. Для газа и для золота, для поверки и для пуффа, для новичка и для старого номера.

Если бы я сказал тебе тогда, когда мы танцевали вдвоем в маленькой комнатке при оранжевом свете: послушай, вот тебе миллион человек, или два, или три миллиона, убей их так, чтобы никто об этом не знал, даже они сами, посади в тюрьму несколько сотен тысяч, сломи их солидарность, натрави человека на человека, ты, конечно, сочла бы меня сумасшедшим и, пожалуй, нам пришлось бы прервать танец. Но я бы, наверно, так не сказал, даже если бы знал лагерь,— я не стал бы портить настроение.

А тут — во-первых, один деревенский, с белеными стенами сарай, и в нем душат людей. Потом четыре строения побольше — двадцати тысяч как не бывало. Без волшебства, без ядов, без гипноза. Несколько человек направляют движение, чтобы не было толчеи, и люди текут, как вода из крана. Происходит это среди хилых деревьев задымленного лесочка. Обыкновенные грузовики подвозят людей, возвращаются и опять подвозят — как на конвейере. Без волшебства, без ядов, без гипноза.

И как же это получается, что никто не крикнет, не плюнет в лицо, не вцепится в грудь? Почему мы снимаем шапку перед эсэсовцами, которые возвращаются из того лесочка, а когда назовут нас в списке, идем с ними на смерть и — молчок? Голодаем, мокнем под дождем, у нас отбирают близких. Видишь ли, это мистика. Странное колдовство, которым человек сковывает человека. Какая-то дикая пассивность, которую ничем не пронять. И единственное оружие — наша численность, газовые камеры всех не вмещают.

Или еще так: рукоятью лопаты по горлу, и вот тебе по сто человек ежедневно. Или суп из крапивы и хлеб с маргарином, а потом молодой рослый эсэсовец с измятым листком бумаги, номер, вытатуированный на твоей руке, потом грузовик, один из тех...

...а знаешь, когда в последний раз отбирали «арийцев» в «газ»? Четвертого апреля. А помнишь, когда мы прибыли в лагерь? Двадцать девятого апреля. А что было бы с твоим воспалением легких, если бы мы приехали сюда на три месяца раньше?

...знаю, что ты лежишь на общих нарах с подругами, которых, наверно, очень удивляют мои письма: «Ты говорила, этот Тадеуш веселый, а смотри, пишет он все только о печальных вещах». И наверно, они мною очень возмущаются. Но ведь мы же имеем право говорить и о том, что происходит вокруг нас. Мы же не выискиваем зло попусту и безответственно, мы просто утопаем в нем...

...а теперь вот опять поздний вечер после дня, полного удивительных происшествий.

После обеда я пошел на боксерский матч в большой барак «ваш-раума»[2], туда, откуда раньше отправлялись партии в «газ». Нас

---

[1] Роман Германа Гессе (1877—1962), изданный в 1927 году.

[2] Waschraum — умывальня, баня *(нем.)*. В старом Освенциме помещение это служило для других целей, например для спортивных состязаний.

пропустили в самую середину, хотя зал был набит до отказа. Ринг был устроен в просторном предбаннике. Верхний свет, судья (NB, польский олимпийский судья), боксеры с мировой славой, но только арийцы, евреям выступать не разрешается. И те же люди, которые изо дня в день выбивают зубы десятками, люди, у которых у самих нередко увидишь беззубую челюсть,— восторгались Чортеком, Вальтером из Гамбурга и каким-то пареньком, который, тренируясь в лагере, достиг, говорят, высокого класса. Тут еще жива память о номере 77, который когда-то избивал немцев в боксе за милую душу, беря на ринге реванш за то, что другим доставалось на работе. Зал был весь в сигаретном дыму, боксеры лупили друг друга вволю. Но делали это непрофессионально, хотя и весьма энергично.

— Вот тебе и Вальтер,— говорит Сташек,— только посмотрите! В рабочей команде, если захочет, так одним ударом доходягу уложит! А тут, глядишь, три раунда и — ничего! Еще ему самому морду набили. Наверно, зрителей слишком много, правда?

Зрители тоже благодушествовали, а уж мы-то в первом ряду — понятное дело, гости.

Сразу после бокса я отправился «в свет», на концерт. Вы там, в вашем Биркенау, понятия не имеете, какие тут происходят чудеса культуры, в нескольких километрах от печей. Вообрази, играют увертюру к «Танкреду» и что-то Берлиоза, и еще какие-то финские танцы композитора, у которого в фамилии сплошные «а». Куда Варшаве до такого оркестра! Но расскажу тебе все по порядку, а ты слушай, это стоит того. Так вот, вышел я после бокса в приподнятом настроении и сразу направился в блок, где пуфф. Внизу, под пуффом, музыкальный зал. Там были теснота и шум, у стен стояли слушатели; музыканты, рассевшись по всему залу, настраивали инструменты. Против окна — возвышение, на него взошел кухонный капо (он же дирижер), и тут «картофельники» и «повозочники» (забыл тебе написать, что оркестр в рабочее время чистит картошку и возит тачки) начал играть. Я едва успел втиснуться между вторым кларнетом и фаготом. Примостился на незанятом стуле первого кларнета и весь обратился в слух. Ты даже вообразить не можешь, как мощно звучит симфонический оркестр из тридцати человек в большой комнате! Дирижер взмахивал палочкой осторожно, чтоб не удариться рукой об стену, и выразительно грозил тем, кто фальшивили. Вот уж задаст им на картошке! Сидевшие по углам комнаты (с одной стороны бубен, с другой контрабас) наяривали изо всех сил. Всех заглушал фагот — может, потому, что я сидел с ним рядом. А уж контрабас! Пятнадцать слушателей (больше не поместилось) упивались музыкой со знанием дела и награждали оркестр скупыми аплодисментами... Кто-то назвал наш лагерь «Betrugslager» — «лагерь обманов». Чахлая живая изгородь у белого домика, дворик вроде деревенского, таблички с надписью «баня» — этого достаточно, чтобы одурачить миллионы людей, обмануть их, даже ведя на смерть. Какой-нибудь бокс, да газончики возле блоков, да две марки в месяц для самых прилежных узников, горчица в ларьке, еженедельная проверка на вшей и увертюра к «Танкреду» — этого достаточно, чтобы обмануть мир и — нас. Те, на воле, думают, что это ужасно, но все же не так уж страшно, если есть и оркестр, и бокс, и газоны, и одеяла на койках... Обман даже в той пайке хлеба, к которой надо что-то добавлять, чтобы выжить.

Обман — наша работа, во время которой нельзя разговаривать, сидеть, отдыхать. Обман — каждая неполная лопата земли, которую мы выбрасываем из рва.

Внимательно приглядывайся ко всему этому и не трать сил, если тебе плохо.

Ведь возможно, что об этом лагере, об этом времени обманов, мы еще должны будем дать отчет живым и встать на защиту погибших.

Когда-то мы ходили в лагерь командами. В такт шагающим шеренгам играл оркестр. Подошли люди из ДАВ[1] и десятки других команд и остановились у ворот: десять тысяч мужчин. И тогда подъехали из ФКЛ грузовики с голыми женщинами. Женщины протягивали руки и кричали:

— Спасите! Нас везут в «газ»! Спасите нас!

И они проехали мимо нас, мимо стоявших в глубоком молчании десяти тысяч мужчин. Ни один человек не пошевельнулся, ни одна рука не поднялась.

Потому что живые всегда правы перед мертвыми.

V

Сперва мы были на курсах. В общем-то мы посещаем курсы уже давно, только я тебе об этом ничего не писал, потому что они на чердаке и там очень холодно. Мы отлично развлекаемся, между прочим, большими муляжами частей человеческого тела. Кто полюбопытней, разглядывает их, а мы с Витеком перебрасываемся губкой и фехтуем линейками, чем приводим в отчаяние чернявого Адольфа. Он размахивает руками над нашей головой и разглагольствует о чувстве товарищества и о лагере. Тогда мы тихо усаживаемся в угол, Витек достает фотографию жены и вполголоса спрашивает:

— Интересно, много он поубивал там, в Дахау? Наверно, да. Иначе не задавался бы так... Ты бы его придушил?

— Угу... Да, красивая женщина. Ты ее любишь?

— Гуляли мы однажды в Прушкове[2]. Кругом, знаешь, зелень, укромные тропинки, на горизонте лес. Идем, прижавшись друг к другу, и тут выскакивает на нас эсэсовская собака...

— Ну, ну, не заливай. Это ж в Прушкове было, не в Освенциме.

— Нет, правда, эсэсовская собака, там рядом вилла, захваченная эсэсовцами. И зверюга эта кинулась на мою Ирку! Что бы ты сделал? Я пульнул из револьвера по зверю, хватаю жену за руку: «Ирка, говорю, бежим!» А она стоит как вкопанная и на пушку уставилась. «Откуда это у тебя?» Еле уволок ее, а на вилле уже голоса слышались. Эх, и припустили мы через поле, точно пара зайцев. Долго мне пришлось объяснять Ирке, что при моей профессии эта железная штука необходима.

Тем временем кто-то из очередных докторов толкует о пищеводе и о всякой всячине, что есть внутри у человека, а Витек как ни в чем не бывало продолжает трепаться:

— Поссорился я как-то с приятелем. Решил — или он, или я. Впрочем, он тоже так решил, я ж его хорошо знал. Ходил я за ним и только поглядывал, нет ли за мною хвоста. Застукал его вечерком на Хмельной и пырнул, только не попал куда надо. Прихожу на другой день, у него рука перевязана, сам на меня исподлобья смотрит. Говорит: «Я упал».

— А ты что? — спрашиваю я с интересом, история явно недавняя.

— Да ничего, потому что меня сразу посадили.

Был ли этот приятель тому причиной или же нет, сказать трудно, однако Витек не из тех, кто поддается судьбе. В Павяке он был то ли надзирателем, то ли банщиком — в общем, пипель[3] у Кроншмидта, который вместе с одним украинцем в каждое дежурство мучил евреев. Знаешь подвалы Павяка? Их железные полы? Так вот, евреи, голые, с распаренной после бани кожей, должны были ползать по ним туда и обратно, туда и обратно. А ты видала когда-нибудь подошвы

---

[1] ДАВ (DAW — Deutsche Abrüstungs Werke) — Германские предприятия по демонтажу, занимавшиеся в основном разборкой сбитых над Германией самолетов.

[2] Прушков — город недалеко от Варшавы.

[3] Pipel *(нем.)* — подросток, обслуживающий капо и старост («подкапник»).

солдатских сапог? Сколько там гвоздей? Кроншмидт становился в таких сапогах на голое тело и ездил на ползающем человеке. Для арийцев была поблажка, я, правда, тоже ползал, но в другой секции и на меня никто не влезал. И заставляли меня ползать не из принципа, а когда плохо отрапортую. Для нас зато была гимнастика: один час в два дня. Бегать вокруг двора, потом падать и выжиматься на руках, хорошее упражнение, его в школе делают.

Мой рекорд: 76 раз подряд и боль в руках до следующего раза. Но самое лучшее упражнение из мне известных — это коллективное «Налет, прячься!». Шеренга по двое, в затылок один другому, несет на плечах лестницу, поддерживая ее одной рукой. При команде «Налет, прячься!» все падают наземь, не выпуская из рук лестницу. Кто отпустит руку, погибает под ударами дубинки или затравленный собаками. Потом по ступенькам лежащей на людях лестницы начинает ходить эсэсовец — туда и обратно, туда и обратно. Потом надо встать и, не смешивая рядов, опять падать.

Видишь ли, тут все неправдоподобно: без конца кувыркаться, как в Заксенхаузене, часами катиться по земле, делать сотни приседаний, дни и ночи стоять на одном месте, месяцами сидеть в бетонном гробу, в карцере, висеть привязанным за руки на столбе или на жерди, положенной на два стула, скакать по-лягушачьи или ползти ужом, ведрами, до удушья, пить воду, быть битым тысячами всевозможных кнутов и палок тысячами различных людей — я, знаешь, с жадностью слушаю истории из никому не известных провинциальных тюрем в Малкине, Сувалках, Радоме, Пулавах, Люблине, о чудовищно усовершенствованной технике мученья человека и не могу поверить, что она выскочила из головы человеческой внезапно, как Минерва из головы Юпитера. Я не могу понять этой внезапно вспыхнувшей страсти убивать, этого взрыва, казалось бы, изжитого атавизма.

И еще вот что: смерть. Мне рассказывали о таком лагере, куда каждый день приходили эшелоны с новыми узниками, по нескольку десятков человек каждый. Но в лагере было установлено постоянное количество порций — не помню сколько, может, две, может, три тысячи,— и комендант не желал, чтобы узники голодали. Каждый узник должен был получать свой паек. Так что в лагере каждый день было несколько десятков лишних людей. Каждый вечер в каждом блоке бросали жребий на картах или на хлебных катышках, и вытянувшие смерть на следующий день не шли на работу. В полдень их выводили за ограду и расстреливали.

И среди этого разгула атавизма стоит человек из другого мира, человек, который занимается конспирацией для того, чтобы не было тайных афер, который крадет, чтобы на земле не было грабежей, человек, который убивает, чтобы не было больше убийств.

И вот Витек был из того, другого мира, и он же был пипелем у Кроншмидта, злейшего палача в Павяке. А теперь он сидит рядом со мной и слушает, что есть у человека внутри и как быть, если это, там внутри, испортится, как это налаживать подручными средствами. Потом на курсах случился скандал. Доктор обратился к Сташеку, который так здорово умеет что хочешь раздобыть, и приказал повторить про печень. Сташек повторил. Доктор сказал:

— Вы отвечаете очень глупо и, кстати, могли бы встать.

— Я сижу в лагере, значит, могу и на курсах сидеть,— ответил, побагровев, Сташек.— И, кстати, прошу меня не оскорблять.

— Молчать, вы на курсах.

— Ну ясно, вам хочется, чтобы я молчал, а то я мог бы слишком много нарассказать, что вы здесь творили в лагере.

Тут мы давай стучать стульями и орать: «Верно! Верно!» — и доктор выбежал за дверь. Пришел Адольф, стал нам долдонить про чувство товарищества, а потом мы пошли в блок, как раз на половине системы пищеварения. Сташек сразу помчался к своим друзьям, что-

бы доктор не смог ему подставить ножку. И наверно, не подставит, потому что у Сташека есть надежная рука. Только это и выучили мы из лагерной анатомии: у кого есть надежная рука, тому трудно подставить ножку. А с доктором тем и вправду всякое бывало, он на больных хирургии учился. Сколько их искромсал ради науки, а сколько по невежеству — сосчитать трудно. Но наверно, немало, потому что больница всегда забита, да и морг полнехонек.

Читая это, ты подумаешь, что я уже совершенно отдалился от того, домашнего мира. Все пишу тебе только о лагере, о наших мелких происшествиях, вылущиваю из этих происшествий их смысл, словно ничто иное нас уже не ждет...

Помнишь нашу комнатку? Литровый термос, который ты мне купила? Он не влезал в карман и в конце концов — к твоему возмущению — отправился под кровать. А ту историю с облавой на Жолибоже, во время которой ты целый день передавала мне репортажи по телефону? О том, что вытаскивали из трамваев, но ты, мол, вышла на остановку раньше; что был оцеплен квартал, но ты убежала в поле у самой Вислы? И то, как ты, когда я сетовал на войну, на варварство, на то, что мы вырастаем поколением неучей, мне говорила:

— Подумай о тех, кто в лагерях! Мы только тратим время впустую, а они мучаются.

В том, что я говорил, было много наивности, незрелости и жажды комфорта. Но думаю, что мы все же не тратили время попусту. Вопреки ужасам войны мы жили в другом мире. Возможно, ради того мира, который настанет. Если это слишком смело сказано — извини. А то, что теперь мы здесь,— это, пожалуй, тоже ради того мира. Ведь если бы не надежда, что тот, другой, мир настанет, что вновь восстановятся права человека, неужели ты думаешь, что мы прожили бы в лагере хоть один день? Именно она, надежда, велит людям апатично идти в газовую камеру, велит не сопротивляться, не пытаться бунтовать, погружает в оцепенение. Именно надежда рвет узы семьи, велит матерям отрекаться от детей, женам — продавать себя за хлеб и мужьям — убивать людей. Именно надежда велит им бороться за каждый день жизни, потому что, может быть, как раз этот день принесет освобождение. Ах, и это даже не надежда на другой, на лучший мир, а просто на жизнь, в которой будет покой и отдых. Никогда еще в истории человечества надежда не была так сильна в человеке, но никогда она не причиняла и столько зла, как в этой войне, как в этом лагере. Нас не научили отказываться от надежды, и потому мы гибнем от газа.

Смотри, в каком оригинальном мире мы живем: как мало сыщется в Европе людей, которые бы не убили человека! И как мало людей, которых другие люди не жаждут убить!

А мы-то мечтаем о мире, где есть любовь, есть близкий тебе человек, где можно уединиться от людей и отдохнуть от инстинктов. Таков, видимо, закон любви и молодости.

P.S. Но прежде я, знаешь, охотно прирезал бы кое-кого, просто для разрядки, чтобы избавиться от лагерного комплекса, комплекса снимания шапки, бездеятельного созерцания избитых и истерзанных, комплекса страха перед лагерем. Боюсь, однако, что этот комплекс никогда нас не оставит. Не знаю, выживем ли мы, но хотел бы, чтобы мы когда-нибудь сумели называть вещи их настоящими именами, как делают смелые люди.

VI

Вот уже несколько дней у нас после обеда есть постоянное развлечение: из блока für Deutsche[1] выходит колонна и, маршируя, с пением «Morgen nach Heimat»[2], делает несколько кругов по лагерю.

[1] Для немцев *(нем.)*.
[2] «Завтра на родину» *(нем.)*.

Дирижирует старший надзиратель лагеря, отмечая тростью Schritt und Tritt [1].

Это уголовники, или солдаты «добровольцы». Повытаскивали все зеленые треугольники, и тех, у кого преступление полегче, пошлют на фронт. Какому-нибудь типу, который зарезал жену и тещу, а канарейку выпустил на свежий воздух, чтобы птичка не мучилась в клетке, тому повезло, он останется. Но пока они все вместе.

Учат их маршировать и ждут, проявят ли они понимание жизни в коллективе или же нет. А они проявляют коллективизм как могут. Находятся здесь всего немного дней, а уже успели разорить склад, наворовали посылок, разбили буфет и разгромили пуфф (в связи с чем его опять, ко всеобщему сожалению, закрыли). Мол, зачем, очень мудро говорят они, нам идти драться и рисковать своей головой ради эсэсовцев и кто нам будет там сапоги чистить, когда нам и здесь хорошо? Фатерланд себе фатерландом, он и без нас пропадет, а кто нам на фронте сапоги будет чистить и есть ли там хорошенькие мальчики?

И вот шагает такая орава по дороге и поет «Завтра на родину». Все славные драчуны, один знаменитей другого: Зеппель, ужас «дахдекеров»[2], тот, который безжалостно заставляет работать в дождь, в снег и в мороз и сбрасывает с крыши за плохо забитый гвоздь; Арно Бем, номер 8, многолетний блокфюрер, капо и лагеркапо, тот, который убивал дневальных, если они продавали чай, и давал по двадцать пять ударов за каждую минуту опоздания и каждое слово, сказанное после вечернего отбоя; тот самый, который писал старикам родителям во Франкфурт короткие, но трогательные письма о разлуке и возвращении. Мы их всех узнаем: вот тот избивал в ДАВе, тот — ужас Буны, этот — хлюпик, но когда заболел, делал набеги за табаком в комнату старшего в бараке, пока не был избит до полусмерти и изгнан в лагерь, где получил в свои воровские лапы какую-то несчастную команду. Идут в шеренге отпетые педерасты, алкоголики, наркоманы, садисты — а в самом хвосте шагает щегольски одетый Курт, он озирается вокруг, сбивается с ноги и не поет. В конце-то концов, подумал я, это он отыскал мне тебя и носил нам письма, и я мигом сбежал вниз, схватил его за шиворот и говорю: «Курт, ты, наверно, голоден, давай, доброволец-уголовник, приходи к нам наверх»,— и я показал ему наше окно. Как-то под вечер он явился к нам — как раз к обеду, сготовленному в печке с майоликовыми изразцами. Курт очень мил (звучит это странно, но другого определения не найду) и умеет хорошо рассказывать. Когда-то он хотел стать музыкантом, но отец, богатый лавочник, выгнал его из дому. Курт поехал в Берлин, познакомился там с девушкой, дочкой другого лавочника, жил с ней, писал в спортивные газеты, угодил на месяц в каталажку за драку со «штальхельмом»[3], а потом так и не появился у девушки. Раздобыл спортивный автомобиль и занялся контрабандой, спекулировал валютой. Однажды на прогулке встретил свою девушку, но не посмел к ней подойти. Потом ездил в Австрию и Югославию, пока его не схватили и не посадили. И поскольку он рецидивист (из-за того несчастного месяца!), его после тюрьмы упекли в лагерь, жди, мол, конца войны.

Наступает вечер, лагерная поверка кончилась. Мы сидим за столом и рассказываем истории. Рассказывают всюду: по дороге на работу, возвращаясь в лагерь, с лопатой и у вагонетки, вечером на нарах, стоя на поверке. Мы рассказываем романы и рассказываем жизнь. И то и другое из запроволочного мира. Нынче нас потянуло на лагерь, возможно, оттого, что Курт скоро из него выйдет.

[1] Каждый шаг *(нем.)*.
[2] Кровельщиков *(нем.)*.
[3] Stahlhelm *(нем.)* — «стальной шлем» — прозвище немецких жандармов.

— Собственно о лагере никто ничего подробно не знал. Болтали какую-то чепуху о бессмысленной работе, вроде того, что там без конца взламывают асфальт и снова им заливают или разгребают песок. Ну и конечно, о том, что это ужасно. Всякие слухи ходили. Но богом клянусь, не больно-то я этим интересовался. И так известно — попадешь, уже не выйдешь.

— Вот если бы ты, Тадек, приехал года два назад, тебя бы, наверно, уже ветром из трубы развеяло,— скептически заметил Сташек, мастер раздобывать что угодно.

Я досадливо пожал плечами.

— А может, и нет. Тебя не развеяло, так, может, и меня бы не развеяло. А знаете, в Павяке был один из Аушвица.

— Наверно, на суд приехал.

— Вот именно. Мы его спрашивали, а он молчит. Будто воды в рот набрал. Одно говорил: «Приезжайте, увидите. А сейчас — что вам говорить. Вы как дети».

— Ты боялся лагеря?

— Боялся. Выехали мы из Павяка рано утром. В машинах на вокзал. Дело плохо: солнце в спину. Значит, на Западный. Аушвиц. Погрузили нас в темпе в вагоны и — поехали! Распределили по алфавиту, в вагоне по шестьдесят душ, даже не было тесно.

— Шмотки взял?

— Ясно, взял. Плед и куртку, подарки моей невесты, да две простыни.

— Эх, ты, растяпа, надо было товарищам оставить. Ты что, не знал, что все отберут?

— Жалко было. Потом мы повыдергали все гвозди из одной стенки, вырвали доски и — деру! Только на крыше стоял пулемет, первых троих сразу уложили. Последний высунул голову из вагона и схлопотал пулю в затылок. Поезд сразу остановили — мы все в угол! Шум, крики, чистое пекло! Нечего было удирать! Трусы! Поубивают нас! И проклятья, да еще какие!

— Ну уж не хуже, чем в бабском лагере.

— Не хуже. Но все равно крепкие. А я сидел на полу, в самом низу, на мне куча народу. Думаю: вот хорошо, как будут стрелять, не меня первого убьют. И так и произошло. Дали очередь по всей куче, двоих убили, а третьего ранили в бок. И los raus [1], без вещей! Ну, думаю, теперь капут! Нет, только отколотили! Немного жаль было куртки, в ней Библия лежала, и она, знаете, тоже моей невесты.

— Да и плед, кажется, был от невесты?

— Да. Тоже было его жалко. Но я ничего не взял, меня сбросили со ступенек. Вы и представить не можете, какой мир огромный, когда вылетаешь из закрытого вагона! Небо такое высокое...

— ...голубое...

— Вот именно, голубое, деревья так пахнут, лес — рукой подать! Кругом эсэсовцы с автоматами. Четверых отвели в сторону, а нас загнали в другой вагон. Теперь нас ехало сто двадцать, из них трое убитых и один раненый. Чуть не задохнулись в вагоне. Было так душно, что с потолка буквально вода лилась. Ни одного окошка, ничего, все забито досками. Мы кричали «воздуха», «воды», но когда там начали стрелять, все сразу успокоились. Потом повалились на пол, так и лежали как зарезанные поросята. Я снял с себя свитер, две сорочки. Все тело было облито потом. Из носу медленно текла кровь. В ушах шумело. Хотелось поскорей в Освенцим, ведь это означало на свежий воздух. Когда открыли дверь на перрон, с первым глотком воздуха ко мне полностью вернулись силы. Ночь была апрельская, звездная, холодная. Холода я не чувствовал, хотя натянул на себя совершенно мокрую сорочку. Кто-то сзади обнял меня и поцеловал. «Брат, брат»,—

[1] Давай выходи! *(нем.)*.

шептал он. В черноте скрывавшего землю мрака светились ряды лагерных огней. Над ними рвалось ввысь тревожное рыжее пламя. Вокруг него тьма была еще гуще. Казалось, оно пылает где-то высоко в небе. «Крематорий»,— пронесся шепот по рядам.

— Красиво говоришь, видно, что поэт,— одобрительно сказал Витек.

— Мы шли в лагерь, несли трупы. Я слышал позади тяжелое дыхание людей и представлял себе, что за мной идет моя невеста. То и дело глухие удары. У самых ворот мне ткнули штыком в бедро. Больно не было, только сразу стало очень жарко. Кровь потекла по бедру и голени. Через несколько шагов мышцы одеревенели и я стал хромать. Конвоир-эсэсовец ударил еще нескольких впереди меня и, когда мы уходили в решетчатые ворота лагеря, сказал:

— Тут вам будет хороший отдых.

Было это в четверг ночью. А в понедельник я уже пошел на работу, за семь километров от лагеря. В Буды, телеграфные столбы носить. Нога болела — сил нет. Но отдых тут дают, ничего не скажешь!

— Ерунда все это,— сказал Витек,— евреям-то в поезде еще хуже приходится. Нечего тебе хвалиться.

Мнения разделились — и о том, кому хуже, и о евреях вообще.

— Евреи, они, знаете, какие, эти евреи! — вырвался вперед Сташек.— Увидите, они здесь, в своем же лагере, еще гешефт сделают! Они и в крематории, и в гетто — родную мать продадут за миску брюквы! Стоим мы как-то утром в рабочей команде, возле нас крематорная команда, парни, что быки, жизнью довольны, еще бы нет! Рядом со мною мой друг Мойше, тот самый, кочегар. Он из Млавы, и я из Млавы, сами понимаете, земляки, значит, друзья и компаньоны, надежность и доверие. «Что с тобой, Мойше? Чего ты такой скучный?»— «Да вот, получил фотографию своей семьи». «Чего ж ты огорчаешься, это же хорошо».— «Чтоб тебе подавиться таким «хорошо», я отца в печь отправил!» — «Не может быть!» — «Вот и может, отправил. Приехал он в эшелоне, увидел меня возле камеры, я туда людей загонял, он кинулся мне на шею, давай целовать и спрашивать, что тут будет, говорит, голодный, два дня ехали не евши. А тут начальник команды кричит, чтобы не задерживаться, работать надо! Что было делать! «Иди, говорю, отец, помойся в бане, а потом поговорим, видишь, теперь некогда». И отец пошел в камеру. А фотографию я потом вынул из его одежды. Вот и скажи, что тут хорошего, что я заимел фотографию?

Мы рассмеялись. В общем-то неплохо, что арийцев теперь не посылают в «газ». Что угодно, только не это.

— Раньше-то посылали,— сказал «здешний» санитар, который всегда к нам подсаживается.— Я в этом блоке уже давно, многое помню. Сколько через мои руки прошло народу в «газ», товарищей и знакомых из моего города! Уже и лиц не вспомнишь. Что говорить — масса! Но один случай, пожалуй, всю жизнь буду помнить. Был я тогда санитаром в амбулатории. Перевязки делаешь без особых стараний, известно, на всякие церемонии времени нет. Поковыряешь ему руку или спину или еще где — лигнин, повязка и пошел вон! Следующий! Даже на лицо не взглянешь. И никто не благодарит, потому не за что. Но однажды сделал я перевязку какой-то флегмоны и слышу, он уже в дверях говорит: «Спасибо, пан санитар!» Бледный такой паренек, худенький, еле держится на опухших ногах. Я потом пошел его навестить, суп принес. У него была флегмона на правой ягодице, потом на всем бедре, гною уйма. Мучился ужасно. Все плакал, говорил о матери. «Тише, ты,— говорю ему,— у нас же тоже есть матери, а мы не плачем». Утешал его как мог, а он все горевал, что домой не вернется. Что я мог ему дать? Миску супа, а иногда кусок хлеба. Укрывал я Толечку как мог. от селекций, но однажды его обнаружили, записали. Я сразу к нему пошел. У него был жар. Говорит: «Не беда, что меня в «газ». Видно, так надо. Но когда кончится война и ты переживешь ее...» «Не знаю, То-

лечка, переживу ли»,— перебил я его. «Переживешь,— настойчиво сказал он,— и поедешь к моей матери. После войны, наверно, не будет границ, не будет государств, не будет лагерей, люди не будут убивать друг друга. Ведь это есть наш последний бой,— сказал он со значением.— Последний, понимаешь?» «Понимаю»,— ответил я. «Поедешь к моей матери и скажешь ей, что я погиб. Ради того, чтобы не было границ. Чтобы не было войны. Не было лагерей. Скажешь?» — «Скажу»,— «Запомни: моя мать живет в Дальневосточном крае, город Хабаровск, улица Льва Толстого, двадцать пять, повтори». Я повторил. Пошел к старшему блока Шарому, он мог еще вычеркнуть Толечку из списка. А он дал мне по морде и вышвырнул из своей комнаты. Отправили Толечку в «газ». Шарый через несколько месяцев попал в эшелон. На прощанье попросил сигарет. Я подговорил народ, чтобы никто ему не давал. Не дали. Может, я плохо поступил, он же ехал на погибель в Маутхаузен. А адрес Толечкиной матери я хорошо запомнил: Дальневосточный край, город Хабаровск, улица Льва Толстого...

Мы молчали. Курт, обеспокоившись, спросил, в чем дело, он же и так из нашего разговора ничего не понимал. Витек ему изложил в двух словах:

— Говорим о лагере и о том, будет ли мир лучше. Ты бы тоже мог что-нибудь рассказать.

Курт, усмехаясь, посмотрел на нас и сказал медленно, чтобы все мы поняли:

— Расскажу очень короткую историю. Когда я был в Маутхаузене, там поймали двух беглецов, как раз в сочельник. Поставили на плацу виселицу, рядом с большой елью. Когда их вешали, собрали на апельплац весь лагерь. И зажгли огни на елке. Потом вышел вперед комендант лагеря, повернулся к заключенным и скомандовал: «Häftlinge, Mützen ab!»[1]

Мы сняли шапки. Комендант вместо традиционной новогодней речи сказал: «Кто ведет себя как свинья, с тем будут обращаться как со свиньей. Häftlinge, Mützen auf!»[2].

Мы надели шапки.

«Разойдись».

Мы разошлись.

Молча мы закурили сигареты. Каждый думал о своем.

VII

Если бы вдруг рухнули стены бараков, тогда тысячи избитых, сгрудившихся на нарах людей, повисли бы в воздухе. Зрелище было бы поужасней средневековых картин Страшного суда. Нет ничего более потрясающего, чем вид другого человека, спящего на своем кусочке нар, на том месте, которое он вынужден занимать, ибо у него есть тело. А уж тело-то использовали на все лады: вытатуировали на нем номер, чтобы сэкономить кандалы, дали столько часов сна ночью, чтобы человек мог работать, и столько времени днем, чтобы мог поесть. А еды ровно столько, чтобы не издох, пока может трудиться. Место для жительства лишь одно: кусочек нар, все остальное принадлежит лагерю, государству. Но этот кусочек места, и рубаха, и лопата — не твои. Заболеешь — все отберут: одежду, шапку, недозволенное кашне, носовой платок. Умрешь — вырвут у тебя золотые зубы, заранее записанные в лагерной книге. Сожгут, пеплом посыплют поля или будут осушать пруды. Правда, при сжигании переводят столько жира, столько костей, столько мяса, столько тепла! Но в других местах делают из людей мыло, из человеческой кожи — абажуры, из костей — украше-

[1] Заключенные, снять шапки! *(нем.)*

[2] Заключенные, надеть шапки! *(нем.)*

ния. Кто знает, может все это на экспорт для негров, которых они когда-нибудь завоюют?

Мы работаем под землей и на земле, под крышей и на дожде, у вагонеток, с лопатой, киркой и ломом. Мы таскаем мешки с цементом, кладем кирпич, укладываем рельсы, огораживаем участки, утаптываем землю... Мы закладываем основы какой-то чудовищной цивилизации. Лишь теперь я понял, чего стоят создания древности. Какое чудовищное преступление все эти египетские пирамиды, храмы, греческие статуи! Сколько крови оросило римские дороги, пограничные валы и городские здания! Этот древний мир был гигантским концентрационным лагерем, где рабу выжигали на лбу тавро владельца и распинали на кресте за побег! Этот древний мир был великим заговором свободных людей против рабов!

Помнишь, как я любил Платона? Теперь я знаю, что он лгал. Ибо в земных вещах вовсе не отражается идеал, в них заложен тяжкий, кровавый труд человека. Это мы строили пирамиды, ломали мрамор для храмов и камень для имперских дорог, это мы гребли на галерах и волочили соху, а они писали диалоги и драмы, оправдывали свои интриги благом отечества, воевали за границы и за демократию. Мы были грязны и умирали всерьез. У них был эстетический вид, и они спорили для вида.

Я говорю «нет» красоте, если в ней таится издевательство над человеком. «Нет» — истине, которая об этом издевательстве умалчивает. «Нет» — добру, которое его дозволяет.

Что же знает древний мир о нас? Знает хитрого раба у Теренция и Плавта, знает народных трибунов Гракхов и имя лишь одного раба — Спартака.

Они творили историю, и будь то преступник Сципион, адвокат Цицерон или Демосфен, их-то мы прекрасно помним. Мы восхищаемся избиением этрусков, разрушением Карфагена, изменами, коварством и грабежом. Римское право! И теперь тоже существует право!

Что будет мир знать о нас, если немцы победят? Возникнут гигантские сооружения, автострады, фабрики, грандиозные монументы. Под каждым кирпичом будет лежать наша ладонь, на наших плечах будут перенесены железнодорожные шпалы и бетонные плиты. Уничтожат наши семьи, уничтожат больных, стариков. Уничтожат детей.

И о нас никто не будет знать. О нас умолчат поэты, адвокаты, философы, священники: Они создадут красоту, добро и истину. Создадут религию.

Три года тому назад здесь были деревни и хутора. Были поля, проселочные дороги, на межах росли груши. Были люди — не лучше и не хуже других людей.

Потом пришли мы. Мы прогнали людей, разрушили дома, разровняли землю, превратили ее в сплошную грязь. Поставили бараки, ограды, крематории. Мы принесли с собой чесотку, флегмону и вшей.

Мы работаем на фабриках и в шахтах. Мы совершаем огромную работу, из которой кто-то извлекает неслыханную прибыль.

Поразительна история здешней фирмы «Ленц». Фирма эта построила нам лагерь, бараки, цеха, склады, карцеры, печи. Лагерь ссужал ей заключенных, а СС поставляло материалы. При подведении итогов выявились настолько фантастические, миллионные прибыли, что за голову схватился не только Аушвиц, но сам Берлин. Господа, сказали там, это невозможно, вы слишком много заработали, столько-то и столько-то миллионов! Однако, возразила фирма, извольте, вот счета. Пусть так, сказал Берлин, но мы не можем этого допустить. Тогда пополам, предложила патриотическая фирма. Тридцать процентов, еще поторговался Берлин, на том и сошлись. С тех пор все прибыли фирмы «Ленц» соответственно срезаются. Впрочем, «Ленц» не огорчается: как все немецкие фирмы, она умножает основной капитал. На Освенциме она нажила громадные прибыли и спокойно ждет конца войны. Точно

так же «Вагнер» и водопроводная фирма «Континенталь», фирма «Рихтер» по артезианским скважинам. «Сименс» — освещение и электрическое оборудование, поставщики кирпича, цемента, железа и леса, производители барачных секций и полосатой одежды. Равно как крупнейшая автомобильная фирма «Унион» и заведения ДАВ, занимающиеся сортировкой металлолома. Равно как владельцы шахт в Мысловицах, Гливицах, Янине, Явожне. Тот из нас, кто выживет, должен когда-нибудь потребовать эквивалент этого труда. Не деньги, не товары, но тяжкий, беспощадный труд.

Когда больные и отработавшие свое засыпают, я на расстоянии разговариваю с тобой. Вижу в темноте твое лицо и, хотя в моих словах чуждые тебе горечь и ненависть, я знаю, что ты внимательно слушаешь.

У нас с тобой общая судьба. Только твои руки не созданы для кирки и тело не привыкло к чесотке. Нас соединяет наша любовь и безграничная любовь тех, кто остался на воле. Тех, что живут для нас и составляют наш мир. Лица родных, друзей, образы оставленных вещей. И это самое дорогое, чем мы можем делиться: впечатления. И хотя бы нам оставили лишь тело на лазаретной койке, при нас еще останутся наша мысль и наши чувства.

И я считаю, что достоинство человека поистине заключено в его мысли и в его чувствах.

VIII

Ты не представляешь, как я счастлив.

Прежде всего — долговязый электрик. Каждое утро я хожу к нему с Куртом (это его знакомый), и мы отдаем ему письма к тебе. Электрик этот — фантастически старый номер, тысяча с чем-то — нагружается колбасами, мешочками с сахаром, женским бельем и засовывает куда-то в сапог пачку писем. Сам-то электрик лысый, и у него нет сочувствия к нашей любви. Электрик кривится при виде каждого письма, которое мы приносим. Когда я хочу сунуть электрику сигареты, электрик говорит:

— Приятель, у нас в Аушвице за письма не берут! А ответ принесу, если удастся.

Итак, вечером опять к нему. Совершается обратная процедура: электрик лезет в сапог, достает письмо от тебя, подает мне и досадливо кривится. Потому что у электрика нет сочувствия к нашей любви. И наверняка ему не улыбается карцер, эта клетка метр на полтора. Потому как электрик очень длинный, и в карцере ему было бы неудобно.

Итак, прежде всего — долговязый электрик. А во-вторых, брак испанца. Он защищал Мадрид, бежал во Францию, и его привезли в Освенцим. Испанец как испанец: была у него какая-то француженка, а от нее ребенок. С годами ребенок порядочно подрос, а испанец все еще в лагере, и француженка давай вопить, хочет обвенчаться! Докладывают самому Г.! Г. возмущен: такое безобразие в новой Европе! Немедленно обвенчать!

Привезли француженку с ребенком в лагерь, с испанца в спешном порядке сняли полосатую робу, подогнали на нем элегантный костюм, выутюженный самим капо из прачечной, тщательно подобрали из богатых лагерных запасов галстук к носкам и обвенчали.

Потом новобрачные пошли фотографироваться: она с сыночком и с букетом гиацинтов в руке, он держит ее под руку. За ними оркестр in corpore [1], а за оркестром взбесившийся эсэсовец с кухни.

— Я про вас доложу, что вы играете в рабочее время, вместо того, чтобы картошку чистить! У меня суп варится без картошки! Послал я все ваши свадьбы к...

---

[1] В полном составе *(лат.)*.

— Тише...— стали его успокаивать другие важные особы.— Таков приказ Берлина. А суп может быть и без картошки.

Тем временем молодоженов сфотографировали и предоставили им для брачной ночи апартаменты пуффа, который изгнали в десятый блок. Назавтра француженку отправили обратно во Францию, а испанца в полосатой робе — на работы.

Зато весь лагерь ходит задравши нос.

— У нас в Аушвице даже венчают.

Итак, прежде всего — долговязый электрик. Во-вторых, бракосочетание испанца. А в-третьих, мы кончаем курсы. Недавно их закончили санитарки из ФКЛ. На прощанье им устроили камерный концерт. Мы все уселись под окном десятого блока, а в окнах нашего для них играли несколько музыкантов из оркестра: бубен, саксофон и скрипки. Чудесней всего саксофон: он плачет и рыдает, смеется и ликует!

Жаль, что Словацкий не знал его, не то, наверно, стал бы саксофонистом из-за богатой выразительности этого инструмента.

Сперва женщины, а теперь мы. Собрались на своем чердаке, пришел лагерный врач Роде (тот самый, «порядочный», который не делает разницы между евреями и арийцами), пришел, поглядел на нас и наши перевязки, сказал, что он очень доволен и что теперь у нас в Аушвице наверняка станет лучше. И быстро ушел, потому что на чердаке холодно.

Сегодня у нас в Аушвице целый день прощаются с нами. Франц, что из Вены, прочитал мне доклад о смысле войны. Слегка запинаясь, он говорил о людях, которые трудятся, и о людях, которые уничтожают. О победе первых и о поражении вторых. О том, что за нас воюет товарищ, наш сверстник, из Лондона и Уральска, из Чикаго и Калькутты, с континента и с острова. О грядущем братстве людей созидающих. «Вот так,— думал я,— среди уничтожения и смерти зарождается мессианизм, обычный путь мысли человеческой». Потом Франц достал посылку, которую только получил из Вены, и мы пили вечерний чай. Франц пел австрийские песни, а я читал стихи, которых он не понимал.

У нас в Аушвице мне дали с собой немного лекарств и несколько книг. Я впихнул их в пакет с едой. Только вообрази — мысли Ангелуса Силезиуса [1]. Вот я и счастлив, тут все сошлось: долговязый электрик, бракосочетание испанца, окончание курсов. А в-четвертых — вчера я получил письма из дому. Долго они меня искали, а все ж нашли.

Почти два месяца я не имел весточки из дому и ужасно тревожился — здесь, знаешь, ходят фантастические слухи о делах в Варшаве, и я уже начал было писать отчаянные письма, и как раз вчера — только подумай! — два письма: одно от Сташека и одно от брата.

Сташек пишет очень простыми фразами, как человек, которому надо передать что-то идущее от сердца, но на чужом языке. «Мы тебя любим и помним о тебе,— пишет он,— и помним также о Тусе, твоей невесте. Живем, трудимся и творим». Они живут, трудятся и творят, только Анджей погиб да Вацек «ушел из жизни».

И как ужасно, что эти двое, самые одаренные из нашего поколения, самые талантливые, что именно они должны были погибнуть!

Ты знаешь, как резко я восставал против них: против их имперской идеи построения ненавистного государства, их нечестности в социальном мышлении, их теории народного искусства, их философии, мутной, как сам их наставник Бжозовский [2], их поэтической практики, пытающейся прошибить лбом твердыню «Авангарда» [3], их стиля жизни, пронизанного сознательной или бессознательной фальшью.

[1] Ангелус Силезиус (настоящее имя — Иоганнес Шефлер, 1624—1677) — немецкий поэт-мистик, автор философских изречений в стихах «Херувимский странник».

[2] Леопольд Станислав Бжозовский (1876 — 1911) — философ, литературный критик и романист.

[3] В польской литературе группа поэтов 30-х годов — Я. Пшибось, Т. Пейпер, А. Важик.

И теперь, когда нас разделяет порог меж двух миров, порог, который вскоре и мы с тобой переступим, я снова завожу спор о смысле существования мира, о стиле жизни и облике поэзии. И теперь я тоже упрекаю их в том, что они поддались соблазнительным теориям могучего, захватнического государства, упрекаю в любовании злом, изъян которого в том, что это не наше зло. И теперь я упрекаю их в безыдейности их поэзии, в отсутствии в ней человека, отсутствии в ней поэта.

Но я вижу их лица через порог, вижу из другого мира, думаю о них, о людях моего поколения, и чувствую, что пустота вокруг нас становится все заметней. Они ушли, еще такие невероятно живые, ушли, доведя лишь до середины сооружаемое ими творение. Ушли, хотя неразрывно принадлежали тому миру. Я прощаюсь с ними, друзьями по другую сторону баррикад. Пусть в мире ином они найдут истину и любовь, которых здесь не встретили!

...Эва, та девушка, которая так красиво читала стихи о гармонии и звездах, и о том, что «еще не так плохо», тоже расстреляна. Пустота, пустота все более ощутимая. Уходят и дальние и близкие, и уже не о смысле борьбы, но о жизни любимых людей пусть молятся те, кто умеет молиться.

Я-то думал, что на нас это кончится. Что когда мы вернемся, то вернемся в мир, который не изведал этой ужасной, гнетущей нас атмосферы. Что только мы опустились на дно. Но вот люди уходят и оттуда — в самом разгаре жизни, борьбы, любви.

Мы бесчувственны, словно деревья, словно камни. И молчим, словно деревья, когда их рубят, словно камни, когда их дробят.

Второе письмо — от брата. Ты же знаешь, какие сердечные письма пишет мне Юлек. И теперь пишет, что они думают о нас, что ждут, что хранят все книги и стихи...

Когда я вернусь, то увижу на моих книжных полках новый мой томик. «Это стихи о твоей любви»,— пишет брат. Думаю, есть что-то символическое в том, что наша любовь и поэзия переплетаются и что стихи, которые были написаны только для тебя и с которыми тебя арестовали, это одержанная заранее верная победа. Их издали — быть может, как воспоминание о нас? Я благодарен человеческой дружбе — за то, что она сохраняет после нас поэзию и любовь и признает наше право на них.

И еще брат пишет мне о твоей матери — она думает о нас и верит, что мы вернемся и будем всегда вместе, потому что таково право человека.

...Помнишь, что ты писала в первом полученном от тебя письме через несколько дней после прибытия в лагерь? Ты писала, что больна и что ты в отчаянии от того, что «засадила» меня в лагерь. Что если бы не ты, я бы... и т. д. А знаешь ли ты, как было на самом деле?

Было то, что я ждал твоего звонка от Марии, как мы договорились. После полудня у меня собрались на тайные курсы — как обычно по средам,— я, кажется, говорил что-то о своей работе по языку, и тут, кажется, погасла карбидная лампа.

Потом я опять ждал твоего звонка. Я знал, что ты должна позвонить, раз обещала. Ты не звонила. Не помню, ходил ли я обедать. Если ходил, то, возвратясь, опять сидел у телефона, боялся, что из соседней комнаты не услышу. Читал какие-то вырезки из газет и новеллу Моруа о чудаке, который взвешивал человеческие души для того, чтобы, научившись упрятывать их в неразрушающийся сосуд, спрятать свою душу и душу любимой женщины. Но спрятал он только души двух случайных встреченных цирковых клоунов, а его душа и душа женщины развеялись по вселенной. К рассвету я заснул.

Утром пошел домой, как обычно с портфелем, с книгами. Позавтракал, сказал, что приду обедать и что очень спешу, покрутил ухо собаке и пошел к твоей матушке. Она сильно тревожилась о тебе. Я поехал на трамвае к Марии. Долго смотрел на деревья Лазенок, они

мне очень нравятся. Чтобы рассеяться, пошел пешком по Пулавской. На лестнице валялось необычно много окурков и, если память не подводит, были следы крови. Но возможно, это самовнушение. Я подошел к двери и позвонил условным звонком. Открыли мужчины с револьверами в руках.

С тех пор миновал год. Но пишу я об этом, чтобы ты знала — я никогда не жалел, что мы здесь вместе. И никогда не думаю о том, что могло бы быть по-другому. Хотя о будущем думаю часто. О том, как будем мы жить, если... О стихах, которые напишу, о книгах, которые мы будем читать, о вещах, которые у нас будут. Знаю, это глупо, но я о них думаю. У меня даже есть идея насчет нашего экслибриса. Это будет рука, лежащая на закрытой толстой книге с большими средневековыми металлическими застежками.

IX

Мы уже возвратились. Я, как прежде, пошел в свой барак, помазался чесоточным мятным настоем, а сегодня утром мы все вместе вымыли пол. Потом я стоял с умным видом возле доктора, когда он делал пункцию. Потом взял две последние ампулы пронтозила, посылаю их тебе. Наконец-то парикмахер нашего блока (на гражданке владелец ресторана возле Почты в Кракове) Генек Либерфройнд признал, что теперь я бесспорно буду лучшим санитаром среди литераторов.

А еще я целый день был занят письмом к тебе. Письмо к тебе — это вот эти листки, но чтобы они дошли куда надо, у них должны быть ноги. Вот я и искал такие ноги. Наконец, нашел пару — в высоких красных сапогах со шнуровкой. У ног, кроме того, черные очки, они весьма плечисты и каждый день ходят в ФКЛ за трупами детей мужского пола. Трупы эти должны пройти через нашу канцелярию, наш морг, и наш врач должен осмотреть их собственными глазами. Мир порядком держится, или менее поэтично — Ordnung muss sein [1].

Итак, ноги ходят в ФКЛ и со мною весьма приветливы. У них самих, говорят, жена в бабском лагере, и они знают, как это тяжело. Потому берут письма просто так, из любезности. И мне тоже передают, когда случится оказия. Ответ я посылаю сразу же и уже подумываю, как бы прийти к тебе. Прямо дорожное настроение появилось. Друзья советуют прихватить плед и — подложить кое-куда. Зная мое счастье и лагерную практичность, они справедливо рассудили, что при первой же экскурсии я попадусь. Разве что кто-нибудь будет меня опекать. Я же посоветовал им помазаться от чесотки перуанским бальзамом.

И еще смотрю на пейзаж в окне. Ничего не изменилось, только удивительно много грязи прибавилось. Пахнет весной. Люди будут тонуть в грязи. Из леса тянет то запахом сосен, то дымом. То едут машины с тряпьем, то доходяги из Буны. То везут обоз на вещевой склад, то эсэсовцев — сменять охрану.

Ничего не изменилось. Вчера было воскресенье, мы ходили в лагерь проверять на вшей. Как ужасны лагерные бараки зимой! Грязные нары, подметенные земляные полы и застоявшийся запах человека. Бараки забиты людьми, но вшей — ни одной. Недаром уничтожение вшей идет ночи напролет.

Закончив проверку, мы уже уходили из бараков, когда в лагерь возвращалась из крематория зондеркоманда. Они шли, прокопченные дымом, лоснясь от жира, сгибаясь под тяжелыми узлами. Им разрешается приносить все, кроме золота, однако именно золотом они больше всего промышляют.

От бараков кучками бежали люди, врывались в марширующие шеренги и хватали заранее намеченные узелки. Воздух сотрясался от криков, проклятий, ударов. Наконец, зондеркоманда скрылась в

[1] Должен быть порядок *(нем.)*.

воротах своего, отгороженного от остальных бараков, двора. Но сразу же оттуда начали украдкой выходить евреи—поторговать, что-нибудь раздобыть или просто так в гости.

Я окликнул одного из них, приятеля по нашей прежней команде. Я-то заболел и отправился в лазарет. Ему больше «повезло», его назначили в зондеркоманду. Все-таки лучше, чем лопатой орудовать за миску супа. Он с радостью протянул мне руку.

— А, это ты? Надо чего-нибудь? Если у тебя есть яблоки...

— Нет, яблок у меня нет,— дружелюбно ответил я.— Ты еще жив, Абрамек? Что слышно?

— Ничего интересного. Вот чешек в «газ» отправили.

— Это я и без тебя знаю. А личные дела?

— Личные? Какие у меня могут быть личные дела? Печь, бараки и опять печь. Разве у меня есть тут кто-то близкий? Ага, если хочешь знать о личном: мы придумали новый способ сжигать в печи. Знаешь какой?

Я изобразил самое вежливое любопытство.

— А вот какой. Берем четырех ребятишек с волосами, приставляем головами вместе и поджигаем волосы. Потом уже само горит и — gemacht [1].

— Поздравляю,— сказал я сухо, без восторга.

Он как-то странно засмеялся и посмотрел мне в глаза.

— Слушай ты, санитар, должны же мы у нас в Аушвице развлекаться, как умеем. Иначе разве можно выдержать?

И, сунув руки в карманы, он, не прощаясь, удалился.

Но это же ложь и гротеск, как весь лагерь, как весь мир.

---

[1] Готово *(нем.)*.

Перевод Е. ЛЫСЕНКО

■

Литературное наследие

ЛУ Ю

Перевод с китайского и вступление Мих. БАСМАНОВА

Около восьми веков отделяют нас от эпохи, в которую жил и творил Лу Ю. Это была эпоха величайших бедствий и потрясений в истории Китая: почти половину страны захватили воинственные племена кочевников-чжурчжэней и на исконно китайских землях образовали царство Цзинь. Столица когда-то могущественной Сунской империи была разграблена, император вместе со своею свитой пленен; центр политической и культурной жизни переместился на юг во вновь созданное государство Южная Сун (1127—1279 гг.).

Лу Ю (1125—1210) вырос в семье, где свято чтили память предков, чьи подвиги и доблести на протяжении многих веков прославили знатный род Лу. Воспитанный в конфуцианских традициях преданного служения Отечеству, будущий поэт был преисполнен решимости без промедления надеть боевые доспехи, оседлать боевого коня и ринуться в битву с врагом. Но жизнь распорядилась по-своему. Правящая верхушка южносунского двора, озабоченная лишь сохранением своих привилегий, не спешила с изгнанием чужеземцев, предпочитала откупаться от них огромной данью и вымаливать мир любой ценой. Настойчивые попытки Лу Ю влиять на политику двора, его доклады на высочайшее имя с изложением стратегии и тактики освободительной войны вызывали раздражение властей предержащих. От Лу Ю постарались поскорей избавиться, отослав его в должности мелкого чиновника подальше от столицы.

Превратности судьбы преследовали поэта и в личной жизни. Поистине драматическим оказался его брак с девицей Тан Вань. Всевластная свекровь невзлюбила невестку и вскоре настояла на разводе. Насильственная разлука не погасила чувства взаимной любви и привязанности. Однажды бывшие супруги встретились случайно во дворцовом парке. Тан Вань была вместе с новым мужем. Они послали в беседку Лу Ю вино и угощение. Встреча взволновала поэта, вызвала в нем воспоминания о счастливых днях первой любви, и он написал на стене беседки полные скорби строки. Тан Вань откликнулась своим стихотворением в том же размере.

Все ненадежно на свете.
Чувство — всего ненадежней.
Быстро так цвет опадает
В сумерки и дождик.
Словно в слезах, никнут ветви.
Утром их высушит ветер.

Все то, о чем горюю,
Выразить жажду невольно.
Но, опершись на перила,
Лишь про себя говорю я:
«Больно! Больно! Больно!»

Мы отошли друг от друга,
Разными стали судьбы...
Словно я на качелях —
Перед глазами все кругом.
Ночь на исходе. Звук рога
Кровь леденит и студит.

Страшно мне — вдруг кто видит!..
Слезы скорее глотаю
И притворяюсь веселой,
Будто я не в обиде...
Скрываю! Скрываю! Скрываю!

(Мелодия «Чайтоуфэн»)

Вскоре, как повествуют предания, Тан Вань умерла от тоски по любимому, а Лу Ю впоследствии не однажды наведывался в парк и посвятил памяти умершей не одно стихотворение, причем последнее — спустя пятьдесят лет после встречи.

Давние мечты Лу Ю о возвращении захваченных чжурчжэнями территорий, о мудром и добродетельном правлении «сына Неба», пекущегося о своих подданных, опираясь на «просвещенных мужей», так и не сбылись. Жизнь проходила в бесконечных скитаниях по делам службы, в повседневных заботах провинциального чиновника. Здесь, в глубинке, поэт имеет возможность в непосредственной близости наблюдать жизнь простых людей, к которым он относится с глубокой симпатией и сочувствием. Он предпринимает зависящие от него меры, чтобы облегчить налоговое бремя крестьян; не считаясь с возражениями высших инстанций, выдает из государственных запасов продовольствие голодающим, всячески ограждает население от произвола местных властей. Жизненные позиции Лу Ю отразились и в его лирике. Столичной жизни с ее суетой сует и иссушающей души людей погоней за выгодой и славой поэт противопоставляет первозданный мир природы и преисполненный смысла труд сельских жителей, с которыми он хочет быть на равных, «без чинов и званий».

Последние годы жизни Лу Ю провел в родовом имении в деревне. Неумолимо надвигалась старость с ее недугами и болезнями. В стихотворениях опального поэта все чаще слышится неудовлетворенность отшельника поневоле, чьи обширные знания и богатый жизненный опыт так и не нашли достойного применения. «Давно я понял,— горько сетует поэт,— отношенье Неба к одним — одно, к другим — совсем другое... Живу себе, дряхлею понемногу, Растрачена напрасно жизнь героя!»

Вряд ли надо говорить о том, как несправедлив поэт в подобной оценке своего жизненного пути. Конечно, его высокие помыслы и благородные порывы безраздельно служить отечеству не были по достоинству оценены императором, и он вынужден был заниматься делами, не влиявшими на «большую политику» двора. Однако главным в жизни Лу Ю оказалась поэзия, его неутомимая литературная деятельность, позволившая выразить мысли и чаяния современников.

Лу Ю оставил после себя огромное литературное наследие, в том числе более девяти тысяч стихотворений. Его патриотическая поэзия оказала сильное влияние на развитие гражданской поэзии Китая последующих столетий. Немало у Лу Ю и лирических миниатюр в песенном жанре цы (стихотворения на мелодию той или иной популярной в народе песни), запечатлевших раздумья поэта о жизни, дружбе, любви, рисующих милые сердцу «горы и воды» родного края.

Ниже приводится ряд стихотворений, написанных в этом жанре.

* * *

Нежно-румяные руки
Это вино наливали...
Было весной это. Ивы
Стены дворца затеняли.
Ивы в саду и в округе
Вызвали думы о друге.

Ветер восточный жестокий,
Чувство — непрочно и зыбко.
Скорбь на душе беспредельна —
Быть столько лет одиноким —
Ошибка! Ошибка! Ошибка!

Снова весна, как и прежде,
А человек угасает...
И по лицу льются слезы,
След от румян на одежде,
Слезы ручьями стекают
И сквозь шелка проникают.

Персика цвет пал на листья,
В пруд за беседкой пустою...
Весточку, может, отправить
Той, с кем на верность клялись мы?
Не стоит! Не стоит! Не стоит!

(Мелодия «Чайтоуфэн»)

* * *

То с удочкой
Под ветром и луной,
То в травяном плаще,
Ночной окутан мглою
Жизнь провожу. А рядом — домик мой,
На запад от причала, над водою.

Случится рыбу продавать — боюсь
И приближаться к городским воротам.
Я к светской жизни вовсе не стремлюсь,
О ней мне даже думать нет охоты.

Поднимется волна —
Чиню весло.
Спадет —
Привязываю челн канатом,
Иль борозжу бескрайних вод стекло
И возвращаюсь с песнею обратно.

Здесь все меня, с кем только я знаком,
Считают по ошибке Янь Гуанем [1],
А я себя считаю рыбаком.
Обыкновенным, без чинов и званий!

(Мелодия «Цюэцяосянь»)

* * *

Прощаясь с Си Дянем

По озерам и рекам скитаюсь давно —
Десять лет, почитай, это длится.
Напеваю в пути, распиваю вино,
И ни разу я не был в столице.

Вас каким только чудом сюда занесло —
Неожиданно так вы приплыли.
Над беседкой туман. Все травой заросло.
Обметало виски серой пылью.

Поднимаемся вверх, с высоты смотрим вдаль.
И открылся простор взорам нашим.
На селение дождик накинул вуаль,
Чуть видны лишь дома там и башни.

С вами мне хорошо. Но боюсь, что чуть свет
Вы исчезнете завтра внезапно.
И цветы мэйхуа вам осыплет вослед,
И о вас мне напомнит их запах.

(Мелодия «Люшаоцин»)

[1] Янь Гуань — друг юношеских лет будущего императора Гуан-у Ханьской династии (206 г. до н. э.— 220 г. н. э.). Когда последний взошел на престол, он захотел приблизить Янь Гуаня ко двору, но тот предпочел жить в деревне, занимаясь рыбной ловлей и земледелием. *(Здесь и далее прим. перев.)*

* * *

Путнику грустно в пути,
Жаждет вернуться домой.
Тысячью нитей тоска
Сердце его оплела.
Снились озера ему,
Дождь и туман над водой,
Горы родные вдали,
Множество гор, без числа.

Юности бурный порыв
Чашей вина погасив,
Он провожает весну,
Ласково с ней говорит.
Ласточки в небе снуют,
Цвет опадает со слив...
Вырвался вздох из груди:
Время так быстро летит!

(Мелодия «Хаошицзин»)

* * *

Начисто смою с себя
Жизни столичной следы.
Сразу вернусь на восток,
Лишь только кончится год.
Место себе подберу
Где-то в горах, близ воды.
Рыбу там буду ловить
В бездне лазоревых вод.

Рыбу продав, куплю
Вина по сходной цене,
Буду то трезв, то пьян,
С флейтой сдружусь между тем.
Хижину возведу
В заоблачной вышине,
Буду знакомство водить
С чайками, больше ни с кем!

(Мелодия «Хаошицзин»)

* * *

В лучах заката дымка голубая,
И в ней виднеется моя обитель.
Меня тщета мирская не волнует,
Ее бегу я, деревенский житель.

Опорожнил сосуд с вином отменным,
В бамбуковую рощу удаляюсь.
Канон даосский до конца осилив,
Прилег и горным видом наслаждаюсь.

Я так люблю
Насвистывать беспечно,
И старость
Меня вовсе не печалит.

И где бы я теперь ни оказался,
Все сущее с улыбкою встречаю.

Давно я понял: отношенье Неба [1]
К одним — одно, к другим — совсем другое...
Живу себе, дряхлею понемногу,
Растрачена напрасно жизнь героя!

(Мелодия «Чжэгутянь»)

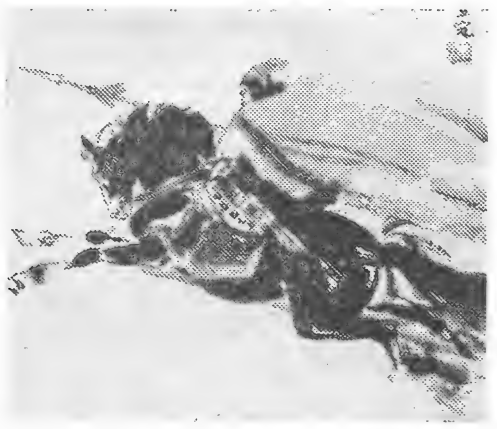
* * *

Когда-то, бывало, за тысячу ли
Я мчался, чтоб титул высокий снискать.
Заставы на реках
Лишь снятся теперь,
И шуба соболья
Ветшает в пыли,
В которой к Ляньчжоу
Верхом я скакал.

А гунны — поныне
Не истреблены,
И горькие слезы
Напрасно я лью,
И осени иней
Блестит на висках.

Что мог я предвидеть,
Был молод пока!..
К Тянь-Шаню все также
Душой я стремлюсь,
Дряхлея в Цанчжоу [2],
А жизнь коротка!

(Мелодия «Сучжунцин»)



[1] Под Небом надо понимать императора, который не жаловал милостью опального поэта.

[2] Стихотворение написано в последние годы жизни поэта, когда он был не у дел и жил в деревне в Цанчжоу. Тянь-Шань — горная система в Средней и Центральной Азии, восточная часть которой находится в Синьцзяне (Китай). Здесь имеются в виду передовые рубежи войны сопротивления чжурчжэням.

Слушая крик кукушки в ночи

Лампада гаснет. В хижине покой.
Затихло все под крышей камышовой.
Царит весенний вечер над рекой,
И дождь, и ветер набежали снова.

Спит иволга. И ласточка в гнезде
Уже не гомонит, как днем ликуя.
Одна кукушка лишь то там, то здесь,
Печалясь лунной ночью, прокукует.

Разбудит,
Разогнав остатки сна,
Проймет до слез
Своим печальным зовом.
В лес улетит — и снова тишина,
И одиночество наступит снова.

И вспомнится далекий отчий край,
Кукушки где я знать не знал, беспечный...
Что говорить! Полвека уж, считай,
Прошло, как я скитаюсь, странник вечный!

(Мелодия «Цюэцяосянь»)

* * *

О том, что видел во сне. Посвящается Ши Бохуню.

Снег падал. Звук рога раздался,
Взорвав тишину на рассвете.
Во сне я бродил — где, не знаю,
Места незнакомы мне эти.

Лавиной стальной надвигаясь,
Беззвучно там конница мчалась...
Была ль то застава,
Гадаю,
Яньмэня рубеж
Иль Цинхая? [1]

Проснулся. Мерцает лампада,
И холодом тянет в постели.
В окошко луна смотрит сбоку,
Часы отзвенели капелью.
За тысячи ли в званье хоу
Отправиться жажду я снова.

Пусть сед я,
Но сердце пылает...
Да только про то
Кто узнает!

(Мелодия «Еюгун»)

■

[1] Этот район был захвачен чжурчжэнями.

РОБЕР МЕРЛЬ

СОЛНЦЕ ВСТАЕТ НЕ ДЛЯ НАС

Роман-репортаж

Перевод с французского Ю. СТЕФАНОВА

Консультант — капитан I ранга В. А. КОМИССАРОВ

Литература — это опережение

Не хочу навязывать свое прочтение романа-репортажа Робера Мерля: в конце концов, каждый читает любую вещь сквозь призму своих интересов, забот. Меня же, сообщу сразу, раздражают и персонажи прекрасно написанного произведения, и сам автор (а точнее — его позиция). Хотя населен роман людьми привлекательными, не отталкивающими во всяком случае, а автор — почти столь же талантливо прозорлив, как и в прежних вещах («Разумном животном», «Мальвиле»). Хороший рассказчик, ненавязчиво психологичен, ну, а «тема» книги — ничего не скажешь, актуальна.

Вот такое неожиданное представление нового романа читателю — одновременно с настоятельным советом — прочесть его. Мне, во всяком случае, читать было очень любопытно. Дело в том, что, даже раздражаясь героями Робера Мерля, поразительной отключенностью от грозной реальности их (и нашего общего) положения («мы пытаемся избежать кошмара, нагнетая его») — сознаешь: все это слишком, слишком человеческое! Увы, таковы все еще люди, а потому столь трудно сделать даже маленькие реальные шажки от гибельной пропасти, куда нас по-прежнему несет... Да, по-прежнему мы просто устали об этом думать, и малейшие приметы внушающего оптимизм движения обнаруживают почти детское легкомыслие человеческой массы. Доказательство тому: после первых, только еще самых первых успехов по пути разоружения, когда, казалось бы, самое время — подняться общей волне всечеловеческого содействия спасительному делу, мы наблюдаем что-то совсем иное: какое-то по-детски радостное отключение на иные наши, свои заботы. (Ну, совсем как моряки и офицеры мерлевской подлодки, мальчишествующие, изобретающие чем бы и как себя потешить, чтобы не скучать рядом с шестнадцатью ракетами, способными стереть с лица земли континент!) Да, дело разоружения стронулось общими усилиями, но, как только усилия перестанут быть общими, все снова упадет в прежние, накатанные пазы. Одному Горбачеву этого не поднять. Как, впрочем, и перестройку.

Да, все герои — команда одного из подводных ядерных убийц — прекрасные парни («таковы, надо думать,— говорит в предисловии автор,— и их американские, английские и советские коллеги...»). Вместе с доктором, главным персонажем романа-репортажа, мы проникаем на подлодку, проживаем многонедельную жизнь там, где все — табу для остальных людей, а ведь судьба всех людей, их детей, внуков жизнь или смерть — в руках таких вот парней.

Люди они прекрасные. Одно только: они — часть механизма, техники, ко-

© Librairie Plon, 1986.
Журнальный вариант.

торые могут в любой миг сработать и тогда «наступит апокалипсис, и уже ничто, ничто на свете не будет иметь значения». Но они не только часть машины, техники, а и доктрины. Той «доктрины сдерживания», «возмездия», на которой полвека держалось неустойчивое равновесие жизни и смерти на планете. И которая, конечно же, погубит планету — это сегодня ясно многим, очень многим.

Но кажется, все еще не ясно автору книги. Вот в чем мое несогласие с ним. Такое же открытое с ним, с французом, как и с некоторыми моими соплеменниками.

И капитан субмарины, и доктор (явно — сам автор, хотя и не имеем права настаивать на полном «идейном» тождестве), и некоторые другие персонажи за пределы, за рамки «доктрины сдерживания» выйти не способны. «Верно,— говорит капитан, словно угадав мои мысли. И, помолчав, добавляет: — Это верно, мы стоим на краю пропасти. Но с другой стороны, осознание надвигающегося позволяет нам дать отпор силам зла».

«Я — твердый сторонник политики устрашения. Я понимаю ее необходимость. Я принимаю весь сопряженный с нею риск. Но от этой фразы спина у меня холодеет. Я думаю о ракете противника, которая в это же самое время «достигает земной поверхности» в той точке, где находятся мои близкие».

Вещь писалась, когда еще автор мог сказать (устами одного из близких ему персонажей): «...наилучшим курсом был бы курс на разоружение. Но Франция не может остаться безоружной в мире, где все вооружены до зубов. Чтобы начать разоружение, нужно дождаться инициативы США и СССР. А они, к сожалению, и не помышляют об этом...»

Тогда «не помышляли», сегодня уничтожают несколько классов смертоносных ракет и боеголовок. Поняв безнадежность, аморальность ситуации, когда человечество стало заложником доктрины, обещающей лишь всеобщую гибель от неизбежной случайности, если не злой воли.

Ну, а Франция, Англия, остальные «ядерные»? Насколько готовы они, общественное мнение этих стран,— подхватить и продолжить?..

Вот тут-то и встает вопрос о роли литературы. Вчера роман-репортаж Мерля вполне отражал ситуацию, как она виделась из Франции. О т р а ж а л, а н е о п е р е ж а л. В этом весь вопрос. Не опережать в этих делах политиков, военных (и своих тоже) литература не имеет права. Обязана опережать. А иначе своего долга перед человеком и человечеством не выполнит. Неотменимого долга в условиях ядерной угрозы.

Будучи на сессии ЮНЕСКО в 1987 году, я снова и снова в свободное время проходил по залам Лувра и всякий раз выходил оттуда с чувством сродни тому, какое оставил во мне роман-репортаж «Солнце встает не для нас»: слишком много Наполеона, военно-государственного престижа! (Даже в одном из выступлений на сессии решился об этом сказать прямо в лицо хозяевам.)

Пока сверхдержавы, говоря словами из произведения Мерля, косились друг на друга, «точно бешеные псы, пребывая во взаимном убеждении, что противная сторона — это не что иное, как «империя зла», другие страны, не «сверх», но тоже до зубов вооруженные, опьяняли себя престижем, игрой «ядерных мускулов», да так, до такой степени, что и в Лувре уже деваться от этого некуда... Тому же содействовала и литература, которая не осмеливалась замахнуться на доктрину сдерживания. (Пример — книга Мерля.)

Сегодня так необходима, так нужна нарастающая поддержка начатому лидерами СССР и США движению от гибельной пропасти — со стороны общественности других ядерных стран. И если эта поддержка все еще не соответствует ситуации, вина тут и на литературе. Литература, даже вполне антивоенная по пафосу, чаще всего не опережала общественность во взгляде на глобальные проблемы века. Это-то ее и мельчит в наших глазах. Таков для меня главный урок романа-репортажа Мерля. Поучительный и для нашей литературы.

Когда мы взрывали свои ракеты на юге Казахстана в соответствии с вашингтонскими договоренностями, американец Джеймс Буш, бывший капитан такой же вот атомной подводной лодки, сказал, отвечая на мой вопрос, обескураживающую правду о людях: «Мои моряки как-то даже сожалели, что отслужили, а испытать мощь, которая была у них под руками,— не пришлось. Потому-то,— добавил капитан-пацифист,— эти игрушки у военных нужно отнять».

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ

Предисловие

Несколько лет назад один французский журналист приписал мне дар предвидения. Дело в том, что в романе «Разумное животное», вышедшем в 1967 году, я «предсказал», что Рональд Рейган, вполне узнаваемый, хотя и выведенный под другим именем, станет президентом Соединенных Штатов. Кроме того, я предположил, что специально обученные дельфины будут когда-нибудь использоваться в военных целях — именно это и произошло семью годами позже, в Тонкинском заливе.

Я не собираюсь кичиться этими предсказаниями. Пророческим даром я не наделен, да оно и к лучшему. Мое абсолютное неведение относительно будущего, не исключая и моего собственного будущего, позволяет мне утверждать: я запрограммирован, чтобы жить лет этак до ста двадцати, без страха быть уличенным в проблеске невольного ясновидения. Зато я весьма чуток ко всему, что творится вокруг меня в мире, и мне удалось развить известное понимание истории в том виде, в каком она совершается у нас на глазах. Не учитывая этого, не объяснишь, почему, написав «Мальвиль» четырнадцать лет назад, я снова начал интересоваться ядерными проблемами — а было это как раз за год до Чернобыля.

Достоинство «Мальвиля» состоит в том, что там описываются воображаемые, но вполне реальные и чудовищно зыбкие условия жизни нескольких разрозненных человеческих общин, уцелевших в Европе после атомной войны. Теперь-то мы знаем, что описание это грешило избытком оптимизма. Умножьте Чернобыль в миллион раз, прибавьте полмиллиарда трупов, непоправимое заражение воды и почвы, тьму и ледяной холод по меньшей мере в течение целого года — и вам не покажется абсурдной мысль о более чем возможном исчезновении в Северном полушарии всего живого, включая и людей.

Каждый человек — если только он не маньяк, буйнопомешанный или фанатик — горячо желает всеобщего и одновременного разоружения в масштабе всей планеты. Ради этой цели стоит потрудиться, не забывая, конечно, о том, что ее достижение вряд ли возможно в ближайшем будущем.

«Там хорошо живется, где нас нет,— гласит немецкое присловье,— но мы-то живем не там, а здесь». Здесь, на нашей столь хрупкой ныне планете, как говорит один из описанных мною подводников. Нам выпала судьба не только жить, памятуя о нависшей над планетой опасности, но и быть движущей силой этой опасности. Отчаянная, что и говорить, гомеопатия: мы пытаемся избежать кошмара, нагнетая его.

В своей книге я хотел показать скромную и полную риска жизнь экипажа одной из наших подлодок. Чем дольше я слушал этих моряков, тем более человечными, искренними и достойными уважения они мне казались. Таковы, надо думать, и их американские, английские и советские коллеги, они вовсе не похожи на вояк, которые так и норовят сцепиться друг с другом. Так вот, эти моряки куда глубже, чем большинство их сограждан, осознают, какими последствиями может обернуться отданный им приказ о ракетном залпе.

Я вовсе не утверждаю — и подчеркиваю это со всей определенностью,— что подобный приказ будет отдан. Но то, что такая возможность не исключена, доказывает, насколько «распалась связь времен» в том мире, где нам выпало жить. Об этом задумывался еще Гамлет. Теперь же на карту поставлено само существование рода человеческого, и об этом мы не вправе забывать.

Глава I

Поначалу эти записки предназначались для Софи — я решил рассказать в них о предстоящем плаванье. Но поскольку меня стали мучать сомнения относительно интереса, который она питает к моей особе и я не могу ручаться, что наши с ней отношения останутся такими же, как сейчас, волей-неволей приходится уповать на то, что эти записки прочтет хоть кто-нибудь. Надеюсь, что среди моих читателей будут девушки, желательно красивые. Из-за того, что я люблю Софи, я вовсе не намерен отрекаться — по крайней мере мысленно — от лучшей половины рода человеческого. Монаха из меня не получится.

Отец Софи благодаря талантам своих инженеров и управляющих сумел внедрить в производство некую техническую новинку, которая произвела переворот в автомобильной промышленности. Он сколотил состояние и вскоре умер. Его вдова — из тех женщин, коим так называемые «принципы» заменяют духовную жизнь; они рта раскрыть не могут, чтобы кого-то не осудить, а то и пригвоздить к позорному столбу. Однажды я имел неосторожность в ее присутствии усомниться в существовании ада. Она прямо-таки взорвалась: «Ад должен существовать! Иначе было бы несправедливо!» Отсюда я заключил, что понятия о справедливости у нас с ней разные.

О воспитании Софи можно судить хотя бы по тому, как она одевается. Туфли на низком каблуке, плиссированные юбки и костюмы от Бэрберри. Как-то я поинтересовался, отчего я никогда не видел ее в джинсах. «Это же неприлично»,— ответила она, стыдливо потупив красивые черные глаза.

Из всего вышесказанного ясно, что Софи представляет собой экземпляр некоего вымирающего вида. Но в этом и состоит отчасти ее очарование. Глядя на Софи, словно бы совершаешь путешествие во времени, добираясь до самого начала нашего века. В ее манерах, интонациях ее голоса, в походке, даже в том, как она садится, сквозит, если можно так выразиться, неумолимо-безупречное воспитание. Ей двадцать два года, а она еще не целовалась в губы ни с одним парнем.

Для того, чтобы Морское ведомство могло принимать от Софи по одной радиограмме в неделю, мне пришлось увенчать ее званием «невесты» причем самовольно, поскольку ее мать еще не признала за мной почетного титула жениха. Софи, хоть

и не без колебаний, смирилась с этой восхитительной натяжкой.

Радиограмма должна содержать не более двадцати слов. Однако в первую неделю моя «невеста», со свойственной ей сдержанностью, ограничилась всего пятью: «Я думаю о Вас. Софи». Полагаю, если мы с ней когда-нибудь поженимся, она расщедрится на добрый десяток.

До меня дошли сведения, что несносная ханжа, под присмотром которой прозябала моя старорежимная «невеста», разорилась в результате неудачных биржевых сделок. Это меня не раздосадовало и даже не удивило. Зарабатываю я неплохо, хватило бы и на двоих — ведь я служу в Морском ведомстве. Не военно-морском флоте, а Морском ведомстве: прошу отметить разницу, я к этому еще вернусь. Над обшлагами моего мундира красуются три золотые нашивки, что верно, то верно, однако третья обведена красной каемкой. Это значит, что я человек не военный, а только лечу тех, кто имеет отношение к войне.

Тем не менее, думая о дополнительных расходах, которые мог бы повлечь мой предполагаемый брак с Софи, я попросился на службу в подводные части: меня прельстила надбавка к жалованью.

Я прикинул, что буду тогда получать около двадцати тысяч франков в месяц. Для меня это порядочная сумма. А для старой ханжи — сущие пустяки. Приглядываясь к тому, с каким размахом она ведет хозяйство, я понял, что остатков ее прежнего состояния хватило бы на жизнь нескольким семьям таких бедняков, как я.

Мой отец — скромный налоговый инспектор в окрестностях Бордо. Я в семье — младший. Видя, с каким трудом родители выискивают средства на образование старших братьев, я решил избавить их от расходов на мое ученье и выдержал экзамены в Бордоский медицинский институт. Вот почему сейчас на мне мундир с золотыми нашивками.

Я не мальчик, мне тридцать один год, и, стало быть, единственным оправданием моей любви к Софи может служить то, что она чертовски хороша собой. Но когда мне случается смотреть на вещи здраво, я прекрасно вижу, что Горгона, неусыпно стерегущая предмет моего обожания, сравнивает меня с сынками старых знакомых своего покойного мужа и не испытывает чрезмерного восторга по поводу моих не слишком пылких религиозных чувств и некоторой скудости моих доходов. Что же касается самой Софи, то ее мысли на сей счет остаются для меня загадкой. Нас вечно разделяет сень ее ресниц.

Но вернемся к подлодкам Морского ведомства, которому я теперь служу верой и правдой. Да будет вам известно, что подлодки эти бывают двух видов: большие и малые. Большие — это ПЛАРБ, пресловутые атомные подводные лодки-ракетоносцы, наше основное оружие устрашения; малые, если они работают на дизельном топливе, именуются «дизельными», а при наличии атомного реактора — многоцелевыми атомными подлодками.

На борту дизельных подлодок — их рейсы обычно длятся всего неделю и включают заходы в порты — находится, как правило, только один фельдшер. А для обслуживания ПЛАРБ, которые уходят в плаванье на шестьдесят — семьдесят дней и возвращаются на нашу базу в Брест[1], ни разу не всплывая на поверхность, полагается врач с двумя помощниками.

Назначение пришло довольно неожиданно: судовой врач, приписанный к одной из атомных субмарин, вынужден был перед самым отплытием покинуть свой пост по состоянию здоровья. Я был назначен на его место, и меня, как говорят во флоте, «подняли вместе с якорем» — сочное выражение, живописующее опоздавшего бедолагу, который, цепляясь за якорные лапы, в самый последний момент возносится на палубу.

Образное выражение насчет якорных лап не надо понимать буквально: за час до отплытия я, как и все остальные, взошел на борт, где меня встретил командир корабля.

Передо мной — унылая черная палуба, там и сям зияют небольшие округлые дыры — входные люки с откинутыми крышками. Я бросаю последний взгляд на небо. Как назло, ветер еще накануне разогнал городскую хмарь и над Иль-Лонгом сверкает солнце. Я вижу его сквозь огромную стеклянную крышу, защищающую от дождя бетонированный эллинг, где покоится стальной кит, готовый поглотить меня, словно Иону.

Командир увлекает меня в лабиринт судовых коридоров. Спору нет, в сравнении с малой субмариной ПЛАРБ кажется громадиной. Но огромность ее весьма относительна: почти все внутреннее пространство так забито всевозможными машинами, трубами, переборками, захлопками, измерительной аппаратурой, пультами управления и приборными щитками, что места для прохода почти не остается и вам необходимо поворачиваться боком всякий раз, когда кто-то проходит мимо. А кто проходит — неизвестно: в чреве стального чудища, подобно озабоченным муравьям, снуют люди; насколько мне помнится по предыдущим визитам, их там более ста тридцати.

— Я покажу вам вашу каюту,— говорит командир.

Вежливость имеет разные оттенки. Тон командира — впрочем, это меня не удивляет — свидетельствует о том, что с его точки зрения я не настоящий моряк, хотя и ношу морскую форму. Он прав. Я не служу на корабле, а только обслуживаю его команду. А поскольку народ в ней молодой и пышущий здоровьем, то мне, ясное дело, не придется слишком себя утруждать. Я тут на всякий случай. Вроде спасательного круга.

Я осматриваюсь по сторонам, хотя смотреть особенно не на что. Никакого сравнения с «Наутилусом» капитана Немо. Ни тебе роскошного салона, ни орга́на, ни огромного иллюминатора, за которым мерцают океанские глубины!

— Я вас оставляю, — говорит командир, а сам и не думает уходить, принимается молча меня разглядывать. Я, в свою очередь, разглядываю его. Он среднего ро-

[1] Порт на западе Франции, на полуострове Бретань. *(Здесь и далее прим. перев.)*

ста, плотно сбит, держится очень прямо, ни намека на живот, смоляные волосы и борода коротко острижены и при всей этой смоли — голубые глаза. Он сообщает: — Море неспокойно. Для начала нас неплохо покачает. Но вам не привыкать: ведь вы уже ходили на малых субмаринах. Впрочем, как только мы погрузимся, качка прекратится и я вам гарантирую полный комфорт.

Обещание «полного комфорта» вкупе с легкой улыбкой и впрямь успокаивает меня. Все моряки мучались, мучаются и будут мучаться от морской болезни. Я не исключение. И все же я плохо представляю, как можно оперировать аппендицит, когда судно кренится с борта на борт.

Командир продолжает:

—Я пришлю вам обоих санитаров, Легийу и Морвана. Доктор Мёрио был о них наилучшего мнения. Он прекрасно с ними сработался.

Уловив в последней фразе нотку сожаления а может быть, и скрытое предостережение, я говорю:

— Надеюсь, что мы найдем общий язык.

— Не сомневаюсь,— поспешно соглашается он и добавляет: — Как вам, наверное, известно, по будням у нас носят простые рубашки и джинсы, без всяких знаков отличия, а в форму облачаются только по субботам и воскресеньям.

Еще раз улыбнувшись, он выходит.

В предчувствии обещанной качки я глотаю мятную таблетку. Разбираю багаж и начинаю обживать свою «каюту». Она целиком отделана дубовой фанеровкой, и это создает атмосферу теплоты и уюта, того, что по-английски называется «cosy». Хорошее освещение и малые размеры еще больше усиливают это впечатление.

Слева от коики, то есть там, где будет моя левая рука, если я улягусь на спину, поверхность, отделанная мореным дубом, резко изгибается — это наводит меня на некоторые мысли. Во-первых, нужно будет садиться на койку не иначе как с оглядкой, чтобы не набить шишку на голове. А во-вторых, эта кривизна более или менее повторяет очертания корпуса подлодки. Стало быть, по левую сторону от меня, за тонкой деревянной обшивкой и могучей броней корпуса, простирается океан — необъятный, мрачный, таинственный. И сколько я не повторяю себе, что броня эта крепка, абсолютно непроницаема и рассчитана на самые высокие давления, столь грозное соседство не может не действовать на мое воображение. Умом я понимаю, что страхи мои напрасны, что мы с океаном вовсе не обязаны вступать в близкое знакомство. Но можно рассуждать и по-другому. Стальной левиафан — настоящее чудовище, однако стихия, в которой он плавает, куда чудовищнее. А ну как его удивительные машины откажут и ему придется погрузиться в такие глубины, на которые он не рассчитан, — да ведь тогда его раздавит как ореховую скорлупку!

В дверном проеме показывается чья-то фигура.

— Позвольте представиться, мсье: Легийу, санитар и анестезиолог.

Подобное обращение меня удивляет. Следовало бы ожидать, что санитар, обращаясь к врачу, назовет его, как это положено по уставу, «господином врачом». Так почему же он говорит мне простонапросто «мсье»?

Тем не менее я встаю, улыбаюсь, пожимаю ему руку. Бретонец, сразу видно. Среднего роста, кряжистый, зеленоглазый, рыжеватая шевелюра, скулы широкие, чуть ли не монгольские.

—Вы не из Финистера[1], Легийу? Я не ошибаюсь?

Еще бы мне ошибиться! Я это доподлинно знаю. Как только мне сообщили о моем назначении, я заглянул в его личное дело, познакомился заодно и с другим санитаром, Морваном.

— Да, мсье, —отвечает Легийу.

У него такой напыщенный и самодовольный вид, что я могу без труда, как сигнал на эхолоте, расшифровать его мысли. Нет лучшего места во Франции, чем Бретань. А в Бретани нет лучшего места, чем Финистер.

— Не хотите ли вы, мсье, взглянуть на свои владения?

Я уже был на «Молниеносном» и знаю, что они из себя представляют. Но как отказать подчиненному, который считает своим долгом ввести меня в курс дела?

— Смотрите сами, мсье, у нас тут чего только нет! И операционный блок, и реанимация, и рентген. А операционный стол вы видели? Это же просто чудо! Он может превращаться в зубоврачебное кресло! Берите бормашину и действуйте!

Я невольно морщусь.

— Хотя, конечно,— спохватывается Легийу, — зубы лечить — это вам не сахар.

— Вот здесь у нас, — продолжает он,— хирургические инструменты. Иголочки-то все с насадкой! А ведь были времена, когда нам приходилось вдевать нить вручную, во время операции она то и дело выскальзывала.

Это и в самом деле серьезная проблема. Для хирурга, разумеется, а не для санитара и анестезиолога. Но мой подопечный, судя по всему, продолжает рассуждать во множественном числе. С каких это пор он перестал выпячивать свое «я»?

— А не показать ли вам, мсье, нашу аптечку? Доктор Мёрио выписал с базы прорву лекарств! Посмотрите, пригодятся ли они вам?

Ясное дело, пригодятся. А если даже и нет, я не стал бы об этом говорить из уважения к моему предшественнику.

Лазарет невероятно мал, и все равно я доволен. Никакого сравнения с моей дизельной субмариной, где только и было что четыре коробки с лекарствами! Чтобы перевязать пострадавшему колено, мне приходилось укладывать его на обеденный стол.

Я прохожу в крохотное смежное помещение с двумя койками. На нижней, спиной ко мне, храпит какой-то человек.

— Вот так новость, — удивляюсь я, — у нас уже есть больной?

— Нет, мсье, это Морван.

— Он тут всегда спит?

[1] Департамент, расположенный на полуострове Бретань.

— Да, это его койка,— произносит с вызовом Легийу. — А моя — та, что сверху.

Я осторожно перехожу в наступление:

— А мне показалось, что это помещение служит изолятором.

— Так оно и есть, мсье, — подтверждает Легийу, — вообще-то у нас тут изолятор. Когда кто-нибудь из экипажа всерьез заболевает, один из нас уступает ему свое место, а сам перебирается на его койку в кубрик.

Неожиданно в лазарет заглядывает матросик лет двадцати — «матросиками» здесь зовут призывников.

— Позвольте представиться, доктор, меня зовут Жакье. Я один из двух стюардов в кают-компании. Командир просил вам передать, что вы можете подняться на мостик и в последний раз взглянуть на землю.

Этот Жакье, маленький быстроглазый брюнет, не величает меня ни «мсье», ни «господином врачом», а зовет просто «доктором». Оттого, вероятно, что, по его убеждению, он принадлежит к привилегированному обществу кают-компании; так метрдотель считает себя членом клуба, который он обслуживает. «Не belongs»[1], как сказал бы англичанин.

— Я провожу вас, доктор,— предлагает Жакье, видно думая, что без него я непременно заплутаюсь во чреве ПЛАРБ.

«Мостиком» на подлодке называется башенка с двумя торчащими из нее отростками вроде плавников (на самом деле это перья горизонтальных рулей), которые придают ей весьма своеобычный вид. На верхушке башенки понатыкано бог знает сколько маленьких мачт, антенн и перископов, к тому же она округлая только спереди, а сзади заостряется, видимо для увеличения обтекаемости при погружении. У самих подводников она известна под названием «купель», потому что, когда подлодка идет в надводном положении, там можно вымокнуть до нитки, я сам в этом убедился.

Жакье открывает люк, ведущий на мостик, и тут же его за мной захлопывает, чтобы вода не просочилась вовнутрь. Как только я распрямляюсь, море с ветром закатывают мне здоровенную оплеуху.

Солнце сияет вовсю, но прямо в лицо хлещет зюйд-вест, а соленые брызги слепят до того, что я вынужден повернуться спиной к ветру, чтобы хоть что-то разглядеть.

«Последний раз взглянуть на землю» — это выражение обретает вполне определенный и даже несколько драматический смысл для того, кому предстоит провести два с лишним месяца на глубине ста — ста пятидесяти метров, ни разу не всплывая на поверхность. Посему «последний взгляд на землю» — это еще и взгляд на солнце и облака, в особенности на облака, которые кажутся людям, готовящимся к долгому затворничеству в подлодке, такими свободными и счастливыми странниками лазури. Земля и небо. Родные и близкие. Да разве перечислишь все, с чем ты должен расстаться!

[1] Ощущает свою принадлежность (к определенному кругу).

Чем ближе мы подплываем к узкому выходу из гавани, за которым нас ожидает открытое море, тем сильнее оно вспучивается и опадает, тем яростней секут нас волны и ветер. Я промок насквозь, меня порядком укачало — такое ощущение испытывает, наверное, плюшевый мишка, когда его вертит туда-сюда расшалившийся малыш.

Отряхиваясь, я спускаюсь на несколько ступенек вниз, где, притулившись за корпусом рубки, о которую с шумом разбиваются волны, курят двое офицеров, наслаждаясь последними затяжками.

— Сразу видно, доктор, — обращается ко мне один (все, разумеется, поняли, кто я такой),— сразу видно, что море дало вам хорошую выволочку. Считайте, это ваше первое боевое крещение на подлодке. Второе состоится в середине плаванья.

— Извините,— возражаю я,— я уже ходил на обычных подлодках.

— Никакого сравнения, доктор. ПЛАРБ — это особая статья.

Они смеются, поглядывают на меня дружелюбно и чуть ли не ребячливо, но с оттенком некоего превосходства. А когда я открываю люк, чтобы спуститься вниз, напоминают:

— Не забудьте закрыть за собой дверь, доктор! Нечего разводить сырость.

На этом мои мучения не кончаются. У подножия трапа меня поджидают трое молодых офицеров — их, надо думать, подослал Жакье — они с шуточками и прибауточками обступают меня и наперебой суют в лицо воображаемые микрофоны, будто бы берут интервью для телевидения. Я с удовольствием включаюсь в игру.

— Поделитесь вашими впечатлениями, доктор!

— Тут сыровато, да к тому же пересолено.

— А знаете ли вы, доктор, отчего здесь так сыро?

— Да, мсье. Мы потому и зовемся подводниками, что очертя голову ныряем под воду, а не барахтаемся на поверхности. Нырять так нырять!

— Молодец, доктор!

— Здорово выкрутился!

— И последний вопрос, доктор: вы плавали на обычных судах, так с какой же стати перешли теперь в подводники?

Я быстро прикидываю: если сообщить им истинную причину — читатель о ней уже знает,— не миновать мне жуткого позора. Принимаю важный вид и говорю:

— Должен вам признаться, господа, что я не умею плавать. А подлодка — это единственное судно, на котором не рискуешь свалиться за борт.

После чего я спешу улизнуть. Пробираюсь в свою каюту, стаскиваю с себя мокрый плащ, закрываю дверь и растягиваюсь на койке.

Стук в дверь. На пороге появляется посетитель.

— Курсант Верделе!

Я встаю, пожимаю ему руку.

— Здравствуйте! Вы здесь проходите воинскую службу? А чем занимались до призыва?

— На какой из вопросов прикажете отвечать в первую очередь?

Я улыбаюсь.

— На второй.

— Изучением политических наук. В Национальной административной школе.

— Матерь божья, как сказала бы моя консьержка, есть же на свете люди, у которых голова не мякиной набита. Стало быть, вам когда-нибудь вручат бразды правления?

— Не беспокойтесь, уж я-то сумею их удержать! А теперь, доктор, вот вам приказ старпома: велено сопроводить вас в кают-компанию, время обедать.

— Минутку, я только приведу себя в порядок.

Причесываясь, я дружелюбно поглядываю на этого голько что вылупившегося птенца. Высокий, ладно скроенный, видный парень. Голубые глаза, живой взгляд. Строгий боковой пробор не в силах укротить русую шевелюру. Курсант Верделе так и пышет здоровьем, сразу видно, что он из хорошей семьи и ученик прилежный. Отделение политических наук в Национальной административной школе — это вам не шутка! Не каждый пройдет по конкурсу.

Я еще не кончил причесываться, как на пороге появился очередной гонец.

— Курсант Верду. Командир приказал мне сопроводить вас в кают-компанию.

—И вы с тем же! Я не рискую здесь потеряться,— смеюсь я.

— А кто рассудит, велика была бы потеря? — спрашивает Верду.

— Не обращайте на него внимания, доктор,— успокаивает меня Верделе. — Он уже успел заработать нашивку, вот и выпендривается. Правда, всегда строго взвешивает дозу своего нахальства.

— На каких же весах?

— На самых точных, — говорит Верду, — на моих собственных, где все тютелька в тютельку. Я ведь из той же школы, что и ты.

— Бог ты мой! Целых два будущих администратора! Верду и Верделе!

— Сходство фамилий совершенно случайное,— заявляет Верду. — Как сказал некий достославный муж древности: «Он— это он, а я — это я». Но я, слава богу, не белобрысый, и глаза у меня не такие водянистые, как у него.

Что правда, то правда: масть у них разная. Верду — брюнет с черными бархатистыми глазами. И все же в облике обоих юных моряков так много общего, что о язвительном Верду я могу сказать то же самое, что и об учтивом Верделе: высокий, ладно скроенный, видный парень. Продолжать не стоит. И без того ясно, что эти цыплята — одного выводка.

Пока я надеваю ботинки, Верду спрашивает:

— Скажите, доктор, вы хороший врач?

— Первоклассный. С тремя нашивками.

— А у меня всего одна. А вы знаете, что на морском жаргоне таких, как вы, величают «трехчленами»?

— Знаю. Я ходил на «Жанне». Лестный титул.

— Он забыл сказать,— замечает Верделе,— что с гремя членами дело спорится живее, чем с одним.

— Этот вопрос,— говорю я,— следовало бы взвесить на сверхточных весах Верду.

Верделе покатывается от хохота.

— Не понимаю, что тут смешного,— говорит Верду.— Я терпеть не могу врачей. Они мне оставили здоровый шрам на животе.

— Что значит — здоровый?

— Ну, длинный! Длиннющий! Сантиметров десять!

— Не каждый аппендикс легко нащупать. Вот им и пришлось сделать такой разрез.

— Тьфу, что за гнусное ремесло! — морщится Верду.— Копаться в требухе у своих же сограждан!

— А у меня,— вмешивается Верделе,— от одного слова «требуха» текут слюнки. Не пойти ли нам перекусить? Капитан, должно быть, заждался.

Кают-компания представляет из себя помещение, где господствуют кривые линии. Это крохотный круглый салон с примыкающей к нему маленькой овальной столовой. Посреди — низенький стеклянный столик, вокруг него — четыре глубоких кожаных кресла. Для пятого при всем желании места не нашлось бы.

Прелесть салона в том, что его стены почти целиком заняты книжными полками — такой, наверное, была библиотека Монтеня в его знаменитой башне до тех пор, пока неблагодарная дочь философа не распродала после смерти отца все его книги. Разместиться в салоне может десять персон. Вторая смена предусмотрена для офицеров, стоящих на вахте, или для тех, кто не привык торопиться с обедом.

На ПЛАРБ шестнадцать офицеров, считая и меня. А так как я уже сказал, что в салоне всего четыре кресла, можно предположить, будто за них идет отчаянная борьба. На самом же деле ее нет и в помине, столь велика здесь взаимная предупредительность, не зависящая ни от нашивок, ни от разницы в возрасте.

Мы, должно быть, явились раньше срока: кресла еще пустуют. Но обеденный стол уже накрыт, и едва мы успеваем устроиться поудобнее, как появившийся из своих владений стюард — им оказывается не Жакье, а кто-то другой — спешит осведомиться, что мы будем пить. Все высказываются за фруктовый сок. В принципе аперитивы здесь не запрещены, но не следует забывать, что мы все же на военном корабле.

— Позвольте, доктор,— обращается ко мне Верделе,— представить вам нашего стюарда Вильгельма.

— Добрый день, доктор.

— Добрый день, Вильгельм. Я уже успел познакомиться с Жакье.

— Это мой помощник, — уточняет Вильгельм.

— У Вильгельма,— поясняет Верделе,— сильно развито чувство чинопочитания.

— К тому же,— добавляет Верду, —он настоящий киношный фанат. Ни одного фильма не пропустит.

— И отличается довольно старомодными вкусами. — подхватывает Верделе.— Обожает Мэрилин Монро

Вильгельм, с явным удовольствием выслушивая эти шутливые характеристики, делает вид, что задет за живое.

— Запомните, господин курсант, — говорит он с притворной почтительностью, — прекрасное не имеет ничего общего с модой.

— Hear! Hear![1] — восклицает Верду.

— Почему hear, а не «браво»? — спрашивает Верделе.

— Потому что у меня мать англичанка.

— Скажите, Верделе,— вмешиваюсь я в разговор,— какие обязанности вы здесь исполняете?

— Несу вахту наравне с офицерами, как начальник службы наблюдения. А попросту говоря, пытаюсь руководить людьми, которые знают свое дело лучше меня.

— А вы, Верду?

— Я тоже занимаюсь наблюдением за подлодками противника. С теми же оговорками, что и Верделе. Представьте себе завод, где весь техперсонал состоит из талантов, а инженеры —сплошь гении, и вы поймете, что такое ПЛАРБ. Что же касается меня, то, не будучи инженером, я набираюсь ума-разума у техников, которыми командую.

— Вы только послушайте, доктор! — восхищается Верделе. — Не часто он выглядит таким скромником!

— На мой взгляд,— говорю я,— особенность службы на подлодке в том и состоит, что инженеры сознают необходимость присутствия специалистов-техников, а те понимают, что им не обойтись без инженеров. Поэтому конфликтов между ними возникать не должно, разве что в одной из этих групп окажется человек с трудным характером. Но ведь в принципе таких отфильтровывают при наборе команды.

— Случается, однако, что фильтры не срабатывают, — язвительно замечает Верделе. — И вот вам пример — сквозь них просочился Верду.

Мы хохочем во все горло. В самый разгар веселья в салоне появляется командир. Мы тут же встаем.

— Мне очень приятно, доктор,— говорит он улыбаясь, — что вы поладили с этими двумя паяцами. Вам, должно быть, небезызвестно, что именно вам троим и надлежит быть заводилами в нашей кают-компании.

— Ах, капитан,— откликается Верду,— знали бы вы, каково быть заводилой на этом конном заводе, вы бы не заводили таких речей!

Тут в салон входит с полдюжины офицеров, капитан подзывает меня к себе и знакомит их со мной; процедура столь же долгая, сколь, надо признаться, и бессмысленная, ведь в таких случаях запоминаешь, самое большее, одно имя. Поэтому я отвожу Верделе в сторонку, то есть в коридор, ибо кают-компания, откровенно говоря, перенаселена.

— Развей мои сомненья, сын, как говорил Корнель,— обращаюсь я к нему.— Капитан представил мне троих своих помощников, но я не уверен, что запомнил, кто из них кто и какие у них обязанности на борту.

— Первым делом, обратите внимание на вторую по значению фигуру на борту — на старпома Пикара,— начинает Верделе, явно упиваясь игрой слов.— Он в звании капитана второго ранга, так же, как наш командир. Вон тот низенький брюнет, что сейчас беседует с командиром.

— Не такой уж он низенький.

— С высоты моего роста,— возражает Верделе,— даже вы не смотритесь особенно высоким. Ну, так вот: если можно охарактеризовать Пикара одним словом, то слово это будет «живость», оно словно специально для него придумано. У него живые жесты, живой взгляд, живой ум, быстрая реакция, заразительный смех. Слово «компетентный» в приложении к Пикару кажется почти уничижительным. Он сверхактивен, динамичен, неутомим.

— Блестящий портрет. Девять очков из десяти возможных за такое описание.

— Не буду скромничать, ваша оценка не завышена. Но я продолжаю. Самый высокий, с холеной черной бородой,— это Алькье. Родом из Эльзас-Лотарингии. Капитан третьего ранга. Холодный и чопорный. Но это одна только видимость. Хотел стать летчиком-истребителем, не прошел по росту. Слишком долговяз. С катапультируемым креслом такому не управиться. Все ноги себе переломает.

— Ну, а третий?

— Это Форже, тоже капитан третьего ранга.

— Покажите мне его.

— Да вот он, разговаривает с Пикаром. Чтобы снова вас не обидеть, не буду упоминать, что он коротышка.

— Весьма вам признателен.

— Уточняю только, что он не выше Пикара. Но Пикар щуплый, а Форже пополней. И еще он никак не научится аккуратно зачесывать на лысину остатки своих волос.

— Смело сказано.

— Благодарю. Я продолжаю. Форже — бретонец, кадровый военный. Великий труженик. Старик dixit[1]: «С таким инженером, как Форже, капитан может спать без задних ног».

— Это как понимать — буквально?

— Как хотите. Он крайне вежлив, скромен, сдержан. Но сдержанность эта — от большой внутренней силы. О себе распространяться не любит.

— Словом, настоящий бретонец.

— Один из возможных типов бретонца. Северный бретонец. А Легийу — южный. Позволите продолжать, господин эскулап? Можно переходить к его подчиненным?

— Господин курсант,— отвечаю я ему с нарочитой строгостью,— мне кажется, что вам не к лицу отзываться об офицерах с тремя нашивками в столь развязном тоне. В конце концов, у меня тоже три нашивки.

— Красная каемка на ваших нашивках говорит сама за себя: вы, в сущности, лицо сугубо гражданское. К тому же, чем плохо быть капитан-лейтенантом?

— Прости, сынок, но я вижу, меня зовут к столу. Спасибо за все.

[1] Здесь: правильно! Верно! *(англ.)*.

[1] Говорит *(лат.)*.

Командир приберег для меня местечко справа от себя,— судя по всему, хотел оказать новичку особую честь. Напротив нас — старший помощник Пикар в окружении долговязого Алькье и главного энергетика Форже. Остальные устраиваются как придется, не соблюдая иерархии. Однако оба курсанта восседают рядышком в конце стола,— стало быть, так уж заведено.

— Вам не слишком тесно? — любезно осведомляется командир.

«Слишком тесно» — довольно мягкое выражение. Десять персон за таким столом! Да тут вообще не пошевелиться! И как это только Вильгельм ухитряется протискиваться между нами, ловко снимая с подноса тарелочки с закусками!

— Что вы, капитан! — отзываюсь я с наигранной бодростью.— Но если я помешаю вам резать мясо, не стесняйтесь, толкните меня локтем в бок.

На лицах собравшихся появляются улыбки, все взгляды устремляются на меня. Сидящая за столом команда уже спаялась за два предыдущих рейса. Понятно, что все эти люди посматривают на новичка с долей недоверия. Я похож на Маугли, которого обнюхивает волчья стая с Сионийских холмов, раздумывая, принять ли его к себе. И еще одно сходство с Маугли: в случае чего именно мне придется вытаскивать занозы у них из лап.

Как ни оживленно течет беседа, мне она совершенно непонятна, ее участники успели за время двух совместных плаваний накопить множество впечатлений, намеки на них веселят всех собравшихся, но не меня.

Капитан, вероятно, чувствует, что мне не под силу разобраться во всем этом «семейном» фольклоре, и переводит разговор на более общие темы:

— Итак, Алькье, вы докурили свою последнюю сигарету?

— Да, капитан.

— Ну и как, тяжело было?

— Разумеется. Каждый раз даю себе слово, что, вернувшись из рейса, не возьму больше в рот эту гадость. И каждый раз начинаю снова. А ведь начать курить по возвращении ничуть не легче, чем бросить при отплытии.

— Что и говорить,— соглашается капитан. В его голубых глазах вспыхивает лукавый огонек, и он продолжает:— В бытность мою старшим помощником, мой командир, как вырвется на свежий воздух, так вытаскивает из пачки сигарету и швыряет в море. Раз я поинтересовался, зачем он это делает. «Видите ли, Русселе,— объяснил он,— заметил, что после двухмесячного воздержания первая сигарета кажется прямо-таки тошнотворной. Вот я и выбрасываю ее за борт, чтобы начать прямо со второй».

Взрыв хохота. У всех довольный вид. Нет, напрасно утверждают, будто чувство юмора присуще только англичанам да американцам.

Не собираясь сидеть бессловесным истуканом, я улучаю минутку, чтобы ввернуть:

— Разрешите заметить, причина, по которой на борту подлодок запрещено курить, заключается в химическом составе табачного дыма: в нем обнаружено более сотни опасных для здоровья компонентов.

— Это не самая главная причина,— поспешно отзывается капитан.— Но тут я уступаю слово нашему главному, Форже, он у нас специалист по очистке воздуха на борту.

Форже проводит ладонью по лысине.

— Не хотелось бы мне выступать в роли докладчика,— произносит он своим спокойным, хорошо поставленным голосом,— особенно памятуя о том, каким малопривлекательным термином обозначаются у нас во флоте всякие там выступления.

Форже прокашливается и снова начинает полировать свою плешь. В этот миг я инстинктивно угадываю то, что не раз подтвердится впоследствии: этот человек пользуется на борту всеобщим уважением. Он хорошо знает свое дело, скромен и отзывчив. Под началом у него три капитан-лейтенанта, и вскоре мне предстоит узнать, что он трижды в неделю заступает на вахту вместо одного из них, чтобы дать тому возможность отоспаться.

— Дело в том, доктор,— начинает он своим мягким голосом, за которым, однако, угадывается твердость характера,— дело в том, что ПЛАРБ не может, по соображениям скрытности, всплыть на поверхность и заправиться воздухом, как это делается на дизельных подлодках. Мы запасаемся воздухом при отплытии, и вся проблема состоит в том, чтобы постоянно поддерживать в нем необходимое количество кислорода на уровне двадцати — двадцати двух процентов, а углекислого газа — не более семи десятых процента. От излишков углекислоты мы избавляемся, прогоняя ее через молекулярный фильтр, а кислород получаем путем гидролиза воды. Это задача не из простых.

Форже делает паузу. Пользуясь тем, что он сидит напротив меня и обращается прежде всего ко мне, я набираюсь смелости и спрашиваю:

— А в чем ее сложность?

— Водород выделяется со стороны катода, а кислород — со стороны анода. Если эти два газа соединятся, произойдет взрыв. Чтобы избежать столь пустяковой неприятности, употребляются асбестовые прокладки, которые пропускают водород, но задерживают кислород. Этим открытием мы обязаны англичанам.

— Hear! Hear! — вопит Верду.

— Вот и вся суть проблемы. Другие фильтрационные системы,— продолжает Форже,— позволяют нам отделаться от масляных паров, от испарений человеческого тела, от разных малоприятных запахов — в том числе тех, что источает гальюн,— и от фреона, в небольших количествах выделяющегося из рефрижераторов. Короче говоря, доктор, нам не стоило бы особенного труда устранить и табачный дым.

— Благодарю за объяснение,— говорю я, глядя на Форже.— Благодарю и прошу прощения: из-за меня вам придется есть остывшее жаркое.

— Ну что вы,— любезно отвечает оратор,— я не люблю горячего.

Вильгельм по второму разу обносит нас шоколадными пирожными, но я отказываюсь от добавочной порции.

— При таком меню,— говорю я,— нам всем и располнеть недолго.

Офицеры переглядываются, пересмеиваются.

— Этот смех, доктор, относится не к вам, а к вашему предшественнику,— успокаивает меня командир.— Уж как он заботился о наших фигурах!

— Боялся, что к концу рейса подлодка перегрузится и не сможет всплыть на поверхность,— добавляет кто-то.

— Можно вам задать вопрос, доктор? — обращается ко мне молоденький лейтенант, сидящий рядом с Верделе. Позже я узнал, что его зовут Анжель и что он только что окончил мореходку.

— Разумеется.

— У вас самого аппендицит не вырезан?

— Нет.

Мое откровенное признание вызывает настоящую бурю смеха. Я стараюсь держаться с надлежащим мужеством, хотя что уж тут приятного — терпеть насмешки от такого молокососа или, как говорится во флоте, салажонка.

— Не смущайтесь, доктор,— снова подбадривает меня командир,— ведь мы не над вами смеемся. Операционный блок у вас в лазарете для того и предусмотрен, что с кем-нибудь из экипажа может случиться приступ аппендицита. А представляете себе, что будет, если это произойдет с врачом?

— А такое бывало?

— Да, был такой случай на одной ПЛАРБ несколько лет назад. Мудреная сложилась ситуация: не забывайте про скрытность, не позволяющую нам вести передачи. Мы только принимаем и никогда не выходим в эфир сами.

— И чем же это кончилось?

— Врачу было совсем плохо, опасались наихудшего, так что пришлось нарушить правила. Вертолет добрался к ним на третьи сутки. Подлодка всплыла на поверхность, и больного эвакуировали.

— А как же обошлось со скрытностью?— спрашивает Анжель, произнося последнее слово каким-то особым тоном, приглушенным.

— Успокойтесь,— отвечает командир,— подлодка всплыла таким образом, что скрытность была соблюдена.

Я забыл уточнить, что трапеза наша могла считаться скорее ужином, чем обедом. Но мы можем уловить переход от дня к ночи только по изменению искусственного освещения. Днем оно обычное, ночью приобретает красноватый оттенок. Я чувствую наступление ночи потому лишь, что меня начинает одолевать усталость и клонит в сон. А вот как течет время для тех, кто должен отсыпаться «днем», чтобы заступить на вахту «ночью»?

Вернувшись к себе в каюту, я запираю дверь, гашу свет и укладываюсь на койке мысленно прокручивая перед собой все, что пережил сегодня.

Не скажу, что я остался недоволен общением с моими коллегами. На первый взгляд они показались мне очень милыми людьми, и я надеюсь, что они без труда примут меня в свой круг, как некогда волчья стая приняла Маугли.

Уже в полудреме меня внезапно поражает одна мысль. Сидя за обильным ужином в радушной компании, принимая как должное услуги вышколенного стюарда, я было совсем позабыл, что кроме атомного реактора, дающего нам энергию и освещение, в чреве стального левиафана скрыто по меньшей мере шестнадцать ракет с ядерными боеголовками.

Эти ракеты — наше крайнее средство. Три из шести наших ПЛАРБ по два месяца патрулируют моря: следуя никому не ведомым курсом, соблюдая строжайшую скрытность, они в любой миг готовы исполнить полученный по радио приказ президента Республики, послав свои ракеты в указанную им цель. Мы являемся, так сказать, сторожевыми псами Франции, защитниками ее жизненных интересов, мы постоянно щерим зубы, чтобы никто не посмел на нее покуситься.

Впрочем, сравнение это неточно. Щерить зубы — значит выставлять их напоказ, а мы не выставляем напоказ ничего. Слово «скрытность», которое я услышал сегодня вечером и которое мне предстоит еще сотни раз услышать за время плавания,— это слово на борту ПЛАРБ звучит как пароль, оно считается категорическим императивом, непреложным законом. Ничем не выдавать своего присутствия. Не раскрывать рта. Не высовывать на поверхность ни кончика носа, ни верхушки антенны, ни краешка перископа. От восьми до десяти недель наша подлодка будет бороздить океаны. Принимать радиосигналы. Но чтобы ее не засекли, сама она ничего передавать не будет. Ни разу не покажется на поверхности. Останется немой и незримой.

У нее нет иллюминаторов для обзора морских глубин, да они ей и ни к чему — ведь там, в абсолютной темноте, все равно ничего не увидишь; нет у нее и мощных прожекторов мифического «Наутилуса». У нее нет глаз, она прослушивает и прощупывает свой путь сонарами и гидрофонами. Она видит ушами.

Я смотрю на светящийся циферблат моих наручных часов. Десять минут одиннадцатого. На поверхности океана ночь, но завтра над ним взойдет солнце. Взойдет не для нас. Там, где мы находимся, царит мрак. Я стараюсь представить себе то, чего никогда не увидит глаз человека: эту исполинскую стотридцатиметровую рыбину, скользящую в черной пучине. Она слепа, но слух ее вечно напряжен.

Она вслушивается. Она не доверяет ничему, что к ней приближается. И, почуяв мало-мальскую опасность, спасается бегством или спешит залечь на дно.

Глава II

На следующее утро, в девять часов, после угрожающе калорийного завтрака, я отправляюсь в лазарет. Легийу уже там. Он роется в металлическом ящике с кипой бумаг. Небрежно кивнув мне, он убирает все это хозяйство в стенной шкаф и запирает на ключ.

— Скажите-ка, Легийу, у доктора Мёрио были определенные часы приема?

— Нет, мсье. Да это было бы и невозможно при нашей системе вахт. Больные заходят в лазарет при первой возможности.

До нас ведь рукой подать. Как говорит капитан, на подлодке не заблудишься, все ходы-выходы задраены.

— А что это за ящик я у вас видел?

— Это наш «кооператив». Ну, кооперативная лавочка, если хотите. Торгуем всякой дребеденью: конфетами, жвачкой, бритвенными лезвиями.

— И вы этой лавочкой заведуете?

— Нет, мсье,— хмыкает Легийу,— ею заведуете вы. А я только продавец.

— И в чем же состоят мои обязанности заведующего?

— Вам придется подбивать бабки в конце плаванья.

Я с безучастным видом кручусь по лазарету, глазею по сторонам. В конце концов не выдерживаю и спрашиваю:

— А не странно ли, что эта торговая деятельность уживается с медицинской службой?

— Одно другому не мешает. Вы скоро увидите.

— А доходы она приносит, эта лавочка?

— Разумеется, начальство покупает у нас разную ерунду, а потом раздает ее в качестве призов победителям всяких там игр и конкурсов. Хорошо расходятся поздравительные открытки с изображением нашей посудины — моряки посылают их родным и знакомым на Рождество.

— И дорого они стоят?

— Не дороже денег. Сами понимаете, парни гордятся нашей подлодкой.

В дверях появляется посетитель. Высокий, плотный, в засаленной спецовке.

— Привет, Легийу! А где наш новый эскулап?

— Я к вашим услугам.

— Ох, простите, господин доктор! Позвольте представиться, старшина Бишон.

— Здравствуйте, Бишон. Что вас привело ко мне?

— Да так. Горло болит и кашель.

— Понятное дело,— говорит Легийу.— Бортовая вентиляция.

Прослушиваю его. Осматриваю горло.

— Ничего серьезного. Легийу даст вам пастилки и микстуру от кашля. Температура у вас есть?

— Не уверен.

— Легийу, поставьте ему градусник.

Тем временем я заполняю историю болезни: любое недомогание, даже самое пустяковое, должно быть увековечено на бумаге. Начальство у нас без волокиты жить не может. Четверть часа — на осмотр, четверть часа — на писанину.

— Тридцать шесть и восемь,— объявляет Легийу.— Рано еще тебя упаковывать в целлофан и загружать в холодильник.

Бишон смеется. Этакий бонвиван, веселые глазки так и шныряют по сторонам, но чересчур уж полноват, видно не дурак поесть.

— Вы следите за своим весом, Бишон?

— Пытаюсь. Да уж больно тут кормежка классная.

— Что у вас за профессия, Бишон?

— Маслопуп в машинном.

— Как это понимать?

— Ну, механик я, в машинном отделении.

— И жарко у вас там?

— Еще бы! До тридцати пяти доходит. Не будь холодильников, и все пятьдесят было бы.

— Каких холодильников? — удивляюсь я.— Кухонных?

— Да нет,— улыбается Бишон,— не кухонных. У нас своя аппаратура, которая остужает воду и гонит вдоль стен по трубам. А потом вентиляторы разгоняют холодный воздух по всему отсеку.

— Поэтому-то вы вечно и ходите с бронхитом,— вставляет Легийу.

— Не только поэтому. Сам посуди, в машинном у нас тридцать пять, а в столовой сколько? Двадцать два от силы. Пойдешь поесть — и мигом простудишься.

— А ты не ешь. Похудание тебе на пользу.

— Не могу,— говорит Бишон.— Баб тут нет, вышивки тоже, надо же хоть чем-то себя вознаградить.

— А почему бы вам не надеть что-нибудь потеплее, когда вы идете обедать?

Бишон без особого энтузиазма соглашается.

Вообще механики — это не какие-нибудь там дохляки, а народ мужественный, закаленный, им не привыкать управляться со своими насосами, клапанами и вентилями. Этим «промасленным бушлатам», как они сами себя называют, нипочем ни холод, ни жара, ни сквозняки, ни шуточки, такие же сальные, как их робы.

За день я принял добрых полдюжины моряков; все они жаловались на пресловутую триаду «ухо-горло-нос».

— Понятное дело,— с довольным видом резюмирует Легийу.— Вентиляция виновата. Но через недельку все утрясется.

Возвращаясь к себе в каюту, я сталкиваюсь в коридоре с Жакье, которого не видел с тех пор, как он провожал меня накануне на мостик.

— А я вас ищу, доктор,— говорит он с детской улыбкой.— Командир просил вас зайти в кают-компанию.

— Иду. А почему так получилось, Жакье, что мы с вами не встретились там ни вчера, ни сегодня утром?

— Мы с Вильгельмом работаем посменно: неделю он, неделю я. Сейчас его черед.

— А вы чем теперь заняты?

— В основном уборкой офицерских кают. Вытираю пыль, драю умывальники, заправляю койки. Кстати, доктор, я заметил, что вы сами сегодня застелили свою койку. Я бы попросил вас больше этого не делать.

— Почему?

— Да потому, что матрасы у нас набиты тонкой стальной стружкой, можно пораниться, когда заправляешь простыню. Сколько случаев было.

— Спасибо за предупреждение, Жакье.

Мы прощаемся, я двигаюсь в кают-компанию. Все четыре кресла там пустуют. Как только я устраиваюсь в одном из них, невесть откуда выныривает Вильгельм:

— Не хотите ли чаю, доктор?

— С удовольствием.

Надо думать, кипяток у него уже был припасен: и минуты не прошло, как он ставит передо мной чашку и чайник, да еще тарелку с печеньем. Попивая чай, я кошусь на него краешком глаза. Он худой, долговязый, держится с известной элегантностью, черты лица правильные, короткая стрижка, живой взгляд. Его отличает чисто профес-

сиональная способность стушевываться, не скрываясь при этом окончательно из виду.

Я интересуюсь, как у него со здоровьем.

— Очень хорошо, доктор, благодарю вас,— отвечает Вильгельм и с виноватым видом добавляет:— Вот только зуб замучил.

— Ну и дела! — восклицаю я.— Неужели вы не удосужились сходить к дантисту на берегу?

— Этот зуб меня раньше не беспокоил. Дантист сказал, что у меня небольшой кариес.

Отсюда мораль: никогда не говори пациенту, что у него «небольшой» кариес.

— Приходите в лазарет завтра после дежурства. Посмотрим, что и как.

— Все дело в том, что это передний зуб. Мне бы не хотелось его вырывать.

— А кто вам сказал, что я рву зубы просто так, за здорово живешь? Если его можно подлечить, я постараюсь это сделать.

— Спасибо, доктор.

— И мне тоже чашечку чаю, Вильгельм,— внезапно раздается голос командира.

— Слушаюсь, командир,— отчеканивает Вильгельм, делая поворот на сто восемьдесят градусов.

— Вот так оно всегда,— замечаю я.— Он боится, что я выдеру у него зуб, который он не потрудился привести в порядок на берегу.

— Вы и в самом деле собираетесь это сделать? — спрашивает капитан, окидывая меня своими голубыми глазами; взгляд у него колючий и одновременно теплый.

— Ни в коем случае.

— Похвально. Если вы, доктор, не станете вырывать этот зуб, а залечите его, не причинив боли пациенту, команда будет считать вас настоящим эскулапом, а это поможет вам лучше справляться с вашими обязанностями, которые, как вы скоро увидите, довольно разнообразны и многочисленны.

«Вы скоро увидите». Точно такую же фразу я слышал сегодня от Легийу. Уж не сговорились ли они с капитаном?

Пауза. Он подносит чашку к губам, с наслаждением, как настоящий знаток, смакует чай. Потом отставляет чашку и безо всяких околичностей спрашивает:

— Ну, и каковы же ваши первые впечатления от встречи с офицерами?

— Прием был очень сердечным.

— Вы им тоже понравились, доктор. И вот еще что. Не думайте, будто вы обязаны все время торчать у себя в каюте или в лазарете. Медицина медициной, но и кроме нее на свете есть немало интересных вещей... ПЛАРБ — настоящее чудо техники. Побродите по кораблю, поспрашивайте людей. Они постараются вам ответить.

И тут же, улыбнувшись, добавляет:

— Не на все вопросы, разумеется.

Примерно через неделю после этого разговора я, взвешиваясь утром в санчасти, делаю удручающее открытие: я поправился на целый килограмм! Наскоро прикинув, чем грозит мне такая «поправка» в будущем, я тут же предписываю себе строжайший режим. Ни крупинки сахара с чаем. Никаких полдников. Никаких закусок. Никаких шоколадных батончиков за завтраком.

Но и этого мне кажется недостаточно — к моему спартанскому режиму я спешу присоединить спортивные упражнения.

— Скажите мне, Легийу, где у нас находится тренажер?

— В ракетном отсеке. А что случилось? Уж не начали ли вы полнеть?

Я киваю и обреченно жду, когда Легийу произнесет свою коронную фразу «понятное дело», но он ограничивается ухмылкой.

Дорогая читательница, Вам, быть может, покажется странным это выражение — «ракетный отсек». Так вот, представьте себе нашу ПЛАРБ в виде домашнего пирога, поделенного на ломти. На семь ломтей, ибо, как известно, в цифре семь есть нечто магическое,— они-то и называются отсеками. Сейчас я их Вам перечислю в обратном порядке, от кормы к носу.

Машинный отсек. Это как бы пирог в пироге, начиненный всякой всячиной, о которой я расскажу как-нибудь позже.

Электромоторный отсек, в котором расположена электростанция, вырабатывающая ток, и всякого рода вспомогательные устройства, необходимые, в частности, для функционирования ядерной «печи».

Атомный реактор. Не трепещите, пожалуйста. Спору нет, это настоящее чудовище. Но оно содержится в надежной клетке. И во время плавания в нее никто не суется.

Отсек регенерации воздуха — им ведает тот самый Форже, что прочел мне целую лекцию во время первого ужина в кают-компании. Там же находятся дополнительные блоки электропитания.

Ракетный отсек, где мне предстоит сбавлять вес на тренажере.

Центральный отсек с главным командным пунктом (название говорит само за себя), помещениями для экипажа и владениями вашего покорного слуги, а попросту говоря — санчастью.

И наконец, торпедный отсек. На «Несгибаемом» помимо торпед установлены две тактические ракеты «Экзосет», предназначенные для поражения из-под воды надводных кораблей противника.

В отличие от ломтей домашнего пирога отсеки ПЛАРБ не квадратные в разрезе, а круглые: каждый такой кругляш, кроме кормового, имеет метров двенадцать в диаметре и делится по вертикали на три палубы, или, выражаясь по-сухопутному, этажа. Их соединяют наклонные или вертикальные трапы. Вот вертикальные — сущее наказание. Они такие крутые, а перекладины у них такие узкие, что спускаться и подниматься по ним лучше всего боком.

Забегая вперед, скажу, что за время плаванья мне пришлось дважды иметь дело с растяжением сухожилий и один раз — со смещением коленной чашечки; матрос, которому так не повезло, чересчур поспешил и как следует двинул коленом о ступеньку. Прооперировать его я, конечно, не смог. Так ему и пришлось маяться с больной ногой до самого возвращения в Брест.

Будь я ведущим на телевидении, эта история с коленом послужила бы мне хорошим переходом для рассказа о моих упражнениях на тренажере. Но я пренебрегу удобным случаем, чтобы сказать еще два слова о ракетном отсеке, самом вместительном на ПЛАРБ: двенадцать метров в высо-

ту, двадцать в длину и десять в ширину. Коридор, опоясывающий его со всех четырех сторон, самый широкий на корабле. И освещен этот отсек лучше остальных.

Поскольку ПЛАРБ предназначена прежде всего для запуска ракет и ракеты эти являются главным образом баллистическими — я говорю «главным образом», потому что не следует забывать о торпедах и тактических ракетах в носовой части,— так вот, учитывая все это, уместно предположить, что все эти шестнадцать цилиндров с ядерными боеголовками будут внушать Вам (да и мне) чувство настоящего ужаса. Но, как ни странно, ракетный отсек не только самый просторный, но и самый красивый из всех. Царящая в отсеке чистота, блеск стальных и сияние медных конструкций придают ему, я бы сказал, некую неповторимую изысканность и элегантность.

Поработав педалями вхолостую, я сбавляю темп и перевожу дыхание. Пот льет с меня градом как расплата за каждый лишний кусочек сахара.

В глубине коридора появляется Роклор, второй боцман, и еще издали улыбается мне, обнажая крупные зубы. Я подлечил его, когда у бедняги началось воспаление среднего уха; принимал я его к концу рабочего дня потому что несколько минут обследования у нас с ним всякий раз выливались в двадцать минут болтовни.

Жена Роклора, уроженка Бреста, отучила его от марсельского акцента. Но в характере второго боцмана сохранилось что-то неистребимо южное. Он смугл, порывист, худ как щепка. Говорит — как из автомата строчит, и все больше длинными очередями. Ему всего двадцать шесть, а у него уже одиннадцатилетний сын,— таким образом, он побил все рекорды по части ранних браков, с чем я его и поздравил, разинув рот от изумления. Он был весьма польщен.

— Ну и работенку же вы себе задали,— говорит он, видя, как я взмок.— С чего бы это?

— Поправился на целый килограмм. Ладно, на сегодня с меня хватит,— решаю я, продолжая крутить педали, но уже с некоторой ленцой.— Если мне не изменяет память, Роклор, вы обслуживаете пульт, обеспечивающий безопасность погружения?

— Так точно, доктор.

— И сколько у вас там всего механиков?

— Человек тридцать.

— Порядочно. А как же получилось, что я знаком только с вами?

Роклор вполне мог бы ответить: «Воспаление среднего уха было у меня одного». Но такой простецкий ответ плохо вяжется с его пристрастием к смачным оборотам.

— Понимаете, доктор, я слишком заметная на борту фигура. Знаете, какая у меня глотка? Я могу трепаться без умолку. По три часа не закрываю поддувало.

— И довольны вы своей службой? Не тянет поменяться местами с каким-нибудь «маслопупом» из машинного отделения?

— Этого еще не хватало,— бросает он презрительным тоном.— Погружение у нас, как ни крути, главная забота, ведь подлодка для того и создана, чтобы погружаться.

— И как же она погружается?

— Да так и погружается,— отвечает Роклор с несколько удивленным видом.— Клапаны открываются, цистерны главного балласта заполняются водой, коэффициент живучести становится отрицательным — отчего бы ей не погрузиться?

Ну и язык! Ну и выражения! Неужели нельзя сказать попросту: отяжелевшая от воды подлодка уходит в глубину? Кроме того, я не совсем уверен, что мой собеседник употребил к месту слово «коэффициент».

— Должно быть, это сложная операция?

— Еще бы не сложная! Водоизмещение подлодки увеличивается, нужно все время держать его под контролем. Не допускать, чтобы темп погружения ускорился. Следить, чтобы давление воды не наделало делов. Герметичность у нас — проблема номер один..

— Ладно,— говорю я,— а чем вы занимаетесь, когда лодка погрузилась на заданную глубину?

— Ах, доктор,— вздыхает Роклор,— вы задаете мне точь-в-точь такие же вопросы, как моя жена. Надо думать, не ворон считаю. А уход за материальной частью? А герметичность? А все остальное? Одна дифферентовка чего стоит!

— Дифферентовка? Иными словами, изменение веса подлодки по отношению к воде? Но ведь вес самой подлодки остается постоянным.

— Но не плотность воды! — победоносно восклицает Роклор.— В океане все всегда колеблется. Изменяется температура воды, а вместе с тем — ее плотность. Чуть зазеваешься — и подлодка провалится на несколько метров. Вспомните Мертвое море, доктор,— какая там страшная плотность!

— Вы бывали на Мертвом море, Роклор?

— Нет, доктор, это я так, к слову. И все-таки плотность воды там такая, что и захочешь утопиться — не утопишься.

Эта мысль приводит его в восторг: он гогочет. И в самом деле, трудно представить его на месте какого-нибудь незадачливого утопленника.

Разговор наш прерывает невесть откуда взявшийся матросик:

— Вас, доктор, просят на кухню.

— Запомни, салага,— тут же накидывается на него боцман,— что на подлодке нет кухни, а есть камбуз. Кроме того, ты должен был сказать «господин врач», а не «доктор».

Новобранец заливается краской и умолкает. Знай сверчок свой шесток. А Роклор, сам называющий меня просто «доктор», очень доволен что может выразить свое уважение ко мне окольным путем, дав нагоняй подчиненному.

Я оставляю в покое тренажер и следую за матросиком.

В узком смысле слова камбуз — это царство кока Тетатюи (все зовут его Таитянином, хотя он родом с островов Гамбье[1]) и его помощника Жегу. В более широком — включает в себя также владения пекаря (на корабельном жаргоне — «пек») и интенданта Марсийяка.

[1] Французское островное владение в Полинезии.

Ко всем четверым я отношусь с огромной симпатией: они, наверное, самые большие труженики на корабле. С семи утра до девяти вечера оба кока не покладая рук готовят завтраки, обеды и ужины для ста тридцати человек. А пекарь с девяти вечера до семи утра, уж вовсе без передышки, выпекает румяные батоны, пирожки, бриоши, рогалики и пирожные, не говоря о всевозможных запеканках и пицце.

Если вы спросите у любого из членов экипажа, как он оценивает корабельную стряпню, все в один голос ответят: «Сущее объеденье!» Однако, восхищаясь ею в общем и целом, они, как и подобает настоящим французам, не преминут раскритиковать ее по мелочам.

Кока с пекарем эта критика неизменно задевает. За ними водится милая слабость, присущая любой хорошей домохозяйке: они любят, чтобы их стряпню хвалили.

Войдя в камбуз, я вижу, что вся компания уже в сборе — Таитянин Тетатюи, бретонец Жегу (такой же молчальник, как Морван) и уроженец Лангедока Марсийяк. Даже пек здесь, хотя ему, казалось бы, самое время отсыпаться после трудовой ночи. Все с серьезным видом уставились на четырех мороженых лососей.

— Вот какое дело, доктор,— обращается ко мне Марсийяк.— Вытащил я эти рыбины из морозилки и что-то мне не очень понравилось, как они выглядят. А вы что скажете?

Я гляжу на лососей. Туши внушительные, в каждой — килограммов пять. Но откуда мне знать, почему их вид не нравится интенданту?

— Сперва выслушаем кока,— говорю я.

— Ничего не поделаешь,— решает Тетатюи,— придется их распотрошить.

Пока они вместе с Жегу орудуют ножами я гляжу на их руки. Чистые, не придерешься. Ногти коротко острижены, никаких порезов,— загноившийся порез представляет опасность и для них самих, и для всего экипажа.

— Готово,— объявляет Тетатюи.

Смотрю во все глаза, но без толку. Понятия не имею, как должна выглядеть лососина, если она не сварена, да и запаха нет никакого — ведь она только что из морозилки. На всякий случай, слегка поморщившись, говорю:

— А вы что думаете, кок?

— Вроде бы не так страшно.

— А вы, Жегу?

Жегу молча кривит губы. Скажи кто-нибудь из них хоть слово, все и уладилось бы. Мне было бы за что зацепиться. Но они как воды в рот набрали. Мы впятером с молчаливым неодобрением взираем на распотрошенных лососей.

— И все-таки,— изрекает наконец пек, указывая на самого крупного,— вот эта рыбина недурна.

— Совсем недурна,— соглашается Тетатюи.

— Оказывается, все не так уж и плохо,— говорит Марсийяк, проводя пальцем по щеточке усов.— Значит, они съедобны?

Он-то первым и забил тревогу, вызвался играть роль прокурора, а теперь, видите ли, переметнулся в защитники. Понять его можно: потеря рыб будет на его совести. Но теперь начальник склада возобладал в нем над блюстителем гигиены:

— Значит, они съедобны?

— Съедобны, да не совсем,— бросает Тетатюи.

Жегу продолжает играть в молчанку, да и пекарю, судя по всему, сказать нечего. Все четверо мнутся. В мою сторону не глядят, но явно ждут моего решения. А оно уже принято. Передо мной только что промелькнула ужасная картина: на подлодку обрушивается волна кишечных заболеваний, две трети матросов и офицеров держатся за животы, вахтенная служба трещит по всем швам, моральное состояние экипажа с катастрофической скоростью падает

— Ладно,— говорю я,— давайте не рисковать. Отправим эту тухлятину в уплотнитель. Я подам рапорт старпому.

Здесь необходимо пояснить, что все отбросы на подлодке прессуются в специальных уплотнителях и опускаются на дно океана,— за неимением места жестяные контейнеры не держат на борту. Их герметически закрывают, а потом шлюзуют, то есть помещают в шлюзовую камеру — замкнутое пространство между двумя водонепроницаемыми задвижками, посредством которого мы сообщаемся с водой, не боясь, что она хлынет внутрь.

Чтобы покончить с этим вопросом, скажу, что контейнеры, называемые в просторечии «дерьмобаками» (звучное сокращение, не правда ли?), шлюзуются точно таким же образом, но скрытно, под покровом ночи.

Все эти подробности сообщил мне старший матрос Пинарель, молоденький белобрысый весельчак небольшого росточка, которого я застаю в санчасти, вернувшись туда из камбуза; он уже в третий раз заходит по поводу своей ногтоеды, которая, впрочем, хорошо заживает — неплохой повод для того, чтобы поболтать со мной.

— Больно уж тут с тобой носятся, краб,— говорит ему Легийу.

«Крабами» на жаргоне подводников называют старших матросов.

— А как же? — отзывается Пинарель.— Не дай бог дойдет до гангрены,— всю кисть оттяпают.

— Самое большее — палец,— утешает его санитар.

— Какая разница? — удивляется Пинарель.— Хотя бы и палец. Не думаю, чтобы моей невесте это понравилось, ведь мы собрались пожениться в конце путины.

Офицеры говорят «рейс», а матросы — «путина». Емкое словечко, хотя, надо признаться, звучит оно как-то нелепо по отношению к кораблю, который не имеет никакого касательства к рыбному промыслу. Но мне нравится, что матросы на подлодке сохранили это освященное вековой традицией выражение, где оживают все трудности долгого морского пути по бурным волнам.

— Всего-то делов — один палец! — ухмыляется Легийу.

Я неодобрительно кошусь на него, он замолкает.

— Что же, поздравляю вас с предстоящей свадьбой, Пинарель,— обращаюсь я к

своему пациенту.— А нельзя ли взглянуть на фотографию невесты?

Он только этого и ждет. Тут же сует руку в нагрудный карман, где рядом с дозиметром хранится карточка в целлофановой обертке, и, сделав равнодушное лицо, протягивает ее мне.

— Очень даже ничего,— говорю я.

— Экстра-класс,— оценивает Легийу.

— Вся штука в том,— с серьезным и внушительным видом объясняет Пинарель, засовывая карточку обратно,— что мне скоро исполнится двадцать два — самая пора жениться.

— Подумаешь,— не соглашается санитар.— Двадцать два — не такие уж и годы. Можно не торопиться.

— Прошу прощения,— возражает мой пациент,— я не согласен. Мне всего двадцать два, это верно, но я уже, можно сказать, старый морской волк. И на «Маршале Фоше» ходил, и на малых подлодках два с половиной года прокантовался, а теперь вот пошел во вторую путину на ПЛАРБ.

— Ну и как, понравилось вам на «Фоше»? — спрашиваю я.

— Нисколечко. Громадная посудина, не корабль, а настоящий завод. Две тысячи человек команды. А капитан — ни дать ни взять господь бог. Знаешь, что где-то он да существует, но в глаза его никто никогда не видел. То ли здесь. Все тебе знакомы, капитана каждый день можно встретить в коридоре, и он тебе тут же: «Здрасьте!» Ты не поверишь, Легийу, он мне как-то сказал: «Не забывайте, Пинарель, какую важную роль вы играете на борту».

— У нас все играют эту самую роль,— раздраженно бросает Легийу.

— А все равно приятно,— не уступает Пинарель. И оборачивается ко мне, надеясь на большее понимание:— Я, доктор, заведую холодильными установками, а по совместительству — и гальюнами. И вот представьте себе, что будет, если я зазеваюсь и холодильники разморозятся? Сколько тухлятины придется выкинуть за борт? А чем братва питаться будет? Или, к примеру, гальюн засорится, или, скажем, с дерьмобаком какая неувязка выйдет...

— Можешь не продолжать,— обрывает его Легийу,— мы и так все поняли.

— Вы говорите, Пинарель, что два с половиной года отслужили на малых подлодках? И каковы ваши впечатления?

— Ха, впечатления! — смеется Пинарель.— Получше, чем от нашей махины, несмотря на тамошние койки с подогревом и прочие прелести.

«Подогрев» коек на малых подлодках связан с нехваткой спальных мест: два на троих матросов. Когда один заступает на вахту, другой отсыпается в неостывшей постели.

— Не очень-то это удобно!

— Конечно, особенно в сравнении с ПЛАРБ,— здесь у каждого свой угол,— соглашается Пинарель.— Но есть там и свои преимущества. У малой подлодки габариты раза в два меньше. И вдвое меньше народу! Этакая сплоченная семейка...

Ближе к шести часам я отправляюсь в кают-компанию, чтобы выбрать себе книжку, и встречаю там лейтенанта Бекера. Это здоровенный, крепко сбитый верзила, метр девяносто ростом, краснорожий и бородатый — огромные ручищи, ноги как у слона, серьезный и холодный взгляд из-под тяжелых очков в роговой оправе. Сидя в кресле, он вышивает крестом чайную салфетку. Иголка в его лапище кажется совсем крохотной. Я присаживаюсь рядом.

— Вот уж не знал за вами таких талантов, лейтенант.

— Какие там таланты, доктор,— важно отвечает он,— крестиком-то каждый сумеет.

— Это чайная салфетка?

— Угу.

— И сколько вы их думаете сделать?

— Полдюжины плюс скатерть.

— Успеете до конца рейса?

— Постараюсь. Хотелось бы порадовать супругу.

Я всматриваюсь в него: в этом богатыре есть нечто от каменной статуи, холодной с виду, но наверняка исполненной внутреннего жара. И как трогателен этот великан, вышивающий в свободное время салфетки для своей супруги! Он ведь так и сказал — «супруга», а не «жена». Лейтенант, должно быть, из тех людей, что серьезно относятся не только к брачным узам, но и ко всему на свете.

— Вышивание доставляет вам удовольствие?

— Помогает расслабиться. Одно плохо: при неоновом освещении недолго и глаза испортить.

Иными словами, нет в мире совершенства, и даже само «расслабление» может оказаться угомительным. Хочется сказать ему об этом вслух, но боюсь, моя шутка его не порадует.

— Вы, наверное, родом из восточных провинций?

Обратите внимание, что я, наученный опытом, не уточняю, откуда именно: из Эльзаса, Лотарингии или Вогезов.

— Да, я эльзасец.

— У вас в роду были военные?

— Нет. Если не считать деда, его в сороковом году силком забрали в вермахт.

— И чем же это вас привлекла военная служба?

— Трудно сказать. До восемнадцати лет, когда меня призвали, я моря в глаза не видел!

— Значит, вы и мореходное училище не кончали?

— Нет. Прослужил три года во флоте, прошел конкурс офицеров запаса, и тут мне предложили пятилетний контракт в военно-морском флоте. Я офицер запаса на действительной службе. По окончании контракта начальство может его не возобновить и списать меня на берег.

В его словах не чувствуется ни жалости к себе ни упрека. Факт есть факт: командование военно-морских сил шутить не любит. Сам Бекер тоже. Это, судя по всему, человек положительный, аккуратный, застегнутый, что называется, на все пуговицы, и отнюдь не болтливый. Словом, полная противоположность Роклору. Но Роклор мне тоже нравится. Во Франции всем есть место. Я расспрашиваю дальше:

— Сегодня мне довелось услышать от

одного парня довольно-таки странное выражение. Объясняя мне, как погружается подлодка после наполнения балластных цистерн, он сказал: «Коэффициент живучести становится отрицательным, отчего бы ей не погрузиться?»

— Он, разумеется, хотел сказать «плавучести»,— говорит Бекер без тени улыбки.— Не надо забывать,— продолжает он, откладывая свое рукоделие,— что у подлодки два корпуса: прочный внутренний и легкий наружный. А между ними находятся балластные цистерны.

— Кстати,— говорю я, употребляя любимое словечко Легийу,— а что это, в сущности, такое — балластная цистерна? На что она похожа?

— Это полость в форме кольца между внешним и внутренним корпусами. Всего их восемь.

— А как в нее попадает вода?

— Через зарешеченное, но постоянно открытое отверстие в борту на уровне киля.

— Что значит — постоянно открытое?— спрашиваю я с некоторым беспокойством. — И почему вода не попадает в цистерны, когда подлодка идет в надводном положении?

— Ей мешает находящийся в них воздух.

А ведь верно! Если опустить в бассейн пустую бутылку горлышком вниз, вода в нее не наберется.

— Тогда как же удаляется воздух из цистерн перед погружением?

— Сейчас я и до этого дойду. На самом деле каждая цистерна состоит из двух независимых полуобъемов, один по левому борту, другой — по правому; внизу у них зарешеченные отверстия, а вверху — клапаны для выхода воздуха.

— Теперь все ясно как божий день,— говорю я.— Клапаны открываются, из них с шипением вырывается воздух, совсем как из откупоренной бутылки с газировкой, подлодка тяжелеет и погружается.

—А клапаны закрываются,— добавляет Бекер, улыбнувшись в первый раз за все это время.— Не забывайте закрыть клапаны.

Ему следовало бы улыбаться почаще. Тогда был бы ощутимей пышущий в нем внутренний жар.

— Зачем?

— Если их не закрыть, нельзя будет продуть сжатым воздухом цистерны, чтобы удалить из них воду, облегчить подлодку и всплыть на поверхность.

— А много ли времени занимает погружение?

— Тут самое главное — последовательность маневров. Лодка погружается в два приема. Во-первых, открываются клапаны, но не все. Клапаны двух центральных цистерн остаются закрытыми.

— Почему?

— Сейчас поймете. Подлодка начинает погружение, но еще не уходит глубоко под воду. Вахтенный на центральном пульте, глядя на приборное табло, еще раз проверяет, задраены ли все люки. И если задраены, дается команда к погружению на двадцать один метр. Открываются клапаны двух центральных цистерн, и лодка погружается на заданную глубину.

— И на этом все кончается?

— Только начинается. Нужно еще обеспечить правильную дифферентовку подводной лодки. А надо вам сказать, что она бывает двойная. По плавучести и по моменту.

Я с несколько идиотским видом повторяю:

— По плавучести и по моменту.

Давно замечено, что когда вам что-нибудь объясняют, вы стараетесь повторить услышанное вслух, чтобы как следует закрепить в памяти, а заодно заверить вашего наставника, что вы его понимаете.

— Займемся сначала плавучестью, — предлагает Бекер. — Как вам известно, каждое судно обладает определенным водоизмещением, соответствующим объему вытесненной им воды. Так вот, когда на подлодку будет погружено тридцать две тонны продовольствия и оборудования, да еще сто тридцать человек, она осядет, и тогда, чтобы сохранить прежнюю ватерлинию, ее надо как следует выровнять. Для этого и существуют уравнительные цистерны.

— И что же это такое?

— Полости, похожие на балластные цистерны, но расположенные попарно внутри прочного корпуса, две спереди и две сзади: в них перекачивается вода, облегчая или утяжеляя судно, чтобы удержать его в пределах ватерлинии. Эта осадка, разумеется, не бывает постоянной. Ее приходится все время выравнивать, поскольку плотность воды меняется с изменением температуры.

Об этом, помнится, мне уже говорил Роклор, приводя в качестве наглядного примера Мертвое море.

— Что же касается момента, — продолжает Бекер,— то он обеспечивается двумя дифферентными цистернами, которые тоже находятся внутри прочного корпуса — одна в носу, другая в корме — и сообщаются между собой Если у подлодки перегружена корма, воду из нее перекачивают к носу, и наоборот.

— Это, должно быть, сложная операция?

— Достаточно сложная. Пока подлодка погружается с определенной скоростью, выявить нарушение дифферентовки нелегко, так как оно компенсируется с помощью горизонтальных рулей. Но как только скорость уменьшается, эти рули перестают играть свою роль и нарушение можно определить. Хорошо дифферентованная подлодка отличается совершенной стабильностью — как вертикальной, так и горизонтальной. Она как бы застывает между двух вод — тех, что ее омывают, и тех, что циркулируют в ней самой.

Впрочем, это только так говорится, ведь на самом деле подлодка продолжает идти вперед.

Не знаю как там у них говорится, но эти слова Бекера только разжигают желание, не покидающее меня с тех пор, как я оказался на борту подлодки. Мне хочется — хотя бы глазами глубоководной светящейся рыбы — взглянуть со стороны на наше огромное черное чудовище, «застывшее между двух вод».

Покончив с объяснениями, Бекер как ни

в чем не бывало вновь склоняется над рукоделием.

— Спасибо, лейтенант,— говорю я,— здорово вы меня просветили.

— Насчет чего?— встревает в нашу беседу старпом Пикар, только что появившийся в кают-компании.

— Насчет погружения подлодки. Лейтенант Бекер проявил массу терпения, выслушивая такого олуха, как я. А я прямо замучил его вопросами.

— Любопытный олух — это уже не олух,— заявляет Пикар.— Олухи по большей части отличаются тупым равнодушием ко всему на свете. Кстати, господин эскулап,— добавляет он, взглянув на часы,— вы не забыли, что сегодня суббота?

— Нет, а в чем дело?

— В субботу вечером и в воскресенье мы облачаемся в парадную форму. Синие брюки и белый китель с погонами.

— Верно, а я и запамятовал!

Еще раз поблагодарив Бекера, я иду к себе в каюту, мою руки, причесываюсь и переодеваюсь, весьма довольный установленным на борту обычаем. Потом, немного поразмыслив, стаскиваю только что надетый китель и прилежно скоблю себе щеки.

Надо сказать, что экипаж ПЛАРБ разделяется на закоренелых бородачей (Алькье и Бекер), тех, кто отпускает бороду только во время плаванья, и тех, кто бреется регулярно. «Временные бородачи» держатся традиции, которая процветала на немецких подлодках еще в первую мировую войну. Оно и понятно: воды на тогдашних малых субмаринах было в обрез, про соблюдение гигиены и говорить не приходилось. Но можно найти оправдание и теперешним приверженцам буйной растительности на лице: тяготы и опасности долгого рейса без всплытия на поверхность и захода в порты, острое чувство одиночества, отсутствие женской ласки. Что же касается противников бород, к коим принадлежу и я, то они либо по-британски скрупулезно следят за своей внешностью, либо следуют примеру Стендаля, который даже во время отступления из России (еще одна героическая традиция!) не забывал бриться каждый день, либо попросту не хотят выставлять свои бороды напоказ, такие они у них редкие и невзрачные.

Не успеваю покончить с бритьем, как на пороге появляется Бекер.

— Простите, доктор,— обращается он ко мне нерешительным тоном.— У меня к вам крохотная просьбишка.

Он говорит «доктор», а не «эскулап». Ему нелегко привыкнуть к фамильярности.

— Излагайте, лейтенант,— подбадриваю я его.

Немного помолчав, он наконец решается:

— Не могли бы вы предоставить в мое распоряжение лазарет? В воскресенье, в десять утра.

— А для чего?

— Для молитвенного собрания.

— Но я слышал, что по воскресеньям передается телемесса, ее может слушать каждый, лежа с наушниками на своей койке.

— Это верно,— с серьезным видом подтверждает Бекер.— Но главный капеллан Базы полагает, что этого недостаточно. Он поручил мне проводить молитвенные собрания. Я этим и в предыдущий рейс занимался.

— С согласия капитана?

— С согласия капитана.

— Тогда считайте, что вы получили и мое согласие. Но если вдруг понадобится — вы все-таки смогли бы освободить лазарет?

— Непременно,— с серьезным видом отвечает Бекер.

Пауза. Он снова собирается с духом:

— А вы не хотели бы к нам присоединиться?

— Прийти на молитвенное собрание? Нет, увольте.

— Вы думаете, что телемессы достаточно?

— Я вообще не слушаю телемессы.

— А, понятно.

Он испытующе смотрит на меня поверх очков в тяжелой оправе. Я уже раскаиваюсь, что ответил ему так решительно. Теперь он, чего доброго, начнет донимать меня заботами о моей душе.

— Ну, большое вам спасибо, доктор,— произносит он наконец несколько смущенным тоном.— До скорого.

Появившись в битком набитой кают-компании, я вижу, что мои сотоварищи рады возможности покрасоваться в мундирах. К тому же, каждый постарался привести себя в порядок, это сразу бросается в глаза. Все аккуратно подстрижены. Бородачи расчесали свои бороды. В воздухе носится запах одеколона. У всех, даже у заядлых трезвенников, в руках стаканы с аперитивом. Немудрено, что разговоры текут непринужденней и голоса звучат веселее.

Когда все расселись за столом, поднялся курсант Верделе. Вынув из кармана лист бумаги, он преувеличенно торжественным тоном обращается к собравшимся:

— Господин капитан, господа офицеры! Будучи здесь самым молодым и низшим по званию, я, согласно традиции, должен ознакомить вас с меню. Экзотический израильский фрукт в сочетании с бретонским ракообразным. Жаркое из отпрыска французской коровы с местными овощами. Ассорти из заплесневелых сыров. И наконец, шоколадные корзиночки с ванильным кремом или — на выбор — с кремом для бритья.

— Вопросы будут? — осведомляется капитан.

— Недурно,— отзывается один из офицеров,— весьма недурно, особенно шоколадные корзиночки.

— Да, пожалуй, недурно, но как-то уж чересчур расплывчато,— подхватывает другой, вызывая всеобщий смех.— Что это за израильский фрукт? Авокадо с креветками или грейпфрут с крабами?

— Грейпфрут с крабами,— уточняет Верделе.

— Меню составлено неплохо,— говорит капитан,— но курсанту следует позаботиться о достаточной ясности выражений и, разумеется, не предлагать больше телячье жаркое. «Отпрыск французской коровы» нам уже поднадоел.

Дорогая читательница! Вам, конечно, покажется, что мы тут дурачимся, как дети.

Так оно и есть. Ведь Вы не осчастливили нас своим присутствием.

В конце концов, мы заслужили его, этот уик-энд с переодеванием, праздничным обедом, забавным меню. Спору нет, наши жены и невесты далеко. Но разве это повод для того, чтобы пребывать в унынии? Прошла целая неделя. Осталась за кормой, растворилась в глубоких черных водах. Но целых семь других еще ждут нас впереди: монументальных, долгих, как месяцы!

Глава III

Вслед за радистом Виньероном я принял еще трех или четырех пациентов. Все явились с сущими пустяками, Легийу мог бы сам поставить им диагноз и назначить лечение. Но я стараюсь не покидать свой пост. Легийу и без того возомнил себя настоящим врачом. А я знаю, что люди предпочитают обращаться непосредственно к господу богу, нежели иметь дело с его апостолом. Особенно если этот апостол взял моду вести себя в мое отсутствие как настоящий деспот.

А вот второй мой добрый апостол, Морван, забился в свой уголок и сидит там тише воды, ниже травы, не отрывая глаз от микроскопа. Он занимается анализом крови, нудной работой, которая, однако, пришлась ему по душе, поскольку тут он может проявить оба своих главных достоинства — усидчивость и добросовестность.

Я бы много отдал, чтобы обладать этими добродетелями, думаю я, проводив последних больных и занявшись писаниной, навязанной мне штабистами с Базы. Особенно сейчас, когда меня начинает одолевать тоска, а мысли то и дело возвращаются к Софи, от которой давно уже ни слуху ни духу. Неблагодарная Софи! Американский психолог сказал бы, что, влюбившись в нее, я вложил капитал в заведомо убыточное предприятие. Мрачное предчувствие подсказывает мне, что вклад мой уже пропал и что на прошлой неделе она вспомнила обо мне в последний раз. Если только не перепоручила эту заботу своей мамаше.

Действие, как известно, не только не уживается с пустыми грезами, но и всячески им противоборствует, а посему я решаю стряхнуть с себя одурь и прогуляться в машинный отсек, куда меня пригласил капитан-лейтенант Каллонек. Он радушно встречает меня на командном пункте атомной энергетической установки.

Это среднего роста голубоглазый парень, его светлые волосы то и дело спадают на лоб. Видно что он доволен и нашей встречей, и тем, что я интересуюсь его специальностью. Нельзя сказать, что офицеры-механики страдают комплексом неполноценности по отношению к «палубному начальству», скорее наоборот: они преисполнены откровенного и вполне справедливого чувства собственного достоинства. «В конце концов,— говорит мне с улыбкой Каллонек,— кто, как не мы, продвигает судно вперед». Вы, дорогая читательница, конечно же, помните сходные слова Роклора, который как-то произнес: «Погружение у нас, как ни крути, главная забота, ведь подлодка для того и создана, чтобы погружаться».

Если вы хотите представить, на что похож командный пункт энергетической установки, возьмите приборное табло обычного пассажирского самолета, распластайте его по трем стенкам небольшого квадратного помещения и посадите перед этими тремя панелями четырех операторов. На посторонний взгляд они вроде бы ничего не делают. Но ведь и пилот самолета тоже по большей части вроде бы ничем не занят. Однако кто будет оспаривать, что его присутствие в кабине необходимо.

— Я только что сдал вахту Миремону,— сообщает мне Каллонек,— и теперь свободен. Хотите, могу показать вам мои владения.

Миновав переборочную дверь, мы оказываемся в машинном отсеке. Я не скрываю своего потрясения:

— Да это же настоящий завод! Какой громадный, и как жарко тут!

— Не один завод,— поправляет меня Каллонек,— а сразу несколько. Источником энергии для нас служит пар, поставляемый атомным реактором, расположенным в соседнем отсеке. А отработанный пар превращается в пресную воду вон в тех испарителях, которые, по сути дела, являются дистилляторами. Эта вода находит себе двоякое применение. Во-первых, мы восполняем ею потери вторичной воды в кожухе реактора. А во-вторых, обрабатываем эту воду, добавляя в нее минеральные соли, и распределяем по всей подлодке для питья и мытья.

— Спасибо за воду, она у вас просто чудесная. И за возможность каждый день принимать душ. Ваша роль, как я погляжу, не ограничивается одними судовыми двигателями.

— Так точно,— со сдержанной гордостью отзывается Каллонек.— Мы и воду поставляем, и благодаря все тому же пару обеспечиваем судно электроэнергией: взгляните-ка на эти два маленьких турбогенератора.

— Не такие уж они и маленькие!

— По сравнению с двумя главными турбинами они совсем невелики.

— На глазок — метра два с половиной в длину и полтора в диаметре.

— Примерно так, но прибавьте еще толщину теплоизоляции.

— А с ней никогда не случается неприятностей?

— Нет, а что?

— На американской подлодке «Наутилус» под командованием Андерсона — той самой, что впервые пересекла Северный полюс под слоем льда,— однажды загорелась промасленная теплоизоляция.

— Господин эскулап, я преклоняюсь перед вашими знаниями.

— Ими я обязан судовой библиотеке, а также стремлению изничтожить в себе олуха. Как выразился старпом Пикар, любопытный олух — это уже не олух.

— Хорошо сказано.

— А это что такое?

— Дополнительный электромотор.

— С его помощью подлодка выходит из порта?

Каллонек хохочет во все горло:

— Да нет же! Вы путаете подлодку с яхтой. Мы отходим от пирса обычным способом: реактор дает пар, турбины вращаются, редуктор редуцирует, сцепление сцепляет и так далее. Не думайте, что мы не можем идти на самой малой скорости: она у нас в полном подчинении.

— Для чего же тогда служит электромотор?

— Мы пользуемся им в аварийной обстановке.

— Например?

— Например, обнаруживается небольшая утечка пара. Мы тут же перекрываем подачу основной энергии. Останавливаем турбину, выключаем сцепление и включаем электромотор.

— И часто бывают такие небольшие утечки?

— Нет, но они неизбежны, если учесть, сколько времени работают машины. Чаще всего не выдерживают сальники. Но сменить их — пара пустяков. Это занимает от силы пять минут.

— А как вы переходите от малых скоростей к большим?

— Изменение скорости зависит не от нас, этим ведает главный командный пункт.

— И как это происходит?

— Пойдемте, я вам покажу.

Мы возвращаемся на командный пункт, который теперь кажется мне еще более тесным. Каллонек усаживает меня перед одной из трех панелей, о которых я уже упоминал,— той, что находится справа от входа.

— Всего у нас четыре скорости: первая, вторая, третья и четвертая. Они соответствуют числу оборотов, как в автомобиле. Четвертая скорость — самая высокая. Когда командир хочет перейти на эту скорость, он отдает приказ вахтенному офицеру, а тот повторяет его рулевому. Рулевой нажимает на кнопку. Здесь, на командном пункте, раздается звонок, означающий: «Внимание! Меняем скорость!». Затем загорается лампочка над соответствующим указателем. Сидящий перед ним оператор,— Каллонек указывает на Бишона,— нажимает на ключ, и в турбины начинает поступать большее количество пара.

— И это все?

— Нет. Если скорость недостаточна, оператор, находящийся позади Бишона и следящий за реактором, нажимает на другой ключ, поднимающий решетку в реакторе: расщепление ядерного горючего идет более интенсивно, теплоотдача увеличивается, а с ней возрастает и количество пара.

— А что же это за решетка?

— Об этом вы спросите у Миремона. Реактор обхаживает он. Не буду отбивать у него хлеб.

Каллонек смеется собственной шутке. Вот уж воистину счастливый человек: все турбины у него в мозгу работают без сучка и задоринки, он на всех парах мчится к жизненной цели.

— Ну, доктор,— ухмыляется толстяк Бишон,— вот вы и разузнали все наши секреты. Отчего бы вам теперь не принять у меня вахту?

— А вы замените меня в лазарете? Что ж, это идея. Осталось только согласовать ее с командиром.

Я и получаса не пробыл в машинном отделении, а с меня уже градом катится пот. Перед тем как двинуться в более прохладные области подводного корабля, я снимаю свитер и накидываю на плечи, связав рукава на шее. Разница температур — потрясающая. Проходя по ракетному отсеку, замечаю парня, который прислонился к одной из наших смертоносных махин и мирно тренькает на гитаре. Улыбнувшись ему на ходу, я спешу к себе в лазарет, где меня поджидает почтенный посетитель: весь экипаж величает его «начальником», а он зовет себя «последним из подчиненных».

Он только что раскрошил пломбу в коренном зубе, с чрезмерным усердием налегая на шоколадное печенье. Поскольку зуб у него давно уже умерщвлен, мне остается только заменить пломбу. После чего мы затеваем беседу.

Мой пациент исполняет на борту роль хранителя подводного очага. Под началом у него ходят призывники, коки, санитары, стюарды, уборщики гальюнов и работники прачечной. Он же следит за тем, чтобы в столовой личного состава вовремя подавали пищу, мыли посуду, расставляли приборы для второй смены.

По утрам «начальник» просыпается раньше всех, еще до того как репродукторы возвещают побудку. А когда на корабле объявляется аврал по наведению порядка, он преображается во всевидящего Аргуса, который тут же заметит забытую на умывальнике зубную щетку, невытряхнутый мусорный ящик, незаправленную койку, стоящее не на своем месте ведро. Если во время такого аврала заспанным морякам случается замешкаться, «начальник» подгоняет их, повышая голос и хлопая в ладоши. Отсюда прозвище «хлопотарь», данное ему каким-то остряком в корабельной стенгазете. Но оно, к счастью, не прижилось.

В качестве главного старшины он исполнял обязанности вахтенного офицера на борту малой подлодки, где служил до поступления на ПЛАРБ, и мог бы, насколько я понимаю, сдать экзамены и перейти в офицерский состав. Я спрашиваю, почему он не стремится к повышению.

— Не знаю, доктор,— отвечает он уклончиво.— Все как-то не решусь.

— А чем, по-вашему, привлекает людей подводная служба?

— Прежде всего,— отвечает он,— материальной выгодой. Это вы не хуже меня знаете. Пятидесятипроцентная надбавка к жалованью, год службы приравнивается к трем, семьдесят пять франков премиальных за каждый день под водой, а после третьего рейса — и все сто двадцать. Неудивительно, что братва обзаводится собственными домами или квартирами.

— Вы, конечно, приобрели дом?

— Разумеется. И еще одно преимущество: надводник понятия не имеет, когда вернется на берег. А у нас можно рассчитать срок возвращения с точностью до десяти дней. И, соответственно, лучше распланировать свое время, особенно если ты женат. Да и отпуска у нас длиннее.

Он задумывается.

— Но это только одна сторона медали. Парни гордятся тем, что служат в подводниках. Приду я, скажем, к кому-нибудь на

свадьбу — меня тут же закидывают вопросами. Сколько молодых ребят хотели бы оказаться на моем месте! На самолетах летают все. Каждый может взять билет на паром Кале — Дувр. А вот подлодка — совсем другой коленкор. Я как-то подсчитал: на наших ПЛАРБ всего 1360 человек экипажа. На дизельных подлодках раза в два больше. Но все равно это очень немного.

— Короче говоря, вы считаетесь элитой?

— Я бы так не сказал,— отвечает он неуверенно.— Не хватало еще, чтобы мы белые воротнички носили! Но не забывайте, какую роль мы играем в обороне страны! Вы посмотрите, какими мы выходим из этой консервной банки после двухмесячного рейса. У блондинов не кожа, а жеваная бумага. А брюнеты и вовсе зеленые!

Нахмурившись, он снова погружается в размышления. Ему хочется подыскать слова, которые могли бы донести до меня всю притягательность, которую таит для него подводная служба.

— Я пятнадцать лет на подлодках,— говорит он наконец.— И что бы вы думали? До сих пор помню первое погружение. А наших двух курсантов видели? Обратили внимание, какие они фанаты подводного дела? Так вот, такими они и останутся теперь на всю жизнь, вроде меня!

— Словом, романтическая профессия?

— Ну, если хотите,— морщится мой собеседник, недовольный тем, что я свел к этой затасканной формуле всю уникальность и неповторимость его личного опыта.— И еще одно мне нравится на подлодке,— продолжает он,— здесь не поиграешь в кошки-мышки.

— Как это понимать?

— А так, что все мы тут варимся в одной кастрюльке, и каждому сразу видно, с кем он имеет дело. Пускать пыль в глаза бесполезно. Как ты ни прикидывайся, тебя сразу раскусят.

Слушая «начальника», я думаю, что уж ему-то незачем пускать пыль в глаза. Сумел же он сейчас в немногих простых словах растолковать мне столько важных вещей.

Стоя у меня за спиной, Легийу перебирает свои пробирки. Точнее говоря, расставляет их по-новому, хотя они уже были расставлены как следует,— верный признак того, что он пребывает в глубоком раздумье. И наконец, оборачивается ко мне:

— Доктор, можно вам задать вопрос?

— Валяйте.

— Вы верите в бога?

— А вы? — осведомляюсь я в свою очередь.

— Вообще-то нет. Но с тех пор, как я служу в подводниках, меня стали одолевать сомнения.

Вот так новость! Уж если этот типичный бретонец, а стало быть, атеист, антиклерикал и республиканец самого левого толка занялся столь возвышенной метафизикой в подводных пучинах, тут что-то кроется.

Я переспрашиваю:

— С тех пор, как вы служите в подводниках?

— Ну да,— говорит он.— Вообще-то я не против устрашения противника. От этого не увильнешь. Но с другой стороны, как вспомнишь про всю нашу братию — французских, английских, американских и советских подводников, которые без конца кружат по морям-океанам, готовые в считанные минуты уничтожить базы противника, а вместе с ними и половину планеты, так и подумаешь: да это же чистой воды безумие!

— И вам кажется, что, если бы существовал бог, он не допустил бы этого безумия?

— Не знаю,— отвечает Легийу.— А вы как считаете?

— Даже если бы он существовал,— говорю я,— ситуация, на мой взгляд, была бы не менее абсурдной. Иными словами, бог вполне мог бы допустить, чтобы люди уничтожили созданную им планету.

— Ну уж нет,— возражает мой собеседник.— Существуй он на самом деле, он бы этого не позволил.

— Слушайте, Легийу,— говорю я,— рискуя вас разочаровать, должен вам напомнить, что история омрачена памятью о бесчисленных кровопролитиях, их не предотвратило ничье сверхъестественное вмешательство. Более того, эти бойни чаще всего совершались как раз во имя господне.

Легийу ненадолго замолкает, потом опять принимается за свое:

— Стало быть, доктор, в бога вы не верите?

— Вера — дело тридесятое. Главное — это знание. А никаких знаний о боге у нас нет и быть не может.

— Почему же в таком случае,— произносит Легийу с оттенком угрозы,— вы по воскресеньям предоставляете лазарет лейтенанту Бекеру?

Так вот к чему сводится вся его метафизика, все эти возвышенные темы! Наконец-то мы низверглись с небес на грешную землю! Я снова оказываюсь лицом к лицу с этим упрямым бретонцем, антиклерикалом и республиканцем, который ни за что не раскошелится на самый пустяковый подарок для своего деревенского священника.

— А почему бы и нет? — говорю я.

— Вы не понимаете, что делаете, доктор! Этих святош на борту от силы десяток, а они транслируют свои молитвы по всему кораблю!

— Ну и что?

— Вспомните о ребятах, что пришли с ночной вахты. Для них это воскресное утро ничем не отличается от будней. Они отоспаться хотят!

Что я могу на это ответить? Хотят отоспаться — пускай не включают репродукторы возле коек. Но я не желаю вступать в пререкания и погружаюсь в свои бумаги. Легийу слоняется по лазарету. Покончив с писаниной, я спрашиваю:

— А как обстоят дела с вашей лавочкой?

— Лучше некуда. Прямо золотое дно. А самое главное, благодаря этому я вижусь с массой народа. Кстати, доктор, есть у меня один клиент, он что-то не в себе. Механик Бруар, старшина второй статьи.

— Он вам на что-нибудь жаловался?

— Да нет.

— А почему же вы тогда решили, что он не в себе?

— Потому что он каждый день покупает у меня по сто граммов конфет.

— И это вы считаете доказательством?

— В каком-то смысле — да. Если ему нужны сладости, чтобы меньше хотелось курить, он бы взял сразу килограмм или два, а не надоедал мне каждый день со своими ста граммами. Нет, доктор, дело тут в другом: парень ищет возможность поговорить.

— Но вы же сами сказали, что он рта не раскрывает.

— Ну, говорить-то он говорит, только все больше по пустякам. Ходит вокруг да около. Вы бы вызвали его на осмотр. Может, он и выложит вам, что там у него стряслось.

— Но не могу же я сам его вызвать? Без предлога?

— Предлог есть: он кашляет.

— Ну, ладно, передайте ему, чтобы зашел в конце приема. Там видно будет. Как, вы говорите, его зовут?

— Бруар. Высокий такой, худой, грудь впалая. И в глазах тоска зеленая — симптом, надеюсь, вам известный.

Глава IV

Радиограммы от родственников нам обычно вручает радист, но в эту субботу, в конце третьей недели плаванья, их взялся раздавать старпом. Когда он появляется в кают-компании, сердце мое вздрагивает. Я поспешно отворачиваюсь и склоняюсь над бокалом с лимонадом, который кажется мне таким же пресным, как и мои мысли.

«Спасибо, спасибо, старпом...» Вот и все. Боковым зрением я вижу, что руки его опустели. Если мы когда-нибудь увидимся с Софи, я скажу ей, что нет ничего мучительней молчания, оно поддерживает надежду, но в то же время постоянно обманывает ее. Уж лучше настоящий разрыв, похожий на взмах скальпеля: рана заживает быстрее, чем гнойник.

Весь вечер я изо всех сил стараюсь не следовать примеру молчальницы-Софи, но в таком состоянии трудно быть душой общества.

А ночью меня терзают тяжелые сны. Я попадаю в Прагу, самый очаровательный, самый любимый город на свете, и, гуляя по малостранским улочкам, вижу, что заблудился. Прохожие, к которым я обращаюсь то по-английски, то по-французски, то по-немецки, не понимают меня или не хотят понимать. Я долго блуждаю по улицам — все они неизменно оканчиваются тупиками. И наконец оказываюсь перед своей гостиницей, отелем «Алькрон» — мне так нравятся его красивые плюшевые дорожки, пышные шторы, старомодная мебель и коридорные в белых смокингах. Я спрашиваю у портье ключ от номера. «Но позвольте, сударь,— обращается он ко мне по-английски с недоуменным видом,— кто вы такой? — Я называю свое имя.— Такой постоялец у нас не значится,— говорит он,— да и номера такого в гостинице нет». Три человека, стоящие за конторкой, смотрят на меня с неодобрением. Я чувствую себя неловко и спешу ретироваться на улицу. Веселенькое дело! Одним махом потерять все: дорогу, гостиницу и чемодан, оставшийся в несуществующем номере!

Из всех кошмаров самый изнурительный тот, что связан с поисками утраченного пути: кажется, будто тебе вовеки не выбраться из заколдованного круга. И когда звуки побудки окончательно вырывают меня из царства мрачных грез, я долго еще не могу избавиться от впечатления невосполнимой потери, хотя прекрасно сознаю, что мои скудные пожитки — вот они, передо мной, аккуратно разложены по стенным шкафам! Я встаю с тяжелой головой, впервые за все время, проведенное на борту ПЛАРБ, мною овладевает неудержимое желание распахнуть окно, увидеть небо, вдохнуть земной воздух. Но этот порыв быстро проходит, уступая место чувству реальности. Побрившись, приняв душ и одевшись, я вновь оказываюсь в своей привычной шкуре общительного и рассудительного двуногого.

Бруар появляется в лазарете в половине второго. Я прошу его раздеться и внимательно прослушиваю. Все в порядке, как и следовало ожидать. Да и не пустили бы его на борт ракетоносца, будь у него что-нибудь серьезное.

— Ну что же, Бруар,— говорю я,— небольшой ларингит у вас есть. А остальное в норме. Легийу даст вам пастилки — попробуйте пососать. На подлодке гуляют сквозняки, ничего не поделаешь. Не станет легче, заходите еще.

Это на тот случай, если не удастся сегодня же вызвать его на откровенность. Он похож на улитку, которая и рада бы вылезти из своей раковины, да чего-то побаивается. Две глубокие морщины, начинаясь у крыльев носа, окаймляют его рот. Их называют «морщинами смеха», но непохоже, чтобы мой пациент часто смеялся или хотя бы улыбался. Глаза у него карие с золотистыми искорками, но жутко печальные — как у одного знакомого спаниеля, который своим взглядом наводил на меня глубокую тоску.

Он молча и понуро одевается. Я делаю попытку его расшевелить:

— Вы не очень-то хорошо выглядите. Может, с пищеварением неладно?

— Да нет, доктор.

— Тогда, может, душа не на месте? Что-нибудь случилось?

— Да нет, все нормально.

Взгляд у него подозрительный. Тон сухой и почти агрессивный.

— Ну ладно, Бруар, заходите, если кашель не утихнет.

Еле выдавив из себя: «Спасибо, доктор», мой пациент удаляется. А в лазарете тут же появляется Легийу, который на время приема скрылся в изоляторе. Я пожимаю плечами:

— Да, нечего сказать, парень он скрытный. И ему есть что скрывать, тут вы правы. Близкие друзья у него есть?

— Он дружит с Роклором.

— С этим марсельцем? Неужели они ладят?

— Еще как! Спорят, но ладят. Роклор упрекает Бруара за то, что из него слова не вытянешь. А тот зовет его трещоткой. Так ведь чтобы создать вселенную, любой материал годится.

...Через пять дней после неудачной по-

пытки разговорить Бруара я завтракаю в кают-компании, и вдруг Вильгельм шепчет мне на ухо:

— Доктор, вас срочно просят в лазарет.

Явившись туда, вижу Легийу: он смазывает йодом левую ладонь Роклора — она вся в крови. Роклор слегка побледнел, лицо у него дергается от боли, но этот подвижный щуплый человек не из тех, кто с бухты-барахты хлопается в обморок.

— Кто это вас так?

— Вилка, доктор.

— А у кого в руках была эта вилка?

Роклор отмалчивается. От такого болтуна как-то не ожидаешь заминки.

— Не мучайтесь, доктор, понапрасну,— приходит ко мне на помощь Легийу,— это дело рук Бруара.

— Не лезь! — бросает Роклор.

— Да что там скрывать,— упорствует Легийу,— в столовой было шестьдесят человек свидетелей. А теперь об этом знает весь экипаж.

— Здорово он вас! — говорю я, рассматривая одну за другой маленькие ранки и прощупывая суставы.— Сделайте ему рентгенограмму, Легийу!

— Просто он малость перенервничал, вот и все,— вступается за своего друга пострадавший.— С кем не бывает.

— И в чем же причина нервного срыва?

— Я его облаял. Вы же знаете, доктор, какое у меня поддувало. Часами не закрывается.

— Из-за чего же вы повздорили? — продолжаю я допрос, поглядывая на моего помощника, который готовит рентгеновский аппарат.

— Ну, так и быть, скажу,— отзывается Роклор после недолгой паузы.— Я прицепился к нему потому, что он то сутками молчит, то всех критикует.

— Кого же в частности?

— Старпома,— нехотя отвечает Роклор.

— Старпома? — удивляюсь я.— Да чем же ему не угодил старпом?

— Тем, что читает подряд все радиограммы. А бывает, не передает их адресатам.

— Скажите мне еще, Роклор, что вы сделали, когда Бруар пырнул вас вилкой?

— Да ровным счетом ничего. Обмотал руку носовым платком и пошел в лазарет.

— И ничего не сказали?

— Этого еще не хватало! Мы с Бруаром друзья, разве непонятно? Он и так уже свалял дурака!

Я смотрю на рентгенограмму: все кости целы. Собственноручно перевязываю Роклора и отправляю отдыхать.

— Вот что, Легийу, я пойду закончу завтрак, а вы тем временем поищите Бруара и попросите его зайти ко мне.

— С чего это я вам понадобился, доктор? — вызывающим тоном спрашивает Бруар, когда я через полчаса возвращаюсь в лазарет. Вид у него весьма мрачный.

— Эта надобность отпадет,— говорю я,— если вы не соизволите сбавить тон. Достаточно с меня того, что я лечу ваш кашель и перевязываю ваших дружков-приятелей. Но если вы не будете артачиться, мы, возможно, и столкуемся.

Я произношу все это быстро, сухо, и он малость сникает.

— Лично против вас, доктор, я ничего не имею.

— Спасибо хоть на этом.

— Но видите ли, доктор...

— Я вижу, вы не хотите, чтобы я вам помог.

— О какой помощи вы говорите?!— взрывается он.— Чем вы мне поможете? С подводной службой у меня все кончено! Теперь со мной могут сделать что угодно. Засадить в тюрягу, лишить звания, выслуги лет и вытурить из флота. Только мне начхать! Я уже принял решение. Закончится путина, вернусь на Иль-Лонг, соберу вещички — и поминай как звали!

— Да успокойтесь вы.— Я беру его за руку и усаживаю на стул.— Скажите мне, сколько рейсов вы сделали?

— Это у меня пятый,— отвечает он уже более миролюбивым тоном.

— Да, немало. Я понимаю, с вас достаточно. Что, если вам подыскать себе место на Базе? Ну, например, в судоремонтных мастерских — вы же механик. По-моему, это вполне возможно. Женатому человеку,— продолжаю я,— трудно выдержать эти шестьдесят или семьдесят дней. Вы женаты? Дети у вас есть?

— Женат. Но,— он сглатывает слюну,— детьми не обзавелся.

— А жена дает вам знать о себе?

— В последний раз я не получил радиограмму.

— И это вас беспокоит?

— Беспокоит — это мягко сказано. Она же у меня беременна!

— Но и в этом случае у вас нет особого повода для беспокойства. Все должно обойтись хорошо.

— Много вы знаете! — чуть ли не кричит он.— Повод есть, да еще какой! В прошлом году мы тоже ждали ребенка. У нее был выкидыш, она чуть не умерла, а я был в рейсе и даже не подозревал об этом!

— Короче говоря, вы боитесь, что беременность проходит неудачно, а вы опять не в курсе дела?

— Вот именно! — восклицает Бруар тоном, в котором слышится и гнев и облегчение.— Вот именно!

— А чем был вызван первый выкидыш? — спрашиваю я, выждав паузу.

— Она упала с лестницы.

— Но послушайте, Бруар, первый выкидыш был случайным, и нет оснований думать, что он повторится.

Мой довод заставляет его призадуматься, но отнюдь не убеждает.

— А если повторится! — взрывается он.— Как я узнаю? И все из-за этой чертовой цензуры!

Я смотрю на него: вот в чем, оказывается, загвоздка!

— А может, ваша жена просто-напросто забыла отправить вам очередную весточку?

— Вы не знаете мою жену, доктор!

— Или, скажем, радиограмма поступила на Базу слишком поздно и ее не успели переслать на борт?

— Такое бывает,— нехотя соглашается он,— да только я дошел до ручки на этой треклятой железяке под водой, где ни одна живая душа до тебя не докричится.

Если подводник называет свое судно «же-

лезякой», значит, он действительно дошел до ручки.

— Подождите меня здесь, Бруар,— говорю я ему, бросая взгляд на часы.— Я потолкую с одним человеком и тут же вернусь.

Не давая ему времени на ответ, я выхожу из лазарета и отправляюсь на поиски старпома.

Я нахожу его в центральном отсеке, возле трех перископов, которые никогда не используются по назначению — «по причине скрытности», но тем не менее содержатся в порядке — «на случай необходимости».

— Позвольте задать вам нескромный вопрос,— обращаюсь я к нему. В его черных глазах загораются огоньки.

— А вот я и мысленно не позволяю себе вмешиваться в ваши профессиональные дела,— отвечает он и тут же улыбается, чтобы подсластить поднесенную мне горькую пилюлю.

— Вы подвергали цензуре последние радиограммы?

— Нет.

— Я могу сказать об этом Бруару?

— Пришлите его ко мне. Я сам ему скажу.

Пикар, разумеется, уже знает все, или почти все. Я продолжаю:

— Во что ему обойдется эта вилка?

— Десять дней гауптвахты на борту.

— А в чем заключается наказание?

— В обычной работе.

— Стало быть, его можно считать чисто символическим?

— А вы что предлагаете? — спрашивает Пикар неожиданно серьезным тоном.— Отправить его на ночь на верхушку грот-мачты? Заковать в кандалы и недели на две бросить в трюм? Или попросить капитана, чтобы он самолично отвесил ему сотню ударов плетью о девяти хвостах?

— А может быть,— вмешиваюсь я,— привязать его на сутки к приемной антенне?

— И целые сутки не получать радиограмм? Это уж вы хватили лишку, господин эскулап.

Он раскатисто смеется, зондирует меня взглядом и говорит:

— Валяйте!

— Что значит «валяйте»?

— Задавайте свой третий вопрос.

Черт возьми, ну и проницательность! Он читает мои мысли как по писаному.

— Ладно,— говорю я,— вот мой последний вопрос: можно ли подыскать для Бруара работу в мастерских на Иль-Лонге?

— Не только можно, но и нужно.

— Почему «нужно»?

— Должен вам заметить, что ваш предыдущий вопрос оказался не последним, а предпоследним.

— Виноват!

— Итак, отвечаю. Бруар — отличный механик, но для подводника у него слишком слабые нервы. Случай с вилкой это лишний раз доказывает. И вот еще что...

Он крепко берет меня за локоть.

— Помалкивайте об этой моей оценке, хорошо?

— А не кажется ли вам, что цензура приносит больше вреда, чем пользы?

Он мгновенно вскидывается:

— Во-первых, никакой цензуры у нас нет. Мы только задерживаем извещения о смерти родственников, чтобы уберечь адресата от ненужных переживаний, поскольку он все равно не поспеет на похороны. К тому же, мы с капитаном обсуждаем каждый отдельный случай. И наконец, перед рейсом проводится опрос всех членов экипажа, чтобы узнать, не страдает ли кто из их близких тяжелой болезнью, исход которой может оказаться смертельным. В таких случаях мы не задерживаем извещение. Самое главное для нас, господин эскулап, это чтобы весть о неожиданной смерти не повлияла на моральное состояние человека.

— И тем самым,— подхватываю я,— на состояние всего экипажа.

— Естественно,— говорит Пикар,— о своем корабле мы тоже печемся. Неужели это вас удивляет?

— Нисколько.

На этом мы и расстаемся. Я возвращаюсь в лазарет, чтоб сказать Бруару, что его просит к себе старпом.

— И не волнуйтесь,— успокаиваю я его,— все устроится. Надо же учитывать обстоятельства...

Он выходит, бормоча: «Спасибо, доктор». А Легийу незамедлительно извлекает из всего происшедшего козырь для самого себя:

— Вот видите, доктор, лавочка, которой вы заведуете, а я управляю, тоже может сослужить хорошую службу. Не покупай у меня Бруар по сто граммов конфет в день, я нипочем бы не догадался, что с ним что-то неладно.

Глава V

Минула еще одна бесконечная неделя, впрочем, все они тянутся без конца. Я бросаю взгляд на часы. Начало седьмого. Неоновое освещение становится красноватым. Это говорит о том, что на поверхности наступила ночь — для тех счастливцев, для которых завтра взойдет солнце.

Единственное, что мне до сих пор не удалось превозмочь, это время. Быть может, вам приходилось видеть, как в спокойный день накатываются на берег неторопливые валы, отягченные водорослями? Они так тяжелы, что кажется, будто им вовеки не добраться до кромки прибоя. Так и наше время на борту: оно соткано из тяжкого ожидания.

Иногда меня снова охватывает желание распахнуть окно. Но если даже я смог бы это сделать, что бы я увидел? Черную воду великой бездны, способной вмиг раздавить человека, не защищенного скафандром. Все чаще и чаще я начинаю сомневаться в том, что где-то еще существуют голубые небеса, заря, обрызганная росой трава, женская улыбка. Если бы не работа и не люди вокруг, было бы отчего повеситься! Сартр в своих «Запертых дверях» ошибался, говоря, что ад — это другие. Другие — это наш рай или по меньшей мере чистилище.

Я не ищу одиночества, разве что когда мне нездоровится или я хандрю. Меня тянет к другим. А здесь особенно. Я вскаки-

ваю при первых звуках побудки, хотя она для меня необязательна, чтобы позавтракать в кают-компании, в кругу друзей. Вильгельм, чьи владения соседствуют с моими, пытался подавать мне завтрак в постель. Меня тронула его забота, но я не стал его поощрять. Я не люблю есть один.

В кают-компании — никого, кроме капитана третьего ранга Моссе. Он не принадлежит к числу любителей фруктового сока, зато обожает горячий шоколад. Две-три чашки утром и столько же в полдник — вот его обычная норма. Счастливы люди, которые каждый божий день могут заедать una cioccolata[1] полудюжиной рогаликов, не боясь повредить своей фигуре!

Его гладко выбритое худое лицо, напоминающее лицо Бонапарта на Аркольском мосту, как нельзя лучше вяжется с тонкой талией, непринужденностью, искренностью и откровенностью в разговоре. Он — единственный старший офицер, к которому подчиненные обращаются на «ты», а бывает, что и дерзят. Причина в том, что он совсем недавно выбился из низших чинов: его четвертая нашивка сверкает мишурной новизной и отнюдь не наводит трепета на окружающих.

Я спрашиваю, не хотелось бы ему вернуться в Тулон, где он служил раньше на дизельных подлодках.

— Еще бы!— восклицает он.— Какие там интересные маневры! За время службы на «Диане» я выпустил полсотни учебных торпед! А здесь за неполные пять лет — всего четыре... Впрочем, применение торпед не является основной задачей ПЛАРБ.

Тут я волей-неволей задаю ему дурацкий вопрос:

— А зачем же тогда нам торпеды?

Моссе улыбается:

— Есть такое военное правило — никогда не оставаться безоружным даже в безнадежной ситуации. Следуя этому правилу, бомбардировщик вооружают пушками, танкистам выдают пистолеты, а подлодку оснащают торпедами.

— И когда же она их использует?

— Когда во время войны ее обнаруживает и атакует вражеская субмарина. Представьте себе огромную крысу, за которой гонится маленькая кошка. Крыса старается увильнуть, но уж если ее приперли к стенке, ей ничего не остается, кроме как огрызнуться, пуская в ход зубы.

— Стало быть, торпеды — это ее зубы?

— Да. Но перспективы такой схватки не очень-то утешительны. Неприятель недолго действует в одиночку, вскоре за нами уже гонится целая стая.

— Вы забыли про наши два «Экзосета»!

— Опомнитесь, господин эскулап! Торпеда — оружие подводного боя. А «Экзосет» может поразить только надводное судно.

— Тогда зачем нам ракеты этого типа?

— Для разговора с кораблем, которому вздумается погладить нас по головке.

— Превосходная метафора!

— В этих случаях «Экзосет» незаменим, если только цель находится в пределах досягаемости. Я сказал бы даже, что он неотразим.

— Как это понять?

— У этих ракет огромная скорость. Они покрывают сорок километров менее чем за минуту.

— Вот это да! А вам самим доводилось пускать их в ход?

— Да, два раза, без боеголовки, разумеется. И в обоих случаях цель была поражена.

— Ну, капитан,— говорю я с улыбкой,— сразу видно, что вы настоящий артиллерист. С какой же тогда стати вы томитесь на ПЛАРБ?

На его лице отражается удивление.

— Откуда вы взяли, что я здесь скучаю? Мне просто некогда скучать. Во-первых, рейс на ПЛАРБ очень интересен с чисто человеческой точки зрения: каких только людей не увидишь в этой жестянке за время плаванья. А потом, здешняя ситуация очень похожа на реальную ситуацию во время конфликта. Мы постоянно живем как бы в состоянии войны, держа палец на спусковом крючке. Мы всегда готовы выстрелить.

— Но если такой приказ будет получен, стрелять придется не вам, а ракетчикам.

— Верно, доктор. Я нахожусь здесь на тот крайний случай, о котором мы только что говорили. Я не стреляю, я слушаю. Слушаю креветок, дельфинов. Слушаю шумы, издаваемые другими кораблями, пытаясь определить их пеленг и местонахождение. И разумеется, прослушиваю самого себя.

— Самого себя?

— Ну, это я так, для красного словца. Я прослушиваю шумы, производимые нашей подлодкой.

— Это еще зачем?

— Чтобы уменьшить их или устранить совсем. Во имя все той же скрытности!

— Интересно, как же можно устранить, например, шум гребного винта?

— Англичанам это удалось. Они изобрели винт, который вращается медленней, чем наш, но придает кораблю такую же скорость. И шума от него меньше.

— Будь здесь Верду, он наверняка заорал бы: «Hear! Hear!»

— И был бы прав.

Моссе умолкает и снова принимается за шоколад. Есть люди, которые пыжатся от гордости, когда им удается при стрельбе в тире всадить пять крохотных пулек в жалкую картонную мишень. А здесь передо мной человек, запросто распоряжающийся торпедами и ракетами типа «Экзосет»! И еще мне не дает покоя деталь, проскользнувшая в речах Моссе, мне хочется ее прояснить.

— Если я вас правильно понял, капитан,— обращаюсь я к нему,— скрытность ПЛАРБ, от которой зависит ее неуязвимость, а следовательно, и действенность в качестве оружия устрашения, обеспечивается, с одной стороны, бесшумностью самой подлодки, а с другой — эффективностью ее служб наблюдения.

— Это еще не все,— говорит он.— Важно учесть, насколько бесшумно движется

[1] Чашку шоколада *(итал.)*.

вражеское судно и как поставлена служба наблюдения у них.

— Стало быть, если вражеская подлодка издает меньше шума и обладает лучшей аппаратурой для обнаружения противника, нежели наши субмарины, она может выследить их раньше, чем выдаст себя, и уничтожить, оставаясь незамеченной.

Моссе смотрит на меня с довольно кислой миной:

— Что и говорить, положение не из приятных.

— Из чего я заключаю, что наши силы устрашения действенны только в той мере, в какой наша технология — а от нее зависит и бесшумность, и средства наблюдения — не уступает технологии возможного противника. А как все обстоит на самом деле?

— Хотел бы я видеть человека, который сумеет ответить на этот вопрос.

Наступает пауза, настолько тягостная для нас обоих, что мне не терпится поскорее прервать ее.

— Ладно,— говорю я с улыбкой.— Если мне, не дай бог, удастся когда-нибудь стать премьер-министром, я сделаю вот что: увеличу в десять раз число наших инженеров и отпущу в двадцать раз больше средств на научные изыскания.

— Напрасно вы беспокоитесь,— улыбается мне в ответ Моссе.— У нас уже разрабатываются ПЛАРБ второго поколения.

Взглянув на часы и убедившись, что переодеваться для торжественного ужина еще рановато, я протягиваю руку к книжной полке и достаю книгу — не совсем наугад: мне рекомендовал ее Верделе.

Книга называется «Тьма и холод» — это отчет о научном симпозиуме с участием представителей тридцати стран. В ней описываются возможные последствия атомной войны, во время которой будет использовано ядерное оружие мощностью в пять тысяч мегатонн.

Книга такая, что от нее мурашки бегают по спине. Ученые предсказывают, что в подобном конфликте погибнет до пятисот миллионов человек: одни сгорят заживо, других убьет ударной волной, третьи будут обречены на медленную смерть от радиации.

Чудовищная цифра. Но это еще не самое худшее. По мнению тех же ученых, выброс в атмосферу огромного количества пыли, копоти и дыма, вызванный не только самими взрывами, но и страшными пожарами, которые тут же займутся повсюду, приведет к тому, что солнечный свет померкнет и вся планета по крайней мере на год погрузится «во тьму и холод».

Согласно их подсчетам, температура даже в летнее время опустится намного ниже нуля, в результате чего вымерзнет вся растительность. Кроме того, растительный фотогенез станет вообще невозможен из-за постоянной темноты, так что животные и люди если и не совсем лишатся источников питания, то, во всяком случае, станут испытывать в них крайнюю нужду.

Вспыхнувший вследствие этого голод убьет, по всей вероятности, два с половиной миллиарда человек, а к голоду прибавится еще одна напасть: увеличение количества окислов азота в атмосфере разрушит защищающую нас озонную оболочку, вслед за чем возрастет ультрафиолетовая солнечная радиация. Людям и животным будет угрожать слепота, их ослабленная иммунная система не сможет больше противостоять болезням.

Ознакомившись с исходом этой грандиозной катастрофы, в которой погибнет три миллиарда человек, с некоторым удивлением узнаешь, что вопреки всему полтора миллиарда землян уцелеют — главным образом, жители Южного полушария. Менее всего пострадает население Австралии и Новой Зеландии.

Я не читаю эту книгу. Я ее только просматриваю. В ней много повторений, да оно и неудивительно — все ученые с поразительным единодушием рисуют одинаковую картину; она тем более впечатляет, что в их высказываниях не чувствуется никакой политической подоплеки.

Смотрю на часы. Пора идти переодеваться. На пороге я сталкиваюсь с Верду.

— Смотрите-ка,— восклицает он, увидев у меня в руках книгу,— вы читаете «Тьму и холод»?

— Да, жутковатая вещь.

— А вот генерал Галлуа нашел это описание Земли после ядерной катастрофы преувеличенным, неправдоподобным. Назвал его «отчетом для кинематографа».

— Вот уж не знал, что он имеет отношение к физике.

— Он к ней отношения не имеет. Он смотрит на все это с другой точки зрения. Ему кажется, что ни один руководитель государства не решится развязать ядерный конфликт, поскольку это было бы равносильно самоубийству.

— А что ты сам думаешь об этом?

— Вы, господин генерал, изволите рассуждать чересчур наивно,— выпаливает мой юный друг, вытягиваясь по стойке «смирно», но не скрывая ехидной улыбки в уголках губ. И продолжает: — Можно ли хоть на миг сомневаться в том, что, будь у Гитлера такая возможность, он развязал бы ядерную войну?

— Не спорю.

— А ведь в истории было много ему подобных. Мудрость, к сожалению, не является основным достоинством сильных мира сего. Я сейчас читаю книжку Барбары Тачмен «Безумный бег истории». С помощью тщательно подобранных примеров она показывает, что множество правителей — со времен Троянской войны до войны во Вьетнаме — проводили абсурдную, а подчас и самоубийственную политику, полностью противоположную интересам их стран.

— Когда кончишь, дай почитать мне.

— Что за поразительная жажда знаний,— изрекает Верду, принимая высокомерный вид,— особенно для простого эскулапа.

— Как знать,— говорю я,— быть может, ты видишь перед собой не круглого дурака, а всего лишь квадратного.

— Но зато чрезмерно самонадеянного!— восклицает Верду, патетически воздев руки.

Глава VI

У нашего кока Тетатюи редко выдается минутка для разговора. Однако он может позволить себе маленькую передышку после двух часов дня.

Он заглянул в лазарет с жалобой на небольшое растяжение связок в правом локтевом суставе и теперь, после осмотра, сидит, прислонившись к операционному столу, смотрит на меня и вздыхает. Ростом он не выдался, зато плечист, плотен и широколиц. А глаза у него такие огромные, словно вобрали в себя всю пронизанную солнцем безбрежность Южных морей.

— Наконец-то мне стукнуло тридцать три,— говорит он со вздохом.— Еще три года — и на берег.

— Вам так не терпится уйти в отставку?

— Отставка — не самое главное. Главное — отдых. Вы понимаете, доктор, французы из самой Франции думают только о работе. Работа! Работа! Они прямо помешались на своей работе! Чокнулись!

— По-вашему, это будет *маамаа*...

— Нет, доктор, *маамаа* — это по-таитянски. А у нас на Рикитеа чокнутых зовут *поковеливели*.

— Я слышал, что большинство коков, уйдя в отставку, открывают собственные рестораны.

— Только не я! — восклицает Тетатюи.— Сойду на берег — и близко не подойду к плите. Пусть жена этим занимается.

— А не будет вам скучно на Рикитеа, когда вы уйдете в отставку?

— Еще чего? Я займусь выращиванием искусственного жемчуга. У меня есть знакомый японец, он растолкует мне, что к чему. Я обучу моих односельчан, они и будут работать. А я и пальцем о палец не ударю.

— Но для разведения жемчужин нужны прибрежные участки...

— Этого добра у меня навалом. Я владею четвертью острова.

— Вы владеете четвертью острова Рикитеа?

— Ну, может, не четвертью, а чуть поменьше,— говорит он скромно.— Понимаете, доктор, мой дед был мировым судьей. Он умел читать и писать. А остальные были неграмотными. Вот он и подговорил их подписать свидетельство о продаже земель в обмен на кое-какую ерунду. И оттяпал у них четверть острова, пройдоха чертов!

Определение, данное им деду, нельзя назвать особенно лестным, но в тоне, которым оно произнесено, звучит гордость. Право есть право. Даже если оно добыто неправым путем.

— Ну хорошо, Тетатюи, а чем же займетесь вы сами, пока ваши земляки будут гнуть на вас спину?

— Как чем? Рыбалкой.

— Итак, насколько я вас понимаю,— говорю я с улыбкой,— ваши работники будут выращивать жемчуг, жемчуг будет приносить вам доходы, ваша жена займется хозяйством и стряпней, а вы тем временем будете удить рыбу. Но ведь говорится, что без труда не выловишь и рыбку из пруда...

— Смотря как ловить. Я просто закидываю лески в море, вот и все. Моторка идет на малой скорости, я поплевываю в воду, и рыба ловится сама собой. Даже наживку менять не надо: пусть те, что покрупней, заглатывают тех, что помельче.

Я мысленно представляю себе эту картину и меня разбирает неудержимый смех.

— Сидите вы, значит, в лодке, прислонившись к планширю, придерживаете двумя пальцами рулевое весло, а солнышко пригревает вам голую спину...

— Не обязательно голую,— вздыхает Тетатюи.— На островах Гамбье прохладнее, чем на Таити. Бывают дни, когда без легкого свитера не обойдешься...

Короче, нет в мире совершенства. Даже счастье не бывает полным. И тем не менее, если лет через пять судьба снова забросит меня в просторы Южных морей, я охотно завернул бы на остров Рикитеа, чтобы взглянуть, сбылись ли мечты нашего кока о сладостном farniente[1] — мечты, которые он вынашивает, потея по четырнадцать часов в сутки возле своих печей, запертый, как и все мы, в нашем стальном ящике.

Едва задремав, я снова оказываюсь в Праге, где в предыдущих кошмарах лишился чемодана. Я сижу в холле гостиницы «Алькрон» и пью чай. За соседним столиком расположились четыре юные особы, которых насмешливые чехи величают «девицами Тузекс». Тузекс — это сеть государственных магазинов, предназначенных исключительно для иностранных туристов; в них можно купить — разумеется, только на валюту — знаменитый богемский хрусталь. А что предлагают за ту же валюту девицы, околачиваясь в крупных отелях, где полным-полно западных дельцов, догадаться легко. Трудно только поверить этому, глядя на их изысканные манеры, строгие туалеты, неброский макияж, ленивые жесты, потупленные глазки. О красоте я уже и не говорю: такие красавицы встречаются только среди чешек.

Если я признаюсь Вам, читательница, что, чувствуя себя одиноким и неприкаянным, я не устоял перед искушением, Вы подумаете обо мне бог весть что. Но не забудьте: все это только сон. Поигрывая ключом от своих гостиничных апартаментов, я встаю, подхожу к девицам Тузекс и осведомляюсь у самой очаровательной, как ее зовут.

— София,— отвечает она.

Я показываю ей номер на брелоке и удаляюсь, чувствуя, что мое сердце колотится сильнее обычного. Минут пятнадцать спустя я слышу, как в дверь кто-то скребется. Открываю. Это моя прелестница: зеленые глаза чуть потуплены, головка слегка склонена набок, словно под тяжестью длинных черных волос, собранных в шиньон, как у настоящей романтической героини. На ней нарядное белое платье с вышитой на груди большой золотой птицей. Никаких украшений, только поблескивает на шее цепочка с крохотным крестиком. Ни дать ни взять — юная скромница, собирающаяся на свой первый бал.

[1] Ничегонеделанье *(итал.)*.

Я подвожу ее к постели, раздеваю и укладываю. Она забирается под одеяло, так что мне видны только ее распущенные черные волосы. Дрожа от нетерпения, я отворачиваюсь, раздеваюсь сам, а когда наконец откидываю одеяло, вижу под ним скелет с париком на омерзительном черепе.

Мой ужас сменяется безумным гневом: я хватаю телефонную трубку и в резких выражениях требую администрацию. Затем одеваюсь. В дверь стучат. Открываю и вижу перед собой двух субъектов в черном, они смотрят на меня с подозрением.

— Господа,— обращаюсь я к ним,— это недопустимо. Я полагал, что отель «Алькрон» — солидное заведение. А тут позволяют себе по отношению к туристам черт знает что! Я настаиваю, чтобы было произведено расследование и виновник этого зловещего фарса был наказан. В мою постель кто-то подложил женский скелет!

— Господин доктор,— отвечает мне тот, что повыше, таким тоном, словно поймал меня с поличным,— а откуда вам известно, что это женский скелет?

— Я что, его осматривал?— огрызаюсь я в раздражении.— Впрочем, это не имеет никакого значения. Мужской это скелет или женский, не мог же он сам улечься ко мне в постель?

— Господин доктор,— вступает в разговор второй из субъектов в черном, рыжий со светло-карими глазами,— отель «Алькрон» и впрямь солидное заведение, а посему не важно, какого пола этот скелет и каким образом он оказался у вас в постели — сам ли в нее забрался или вы его с собой привели. Главное, чтобы в обращении с ним вы соблюдали благопристойность. Это важно как для репутации отеля, так и для вашей собственной.

— Как это понять — благопристойность? — взрываюсь я.— Да я его и пальцем не коснулся! Как увидел у себя в постели, так сразу оделся и позвонил вам.

— Оделись, господин доктор?— говорит тот, что повыше, делая большие глаза.— Выходит, до этого вы были голым? Лежали голышом в постели вместе со скелетом? — Он переглядывается с напарником, и оба с сокрушенным видом покачивают головами.

— Господа!— кричу я вне себя от бешенства.— Окончим этот дурацкий разговор! Возьмите скелет и, ради бога, уберите его отсюда к чертовой матери! Он мне ни к чему!

С этими словами я решительным жестом сдергиваю одеяло. Под ним ничего нет. За спиной у меня раздается негромкое хихиканье.

— Господин доктор,— говорит низенький рыжий субъект, покашливая в кулак,— не доверяйте чешскому ликеру. Это коварная штука!

— Да я не пил ничего, кроме чая,— оправдываюсь я, но тщетно. Чопорно раскланявшись, они удаляются, а я, схватив ключ, иду вслед за ними по лестнице. Направляюсь прямо к столику девиц Тузек. Моя прелестница с невозмутимым видом восседает на прежнем месте. Только одета она не в девственно-белое платье, а в черный балахон с разрезом на боку. И накрашена куда сильней, чем прежде.

— Мадемуазель,— спрашиваю я у нее срывающимся голосом,— вас зовут София? Да или нет?

— Меня зовут Ольга,— отвечает она хрипловатым от курения басом и бесцеремонно улыбается, посматривая на ключ от номера. Зажав его в руке, я поспешно ретируюсь, взбегаю по монументальной лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек,— и просыпаюсь весь в испарине, сердце вот-вот выскочит из груди.

Зажигаю свет, понемногу прихожу в себя. Да, с подсознанием у меня неладно. Я словно бы только что побывал в аду Иеронима Босха. Смотрю на часы: скоро четыре. Меня одолевают два взаимодополняющих желания — мне хочется есть, мне хочется хоть с кем-то поговорить...

Спускаюсь в столовую. Там нет никого, кроме Сент-Эньяна — он у нас офицер ракетной части. Он только что сдал вахту, устал, проголодался. Веки у него покраснели, он еще не успел побриться.

— Насколько мне известно,— обращаюсь я к нему,— вы с Периньоном главные специалисты по ракетам?

— Не совсем так,— отзывается он.— Я специалист по ракетам М-20, но мало что смыслю в М-4. А «Несгибаемый» вооружен как раз этим последним типом ракет.

— И какая же между ними разница?

— Ракета М-4 обладает куда большей ударной силой, чем М-20. У нее больший радиус действия, а самое главное — шесть боеголовок.

— Минуточку,— прерываю я его.— Шестнадцать ракет с шестью ядерными боеголовками — это же почти сотня боеголовок! К чему нам столько?

— Чем больше боеголовок,— невозмутимо отвечает Сент-Эньян,— тем выше вероятность их попадания. Надо учитывать, что какое-то количество будет сбито, прежде чем они достигнут цели. Кроме того, оболочка боеголовок М-4 бронирована и менее уязвима для противоракетной обороны противника.

Я, разинув рот, слушаю этого обходительного и вежливого молодого человека, негромко и спокойно излагающего мне ход операции, в результате которой может быть уничтожена целая великая держава. Правда, он исходит из предположения, что к тому времени держава эта уже успеет стереть с лица земли нашу страну.

— А не может ли случиться так,— спрашиваю я,— что вы сойдете с ума и нажмете на кнопку?

В ответ Сент-Эньян смеется, смех еще больше молодит его.

— Во-первых,— говорит он,— перед тем, как отправиться в рейс, все подводники проходят обследование у психиатра, и, смею вас уверить, никаких отклонений у меня не обнаружено. А во-вторых, никакой специальной кнопки не существует. Есть табло, а на нем — целая серия кнопок, посредством которых осуществляется подготовка к запуску ракеты.

— А что, если безумец нажмет на все эти кнопки?

— Пусть себе нажимает — табло блоки-

ровано. Разблокировать его могут только командир и старпом, действуя совместно.

— Предположим, что и они рехнутся.

— Оба сразу?

— Пожалуй, я перегнул палку. Но допустим, что сходит с ума один командир и под дулом пистолета приказывает старпому разблокировать табло.

— И это невозможно. Командир способен разблокировать его только с помощью особого устройства, находящегося на командном посту, и при том условии, что старпом одновременно пустит в ход аналогичное устройство, расположенное этажом ниже.

— Здорово придумано! Будь это вымысел какого-нибудь романиста, ему бы никто не поверил. Значит, приняты все меры предосторожности, не позволяющие командиру действовать в одиночку?

— Более того,— продолжает мой собеседник,— командир может действовать только по приказу президента Республики, а приказ этот поступает к нему в виде шифрованной радиограммы.

— Которую, разумеется, необходимо расшифровать?

— Да, но сделать это не так-то просто. На борту имеются два шифровальных кода, они хранятся в разных сейфах. Получив правительственное сообщение, командир и старпом запираются у себя в каютах и расшифровывают его, а затем каждый из них вводит данные в ЭВМ, расположенные в разных помещениях. Если результаты совпадут, табло разблокируется.

— Что же происходит дальше?

— Осуществляется наведение. Нужно, разумеется, знать точное местоположение ПЛАРБ, чтобы вычислить расстояние между нею и целями.

— Целями? Разве их несколько?

— Скорее всего — да. Потом нужно запрограммировать траекторию ракеты.

— И как это делается?

— Сейчас объясню,— вздыхает Сент-Эньян. Можно только позавидовать ангельскому терпению, с которым этот усталый, полусонный человек отвечает на мои бесконечные вопросы.— Для каждой ракеты на борту предусмотрена своя вычислительная машина, обеспечивающая автоматическое наведение. Она-то и посылает ракеты к заданной цели. Впрочем, вся эта подготовка довольно сложна, ибо требует большой точности.

— И кто же этим занимается?

— Я вместе с главным комендором.

— Стало быть, цели вам неизвестны?

Сент-Эньян поднимает брови, потом хмурится и наконец говорит:

— Мы ничего не знаем о том, где они расположены. Их географические координаты записаны на магнитном диске, а прочесть его может только ЭВМ.

Я бросаю в чай кусочек сахару, размешиваю его, создавая в чашке мини-бурю. То, что сказал Сент-Эньян, наводит на размышления: стало быть, он запускает ракету, даже не зная цели, на которую должны излиться «сера и огонь». В каком-то смысле так ему спокойней. Одно дело — направить ракету в абстрактную точку земного шара, совсем другое — обрушить смертоносный заряд на город, чье название тебе известно.

Я задаю следующий вопрос:

— Положим, все ракеты запрограммированы. Как после этого осуществляется их запуск? Подлодка должна всплыть на поверхность?

— Да нет, только приблизиться к ней.

— На сколько метров?

— Это секрет,— усмехается Сент-Эньян.

— И не первый секрет, который от меня скрывают,— говорю я.— Итак, вы запускаете ракеты из-под воды. Как это происходит?

— Вы заметили на палубе, позади мостика, двойной ряд круглых люков? Всего их шестнадцать.

— Не заметил. Я слишком торопился, опаздывал.

— Ну так вот, люки эти открываются.

— Все разом?

— Один за другим.

— А как они открываются?

На губах Сент-Эньяна снова проскальзывает усмешка.

— Автоматически. Всем этим ведает вычислительная машина.

— Ну, хорошо,— говорю я, слегка задетый снисходительным тоном собеседника.— Люк открывается, вода заливает шахту, выводит из строя ракету и, как сказал Жан Жироду, «Троянская война не состоится».

— Увы,— возражает Сент-Эньян,— она состоится. Под крышей люка находится резиновая мембрана, которая не позволяет воде проникать в шахту. А затем ракета вырывается на поверхность.

— Каким образом?

— С помощью сжатого воздуха.

— Что за допотопная техника! — восклицаю я.— Паровая машина вращает гребной винт, сжатый воздух выталкивает ракету! Совсем как в духовых ружьях, которыми мы тешились в детстве!

— Техника та же, только помощней,— уточняет Сент-Эньян.— Во много раз мощней: ведь ракета весит восемнадцать тонн. И, несмотря на этот солидный вес, она поднимается из шахты, прорывает мембрану и, окруженная воздушной оболочкой, оказывается на поверхности.

— Как это так — окруженная воздушной оболочкой? Вы хотите сказать, что она не соприкасается с водой?

— Это было бы недопустимо.

— Хорошо,— говорю я,— она оказывается на поверхности. А потом?

— А потом она задействует собственный двигатель. Точнее говоря, двигатель первой ступени. Это ведь двуступенчатая ракета. В конечном счете ее боеголовка должна выйти на траекторию, которая позволит ей достичь земной поверхности в той точке, где находится заданная цель.

Сказано безупречно и математически точно: покрыв три тысячи километров, ракета М-20 «достигает земной поверхности в той точке, где находится заданная цель». Я нисколько не иронизирую. Я — твердый сторонник политики устрашения. Я понимаю ее необходимость. Я принимаю весь сопряженный с нею риск. Но от этой фразы спина у меня холодеет. Я думаю о ракете противника, которая в это же са-

мое время «достигает земной поверхности» в той точке, где находятся мои близкие.

— Я задал бы вам еще один вопросик, да боюсь, что вконец надоем.

— Задавайте, чего уж там! Вы мне нисколько не надоели. Да и с завтраком я еще не покончил.

— Ну так вот: чем вы заняты во время рейда, если никакого запуска ракет не происходит?

Сент-Эньян смеется:

— Вот здесь никакого секрета нет. Вы видели ракетный отсек? Какой он огромный, какой сложный! И все это хозяйство необходимо держать в порядке. Контролировать. Проверять. Кроме меня и старшего комендора этим занята уйма народа. По девять человек на каждую шахту и по шесть — на каждую ракету.

— Судя по всему, вы довольны своим положением?

— Разумеется. Дело в том, что на суше я занимался куда более скучными вещами. А поступив на ПЛАРБ, понял, что ремесло подводника и есть мое истинное призвание. Мне кажется, что здесь я занимаюсь чем-то значительным, нужным, важным.

— А не приходит ли вам в голову мысль, что в один прекрасный день вы все-таки получите приказ выстрелить?

Пауза. Потом Сент-Эньян бесстрастно произносит:

— Я предпочитаю не думать об этом.

Выдержав еще одну паузу, я говорю:

— Я понимаю, вы любите свое ремесло, трудитесь сознательно, не за страх, а за совесть, с подъемом. И все же это парадокс: днем и ночью вы следите за своими шахтами и ракетами, пылинке не даете на них сесть, поддерживаете в состоянии полной боевой готовности, а в глубине души надеетесь, что стрелять вам никогда не придется.

Едва я заканчиваю фразу, как Сент-Эньян поспешно восклицает:

— Конечно! Ну конечно же!

Впервые за нашу беседу я слышу в его голосе нотки раздражения.

Глава VII

В это воскресенье за праздничным ужином разговор заходит о статистике. И тут мы узнаем, что средний возраст членов экипажа — включая офицеров, старшин и матросов — составляет двадцать семь лет.

— Есть и другие интересные цифры,— говорит Форже, оглаживая свою лысину.— Ну, скажем, среднесуточный расход воды у нас на подлодке составляет десять тонн, а бывает и тринадцать.

— Откуда же такая разница? — спрашивает старпом.

— Перерасход наблюдается накануне тех дней, когда Алькье идет инспектировать какой-нибудь отсек...

Все хохочут.

— Скажите мне, Форже,— вступает в разговор Каллонек,— известно ли вам, сколько тонн продовольствия грузят на ПЛАРБ перед отплытием?

— Откуда мне знать?

— А вот я знаю,— вмешивается старпом.— Тридцать две тонны.

— Тридцать две тонны на сто тридцать человек,— говорю я,— это не так уж много. А что будет, если выйдет из строя реактор?

— Реактор никогда еще из строя не выходил,— с возмущением вскидывает голову Миремон.

— Я отвечу на ваш вопрос, господин эскулап,— вмешивается Верделе.— Кроме продовольствия на семьдесят дней — такова наибольшая продолжительность похода — подлодка имеет аварийный запас в консервах на две недели. А кроме того, на самый крайний случай продусмотрен еще сверхаварийный запас на каждого: банка тунца, морские сухари, склянка со спиртом, таблетки для опреснения воды, плитка шоколада...

— Для Моссе предусмотрены две плитки,— вставляет Анжель.

— И пять-шесть листиков туалетной бумаги,— заключает Верделе.

— А когда мы съедим эти припасы,— говорит Каллонек,— нас съедят рыбы.

— Скажу вам в утешение,— серьезным тоном провозглашает Моссе,— что благодаря опеке штабистов мы по крайней мере умрем с чистыми задами.

Гомерический хохот. Капитан обращается к стюарду:

— Чего вы ждете, Вильгельм? Пора подавать десерт.

— Жду, когда прекратится смех,— отвечает Вильгельм.— А то десерт недолго расплескать: он жидкий.

— Господа,— говорит старпом,— вы сами убедились, что в кают-компании даже стюарды обретают чувство юмора.

— Благодарю вас,— невозмутимо отзывается Вильгельм.

На самом деле десерт не такой уж жидкий: это шарлотка из кокосового ореха со взбитыми сливками. Мы немедля воздаем ей должное, и на время за столом воцаряется тишина.

— Я часто задумываюсь вот над чем,— говорит вдруг капитан.— Будь у нас возможность ежедневно опрашивать команду, мы имели бы пускай не статистические данные, но хотя бы интересные графики, позволяющие ответить на один немаловажный вопрос, а именно: если учесть, что моральное состояние экипажа выше всего в первую неделю рейса и, разумеется, в последнюю, перед самым возвращением в Брест, то на какой период плаванья приходится самый низкий его уровень?

— На мой взгляд,— отзывается старпом,— самое паршивое настроение у команды бывает на шестой неделе рейса. Тут все одно к одному: падает выносливость, начинает сказываться пребывание взаперти, отсутствие солнечного света и нормального воздуха, однообразие вахт, а кроме того, до конца плаванья еще далеко, так что не почерпнешь новые силы в мыслях о возвращении.

— Пятая или шестая неделя — тут еще можно поспорить,— заключает капитан,— но действительно, именно тогда и наступает момент, когда приходится удваивать бдительность и бороться с невнимательностью, расхлябанностью, мелкими ссорами

и пустяковыми стычками, которые могут обернуться крупными неприятностями.

Помнится, когда мне было пятнадцать лет, наш деревенский кюре неизменно спрашивал меня в конце исповеди, не грешил ли я «мысленно». Как молод я ни был, такие вопросы казались мне инквизиторскими. По-моему, священник мог ограничиться реальными грехами, в которых я ему успел признаться, и не копаться в моих грезах. Что было бы, если бы в душу к нему полез я? Не говоря уже о том, что следовало знать простую истину: мысленно нарушая какое-нибудь табу, мы тем самым удерживаем себя от того, чтобы согрешить на самом деле.

По всей видимости, самое большое преимущество снов наяву перед настоящими снами состоит в том, что они покорны нашей воле. Вот и сейчас, думая о Полинезии, где я провел когда-то блаженный месяц, я вновь переношусь на Бора-Бора, купаюсь в лазурной лагуне и доплываю до небольшой песчаной косы, на которую выбросило сирену. Ей трудно вернуться в родную стихию, потому что туловище ее заканчивается рыбьим хвостом. Я помогаю ей добраться до воды, мы становимся друзьями, я заключаю ее в объятия. Но это небезопасно. Сирена может заманить меня на глубокое место и потопить — Одиссей из меня никудышный. А если даже этого не случится, я вряд ли сумею утолить свою страсть: ног-то у нее нет, а хвост покрыт колючей чешуей. И тогда меня ждет кошмар почище того, что я испытал с девицей Тузекс, обернувшейся скелетом. Но, слава богу, на сей раз все обходится благополучно: усилием воли я вовремя превращаю сирену в обыкновенную женщину со всеми вытекающими отсюда последствиями. А когда она исчезает и я предаюсь новым грезам, мне чудится, что я оказываюсь на Таити, но не на пляже и не в лодке посреди лагуны, а в глубине острова.

На стволах кокосовых пальм, растущих вдоль дороги, видны таблички с надписью «тапю». Я не сразу соображаю, что это местная и подлинная орфография слова, которое давно прижилось у нас на Западе. Таитянское «ю» произносится почти как «у», а «п» звучит довольно близко к «б», так что в общем получается «табу». Не удивительно ли, что мы позаимствовали это слово, обозначающее (а порой и предписывающее) моральные запреты, из языка островов, где запретов такого рода почти не существует?..

«Табу» обозначает там главным образом право частной собственности: «Не трогайте эту кокосовую пальму, но не потому, что этого нельзя делать, а потому, что она принадлежит мне». Таблички эти можно видеть на Таити повсюду, и если они не украшают шеи местных красавиц, то лишь по той причине, что на острове не особенно развито понятие верности.

На Западе же слово «табу» превратилось в синоним категорического запрета, относящегося подчас к возможности затронуть какую-либо проблему, задать тот или иной вопрос. Мне в голову приходит забавная мысль, что таблички, висящие в Полинезии на стволах кокосовых пальм, можно было бы развесить на подлодке чуть ли не всюду.

— При какой температуре манипуляции с реактором становятся опасными?

— Табу!

— Какова предельная глубина погружения ПЛАРБ?

— Табу!

— Какова максимальная скорость атомной подлодки?

— Табу!

— Сколько времени требуется для запуска всех ее шестнадцати ракет?

— Табу!

— На каком расстоянии от поверхности они запускаются?

— Табу!

— Что происходит после запуска?

— Табу!

— Каков маршрут нашего теперешнего рейса?

— Табу!

Хотя, по правде говоря, наш теперешний поход «табуирован» лишь до известной степени. Рано или поздно маршрут перестает быть тайной, хотя бы частично, для «палубных» офицеров, в чьи обязанности входит поддержание курса; да и экипаж не оставляет без внимания колебания температуры за бортом, отзывающиеся внутри подлодки, и делает отсюда выводы о том, в каких морях она странствует.

Поразительное совпадение: как раз в тот миг, когда я об этом думаю, на пороге появляется Жакье, помощник стюарда Вильгельма, и вручает мне свежий номер бортовой газеты «На всех парах». Листая его, я натыкаюсь на карикатуры, изображающие нашу подлодку. Ей придано человеческое обличье, хотя трудно понять, мужчина это или женщина; эти забавные фигурки разбросаны по всей географической карте, одни — у кромки льдов, другие — в тени кокосовых пальм. Подпись гласит: «Догадайся, где мы?» На левой стороне страницы, в виде объяснения, воспроизводится вырезка из какой-то центральной газеты.

Я с изумлением читаю:

«Наш ответ на ракеты СС-20. Сооружение военно-морской базы в Новой Каледонии, позволяющей принимать французские атомные подлодки, является началом нового этапа нашей ядерной стратегии. На сегодняшний день в море постоянно находятся три наших ПЛАРБ. Одна из них патрулирует берега Норвегии, угрожая Москве и ее окрестностям. Вторая скрывается в глубинах Эгейского моря; ее цель — уничтожение советского военного флота у побережья Крыма. Третья курсирует в Индийском океане. Ее ракеты должны, пролетев над Пакистаном, стереть с лица земли Киев и отрезать от Советского Союза Среднюю Азию. Верховное командование считает, что именно она имеет наибольшие шансы на успешное проведение порученной операции. В сверхсекретном обращении министра обороны говорится, что подлодка, которая будет базироваться в Тихом океане, сможет достичь любой точки на советской террито-

рии. Это и есть наш ответ на их ракеты СС-20».

Я смотрю на часы. Пора взглянуть, что делается в лазарете. Проходя мимо командирской каюты, замечаю, что дверь ее открыта. Кеп сидит за письменным столом.

— Я вам не помешаю?

— Нисколько.

— Вы видели фотокопию статьи о новой морской базе в нашей газетенке?

— Видел. Но это же дичь! Подумать только, министр обороны распинается перед каким-то борзописцем, раскрывая ему маршруты наших подлодок! Да еще говорится о каком-то «сверхсекретном обращении»! Ведь маршрут каждой ПЛАРБ не только является государственной тайной, но и останется ею до тех пор, пока все подлодки не будут сняты с вооружения.

Я смотрю на него во все глаза.

— Вы хотите сказать, что и первый маршрут «Неустрашимого», во время его рейса пятнадцатилетней давности, до сих пор держится в тайне?

— В абсолютной тайне.

— А почему?

— Предположим, что тогда, в январе 1972 года, наш возможный противник засек и расшифровал акустическую сигнализацию «Неустрашимого». Если тогдашний маршрут «Неустрашимого» предать гласности, противник без труда сможет засечь его еще раз, потому что будет обладать и данными о его акустической характеристике, и координатами своей первой встречи с ним...

Когда приходит время выпить чашку чаю, я не застаю в кают-компании капитана, зато встречаю там обоих курсантов. Удобно устроившись в креслах, они с деловым видом обсуждают книгу генерала Копеля «Победить войну». Поскольку я ее не читал, мне интересно послушать их беседу.

— Согласись,— говорит Верделе,— что автор сам по себе человек симпатичный. Отречься от блестящей карьеры, уйти в отставку в сорок восемь лет, будучи уже заместителем начальника генерального штаба Военно-воздушных сил, с единственной целью — опубликовать книгу, где подвергаются сомнению официальные установки,— это свидетельство большого мужества, тем более что такое не часто встречается.

— Что ж,— отвечает Верду,— я согласен с тем, что редко встретишь генерала или адмирала, который отрекся бы от регалий ради защиты собственных идей. Но прогнозы Копеля — чистый бред.

— Это уж объяснит Верделе. У него самого склонность к поэтическому бреду.

— Копель исходит из предположения, что Советский Союз развяжет в Европе крупный военный конфликт и первым делом обрушится на Германию.

— А зачем ему это? — недоумеваю я.

— Как зачем? — спрашивает Верделе.

— Ну, с какой стати ему это делать? СССР — и без того огромное государство. Зачем ему рисковать ради увеличения своей территории?

— Копель считает, что мощь коммунистического мира подорвана. И предрекает, что в один прекрасный день молодежь подорвет ее еще сильнее изнутри. Тогда советская власть превратится в реальную опасность для внешнего мира. «Всякий сильный зверь, получивший смертельную рану, становится опасным»,— так дословно пишет Копель.

— Сравнение еще не есть доказательство,— возражает Верду.— Если сбросить со счета диссидентов, которые, по сути дела, являются представителями ничтожной части населения, большая его часть поддерживает советский строй хотя бы потому, что не знает никакого другого. Кстати, еще в 1941 году Германия надеялась на крушение этого строя после нескольких недель войны...

— Что касается меня,— говорю я,— то я не особенно верю в его «крушение» ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем, а еще меньше меня убеждает аргумент, согласно которому обреченный строй способен развязать крупный военный конфликт... Но примем предпосылки Копеля. В конце концов, кому, как не генералам, предсказывать ход военных действий.

— Итак,— продолжает Верделе, — в ночь с 22 на 23 мая советские танки при поддержке авиации предпринимают массированное наступление на территорию Западной Германии.

— Само собой разумеется,— вмешивается Верду,— что силы НАТО окажутся застигнутыми врасплох. Неужели ни один космический спутник не предупредит их о наращивании танковых дивизий на границе?

— В прогнозе об этом ничего не говорится. Но я продолжаю: 24 мая силы Варшавского договора начинают широкую газовую атаку, в результате которой войска западных союзников несут колоссальные потери и отступают. Главнокомандующий силами НАТО испрашивает у президента Соединенных Штатов разрешения на использование против агрессора тактического ядерного оружия. Президент такого разрешения не даст.

— Вот тут-то и начинается бред,— снова вмешивается Верду.— Дело в том, что Копель плохо разбирается в истории. Будь он более подкован, он знал бы, что Соединенные Штаты всегда молниеносно реагировали на неожиданные нападения. И вот вам пример. В конце XIX века Америка объявила войну Испании, потому что ее броненосец «Мэн» при весьма таинственных обстоятельствах взорвался на рейде Гаваны. Торпедирование «Лузитании», при котором погибло 125 американцев, послужило одной из причин вступления Штатов в 1917 году в первую мировую войну. А трагедия Пёрл-Харбора обусловила их участие во второй мировой войне.

— Но почему же американский президент не разрешит ввести в бой против агрессора тактическое ядерное оружие? — спрашиваю я.

— Согласно прогнозу Копеля, этому воспротивится американское общественное мнение. Оно выскажется против применения ядерного оружия в Европе.

— Просто невероятно,— говорит Верду.— Неужели этому самому мнению наплевать на смерть сотен тысяч людей, удушенных газом? Подобная бесчувственность была бы беспрецедентной в истории Соединенных Штатов.

— И что же в таком случае произойдет с Германией? — спрашиваю я.

— Она будет завоевана.

— А Франция?

— И Франция тоже,— произносит Верду саркастическим тоном.— Наш президент откажется прибегнуть к тактическому ядерному оружию.

— И к стратегическим ракетам?

— Тем более к стратегическим ракетам.

— Спрашивается, зачем же мы тогда служим! А что будет с Великобританией?

— Об этом прогноз умалчивает. Короче говоря, всего за неделю СССР захватывает всю континентальную Западную Европу.

— Отдавая должное Копелю,— замечает Верделе,— я все же подчеркну, что сам он не придает своему прогнозу пророческого характера.

— Это всего лишь стилистическая оговорка,— немедля возражает Верду,— ведь прогноз этот, по утверждению автора, «принимает в расчет современную расстановку военных сил». На самом же деле слабость и неправдоподобность его гипотезы заключаются в том, что она не учитывает конкретной ситуации — политической и исторической.

— Мне тоже кажется,— говорю я после короткой паузы,— что прогноз этот составлен с оглядкой, быть может, бессознательной, на вторую мировую войну, в которой главную роль играли авиация и танки...

— И я так думаю,— соглашается Верду.— Прогноз этот обращен скорее в прошлое, чем в будущее.

— Но в то же время Копель — гуманист,— замечает Верделе.— Он ненавидит ядерную бойню.

— А кому она по душе? — парирует Верду.— К сожалению, крупный военный конфликт в Европе рано или поздно перерастает в атомную войну. Копель забывает, что в окружении Рейгана есть такие «ястребы», как Буш, Карлуччи или Джонс, которые полагают, будто «атомную войну можно выиграть».

— Более чем вероятно,— вставляю я,— что такие «ястребы» есть и в Кремле.

В этот момент в кают-компании появляется капитан и усаживается в единственное пустующее кресло.

— О чем вы тут беседуете, молодые люди? — осведомляется он.

— О книге генерала Копеля.

— А,— бросает кеп.

— Ваш чай, господин капитан,— говорит Вильгельм, ставя перед ним чайник и чашку.

— Скажите мне, Вильгельм,— спрашивает капитан,— каким образом вы узнаете, что я вот-вот должен появиться?

— Мне это подсказывает мой внутренний голос, господин капитан,— отвечает стюард.

Наступает тишина, кажется, она никогда не прервется. Капитан постукивает кончиками пальцев по чайнику; наконец решился и плеснул себе в чашку чаю. Цвет заварки явно ему не нравится, и он нетерпеливым жестом отставляет чайник. За все это время он не взглянул ни на кого из нас троих.

— А вы, капитан, согласны с тезисами книги генерала Копеля? — подает голос Верду.

— Какой именно? — спрашивает командир.— У него их несколько.

— Той, где описывается советское вторжение в Западную Европу.

— Ну вот, теперь, пожалуй, мой чай настоялся,— задумчиво говорит капитан.

Он берет чайник, не торопясь наполняет чашку. Несмотря на аккуратность его движений, сквозь ситечко все же проскальзывает чаинка (чай в пакетиках капитан не употребляет). Он выуживает ее ложечкой и стряхивает на блюдце. Разламывает пополам кусочек сахару, бросает обе половинки в чашку и тихонько помешивает.

— Дело в том,— заключает он,— что все такого рода прогнозы чересчур категоричны. На самом же деле они редко подтверждаются, ибо основываются на слишком большом числе неопределенных и непредсказуемых данных. В лучшем случае это каскад домыслов и предположений.

Мы с Легийу настолько сблизились за время плавания, что вечерами частенько болтаем о том о сем, а иногда спорим и о вполне серьезных вещах.

— Доктор, вы верите в загробную жизнь?

— Нет. А вы-то сами в нее верите?

Легийу так энергично сглатывает слюну, что по его монгольским скулам перекатываются желваки.

— Временами мне кажется,— произносит он с видимым усилием,— что совсем умереть просто невозможно.

— Стало быть, вы, сами того не сознавая, являетесь верующим, и в таком случае я умолкаю.

— Как это так — умолкаете? — Тон у санитара чуть ли не враждебный.— Если я верю в загробную жизнь, вы считаете зазорным со мной беседовать?

— Ну-ну, не злитесь,— улыбаюсь я.— Вы меня не так поняли. Если вы хоть на йоту верите в бессмертие, с какой стати мне вас переубеждать, даже из наилучших побуждений?

— А разве нельзя сделать это из любви к истине?

— Не следует изрекать истины, причиняющие кому-то боль.

— Выходит, мне будет больно, если я перестану верить в загробную жизнь?

— Разумеется. Ведь вы верите в нее именно потому, что мысль о смерти кажется вам невыносимой.

— Да, так оно и есть.

Пауза. Вслед затем Легийу с обычным своим упорством продолжает:

— И все-таки мне неясно, почему вы не верите в бессмертие души.

— Потому что не могу постичь саму эту идею. Когда человек умирает, необратимо разрушается его мозг, угасает память, то есть то, что было в нем наиболее личностного.

— Ну а вдруг какое-то чудо вновь вернет все это к жизни?

— Вне органической формы, благодаря которой они существовали?

— Да, с этим не поспоришь,— констатирует Легийу.— Не говоря уже о том, что потребовался бы миллиард чудес, чтобы превратить миллиард мертвецов в бессмерт-

ные души. Но истинно верующий человек сказал бы вам, что в этом нет ничего невозможного.

— Для веры нет ничего невозможного. В этом вся ее суть.

Легийу снова умолкает. Я не выдерживаю и говорю:

— Не распространяйтесь о нашей беседе, ладно? Мне не хотелось бы, чтобы на борту думали, будто я занимаюсь антирелигиозной пропагандой.

— А вот попы своей пропагандой занимаются, да еще в открытую,— замечает Легийу, внезапно становясь антиклерикалом.

— Ничего удивительного. Они верят, что истина на их стороне.

— А вы не верите, что истина на вашей стороне?

— Не истина, а только ее крупицы, едва освещенные слабым сиянием разума.

Легийу явно разочарован таким ответом: моя философия не кажется ему утешительной.

Я мысленно возвращаюсь лет на двенадцать назад, к первым годам моих занятий медициной, когда мы с однокурсниками любили затевать беседы на подобные темы. Только в юности и можно всерьез спорить о загробной жизни. К тридцати годам все ставки уже сделаны. Одни становятся верующими, другие — атеистами. Если бы мне вздумалось обсудить данную проблему с кем-нибудь из офицеров — исключая, конечно, обоих курсантов,— мой собеседник, будь он верующим или безбожником, счел бы это проявлением дурного тона и попытался уйти от разговора.

А ведь если разобраться, то не найдешь лучшего места, чем ПЛАРБ, чтобы порассуждать о смерти и бессмертии. Наш образ жизни донельзя схож с монастырским. Ни в одной обители нет крепче стен, суровей устава, чем у нас. Что нам остается делать, покончив с повседневными заботами? Разбрестись по своим кельям и предаться размышлениям о спасении души. Но в чем оно, это спасение?

Я вовсе не собирался поднимать такого рода проблемы в разговорах с капитаном: он — верующий католик, участник молитвенных собраний, которые устраивает по воскресеньям Бекер у меня в лазарете. Но, встретив его в очередной раз в кают-компании, я решил воспользоваться своей репутацией «любопытного олуха», чтобы задать ему несколько наивных и в то же время каверзных вопросов.

— Скажите, капитан, мы можем быть уверены, что во время рейса нас не засекли?

— Полной уверенности у нас нет. Но надеемся, этого не произошло.

— Говорят, что новейшая советская атомная подлодка поражает гигантскими размерами и что у нас будто бы есть ее фотоснимок. А вот известны ли нам ее технические характеристики?

— Если у вас есть фотоснимок женщины,— с лукавой улыбкой отвечает капитан,— это еще не значит, что вам известны все ее тайные прелести. Не так ли, господин Эскулап?

— О капитан,— говорю я со смехом,— что за сравнение! Особенно в ваших устах!

Он тоже смеется. Мы отхлебываем чаю, и я продолжаю:

— Капитан, вы читали сказку Киплинга о любопытном слоненке? Так вот, я похож на него: у меня к вам еще уйма вопросов.

— Слоненку следовало бы подрасти.

— Что я и делаю. Предположим, что в случае войны президента Французской Республики убьют или похитят, а наш центр радиосвязи в Ронэ уничтожат...

— Президент будет тотчас кем-то замещен. А центр связи дублирован. Все давно уже продумано.

— Хорошо,— говорю я.— Мы получаем приказ президента и выпускаем ракеты. А что потом?

— На этот счет у нас есть инструкции,— улыбается кеп,— но они строго секретные.

— Я могу поставить вопрос иначе. Что произойдет с подлодкой после того, как она произведет залп?

— Это уже не будет иметь никакого значения. Судите сами: если мы выпустим ракеты, значит, политика устрашения потерпела крах. И тогда воцарится хаос. Ничто на свете не будет иметь ни малейшего значения. В том числе мы и наша подлодка...

— Вы хотите сказать, что с нею будет кончено? Что ее постигнет участь пчелы, которая гибнет после того, как она кого-то ужалит?

— Видимо, да.

— Но почему?

— Ну, допустим, противник обладает системой траектографии, которая тут же позволит ему определить, из какой точки земного шара были запущены наши ракеты, и уничтожить нас.

— Равным образом можно допустить,— говорю я после краткой паузы,— что у противника найдутся заботы поважнее, чем уничтожение подлодки, потерявшей жало и, следовательно, уже безопасной. В таком случае мы могли бы вернуться во Францию.

— Ради чего? — спрашивает капитан.— Чтобы увидеть ее в руинах?.. Поверьте мне, господин эскулап, что с того момента, когда политика устрашения потерпит крах и мы выпустим ракеты, нас будет окружать совершенно иной, безумный, мир. Наступит апокалипсис, и уже ничто, ничто на свете не будет иметь значения.

...Я давно уже смутно предощущал то, что сказал мне сейчас капитан, только боялся поверить в это. Мы всячески стараемся отогнать от себя любую тягостную для нас мысль, и в этом наше спасение. Жить день за днем в ожидании неотвратимого конца было бы невыносимо. Однако среди ужасов, которыми грозит нам атомная война, страшнее всего не наша собственная смерть, а гибель наших близких, детей и внуков, гибель нашей страны и всей планеты. Homo sapiens, уничтожающий весь свой род и землю, его вскормившую,— что может быть страшнее?

— Верно,— говорит капитан, словно угадав мои мысли. И, помолчав, добавляет:— Это верно, мы стоим на краю пропасти. Но с другой стороны, осознание надвигающегося кошмара позволяет нам дать отпор силам зла.

Глава VIII

Как говорит Роклор, в прошлом — велогонщик, на этой неделе мы «выходим на финишную прямую». Впрочем, выражение это мало подходит для ПЛАРБ, которая вовсе не заботится о прямолинейности своего движения. Нетерпение, однако, охватывает всю команду, а уж меня и подавно. Стараясь хоть как-то подстегнуть время, я начинаю составлять медицинский отчет для своего начальства на Базе.

По вечерам, лежа на койке, так и этак прокручивая в голове свой отчет, я пытаюсь одновременно подвести итоги плаванья и в личном плане. Если с профессиональной точки зрения все складывалось хорошо, то в сугубо личном плане меня ожидали сплошные разочарования — я намекаю на упорное молчание моей «невесты». Каждую субботу я ждал от Софи весточки, и всякий раз она обманывала мои ожидания.

И все же я в целом выдержал испытание. Пресловутый «синдром пятой недели» меня не коснулся. Мелкие же срывы бывали довольно регулярно, чаще всего по утрам или после обеда. Я вдруг осознавал жуткую неестественность моего нынешнего положения, мною овладевали изумление и негодование. Я говорил себе: «Господи боже, да что же я делаю здесь, в этой жестянке, на дне морском? Нужно любой ценой вырваться отсюда! И увидеть небо!» После чего минуты две-три меня одолевало дикое желание распахнуть окно, хотя я прекрасно знал, что никаких окон здесь нет и быть не может. Но сама ирреальность бунта — распахнуть окно, вырваться на волю, увидеть небо — понемногу смягчала ирреальность ситуации и примиряла меня с ней. «Что ж, пора надевать хомут»,— говорил я себе, совсем как в студенческие годы, когда подходили к концу каникулы.

Всего поразительнее в ремесле подводника — я не раз убеждался в этом за время рейса — чувство собственной значимости на борту. И его не назовешь иллюзорным: им проникнуты все, начиная с инженеров и дипломированных техников, от которых здесь действительно многое зависит, и кончая последним матросом. Сознание того, что ты играешь на корабле важную роль и что от тебя зависят и безопасность и благополучие всей команды,— сознание это не покидает каждого из нас, помогая справиться с самым тяжким из лишений — отсутствием солнца.

Курсант Верделе великолепно сыграл на этой нашей тоске по открытому небу, когда устроил в столовой очередной литературный вечер, на сей раз посвященный творчеству Бодлера. В программу было включено стихотворение в прозе «Чужестранец» — наш командир особенно ценил эту вещь и сам передал чтецу текст. Впрочем, простым чтецом его не назовешь: перед тем как поступить в Национальную административную школу, Верделе изучал основы сценического искусства. Стихи он читал не по бумажке, а декламировал наизусть — сотнями строк. Уже одно это произвело впечатление на слушателей «Башковитый парень, что и говорить»,— высказался о нем Бишон, выражая всеобщее восхищение.

Декламировал Верделе действительно здорово. Когда он дошел до «Чужестранца», особенно до последней фразы, которую произнес просто потрясающе: «Я люблю облака... облака, что проплывают над нами... там, в вышине... волшебные облака», то вся аудитория замерла. Потом все очнулись, бурно захлопали, попросили прочесть «Чужестранца» на «бис», что, разумеется, и было сделано! Двое слушателей протиснулись к исполнителю и попросили переписать для них фразу, столь многое говорившую их сердцам. На следующий день ее повторяло пол-экипажа.

Я лежу и вспоминаю этот вечер, а в коридоре рядом с моей каютой слышатся крики, шум, смех. Со всяческими предосторожностями — быть может, все это нарочно подстроено для того, чтобы выманить меня наружу,— я приоткрываю дверь и выглядываю. Оказывается, оба наших курсанта вместе с Анжелем, Каллонеком и Сент-Эньяном затеяли игру в войну: они обстреливают друг друга из водяных пистолетов, которые протащил на борт Верделе вместе с уймой других забавных штуковин.

Дорогая читательница! Я долго не решался поведать Вам о самой озорной проделке наших юных шалопаев, боясь укрепить Вас в мысли о том — вполне, впрочем, справедливой мысли,— что предоставленные самим себе мужчины способны на ребяческие выходки. В оправдание этих парней скажу лишь, что повседневная жизнь на подлодке весьма смахивает на обстановку в школьных интернатах, так что шалости напрашиваются как бы сами собой.

Среди игрушек, попавших на борт стараниями Верделе, были два плоских резиновых баллончика, соединенные между собой трубочкой. Если приподнять скатерть и подложить один из них под чью-нибудь тарелку, а трубочку провести к себе и накачивать его с помощью второго баллончика, тарелка станет подпрыгивать, приводя в замешательство того, перед кем она стоит.

Но Вы недооценили бы воображение наших курсантов, решив, что они ограничились этим фокусом в чистом виде. Нет, они построили на нем целый сценарий. Будучи посвящен в их секрет, я посоветовал им внести всего лишь одно изменение, избрав жертвой не католика Бекера, как это предполагалось, а Миремона, который оскорбится не столь сильно, как наш благочестивый бородач.

И вот наступает час традиционного воскресного ужина. Один баллончик, с молчаливого согласия Вильгельма, кладется под тарелку Миремона, другим завладевает Верду, прячет его в складках скатерти и принимает жутко серьезный вид.

В промежутке между закусками и мясным блюдом наши курсанты, пользуясь наступившей тишиной, разыгрывают очередную комедию.

— Послушай, Верду,— говорит Верделе,— что ты думаешь делать сегодня вечером?

— Прошвырнусь по Елисейским полям. Может, схожу в кино. Составишь компанию?

— Увы, не могу, у меня свидание в ресторане Фуке.

— Да брось ты, пойдем!

— И не уговаривай. Уж больно потрясная девчонка.

— Тогда познакомь меня с ней.

— Не могу. Я и с родным братом не поделился бы.

— Ну хоть опиши.

— Это можно,— говорит Верделе с плотоядной улыбочкой.— Она высокая, стройная, волосы у нее каштановые, а глаза — зеленые. Груди ее подобны гранатовым яблокам в саду Аллаха всемогущего. Бедра ее широки, пышны и соразмерны. А что касается задка, стоит лишь увидеть, как он плавно колышется перед тобой, и у тебя тут же начинают течь слюнки...

В этот момент рука Верду ныряет под скатерть, тарелка Миремона начинает подпрыгивать, все присутствующие пялят на нее глаза, а сидящий рядом с Миремоном Каллонек негодующе кричит:

— Ну, знаешь ли Миремон, это слишком! Нельзя так распускаться! Следи за собой!

Миремон багровеет, кают-компания содрогается от хохота, я с облегчением вижу, что кеп смеется вместе со всеми. Я боялся, что шутка покажется ему чересчур вольной.

— Ну что взять с таких идиотов! — рычит Миремон.

Сунув руку под скатерть, он извлекает злополучный баллончик и швыряет его в тарелку Верду. Тот вертит игрушку, внимательно ее разглядывает и наконец соболезнующим тоном изрекает:

— Так это всего-навсего заменитель! Ах ты, бедняга, неужто в твои годы тебе уже приходится пользоваться заменителем? А я-то думал, что ты действуешь настоящим...

— Фу, какая пакость! — отплевывается Верделе.

Хохот усиливается. Взбешенный Миремон отказывается откупорить бутылку шампанского, которую требуют у него курсанты в качестве штрафа за «непристойное поведение».

Они, разумеется, не случайно придали эротический оттенок этой классической и в общем-то невинной шутке. Укладываясь, я снова и снова вспоминаю праздничный ужин. Свет в каюте погашен, но я не смыкаю глаз. Нельзя сказать, что сон не идет ко мне. Скорее я сам гоню его от себя.

Женщин на подлодке нет, и в то же время их присутствие ощущается повсюду. В фильмах, которые крутят в столовой; в кассетах — моряки слушают их после вахты, растянувшись на койках и нацепив на голову наушники; в романах, где один читатель отмечает для другого самые интересные страницы; на открытках с кинозвездами, прикнопленных к дверям или украшающих бортовое табло и приборные доски; в разговорах команды, особенно в хвастливых откровениях холостяков; и даже в целомудренном молчании тех, кто не привык жить с душой нараспашку.

И вот что я еще заметил: чем больше человек любит свою жену, тем меньше он о ней рассказывает, даже самому близкому другу. А вот о детях распространяется с охотой. К концу рейса я знал уже всех офицеров, по-настоящему любящих своих жен. Честно говоря, я им завидую. Нелегко, разумеется, покидать уютный домашний очаг, но возвращение вознаграждает их сторицей за все испытания...

Дня за два — за три перед прибытием в Брест мы с капитаном сидим в кают-компании и попиваем чай.

— Как по-вашему, командир, этот рейс можно считать удачным?

— Пока да,— говорит он серьезно.— Но окончательный ответ я дам вам только тогда, когда мы причалим к пирсу Иль-Лонга.

Суеверный, как большинство моряков, он протягивает руку, чтобы украдкой постучать по деревянной полке. Отвратив этим стуком удар судьбы, который мог бы обрушиться на нас в последнюю минуту,— как знать, не накликал ли я чего своим неосторожным вопросом? — он улыбается в бороду и во взгляде его загорается лукавый огонек.

— Какие еще вопросы у вас будут, господин эскулап?

— У меня полон рот вопросов, но если вы хотите, командир, я могу их проглотить.

— Так и подавиться недолго. Уж лучше спрашивайте.

— Что такое, вообще говоря, удачный рейс?

— Это такой рейс, во время которого ничего не случается и о котором я могу написать в заключение моего рапорта: «По моему мнению поход прошел скрытно».

— И однако, за эти девять недель на борту произошло немало разных разностей.

— Верно. Но все неполадки были устранены.— Он улыбается.— Вы тоже справились со своими неполадками: подлечили Бруара, Роклора, ну и многих других...

— Спасибо на добром слове, командир.

Пауза. Он прихлебывает чай, смакуя каждый глоток.

— Как вам известно, мы должны извлекать уроки из всех инцидентов, случившихся за время рейса. Что вы, впрочем, и сделали.

Я смотрю на него с недоумением.

— Что я сделал? Да я вовсе ничего не делал!

— Вы недооцениваете себя, господин эскулап. У вас наверняка есть замечания или предложения. Я был бы удивлен, если бы столь инициативный и практичный человек, как вы, не представил мне докладной записки.

— Ах, командир,— смеюсь я,— вы принимаете меня за лазутчика во вражеском лагере. Поверьте, однако, что пожелания мои очень скромные.

— Но, надеюсь, дельные. Выкладывайте, я вас слушаю.

— Ну, хорошо. Во-первых, нужно заменить стальную стружку в матрасах другой набивкой. Во-вторых, пекарю необходим помощник: есть же помощник у кока. Мало того, что пекарь вкалывает по ночам, он все время трудится в одиночку. Если с ним что стрясется, подлодка окажется без хлеба. А в третьих... Нет, уж вы извините меня, командир, но третье свое пожелание я не решусь выразить в письменной форме: на меня ополчатся все подводники.

— Скажите хотя бы устно.

— Вам тоже будет не особенно приятно услышать мое мнение.

— Если вы, господин эскулап, будете упорствовать в молчании, я напишу в вашей характеристике, что вы не доверяете своему командиру.

— Ладно, командир, так и быть. Я вам доверяю. Речь идет о радиограммах от родных и близких.

— А!

— Конечно, я не могу не исходить из собственного горького опыта — за время плавания я получил только одну радиограмму. Но на мой взгляд, вреда от них столько же, сколько пользы. А то и больше.

— Удивительно, господин эскулап,— говорит капитан с серьезным видом.— Старпом разделяет ваше мнение. А я хоть и не разделяю его, но вполне понимаю ваши доводы...

Он обрывает фразу на полуслове, и после некоторой заминки я договариваю за него:

— Вам кажется, что теперь уже поздно обращаться с соответствующим прошением в высшие инстанции и переделывать то, что уже сделано.

— Да, примерно это я и хотел сказать,— соглашается он и неожиданно спрашивает: — А не могли бы вы выразить одним словом ваше личное впечатление от рейса?

— Потрясающе. Но если вы позволите мне добавить еще пару слов, я скажу: и страшно утомительно.

— Вид у вас совсем не утомленный.

— Это потому, что я перевозбужден. Не могу усидеть на месте, скачу, как блоха. Просто не верится, что всего через несколько часов мы окажемся на свежем воздухе. Забавное это выражение — «свежий воздух», вы не находите? А ведь может показаться таким банальным!

— И тем не менее! — восклицает кеп.

Снова воцаряется тишина. Однако она не кажется нам гнетущей. Между нами давно уже установилось взаимопонимание. Чувство, которое я испытываю к капитану,— это нечто большее чем просто симпатия. Как офицер он — настоящий специалист, преданный своему делу, сознающий высокое значение собственной миссии. Как человек он тоже привлекателен: утонченный, образованный, не чуждый юмора, скромный и смелый. Умеющий руководить людьми и любящий их. Одновременно дружелюбный и властный. Простой в обращении и тем не менее исполненный собственного достоинства.

Перед последней вахтой курсанты все-таки выцарапали у Миремона бутылку шампанского и пригласили меня распить по бокалу в кают-компании. Я не любитель шампанского, но разве откажешься принять участие в последнем совместном застолье?

Потом я иду посмотреть, что творится в лазарете. Легийу «подбивает бабки» нашей кооперативной лавочки, хотя по всем правилам мы должны заниматься этим вместе: ведь именно я являюсь главой сей солидной организации. Вдвоем мы быстро управляемся с подсчетами.

Я окидываю взглядом помещение, с которым вот-вот распрощаюсь. Легийу наводит порядок. Все идет нормально. Так, как и должно идти.

Легийу покончил с уборкой и стоит, опершись на операционный стол. В его зеленых глазах застыло мечтательное выражение, и я уже начинаю тревожиться, не одолевают ли его опять метафизические тревоги, не начнет ли он снова донимать меня вопросами о бессмертии души. Однако он заводит речь о другом:

— Доктор, а что вы думаете о политике устрашения?

— Я — увы! — сторонник этой политики.

— Почему «увы»?

— Потому что наилучшим курсом был бы курс на разоружение. Но Франция не может остаться безоружной в мире, где все вооружены до зубов. Чтобы начать разоружение, нужно дождаться инициативы США и СССР. А они, к сожалению, и не помышляют об этом. Косятся друг на друга, точно бешеные псы, пребывая во взаимном убеждении, что противная сторона — это не что иное, как «империя зла».

— Отсюда вы и заключаете, что политика устрашения является необходимостью?

— Необходимостью и залогом мира.

— Как это — залогом мира?

— Благодаря ей поддерживается равновесие сил. И пусть себе поддерживается.

— А если эта политика потерпит крах?

— Не волнуйтесь: тогда нас уже не будет на земле.

— Ну, доктор, мрачно же вы смотрите на жизнь!

— Вы ошибаетесь, я оптимист. Мир не становится менее прекрасным оттого, что нам дано посетить его всего на какое-то мгновение. Знаете, о чем я часто думаю? Когда мы вынырнем, урожай уже уберут и мы будем любоваться ровными рядами снопов, стоящими в поле...

— Как же, как же,— оживляется Легийу.— Моя матушка называла их «соломенными бабами». А вот мне почему-то больше всего думается о крохотном ручейке, где я мальчишкой ловил раков...

Пожелав ему спокойной ночи, я выхожу из лазарета и перед тем, как залечь на койку, еще разок заглядываю в кают-компанию. К большому удивлению, я застаю там Вильгельма.

— Как, вы еще на ногах?

— Ах, доктор, да разве заснешь, если берег так близок...

— Мне тоже не спится, но я все-таки пойду. Нельзя ли попросить вас об одном одолжении: разбудите меня, когда мы всплывем на поверхность, ладно?

— Непременно.

Я ложусь не раздеваясь. Когда Вильгельм будит меня, оказывается, что мне удалось-таки часика два подремать.

— Поздравляю вас, доктор! Мы всплыли. Старпом ждет вас на мостике. Такой миг нельзя пропустить.

— А что наверху за погода?

— Довольно тепло. Море спокойно. Качка еле чувствуется.

— Спасибо, Вильгельм.

Я спускаю ноги на пол: качка и впрямь еле чувствуется. Стало быть, не придется напяливать плащ с капюшоном, как при отплытии: ведь теперь мостик не назовешь «купелью». Все же, памятуя морское присловье о том, что «на воде всегда свежо», я натягиваю поверх рубашки свитер и спешу к трапу.

На мостике стоят четверо человек. Нет, пятеро: я не сразу разглядел старпома.

— Куда мне приткнуться, чтобы не мешать вам? — спрашиваю я его.

— Да вот сюда. в этот угол.

За бортом ночь: атомные субмарины чаще всего возвращаются на Базу под покровом темноты. Это единственное, что роднит нас с ворами.

Ночь светла. Мир озаряет полная, необычайно яркая луна, похожая на огромный уличный фонарь. Поначалу кажется, что он подвешен к небосводу — на такой огромной высоте, что у меня, привыкшего за два месяца нагибаться под низким потолком, начинает кружиться голова.

Потом я замечаю, что луна не застыла в высоте, а движется, плывет среди облаков, то подсвечивая их сзади, то величаво и неторопливо проглядывая в разрывы между ними. Сияющее под луной море спокойно, но совсем ровной его поверхность все же назвать нельзя. Она подернута мелкой рябью, которую мерно и уверенно разбивает нос нашей подлодки, стремящейся к своему бетонному логову. Мы только что миновали горловину залива, и я вижу по обе стороны землю с ее холмами, ложбинами и деревьями: как волнует меня это полузабытое зрелище!

Миг спустя я чувствую, что мне стало трудно дышать, свежий воздух щиплет горло. Разве сравнишь его с воздухом внутри подлодки, химически чистым, лишенным запахов! Воздух, которым я дышу на мостике, такой терпкий и колючий, что его приходится вдыхать с осторожностью, глоток за глотком. Мы в море — немудрено, что он влажен и солоноват. Но земля близко, и поэтому он отдает всеми ее запахами: жирным перегноем, листвой, дымком. Я снова вспоминаю историю Маугли, сравнивая себя с волчьим выкормышем, покидающим джунгли, чтобы поселиться в деревенской хижине. Запахи не дают мне покоя. Их так много, они так сильны. Не скажу, что они неприятны, но мне нужно время, чтобы к ним привыкнуть.

Зато небо — сплошное очарование. Такое высокое, такое необъятное, и на нем — «облака, что проплывают над нами... там, в вышине... волшебные облака...» Гляжу на них — и не могу наглядеться. Будь у меня сотня глаз, и этого было бы мало, чтобы по-настоящему упиться немыслимой радостью, которую вызывает во мне это зрелище.

Старпом легонько толкнул меня локтем, я оглядываюсь, вижу его лицо, освещенное луной — странное на нем выражение! А еще удивительней тон, которым он ко мне обращается: в нем не чувствуется ни иронии, ни бурной радости.

— Хорошо, правда?

— Очень хорошо,— отзываюсь я почти шепотом.

— Ну как, стоило протомиться под водой девять недель, чтобы снова взглянуть на всю эту благодать?

— Да,— говорю я,— для меня это открытие. Подлинное открытие. Настоящее диво.

— Тогда послушайте, что я вам скажу, господин эскулап. Еще целую неделю, а может и две, вы будете дивиться, глядя на небо и облака. Потом это пройдет.

— Так быстро?

— Да. Вы все забудете.

— Забуду, что мир так прекрасен?

— Да, мы забываем об этом, вечно забываем. Лишь ценой огромного усилия удается напомнить себе, как нам повезло.

— Но ведь такой ночи,— говорю я и чувствую, как к горлу подступает ком,— уже никогда не будет.

— Это верно, очарование тускнеет,— соглашается он.— Значит, нужно вновь и вновь оживлять его, вот и все. Не забывать, какое это счастье — каждый день видеть землю, небо, облака.— И добавляет вполголоса: — А еще помнить, как хрупко теперь это счастье.

◆

БОРИС АСОЯН

ПРИНЦИПЫ ДОДО

Феномен диктатора

В середине семидесятых годов читатели газет в самых разных странах разглядывали такую фотографию: африканец, черный человек в генеральской форме, восседает на больших носилках, вернее даже помосте, который несут четверо белых. Пятый несет над помостом зонт. Те четверо сгибаются под тяжестью своей ноши, да она и на самом деле внушительна. Несут они человека очень грузного, пудов на восемь.

Но этого человека не смущают трудности носильщиков, он с торжествующим выражением лица величественно приветствует окружающую публику. А народу множество. Ведь эта сцена происходит не где-то в укромном уголке, вдали от глаз людских. Нет, идет сессия Организации Африканского Единства. Высший форум всей Африки, собрались главы десятков государств. И вокруг носилок — толпа людей, вспышки фотоаппаратов...

Шутка?..

Что ж, поглядим на другие фотографии этого человека. Многие из них обошли весь мир.

Вот те, что из его семейной жизни. Подписи, правда, могут показаться не совсем обычными. «Медина — в прошлом жена № 4, теперь жена № 1». «Кей, жена № 2». Еще одна жена, Сара. «Он убил ее любовника и отца ее ребенка. Церемония же свадьбы была проведена дважды: одна — для Организации Африканского Единства, для глав государств, другая — для телевизионного фильма».

Дети этого человека: 36 сыновей и 14 дочерей. Вот и их фотографии. Сыновья, даже малолетние, одеты в пятнистую военную форму. В руках — автоматы. Отец любит играть с ними, тоже держа автомат.

А вот и он сам. В генеральской форме. Широченная грудь вся увешана... Один из орденов, изобретенный им самим: «Победителю Британской империи».

Сниматься он любил. И совсем не обязательно в мундире. Вот он в своем бассейне. Совсем или почти совсем голый, самодовольно курит, разглядывая стоящую вокруг в полном облачении свиту — или телохранителей (а может быть, это одно и то же?).

А вот бесчисленные фотографии тех, кто ему чем-то не потрафил. Они нередко тоже совсем раздеты, только с мешками на голове — трупы, привязанные к деревьям.

Впрочем, его палачи не заботились о какой-то особой процедуре казни. Да и как ее выработаешь. Механизация еще не продумана, газовых камер нет, вот и приходилось расправляться как придется. С одними — за то, что они избрали не ту веру, стали христианами, а не мусульманами. С другими? Да просто так, без причин, чтоб остальные дрожали от страха. Убили архиепископа, африканца Джанани Лувума, умер от пыток и один из четырех белых, что тогда, в 1975-м, несли носилки-помост. Сколько всего погибло? Никто не считал. Называют цифру в несколько сот тысяч.

Наверное, многие читатели угадали имя этого человека. Да, Иди Амин Дада, диктатор Уганды. В течение восьми лет, с января 1971 года до начала 1979-го, он наводил ужас на одиннадцатимиллионное население этой солнечной восточноафриканской страны.

Именуя себя «победителем Британской империи», он расправлялся не с колониализмом, а со своими ни в чем не повинными согражданами. Президент Танзании Джулиус Ньерере сказал о нем:

— С тех пор как Амин захватил власть, он убил больше людей, чем Смит в Родезии. Он убил больше людей, чем Форстер в Южной Африке. Но в Африке есть тенденция не замечать, когда один африканец убивает других африканцев. Если бы Амин был белым, свободная Африка приняла бы множество резолюций, осуждающих его. Черная кожа становится теперь индульгенцией на убийство братьев-африканцев.

К сожалению, не только в Африке есть тенденция не замечать, когда один африканец убивает других африканцев.

Если одна африканская страна пошла войной на другую или в какой-то из них установилось царство террора, то газеты Соединенных Штатов и других государств Запада сразу же ищут руку Москвы.

Ну а мы — разве мы не ищем тут сразу же козни колониализма? Или неоколониализма? Так уж повелось, что греха таить.

Если вдуматься, разве все это не патернализм, столько раз нами же заклейменный? Получается, что африканские страны не доросли вроде бы даже до того, чтобы самим подраться,— только если чужой дядя натравит их друг на друга? Но до этого, как известно, дорасти легко. Нехитрая наука.

И диктаторы уже выросли такие, что умеют залить кровью свои страны, не особенно нуждаясь в советах со стороны.

Помню, я с горечью говорил об этом на заседании в одном научно-исследовательском институте в середине семидесятых годов, когда Иди Амин был еще в полной силе. Руководитель института отреагировал так:

— Не думал я, что вы не любите Африку...

Что мне было на это ответить? Значит, закрывать глаза на зверства иди аминов — это и есть любовь к Африке? Как же прав Ньерере: не принято замечать, когда один африканец убивает других африканцев.

Из этого-то, сознательно или неосознанно, исходили и многие в нашей стране. Как же иначе объяснить, что о том же Иди Амине в нашей печати почти ничего не публиковалось. И не только в те годы, когда он находился у власти. Даже и теперь, когда он уже свергнут, даже десять лет спустя, можно буквально по пальцам одной руки пересчитать статьи, где хоть как-то рассказано о его «деяниях», и то вроде бы походя, вкратце, как-то стыдливо.

Или мы боимся, что Африка обидится? Тогда уж не надо писать и о Гитлере — вдруг обидится породившая его Западная Европа?

Должно быть, мы исходили из того, что для Африки типичны такие явления, как национально-освободительное движение, некапиталистический путь развития, социалистическая ориентация. А режим Иди Амина? Ну, чего там, это случайное, единичное явление.

Но, увы, оно не единично. Франсиско Масиас, «пожизненный президент» Экваториальной Гвинеи,— намного ли он лучше? А порядки, установленные Жаном Бокассой, который сперва объявил себя маршалом и пожизненным президентом Центрально-Африканской Республики, а затем провозгласил эту страну империей, а себя — императором? Список можно продолжить и пополнить его не только африканскими странами, но и азиатскими. Кампучией, например. Да, как мы знаем, и не только ею.

Так что режим Иди Амина не единичное явление. Не надо удивляться его возникновению. Если Германия Гёте и Италия Данте преподнесли миру в XX веке Гитлера и Муссолини, так почему от Африки надо ждать только хорошего?

И чего уж совсем не надо делать — так это замалчивать появление иди аминов. Ради будущности человечества, и прежде всего ради самой Африки, надо как можно пристальнее вглядеться в сущность этих режимов, понять, что́ это за явление, почему оно возникает. Разобраться, благодаря каким же внутренним и внешним силам таким режимам удается держаться годами.

Конечно, Иди Амина можно считать порождением колониализма. Он был офицером британской колониальной армии, участвовал в подавлении народного восстания в Кении в пятидесятых годах и тогда еще отличился зверствами.

Вместе с тем он, разумеется, использовал и какие-то, далеко не лучшие традиции, существовавшие в Африке еще до колониализма.

Столь же ясно, что держался он прежде всего террором и военной силой.

Но вместе с тем нельзя забывать, что ему удалось создать и некую социальную опору в своей стране, обмануть или обольстить немало своих сограждан, разжечь у обывателей ксенофобию, даже шовинизм.

Да и иностранцев, иностранные государства он, этот почти неграмотный человек, умел обмануть. Он был избран председателем Организации Африканского Единства. Встречался и вел переговоры с большинством лидеров африканских стран. Да только ли африканских? Вот снимок его встречи с римским папой. Вот он в Организации Объединенных Наций. С Куртом Вальдхаймом, тогда генеральным секретарем ООН. И не только с политическими деятелями Запада. С Ясиром Арафатом. И даже с Фиделем Кастро — на конференции неприсоединившихся государств. Да, из песни слова не выкинешь.

Все это надо понять, во всем этом разобраться.

И Борис Рубенович Асоян очень поможет нам. Он — пионер в изучении этой темы. Опубликованный несколько лет назад его небольшой очерк об Иди Амине, Бокассе и Масиасе был, пожалуй, первой у нас попыткой осмыслить сходство этих режимов, их общую сущность.

Борису Асояну — не знаю, какой глагол тут применить, вряд ли подходит слово «посчастливилось»,— ну, как пишут теперь, довелось жить в Уганде во времена Иди

Амина. Он многое видел своими глазами и много над этим размышлял. Все, что он написал здесь, подтверждается документально.

И вместе с тем — это отличное, захватывающее литературное произведение. По жанру оно, мне кажется, чем-то сходно с книгой польского журналиста и писателя Рышарда Капусцинского «Император», с которой «Иностранная литература» познакомила нас в прошлом году.

Но Капусцинский писал о том, что уже ушло в прошлое. А Асоян — о том, что произошло совсем недавно. И он предупреждает: как бы это, не дай бог, не повторилось в будущем. Ведь Иди Амин Дада — или асояновский Миди Ламин Додо,— живя в эмиграции, в Саудовской Аравии, еще надеется вернуться.

Что куда важнее, его лавры не дают покоя многим претендентам на такую же роль. Иди Амина это радует, он дает им советы, готовит целую книгу советов. «Я могу преподавать,— заявляет он, уже изгнанный из своей страны,— всем королям и президентам мира». И кто знает, какие ученики могут у него оказаться и сколько их будет...

А ведь речь идет о нашей общей планете, о судьбе, которая объединила сейчас все народы, как альпинистов в одной связке.

Что же это за «принципы», которыми «Додо» угрожает своей стране, а через нее и климату во всем нашем мире?

АПОЛЛОН ДАВИДСОН

Летом 1977 года слепой итальянец совершил пешее путешествие по 11 странам Африки. Он сказал, что все путешествие обошлось очень дешево — всего шестьсот долларов. Он был восхищен африканским гостеприимством и помощью, которую ему повсеместно оказывали. Только в Уганде его поджидала неприятность. Слепой путешественник задремал во время исполнения государственного гимна, за что и был немедленно арестован. Судья предъявил ему обвинение в оскорблении национального достоинства угандийцев, однако, приняв во внимание физический недостаток преступника, проявил похвальную мягкость и приговорил его к одному дню тюремного заключения без наложения полагающегося в таких случаях крупного штрафа.

По сообщению агентства ДПА
от 5 августа 1977 года

Кто бы мог подумать, что Барри Пемба, этот тщедушный человечек с глазами мышонка, своими усиками напоминающий Чарли Чаплина, самый бездарный министр в моем правительстве, вдруг объявит себя политэмигрантом и откроет в Лондоне бюро по вербовке наемников в «армию освобождения Даунги»? А меня, пожизненного президента Даунги, доктора наук, Победителя английского колониализма, фельдмаршала, шейха Миди Ламина Додо, которому он обязан всем, начнет публично оскорблять, называть «кровавым тираном», «маньяком-убийцей» и даже антихристом?

Это был первый случай за всю историю существования Второй республики, когда никто не знал, куда исчез член нашего кабинета министров. До тех пор, пока лондонская «Таймс» не напечатала его фотографию на первой полосе, мне пришлось выслушивать самые невероятные сведения, которые аккуратно доставлял начальник специальной службы невозмутимый Фарук Бирада. Ко мне приводили людей, которые клялись, что своими глазами видели его труп в лесу Мабира, где наши солдаты ликвидируют врагов революции; сообщили адрес проститутки, где он якобы провел три последние ночи; приволокли автомобиль одного русского советника (генерала, уверял Фарук Бирада), в багажнике которого, по слухам, Пембу перевезли на аэродром в мешке для дипломатической почты; прибегали, запыхавшись, посланные Фаруком агенты, только что видевшие министра в спортивном костюме на гольфовом поле около 12-й лунки.

Мы тщательно проверяли все сигналы, но, как вы понимаете, ни один не подтвердился. Лишь однажды мне показалось, что я его настиг: кроме Пембы, никто из министров не умел играть в гольф, только ему я демонстрировал хитроумные приемы владения гольфовыми клюшками. Именно там, у 12-й лунки, я продиктовал ему одну из своих самых знаменитых речей, которая впоследствии была опубликована во всех газетах мира. «Посмотрите на наше гольфовое поле,— говорилось в ней,— разве это не очевидное свидетельство нашего благосостояния, трудолюбия даунгийского крестьянина и мудрости тех, кто сегодня стоит у власти в этой стране — я имею в виду прежде всего себя?»

Понявшие буквально мой приказ схватить игрока у 12-й лунки парни Фарука Бирады арестовали и после короткого следствия расстреляли совершенно не похожего на Пембу человека, лысого и без усов, вообще не имевшего никакого отношения к государственной службе. По их словам, он был сам виноват, так как на оклик «Пемба!» вдруг бросился бежать, побросав все клюшки.

На срочном заседании Совета обороны мы разработали план действий, который включал в себя официальное заявление военного представителя, немедленный арест всех близких и дальних родственников изменника и экспроприацию двух фабрик, принадлежавших англичанам, в качестве компенсации за укрывательство Пембы. «Этот агент иностранных разведок, известный под именем Барри Пемба,— диктовал я своему министру информации, единственному из нас, кто писал разборчиво,— не только разложил всю систему здравоохранения, в связи с чем практи-

чески прекратили работать почти все больницы и клиники — о чем, несомненно, известно нашим соотечественникам-даунгийцам, — но еще и украл десять миллионов из государственной казны... Более того, он страдал импотенцией и поставлял проституток бывшему президенту, с которым постоянно поддерживал нелегальную связь. Из заслуживающего доверия источника известно, что он был еще и рогоносцем: двое его детей рождены от совершенно другого мужчины».

II

Мне вдруг вспомнилось, как я принимал Пембу на Второй вилле. Тогда заболели дети, нужен был врач, и пришлось позвонить этому ничтожеству, чтобы тот распорядился, а заодно приехал потолковать о государственных делах. Ну да, это было утром, я сидел на веранде. Обычный скромный завтрак: чай и жареная курица. Кому рассказать — не поверят, что могущественный Ламин Додо питается, как простой крестьянин. Я пригласил к столу и Пембу, но этот интеллигент, как всегда, отказался.

Не люблю, когда отказываются. Нужно было его еще тогда ликвидировать, но сдержал себя, отпустил — и вот, пожалуйста... Вообще я давно пришел к убеждению, что любой интеллигент социально опасен, в нем таится страшная зараза для всего народа, угроза для всякой государственной власти и порядка. Лишний раз убеждаешься, насколько был прав Адольф Гитлер, приказавший перебить всех интеллигентов.

Зря меня отговорили поставить ему памятник.

Великий ученик — великому учителю. Или нет. Великий фельдмаршал, Победитель Британской империи — известному военачальнику времен второй мировой войны. Так лучше.

У каждого свое место в истории.

У Гитлера нужно учиться всем новым лидерам. Хотя бы тому, как он утер нос сверхдержавам. А как он быстро и эффективно разрешил еврейский вопрос! Кого в газовые камеры, кого в печи. Для евреев это еще гуманно. Вот так и надо бы решить ближневосточную проблему: уничтожить Израиль, перебить всех евреев — и наступят мир и согласие. Эх, была бы у меня атомная бомба! Вот тогда бы узнали, кто самый мудрый и решительный политик во всем мире. Ну что могут эти нынешние, с позволения сказать, лидеры африканских стран? Из всех них только Макоса чего-то стоил, хотя он напрасно думал переплюнуть меня по количеству орденов. Пустая это была затея. Я мог приказать — и назавтра из Лондона мне прислали бы любой. Разве Макосе пришло бы в голову создать орден «Победителя английского колониализма»? У меня он — в единственном числе. Вот передерутся наследнички!

Настоящую политику неприсоединения проводил именно Гитлер. Его Германия, несмотря на небольшие размеры, участвовала во всех мировых делах и ни у кого не находилась в кармане. Весь мир должен чтить Гитлера как истинного героя второй мировой войны. Мне удалось обнародовать этот принцип в очень удачный, на мой взгляд, момент — во время очередной годовщины так называемой победы над Германией. Кто кого победил — еще вопрос. Шум, конечно, поднялся. Вся Европа, американцы, даже какие-то Филиппины огрызнулись. Русские, правда, промолчали. И правильно сделали. Вот отказались бы их оружие покупать, куда бы они делись?

Но нашлись люди, и немало, которые с восторгом восприняли мои слова. Из ФРГ даже прислали подарки — бюсты Гитлера и Наполеона с пожеланием поставить их в Главном дворце. Что ж, так и сделали.

Великого человека должны окружать великие тени.

При этом, правда, сделали небольшое уточнение нашей позиции. Очень удачно было сформулировано: «Несмотря на свое прославленное величие полководца, Гитлер (Шикльгрубер) был расистом в отношении черных».

Заметьте: черных, а не евреев или славян. Вот за это его можно осуждать сколько влезет. Здесь он действительно дал промашку. Этого история ему никогда не простит.

Вот почему он стоит у меня в виде маленького бюста. Хоть и зря отговорили, но все-таки не тянет он на памятник...

Пемба в общем-то всегда мешал, всегда совал нос не в свои дела. Вот и с Гитлером — первый начал ворчать, что нельзя, мол, шутить такими вещами, что это чуть ли не святотатство и так далее. Тогда мы просто не поняли: чего это он? Только потом разъяснилось.

А ведь пользовался нашим доверием наравне с северянами, простили ему родственные связи с подрывными племенами. И между прочим: шлюхи у него всегда были как на подбор, даже лучше президентских. Но ведь никогда не делился. Скрывал от товарищей! Только по одному этому можно было догадаться: враг!

Ослы! Стрелять, стрелять всех предателей! Революция и жалость несовместимы!

Предать хозяина, вождя — в такой момент, когда империалисты лезут со всех сторон, норовят проникнуть в каждую щелку, сеют раздор, смуту, подговаривают даунгийцев! Многие, конечно, честно доносили куда следует. Тех, кто этого не делал, приходилось убивать. Жертвы неизбежны. В таком деле...

Никто и не подозревал, какое грандиозное дело задумано. Все разрушить, абсолютно все. Изгнать из памяти всех колонизаторов, старых и новых. Брать помощь от всех иноверцев, пока можно. Говорить им приятные слова. Потом рассчитаемся. Белые нам не нужны вообще. Черный человек лучше их не только по

физическим данным, но и по интеллекту. Хорошее слово. Надо почаще повторять. Да, по интеллекту! Но это — особый интеллект. Все достижения европейской мысли, хотя они и значительны, в принципе были известны черной расе намного раньше. Да, мы все это знали, просто не считали нужным изобретать ненужные в то время предметы. В какой-то мере европейцы сделали за нас черную работу. А мы этим сейчас пользуемся. Вообще Европа — это старый, умирающий мир, ему нужно помочь уйти поскорее. Будущее принадлежит людям с черным цветом кожи. Вот тогда интеллект черного человека проявится в полной своей силе. Это будет новый человек: жестокий, справедливый, лишенный всех ненужных чувств — жалости, совестливости, щедрости, милосердия. Это будут настоящие самцы — и послушные их воле самки. Их главное предназначение — продолжать род и владеть всем миром. Немного белых можно, впрочем, оставить, но пусть живут отдельно, может быть, в специальных лагерях, тем более что Гитлер их приучил к этому.

III

Пемба, Пемба! А ведь были у нас моменты, когда мы вместе радовались удачам и праздновали победы. Вспомни хотя бы захват французского самолета с заложниками. Это была наша общая идея. Блестящая идея. Совершенно беспроигрышное дело. Все шло как по маслу. Договорились с хорошими парнями из группы Баадера — Майнхоф, те похитили огромный «аэробус» компании «Эр Франс» и пригнали его к нам, в Бантегге.

«Ну, теперь они у нас в руках,— говорили мы друг другу.— Теперь мы покажем этим израильтянам». В отличие от тебя, Пемба, я почти все время провел на аэродроме. Даже спал там. Каждый день мы проводили совещания с похитителями и обдумывали, как лучше обхитрить евреев. Единственная ошибка, которая стоила нам очень дорого, заключалась в том, что мы не поставили грузовик поперек взлетной полосы. Но кто мог предвидеть, что сионисты решатся на такое преступление и организуют нападение на наш аэропорт? Если бы не этот рейд, мы сумели бы заставить Израиль уйти с оккупированных арабских территорий, вернуть палестинцам их земли и прекратить свою агрессивную политику. Мы все рассчитали: в день расстреливаем по одному еврею, начиная с самых активных, ну, а потом — взрываем самолет со всеми оставшимися на борту. Ты, Пемба, должен был составлять медицинские заключения о смерти каждого: в результате сердечного приступа, острого отравления, удара головой о пол во время принятия душа и так далее.

И тогда, Барри, ты тоже радовался и поздравлял меня. И именно тебя мы послали к этой старой еврейке Норе Шрок, выжившей из ума старухе, которая ни на что не была годна. Что она тебя спросила? Ах да, где она может постирать платье. И еще пожаловалась на еду: мол, к такой не привыкла. Еще не хватало, чтобы правительство готовило ей еду. До сих пор не могу вспоминать об этом без раздражения. Какая наглость! Впрочем, за нее она и поплатилась. Надо было убрать ее из больницы, куда зачастили англичане и журналисты. Но старуха ни за что не хотела идти добровольно. Пришлось буквально выковыривать ее из палаты. Конечно, немного переборщили — крики, плач, мат-перемат Фарука Бирады, помнишь его, Пемба? Вот кто был бы очень рад с тобой поговорить! Потом в одной газете удивлялись: ах, да как же это никто не пришел ей на помощь?!

Фарук Бирада очень бы удивился, если бы нашелся такой смельчак. Это был бы его последний поступок в жизни.

Что оставалось нам делать после такого скандала? Мне доложили, когда старуха была уже сильно избита и только хрипела и вращала глазами. «Объявите, что ее перевели в Бантегге, поближе к самолету, и выдайте ей обслуживание по высшему разряду по дороге». Ты, надеюсь, помнишь, что означало это «обслуживание» на нашем условном языке? Так я распорядился и до сих пор считаю, что лучшего решения принять было невозможно. Нора Шрок была обречена с того самого момента, когда села в самолет. От судьбы не уйдешь.

Как именно ее убили, я не знаю. Зря только спешили и не сожгли тело как следует. Говорят, ее седая голова довольно хорошо сохранилась и несколько дней пугала прохожих. Было сложно и со свидетелями. Многих удалось ликвидировать. Среди них и тот пронырливый фотограф из газеты, Джимми Барма. Как он пронюхал о месте казни, уму непостижимо. Свой последний в жизни снимок он сделал неплохо. Мне показывали отпечатки. Действительно, можно опознать старуху. Но негатив уже давно сожжен, а пепел его рассеян над трупом фотографа. Так что зачем, Пемба, ворошить старое? Разве можно вообще что-нибудь доказать в этой сумасшедшей жизни, когда не знаешь толком, кто друг, кто враг, кто твой убийца, а единственное, что можно сказать почти точно — это то, что никто не придет на помощь, как бы громко ты ни кричал.

IV

Но почему же, черт побери, у этого Пембы всегда были такие замечательные шлюхи? Выращивал он их, что ли?

Теперь никто не скажет, кто и когда начал первым это соревнование, этот нескончаемый турнир, в котором нет побежденных и только одни победители. Хотя, чего скрывать, это тоже была моя идея. Кто перетрахает больше баб за время Второй республики! Тем более что никто не знал, сколько эта республика продержится. Вот это был марафон! Правило было одно: только количество, ни красота, ни возраст, ни тем более цвет кожи значения не имели. Напротив, чем

разнообразнее будет список, тем почетнее. И мы начали! Потеха! Первыми отвалились слабаки интеллигенты. Сломались на третьей, а ты, Пемба, даже на второй. Сразу Библию вспомнили, запричитали: мол, грех, христианская мораль. Импотенты — при чем тут Библия. Зато мы повеселились от всей души. Брали всех, кто попадался на глаза. Замужних, школьниц, проституток, крестьянок, служащих, туристок. Морока была с некоторыми мужьями. Им почему-то это не нравилось. Идиоты, не понимали, что через это им могло привалить счастье. Вот те, кто молчал, сразу получили и дома и бизнес. Жили припеваючи, благодарили своего президента за оказанную милость, воспитывали моих детей — они всегда крупнее других. Легко узнать.

В конце концов, что такое президент? Это хозяин страны. Это — отец всех людей. Это — муж всех женщин. Вся страна — мой гарем. В любую ночь могу войти к любой женщине, и она будет счастлива.

Даже ты, Пемба, не смог отрицать этого. Как это ты сказал в телеинтервью? «Ламин Додо рассматривает свою половую энергию как символ мощи и власти». Отлично сказано. Только надо было говорить такие вещи дома, при своих. «Его репутация как любовника настолько потрясающа, что часто женщины сами ищут возможности отдаться ему» Вот за эти слова, Пемба, я простил бы тебе часть твоих преступлений. Поистине неисчерпаема щедрость моя. Если бы тебя все-таки привели ко мне, я не приказал бы содрать с тебя живого кожу или сварить в кипятке. Ты бы принял почетную смерть от свинца, после положенных пыток, разумеется.

Ты верно подметил, что и к стране я отношусь, как к женщине, но про такие вещи тоже не говорят вслух. Только поистине великим государственным деятелям дано подобное чувство обладания собственной страной. Я беру ее иногда силой, потому что только я понимаю, что именно нужно ей в данный момент, и оплодотворяю ее своей мощью, своим гением. И она — моя навсегда. А что, мы даже жить стали лучше, чем при колониализме. Мы добились необычайных успехов за время нашей власти. Во-первых, народ действительно почувствовал себя свободным, познав истинность и универсальность Принципов Додо. Мы ни у кого не были в кармане. Во-вторых, быстрыми темпами развивалось сельское хозяйство, промышленность, у нас почти поголовная грамотность, крестьяне лечились бесплатно. Разве при колониализме это было возможно? Ответь, Пемба, ты, который утверждал, что мы довели страну до ручки, что народ голодает и дети в провинции мрут как мухи. Да, кое-где народ не ел досыта. Но так всегда было. Наш народ всегда голодал — и при колониализме, и во время национально-освободительной борьбы. Лишний год-другой в его положении ничего не значат, даже наоборот — укрепится дух, закалится тело. И другого забывать нельзя. Мы шли по пути прогрессивных социально-экономических преобразований. Мы строили новую жизнь, общество без эксплуатации человека человеком. Весь империалистический мир против нас. Его подлые провокации привели к тому, что у нас наблюдались временные неудачи. Но мы крепили нашу оборону, мы не прощали наших врагов, даже если они приползали к нам на коленях! У нас было все, что необходимо: «мерседесы», реактивные самолеты, большие запасы виски, неплохая служба безопасности.

Если не хватало, заказывали еще. У нас были деньги. У нас был кофе. За кофе всегда платят долларами. А на эти доллары можно купить что угодно и где угодно. Нужны новые самолеты — я приказывал позвать представителя «Боинга», и через неделю у нас был новый «боинг». Появилась нужда в истребителях — звонил русскому послу, он был только рад. Хотя мороки с русскими больше, чем с американцами. Те — люди дела: заказал, получил, заплатил. Или — заплатил, а потом получил. Русским обязательно надо сказать, что они такие бескорыстные, так хорошо относятся к нам, бедным африканцам, что у них такая миролюбивая политика и вообще, как все их здесь любят. Правда, скажешь так — и получишь что хочешь. Они сразу записывают тебя в прогрессивные лидеры, присылают советников, сами за них платят, сами их устраивают. Дают кредиты, то-се, фабрику предлагают построить, колледж сельскохозяйственный. А на кой мне это все нужно, позвольте узнать? Я-то просил всего два МИГа поновее. Но ничего поделать нельзя. У них свои правила игры. Не скажешь им про империализм и неоколониализм — вообще ни шиша не дадут. А слова-то какие — язык сломаешь. И ничего не понятно. Вначале было очень тяжело. Вроде все слова правильно расставлял: перед «империализмом» обязательно — «американский», после «миролюбивый» сразу — «Советский Союз и другие социалистические страны». А что? Так научили и спасибо, очень удобно. Но чуть заблудишься, сразу начинаются обиды. Мол, зачем это вы перед «империализмом» поставили не только «американский», но и «советский». Вы что это имели в виду? Уж не намекаете ли вы? Не пошли ли вы на поводу? И понеслось. Может, вам уже не нужна наша помощь, в частности военная? Ну вот еще, не нужна. Куда я без нее. Приходилось снова заучивать.

Но позже привык. Увлекся даже. Оказалось, что все так делают. Приедешь куда-нибудь на конференцию, а там только об этом, бросаются друг в друга разными заумными словами, сами ни черта разобраться не могут. Когда один на один беседуешь, вроде ничего, нормальные, про баб могут, про тюрьмы. А на трибуну выйдут — как подменили: «Наши народы, страдающие от провокаций империализма, расизма, сионизма, неоколониализма, деспотизма...» Одни «измы», изжога от них поднимается.

Но я и тут сделал открытие. Кстати, надо издать хотя бы небольшой сборник моих достижений в политике и вообще в жизни — в назидание молодым. Как все гениальное, оно было очень простым. Если у тебя есть враги, что надо с ними сделать? Правильно — уничтожить. Но перед этим их нужно как-нибудь назвать, обозначить их принадлежность. Ну, скажем, «враги нашего революционного правительства». Или — «лазутчики бывшего президента». Но это все же очень по-домашнему. Не каждый заметит, обратит должное внимание. А если сказать прямо и резко: «агенты империализма», то всем становится ясно. Во-первых, сразу понятно, что твой режим прогрессивный. Во-вторых, так можно назвать любого, даже свою собственную жену.

А из них-то, между прочим, самые коварные агенты империализма и выходят.

V

Этот недоучившийся доктор, чье имя наверняка проклято до седьмого колена, распускал сплетни про моих жен. Вроде бы всех я их замучил, нескольких убил и так далее. Ну, начнем с того, что убил я всего одну. Притом самую любимую. Мэг. Я ее взял совсем девочкой. Помню, как она смешно сопротивлялась, королевская дочь. А потом так влюбилась в меня, что не могла и часа прожить без моих объятий. Она боготворила меня, считала, что сильнее мужчин просто не бывает на свете. Все ей завидовали, все. Даже я сам иногда ревновал ее к себе. Вот как я ее любил. Но трижды прав был мой первый сержант в армии, который учил, что врага надо искать в районе постели. Те, кто сделал ее моим врагом, жестоко поплатились и сейчас кормят червей. Но нужно быть настоящим агентом всех империализмов, чтобы научить мою девочку заглянуть в холодильник в Главном дворце. Она потом говорила, что это было как в сказке о какой-то Синей Бороде. Начитанная она была, ничего не скажешь. Я попросил ее рассказать, что же было в этой сказке. А она ответила, что сказка по сравнению с тем, что она увидела в моем холодильнике,— невинная детская шутка. Я потом приказал, чтобы мне ее зачитали. Ничего себе детские шуточки были в те времена. А еще меня обвиняли в жестокости! Ну, был холодильник, был. Он и сейчас стоит, и не пустой, а как всегда — с талисманами. Тогда, при Мэг, их было гораздо меньше. Она увидела мой лучший трофей, которым я и сегодня горжусь,— голову Джона Кукануки — самого наглого из моих соперников в первые годы Второй республики, когда нашу народную демократию он попытался использовать в корыстных интересах, направляемый все той же кровавой рукой неоколонизаторов из-за океана. Голова как голова. Отрезана очень аккуратно, глаза закрыты. Чего пугаться-то? Тем более не на показ сделано, а как талисман, чтобы дух поверженного врага не тревожил по ночам. Сколько врагов, столько талисманов, то есть джуджу.

И что я до сих пор жив — спасибо джуджу и моему личному колдуну. Жил он далеко на севере. В тайном месте — никто не знает и не узнает никогда. Потому что раскрыть место, где живет твой колдун, значит дать врагу возможность этого колдуна перекупить. Придется искать нового, если успеешь. Тот был уже третьим. Двух других пришлось еще раньше отправить на тот свет за предательство. И колдовали в общем-то они неважно: несколько раз я находился на краю гибели. А этот работал хорошо. Советовал, у кого чего отрезать: у одного — только ногти, у другого уши или нос, у третьего обязательно надо вырвать волосы.

Однажды он дал мне хороший совет, как поступить с одним из моих министров, задумавшим дурное. Этот министр под ложным предлогом — якобы проверить пошатнувшееся здоровье — взял отпуск и отправился к своему колдуну. У него был очень сильный колдун, я это хорошо знал и следил за всеми его передвижениями. Как мне доложили об этом — я сразу за ним, в погоню. Приехал очень вовремя: министр, здоровехонький, радостный и сияющий как новенький шиллинг, уже садился в «мерседес» и отдавал приказы, будто уже стал президентом. А эти местные идиоты чуть ли не на коленях перед ним. И тут приземляется мой вертолет. Шум, грохот, тучи пыли. Павшие ниц так и лежат, пыль из глаз вытирают. А мой министр увидел меня, задрожал, начал креститься, серый стал, чего-то шепчет. Не иначе, с жизнью прощается. А ведь верно почуял, способный был министр. Наверное, последний способный в моем правительстве. Но вот пыль улеглась, все разбежались, остались мы с ним вдвоем, да еще охрана. Ну что, спрашиваю, поправил здоровье? Нет, отвечает, то есть да, поправился, ваше превосходительство. Отлично, говорю, жди меня здесь, вместе полетим домой, есть о чем поговорить. Оставляю его под охраной верного Фарука Бирады, а сам — к этому колдуну. Берем мы его за горло, еле дышит, но сразу начинает говорить. Чуть отпустили, он и сообщает: приезжал, говорит, ваш министр справляться, когда ему лучше переворот произвести — в июне или в июле? Ну, и что, спрашиваю, ты посоветовал? В июне, говорит, только в июне может получиться, потому что все знаки на этот месяц указывают. Хорошо, говорю, в июне так в июне. И приказываю посильнее сдавить ему шею, чтобы замолчал навсегда. Садимся в вертолет, министр все еще серый, видимо страх глубоко проник, я такое состояние очень люблю: человек становится мягким, податливым — делай с ним все что хочешь. Летим на север, теперь уже к моему колдуну: нельзя принимать решения без консультации. Тот сразу говорит: не мешкай, кончай с изменником, поскольку пока от него еще мало злых духов исходит. Чуть промедлишь — мороки с ним не оберешься.

Спасибо, говорю, считай, что молочная ферма этого министра — твоя. Снова садимся в вертолет. Министр уже мыслями не с нами, дышит тяжело, потеет и несет от него — не иначе как в штаны наложил. Я от такой нечистоплотности просто зверею. Не могут уйти по-человечески. Но ничего, уговариваю себя, надо терпеть, недолго осталось. Зато в июне он сможет только сверху посмотреть, какая прекрасная жизнь начнется в нашей стране без него. Впрочем, его скорее всего направят в ад за его нечестные намерения. Ну, говорю, дорогой мой, захотел на мое место? Надоело просто в министрах ходить? Тот задрожал крупной дрожью, ответить не может. Вижу, что разговаривать с ним бесполезно, столбняк на человека нашел. Говорю Фаруку Бираде: помоги ему занять мое место, а сам дверь отодвигаю, чтобы воздуху было побольше. Умница Фарук понял меня с полуслова. Берет он этого уже бывшего министра за шиворот и подталкивает его к открытой двери, а тот даже сопротивляться не может, так, слегка, для порядка, пальцами за кресла хватается, но не сильно. И уже на самом краю красивым пинком в зад его вышвыривают вниз. И он летит распластавшись. Надо признать, довольно любопытное зрелище — без парашюта, с высоты полторы тысячи метров, и весь путь к земле знает, что наверняка разобьется. Интересно, о чем они там думают в эти секунды?

Один вот такой как-то пытался изложить свои мысли, когда мы его подвесили на веревке и летали над водопадом Калебага. Внизу скалы, крокодилы и бегемоты, мы то снижаемся, так что он почти воды касается и всякая нечисть внизу пасти разевает, то взмываем вверх, а он даром что в годах, причем чиновник, нетренированный совсем, жирный, а всё концы не отдает, более того, даже кричит всякие обидные слова, когда мы его подтягиваем и интересуемся его самочувствием. В такие моменты мне просто хочется задушить изменника своими руками. Но Фарук Бирада мастер на выдумки. Почему бы, говорит, не протащить его еще километров десять по воздуху, а там у меня есть небольшая крокодилья ферма. С кормами, сами знаете, трудно, а тут мясо даром пропадает. Идея мне понравилась, и вот мы уже поворачиваем и летим к этой ферме. Изредка только за веревку дергаем, чтобы проверить, жив ли еще наш корм, не лишит ли он нас законного удовольствия. Ничего, вытерпел путешествие, привезли живого, махал там чего-то руками-ногами. И когда оказались мы над небольшим мутным озерком, огороженным высоким проволочным забором, и он увидел мерзкие пасти и, видимо, понял, что его ждет, то заорал так, что заглушил рев вертолета. И в этот самый момент я приказал обрезать веревку. Он шмякнулся в воду, распугав крокодилов, которые, впрочем, быстро сообразили, в чем дело, и в свою очередь подняли тучу брызг, бросившись на добычу. Сверху хорошо было видно, как они рвали бывшего заговорщика на части и жадно заглатывали вместе с одеждой, вырывая друг у друга куски свежего человечьего мяса. Потеха, да и только. Мы очень смеялись, глядя на эту драку. Ну совсем как люди.

В такой опасной жизни спасти могут только народные средства. Вот иногда мне становилось так страшно, что, стиснув руками голову, я метался по комнатам, хотелось кричать, убивать, жечь. Мои уже знали, в чем дело, и приводили какого-нибудь государственного преступника, подготовленного, хотя я не любил совсем вялых, нужно, чтобы немного трепыхался, чтобы говорить хотя бы мог. И я сразу начинал успокаиваться, когда рвал ему ногти или выдавливал глаза. Его стоны и крики — как бальзам, как лекарство, моя собственная боль усмирялась, переходила к преступнику и разрасталась в нем ужасным, но одновременно прекрасным цветком.

Очень приятно, наступали полный покой и самообладание, очень хотелось женщину, я звал слуг, чтобы убрали труп, остригли волосы с головы и дорвали все ногти, и чуть ли не бегом — в спальню Мэг... Как мы любили друг друга в такие моменты! Она обвивала меня своим гибким, сладким телом и ненасытно принимала все мои ласки, буквально опустошая меня. Но я никогда не уходил побежденным. Это она сдавалась, а у меня оставалось еще так много сил, что я брал кого-нибудь из офицеров, и мы ехали на наш прославленный курорт, который я назвал Претория в честь грядущей победы над расизмом и апартеидом в Южной Африке. Там, уже не торопясь, мы развлекались с какой-нибудь девочкой, а то и несколькими, смотря по обстоятельствам.

Мэг была отличной любовницей, но хотела знать слишком много. Ее любопытство стоило ей жизни. И кроме того, она стала угрожать мне — самому президенту! Забыла, видимо, что только в постели она может добиваться исполнения своих желаний, да и то не всех, а только тех, с которыми соглашусь я. Я знаю, ее научили злые люди, они думали, что смогут использовать ее влияние на меня и заставить Миди Ламина Додо, героя нескольких войн, вернуть мошенников-азиатов, которых мы выгнали из нашей страны во время революции, и поделиться экспроприированной собственностью с вождями ее племени. Им казалось, что, если Мэг попугает меня этой мертвой головой, так Ламин расплачется как ребенок и сделает все, что они захотят! Мерзавцы! Бедная Мэг, она стала жертвой чудовищной провокации. Не сионисты ли это подстроили? Кто знает... У израильтян длинные руки, у них агенты в каждой африканской стране. Тем более среди племени бадаунга, которых недаром издавна кличут «евреями Африки». Такие же хитрые, пронырливые, так и норовят заграбастать чужое. Да и соплеменники Мэг не лучше, хотя мое племя с ними соседствует.

Да, с Мэг пришлось расправиться быстро, иначе могли произойти неприят-

ности. Какие? Разве предугадаешь? Разве сейчас скажешь? Их было так много, что мой колдун посоветовал не раздумывая приступить к делу. Но идея убийства была моей. Проста до гениальности. Никаких улик. Никаких указаний на ее супруга или кого-нибудь из спецслужбы.

Я придумал, будто у Мэг был любовник. Что характерно, врач-гинеколог из бадаунга. Знать бы в то время, что ты, Пемба, готовишь измену — ты бы оказался на его месте. Так вот. Они находятся в интимной связи. Мэг, естественно, боится беременности. Но она уже на втором месяце. Все может раскрыться! Ужас! Она бежит к своему другу — гинекологу. Тот соглашается сделать аборт, хотя подобные операции запрещены законом. Руки дрожат — все же его собственный ребенок, жена президента, его любовница. Короче говоря, она гибнет от потери крови на операционном столе. И этот вредитель, которого я стал ненавидеть к концу составления сценария, как будто он и в самом деле обесчестил Мэг и сделал ей ребенка, этот самый докторишка, как настоящий трус бадаунга, вместо того чтобы честно донести на себя в полицию и понести заслуженное наказание, варварски расчленяет труп убитой на несколько частей, складывает в полиэтиленовый мешок и засовывает в багажник своей автомашины, намереваясь отвезти за город. Однако, мучимый совестью (это очень хороший ход: президент, раздираемый горем, все же признает наличие совести у презренного народа, способного рождать подобных насильников и убийц), он возвращается домой, запирает двери, сообщает обо всем семье — а их с детьми десять человек,— и все, пораженные свалившимся горем, принимают яд. Так их и находят утром полицейские. В качестве главной улики будет предъявлен зазубренный скальпель, которым преступник делал запрещенную операцию. Он валялся там же, в багажнике.

Все было разыграно как по нотам. Красавица Мэг в виде кусков мяса (надо было попробовать, но за суетой как-то вылетело из головы) и ее любовник с семьей за столом в спокойных позах. Официальное сообщение прочитано по радио и телевидению. У диктора звучали слезы в голосе. Наш человек, сыграл неплохо, заработал медаль. Потом посыпались соболезнования от посольств, правительств, премьер-министров, президентов. Ваше превосходительство, да как же так, да что же это за люди такие! Открыли траурную книгу для почетных гостей. Все флаги приспущены. Скорбим по-настоящему. Намекали ватиканскому нунцию, чтобы папа прислал телеграмму, но тот как-то ловко увернулся. Обещали припомнить ему это. Погребальная церемония тоже прошла на редкость удачно. У меня были слезы на глазах, мои головорезы из кабинета министров рыдали без притворства, я бы сразу заметил если что.

VI

Так что, дорогой Пемба, убил я всего одну Мэг. Но ты там кричал и про Кариан, мою вторую жену. Ну, эта была просто дура. Я ее взял из танцовщиц. Вертела задом в нашем прославленном ансамбле «Ритмы Африки». Но вертела настолько хорошо, что стала моей в первый же вечер, как я ее увидел. Ее неподдельная простота мне очень нравилась. Что угодно можно было ей сказать, она только кивнет головой, а глаза сразу становятся масляные, движения замедляются, дышит тяжело — и ко мне. И ее я любил, но чуть меньше, чем Мэг. Может быть, поэтому она и пострадала меньше? Один Аллах знает. Виновата во всем она сама, ну и, конечно, Мэг. Именно она показала Кариан злосчастный холодильник с головой Кукануки. Та чуть остатков ума не лишилась. Как увидит меня — сразу в обморок. И тоже разговоры начались: да как же так, да почему, надо всем рассказать. Я ей: заткнись, шлюха, не твоего ума это дело! Она замолчит, забьется в угол, зубы скалит, как настоящая сука. И задом крутить совсем перестала. Кому нужна такая жена?

Фарук Бирада очень хитер, но положиться на него можно, по крайней мере со мной он всегда был откровенен. На него тоже, конечно, писали доносы, но в общем ничего особенного. Кого-то убил случайно, чью-то жену трахнул, да и дом отнял. Мелочи. Человеку его профессии можно простить многое. Его-то и посоветовал мой колдун в качестве исполнителя воли Аллаха.

Но сколько раз я убеждался, что нельзя полагаться только на одного, пусть самого верного исполнителя. Всегда нужно иметь запасной вариант, дополнительную роту, чтобы сидела в засаде, и в нужный момент, когда враг не подозревает, одним ударом решить битву в свою пользу. А тогда понадеялся на Фарука, и вот что получилось. Его люди тщательно изучили все маршруты, по которым Кариан ездила по городу, взяли под наблюдение всех ее знакомых, поставили охрану вокруг ее дома (я ей подарил дом). Операцию провели как-то вечером, когда ее пригласили в гости на другой конец города. Она всегда сама вела машину, старалась почти не пить. И вот, совсем недалеко от дома ей дорогу преграждает огромный грузовик без опознавательных знаков и с потушенными огнями. Потом все удивлялись, откуда он мог взяться в городе: ведь президентским декретом в ночное время любым грузовикам запрещено ездить — мало ли что они там везут. Но вот один, видимо, прорвался. И встал на пути у моей второй любимой жены. В такой ситуации разве затормозишь? Машина всмятку. Полиция прибыла на место катастрофы ровно через две минуты. Тоже промашка Фарука. Обычно они приезжают через несколько часов, тем более в ночное время. Бездыханную Кариан собираются везти в морг, но

вдруг — что такое? Она издает стон, что-то бормочет! Жива! Кости переломаны, череп раскроен, кровищи вытекло не меньше ведра, а она жива! Ну просто чудеса. Колдун потом сказал, что такое бывает, надо было выбрать джуджу посильнее, в следующий раз он это учтет. Обязательно учти, сказал я ему.

Пришлось везти Кариан в отдельную палату, заказывать цветы не в венке, а в вазочке, слать фрукты, лучших врачей и самому приехать посидеть на краешке кровати. Пригласили телевидение, чтобы весь народ видел, как умеет прощать и скорбеть президент. Мне жаль тебя, сказал я ей в присутствии репортеров, быстро записывавших каждое мое слово. Но не ищи причину в каких-то посторонних вещах. Все дело в том, что ты сменила единственно правильную веру — ислам, на религию колонизаторов, империалистов и расистов, у которых руки по локоть в крови наших братьев в Намибии и ЮАР, в Даунге и Сальвадоре. Ты решила креститься и теперь пожинаешь плоды своей неверности. Аллах был еще добр к тебе, оставив тебе жизнь. Но его урок ты запомнишь до конца дней своих, если их у тебя будет достаточно много. И вообще так будет со всеми, кто против меня, против ислама. Очень неплохое выступление. Кариан даже глаза приоткрыла, думала, наверное, что уже в раю — а там снова я. И еще речь говорю. Представляю ее удивление. Поглядела, покрутила зрачками и быстро отключилась. Теперь она точно будет знать, кто хозяин.

И всем, всем нужно было запомнить всего лишь одну простую истину, самый главный Принцип Додо: Даунга — это Ламин, а Ламин — это Даунга. Сразу жизнь стала бы легче и радостнее. Эх, надо было тогда же распорядиться, чтобы развесили это изречение на улицах. И пусть по телевизору, с каждым выпуском новостей, сразу после гимна. Нет, лучше перед.

VII

Только от моей воли зависела жизнь и смерть всех даунгийцев, детей и стариков. Я был настоящим отцом нации. Все вопросы решал сам. Правительство — это так, забава. Мне даже нравилось смотреть, как они играют в министров, катаются на «мерседесах», летают в Лондон за покупками. Настоящая власть — только у меня.

Говорят, что я почти неграмотен, политически наивен и удивительно жесток. Любят повторять, что мои действия непредсказуемы. Но в то же время никто из моих противников не отрицал, что я мог быть очень щедрым, а силу моего обаяния испытали на себе очень многие, ставшие потом моими жертвами. Я протяну руку отверженному, обниму прокаженного. О, я знаю, как это действует на публику. Я чувствую настроение толпы с точностью до градуса. Если бы не эти качества, разве сумел бы я держать в руках эту банду головорезов, которые называли себя правительством? Лучше их никто не знал, что скрывается за моей улыбкой.

Фарук Бирада однажды принес мне листовку, отобранную у одного студента. Мальчишка сделал то, что не догадались сделать мои помощники. Он сравнил последний список кабинета министров с самым первым составом. Получилась забавная картина. Оказалось, что я убил почти половину, а еще четверть сбежала (как же тебе повезло, Пемба!). Он еще привел имена так называемых видных представителей общественности, которые, как там было написано, «стали жертвой кровавого режима». Неужели у нас было так много видных представителей? Теперь понятно, почему наша экономика была в развалинах и не на что было купить лишний танк.

Многие меня считали просто клоуном. Пусть. Я старался поддерживать этот образ. Клоун. Но вы и глазом не моргнете, как окажетесь в его власти. Людям приятно думать, что такой большой и сильный, глава государства, фельдмаршал, к которому приходят на поклон премьеры и президенты великих держав, а сама английская королева шлет поздравления к праздникам — всего-навсего клоун.

И с другой стороны, я всегда знал, что без меня в Африке станет скучно. Ко мне уже настолько привыкли, что два-три дня без сенсаций из Даунги воспринимались как самая большая новость. Все приходили в напряжение: ждали, когда меня укокошит кто-нибудь из моих собственных бандюг или соседняя страна начнет против меня военные действия. Но никто не догадывался, что меня не берет ни пуля, ни проклятье. Я заговоренный. Мой колдун приготовил такое джуджу... Всех переживу. А как забавно, когда сам пускаешь слух о покушении на самого себя! И смотришь в окошко, как начинает суетиться весь этот муравейник. Бегают, ботинки начищены, глаза горят, один другому в ухо: шу-шу-шу, по радио маршевую музыку передают, а антенны у посольств прямо красные становятся — торопятся друг друга обогнать. Вот уже и продажная буржуазная пресса на первых полосах: убит, похищен, ранен в голову, отрубили руку, сбежал в Ливию, подвергается мятежниками пыткам... А я в это время лежу в постели с семнадцатилетней студенткой и учу ее разным штукам, которых она еще не знает. Некоторые из этих молодых такие способные, просто радуешься за наше новое поколение.

А стоило мне появиться на международной конференции, как сбегались все, даже буфетчики. Никаких там «делегация не присутствовала при голосовании» — ни одного свободного места, стояли в проходах. Все — в ожидании. Знали, что я буду говорить без бумаж-

ки, не то что эти выскочки с университетскими дипломами. Когда я поднимался на трибуну, мгновенно наступала тишина — ни звука, рты раскрыты, блокноты наготове, ощетинились микрофонами. Каждая моя фраза тонула в аплодисментах и искреннем хохоте. Мне нравится, когда смеются. Они думали, я всего-навсего клоун. Но я могу говорить им все, что захочу. Все, что думаю. А кто из них способен на такое?

Когда-нибудь догадаются издать сборник моих Принципов и высказываний по крупным международным проблемам и поразятся, насколько гениальны были мои предсказания и уникальны решения мировых конфликтов, которые я предлагал. Вот некоторые из наиболее сильных:

«Англичане являются международными бандитами и грабителями с большой дороги. Чем раньше мы покончим с британским колониализмом, тем лучше все будут жить».

«Что такое социализм? Это когда все бесплатно работают на полях и едят из одной посуды. Если ты берешь свою тарелку и не ешь со всеми, то ты уже не социалист. Мы в Африке знали эту систему давно, задолго до того, как ее обнаружили европейцы. Поэтому африканцы — самые лучшие социалисты».

Или вот: «Разрешить конфликт на юге Африки можно очень просто. Дайте мне сто пятьдесят хороших солдат, десять МИГов и несколько танков. В бой их поведу я. Несколько дней кровопролитных сражений — и система апартеида ликвидирована».

Обо мне писали все газеты мира. Издавались книги, снимались фильмы. Бывало, и билета не достанешь. Правда, все это не для даунгийцев. Незачем им было знать, что́ говорят о любимом президенте империалистические средства массовой информации. Вот из стран социализма — пожалуйста. Там меня называли «патриотическим военным», проводящим «прогрессивную внешнюю политику», противостоящим «происка м империалистических сил и местной реакции». Читать, конечно, самому было смешно. Но народ — тот ничего, выдерживал, принимал всерьез.

С народом вообще надо держать себя строго, без всяких там либеральных штучек. Либерализм — прямая дорога к гибели. Это еще один мой Принцип. К гибели режима, разумеется. Потому что всякий либерал прежде всего делает вид, будто его интересует, как живет самый последний бедняк. Как только бедняк узнаёт, что им кто-то интересуется, он немедленно начинает бороться за свое существование. До этого жил спокойно, никому не мешал, а теперь начинает бороться. И самое интересное, что этой борьбой он свое существование только ухудшит — всем это давно известно. И тем не менее он выходит на большую дорогу. И рано или поздно подстерегает этого самого либерала и кончает его самым безжалостным способом. И ставит вместо него кого? Конечно, человека сильного, решительного, не терпящего никакой слабины. Народу нужна сильная рука. Он любит порядок. Почему при колониализме был порядок, а сейчас нет? Потому что англичане раньше чуть что — сразу направляли войска. А потом начали заигрывать с так называемыми политиками, разрешали им выступать, мутить народ. А результат — вот он. Ничего не работает, вокруг бандиты, даже мое правительство было шайкой головорезов, жаль, что всех не перестрелял. А народ до сих пор не устает возмущаться: как же так, довели страну до ручки, кто виноват... Кто виноват? Сами и виноваты. Все хотят стать генералами, никому в солдатах ходить не хочется. А кто воевать будет? Генералы? Черта с два!

Народ должен быть как шелковый. Его только надо приучить, что без вождя он никуда. Надо вбить ему в голову, что, когда плохо — это значит очень хорошо. Когда нечего жрать — значит все сыты. Когда убивают — значит проявляют величайшую милость. На вас снизошла милость президента — значит кого-то из ваших близких уже нет в живых. И вы должны благодарить и кланяться — и все искренне, никакого лицемерия, от души. Вот тогда будет полный порядок.

Многое было сделано. Мы издали несколько декретов, которые помогали народу ориентироваться. Например, декрет о том, что «любой гражданин, желающий увидеть президента, должен встать перед ним на колени». Или декрет о том, что «не работающий на благо президента навсегда останется бедным». Огромное значение имел «декрет о враждебной пропаганде», который запрещал печатать все, что не нравится президенту. Поскольку никто не знал толком, что́ именно мне могло не понравиться, вообще старались не печатать ничего предосудительного. Очень удобно. Газеты публикуют только официальные сообщения и местами — вести из мира спорта или животных. Скажем, взбесившийся носорог забодал молодую туристку из ФРГ, а еще лучше из США.

VIII

В качестве совета начинающим президентам, молодым сержантам и лейтенантам, которые еще грызут ногти в казармах, завидуя более удачливым капитанам и майорам, могу сказать: действовать надо решительно, не раздумывая. Вообще, голова — плохой советчик в таких делах. Только инстинкт выведет на правильную дорогу. Автомат в руки, верхом на танк и вперед — к президентскому дворцу. И все будет прекрасно — если там тебя не поджидает полк президентской гвардии, получивший предварительную информацию о выступлении от одного из твоих самых верных сообщников. Тогда тебя, конеч-

но, расстреляют в упор, и это будет лучшим концом. В худшем варианте тебя разорвут на части, сварят в кипятке или сделают еще что-нибудь приятное для глаз здравствующего президента.

Я с такими никогда не церемонился. Помню, выступаю я перед дипломатическим корпусом, читаю им лекцию о политической экономии, всем весело, мне самому смешно стало. Вдруг на трибуну крадется мой вице-президент, старикашка лет семидесяти, ну совсем старый, похож на обезьяну в военном мундире, я его прямо из деревенских старост возвел на этот высокий пост, подкатывается ко мне и чего-то бормочет. Чего, говорю, тебе, старик? Слышу: бунт в Насаке, солдаты взялись за оружие, идут на здание горсовета. Ну и что, пошлите несколько танков, самолеты пусть пару раз побомбят, а главного заговорщика возьмите живьем и привезите сегодня вечером ко мне. Стоило беспокоить по таким пустякам, но что поделаешь, они как дети. Без меня никуда. Сам ведь учил.

И что меня всегда удивляло: знают, мерзавцы, что их ждет, а все равно лезут. Вы можете спросить, а как же я сам смог? Но ведь это совсем другое дело. Кроме поддержки колдуна у меня был боевой опыт, верные солдаты и такой важный фактор, как физическое отсутствие тогдашнего президента — он уехал куда-то на международную конференцию. Кстати, у нас в Африке перевороты почти всегда совершаются именно в такое время. Хозяина нет — слуги захватывают его дом. Поэтому всегда нужно, чтобы кто-то оставался дома. Или делать вид, что уезжаешь, а сам — прячешься и ждешь, кто высунет голову. И точным выстрелом — бах, и одним меньше. Несколько раз я именно так и поступал. Газеты сообщают, что я уже уехал, что меня якобы кто-то там уже встретил, телевидение даже показывает хронику двухлетней давности, как я где-то там спускаюсь по трапу на красную дорожку, машу всем рукой и широко улыбаюсь своей всемирно известной улыбкой — а в это время я в засаде, мои телохранители наготове, танки у дверей. Если никто не лезет, то — на самолет и в путь. Извините за опоздание, мол, государственные дела, где там надо расписаться? — и назад в тот же день. Знаю, что у некоторых есть двойники, но я этим не пользовался. Во-первых, подобрать было трудно: народ все больше мелкий. А во-вторых, отправишь его с визитом в другую страну, а он сболтнет лишнего, а еще хуже — убежит, станет в газеты писать. Кому это нужно?

Но вот заговор раскрыт, бунтовщики перестреляны, передавлены танками, но некоторым не повезло, попали в плен живыми. Теперь начинается самое интересное. Никто из них не погибает сразу. Вначале преступника нужно довести до полного осознания его вины, до абсолютного покаяния и повиновения, а если возможно — то и любви к своему палачу. Потому что палач неизбежен, и все это знают. В этом-то и секрет. Знают ведь, что в конце туннеля смерть, а между тем стараются любым способом ее избежать, хотя они уже в этом туннеле и путь открыт только в одну сторону. Начинается это недолгое пребывание в камере пыток с обязательных побоев. Бьют независимо от пола и возраста, но не до смерти. Потом дают немного отдышаться и приступают к серьезному допросу. В общем-то и допрашивать уже не о чем, и так все ясно, но, бывает, называют имена друзей или соседей, стараясь по ним выкарабкаться из туннеля. Естественно, и названных привозят туда же. Пытки самые обычные: электрошок, иголки под ногти, вырывание зубов, отрезание некоторых органов, ломка костей, словом, все известно, но каждый раз настолько захватывает, что я сам иногда вел следствие. Фарук Бирада и здесь отличался, придумывал новые развлечения. Самых упрямых он заставлял убирать камеру после пыток. Но никаких там тряпок или воды: только руками и языком. Откажешься — отрежут язык, переломают руки. Сделаешь — дадут несколько часов передышки. Не было ни одного случая отказа. Вот ведь народ, а! Но и концовка у всех разная. Тут тоже неравенство. Наиболее сговорчивым даруем расстрел или повешение, непокорных ждет менее приятная смерть в кипятке или где-нибудь в лесу с переломанными костями. В последнее время мы все чаще проводили групповую казнь без применения боеприпасов. Неисчерпаемый на выдумки Фарук (интересно, какую казнь ему придумают наши враги, если поймают?) ставил две шеренги заключенных. Задним раздавали деревянные или железные молотки и приказывали бить по головам впереди стоящих. А потом молотки брали солдаты. Пару раз я сам пробовал, ничего, ощущения довольно необычные, хотя быстро привыкаешь.

Бывало, и в провинции изобретали что-то новенькое — в нашей стране мысль бурлила не только в столице. Один из моих учеников, полковник Маньялунгу, бывший сторож на текстильной фабрике, можно сказать, представитель трудового народа, за свои заслуги перед Второй республикой получивший офицерское звание, был широко известен как неумолимый воин, защитник революции. Одно его появление внушало суеверный страх, потому что он любил расчленять свои жертвы, а это, сами понимаете, лишало их духов возможности отомстить после смерти. Однажды он превзошел самого себя. Дело было так. Взбунтовался мэр города Насаки некий Малувемба, жирный, неприятный тип с некрасивой женой, множеством детей, вечно недовольный, сплошные жалобы на солдат — кому такое понравится. Но терпели. Пока этот деятель не арестовал одного из наших, и можете представить за что? Даже вообразить нельзя: за изнасилование! Надо же, преступление! И благо бы кого из его близких, так нет.

безвестная девочка какая-то, из крестьянской семьи, бежала опрометчиво по лесу, разве можно пропустить? Тут все поняли, что он просто бунтовщик и что этим нелепым арестом он хотел унизить государственную власть, нанести оскорбление военному режиму и лично президенту. Такое прощать нельзя. И полковник Маньялунгу поступил совершенно правильно (за что впоследствии и был отмечен в приказе главнокомандующего всеми вооруженными силами страны, фельдмаршала, то есть в моем приказе), взяв несколько вооруженных солдат и ворвавшись в дом упомянутого мэра.

Мэр в это время обедал вместе с родственниками и знакомыми. Несколько автоматных очередей — и он остается за столом один-одинешенек, тихий, покорный власти, ни слова не говорит и только сереет на глазах, того и гляди удар хватит. Маньялунгу приказывает его вынести на свободное место, берет лежащий на столе большой нож, опытным движением вспарывает ему штаны и очень ловко, с одного раза отхватывает то, чем этот Малувемба делал своих детей. Но это не все. Просто так было бы неинтересно. Наш бравый полковник, забрызганный кровью как мясник и поэтому совершенно озверевший, сует отрезанное бывшему уже мэру в рот и приказывает так держать все время, пока его будут вести по главной улице. Иначе, говорит, пристрелю на месте. И тот, будучи, конечно, уже в невменяемом состоянии, покорно держит и идет, хотя другой, более разумный, предпочел бы, конечно, быть расстрелянным на месте. Психологически очень точно рассчитано. Все хотят жить, даже в таком состоянии.

Между собой мы иногда сравнивали наиболее выдающиеся способы ликвидации самых опасных преступников. Маньялунгу порой набирал высший балл. Хотя, надо признать, первое место чаще других все-таки доставалось мне. И совсем не потому, что я — президент. В этой игре мы все были равны. Одна из моих идей, например, была поставлена на конвейер: заключенных заводят в небольшое помещение и забрасывают двумя-тремя гранатами. Очень эффективно.

Но физически убрать негодяя — это еще не все. Нужно лишить силы его дух, который в противном случае долго может преследовать убийцу. У каждого человека дух находится в самых различных органах. У одного — в печени, у другого, как это ни смешно,— в пятках. Поэтому нужно точно знать, у кого где, чтобы не ошибиться и не мучиться потом всю жизнь. Поэтому без колдуна не обойтись. Именно он может точно указать, что отрезать, откуда выпить кровь или какой кусочек мяса съесть. Ритуал настолько строг и торжествен, что для многих, в том числе и для меня, он составляет главную часть расправы над противником.

В моргах, правда, студенты жаловались, что трупы поступают без внутренних органов, или без кожи, или еще без чего. Но что поделаешь: традиции надо уважать. Без традиций, освященных древностью, новой, лучшей жизни не построишь. Что будет, если духи погибших начнут летать туда-сюда, не давая ни сна, ни покоя честным людям? А сколько же этих духов могло быть, ужас! Если считать, что в каждом живет только один злой дух, то получится почти полмиллиона. А если по два? А ведь обезвредили мы всего лишь малую часть. Так что эти студенты должны были нас благодарить — им-то уже ничего не грозило, могли спать совершенно спокойно.

Вот тут мы как-то совершенно логично подошли к вопросу о так называемом людоедстве. Ты, Пемба, обвинял нас в том, что мы употребляли в пищу мясо людей. Это — наглая ложь! Человеческое мясо не являлось частью нашего, в частности моего, рациона. То есть я не ел его каждый день и мог обходиться без него достаточно долго. Даже по нескольку месяцев. С другой стороны, отказать себе в удовольствии время от времени съесть небольшой, хорошо прожаренный или, напротив, совершенно сырой, так сказать, парной кусок — не могу и не хочу. И почему, собственно, я должен лишать себя такой маленькой, в сущности-то, радости? Ведь это тоже — традиция, и не менее древняя, чем, скажем, езда верхом у англичан. Может, мне их обращение с лошадьми тоже кажется противоестественным, а ничего, терплю, даже когда они этим занимаются публично. Белые люди сами часто говорят, что надо уважать африканские традиции, что они почти исчезли при колониализме, что лишь в отдаленных местах еще существуют, нужно их восстанавливать и так далее. А как доходит до дела, начинаются крики ужаса и негодования. Людоеды! Каннибалы!

Давайте разберемся. Вот, скажем, идет война, на нашу деревню напали соседи из другого племени. И мы убили их вождя. Обязательно нужно отрезать кусочек мяса и съесть или, в самом крайнем случае, выпить немного его крови, пока не свернулась. Таков обычай. Или во время второй мировой войны, когда у нас кончались припасы и шансов на скорый подвоз не было. Что нам было делать? Принято было добивать раненого товарища — с его согласия, разумеется,— и съедать. Иначе все бы погибли — кому от этого польза? Только врагу.

По вкусу, надо сказать, на любителя — очень соленое. Но традиция есть традиция: нравится или не нравится, а надо уважать и неукоснительно выполнять.

IX

Самое трудное, вы понимаете, конечно,— это захоронение трупов. Солдаты уже не в силах были копать общие могилы, случалось, просто бросали тела в лесу или в реку. Местные жители боялись подходить к берегу: крокодилы не справлялись, зажрались, трупы и

отдельные части выбрасывало на сушу. А лес Мабира пришлось объявить запретным, потому что это уже был не совсем лес, а скорее огромное открытое кладбище. Мои молодцы додумались: брали плату за вход в лес или предлагали услуги в поиске нужного трупа. И даже прейскурант составили, можете представить! Цена зависела от положения убитого в обществе. Мелкий чиновник — 5 тысяч. Начальник управления — 25 тысяч или даже 30.

Откуда они доставали деньги, никто не знает. Вроде нищие совсем, мальчишку ихнего случайно пристрелили, спутали, а тащат пять тысяч, хотя зарабатывают не больше двухсот в месяц. Ну зачем, спрашивается, им это тело, к тому же разложившееся за три месяца — в нашей жаре, сами понимаете... Нет, находят «искателя трупов», суют ему взятку и ходят по лесу, ковыряются во рвах. Представляю, что они там видели и что могли найти. Или подхватить — ведь всякая зараза может прицепиться. Ищут, ищут, бывало, что и находят, зароют в землю и успокаиваются. Зарыли.

Христианство — все же дикая религия. Это все остатки колониального прошлого, которое мы искореняли без жалости, хотя, может быть, и не так быстро, как хотелось. Все-таки глубокие корни успели пустить чужие суеверия в нашем народе. Эти миссионеры пролезали всюду, даже в наших родных местах смогли совратить некоторых прежде честных мусульман. Мы это дело поправляли. Поначалу на добровольной основе предлагали перейти в единственно правильную религию — ислам, давали испытательный срок, если выдержал, то наш, бери все, пользуйся нашей добротой, все христиане с их добром — твои. Если не выдержал — не обессудь, переходишь в разряд христиан со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вот такая история произошла с моим соплеменником — лейтенантом Абдулом Мити, которому мы поверили и разрешили заниматься бизнесом в наших районах. Деньги ему ссужали, скот дали, землю, показали, кого грабить можно, — живи, что еще нужно. Но наблюдение все же установили. И вот, смотрим, в один прекрасный день крадется этот Абдул, а месяцем раньше всего-навсего Джон, в церковь. Пробыл там минут сорок, возвращается, гордый такой, улыбается. Хорошо. Мы — в церковь. Спрашиваем священника, что тут этот делал. А он: не могу, мол, тайна исповеди. А нам больше ничего и не нужно. Исповедовался, стало быть, в грехах, снова в христианство ему захотелось. Приговор был короткий: «каласи», что на нашем кодовом языке означало «немедленно убрать». И прошу сообщить мне сразу же по телефону. И приказываю по радио передать о трагической смерти. Сообщение было составлено очень тепло: «С глубоким прискорбием родственники лейтенанта Абдула Мити извещают о его безвременной кончине, происшедшей сегодня после тяжелой продолжительной болезни и длительного лечения в Даунге и за рубежом. Фельдмаршал Ламин, узнав об этом, направил родственникам лейтенанта Мити телеграмму, в которой выразил свою скорбь по поводу смерти верного сына Даунги. Его имя навсегда останется в наших сердцах. Да ниспошлет ему господь вечный покой». Заметьте, не Аллах, а господь. Пусть сам разбирается и его судит. Но произошла накладка, безвременно умерший сбежал и найти его сразу не могли. Что делать? Срочно по радио другое сообщение: «По уточненным данным, лейтенант Мити умер лишь ненадолго, а теперь поднялся и снова жив. Повторяем: лейтенант Мити проснулся и снова ожил». Чуть-чуть, конечно, поспешили, напутали мои помощнички, но ничего не поделаешь: надо искать. В утренней газете на следующий день напечатали, что «лейтенант Мити, который потерял сознание настолько, что родственники приняли его за мертвого, все еще жив». Значит, ищут. Но все же днем долгожданная весть, диктор зачитал ее радостным голосом: лейтенант все-таки скончался, и похороны состоятся сегодня. Президент снова направил телеграмму соболезнования с тем же текстом. Все вздохнули с облегчением. Думаю, что и родственники тоже — они ведь все узнавали только из газет и радио.

После этого случая все валом повалили в мусульмане. Очереди выстраивались, деньги давали на мечети, куда ни приедешь, везде строительство. Разве такое возможно было при колониализме или прошлом продажном режиме? Это все наши достижения, можно даже сказать — свершения во имя простого человека, который до независимости, до Второй республики, почти ничего не имел, а при нас получил все, что ему необходимо: воду, дождь, землю. Главное, как всем этим добром распорядиться.

Мы приучали народ к терпению и неустанному труду. Было и чему подражать. Уже тогда мы могли предъявить образцы мировых стандартов. Это — наши тюрьмы. Они по праву могли считаться лучшими в мире. Перевоспитывая преступников, они возвращали народу хороших мужей, домохозяек, специалистов во многих областях. Вообще, в тюрьмах у нас работали лучшие люди. Не раз, обращаясь к другим странам, я предлагал: пожалуйста, берите наш опыт, пользуйтесь нашими скромными достижениями. Помню, была у нас юбилейная выставка достижений народного хозяйства. Догадайтесь, чей был самый лучший павильон? Конечно, управления тюрем! Со вкусом отделан, отличная экспозиция и, главное, в отличие от других министерств и ведомств украшен прекрасными лозунгами. Помню до сих пор: «Тюрьмы всегда идут вперед и никогда назад!», «Тюрьмы говорят: «Доб-

ро пожаловать, Ваше превосходительство!».

X

Печально сознавать, что бессмертие недоступно людям, даже таким великим, как я. Наступит час — и меня завернут в белый саван, станут говорить высокие слова, объявят сорокадневный траур и в знак скорби казнят сто самых опасных преступников. И останется народ без вождя, без отца и повелителя. Сколько будет разбитых горем сердец, сколько слез сирот и вдов прольется в этот день! Жаль, что не удастся полюбоваться этим зрелищем. Впрочем, как-нибудь можно устроить репетицию: объявить, что я умер, все приготовить, казнь обязательно провести, флаги приспустить и так далее, а самому — с балкона в щелочку и в самый торжественный момент выйти со слезами на глазах, объявить амнистию казненным, обнять двух-трех прокаженных, которые почище, дня на два снизить цены на бензин и призвать к национальному единству в борьбе против империализма и сионизма! О, я уверен, это будет грандиозно. Чувства всего народа сольются в едином порыве любви к своему президенту, благодарности за его чудесное воскресение, потоки слез хлынут из глаз детей и женщин, вновь обретших отца и мужа.

Люблю, когда слезы.

Однажды вместе с моим белым помощником — эти англичане тоже иногда не без юмора — сыграли подобную шутку. Верховный суд Даунги приговорил десяток заговорщиков к смертной казни через повешение. Они обратились ко мне с просьбой о помиловании. Со свойственным мне великодушием я заменил повешение расстрелом, хотя даже повешение было бы слишком мягкой карой за их злодеяния. И объявил, что казнь будет публичной, на одной из центральных площадей, в воскресенье, когда народ ищет развлечений, а порой не может найти и доходит до пьянства и разврата. Приготовления были очень торжественными. Площадь украсили государственными флагами и гирляндами живых цветов. Развесили черные и белые ленты. Столбы, к которым должны были привязать осужденных, раскрасили в цвета нашего национального флага. Заказали гробы из красного дерева, поставив заранее под каждым столбом. По радио объявили, что «трупы родственникам не отдадут, так как правительство возьмет похороны на себя». Солдат заставили вычистить винтовки, постирать не только форму, но и нижнее белье — ожидались иностранные гости, надо было выглядеть прилично. Да, мы разослали приглашения главам соседних государств. После казни предполагался большой прием с выступлением нашего знаменитого ансамбля «Ритмы Африки». Ради такого случая я согласился, чтобы моя жена Кариан (это было еще до автокатастрофы) выступила со своим коронным танцем.

Словом, все было подготовлено, уже ждали гостей, как вдруг эти неблагодарные соседи, вместо того чтобы хотя бы сказать спасибо за приглашение, стали слать телеграммы и письма с абсурдными требованиями помиловать осужденных, для которых уже, как я сказал, и гробы были готовы, и могилы вырыты. Более того, в Европе тоже заголосили: «права человека», «тирания», «отменить несправедливый приговор!» Ах так, думаю, лицемеры несчастные, ну, погодите. И для начала несколько телеграмм в ООН, в Лондон и Вашингтон о нарушениях прав человека в странах капитала: о безработице, которая растет с каждым годом, о бездомных, вынужденных спать на решетках метрополитена, о дискриминации негров и пуэрториканцев, о подавлении революции в Северной Ирландии и о том, что Англия незаконно оккупирует Шотландию, которая так и не осуществила вековую мечту своего народа о подлинной независимости. Досталось и моим африканским коллегам. Им я тоже направил послания, которые составлял лично. Коротко и ясно, по-солдатски: «жалкие агенты империализма», «марионетки мировой реакции», «политические проститутки». А одного, самого крикливого, который к тому же все время поддерживал бывшего президента, очень метко назвал «плачущим крокодилом, больным гонореей».

Да, это был залп! Все буквально онемели от неожиданности. Ну да, они думали, что я начну сноситься с ними по дипломатическим каналам, приносить извинения, выражать сожаления. Черта с два! Врезать по мозгам, да так, чтобы не скоро опомнились.

А сам тем временем лег в больницу. Со ссылкой на тебя, Пемба, в специальном заявлении военного представителя говорилось, что президент тяжело заболел и ему предстоит опасная операция. Оперировать, сказал ты, поручено крупному советскому профессору, которого уже везут на сверхреактивном самолете из Ленинграда. Действительно, мне надо было удалить небольшой прыщик на шее, и операцию делал советский доктор. В то время, когда я лежал на операционном столе, приговор был приведен в исполнение, хотя и не с таким блеском, как мы рассчитывали. В тот же день налетели журналисты, телеоператоры, все хотят услышать, что с президентом, поскольку уже целый день (!) он не делает никаких заявлений, а это указывает на то, что могло что-то случиться. Ну, вы знаете, на какие выдумки способна буржуазная пропаганда. Тут мой английский помощник, мошенник, каких свет не видывал, подливает масла в огонь. Да, говорит, господа журналисты, положение весьма серьезное, операция прошла не так благополучно, как мы надеялись, да и профессор что-то не так отрезал или зашил, словом, ничего пока не могу сказать, но президент очень плох. Сейчас вообще не могу с

вами разговаривать, спешу в госпиталь, как бы не опоздать. Что тут началось! Сенсация! Ламин Додо при смерти! Тут же начались звонки в Главный дворец. Дежурный офицер, проинструктированный заранее, отвечает, что у него нет информации, но положение, видимо, серьезное, не известно, чем все это может кончиться. Корреспонденты заметались, как крысы на тонущем корабле. Звонят в посольства, в министерства, в редакции газет, на радио. А кто им чего может сказать? Никто ничего не знает, а это только добавляет ажиотажа. Из аэропорта сообщают, что прилетела еще одна большая группа журналистов, бросилась к больнице (где меня давно уже нет), уговаривают медперсонал дать хоть какую-то информацию, суют им деньги. Те, конечно, берут, но сказать ничего не могут. На следующий день газеты с метровыми заголовками: «Ламин при смерти». Заволновались все столицы мира. Что самое интересное, подняли голову и те, кого мы давно считали скрытыми врагами, но все не решались брать. Службе безопасности мигом дал указание: «каласи». Так что получилось — приятное с полезным.

А я в тот же день собираю пресс-конференцию, выхожу на трибуну, шея обвязана простым белым платком, при всех регалиях, ордена блестят, позвякивают при каждом движении, очень мне этот перезвон нравится, широко улыбаюсь — и мгновенно аплодисменты справа, где сидят переодетые под журналистов наши ребята из специальной службы, или, как я часто ее называл для краткости, «СС». Корреспондентов столько, что мест не хватает. Сидят друг у друга на коленях, на сцене лежат, целятся объективами. Очень, говорю, приятно видеть столько журналистов. А мы уже и не надеялись, что вы приедете на объявленную торжественную казнь. Теперь я вижу, как велик интерес широкой мировой общественности к нашей внутренней жизни. И начал им рассказывать, что я думаю о путях развития Африки в целом и Даунги в частности перед лицом империалистической агрессии и диктата. Больше всего на этот раз досталось Англии. Я объявил, что приглашаю бывшего премьер-министра Эдварда Хита, который увлекся музыкой, приехать в Даунгу со своим оркестром, чтобы поиграть мне во время отдыха. Газеты потом так процитировали меня: «Мне дали понять, что Хита сняли с высокого поста премьера, вернее сказать, понизили до позорной должности капельмейстера. Однако мне стало известно, что он доволен своей новой работой. Поэтому прошу его приехать и поиграть немножко для меня. Я оплачу билеты ему и его музыкантам, предоставлю бесплатное питание и жилье. А если игра понравится, то заплатим в любой валюте. Мы знаем, как тяжело сейчас жить в Великобритании, и готовы помочь вам не только деньгами, но также курами, козлами и некоторыми другими продуктами животноводства и сельского хозяйства». Одновременно пригласил и Генри Киссинджера, чтобы тот смог пройти курс политэкономии в нашем университете, причем подчеркнул, что одну из лекций обязательно прочту я сам.

Ну, а теперь, господа, говорю, кончайте смеяться и задавайте вопросы, после тяжелой операции мне нужно отдохнуть. Какие вопросы! Хохочут, затворами аппаратов щелкают, телекамеры красными огнями изошли. На этом и закончилось, все остались довольны. Потом, мне докладывали, некоторые из них стали размышлять: а при чем здесь «козлы», не намек ли это на политические действия консерваторов? И зачем это фельдмаршал говорил об оркестре? Не хотел ли он этим сказать, что Хит продолжает играть первую скрипку в английской политической жизни?

XI

Вообще я заметил, что как только человек становится государственным деятелем, мгновенно каждое его слово все стараются наполнить тем содержанием, которого им хочется. Мало ли чего я там наговорил, я и сам большую часть узнаю из газет и очень удивляюсь, каких только открытий я ни сделал. Ну а им-то каково? Каждый слышит, что хочет услышать, как правильно кто-то заметил. Правда, моя канцелярия старается, пишет речи и выступления. Но уж больно скучно у них получается. Дашь им тему, скажем, «борьба за мир во всем мире» — это для интервью советской газете, — они там такое изобразят, уши вянут. Приходится по ходу править самому. А это, должен признаться, очень тяжело, поскольку в грамоте я не больно силен. Устно могу на любую тему, а вот пером работать не приучен. Больше скажу: даже подписываться под документами — для меня мука. Пока нарисуешь все эти черточки, кружочки, расставишь точки, весь вспотеешь, платок хоть выжимай. А вокруг стоят, ждут, отворачиваются, делают вид, что не обращают внимания, интеллигенты несчастные. Особенно ты этим отличался, Пемба. Да подумаешь! Ничего в том плохого не вижу. Иной и читает бегло, и пишет как профессионал, а толку что? Сидит себе в конторе — и будет сидеть там до скончания века. Да, я — неграмотный президент. Я даже этим немного горжусь. Потому что живем в такое время, время лишений и невзгод. Где нам было учиться при колониализме, который нещадно нас эксплуатировал? Нашим потом и кровью создавал себе сверхприбыли (об этом я собирался рассказать Генри Киссинджеру, если бы он приехал, конечно) и беззастенчиво грабил наши природные богатства? Мы сражались за независимость, за наше национальное достоинство, свергали продажных политиков, экспроприировали (до чего же все-таки трудные слова!) их богатства. Теперь все принадлежит народу, и только ему! Теперь мы можем учиться грамоте и владеть всем. Уф-ф-ф!

Сейчас на любой вопрос могу ответить. Главное, сразу свернуть на борьбу за независимость, а там все пойдет само собой. В этом мне здорово помогли советники из социалистических стран. В самом начале, помню, лекции мне читали, книжки разные давали, все удивлялись, почему я конспектов не веду. Потом узнали, что у меня с грамотой неважно, заохали: ах, надо же, как все-таки вас колониализм ущемлял-притеснял — и давай еще и грамоте учить. Кое-что в памяти осталось, остальное сам развил. Теперь без всякой помощи могу лекции читать.

На публике выступать легко. На переговорах сложнее. Приходится выбирать переводчика поспособнее, потому что переводчик — это половина дела. Предположим, вы ляпнули что-то. Так ему же будет просто стыдно такое повторять. Вот он и постарается передать все в красивой, четкой форме. Ну а если даже буквально переведет, то все подумают, что переводчик плох, президент вряд ли такую глупость мог бы сказать,— что вы, это же Президент! Народный избранник!

Очень любил вести долгие, неторопливые беседы с иностранными послами. Ну они друг за другом следят! С одним поговорил сорок минут — другой обязательно протянет сорок две. В следующий раз первый так медленно говорит и думает над ответами, что час проходит. Потом все у него спрашивают: а о чем это вы так долго говорили с его превосходительством? Уж не вопросы ли военного сотрудничества обсуждали? А тот с такой важностью, уклончиво, намеками, глотая слова, дает понять: настолько секретный был разговор, что даже в посольстве его родном ничего не знают. Или же бросает: мол, пустяки, ничего особенного. Знает, что никто не поверит, хотя на самом деле так оно и было. Он принес поздравление с праздником, которое полчаса читал и переводил, а я ему рассказал, как недавно ездил на охоту и с первого же выстрела подстрелил отличного буйвола. И ведь что характерно: все находятся в одном и том же положении — и тем не менее стараются друг друга обвести вокруг пальца. И это они называют дипломатией!

Впрочем, мне это тоже было выгодно: все думали, что у нас прямо-таки по всем линиям расширяется *сотрудничество со* всеми странами, сплошные встречи, переговоры, коммюнике, визиты, совместные заявления, дружественные послания, приветственные телеграммы. А на самом деле — одна видимость. Меня лично это полностью устраивало. Чем больше послов аккредитовано, тем приятнее жить, осознавать себя звездой если не первой, то достаточной мировой величины. И наши послы во многих странах тоже работали с утра до ночи. Слали информацию, какие-то отчеты, справки. Я однажды спросил нашего министра иностранных дел, красавицу Элеонор Мазану (тоже, между прочим, королевскую дочь, из другого королевства на востоке — у нас в стране их было несколько при колониализме, теперь, слава Аллаху, все равны), что же это они там шлют? А она, оказывается, и сама не читала. И правильно делала — не для того я назначил ее на этот пост.

XII

Здесь самое время рассказать поподробнее о той, кого я считал (и продолжаю считать) своей самой красивой любовницей. Ни любимая жена Мэг, ни неподражаемо крутившая задом Кариан, ни Фатима, принесшая мне двойню, ни последняя — Садра, бывший сержант полиции, скрывавшая под грубой черной формой такие формы! — ни одна из них не могла сравниться по красоте и, уж конечно, по уму с принцессой Мазаной. Статная, как молодая верблюдица, груди острые, тончайшая талия переходит в такие тяжелые бедра, что мне часто приходилось прерывать заседания кабинета министров, чтобы провести короткие оперативные совещания с моим министром иностранных дел. О, как я наслаждался решением государственных вопросов в эти мгновения! Вот были подходящие моменты для переворота, но кто из моих ослов мог знать. Они всегда выбирали самое неудачное время. А когда принцесса прижималась ко мне всем телом на диване из черной мягкой кожи в комнате для самых секретных совещаний, заглядывала мне в глаза своими огромными глазами, говорила мне самые нежные и самые грубые слова — я тогда переставал существовать для народа и государства. А остальные министры курили и пили кофе в зале заседаний, ожидая нашего возвращения. Вечером того же дня военный представитель делал заявление, в котором сообщал, что президент и министр иностранных дел на секретном заседании обсудили ряд важных вопросов внешней политики, в частности отношения с Соединенными Штатами, Советским Союзом, а также Китайской Народной Республикой и другими странами. А на следующий день послы указанных стран уже интересовались: а что, собственно, обсуждалось на этой встрече, возможны ли какие-то изменения в нашем политическом курсе? Или готовится важный визит в одну из этих стран?

Принцесса была изумительна. Как я ее одевал, какие подарки делал! Наш новый «боинг» раз в неделю летал в Лондон за покупками *только для нее. Ну и* еще если какой из моих жен что-то из мелочей. Я посылал ее с ответственными миссиями в разные богатые страны, чтобы все видели, какая прекрасная страна Даунга, как прогрессивно у нас решается вопрос о равноправии женщин и как нагло лжет западная пропаганда о якобы имевшихся у нас нарушениях прав человека. И она производила впечатление. Пресса относилась к ней как к кинозвезде.

Но вскоре я с горечью заметил, что и ко мне она стала относиться как кинозвезда. Отказалась от наших интимных совещаний, что не могло не отразиться на состоянии нашей внешней политики, поступили сообщения о том, что она устраивает приемы без моего ведома и

приглашает туда неблагонадежных людей и даже иностранцев, с которыми, по некоторым данным, у нее складывались далеко не официальные контакты. Короче говоря, принцесса забыла, что королевства в нашей стране давно отменены. Вершиной всего было ее поведение в Париже, куда она была послана с важным заданием закупить некоторые предметы, остро необходимые для нашего Главного дворца. Из посольства в Париже сообщили, что у нее завелся любовник, молодой богатый француз, который, по наблюдениям наших дипломатов, очень плохо отзывался о Второй республике и даже позволял себе личные выпады против президента, то есть меня.

И мое терпение сразу кончилось. Страсть к этой потаскухе мгновенно улетучилась. Неужели ради этой юбки я мог прерывать важные государственные совещания и тратить уйму народных денег на удовлетворение фантастических прихотей? Да простая школьница из моей деревни в тысячу раз лучше во всех отношениях, а о расходах вообще говорить не приходится.

Женщина, возомнившая о себе,— худший враг. Так народу был подарен еще один важный Принцип Додо, незаменимый в семейной и общественной жизни.

Если моя любовь сделала ее настоящей принцессой, кинозвездой, то что сотворит с ней моя ненависть? Для начала ее арестовали и поместили в самую грязную камеру военной тюрьмы на окраине столицы, где дымили еще не разрушенные фабрики и в воздухе постоянно висела вонь нечистот из соседнего образцового семейного квартала, где квартируется третий батальон военной полиции. На первые два дня я прописал ей воду и миску вареных бананов без соли, хлеба и ложки. Пусть ест руками, принцесса. Утром третьего дня, проезжая мимо по государственным делам, я зашел в казармы и в глазок двери полюбовался на своего бывшего руководителя внешнеполитического ведомства. Вид у нее был довольно жалкий, хотя глаза горели неукротимой яростью, это было особенно заметно в тюремном сумраке. Роскошное платье, в котором она вернулась из Парижа, было порвано и грязно. Под левым глазом — кровоподтек. Что ж, не надо было сопротивляться. Вела бы себя достойно, и платье сохранила бы. Я приказал открыть дверь и встал в проходе, молча глядя в упор на арестованную. Я ожидал, что негодная бросится к моим ногам, будет умолять о прощении, что рыданиями постарается разжалобить мое сердце — и был готов к этому. Но как же плохо мы знаем женщин! Вместо всего этого она еще больше забилась в угол, глаза ее превратились в два лазера, и она разразилась потоком такой брани, что, уверен, краской стыда покрылись бы обветренные лица наших бравых ребят из «СС», а они повидали всякого. «Шлюха»,— коротко ответил я на ее мерзкие речи и вышел вон, хлопнув дверью. Платье отобрать, скомандовал я, обрить наголо, но не бритвой, а куском стекла. В газетах поместить ее фото в голом виде, на первой странице, дать официальную версию случившегося в Париже и направить ноту протеста правительству Франции.

Все коротко, ясно, четко. Только дисциплина и порядок могут спасти нацию. Никакой жалости, никаких послаблений. Править железной рукой. Женщина годна только для одного дела. Да, еще расстрелять большую группу заключенных и направить телеграмму одному из соседних президентов с обвинениями в подрывной деятельности против нашей родины и пособничестве расистскому режиму ЮАР.

Сообщение военного представителя было составлено быстро. Там говорилось, что особа, известная под именем Элеонор Мазана, незаконно занимавшая пост министра иностранных дел, находилась в Париже без ведома правительства Второй республики и по собственной инициативе вела какие-то переговоры с чиновниками французского МИДа, пользуясь всяческими привилегиями, ей не положенными. Находясь в аэропорту Орли во время ожидания рейса Париж—Бантегге, данная особа вступила в половую связь с одним чиновником (возможно, и двумя) французского министерства иностранных дел в общественном туалете указанного аэропорта. Народ Даунги и прогрессивные люди всего мира решительно осуждают безнравственное поведение называвшей себя «принцессой» проститутки, пробравшейся в государственные органы. Борьба продолжается!

Одновременно в наш МИД был вызван посол Франции, и ему был зачитан протест правительства в связи с надругательством, совершенным чиновником французского МИДа над гражданином независимого африканского государства в общественном туалете аэропорта Орли. Посол был заметно ошарашен и даже не нашел слов для ответа.

Утренние газеты расхватали в несколько минут. Фотография Элеонор была несколько мутноватой — качество печати у нас еще не достигло мировых стандартов, но все что нужно там было различимо. Через день этот номер стоил на черном рынке 10 долларов, в соседних странах давали в три раза больше. Поступили запросы от коллекционеров из Франции, Австралии и далекого Тибета. Правительство Франции ответило нотой на наши обвинения, сообщив, что МИД произвел расследование инцидента и установил, что процедура прощания в аэропорту заняла 15 минут и мадемуазель Мазана никуда не отлучалась все это время. Более того, говорилось в ноте, французские чиновники — люди проверенные, высоконравственные и очень сдержанные.

Между тем мы образовали «Общество озабоченных матерей», которое выступило с гневным осуждением поведения бывшего министра и призвало создать фонд солидарности с президентом Второй республики, ведущим неустанную борьбу с

коррупцией и непотизмом. Размеры взносов превысили ожидания.

Такая кампания не могла не подействовать на обвиняемую, тем более что ей регулярно сообщались все новости по ее делу. К концу первой недели принцесса сдалась. Из тюрьмы сообщили, что она все признала и просит о снисхождении. В тот же день ее доставили ко мне на уединенный остров посреди Большого озера, где нам никто не мог помешать. Вымытую и накормленную Лен привезли на быстроходном катере, который подарил мне глава одной транснациональной корпорации в знак признательности за одну небольшую услугу. Принцесса была тиха и послушна как овечка. Ее глаза вновь светились безопасным светом любви и покорности. В моих глазах она спешила прочитать все желания и торопилась их исполнить. Короче говоря, она вновь стала настоящей даунгийской женщиной. Вот что значит правильно поставленная система профилактики, построенная на научной основе практика тюремного воспитания с целью возвращения преступивших закон к нормальной жизни.

Тот день был поистине незабываем. Казалось, вся природа отдавалась мне вместе с Мазаной. Мне даже захотелось написать стихи, хотя откуда взять время? К вечеру я окончательно простил Мазану. По рации я передал сообщение в министерство информации прекратить разнузданную кампанию клеветы против одной из наших достойнейших женщин, примера и образца для подражания молодежи не только в нашей стране, но и за рубежом. Подготовить серию статей о детстве и трудовом пути принцессы, газетного редактора, поместившего неприличное изображение Мазаны, арестовать, данный номер конфисковать, а за его хранение объявить расстрел на месте. «Озабоченных матерей» разогнать, организаторов подвергнуть крупному штрафу. Фонд солидарности с президентом сохранить и взносы туда вносить добровольно, но регулярно. Приказом по министерству иностранных дел назначить Элеонор Мазану чрезвычайным и полномочным послом по особым поручениям, но за границу впредь до моего распоряжения не пускать.

И зажили мы снова с ней, как говорят, душа в душу, до тех пор, пока я все-таки не потерял бдительность и уступил ее настойчивым просьбам отправить ее с какой-нибудь дипломатической миссией. А тут как раз очередная сессия Ассамблеи ООН подоспела. Ладно, говорю, лети, принцесса, но смотри, чтобы на этот раз все было как следует, без разврата. Моя прекрасная Лен расплакалась при прощании, назвала меня своим спасителем и благодетелем, обещала хранить верность до гроба, а прилетев на место, сразу же попросила политического убежища, наговорив кучу гадостей и про меня, и про нашу родину, и про какие-то террористические действия с моей стороны, вспомнила головы в холодильнике, напридумывала совершенно невероятные вещи о нашей внутренней и внешней политике, обвинила меня в людоедстве и осквернении могил. Разве можно после этого верить женщине?

И вы знаете, какую работу она себе нашла? Стала манекенщицей! Это будучи министром иностранных дел, вторым человеком в государстве, облеченным доверием всего народа! Разве это не очевидное нарушение прав человека, дискриминация людей с черной кожей? Отличный пример того, как относятся к женщине там, в буржуазном мире, где правит капитал, и у нас, в свободной, развивающейся стране, которая ни у кого не находится в кармане.

XIII

Кто-то, не помню, очень хорошо сказал, что даже плохое паблисити — все равно паблисити. Для нас, маленьких стран, главное — все время находиться в центре внимания остального мира. Если этого нет, о тебе мгновенно забывают, с первых страниц новости о твоей стране вытесняют другие сенсации, вроде групповых убийств или изнасилований, ты не получаешь никакой помощи, оружие приходится доставать на черном рынке, и войны с соседями уже вести неинтересно. Поэтому надо делать все, чтобы быть на поверхности. С этой точки зрения даже побег нашего посла по особым поручениям сыграл определенную положительную роль. О нем говорили несколько дней, и моя фотография неизменно появлялась на вторых, а то и первых полосах ведущих газет. «Президент-маньяк», «кровавая диктатура» — это не лучшая реклама для режима, но и она, я думаю, в глазах простых африканцев, или латиноамериканцев, или тех же азиатов выглядела как яркое проявление расистского подхода Запада к молодым освободившимся государствам.

Ведь эти простые люди видели во мне такого же простого рубаху-парня, крестьянина, пусть и не очень умного, но зато сметливого, с природным чувством юмора, гордого, беззаветно любящего свой народ и отдающего всего себя ради защиты своей страны от чужеземного ига. Ну а пытки, расстрелы и так далее в народе обычно прощают, потому что понимают, что иначе как железной рукой править нельзя, не получится. Уверен, что многие даже одобряют такие действия. Недаром в десятках писем, которые зачитывал мне по утрам мой секретарь, содержалась полная поддержка моей политики и благодарность за мою справедливость. Простой народ любит своих вождей, пусть они и очень строги. Они любят даже слабости, которые в обычных людях, возможно, вызвали бы отвращение или гнев. Вождь, пользующийся народной поддержкой, может делать все или почти все.

Помню, как из соседнего Судана пришло письмо поклонника моих принципов: «Маршал, Вы — герой Африки,— восклицал он.— Вы понимаете все наши сокровенные чувства, Вы видите жизнь нашими глазами. Ваша неиссякаемая вера в силу и превосходство черного человека

делает Вас всеобщим кумиром. Ваши речи о достоинстве черного человека стали «Библией Африки». Ламиновская революция, и только она, несет людям истинные права! Никакая сила на земле не сможет остановить победное шествие Принципов Додо. Эти Принципы так же неумолимы, как время!» Из далекого Габона бедный студент призвал избрать меня королем всей Африки. С Гавайских островов я получил приглашение стать королем Гавайев, а простые жители Шотландии и Уэльса звали меня возглавить борьбу против английского империализма и предложили свою корону. Даже американские индейцы возлагали надежды на мою помощь. А один американец прислал мне письмо, в котором попросил разрешения назвать еще не родившегося ребенка — он уверен, что это будет мальчик,— моим именем. «Мой сын вырастет таким же мудрым и сильным, как Ваше превосходительство».

Я не нахожу ничего удивительного и в том, что многие наши граждане, даже те, которых не отнесешь к ярым сторонникам моих методов, призывали объявить Даунгу империей и провозгласить меня Народным Императором. Император Ламин Первый. А что, звучит совсем неплохо. Почему этот коротышка Макоса, этот самозваный капитан, сделал свою деревню империей, а мы с нашими просторами и военной мощью — нет? Ведь говорилось в одном письме, что мое имя «войдет в историю наравне с именами Черчилля и Вашингтона». При чем тут какой-то Макоса? Разве его имя где-нибудь задержится? Только, возможно, в полицейских архивах города Лиона, где он проворачивал свои бандитские операции с алмазами. Тот еще жулик, скажу вам честно. И такого вот называли императором. Грабитель с большой дороги, обвешанный побрякушками типа медали от «Пепси-колы». Смех, да и только. Мы-то знаем, как его ненавидели подданные.

А у нас в стране была полная гармония. Простые люди не только не помышляли о переворотах, напротив, не знали, что бы еще сделать, чтобы укрепить нашу власть. Как-то получил взволнованное письмо от группы граждан — потом мы опубликовали его в газетах и передали по телевидению и радио на всех языках нашей страны и основных языках мира,— в котором они предложили построить мне новый дворец в знак благодарности за все, что я сделал для даунгийского народа. «Мы должны собрать деньги и построить ему прекрасный дворец, где он мог бы спокойно жить со своей семьей. Всем известно, что у президента нет никакого бизнеса, что он живет только на скромную зарплату. Если он уйдет в отставку, неужели ему придется возвращаться в соломенную хижину? Что подумают о нас за границей? Пусть каждый даунгиец внесет хотя бы по 10 шиллингов на это прекрасное дело».

Хорошее, деловое письмо. Создали еще один фонд, который быстро стал приносить неплохой доход. Любовь народа нашла, так сказать, материальное выражение, воплотилась в чем-то конкретном. Но за любовь, тем более всенародную, надо платить. Мы ответили прощением группы заговорщиков, расстрелянных за год до этого, и разрешили родственникам (христиане!) захоронить трупы в семейных могилах. Этот шаг вызвал очень положительную реакцию дома и за границей. Организация «Эмнисти интернэшнл», замучавшая нас своими докладами на тему о нарушениях прав человека, в своем ежегодном отчете признала, что у нас наметилось движение в правильном направлении. Ряд западных банков объявил, что готов предоставить нам кредиты на льготных условиях. Отложенный визит голландского министра иностранных дел вновь был поставлен в повестку дня. А я объявил личную благодарность за крупные успехи в работе и проявленную инициативу директору департамента пропаганды и информации, имя которого мы хранили в строгой тайне. Рядовые сотрудники департамента получили премии и дополнительный отпуск в размере четырех суток. Больше никак не выходило. Поток писем не должен был иссякать даже на короткое время.

XIV

Можно сказать, что после управления тюрем это подразделение работало лучше всех. Я не помню кампании, которая не принесла бы нам рекламу за границей или хотя бы не сбила нежелательные настроения среди некоторых зараженных империалистической пропагандой слоев населения.

Причем все мероприятия отличались оригинальностью, никто не знал, что́ ждать в следующий момент — в полном соответствии с Принципами Додо. Привожу пример. В одном городе вспыхивает бунт в связи с голодом. Власти там чего-то недосмотрели, не завезли продуктов, или неурожай случился, не знаю точно. Что бы вы сделали? Послали войска? Правильно. Но не только это. Одновременно с сообщениями о резко возросшем благосостоянии жителей этого района за годы Второй республики внезапно начинается кампания за образцовое вождение автомобилей, причем президент приводится в пример как идеальный водитель, никогда не нарушающий правил уличного движения. По телевидению демонстрируются учебные фильмы по вождению автомобилей и грузовиков, ведутся лекции о вреде пьянства за рулем и опасности нарушения президентского декрета о запрете вождения автотранспорта после семи часов вечера (надо ведь гражданам спокойно отдохнуть после нелегкого трудового дня). Два-три дня такой кампании в сочетании с военными методами дают великолепные результаты.

Еще пример. В который раз некое буржуазное правительство, помешавшееся на правах человека, обвиняет вас в геноциде против какого-нибудь маленького, но очень вредного племени и грозит

натравить на вас комиссию по расследованию. Ваши действия? Верно, направить войска в район проживания данного племени и строго проинструктировать население о линии поведения во время посещения упомянутой комиссии. Одновременно опубликовать доклад о резком росте числа венерических заболеваний в некоторых частях страны, особенно в тех местах, где проживает это вредное племя. Естественно, что в центре этой кампании снова я, как самый образцовый пациент, на которого все должны равняться. «Если случается подхватить гонорею,— говорилось в моем специальном правительственном заявлении по этому поводу,— или еще что-нибудь, то я немедленно иду к врачу и всегда вовремя получаю квалифицированную медицинскую помощь. А что делаете вы (обращаюсь я в основном к этому племени)? Вы трусливо прячетесь и, конечно, заболеваете еще больше. Лечиться должны все. Трусов нам не нужно». Кроме этого созываем пресс-конференцию, куда приводим одного из наших уважаемых старейшин, помнящих еще доколониальные времена. Он заявляет, что венерические болезни занесли в нашу страну англичане. Они же и мешали даунгийцам бороться с профилактикой подобных недугов, так как «не были заинтересованы в укреплении здоровья простых людей». Старейшина это все очень хорошо помнит, потому что в начале века, когда ему было уже довольно много лет, эпидемия венерических болезней буквально косила народ, и ее жертвой стали несколько его близких родственников. Только теперь, бубнит он, в результате свободного и демократического развития в условиях Второй республики и под мудрым и справедливым руководством нашего многоуважаемого лидера мы можем рассчитывать на своевременную и квалифицированную помощь.

После этого наш верховный орган — Совет обороны, к помощи которого мы прибегали в самые критические моменты истории, на секретном заседании, сразу становящемся достоянием общественности, рассматривает факты, свидетельствующие о росте подобных заболеваний, и призывает все население немедленно сообщать в полицию о каждом, кто страдает венерической болезнью. Таковых немедленно отдавать под суд и карать по всей строгости закона. За недонесение налагать суровую кару в виде тюремного заключения с конфискацией имущества и поражением в правах.

Думаете, после всего этого приедет хоть какая-то комиссия?

Кстати, об этом неприятном племени. Жило оно в верхнем правом уголке нашей необъятной родины, ничего не производило, только незаслуженно потребляло часть нашего национального дохода и ходило в шкурах, да и то только те, у кого было на что купить или чем застрелить.

Кому нужны такие племена, доставшиеся нам в наследство от колониальной системы?

XV

Все подобные факты нам приходилось учитывать при решении национального вопроса. В нашей стране не менее двух десятков племен, причем мое родное племя, несмотря на свою относительную малочисленность и географическую удаленность от так называемого центра, является, пожалуй, самым развитым во всех отношениях. Мы издавна производили практически все, что было необходимо для нашего потребления, включая такие деликатесы, как бананы, папайя, авокадо, за которые, как известно, капиталисты готовы платить баснословные деньги. А у нас это ест практически каждый крестьянин, каждый ребенок. С незапамятных времен у нас существовала система очень развитого социализма: все, кто этого заслуживали, равны, остальные беззаветно работали на вождя и старейшин, олицетворявших нашу историю, память и национальную гордость. Детей и жен мы воспитывали вместе, доходы распределял вождь и делал это очень справедливо. Во всяком случае, жалоб никогда не бывало, а если и случалось легкое недовольство, инспирируемое, как правило, соседними племенами, стремившимися внести раскол в нашу дружную семью, то оно быстро усмирялось нашими мобильными и пользующимися всенародной поддержкой силами безопасности. Наша система традиционной медицины, основанная на поддержании древних обычаев, порой даже связанных с колдовством, но колдовством с исторически новым, антирасистским содержанием, пользовалась уважением во всех уголках нашей родины. Неустанное внимание мы уделяли развитию среднего и высшего образования, которое давно охватывало бы значительную часть населения, если бы не постоянные происки как враждебных племен по соседству, так и сил империализма и реакции. Словом, мое племя фактически являлось центром цивилизации всей страны и даже, как считают некоторые — и я с ними полностью согласен,— всего региона.

Но к сожалению, это был остров в океане невежества, политической и экономической отсталости. Нас окружали грязные, ни на что не годные люди, жившие кое-где еще в пещерах или на деревьях, не слышавшие слова Аллаха. Даже там, где есть плодородная земля, где выпадают обильные дожди, где текут полноводные реки, а леса полны зверя, они доказывали свою полную неспособность к производительной деятельности. Везде — пьянство, грубые наслаждения, грязь, нищета. В сущности, эти люди ничем не отличаются от диких животных. И разве можно представить, чтобы кто-то из них смог занять ответственную должность, подписать важную бумагу или правильно взять в руку вилку или нож?

Однако в результате колониальной тактики «разделяй и властвуй» именно эти, другие племена всегда оказывались на верху власти, а наша маленькая, но очень развитая нация не могла реализо-

вать свои поистине неисчерпаемые возможности. Только после ликвидации колониальной системы, свержения продажного марионеточного режима прежнего президента мы восстановили справедливость и встали над всеми. Только тогда закончился трагический период эксплуатации нашего народа кучкой грязных и неразвитых племен. Революция увенчалась полным торжеством Принципов Додо — самой справедливой и верной идеологии в мире!

Очередная задача состояла не только в том, чтобы закончить покорение отсталых племен и дать им новую веру, но и в распространении нашего влияния на соседние страны, а потом уже и на всю Африку. Мы, черные люди, должны диктовать всему миру. Африка должна стать суперсверхдержавой, и тогда повсюду наступит настоящая справедливость.

Я давно все продумал. Это будет очень простая, но чрезвычайно эффективная система. Во главе Совета обороны земного шара буду, разумеется, стоять я, пожизненный президент всех времен и народов, академик, профессор и доктор всех наук, генералиссимус, Победитель всех империй, кавалер всех орденов и большинства медалей, лауреат большинства международных премий и конкурсов. Чуть ниже будет верховное командование, состоящее из преданных нам представителей племен и народов, в основном из моего племени, отныне официально признанного великой нацией, по праву занимающей место постоянного члена Совета Безопасности ООН, который мы сохраним как ритуальный орган. В правительство земного шара мы включим также некоторых премьер-министров и президентов, которые хорошо зарекомендовали себя в исторической борьбе против империализма, расизма, неоколониализма, а также соседних с нашей нацией племен. По всемирной конституции, которая гарантирует основные права, но главное — обязанности, вся полнота власти будет принадлежать только мне и двум-трем моим заместителям, избираемым всем населением планеты сроком на 15 лет с последующим переизбранием, если еще будут живы. Черный цвет признается самым лучшим и считается первым, за ним следует коричневый, потом белый и самым последним идет желтый, потому что именно от него у нас всегда были самые большие неприятности. Один из законов будет запрещать появление людей с желтым цветом кожи в местах проживания черных, а также браки между ними. Все население Земли, кроме тех, у кого имеются веские доказательства чистоты черной кожи, будет обязано работать в течение десяти часов ежедневно с гарантированным ежемесячным днем отдыха, который в ряде случаев будет разрешено добавлять к ежегодному отпуску, составляющему восемь суток. Лица, нарушившие в течение года хотя бы один закон, одну инструкцию или один указ, лишаются отпуска и гарантированного дня отдыха. И наконец, будут определены зоны проживания нечерного населения, в которые войдут преимущественно пустынные, засушливые, горные, заболоченные, а также другие неплодородные районы, отделенные от черных регионов специальными заграждениями. И тогда наступит время без войн, без разногласий, все будут жить мирно и спокойно под охраной наших доблестных воинов...

XVI

...Но сейчас, Пемба, когда я сижу на берегу чужого моря и всматриваюсь в даль — не плывет ли за мной белый океанский лайнер,— я понимаю, что мир никогда уже не наступит. В этом — и твоя вина. Ведь все наши невзгоды начались именно с твоего побега. За тобой последовали другие, страна опустела, и только голодные солдаты и запуганные крестьяне не могли никуда сбежать. А потом ворвалась твоя «армия освобождения» и окончательно загубила нашу революцию, избавившую даунгийцев от мрака неоколониализма и реакции, открывшую светлую перспективу новой жизни. Орды бандитов, которых ты называл «освободителями», врывались в дома, убивали и грабили мирных жителей. Мои солдаты были вынуждены делать то же самое, чтобы не потерять контроль над ситуацией. В это время в нашу многострадальную страну вошла другая «армия освобождения», которая спасала народ уже от тебя, Пемба, а вскоре и еще одна, хотевшая воспользоваться плодами наших сражений. В конце концов, все они были разбиты пятой «армией освобождения», но и ей, в свою очередь, пришлось уйти под натиском войск совершенно неизвестного капрала, объявившего себя полковником.

Велик Аллах! Во что превратилась Даунга!

При мне, по крайней мере, было весело.

Единственное, что меня успокаивает, Пемба, это то, что тебя уже давно нет в живых, и никто не знает, где твоя могила. В общем-то твой бесславный конец предрек еще мой колдун. Он же, кстати, поведал мне и мою горькую судьбу, перед тем как я приказал его удушить.

Если бы ты знал, Пемба, как плохо быть изгнанником! Как тяжело знать, что твой дворец осквернили хищные ничтожества, а в твоем кресле сидит тот, кто даже сейчас был бы недостоин подметать улицу перед моим домом.

Как я хотел бы вернуться назад! Я ведь знаю: народ ждет меня. В письмах, которые тайно переправляют мне, простые люди клянутся, что только со мной им было хорошо, только при мне процветала истинная демократия и каждый человек мог свободно говорить и делать все что хотел. В одном письме меня назвали Ламин Справедливый, и я присоединил этот титул ко всем остальным, потому что он показался мне вполне достойным той надежды, которую я внушаю людям. И как приятно было прочитать в другом письме, что поклонники Принципов Додо организовали «фонд

возвращения» и уже внесли туда крупные суммы. Жаль только, что в местной валюте. Когда я вернусь и вновь захвачу власть, я обязательно создам общество помощи бывшим президентам, незаконно свергнутым преступными элементами. Хотя кто, кроме меня, мог бы претендовать на такую помощь?

Я каждый день сижу на берегу чужого моря и смотрю вдаль. Мне некуда спешить. Меня никто не ждет. Я знаю, что я никому не нужен.

Хотя я стараюсь выбрать место потенистее, жара все время сталкивает меня в сон.

И часто мне является одна и та же картина.

Прямо к моим ногам причаливает белый океанский лайнер. Иногда это крейсер или даже авианосец. Спускают трап с красной ковровой дорожкой, выстраивается почетный караул, и капитан берет под козырек. «Все готово, Ваше превосходительство,— рапортует он,— народ ждет своего императора!» Звучат горны. Я взмахиваю белой перчаткой, капитан дает сигнал, матросы разбегаются. Длинный прощальный гудок. Зеленые пальмы, белый песок и голубые минареты медленно уплывают в прошлое. «Сэр,— подходит попозже капитан,— Фарук Бирада здесь». И через мгновение — он, мой верный помощник, неистощимый на выдумки, гроза всех заговорщиков. «Трюм полон оружия и храбрых ребят,— говорит он.— Прикажете дать шифровку в Макао, чтобы высылали истребители и ракеты?» «Действуй»,— шепчу я в ответ, и на моих глазах впервые в жизни — слезы. «А что делать с Барри Пембой?» — вдруг спрашивает он. «Как, он тоже здесь?!» «Да, фельдмаршал,— скромно отвечает Фарук Бирада,— мы все-таки подстерегли его у 12-й лунки на гольфовом поле...»

На этом месте сон всегда оставляет меня. Даже там, Пемба, в потустороннем мире, трудно придумать подходящую для тебя кару.

А когда я снова засыпаю, то меня уже встречают ликующие толпы даунгийцев с лозунгами и национальными флагами, среди них я безошибочно узнаю сотни своих детей. Меня поднимают на руки, вносят в Главный дворец и оставляют одного в моей заветной комнате, в той самой, где стоит холодильник. Его дверца медленно открывается, и на средней полке я вижу улыбающуюся голову Барри Пембы.

◆

Критика

Навстречу нашим публикациям*

Г. ЧХАРТИШВИЛИ

МУЧЕНИЧЕСТВО СВЯТОГО СЕБАСТЬЯНА, ИЛИ ЗАВОРОЖЕННЫЙ СМЕРТЬЮ

Эстетика саморазрушения в творчестве Юкио Мисимы

Юкио Мисима. 1970 г.

...В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей,— знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит. Слушай, теперь к самому делу.

Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»
(из эпиграфа к роману Юкио Мисимы «Исповедь маски»)

1. Почему?

...Гл. персонажи большинства романов М. оказываются физически или психологически увечными, их привлекают кровь, ужас, жестокость или извращенный секс... Идеолог ультраправых кругов, М. выступал за возрождение верноподданнических традиций, проповедовал фашистские идеи...

Большая Советская Энциклопедия,
3-е издание

25 ноября 1970 года знаменитый писатель Юкио Мисима, неоднократно поражавший эксцентричными выходками японскую публику, устроил последнее в своей жизни и на сей раз отнюдь не безобидное представление. Он попытался поднять мятеж на одной из токийских баз сил самообороны, призывая солдат выступить против «мирной конституции»[1]; когда его затея провалилась, писатель лишил себя жизни средневековым способом харакири...

Почти каждый, кто писал о Мисиме, был вынужден начинать, так сказать, с самого конца — с трагических событий 25 ноября. И это не просто средство возбуждения читательского интереса — после кровавого спектакля, устроенного на военной базе Итигая, уже невозможно рассматривать феномен Мисимы иначе как через призму этого дня, который разъяснил многое, казавшееся прежде непонятным, расставил все по своим местам.

Юкио Мисиме было сорок пять лет. За свою недолгую жизнь он успел сделать невероятно много. Сорок романов, пятнадцать из которых были экранизированы еще до гибели писателя; восемнадцать

* В 1989 году «ИЛ» опубликует роман Юкио Мисимы «Золотой Храм».

[1] Девятая статья конституции запрещает Японии иметь собственную армию, поэтому силы самообороны официально армией не считаются.

пьес, с успехом шедших в японских, американских и европейских театрах, десятки сборников рассказов и эссе — таков впечатляющий итог четвертьвекового литературного труда. Но интересы Мисимы были поистине неохватны и одним писательством не исчерпывались. Он был режиссером театра и кино, актером, дирижировал симфоническим оркестром. Занимался кэндо («путь меча» — национальное фехтовальное искусство), каратэ и тяжелой атлетикой, летал на боевом самолете, семь раз объехал вокруг земного шара, трижды назывался в числе наиболее вероятных претендентов на Нобелевскую премию. Наконец, в последние годы жизни немало толков вызывало его фанатичное увлечение идеей монархизма и самурайскими традициями; он создал и содержал на собственные средства целую военизированную организацию — «игрушечную армию капитана Мисимы», как ее именовала насмешливая пресса (после смерти писателя «Общество щита» сразу же прекратило существование).

Интересно, что в самой Японии страшное прощальное действо, разыгранное 25 ноября, расценили как акт политический лишь ультраправые, нуждавшиеся в героическом символе для привлечения в свои ряды молодежи. Националисты, при жизни Мисимы относившиеся к нему с подозрением и даже враждебностью, не читавшие его книг[1], немедленно объявили писателя носителем «истинно самурайского духа» и ежегодно отмечают годовщину его смерти.

К сожалению, эта шумиха магическим образом подействовала и на советских исследователей — слишком сильна оказалась долголетняя привычка к политической оценке литературного творчества, которая и становилась определяющей, а обвешать устрашающими ярлыками Мисиму было проще простого: «идеолог ультраправых кругов», «шовинист», «милитарист», «империалист», даже «фашист»[2]. Однако беда не столько в самих ярлыках, сколько в том, что из-за них наш читатель до сих пор лишен возможности прочитать Мисиму в русском переводе, составить собственное представление о творчестве самого известного за пределами Японии японского писателя, книги которого изданы чуть ли не во всех странах мира. «Такие писатели, как Мисима, появляются у нас один раз в двести, а то и в триста лет»,— сказал нобелевский лауреат Ясунари Кавабата. Мы же до сих пор знали лишь, что, «противопоставив себя гармоническим и гуманистическим традициям национальной культуры, Мисима выступил как идеолог ультранационализма, и это привело его к творческому и жизненному краху» (из статьи в ежегоднике «Япония — 1975»).

К счастью, времена переменились, и теперь у нас есть возможность разобраться в творческом и жизненном пути писателя более спокойно, без спрямлений и обличений, не подменяя литературный анализ упрощенной идеологической схемой.

Да, Мисима далек от гуманистических традиции, в его произведениях много страшного и извращенного. Проще всего было бы, наверное, в ужасе отшатнуться, сочтя Мисиму чудовищем, исчадием ада. Останавливает лишь одно — неоспоримый талант писателя, талант, безусловно, болезненный, но оттого не менее очевидный и яркий. Гений — всегда чудо, загадка природы, так надо ли подходить к чуду с обычными мерками? Душа такого человека устроена особым, неповторимым образом, нам не дано судить ее — лишь пытаться понять. Всю жизнь Мисима был одержим работой, он писал *каждую ночь* в течение трех десятилетий, не прекращая трудиться, даже когда болел. Посмертное собрание сочинений писателя насчитывает сотню томов — кажется, что внутри Мисимы бил яростный, неиссякаемый источник поражающих воображение образов и парадоксальных метафор. Он считается мастером слова, лучшим стилистом современной японской прозы — и всегда писал сразу начисто, без помарок. Трехактную пьесу Мисима мог создать за одну ночь. Среди издателей он славился пунктуальнейшим соблюдением договорных сроков. Однажды, выслушав редактора, восхищавшегося его педантичной аккуратностью, Мисима сказал: «Большинство писателей — люди совершенно нормальные и просто изображают из себя сумасбродов; я же веду себя как абсолютно нормальный человек, но внутри у меня...»

В серьезных исследованиях — как японских, так и зарубежных,— политическая мотивировка самоубийства писателя либо отметается начисто, либо ей отводится роль второстепенная: к такому выводу приходит всякий, кто внимательно изучил биографию и творчество Мисимы.

Весьма популярна версия «синдзю» — двойного самоубийства влюбленных, которое издавна окутано в Японии романтическим ореолом. Дело в том, что вместе с Мисимой сделал харакири один из его последователей, двадцатипятилетний студент Морита, а в произведениях раннего периода (романы «Исповедь маски» и «Запрещенные цвета») сильны гомосексуальные мотивы. Эту версию особенно охотно подхватила падкая на пикантности пресса, но людям, хорошо знавшим Мисиму в зрелом возрасте, она не кажется правдоподобной.

Многие — и в первые дни всеобщего шока это, вероятно, была самая здоровая реакция — сочли, что Мисима был болен психически и совершил самоубийство в невменяемом состоянии. Когда премьер-министра Сато 25 ноября спросили, как он расценивает поступок писателя, тот, пожав плечами, заявил: «Да он просто свихнулся». Наверное, и в самом деле трудно говорить о душевном здоровье применительно к Мисиме, однако на роковой шаг его толкнула не внезапная вспышка безумия. Вся жизнь писателя, отраженная в его произведениях, была, по сути дела, под-

---

[1] Характерно, что, набирая волонтеров в «Общество щита», Мисима отказывался принимать поклонников его литературного таланта.

[2] Здесь обычно с негодованием поминают пьесу «Мой друг Гитлер» — как будто одно ее название само по себе разоблачает всю реакционную сущность Мисимы. Но достаточно просто прочитать пьесу, чтобы не впадать в столь досадное заблуждение: «своим другом» Гитлера называет главный герой, лидер штурмовиков Рем, не подозревающий о приближении «Ночи длинных ножей».

готовкой к кровавому финалу. Исчерпывающий ответ на вопрос потрясенных современников «почему?» дан на страницах написанных Мисимой книг. Творчество писателя освещено зловещим и магическим сиянием его эстетической концепции Смерти.

«Вот все, что мы знаем о нем,— и вряд ли когда-либо узнаем больше: смерть всегда была единственной его мечтой. Смерть представала перед ним, прикрывая свой лик многообразными масками. И он срывал их одну за другой — срывал и примерял на себя. Когда же ему удалось сорвать последнюю из масок, перед ним, должно быть, предстало истинное лицо смерти, но мы не знаем, способно ли было даже оно привести его в трепет. До этого момента желание умереть заставляло его неистово стремиться к новым маскам, ибо, обретая их, он постепенно становился все прекраснее. Следует помнить, что у мужчины жажда стать красивее совсем иной природы, чем у женщины: у мужчины это всегда желание смерти...»

Эти строки написаны самим Мисимой, и, хотя речь идет о герое романа «Дом Киоко» (1959) актере Осаму, совершившем самоубийство вместе со своей любовницей, писатель излагает здесь эстетическую формулу, определившую его собственную судьбу: для Мисимы Прекрасное и Смерть всегда являлись частями неразрывного равенства. Это стержень, на который нанизывается весь жизненный путь Мисимы, все его творчество. В тридцать восемь лет он писал — на сей раз уже не о персонаже, о себе: «Я начинаю понимать, что юность, цветение юности — ерунда и стоит немногого. Но это вовсе не означает, что я с приятностью ожидаю старости. Остается лишь одно: смерть — мгновенная, вездесущая, всегда стоящая рядом. По-моему, это единственная подлинно соблазнительная, подлинно захватывающая, подлинно эротическая концепция».

Юкио Мисима всю жизнь был заворожен этой идеей, смерть манила его, «прикрывая свой лик многообразием масок»: приходили и уходили страстные увлечения, временами писатель, казалось, надолго забывал о роковом магните, но с каждым годом тот притягивал его все сильнее.

2. «Исповедь маски»

...Прекрасный, словно Себастьян,
и столь же рано павший.

О. Уайльд. «Могила Китса».

«Все говорят, что жизнь — сцена. Но для большинства людей это не становится навязчивой идеей, а если и становится, то не в таком раннем возрасте, как у меня. Когда кончилось мое детство, я уже был твердо убежден в непреложности этой истины и намеревался сыграть отведенную мне роль, ни за что не обнаруживая своей настоящей сути». Это признание, в котором ключ ко многим поступкам Мисимы, прирожденного лицедея и мистификатора,— из романа «Исповедь маски» (1949), произведения скрупулезно, безжалостно автобиографичного. Двадцатичетырехлетний автор попытался, препарируя свою смятенную, изломанную душу, «избавиться от сидящего внутри чудовища», от тяготеющих над ним с детства мрачных теней. Благодаря «Исповеди маски» мы знаем, как был устроен мир тихого, болезненного мальчика по имени Кимитакэ Хираока (таково подлинное имя писателя, псевдоним Юкио Мисима он взял в шестнадцатилетнем возрасте).

Кимитакэ был странным ребенком, да это и неудивительно — рос он в условиях, которые трудно назвать нормальными. Семи недель от роду его забрала к себе бабушка, женщина властная, истеричная, измученная тяжелой болезнью. До двенадцати лет мальчик жил с ней в одной комнате, оторванный от сверстников, нечасто видя родителей, младших брата и сестру. Играть в шумные игры ему запрещалось, гулять тоже — единственным развлечением, всегда доступным ребенку, стало фантазирование.

Фантазии у бледного, скрытного мальчика были необычными: в них постоянно фигурировали кровь и смерть, прекрасных принцев рвали на куски свирепые драконы, а если в сказке погибший герой оживал, маленький Кимитакэ вычеркивал счастливый конец. «...Огромное наслаждение доставляло мне воображать, будто я погибаю в сражении или становлюсь жертвой убийц. И в то же время я панически боялся смерти. Бывало, доведу горничную до слез своими капризами, а на следующее утро смотрю — она как ни в чем не бывало подает мне с улыбкой чай. Я видел в этой улыбке скрытую угрозу, дьявольскую гримасу уверенности в победе надо мной. И я убеждал себя, что горничная из мести замыслила меня отравить. Волны ужаса раздували мне грудь. Я не сомневался, что в чае отрава, и ни за что на свете не притронулся бы к нему...» Мисима вспоминает, как подростком его приводили в эротическое возбуждение картинки, на которых были изображены кровавые поединки, вспарывающие себе живот самураи и сраженные пулями солдаты.

Пиком садомазохистских фантазий героя «Исповеди маски» становится образ святого Себастьяна, центуриона преторианской гвардии, расстрелянного лучниками по приказу Диоклетиана за приверженность христианству. Репродукция известной картины Гвидо Рени произвела на мальчика поистине колдовское действие, и видение молодого, прекрасного тела, пронзенного стрелами, навсегда превратилось для Мисимы в символ нерушимой связи физической муки, красоты, молодости и смерти. Есть достаточно подтверждений тому, что сцена из «Исповеди маски» не вымышлена: на протяжении жизни писателя образ святого Себастьяна настойчиво возникает вновь и вновь. В юные годы Кимитакэ, начавший писать стихи и прозу очень рано, верил, что ему суждена скорая смерть, и отождествлял себя с поэтами и писателями, ушедшими из жизни совсем молодыми — Радиге, Китсом. В его воображении образ рано угасшего гения связывался с пожертвовавшим собой

прекрасным центурионом, недаром любимым стихотворением Кимитакэ была «Могила Китса» Оскара Уайльда.

В шестидесятые годы Мисима поставит на токийской сцене пьесу Д'Аннунцио «Мученичество святого Себастьяна». Потом вообразит себя центурионом, встав во главе сотни своих «преторианцев» из «Общества щита», призванного оберегать особу императора. А за два месяца до смерти, уже твердо решив, как и когда умрет, Мисима открыто «примеряет маску» молодого римского воина, изображая перед фотокамерой Себастьяна с картины Рени.

Несомненно, важное значение для Мисимы имело и то, что Себастьян принял смерть добровольно, отказавшись от предложенного Диоклетианом помилования. Ибо если в ранние годы Мисима мечтал о гибели в бою, то постепенно им все больше овладевала идея уничтожения Прекрасного (а стало быть, и самого себя) собственными руками.

К этому решению писатель шел долгим и извилистым путем, который, словно в системе зеркал, отражен в судьбах героев его произведений. Всю жизнь Мисиму преследовало предчувствие беды, катастрофы, которой он одновременно страшился и жаждал. Стихотворение, написанное им в пятнадцать лет, так и называется — «Беда»:

Каждый вечер
Стою у окна и дожидаюсь
Беды.
Зловещего песчаного смерча,
Что налетит
Из-под ночной радуги улиц.

Мисима — св. Себастьян.

В шестнадцать лет Мисима пишет свое первое значительное произведение, романтическую повесть «Цветущий лес», где Красота, Экстаз и Смерть предстают как нечто равнозначное. Война усугубляет у юноши ощущение надвигающегося конца света. Позднее Мисима напишет: «Нарциссизм, свойственный возрасту, что отделяет юношу от мужчины, способен впитывать любые внешние обстоятельства. Даже крушение вселенной. В двадцать лет я мог вообразить себя кем угодно. Гением, обреченным на раннюю гибель. Последним восприемником традиционной японской культуры. Декадентом из декадентов, императором декадентского века. Даже летчиком-камикадзе из эскадрильи Прекрасного!»

В сорок пятом, когда стало ясно, что императорская Япония обречена, и все ждали неминуемой гибели, двадцатилетний Мисима, продолжая грезить о смерти («И вновь, с еще большей силой, я погрузился в мечты о смерти, в ней видел я подлинную цель своей жизни...»), тем не менее от реальной возможности умереть уклоняется — под предлогом слабого здоровья избегает призыва в армию. Потом еще не раз умозрительное влечение к смерти будет отступать при возникновении не воображаемой, а реальной угрозы[1], только к концу жизни жажда саморазрушения станет неодолимой.

В романе «Исповедь маски», принесшем молодому писателю славу, Мисима устами своего героя признает, что способен ощущать себя действительно живущим, лишь предаваясь кровавым грезам о муках и смерти. В 1948 году Мисима писал (вот он, голос «сидящего внутри чудовища»): «Мне отчаянно хочется кого-нибудь убить, я жажду увидеть алую кровь. Иной пишет о любви, потому что не имеет успеха у женщин; я же пишу романы, чтобы не заработать смертного приговора».

3. Зачарованный смертью дьявол

Как описать радость работы, когда она идет так хорошо? Словно оседлал земной шар, зажав его между ног, и одним взмахом хлыста погнал вперед, в черную бездну. А мимо, царапая щеки, проносятся звезды...

Из дневника Юкио Мисимы

Пятидесятые годы для Мисимы — период метаний, попыток уйти от главного проклятья его жизни (если это было проклятьем) в литературу, театр, спорт — то самое «срывание с лика смерти ее многообразных масок».

В 1952 году, совершая первое кругосветное путешествие, двадцатисемилетний писатель попадает в Грецию, которая производит настоящий переворот в его душе. В мраморных статуях античных богов и атлетов Мисима открывает ранее казавшееся ему немыслимым «бессмертие красоты». Болезненного, хилого, одолеваемого

[1] Так, в 1953 году, когда в дом писателя ворвался грабитель, Мисима поспешил спрятаться у соседей.

Мисима за работой.

мрачными и страшными видениями молодого человека неудержимо влечет к солнцу, физическому и духовному здоровью, гармонии тела и разума. «Греция излечила меня от ненависти к самому себе, от одиночества и пробудила во мне жажду здоровья в ницшеанском смысле»,— вспоминал Мисима.

Ярким солнечным светом наполнен роман «Шум волн» (1954), на который писателя вдохновила история Дафниса и Хлои. Это произведение, лишенное и тени извращенности, рассказывает о первой любви прекрасного юноши-рыбака и девушки-ныряльщицы, встретившихся на маленьком острове. Никогда — ни прежде, ни после — Мисима не писал так просто и поэтично о нормальном, здоровом человеческом чувстве. Юные герои находятся в полной гармонии с морем, солнцем — всем окружающим миром. Автор даже специально оговаривает, что Синдзи (так зовут рыбака) «ни разу не задумывался о смерти». К этому времени относится запись в дневнике писателя: «Мои мысли о смерти заросли плющом, словно старый замок, в котором никто больше не живет».

Именно тогда Мисимой овладевает новая идея: «Создать прекрасное произведение искусства и стать прекрасным самому — одно и то же». Один из тогдашних друзей писателя описывал его так: «Он был бледен как смерть — настолько, что кожа отливала лиловым. Казалось, тщедушное тело болтается в непомерно широкой одежде. И все же с первого взгляда было видно: этот человек из породы нарциссов. Он умел видеть красоту. Ключ к пониманию Мисимы той поры, когда он еще не увлекся культуризмом и всем таким прочим, был во взгляде, которым Мисима смотрел на самого себя: этот взгляд понимал и ценил прекрасное, а перед ним постоянно представало нечто безобразное...»

Мисима решает «создать из себя полную свою противоположность» — как физически, так и духовно. И надо сказать, что первое ему удается. За выполнение этой задачи он берется с присущей ему неистовой целеустремленностью. Начав с занятий плаванием, Мисима затем переходит к культуризму, кэндо, каратэ. Каждый день щуплый, нескладный и уже не очень юный литератор обливался потом в спортзале. Год шел за годом, и чудо свершилось: мускулы налились силой, движения стали уверенными и ловкими. Успехи Мисимы в спорте были поразительны, и он очень ими гордился. Когда в 1963 году в энциклопедии статью о культуризме снабдили фотографией писателя, он сказал, что это «счастливейший момент его жизни» Близкий знакомый Мисимы, известный американский японовед Дональд Кин писал: «Наиболее совершенным произведением искусства Мисимы стал он сам».

Но и эти, пожалуй, самые светлые в биографии писателя годы были не более чем увлечением очередной «ролью» — хотя сыграл ее Мисима, как и все прочие свои «роли», блистательно, а занятий спортом не оставлял до того самого дня, когда уничтожил «наиболее совершенное произведение» своего искусства собственными руками.

Что же касается светлого и безмятежного «Шума волн», то годы спустя Мисима признался: роман писался не всерьез, автор хотел разыграть читателей (что, кстати, и удалось — «Шум волн» пользовался колоссальным успехом и был экранизирован уже через несколько месяцев после выхода в свет).

В те самые дни, когда Мисима так страстно пытается «создать из себя полную свою противоположность», он показывает друзьям псевдоним «Мисима», написанный другими иероглифами. Получилось «Зачарованный — Смертью — Дьявол».

4. «Золотой Храм»

Прекрасное — с чем бы его сравнить? Ну вот хотя бы с гнилым зубом. Когда у тебя заболел зуб, он постоянно заявляет о своем существовании: ноет, тянет, прокалывает болью. В конце концов мука становится невыносимой, ты идешь к врачу и просишь вырвать зуб к чертовой матери. Потом, глядя на коричневый, покрытый кровью, грязный комок, ты поневоле поражаешься: «Как? И это все? То самое, что так крепко укоренилось во мне, мучило, ни на минуту не давало забыть о себе?.. Не может быть, это не оно!

Юкио Мисима. «Золотой Храм»

Роман «Золотой Храм», написанный в этот период (1956), можно назвать эстетическим манифестом Мисимы. «Золотой Храм» считается не только шедевром творчества писателя, но и самым читаемым в мире произведением японской литературы.

Летом 1950 года юный послушник одной из киотоских дзэн-буддистских обителей сжег Золотой Храм, прославленное творение средневековой архитектуры. Поступок новоявленного герострата не мог не поразить Мисиму, в сознании которого Прекрасное непременно шло бок о бок с разрушением, а какое разрушение чище и абсолютнее всепоглощающего пламени? Роман изучает природу Прекрасного. Повествование ведется от лица будущего поджигателя; для юноши, раздираемого противоречивыми комплексами, Золотой Храм — символ и средоточие всей красоты мироздания.

Ни в каком ином произведении эстетическая концепция Мисимы не сформулирована столь сильно и определенно. Герой романа — как и сам автор — всецело захвачен своими запутанными взаимоотношениями с Прекрасным. «Не будет преувеличением сказать, что первая сложная проблема, с которой мне пришлось столкнуться в жизни,— это проблема Прекрасного. Мой отец был простым деревенским священником, не умевшим красиво говорить, и я усвоил от него только одно: «На всем белом свете нет ничего прекраснее Золотого Храма» Так я узнал, что где-то в неведомом пока мне мире Прекрасное уже существует — и эта мысль отдавалась в моей душе обидой и беспокойством. Если Прекрасное существует и существует где-то там, далеко отсюда, значит, я от него отдален, значит меня туда не пускают?» Невозможность проникнуть в суть Прекрасного, понять, что же оно собой представляет, становится для юного монаха постоянной мукой.

Единственный момент, когда Прекрасное «подпустило» героя к себе, был весной сорок пятого, когда американские бомбардировщики превращали в развалины японские города. «То было время, когда мне удалось опустить Храм с недосягаемой высоты до моего уровня, и, веря в это, я мог любить его безо всякой горечи и страха... Мне придавало сил сознание, что мы с ним подвергаемся одной общей опасности. Я нашел посредника, способного связать меня с Храмом. Теперь между мной и Прекрасным, доселе отвергавшим и игнорировавшим мое существование, протянулся мост. Я буквально пьянел от мысли, что единый пламень может уничтожить нас обоих. Общность ниспосланного на нас проклятья. общность трагической, огненной судьбы давала мне возможность жить с Храмом в одном измерении...»

Итак, Прекрасное доступно и близко герою, лишь когда оно находится под угрозой уничтожения, смерти. Но вот война кончилась, Храм уцелел и вновь стал неприступен. Близость и одновременно бесконечная отдаленность абсолюта Прекрасного сводит героя с ума. Храм встает стеной между ним и реальностью. В конце концов само собой приходит решение: уничтожить Золотой Храм и себя вместе с ним, слив Прекрасное и Смерть воедино Но слияния не происходит. Уже охваченный пожаром Храм отвергает своего разрушителя: вход в верхний ярус. именуемый «Вершиной Прекрасного» где монах хочет встретить смерть, оказывается закрыт. «Не могу передать, до чего жаждал я проникнуть в эту залитую ослепительным сиянием комнату! Только бы попасть туда, только бы попасть в этот золотой чертог, думал я... Наконец, я со всей ясностью понял, что Вершина Прекрасного отказывается меня принять. Я не колебался ни секунды — повернулся и, низко пригнувшись, бросился вниз по лестнице...»

И вот Красота погибла, а герой остался жив, ничто теперь не помешает ему «вступить в контакт с жизнью». На последней странице перед читателем предстает уже не монах Мидзогути, а некое новое существо, разительно не похожее своим поведением на мятущегося героя «Золотого Храма». Человек бесстрастно взирает на дело рук своих — и роман обрывается на сухой, пугающей ноте: «...Мои пальцы нащупали пачку сигарет. Я закурил. На душе было спокойно, как после хорошо выполненной работы. Еще поживем, подумал я».

5. «Дом Киоко»

...Тело мужчины, следуя своей природе и назначению, заставляет окунуться в Реку Действия, протекающую через джунгли, эту опаснейшую из рек. Ее воды кишат аллигаторами и пираньями, с враждебных берегов летят отравленные стрелы. Эта река противоположна Реке Литературы.

Из каталога к фотовыставке.
Ноябрь 1970 г.

«Золотой Храм» — это попытка, уничтожив, устранив из мира Прекрасное, избавиться от фантома и спасти собственную жизнь. Мисима примеряет маску нигилизма, изучая анатомию этого явления со свойственной ему обстоятельностью. В 1959 году выходит роман «Дом Киоко», который писатель назвал своим «исследованием нигилизма». Он писал: «Персонажи мечутся, повинуясь зову своих склонностей, профессий и сексуальных влечений, но в конце концов все дороги, сколь бы извилисты они ни были, приводят к нигилизму».

В романе четыре главных персонажа, каждый из которых символизирует одну из граней личности автора («...Я решил отказаться от одного главного героя, представив различные стороны самого себя с помощью четырех несхожих персонажей»). Четыре героя — это не только составные части внутреннего мира Мисимы, это и четыре пути, перед которыми писатель оказался на пороге 60-х. Исследуя каждую из этих дорог он словно прорабатывает возможные варианты собственного будущего, отбирая наиболее приемлемый.

Первый из героев — художник Нацуо. Он целиком погружен в мир искусства. Это странный мир, не омрачаемый невзгодами, озаренный сиянием Прекрасного и, как считает Нацуо, находящийся под защитой некоего особого божества. Художника привлекает романтика ранней смерти. но к концу книги он достигает единения с окружающим миром, и желание жизни побеждает.

Сэйитиро — удачливый предприниматель. Внешне он производит впечатление человека веселого и жизнерадостного, но

это всего лишь мимикрия, средство добиться успеха в жизни. На самом же деле Сэйитиро живет в сладостном предвкушении конца вселенной, которая, по его мнению, обречена и находится уже на самом пороге краха. Послевоенную Японию он презирает, поскольку в ней нет места «разрушению и гибели».

Актер Осаму — влюбленный в собственную плоть красавец. Он постоянно смотрится в зеркало, разглядывая свое натренированное тело: его мучает невозможность убедиться в том, что он существует на самом деле — стоит отойти от зеркала, и уверенности как не бывало. Доказательством истинности бытия для актера становится боль: «Увидев, как струйка крови сбегает по его коже, Осаму впервые со всей полнотой ощутил, что он действительно живет. Он так страстно любил свое молодое тело, что утолить страсть можно было, лишь кромсая это тело, пуская свою, вне всякого сомнения свою кровь...» Осаму вместе со своей любовницей совершает синдзю, двойное самоубийство.

Боксер Сюнкити верит только в действие, его принцип — «ничем не забивать себе голову». Он ненавидит спокойную и скучную жизнь, которая его окружает, и завидует участи старшего брата, погибшего на войне. Сюнкити вступает в ультраправую организацию, хотя политика его совершенно не интересует. Экстремизм дает ему возможность «быть рядом со смертью даже в наш нормальный век». Сюнкити погибает в уличной драке.

Таким образом, исследование, предпринятое писателем, показало, что две открытые перед ним дороги ведут к жизни, две — к смерти. В Мисиме жили и художник, жрец Прекрасного, и баловень судьбы Сэйитиро (ведь еще совсем молодым писатель достиг успеха, славы, богатства), и нарциссист Осаму, и обуреваемый кровожадными инстинктами Сюнкити. Становится не по себе, когда в судьбе боксера, самого примитивного из персонажей романа, безошибочно распознаешь точные приметы последующего жизненного пути писателя. Пройдет еще несколько лет, и Мисима предпочтет служению искусству, земным благам и даже откровенному упоению садомазохистскими фантазиями путь боксера, который, очевидно, покажется ему вернее и достойнее.

6. «Патриотизм»

Почему вид обнаженных человеческих внутренностей считается таким уж ужасным? Почему, увидев изнанку нашего тела, мы в ужасе закрываем глаза?.. Чем это так отвратительно внутреннее наше устройство? Разве не одной оно природы с глянцевой юной кожей?.. Что же бесчеловечного в уподоблении нашего тела розе, которая одинаково прекрасна как снаружи, так и изнутри? Представляете, если бы люди могли вывернуть свои души и тело наизнанку — грациозно, словно переворачивая лепесток розы,— и подставить их сиянию солнца и дыханию майского ветерка...

Юкио Мисима. «Золотой Храм»

И все же «Дом Киоко» еще предполагает свободу выбора — хотя бы потому, что в отношении боксера к политике, к «правым» есть нескрываемая ирония, и экстремизм Сюнкити — не более чем средство к достижению «экстаза смерти». Однако ирония не то чувство, которое может толкнуть на кровавый акт саморазрушения; Мисима нуждался в неистовом, нерассуждающем импульсе какой дает только фанатизм.

В 1961 году появилась новелла «Патриотизм»[1], определившая творческий путь и судьбу писателя в последнее десятилетие его жизни. Действие происходит в феврале 1936 года, когда группа молодых националистически настроенных офицеров, недовольных излишне либеральным, по их мнению, правительством, устроила военный путч. Заговорщики утверждали, что цель восстания — вернуть императору узурпированную неправедными министрами власть. После того как Хирохито осудил своих непрошеных «заступников», мятеж удалось довольно быстро подавить. История этого фанатичного, кровопролитного выступления будоражила воображение Мисимы, все здесь укладывалось в его излюбленную эстетическую формулу: молодые (а стало быть прекрасные) воины сначала щедро проливали чужую кровь, потом не пожалели своей (двое офицеров предпочли плену харакири). Писатель еще не раз вернется в своих произведениях к описанию событий февраля 1936 года.

В новелле описано самоубийство молодой супружеской четы. Гвардейский поручик Такэяма, оказавшись перед неразрешимой моральной дилеммой, делает харакири. Его юная красавица жена, как подобает супруге самурая, тоже лишает себя жизни. Мисима хотел показать, каких людей он считает носителями истинно японского духа, но талант оказался сильнее авторского замысла. По мере развития событий отступает, забывается идейная подоплека кошмарного ритуала, и вдруг рождается жгучее, болезненное ощущение трагической утраты, напрасной гибели двух молодых полных жизни и любви человеческих существ,— впрочем, такое восприятие финала субъективно; во всяком случае, автор явно рассчитывал на совершенно иной эффект. Возникающему чувству потери, которую невозможно оправдать никакими высокими резонами, не способен помешать даже претенциозный, временами граничащий с дурным вкусом стиль, прежде не свойственный утонченному эстету Мисиме. «Идеологическое» обоснование двойного самоубийства (патриотические чувства и преклонение перед императором) дается не очень вразумительно, как бы скороговоркой — чувствуется, что пока это для писателя не главное. Зато сам процесс харакири показан с ужасающей дотошностью.

Читателю, не знакомому с предыдущими произведениями Мисимы, наверняка показалось бы непонятным в авторском послесловии утверждение, что «Патриотизм» — «не комедия и не трагедия, а рассказ о счастье» Но мучительная смерть молодого, красивого тела, та самая участь

[1] Новелла публикуется в этом номере; см. с. 218.

святого Себастьяна, и была для Мисимы высшим проявлением счастья.

Перед смертью поручик и его жена в последний раз исступленно занимаются любовью. «Предстоящая агония придавала наслаждению не испытанную доселе утонченность и чистоту». Итак, все встало на свои места роковая цепочка выстроилась: эротика для Мисимы неизменно сопряжена с болью, кровью и смертью — вот то «счастье», о котором говорится в послесловии; путь же к счастью лежит через смерть, освященную сиянием политической идеи. Поручик уверен, что «никакого противоречия между зовом плоти и патриотическим чувством нет, наоборот, две эти страсти естественным образом сливались для него воедино».

Харакири, средневековый способ самоубийства, как нельзя лучше подходил для целей Мисимы, сочетая в себе и кровь, и невыносимые страдания. А поскольку харакири считалось привилегией самурайского сословия, истинно японским «изобретением», то для того, чтобы прибегнуть к нему во второй половине двадцатого столетия, требовалось стать крайним, фанатичным националистом. Вот дорога, которой отныне пойдет Мисима.

7. «Море изобилия»

...Сорок пять лет моей жизни — жизни, полной противоречий,— я разделил на четыре реки... каждая из которых в конце концов впадает в «Море изобилия»...

Юкио Мисима.
Из каталога к фотовыставке.
Ноябрь 1970 г.

Все 60-е годы Мисиму словно лихорадит, он буквально разрывается между литературным трудом, театром, кино, изнурительными тренировками; много путешествует, а позднее, в конце десятилетия, тратит массу времени и сил на создание своей «преторианской гвардии». Но вся эта деятельность уже подчинена одной конечной цели, предопределенному финалу, который, подобно зловещему водовороту, затягивает Мисиму, влечет его к себе — сначала медленно, потом все стремительнее. В многочисленных эссе и статьях писатель все более сфокусированно выражает свою националистическую позицию. Актерские работы в кино напоминают репетиции предстоящего ритуала: то персонаж, гангстер, гибнет от пуль убийц, то самурай в историческом фильме делает харакири... Большой шум в Японии и за рубежом наделала двадцатиминутная лента «Обряд любви и смерти» по новелле «Патриотизм». Исполнение роли поручика Мисима, конечно же, не уступил никому. Стройный, в щегольском мундире и надвинутой на глаза фуражке самоубийца вспарывал себе живот — кинокамера словно заглядывала в будущее, на пять лет вперед.

Но кем бы ни мнил себя Мисима в последние годы — политиком, защитником самурайского духа или лицедеем,— прежде всего он был писателем и оставался им до самого конца. Утром 25 ноября, перед тем как сыграть свою последнюю роль, он оставит на столе заключительную часть тетралогии «Море изобилия», над которой работал всю вторую половину 60-х. Конец литературного труда и конец жизни совпадут день в день.

Тетралогия представляет собой эпопею, охватывающую шесть десятилетий жизни японского общества — с начала века до середины 70-х годов (то есть заканчивается она в будущем). Каждый из четырех романов — законченное и цельное произведение, но вместе с тем все части объединены общей идеей, а также сквозным персонажем, которого зовут Хонда.

В молодости Хонда дружил с Киёаки, прекрасным юношей аристократического рода. Разлученный со своей возлюбленной Сатоко, Киёаки умирает в возрасте двадцати лет — эти события описаны в первом романе «Весенний снег». Незадолго до смерти Киёаки говорит другу: «Я только что видел сон. Мы увидимся вновь, я знаю. Под водопадом».

И во второй книге — она называется «Несущие кони» — Хонда двадцать лет спустя, в начале 30-х, встречает у водопада юношу, у которого на левом боку три точно такие же родинки, какие были у Киёаки. Исао — так зовется герой в его новом воплощении — не похож на утонченного, грациозного Киёаки. Он мускулист, крепок, и дела любовные его не привлекают — Исао захвачен националистическими идеями. В конце романа он убивает финансиста Курахару, который олицетворяет для него коварство, цинизм и продажность. Затем, как и следовало ожидать, Исао совершает харакири, сидя на высоком морском берегу. Вот последние строки романа: «Исао глубоко вздохнул и провел по животу левой ладонью. Потом закрыл глаза, приставил кинжал и изо всех сил погрузил в тело, направляя острие пальцами левой руки. В момент, когда клинок проник в плоть, Исао сквозь зажмуренные веки увидел красный диск восходящего солнца».

За два дня до смерти юноши Хонда сидит возле спящего Исао и слышит, как тот бормочет сквозь сон: «Далеко отсюда... На юге... Где очень жарко... Под розовым солнцем тропиков».

И вновь Хонда встречает Киёаки в его следующей реинкарнации восемь лет спустя, в Таиланде, где начинается действие романа «Храм рассвета». Полубезумная тайская принцесса, семилетняя Инь Чан, кидается навстречу Хонде, утверждая, что она — японец, погибший восемь лет назад. Она пересказывает события жизни Киёаки и Исао. Затем начавшаяся война надолго разлучает Хонду с девочкой, и встречает он ее лишь через одиннадцать лет, в Токио, куда Инь Чан приезжает учиться. Ценой неимоверных усилий Хонде удается разглядеть на боку у принцессы три заветных родинки. Потом он теряет ее из виду и только пятнадцать лет спустя случайно узнает, что Инь Чан погибла в двадцать лет от укуса кобры (Исао в предыдущем романе видел сон, будто его кусает зеленая змея).

Первые три книги тетралогии вышли в свет при жизни Мисимы и образуют стройное повествование, в основе которо-

го лежит буддийская идея перерождения душ. Однако заключительный роман «Падение ангела», оставленный писателем как бы в качестве литературного завещания, перечеркивает все три предыдущие части, по сути дела обращая их в фарс.

Хонда уже глубокий старик, живет с усыновленным им юношей, шестнадцатилетним Гоору, веря, что отыскал новое перевоплощение Киёаки — у Тоору на боку три родинки. Окончательным доказательством должна стать гибель юноши в двадцатилетнем возрасте. И действительно, накануне своего двадцать первого дня рождения Тоору пьет технический спирт, однако не умирает, а только слепнет. Хонда понимает, что ошибся. Чувствуя приближение смерти, он едет в монастырь, где до сих пор живет Сатоко, былая возлюбленная прекрасного Киёаки. Но она смотрит на посетителя с недоумением и говорит, что никакого Киёаки не знала. Потрясенный, Хонда восклицает: «Но если не было Киёаки, значит, не было и Исао! Инь Чан тоже не было! И кто знает, может быть, не было и меня!»

Все оказывается иллюзией — и романтическая любовь Киёаки, и кровавая смерть Исао, и идея перевоплощения душ, и сама человеческая жизнь. В конце своего литературного пути Мисима поставил огромный вопросительный знак — снял еще одну, на сей раз последнюю маску. Очевидно, литературоведы долго будут спорить, что хотел сказать Мисима такой концовкой главного труда своей жизни. Может быть изучив концепцию «риннэ», цикла перерождения души, и отринув ее, он тем самым стремился уверить себя в абсолютности и необратимости ожидающей его смерти? Недаром мальчик из «Исповеди маски» так не любил сказок, в которых убитые принцы оживают вновь.

8. Финал

...Умирай в своих мыслях каждое утро, и ты перестанешь бояться смерти.
Дзётё Ямамото. «В тени листьев» (Трактат начала XVIII века)

Генри Скотт-Стоукс, автор одной из биографий Мисимы, убедительно доказывает, что последние годы жизни писателя подчинены тщательно разработанному плану, в котором ступени приближения к «экстазу смерти» точно совпадают с этапами работы над тетралогией. В конце осени 1966 года, закончив «Весенний снег», Мисима вступает в Силы самообороны. Летом 1968 года, дописав «Несущихся коней», он создает свое «Общество щита». Весной 1970 года, когда окончен «Храм рассвета», писатель детально разрабатывает сценарий «акции», до которой еще целых восемь месяцев. Наконец, в ноябре того же года, поставив последнюю точку в тетралогии, он ставит точку и в своей жизни

Все было готово к эффектному спектаклю, призванному стать для Мисимы моментом наивысшего блаженства. С присущей ему аккуратностью он привел в порядок свои дела, попрощался с друзьями — да так, что они лишь потом поняли смысл брошенной напоследок фразы или взгляда.

В исходе «заговора» у Мисимы ни малейших сомнений не было. Есть множество свидетельств тому, что писатель и сам не принимал всерьез затею с мятежом. Нет, Мисиме нужно было не триумфальное шествие к зданию парламента во главе нескольких сотен воодушевленных его речью солдат (и, собственно, трудно представить что бы практически дала подобная демонстрация) — он жаждал лишь подходящей декорации для самоубийства.

Еще в конце 50-х, после «Золотого Храма», Мисима понял, что единственно возможный для него путь спасения — отказаться от своей концепции Красоты («Ночь, Кровь и Смерть»). Он сделал иной выбор.

Остается только описать финал жизни писателя, долгожданное слияние с предметом его вожделений: «экстазом смерти», «высшим моментом бытия», «благословением», «сияющей субстанцией» — эпитетов, которыми Мисима наградил смерть, столько, что они могут стать темой специального исследования.

Никто уже не расскажет, что ощущал Мисима в самый торжественный день своей жизни,— так сказать, что происходило «за кулисами». «На сцене» же занавес поднялся ровно в 11.00 25 ноября 1970 года, когда из машины, остановившейся во дворе столичной военной базы Итигая, вышел затянутый в опереточный мундир «Общества щита» писатель Юкио Мисима. На боку у него висел старинный, XVI века меч. Сопровождали «центуриона» четверо молодых людей в точно таких же мундирах. Гостей провели в кабинет коменданта базы генерала Маситы. В 11.05 по сигналу своего предводителя сту-

За несколько минут до смерти.

денты скрутили генерала и забаррикадировали дверь. Мисиме, обладателю пятого дана по фехтованию, не составило труда отбить мечом два вторжения растерянных, ничего не понимающих штабных офицеров (при этом несколько человек он легко ранил — пролилась первая кровь этого кровавого дня). В 11.30 требование террористов собрать во дворе солдат гарнизона было принято. В 12.00 Мисима вышел на широкий балкон здания, взобрался на парапет и, картинно подбоченясь, замер. Жестикулируя рукой в белой перчатке, он начал произносить заранее подготовленную речь, но его почти не было слышно: над базой уже пятнадцать минут висели полицейские вертолеты; взбудораженные солдаты кричали и шумели — не могли уразуметь, зачем знаменитый писатель захватил их командира.

«Самураи вы или нет?! Мужчины или нет?! Ведь вы воины! Зачем же вы защищаете конституцию, которая запрещает существование армии?» — надсаживал голос Мисима. А солдаты кричали: «Идиот!», «Слезай оттуда!», «Отпусти командира!», «Пристрелите его!»

Через пять минут, так и не закончив речи, Мисима спрыгнул с парапета и вернулся в комнату. «Они даже не слушали меня»,— сказал он своим «преторианцам». Затем расстегнул мундир, надетый на голое тело, приспустил брюки, снял с руки часы и сел на красный ковер. Один из студентов протянул ему бумагу и кисточку — Мисима собирался написать своей кровью прощальное стихотворение, как того гребовал самурайский обычай. «Это мне не понадобится»,— спокойно произнес он. Взял в руки кинжал и, трижды прокричав «Да здравствует император!», вонзил клинок в левую нижнюю часть живота. Закончив длинный горизонтальный разрез, он рухнул лицом на ковер. Теперь, согласно ритуалу, секундант должен был прекратить муки самоубийцы, отрубив ему голову мечом. Морита, которому через минуту предстояло тоже умереть, три раза с размаху опускал клинок на еще живое тело, но попасть по шее так и не сумел. Другой студент отобрал у него меч и закончил дело: голова писателя покатилась по полу...

Мать, человек самый близкий Мисиме и лучше всех его знавший, сказала: «Впервые в жизни Кимитакэ сделал то, чего ему действительно хотелось. Будьте за него счастливы».

ЮКИО МИСИМА

ПАТРИОТИЗМ

1

28 февраля 1936 года, на третий день известных событий, поручик гвардейского транспортного батальона Синдзи Такэяма, потрясенный известием о том, что его ближайшие друзья оказались в числе заговорщиков, не в силах смириться с приказом о подавлении мятежа, в одной из комнат своего особняка (дом шесть по улице Аоба, район Ёцуя) сделал харакири собственной саблей; его супруга Рэйко последовала примеру любимого мужа и тоже лишила себя жизни. В прощальной записке поручика была всего одна фраза: «Да здравствует императорская армия!» Жена тоже оставила письмо, в котором приносила извинения родителям за то, что уходит из жизни раньше их, и заканчивала словами: «Настал день, к которому должна быть готова жена офицера». Последние минуты жизни мужественной пары были таковы, что дрогнуло бы даже самое каменное сердце. Поручику исполнился тридцать один год, Рэйко — двадцать три. Со дня их свадьбы не прошло и полугода.

2

Те, кто присутствовал на бракосочетании или хотя бы видел свадебную фотографию, в один голос восхищались красотой молодой пары. Поручик, затянутый в парадный мундир, стоял подле невесты, горделиво расправив плечи; правая рука на эфесе сабли, в левой — фуражка. Лицо сурово, широко раскрытые глаза горят молодой отвагой и прямотой. А очарование невесты, одетой в белоснежное свадебное кимоно, просто не поддавалось описанию. Плавный изгиб бровей, большие глаза, тонкий нос, полные губы — во всех этих чертах неповторимо сочетались чувственность и благородство. Из рукава кимоно целомудренно выглядывала кисть руки, державшей веер; изящно расставленные пальцы напоминали нежные лепестки луноцвета.

После того как супруги покончили с собой, люди, глядя на памятную фотографию, вздыхали и говорили, что такие идеальные, на первый взгляд, союзы всегда приносят несчастье. Казалось, что молодые, застывшие у золотой лаковой ширмы, видят своими ясными глазами лик скорой смерти.

Новобрачные поселились в особняке на улице Аоба, который подыскал для них один из сватов, генерал-лейтенант Одзэки. Впрочем, «особняк» — сказано слишком громко; это был небольшой домик с маленьким садом. В две комнатки первого этажа почти не заглядывало солнце, поэтому спальню (она же гостиная) супруги решили устроить наверху. Прислуги у них не было, Рэйко управлялась по хозяйству сама.

От свадебного путешествия в связи с трудными для отечества временами решено было отказаться. Первую ночь молодые провели под крышей своего нового дома. Прежде чем лечь в постель, поручик положил себе на колени обнаженную саблю и произнес перед Рэйко небольшую речь. Жена офицера, сказал он, должна всегда быть готова к тому, что ее муж погибнет. Может быть, это произойдет завтра, может быть, послезавтра. Не дрогнешь ли ты, когда наступит роковой день? — спросил он. Рэйко поднялась, выдвинула ящичек шкафа и достала самое драгоценное из своего приданого — кинжал, врученный ей матерью. Как и муж, она мол-

ча положила обнаженный клинок себе на колени. Между супругами был заключен безмолвный договор, и поручик никогда больше не подвергал испытанию свою молодую жену.

За несколько месяцев, прошедших после свадьбы, красота Рэйко расцвела и засияла, словно луна на прояснившемся после дождя небосклоне.

Оба были молоды, полны сил, и страсть их не утихала. Они предавались любви не только по ночам — часто, вернувшись со службы, поручик не успевал даже скинуть пропыленный мундир, так не терпелось ему заключить в объятия молодую жену. Рэйко отвечала ему не меньшей страстностью. В первый же месяц замужества она вкусила неизъяснимое блаженство, и, зная это, поручик был счастлив.

Белое, прекрасное тело Рэйко, ее упругие груди, целомудренные и неприступные, раз доверившись любви, зажглись чувственным огнем. Молодые отдавались ласкам с пугающей серьезностью, которая не оставляла их даже в высший миг наслаждения.

На учениях в краткие минуты отдыха поручик думал о жене; Рэйко, оставаясь дома одна, постоянно видела перед собой образ любимого. Достаточно ей было взглянуть на свадебную фотографию, и она убеждалась, что ее счастье не сон. Рэйко вовсе не казалось странным, что мужчина, всего несколько месяцев назад бывший совершенно чужим, стал солнцем, которое освещало всю ее вселенную.

Отношения супругов зижделись на глубокой нравственной основе — ведь закон, установленный императором, гласил: «Муж и жена должны жить в полной гармонии». Рэйко никогда и ни в чем не перечила мужу, ни разу не возникло у поручика повода быть ею недовольным. В гостиной первого этажа, на алтаре, стояла фотография императорской фамилии, и каждое утро, перед тем как поручик отправлялся на службу, молодые низко кланялись портрету. Рэйко ежедневно поливала священное деревце сакаки, росшее в кадке перед алтарем, и его зелень всегда была свежей и пышной.

3

Дом поручика находился неподалеку от особняка министра-хранителя печати Сайто [1], но выстрелов, раздавшихся на рассвете 26 февраля, супруги не слышали. Трагический эпизод длился не более десяти минут, и поручика разбудила не стрельба, а звук трубы, разорвавший заснеженные предутренние сумерки, объявляя тревогу. Офицер рывком поднялся с постели, молча натянул форму, схватил саблю, которую подала ему жена, и выбежал на покрытую снегом темную улицу. До вечера двадцать восьмого Рэйко его больше не видела.

Из сообщений по радио она узнала, что произошло. Эти два дня она провела тихо, в полном одиночестве, за плотно закрытыми дверьми.

В лице мужа, спешившего уйти в снег и темноту, Рэйко прочла решимость принять смерть. Если он не вернется живым, она была готова последовать за ним. Не спеша Рэйко стала приводить в порядок свои вещи. Выходные кимоно она решила оставить на память своим бывшим школьным подругам и, завернув наряды в бумагу, написала сверху имена и адреса. Муж учил ее никогда не думать о завтрашнем дне и жить днем сегодняшним, поэтому дневника Рэйко не вела и была лишена наслаждения медленно перечитывать странички счастливых воспоминаний последних месяцев, сжигая листок за листком. Возле радиоприемника стояла маленькая коллекция Рэйко: фарфоровые собака, заяц, крот, медведь, лиса и еще ваза и кувшинчик. Молодая женщина подумала, что эти вещи вряд ли подойдут для памятных сувениров. Неудобно будет и попросить, чтобы их положили с ней в гроб. Рэйко показалось, что мордочки фарфоровых зверьков жалобно и неприкаянно кривятся.

Она взяла крота в руку, но мысленно была уже далеко от своего детского увлечения; ее глаза видели ослепительное сияние Великого Смысла, олицетворением которого являлся муж. Она рада понестись на солнечной колеснице навстречу смерти, но еще есть в запасе несколько часов, чтобы заняться милыми пустяками. Собственно говоря, милы эти безделушки ей были когда-то давно; сегодня она любила лишь воспоминание о той невинной привязанности. Сердце наполняла куда более жгучая страсть, нестерпимое ощущение счастья... Ибо Рэйко никогда не думала о радостях, дарованных ей плотью, как об обычном удовольствии. Холод февральского дня, прикосновение фарфора леденили ее тонкие пальцы, но стоило Рэйко вспомнить сильные руки мужа, сжимающие ее в объятиях, и сразу откуда-то снизу, из-под безупречных складок узорчатого кимоно, подступала горячая влажная истома, способная растопить любые снега.

Смерть, витавшая где-то рядом, не страшила Рэйко; дожидаясь любимого, она твердо верила: все, что он сейчас чувствует и думает,— его страдания, его мука, так же как тело мужа, дававшее ей счастье,— влечет ее за собой к наслаждению, имя которому «смерть». В этой мысли, чувствовала Рэйко, даже в малой части этой мысли, легко может раствориться все ее существо.

Из сводок новостей Рэйко узнала, что в рядах заговорщиков оказались лучшие друзья ее мужа. Это известие уничтожило последние сомнения. Рэйко все с большим нетерпением ожидала императорского рескрипта, видя, как к восстанию, которое вначале именовали «движением за национальное возрождение», постепенно пристает позорное клеймо «мятежа». Из части, в которой служил поручик, не поступало никаких вестей. Занесенный снегом город с минуты на минуту ждал начала боевых действий.

Двадцать восьмого февраля, на закате, Рэйко со страхом услышала громкий стук в дверь. Она бросилась в прихожую и дрожащими руками отперла замок. Человек, чей неподвижный силуэт расплывчато темнел за матовым стеклом, молчал, но Рэйко сразу узнала мужа. Никогда еще засов не казался ей таким тугим. Он никак не желал открываться.

[1] Макото Сайто (1858—1936) — бывший премьер-министр (1932—1934), был убит заговорщиками в первый день мятежа.

Дверь не успела еще полностью распахнуться, а поручик, в защитного цвета шинели и заляпанных снегом и грязью сапогах, уже шагнул в прихожую. Он задвинул засов и повернул в замке ключ. Рэйко не сразу поняла значение этого жеста.

— Добрый вечер,— поклонилась она, но поручик на приветствие не ответил. Он отстегнул саблю и стал раздеваться. Рэйко помогла ему. Шинель была сырой и холодной; от нее не пахло конюшней, как в сухие, солнечные дни; сегодня она показалась Рэйко необычайно тяжелой. Жена повесила шинель на вешалку и, зажав саблю и портупею под мышкой, последовала за мужем в крошечную гостиную нижнего этажа.

В ярком свете лампы заросшее щетиной лицо поручика показалось Рэйко чужим. Щеки ввалились и потемнели. Обычно, возвращаясь со службы в хорошем настроении, он первым делом переодевался в домашнее и требовал немедленно подавать ужин. Сегодня поручик сел за стол прямо в форме и понуро опустил голову. Рэйко не стала спрашивать, пора ли накрывать на стол.

Помолчав немного, муж произнес:

— Я ни о чем не знал. Они не позвали меня с собой. Наверное, из-за того, что я недавно женился... Там Кано, и Хомма, и Ямагути...

Рэйко как наяву увидела перед собой румяные лица молодых офицеров, друзей ее мужа, так часто бывавших у них в доме.

— Завтра должны огласить высочайший рескрипт. Их объявят мятежниками. Я буду обязан повести на них своих солдат... Я не могу этого сделать. Не могу.

— Меня сменили из охранения,— продолжал он после паузы,— и разрешили провести сегодняшнюю ночь дома. Завтра утром, верно, придется атаковать. Рэйко, это выше моих сил.

Рэйко сидела напротив, не поднимая глаз. Она прекрасно понимала, что муж сообщает ей о своем решении умереть. Решение уже принято. Голос его звучал с особой неколебимой силой, потому что за каждым словом стояла смерть, этот мрачный и недвижный фон. Поручик говорил о своих душевных муках, но сердце его не ведало колебаний.

Молчание, воцарившееся затем в гостиной, было чистым и прозрачным, как ручей талой воды с гор. Впервые за два дня непрерывной пытки, сидя у себя дома, лицом к лицу с молодой, прелестной женой, поручик почувствовал, как на его душу нисходит покой. Он знал, что можно ничего больше не объяснять — она и так все понимает.

— Ну вот,— поручик поднял глаза. Несмотря на бессонные ночи, их взгляд был острым и незамутненным. Теперь они смотрели прямо в лицо Рэйко.— Сегодня ночью я сделаю харакири.

Рэйко не дрогнула. В ее огромных глазах было такое напряжение, что, казалось, этот взгляд вот-вот зазвенит пронзительным колокольчиком.

— Я готова,— не сразу ответила она.— Позволь мне последовать за тобой.

Поручик почувствовал, что сила этого взгляда почти подавляет его. Слова сорвались с губ сами собой, словно в бреду:

— Ладно. Стало быть, вместе. Но я хочу, чтобы ты видела, как я умру. Согласна?

Ему самому было непонятно, как он мог так легко, почти небрежно, дать ей разрешение на этот страшный шаг. Но когда слова прозвучали, сердца обоих захлестнула жаркая волна счастья. Рэйко была растрогана безоговорочным доверием мужа. Она знала, как важно для поручика, чтобы ритуал его смерти прошел безупречно. У харакири непременно должен быть свидетель, и то, что на эту роль он выбрал ее, говорило о высочайшей степени уважения. И еще больший знак доверия то, что поручик не заставлял ее умирать первой, а значит, лишал себя возможности проверить, выполнит ли жена свое обещание. Будь он обыкновенным подозрительным мужем, Рэйко погибла бы раньше его — так обычно и происходит при двойных самоубийствах.

Поручик считал, что решение Рэйко, подтвердившее клятву, которую она дала в первую брачную ночь, было плодом его воспитания и его наставлений. Эта мысль внушала ему гордость. Лишенному самовлюбленности поручику и в голову не пришло, что жена могла решиться на смерть из одной только любви к нему.

Радость, охватившая души обоих, была столь велика и неподдельна, что лица супругов осветились улыбкой. У Рэйко возникло такое ощущение, словно им предстоит еще одна первая брачная ночь. Не было впереди ни боли, ни смерти — лишь вольный и бескрайний простор.

— У меня готова ванна. Примешь?

— Да.

— А ужинать будешь?

Слова эти были произнесены так обыденно, что поручику на миг показалось, будто все предшествующее — плод его воображения.

— Есть, наверное, не стоит. Вот сакэ бы выпить неплохо.

— Хорошо.

Рэйко встала, чтобы достать из шкафа халат мужа, и попросила его заглянуть внутрь. Поручик подошел и молча прочитал адреса подруг Рэйко, написанные на свертках с нарядами. Увидев новое доказательство обдуманности ее решения, он не испытал ни малейшей грусти, лишь сердце наполнилось еще большей нежностью. Рэйко была сейчас так похожа на юную жену, горделиво показывающую мужу свои милые, бестолковые покупки, что не в силах сдержать любви, поручик обнял ее сзади и поцеловал.

Небритая щетина кольнула ей шею, и Рэйко, для которой в этом прикосновении заключалось все ощущение жизни, поцелуй показался необычайно свежим — ведь скоро всему наступит конец. Мгновения наливались силой, просыпалась каждая клеточка тела. Рэйко приподнялась на цыпочки, подставляя шею губам мужа.

— Сначала ванну, потом сакэ, а потом... Постелй наверху,— прошептал ей на ухо поручик. Рэйко кивнула.

Он рывком скинул мундир и вошел в ванную. Прислушиваясь к плеску воды, Рэйко разожгла в гостиной жаровню и стала подогревать сакэ.

Затем она отнесла в ванную халат, пояс и белье и спросила мужа, хорошо ли нагрелась вода. Поручик сидел в клубах пара и брился, мускулы на его могучей спине ходили под кожей вслед за движением рук.

Все было, как в самый обыкновенный день. Рэйко быстро приготовила закуску из того, что нашлось в доме. Руки не дрожали, работа шла споро, даже лучше, чем обычно. И все же время от времени где-то глубоко в груди возникал странный трепет. Он вспыхивал на миг, подобно разряду дальней молнии, и тут же исчезал. А в остальном все шло, как всегда.

Поручик, бреясь в ванной, чувствовал, как из разогревшегося тела уходит усталость, вызванная сомнениями и душевными муками. Несмотря на ожидающую его смерть, все существо офицера было исполнено радостного ожидания. Из комнаты доносились шаги хлопотавшей жены, и в нем проснулось здоровое физическое желание, о котором за последние два дня он забыл и думать.

Поручик не сомневался в том, что радость, с которой они приняли решение умереть, была неподдельной. В тот миг, хотя они об этом и не думали, оба почувствовали, что их сокрытое от всех счастье находится под надежной защитой Высшей Справедливости, Божественной Воли и несокрушимой Нравственности. Прочтя в глазах друг друга готовность принять достойную смерть, поручик и его жена вновь осознали, какая мощная стальная стена, какая прочная броня Истины и Красоты оберегает их. Поэтому поручик был уверен, что никакого противоречия между зовом плоти и патриотическим чувством нет, наоборот, две эти страсти естественным образом сливались для него воедино.

Внимательно глядя в затуманенное от пара зеркало, темное и потрескавшееся, поручик водил бритвой очень осторожно: скоро на этом лице застынет маска смерти, поэтому нежелательно, чтобы ее уродовали порезы. Свежевыбритое лицо помолодело и стало словно излучать сияние — казалось, даже старое зеркало посветлело. В союзе этой лучезарной молодости со смертью было что-то невыразимо элегантное.

Неужели на эти черты скоро ляжет тень смерти! Уже и сейчас лицо наполовину как бы перестало принадлежать поручику и походило скорее на каменный лик памятника погибшему воину. Офицер на миг закрыл глаза. Мир скрылся во тьме, видеть может только живой.

Когда поручик вышел из ванной, его гладко выбритые щеки отливали глянцевой голубизной; он сел возле жаровни, на которой нагревалось сакэ. Рэйко все приготовила и даже успела наскоро привести себя в порядок. Щеки ее покрывал нежный румянец, губы влажно блестели — поручик не увидел в лице жены ни малейшего признака печали. Довольный выдержкой Рэйко, он вновь подумал, что не ошибся в своем выборе.

Осушив чарку, поручик наполнил ее вновь и протянул жене. Рэйко никогда еще не пробовала вина, она послушно поднесла сакэ к губам и с опаской отпила.

— Иди ко мне,— позвал поручик.

Рэйко приблизилась к мужу, наклонилась, и он крепко ее обнял. Грудь ее затрепетала, радость и грусть смешались и забурлили, подогретые крепким сакэ. Поручик сверху заглянул жене в глаза. Последнее женское лицо, последнее человеческое лицо, которое ему суждено увидеть. Он не спеша и очень внимательно всматривался в дорогие черты, как путник, любующийся прекрасным пейзажем, который ему уж не увидеть вновь. Поручик смотрел и не мог наглядеться: мягкие сильные губы согревали холодную правильность этой красоты. Он наклонился и поцеловал их. Вдруг он заметил, что, хотя лицо жены не дрогнуло ни единым мускулом, из-под длинных ресниц закрытых глаз, поблескивая, катятся слезы.

Пойдем в спальню, предложил поручик, но Рэйко сказала, что прежде примет ванну. Он поднялся наверх один, вошел в спальню, успевшую прогреться от включенной газовой печки, и, широко раскинувшись, лег на постель. Все было как обычно, даже час тот же. Сколько раз по вечерам лежал он так, поджидая жену.

Положив руки под голову, поручик смотрел на потолок, туда, где темнели неосвещенные лампой доски. Чего он ждет — смерти или безумного чувственного наслаждения? Одно ожидание наслаивалось на другое, и казалось, что смерть и есть объект его вожделения. Как бы там ни было, никогда еще поручик не испытывал столь всеобъемлющего ощущения свободы.

За окном проехал автомобиль. Завизжали шины, скользя по заснеженной мостовой. Прогудел клаксон, стены домов отозвались эхом... Житейское море продолжало существовать своей привычной суетой, лишь здесь, в комнате, был одинокий островок. За его пределами простиралась огромная мятущаяся страна, которой поручик отдал свое сердце. Ради нее он жертвовал жизнью. Но заметит ли отечество гибель того, кто убьет себя ради идеи? Пусть не заметит! Поле брани поручика не будет осенено славой, ему не суждено проявить доблесть в бою, но именно здесь проходит линия фронта его души.

Послышались шаги поднимающейся по лестнице Рэйко. Крутые старые ступени скрипели под ее ногами. Поручик любил этот звук, как часто дожидался он в постели прекрасной музыки старой лестницы. Подумав, что сейчас он слушает знакомый скрип в последний раз, поручик весь обратился в слух, он желал насладиться каждым мгновением. И мгновения засияли радужными самоцветами.

Рэйко повязала поверх купального халата алый пояс, казавшийся в полумраке спальни почти черным. Поручик потянулся к узлу, Рэйко помогла ему, и пояс змеей соскользнул на пол. Муж просунул руки в широкие рукава халата, она прижала локтями его ладони к телу, и, ощутив прикосновение горячей плоти, он затрепетал от страсти.

Они сами не заметили, как остались обнаженными возле пылающей газовой печки.

Их души, тела и мысли были полны сознанием того, что это — в последний раз.

Словно невидимая кисть написала слова ПОСЛЕДНИЙ РАЗ на их коже.

Поручик прижал к себе молодую жену, и они слились в поцелуе. Его язык заскользил по ее рту; неведомая пока еще смертная мука обострила чувства, прикосновение обжигало, как раскаленное докрасна железо. Предстоящая агония придавала наслаждению неиспытанную доселе утонченность и чистоту.

— Покажи мне свое тело. Хочу полюбоваться им в последний раз,— прошептал поручик. Он повернул абажур лампы так, чтобы свет падал на постель.

Рэйко, закрыв глаза, лежала без движения. Свет, лившийся сбоку, рельефно оттенял все выпуклости и впадины прекрасной белой плоти. С эгоистичным удовлетворением поручик подумал, что, умерев первым, не увидит гибели этой красоты.

Не спеша запечатлевал он в памяти восхитительную картину. Одной рукой он погладил Рэйко по волосам, а другой медленно провел по милому лицу, нагнулся и припал губами, целуя уголки глаз. Ясный, высокий лоб... Тень длинных ресниц под тонкими бровями... Прямой безупречный нос... Полные, красиво очерченные губы, влажная белизна зубов... Нежный румянец щек и маленький изящный подбородок... Перед поручиком будто предстал сияющий лик смерти, и он стал жадно осыпать белоснежное горло, куда скоро вонзится острие кинжала, поцелуями, пока кожа не не порозовела. Потом он вернулся к губам и принялся ласково и ритмично водить своим ртом по рту Рэйко. Если закрыть глаза, можно было представить, что весь мир слегка покачивается на волнах.

Потом губы поручика послушно следовали за его взглядом. Затвердевшие от поцелуев соски, что увенчивали высокие груди, были похожи на почки горной вишни. Руки от плеч плавными округлыми линиями постепенно сужались к запястьям. Тонкие пальцы — те самые, что держали веер на свадебной фотографии,— застенчиво прятались в ладонь от горячих губ поручика. Ложбинка между грудью и животом сочетала податливость и упругую силу; ниже начинались крутые изгибы бедер, но здесь тело еще как бы было подчинено сдержанности и дисциплине. Ослепительная белизна живота в приглушенном свете лампы напоминала налитое в широкое блюдо молоко; посередине темнела крошечная впадинка, словно след от дождевой капли. Ниже, где тени сгущались, чернела мягкая поросль волос; от трепетной, налитой страстью плоти все явственней исходил благоуханный аромат.

Дрожащим голосом Рэйко произнесла:

— Я тоже хочу... В последний раз...

Впервые обращалась она к мужу со столь решительной просьбой; казалось, нечто, до сих пор тщательно скрываемое робостью, вырвалось на волю. Поручик безропотно откинулся на спину. Белое женское тело приподнялось; желая во всем следовать примеру мужа, Рэйко ласково прикрыла пальцами неотрывно смотревшие на нее глаза.

В порыве нежности, с раскрасневшимся лицом, она прижала к груди коротко остриженную голову мужа. Жесткий ежик волос больно колол кожу, нос поручика был холодным, а дыхание — горячим. Рэйко отодвинулась и впилась взглядом в это мужественное лицо. Густые брови... Прикрытые веки... Крупный нос... Плотно сжатые красивые губы... Глянцево-синеватые после бритья щеки... Рэйко поцеловала милые черты. Потом — мощную шею, широкие плечи, выпуклую, словно заслоненную двумя щитками мускулов грудь. От подмышек, затененных могучими мышцами плеч и груди, шел сладковатый печальный запах, в котором странным образом ощущалось предчувствие смерти молодого тела. Кожа поручика отливала цветом спелой пшеницы, живот был прикрыт рельефным панцирем мускулатуры. Глядя на эту крепкую плоть, Рэйко представила ее искромсанной и растерзанной. Слезы ручьем хлынули из глаз, и она долго целовала живот мужа.

Почувствовав, что ему на кожу капают слезы, поручик обрел новое мужество, теперь он не сомневался, что вынесет любую муку.

Излишне рассказывать о том, какое блаженство испытали супруги после подобного прощания. Поручик сжал в могучих объятиях горько плачущую жену, лица обоих прильнули друг к другу с неистовой силой. Рэйко вся дрожала. Одно залитое потом тело слилось с другим, и, казалось, ничто уже не сможет их разъединить, они превратились в единое целое. Рэйко закричала. Она словно падала с огромной высоты в бездну, а потом, внезапно обретя крылья, вновь взмывала ввысь. Поручик задыхался, как полковой знаменосец на марше... Одна волна страсти сменялась другой, молодые супруги не ведали усталости в стремлении к новым и новым вершинам.

4

Когда поручик наконец оторвался от тела Рэйко, это не означало, что он насытился. Его вынудило остановиться опасение израсходовать силы, которые понадобятся для харакири. И еще ему не хотелось, чтобы последние прекрасные моменты их любви поблекли, размытые пресыщением.

Видя, что муж отодвинулся, Рэйко, как всегда, тут же подчинилась его воле. Обнаженные, они лежали на спине, держась за руки, и смотрели в темный потолок. Пот скоро высох, но жарко пылавшая печка не давала замерзнуть. Ночь была тиха, движение на улице уже прекратилось, а грохот поездов и трамваев от станции Ёцуя сюда не долетал, приглушенный парком дворца Акасака. Находясь в этом мирном уголке столицы, трудно было поверить, что где-то сейчас готовятся к бою две враждующие армейские группировки.

Супруги лежали неподвижно, наслаждаясь идущим изнутри теплом и заново переживая минуты райского блаженства: каждый миг, вкус каждого незабываемого поцелуя, соприкосновение тел, ощущение счастья, от которого замирало сердце. Но с темных досок потолка на них уже смотрело лицо смерти. Наслаждение кончилось и больше никогда к ним не вернется. И все же оба подумали: даже если бы им была суждена долгая жизнь, такого экстаза они никогда бы уже не испытали.

И их сплетенные пальцы — они тоже скоро разомкнутся. Не будет больше это-

го деревянного узора на потолке. Приближение смерти с каждым мигом ощущалось все явственнее. И времени больше не оставалось. Надо было собрать все мужество и самим шагнуть навстречу смерти.

— Ну что ж, пора готовиться,— нарушил молчание поручик. Слова были исполнены решимости, но никогда еще Рэйко не слышала, чтобы голос мужа звучал так ласково и мягко.

Они встали. Предстояло еще многое сделать.

Поручик ни разу не помогал жене убирать постель. Теперь же он сам быстро открыл шкаф и засунул туда скатанные футоны[1]. Он выключил печку, поставил на место лампу, и комната, еще днем убранная Рэйко, приобрела такой вид, будто семья ожидала какого-то важного гостя.

— Сколько тут было выпито,— вздохнул поручик.— С Кано, Хоммой, Ногути...

— Да, они любили застолье.

— Ничего, скоро мы с ними встретимся. Представляю, как они будут надо мной подшучивать, увидев, что я привел и тебя.

Прежде чем спуститься на первый этаж, поручик обернулся и окинул взглядом опрятную, ярко освещенную комнату. Перед его мысленным взором вновь предстали лица друзей, молодых офицеров, их шумные хмельные разговоры, наивное бахвальство. Не думал он во время тех веселых пирушек, что в один прекрасный день в этой самой комнате взрежет себе живот.

Сойдя по лестнице, супруги занялись приготовлениями. Поручик пошел в туалет, потом в ванную. Тем временем Рэйко аккуратно сложила купальный халат мужа и принесла в ванную его форму и новую накрахмаленную набедренную повязку. Положила на столик в малой гостиной листы бумаги для предсмертных писем и села натирать тушь. Для себя она уже решила, что́ напишет.

Пальцы Рэйко с силой терли палочку туши о золотые буквы тушечницы, и вода в ней мутнела и чернела. Рэйко запрещала себе думать о том, что ровные движения ее пальцев и монотонное шуршание служат одной цели — приблизить конец. Нет, это обычная работа по дому, средство провести время, оставшееся до встречи со смертью. Но податливость палочки, уже легко скользившей по тушечнице, усиливающийся запах туши — все это казалось ей невыразимо зловещим.

Из ванной вышел поручик, надевший мундир прямо на голое тело. Он молча сел, взял кисточку и нерешительно поглядел на чистый лист бумаги.

Рэйко отправилась переодеться в белое кимоно. Когда она, умывшись и слегка подкрасив лицо, вернулась в комнату, прощальное письмо поручика уже было написано.

«Да здравствует Императорская Армия!
Поручик Синдзи Такэяма»

Рэйко села напротив мужа и тоже стала писать. Поручик очень серьезно и внимательно смотрел, как белые пальцы жены выводят по бумаге иероглифы.

Затем он пристегнул саблю, Рэйко засунула за пояс кинжал, и супруги, держа в руках предсмертные письма, подошли к алтарю и склонились в безмолвной молитве.

Погасив свет на первом этаже, поручик стал подниматься наверх. На середине лестницы он обернулся и поразился красоте Рэйко — та, опустив глаза, следовала за ним из мрака в своем белоснежном наряде.

Письма положили рядом, в токонома[1] гостиной второго этажа. Поручик хотел снять со стены какэдзику[2], но передумал: там было выведено великое слово «Верность», и он решил, что их сват, генерал-лейтенант Одзэки, написавший эти иероглифы, извинит его, если до свитка долетят брызги крови.

Поручик сел на пол спиной к стене и положил саблю на колени. Рэйко опустилась на соседний татами[3]; поскольку она была в белом, алая помада на губах казалась ослепительно яркой.

Супруги сидели рядом и смотрели друг другу в глаза. Взглянув на саблю, что лежала поперек коленей мужа, Рэйко вспомнила их первую ночь, и грусть стала почти невыносимой. Тогда поручик произнес сдавленным голосом:

— У меня нет секунданта, поэтому резать буду глубоко. Наверно, зрелище будет не из приятных, но ты не пугайся. Любую смерть страшно наблюдать со стороны. Пусть это не лишит тебя мужества. Хорошо?

— Хорошо,— низко склонила голову Рэйко.

Глядя на стройную фигуру жены, облаченную в белые одежды, поручик вдруг почувствовал, что его охватывает странное хмельное возбуждение. Сейчас она увидит мужа в новом качестве, исполняющим свой воинский долг. Ибо ожидающая его смерть не менее почетна, чем гибель на поле брани. Он покажет жене, как вел бы себя в сражении.

На миг воображением поручика овладела захватывающая фантазия. Одинокая гибель в битве и самоубийство на глазах прекрасной супруги — он как бы готовился умереть в двух измерениях сразу, и это ощущение вознесло его на вершину блаженства. Вот оно, подлинное счастье, подумал он. Погибнуть под взглядом жены — все равно что умереть, вдыхая аромат свежего бриза. Ему выпала особая удача, досталась привилегия, недоступная никому другому. Белая, похожая на невесту, неподвижная фигура олицетворяла для поручика все то, ради чего он жил: Императора, Родину, Боевое Знамя. Все эти святые символы смотрели на него ясным взором жены.

Рэйко, наблюдая за готовящимся к смерти мужем, тоже думала, что вряд ли в мире существует зрелище более прекрасное. Мундир всегда шел поручику, но сейчас, когда он, сдвинув брови и сжав губы, смотрел в глаза смерти, лицо его обрело неповторимую мужественную красоту.

— Все, пора,— сказал поручик.

Рэйко низко, головой в пол, поклонилась

[1] Ватный тюфяк.

[1] Ниша в стене.

[2] Каллиграфическая надпись на продолговатой полосе бумаги или шелка.

[3] Соломенный мат стандартного размера, используемый для настила полов в японском доме.

ему. Куда-то вдруг ушли все силы — она никак не могла разогнуться. Плакать нельзя, сказала она себе, лицо накрашено. Но слезы текли сами.

Когда она наконец выпрямилась, то сквозь туманную пелену слез увидела, что муж, уже обнажив клинок, обматывает его белой тканью, чтобы осталось сантиметров двадцать голой стали.

Покончив с этим и положив саблю на пол, поручик скрестил ноги и расстегнул ворот мундира. На жену он больше не смотрел. Его пальцы расстегивали одну за другой плоские медные пуговицы. Обнажилась смуглая грудь, потом живот. Поручик снял ремень, спустил брюки — показалась ярко-белая ткань набедренной повязки. Он стянул ее пониже, еще больше открывая тело, и сжал в правой руке обмотанный белым клинок. Глаза поручика, не отрываясь, смотрели на голый живот, левой рукой он слегка поглаживал себя чуть ниже талии.

Забеспокоившись, достаточно ли остра сабля, офицер спустил брюки до половины и легонько полоснул себя по ноге. На коже вспыхнул красный рубец, кровь несколькими тоненькими ниточками побежала по бедру, посверкивая в ярком электрическом свете.

Рэйко впервые видела кровь мужа, у нее перехватило дыхание. Она взглянула ему в лицо. Поручик оценивающе осматривал разрез. Рэйко сразу стало спокойнее, хоть она и понимала, что это чувство облегчения ложное.

Тут поручик поднял глаза и впился в лицо жены жестким, ястребиным взглядом. Клинок он установил перед собой, а сам приподнялся, чтобы тело нависало над саблей. По тому, как напряглись мускулы плеч под кителем, было видно, что поручик собрал все силы. Он намеревался вонзить острие в левую нижнюю часть живота, как можно глубже. Яростный крик разорвал тишину комнаты.

Хотя поручик нанес удар сам, ему показалось, что кто-то другой проткнул его тело толстым железным прутом. В глазах потемнело, и на несколько мгновений он перестал понимать, что с ним происходит. Обнаженная сталь ушла в тело до самой ткани, кулак поручика, сжимавший клинок посередине, уперся в живот.

Сознание вернулось к нему. Клинок пронзил брюшную полость, это несомненно, подумал он. Дышать было трудно, грудь тяжело вздымалась, где-то очень далеко — не может быть, чтобы это происходило в его теле — родилась чудовищная боль, словно там раскололась земля и из трещины вырвалась огненная лава. Со страшной скоростью боль подкатывала все ближе и ближе. Поручик впился зубами в нижнюю губу, сдерживая крик.

Вот оно какое, харакири, подумал он. Будто на голову обрушился небесный свод, будто зашатался и перевернулся весь мир. Собственные воля и мужество, казавшиеся несокрушимыми до того, как клинок впился в тело, вытянулись тонкой стальной ниткой, и мысль о том, что надо изо всех сил держаться за эту нитку, наполнила душу поручика тревожной тоской. Кулак, державший саблю, весь вымок. Офицер увидел, что и рука, и белая ткань покрыты кровью. Набедренная повязка тоже стала ярко-алой. Странно, что, испытывая эту муку, я так ясно все вижу и что мир существует, как прежде, подумал он.

С того самого момента, когда поручик пропорол себе саблей низ живота и лицо его страшно побледнело, словно на него опустился белый занавес, Рэйко изо всех сил боролась с неудержимым порывом броситься к мужу. Делать этого нельзя, она должна сидеть и смотреть. Она — свидетель, такую обязанность возложил на нее супруг. Муж был совсем рядом, на соседнем татами, она отчетливо видела его искаженное лицо с закушенной губой, в нем читалось невыносимое страдание, но Рэйко не знала, как помочь любимому.

На лбу поручика блестели капли пота. Он зажмурил глаза, потом открыл их вновь. Взгляд его утратил всегдашнюю ясность и казался бессмысленным и пустым, словно у какого-то зверька.

Мучения мужа сияли ярче летнего солнцы, они не имели ничего общего с горем, раздиравшим душу Рэйко. Боль все росла, набирала силу. Поручик стал существом иного мира, вся суть его бытия сконцентрировалась в страдании, и Рэйко почудилось, что ее муж — пленник, заключенный в клетку боли, и рукой до него уже не достать. Ведь она сама боли не испытывала. Ее горе — это не физическая мука. У Рэйко возникло чувство, будто кто-то воздвиг между ней и мужем безжалостную стеклянную стену.

Со дня свадьбы весь смысл жизни Рэйко заключался в муже, каждый его вздох был ее вздохом, а сейчас он существовал отдельно от нее, в плену своего страдания, и она, охваченная скорбью, утратила почву под ногами.

Поручик попытался сделать разрез поперек живота, но сабля застряла во внутренностях, которые с мягким, упругим упорством не пускали клинок дальше. Он понял, что нужно вцепиться в сталь обеими руками и всадить ее в себя еще глубже. Так он и сделал. Клинок шел тяжелее, чем он ожидал, приходилось вкладывать в кисть правой руки все силы. Лезвие продвинулось сантиметров на десять.

Боль хлынула потоком, разливаясь шире и шире; казалось, живот гудит, как огромный колокол, нет, как тысяча колоколов, разрывающих все существо поручика при каждом ударе пульса, при каждом выдохе. Удерживать стоны было уже невозможно. Но вдруг поручик увидел, что клинок дошел до середины живота, и с удовлетворением ощутил новый приток мужества.

Кровь лилась все обильнее, хлестала из раны толчками. Пол вокруг стал красным, по брюкам защитного цвета стекали целые ручьи. Одна капля маленькой птичкой долетела до соседнего татами и заалела на подоле белоснежного кимоно Рэйко.

Когда поручик довел лезвие до правой стороны живота, клинок был уже совсем неглубоко, и скользкое от крови и жира острие почти вышло из раны. К горлу вдруг подступила тошнота, и поручик хрипло зарычал. От спазмов боль стала еще нестерпимей, края разреза разошлись, и оттуда полезли внутренности, будто живот

тоже рвало. Кишкам не было дела до мук своего хозяина, здоровые и блестящие, они жизнерадостно выскользнули на волю. Голова поручика упала, плечи тяжело вздымались, глаза сузились, превратившись в щелки, изо рта повисла нитка слюны. Золотом вспыхнули эполеты мундира.

Все вокруг было в крови, поручик сидел в красной луже; тело его обмякло, он опирался о пол рукой. По комнате распространилось зловоние — поручика продолжало рвать, его плечи беспрерывно сотрясались. Клинок, словно вытолкнутый из живота внутренностями, неподвижно застыл в безжизненной руке.

Вдруг офицер выпрямился. С чем сравнить это невероятное напряжение воли? От резкого движения откинутая назад голова громко ударилась затылком о стену. Рэйко, которая, оцепенев, смотрела только на ручеек крови, медленно подбиравшийся по полу к ее коленям, изумленно подняла глаза.

Увиденная ею маска была непохожа на живое человеческое лицо. Глаза ввалились, кожу покрыла мертвенная сухость, скулы и рот, когда-то такие красивые, приобрели цвет засохшей грязи. Правая рука поручика с видимым усилием подняла тяжелую саблю. Движение было замедленным и неуверенным, как у заводной куклы. Поручик пытался направить непослушное острие себе в горло. Рэйко сосредоточенно наблюдала, как ее муж совершает самый последний в своей жизни, невероятно трудный поступок. Раз за разом скользкий клинок, нацеленный в горло, попадал мимо. Силы поручика были на исходе. Острие тыкалось в жесткое шитье, в галуны. Крючок был расстегнут, но воротник все же прикрывал шею.

Рэйко не могла больше выносить это зрелище. Она хотела прийти на помощь мужу, но не было сил подняться. На четвереньках она подползла к нему по кровавой луже. Белое кимоно окрасилось в алый цвет. Оказавшись за спиной мужа, Рэйко раздвинула края ворота пошире — это все, чем она ему помогла. Наконец дрожащее острие попало в обнаженное горло. Рэйко показалось, что это она толкнула мужа вперед, но нет — поручик сам из последних сил рванулся навстречу клинку. Сталь пронзила шею насквозь и вышла под затылком. Брызнул фонтан крови, и поручик затих. Сзади из шеи торчала сталь, холодно отливая синим в ярком свете лампы.

5

Рэйко медленно спустилась по лестнице. Пропитавшиеся кровью таби[1] скользили по полу. На втором этаже воцарилась мертвая тишина.

Она зажгла внизу свет, завернула газовый кран и плеснула водой на тлеющие угли жаровни. Потом остановилась перед зеркалом в маленькой комнате и приподняла полы своего кимоно. Кровавые пятна покрывали белую ткань причудливыми разводами. Рэйко села на пол и задрожала, чувствуя, как подол, мокрый от крови мужа, холодит ей ноги. Долго она накладывала на лицо косметику. Покрыла щеки румянами, ярко подвела помадой губы. Грим предназначался уже не для любимого, а для мира, который она скоро оставит, поэтому в движении кисточки было нечто величавое. Когда Рэйко встала, на татами перед зеркалом остался кровавый след, но она даже не взглянула на него.

Затем молодая женщина зашла в ванную и наконец остановилась в прихожей. Вечером поручик запер входную дверь на ключ, готовясь к смерти. Некоторое время Рэйко размышляла над несложной дилеммой. Открыть замок или оставить закрытым? Если дом будет на запоре, соседи могут нескоро узнать о смерти молодой пары. Ей бы не хотелось, чтобы люди обнаружили их тела, когда они уже начнут разлагаться. Наверно, лучше отпереть... Рэйко повернула ключ и слегка приоткрыла дверь. В прихожую ворвался холодный ветер. Ночная улица была пустынна, над верхушками деревьев, что окружали особняк напротив, мерцали звезды.

Рэйко снова поднялась наверх. Кровь на таби успела засохнуть, и ноги больше не скользили. На середине лестницы в нос ей ударил резкий запах.

Поручик лежал в луже крови, уткнувшись лицом вниз. Острие сабли еще дальше вылезло из его шеи.

Рэйко спокойно пересекла залитую кровью комнату. Села на пол рядом с мертвым мужем и, нагнувшись, сбоку заглянула ему в лицо. Широко раскрытые глаза поручика завороженно смотрели в одну точку. Рэйко приподняла безжизненную голову, отерла рукавом окровавленное лицо и прилала к губам мужа прощальным поцелуем.

Быстро поднявшись, она открыла шкаф и достала оттуда белое покрывало и шнур. Покрывало она аккуратно, чтобы не помять кимоно, обернула вокруг пояса, а шнур туго затянула поверх. Рэйко села на пол в одном шаге от тела поручика. Вынула из-за пояса кинжал, посмотрела на светлую сталь и коснулась ее языком. Гладкий металл был чуть сладковат.

Молодая женщина не колебалась ни секунды. Она подумала о том, что мука, отгородившая от нее мужа, скоро станет и ее достоянием, что миг соединения с любимым в ином мире совсем близок, и в ее сердце была только радость. В искаженном страданием лице поручика она видела что-то необъяснимое, таинственное. Теперь она разгадает эту загадку. Рэйко показалось, что только сейчас она ощущает сладкую горечь Великого Смысла, в который верил муж. Если прежде она знала о вкусе этого сокровенного знания только от поручика, то ныне испытает его сама.

Рэйко приставила кинжал к горлу и надавила. Рана получилась совсем мелкой. К голове прилил жар, затряслись руки. Она резко рванула клинок в сторону. В рот изнутри хлынуло что-то горячее, все перед глазами окрасилось алым — это из раны ударила струя крови. Рэйко собрала все силы и вонзила кинжал в горло по самую рукоятку.

Перевод с японского Г. ЧХАРТИШВИЛИ

[1] Носки с твердой подошвой.

Мир Хорхе Луиса Борхеса

В. ЗЕМСКОВ

НЕЗРЯЧИЙ ПРОВИДЕЦ

Когда в июне 1986 года, аргентинской осенью, я оказался в Буэнос-Айресе, я испытал странное ощущение — конечно, скорее результат некоего психологического эффекта, нежели действия каких-то гравитаций,— как это, быть в другом полушарии, в «стране антиподов», как говорилось в старину, где ходят вниз головой и где все наоборот: зима — летом, осень — весной. Впрочем как знать, ведь я побывал в борхесовском, а значит, фантастическом Буэнос-Айресе и свидетельствую: в этом, если несколько переиначить саркастическое и хлесткое выражение аргентинцев, «нижнем этаже мира» я ощущал на себе давление верхней половины земного шара и чувствовал себя перелицованным. И это позволило мне понять Борхеса. Вернее, не то, что он писал, что уж здесь непонятного: ведь Борхес при всей его преданности фантастике был величайшим логиком и рационалистом литературы, а как он писал, его перелицовочный метод художественного мышления, столь аргентинский и столь латиноамериканский вообще, только доведенный у Борхеса, писателя «итогового» во всех его крайностях, до самого логического конца. Впрочем, об этом несколько позже...

Когда осенним июньским днем я оказался в Буэнос-Айресе, «вавилонский град» жил уже без Борхеса. Совсем незадолго до этого Хорхе Луис Борхес был похоронен в Швейцарии, куда, чувствуя близость смерти, он уехал из Аргентины, чтобы с математической точностью замкнуть сюжет своей жизни там, где в юности он читал свои первые книги. Борхес умер, что же осталось? Буэнос-Айрес, который придумал Борхес. Не случайно, когда Борхесу говорили, что он аргентинец, он обязательно уточнял: «Портеньо» (то есть житель этого парадоксального портового города, выстроенного «спиной» к океану и погруженного в созерцание самого себя). Что значит быть портеньо, можно понять двумя способами — побывав в Буэнос-Айресе и с сочувствием, «слушая глубоко», прочитав Борхеса. Но и в том и в другом случае выразить «чувство Буэнос-Айреса» почти невозможно. Да и как передать то, что нельзя пощупать руками, обязательно скатишься в тривиальности: ностальгия и тревога, агрессивность и сентиментальность, чувство поражения и отваги... Тривиально? Конечно, я просто перечисляю признаки «поэтики танго», без которой немыслим Буэнос-Айрес и которую возвел в ранг аргентинского стереотипа вслед за поэтом начала века Эваристо Каррьего именно Борхес, величайший космополит, корнями вросший в предместье своей провинциальной столицы.

Я говорю о танговой тональности, которой обволакивалось мое сознание, когда мы вместе с давним, с юности неразлучным другом Борхеса и его соавтором, писателем Адольфо Бьой Касаресом сидели в одном из столичных кафе и предавались танговому дурману. Бьой Касарес, считая, что мне, как иностранцу, надо непременно пояснить сразу самую суть, сказал: «Буэнос-Айрес — «город-призрак»; об Аргентине: «Безнадежная страна, здесь как нигде чувствуешь, что мир непоправим». Он перечислял традиционные комплексы так называемой философии «аргентинской сущности», своего рода варианта философии национальной экзистенции, которую

начинали в XIX веке великие аргентинцы Доминго Фаустино Сармьенто и Хосе Эрнандес, а в XX столетии, если говорить о собственном философском воплощении, создавали испанец Ортега-и-Гассет в ряде эссе об Аргентине и аргентинец Эсекьель Мартинес Эстрада (а за ними множество вариаций), а в поэзии и прозе — Борхес, Эрнесто Сабато и другие. Неуверенность, ранимость, постоянная позиция самозащиты, обороны, ожидания... Сармьенто писал: что же, как не фантастику, пробуждает в аргентинце то обстоятельство, что горизонт в пампе теряется в бесконечности, а оттуда грозят опасности. Когда пампу перепахали, возник иной горизонт — горизонт социальной опасности, откуда каждому исходит постоянная угроза...

Мы слушали танго, и я ощущал нас персонажами рассказа Борхеса «Юг» — там самым фантастическим способом совершенно случайный и посторонний человек, вроде меня, некий хранитель и читатель книг по фамилии Дальман оказывается перенесенным вдруг едва ли не в предыдущее столетие, в типичную ситуацию «танговой дуэли», о которой немало писал Борхес и в прозе и в стихах. И кончается это плохо...

Вот такая философия, такая история, начинающаяся в танго, этом, как говорил Сабато, «скромном предместье» аргентинской литературы, откуда, согласно местной литературоведческой легенде, словно из сломавшегося ядерного реактора, постоянно исходят метафизические токи аргентинской фантастики, ставшей крупнейшим явлением мировой культуры, в лице Борхеса прежде всего.

Неуверенность жизни в городе, где все друг другу чужие — социально, психологически, интеллектуально, эмоционально,— так тоже поясняют истоки этого чисто аргентинского комплекса, тоже родившегося в «вавилонском космополисе» Буэнос-Айреса, куда на протяжении XIX и XX веков, как в «нижний этаж мира», сбрасывала Европа свое население с полей, разоренных войнами и социальными катастрофами. И другая константа: «муравейник» Буэнос-Айреса был осмыслен писателями и философами как парафразированная по-аргентински всеобщая модель, как «эпицентр всеобщего катаклизма» (Эрнесто Сабато). Сюда, в «нижний этаж» культуры Запада, падали не только люди, но и самые тяжкие проблемы современности, чтобы быть «перелицованными» с аргентинской точки зрения.

Это особое ощущение жизни с наибольшей полнотой передал Борхес, превративший опыт аргентинский во всеобщий. Всемирность — это принципиальная, если позволить парадокс, чисто локально-местечковая черта аргентинской культуры, которая определяет ее «осанку» среди прочих литератур мира. Быть аргентинцем — значит принять на себя бремя всех проблем мира. Так ощущали себя в мире «модельные» аргентинцы, Хулио Кортасар или Эрнесто Че Гевара. И тот и другой могли бы сказать вслед за Борхесом: «У меня много родин, и я люблю каждую». И такое высказывание Борхеса: «немец — это немец, англичанин — это англичанин, итальянец — это итальянец, француз — это француз, а европеец — это я» могли бы повторить многие крупнейшие деятели культуры Латинской Америки. В свое время, когда Борхес произнес речь на тему «Аргентинский писатель и традиция», где заявил, что аргентинская традиция — это вся западная культура, поднялся большой шум. Борхеса обвиняли в космополитизме, в отсутствии патриотизма, а ведь он, в сущности, говорил то же, что, каждый по-своему, говорили все великие творцы литературы Латинской Америки, начиная с Марти и Дарио и кончая Нерудой, Карпентьером и Гарсиа Маркесом. Каждый из них в своем творчестве по-своему утверждал, что латиноамериканская традиция — это всемирная культура, «перелицованная», то есть передуманная, претворенная с латиноамериканской точки зрения. Эта общая черта латиноамериканских писателей могла выступать под разными мировоззренческими знаками, как, скажем, у Неруды под одним, у Борхеса под другим, но всегда самые далекие писатели сходились на более высоком уровне, в сфере самосознания культуры, в наши «итоговые» времена принявшей на себя, просто в силу своей истории как последнего (по хронологии) «выплеска» «палеозападной» культуры, все коренные и тяжкие вопросы истории человеческого духа.

Если говорить о самых характерных, «модельных» художниках Латинской Америки XX века, это, конечно, Неруда и Борхес. Чрезмерность Неруды — его родовая черта, совершенно родственная чрезмерности Борхеса, только знаки у них противоположные. «Всеобщая песнь надежды» (позволим себе перефразировать название известной поэмы Неруды) и «Всеобщая история бесчестья» Борхеса (1935) — это антиподы и полюса, сходящиеся в своей противоположности.

Навыкате, обманчиво сонные глаза Неруды были бессонными насосами, безостановочно выкачивавшими энергию и силу бытия, чтобы, поглотив их, воспеть эпос истории человечества, которое, одолевая пропасти, стремится к свету. «Света, больше света!»— это предсмертное гётевское заклинание словно звучало в час смерти Неруды.

«Тьмы! Больше тьмы!»— словно звучало перед смертью Борхеса, переходившего из «светящегося облака» слепой тьмы в окончательную тьму небытия.

Но как известно, света не бывает без тьмы, а тьмы — без света, и на уровне ценностей человеческой культуры нам равно ценны и «эпос света», и «эпос тьмы». Неруда смотрел в текущее, прозревая в нем вечное, а Борхес выводил текущее из рамок эмпирии в область вечных смыслов. Благословенный свет Неруды. И благословенная тьма Борхеса, автора «Хвалы тьме» (1968) и «Истории ночи» (1977)...

Как-то Борхес сказал, что стал терять зрение как раз в тот момент, когда начал *видеть*. Можно не сомневаться в неслучайности этой фразы. Реальная утрата зрения стала «метафорой» фактически изначальной творческой позиции Борхеса: закрыть глаза, чтобы увидеть, отвернуться от мира, чтобы понять его.

Что же увидел Борхес, отвернувшись к «другой стороне» бытия? «Светящееся облако» слепоты вспыхнуло ослепительным светом «вавилонской библиотеки». Книги, которые Борхес читал и хранил долгие годы, будучи директором Национальной библиотеки Буэнос-Айреса,— это и есть его биография, его единственная реальность. Известна его замечательная фраза: «Рай — это библиотека». Вам не нравится такой рай? Ну что ж, значит, вам не нравятся книги, а тут уж, как говорится, каждому свое...

Вся творческая биография Борхеса — это нескончаемое путешествие по истории культуры и памятникам, написанным с древности и до наших дней, но путешествие не туристическое, а для извлечения смыслов и их «перелицовывания», исходя из опыта жизни в «эпицентре всеобщего катаклизма», который к концу века обретал всеобщий размах и поставил неотложный вопрос о его исходе. Борхес не оптимист, он самый яростный враг всякого утопизма. Все, что извлечено из канувших в Лету теологических и философских систем, четкими силлогизмами подтверждает у него ряд «изначальных истин», известных со времен Библии: жизнь есть сон, время — змея, поедающая себя с хвоста, история — мифическое колесо, а человек — песчинка, затерявшаяся в бесчисленных лабиринтах времени, где бродят его когда-то жившие двойники и звучат когда-то сказанные слова. Человек — безнадежно заблудившийся в туннелях тысячелетий странник, напрасно ищущий выхода к свету, ибо ему суждено возвращаться во тьму, к исходной точке.

Вам не нравится такая философия? Ваше право. У Вас есть какой-нибудь рецепт, вы знаете Путеводитель, вы его создали? Предъявите, покажите, мы так рады Вам поверить!

«Борхес, что такое будущее?»— спрашивает его репортер. Борхес отвечает: «Ничего нового. Я думаю, что все уже предопределено раньше». Форма религиозности? Нет, потому что, по мнению Борхеса, «бог — это самый рафинированный продукт фантастической литературы». Нет у Борхеса упования на сознательную потустороннюю силу, не подлежащую разгадке. Сабато в свое время назвал Борхеса шахматистом. По-шахматному четкие партии с литературными героями и сюжетами, как бы извлеченными из универсального учебника «всемирной игры», которые разыгрывает Борхес на доске времени, приводят к одному и тому же итогу: бытие — шарада, ее построение в принципе можно разгадать, но...

В критике не раз говорилось, что Борхес — агностик, но если это и так, то агностик он своеобразный. Классический агностицизм исходит из идеи принципиальной непознаваемости бытия, у Борхеса звучит иное: принцип понять можно, но вот выиграть партию невозможно. Вы не согласны? Попробуйте выиграть, мы провозгласим вас Чемпионом...

Не в том ли секрет актуальности Борхеса, завораживающей магии его рассказов, что он бросает вызов человеку, апеллирует к самым чувствительным точкам его сознания, ставя перед ним, в сущности, важнейший, коренной вопрос, связанный с духовной проблематикой кризисного и «вершинного» XX века: способны ли человек, человечество «обуздать» историю, выйти из кругового туннеля времени, «выиграть» партию с ним, способны ли они «дурному» повтору противопоставить новый виток развития?

Что же отвечает Борхес? Да ничего. Он только задает вопрос, а это уже много. Не в том ли причина воздействия рассказов Борхеса, что им присуща способность, наподобие шоковой терапии, выбивать сознание из инерции, удобной комфортности сиюминутного благополучия, из наивной веры, что тот Путеводитель, который тебе дали, единственный и верный, и заставлять активизировать свои ресурсы в поисках ответа на вопросы, от которых зависит будущее?

Если говорить о значении Борхеса для латиноамериканской литературы, можно утверждать, опираясь на то, что говорили о нем и те, кто его боготворил, и те, кто его недолюбливал, отвергал, ниспровергал, но, как и поклонники, упорно читал: он был первым, кто наотмашь ударил по бескрылому «плоскостному» позитивистско-натуралистическому сознанию, которое считало себя хранителем патента верного Путеводителя, и научил испаноязычную прозу говорить на языке современной философии. Он открыл для своей литературы принцип «творческого релятивизма» мира, и без него не родились бы ни Кортасар, ни Гарсиа Маркес. Если же говорить о его значении в контексте современной мировой культуры, то фактически он поднял современную прозу на уровень современного научно-философского мышления, космической эпохи. Созданное им не отменяет, разумеется, никаких иных путей и никаких иных стилей, но ориентиром в определенном смысле он теперь будет всегда — разумеется, для тех, кто заходит в этот «Рай» — в библиотеку, чтобы задуматься о Пути...

Кто же он, Борхес? Это — персонаж Гарсиа Маркеса из «Ста лет одиночества». Помните того последнего Аурелиано Бабилонью (то есть Вавилонского), который, запершись в «горшечной комнате», во тьме одиночества расшифровывал пергаменты Мелькиадеса, где сокрыт ключ к судьбе рода Буэндиа? Он приглашает всех заняться этими пергаментами — может, кто-то сумеет вычитать там нечто иное... Таков вызов, брошенный нам Борхесом...

Мы возвращались с Адольфо Бьой Касаресом из кафе, сухощавый, изящный старик твердой рукой держал меня под руку и импровизировал фантастический рассказ, видимо, в духе тех, что в свое время он сочинял с Борхесом. «Ты,— говорил Бьой,— спал у себя в Москве, на своей постели, и тебе снился сон, что ты сидишь в кафе в Буэнос-Айресе с Бьой Касаресом, другом Борхеса, и говоришь с ним о танго, о Буэнос-Айресе, о Борхесе. Но вот прозвонил будильник судьбы, и ты проснулся — за окном Москва, а в кармане брюк ...смятый счет из аргентинского кафе, выписанный на имя хранителя и читателя книг Дальмана...»

Был я в Буэнос-Айресе или не был?

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

«МОЯ ЖИЗНЬ СЛУЖИТ ЛИТЕРАТУРЕ»

Из интервью разных лет[1]

Вопрос: Сеньор Борхес, поговорим о вашей жизни. Каким вы были в детстве? Непоседой, шалуном?

Ответ: Нет, нет. Я был читателем, в какой-то мере — писателем, хотя и не писал. Мне кажется, что я не изменился, остался таким же. И даже читаю тех же авторов. Я всегда смотрю на себя как на читателя. Всегда знал, что моя судьба будет связана с литературой. Конечно, было бы лучше, если бы я стал только читателем, а не писателем. Но... (Улыбается.) Иногда обстоятельства вынуждают человека делаться писателем.

Вопрос: В каком возрасте вы научились читать?

Ответ: Не помню. Если бы мне сказали, что читать и писать — врожденные свойства, я бы поверил. У меня сейчас такое впечатление, что я всегда читал, всегда писал, всегда знал испанский и английский... Но конечно, это неправда: конечно, я сначала кое-как лепетал на этих языках, долго запинался, учась говорить.

Вопрос: У вас было много товарищей?

Ответ: Нет, нет...

Вопрос: Вы были замкнутым ребенком?

Ответ: Да, довольно замкнутым. У меня были один или два приятеля. Я всегда был одинок. Наверное, и из-за застенчивости тоже. Я чувствую себя несчастным, когда попадаю в общество, скажем, более полудюжины человек. А вот сейчас — когда нас с вами только двое — мне очень уютно. Вне всякого сомнения, я не человек толпы. И никогда не смог бы стать политиком. Да и не хотел бы...

Вопрос: Почему, когда вам было пятнадцать лет, вы уехали в Женеву?

Ответ: Да потому, что мой отец хотел жить в городе, где бы его абсолютно никто не знал. И кроме того, ему на глаза попалась однажды фотография... На этой фотографии, если не ошибаюсь, была запечатлена Рона, был виден старый город, Альпы... Отец сказал: «Здесь я буду гулять». И мы решили ехать в Швейцарию. Большая удача для меня! Ведь, хотя я и портеньо, я столь же женевец, сколь и портеньо, столь же житель Монтевидео, сколь портеньо... Столь же техасец, сколь портеньо... У меня много родин, и я люблю каждую. И Рим, конечно. Ведь все мы — граждане Рима. А еще раньше мы — греки. Я надеюсь продолжать пополнять свою коллекцию родин и способен любить их все. Не думая ни о... геополитике. Ни о географических картах. (Улыбается.)

Вопрос: Время, проведенное в Женеве, оставило след в вашей жизни, не правда ли?

Ответ: Это были годы юности, прекраснейшие годы. И была дружба. И учеба. В Женеве я заканчивал среднюю школу, и это дало мне французский язык. А стало быть, дало Верлена и Гюго. И Монтеня, конечно же. И латынь. Латынь, забытую сегодня латынь; какое это чудо. Мне кажется, все мы чувствуем ностальгию по латыни... Затем я выучил немецкий: это была моя личная победа, хотя и не слишком блестящая...

Вопрос: Итак, сегодня мы говорим о вашей личной жизни.

Ответ: Не знаю, есть ли у меня личная жизнь. Впрочем, думаю, все-таки есть. Но моя жизнь служит литературе. В противном случае, разве была бы она кому-нибудь интересна? Она имела бы значение только для меня, вот и все. И незачем было бы выносить ее на всеобщее обозрение. Но когда дело касается писателя, все, что с ним происходит, может стать творческим стимулом... Даже если он сразу этого и не понимает, не осознает... По словам Малларме: «Все попадает в книгу». Об этом же более красиво сказал в «Одиссее» Гомер (или те греки, которых мы называем Гомером): «Боги замышляют для людей несчастья, чтобы будущим поколениям было о чем петь». То есть он считал, что цель у жизни — эстетическая, что жизнь работает на поэзию...

Вопрос: Верите ли вы в Бога?

Ответ: Я пытался стать верующим, но мне это не удалось. Я не верю в человекоподобного Бога, не могу. Моя мать была верующей, но в доме у нас все было очень странно. Одна моя бабка была американкой, дочерью пасторов-методистов. Она знала Библию наизусть. Могла продекламировать любой отрывок, сказать, откуда это, назвать главу. Знала она и Песнь Песней, и Книгу Царств, и много чего еще. Другая моя бабка была католичкой, но католичкой довольно поверхностной. Мать моя была глубоко верующей, а отец — агностиком. В такой обстановке я и вырос. И все мы друг друга очень любили, между нами никогда не возникало никаких разногласий.

Вопрос: Как прошли для вас последние годы правления военной хунты?

Ответ: Я пользовался определенной безнаказанностью: считаясь с некоторой моей известностью, мне разрешали говорить то, что я хотел. Я этим пользовался как настоящий аргентинец.

[1] «Триунфо», 1978, 7 апреля; «Импакто», 1982, 8 сентября; «Эль Паис», 1983, 3 июля; 1985, 2 июня; 1986, 19 июня; «Камбио 16», 1984, № 670; «Интервью», 1985, № 464; «Пресенсиа», 1985, 3 ноября; 1986, 5 июля; «Сиемпре», 1985, 18 декабря; «Эль Диа», 1986, 2 августа; «Ла Пренса», 1986, 3 августа. Из кн.: Борхес Х. Л. Семь вечеров. Мехико, 1982; Каррисо А. Борхес всепомнящий. Мехико, 1983; Васкес М. Э. Борхес, его дни и время. Мехико, 1985. (Здесь и далее — *прим. перев.)*

Вопрос: Говорят, вы больше молчали, чем протестовали.

Ответ: Пусть говорят. Моя жизнь связана только с литературой, хотя и литература мне не слишком нравится. Я полностью согласен с теми, кто меня критикует. Но я никогда не скрывал, что виновниками всех ужасов, обрушившихся на мою страну — пыток, похищений, убийств — считаю именно военных. А вообще я — независимый анархист, индивидуалист, и мне отвратительно любое насилие, будь то камень Каина или ядерное оружие.

Вопрос: Хочу задать вам довольно щекотливый вопрос. Однажды вы получили награду от Пиночета, и все осуждали вас за то, что вы согласились принять ее. Почему вы это сделали?

Ответ: Это не была награда. Меня сделали доктором гонорис кауза университета в Сантьяго-де-Чили, президент пригласил меня к себе, и я не мог, находясь там, отклонить его приглашение.

Вопрос: С какой целью он вас пригласил?

Ответ: На обед. Но я отправился получать почетный докторский диплом, и ничего более.

Вопрос: Вам это многие ставили в вину.

Ответ: Разумеется, я поступил неправильно. Я знал, что ставлю на карту Нобелевскую премию, но мне подумалось: какой абсурд — судить о писателе по его политическим взглядам. Кроме того, признаюсь, в тот момент я ошибался, я не понял, что речь шла не о политических мотивах, а о мотивах этических. Недавно, например, я получил приглашение из Парагвая и не принял его; раз я не поддерживаю аргентинских военных, почему я должен поддерживать парагвайских? К тому же, люди не понимают простой вещи — у военного нет ни знаний, ни способностей для управления государством. Это абсурд, это все равно как если бы правительство оказалось в руках дантистов, или водолазов, или писателей. Писателям нет необходимости знать, как надо управлять страной, для этого есть политики, которые готовились к этому всю жизнь. Но военных это не волнует. Возможно, потому, что они живут в искусственном мире приказов, слепого подчинения, арестов... Живут вне реальности.

«Теперь, наконец, я пишу просто...»

Я не могу творить персонажей, как это делает Диккенс. Единственный мой персонаж — я сам. О своих произведениях я бы сказал, что они глубоко личные; и я убежден, что только личное имеет эстетическую силу. И даже когда я создаю нечто фантастическое, вне географии, вне истории — в той мере, в какой можно от них отойти,— я не ухожу от себя, я рассказываю о личном...

Заглядывая в свою первую книгу «Жар Буэнос-Айреса»[2], я думаю, что каким-то образом в ней содержится все написанное мной позднее. Этой книгой все уже было заранее предопределено, только спрятано между строк. И лишь сейчас я это вижу. Книга была как бы провозвестницей будущего. А вот другие свои книги я стараюсь не перечитывать — они ведь не имеют со мной ничего общего. А в той, первой, было счастье — не знаю, радостного ли, меланхолического ли — удивления перед всем сущим, было самовопрошение, а что мы еще можем делать, если не вопрошать?

В молодости, возможно из-за робости, я увлекался барокко, искал бьющие в цель метафоры, хотел, чтобы каждое прилагательное становилось для читателя неожиданностью... Одно время, например, я считал, что должен писать, как классик XVII века, писать на испанском и как будто бы по-латыни. Потом я решил, что обязан быть креолом, и даже купил словарь аргентинизмов. Получилось нечто совершенно искусственное. Сейчас, наоборот, я стараюсь писать как можно проще. Иногда я могу вставить в текст местное слово, но специально его не ищу, это слова, которыми я пользуюсь в обычной речи. Теперь, наконец, я пишу просто, отваживаюсь на это. Раньше было не так, мне приходилось маскировать свои мысли (если, конечно, они у меня были). Теперь — нет, думаю, что нет. Я стараюсь обходиться минимумом слов, избегаю слишком очевидных литературных уловок. Я стараюсь как можно меньше вмешиваться в свои произведения. Не хочу, чтобы по книге читатель мог догадываться об обстоятельствах моей жизни в определенный момент.

Когда я был молод, я занимался литературной теорией: теперь у меня теории нет. Каждая тема диктует мне собственную теорию. Есть темы, которые хотят быть написанными в стихах; одни требуют классического стиха, другие — свободного, а некоторые предпочитают прозу. Лучше всего, чтобы выбирал не автор, а тема.

Думаю, поэзия рождается прежде всего из боли, а радость замыкается на себе... Вот Уолт Уитмен старается быть веселым, а заметно, что он очень несчастлив. Как правило, материал и инструмент, необходимые поэту,— это боль и страдание.

Памяти нужны факты. Потом она их, естественно, пересоздает. Но чтобы вспоминать, надо, чтобы сначала что-то произошло. Несомненно, если бы человек обладал большей восприимчивостью, в его памяти запечатлевалось бы каждое мгновение. Для настоящего поэта каждый миг поэтичен. Но, к несчастью, живем-то мы иначе: немного слепые, немного глухие, и каждое мгновение ускользает от нас. Но ведь мгновения драгоценны, иначе они бы не существовали. Ведь ни один атом не похож на другие. И мы сами — каждый человек прекрасен тем, что уникален. Это истина, но люди начинают сознавать ее, лишь когда влюбляются. Уверен, что мы должны учиться быть более восприимчивыми по отношению к миру. Не представляю себе поэзии без страсти. Несомненно,

[2] Сборник стихов Х. Л. Борхеса (1923).

поэзия — это разновидность символической алгебры, но если за символами не стоит страсть, поэзии нет, есть голая игра. Еще я думаю что поэзия необходима. Правительства, границы... все это может исчезнуть, а вот потребность, голод, жажда поэзии — никогда. Пусть мы постоянно пишем все те же стихи и повторяем все те же сюжеты но наши штрихи никогда не совпадают полностью, и по этим штрихам как раз и распознаются разные эпохи... Идеи остаются теми же, сюжеты идентичными но с легкими и отчетливыми, обязательными изменениями... Каждая эпоха должна создать все заново. Читатель тоже меняется. А значит, меняется и произведение.

Поэзия — это встреча читателя с книгой, открытие книги. Есть и иной эстетический подход: поэзия — это миг, тоже удивительнейший, когда у поэта зарождается книга, когда он открывает произведение. Как известно, по-латыни «придумать» и «открыть» — синонимы. Все это согласуется с учением Платона. Он утверждает, что придумать, открыть — означает вспомнить. Фрэнсис Бэкон добавляет: если допустить, что «научиться» означает вспомнить, то «не знать» будет означать уметь забывать; вот и все, нам остается только увидеть это.

Когда я что-нибудь пишу, у меня возникает ощущение, что это «что-нибудь» существовало и раньше. Я иду от общего, приблизительного замысла; вижу более или менее ясно начало и конец, а затем понемногу открываю то, что будет в середине. Но у меня нет ощущения, что я что-то придумываю, что что-то может зависеть от моей свободной воли. Все уже определено. Определено, но скрыто от нас. И мой долг поэта — найти, раскрыть это...

Когда мы читаем хорошее стихотворение, нам кажется, что мы тоже могли бы написать его, что это стихотворение уже жило в нас. Так мы подошли к определению, данному поэзии Платоном — «нечто легкое, летящее и священное». Определение это, конечно, уязвимо: ведь «легкой, летящей и священной» может быть и музыка (если не считать, что поэзия — тоже род музыки). Но Платон не просто дал определение поэзии, он пошел дальше: предложил нам образец поэзии. И подвел нас к мысли о том, что поэзия — это эстетический опыт, что явилось почти революцией в учении о поэзии.

Когда я преподавал английскую литературу на факультете философии и литературы университета в Буэнос-Айресе, то старался, насколько возможно, уйти от истории литературы. Если мои ученики просили библиографию, я отвечал им: «Библиография не имеет абсолютно никакого значения, в конце концов, Шекспир ничего не знал о шекспировской библиографии. Джонсон не мог предвидеть, какие книги о нем напишут. Почему вы не изучаете сами тексты? Если произведение вам нравится — хорошо, если же нет — оставьте его; ведь идея принудительного чтения — абсурдная идея: это все равно что говорить о принудительном счастье. Думаю, что поэзия должна восприниматься только чувством. И если вы не чувствуете поэзии, если у вас нет чувства прекрасного, если рассказ не вызывает у вас потребности узнать, что произойдет потом,— этот автор писал не для вас. Отложите его в сторону, ведь литература достаточно богата, чтобы предложить вам другого писателя или поэта, достойного вашего внимания или недостойного вашего внимания сегодня, но которого вы прочтете завтра...»

Надеюсь, что я никогда не учил поэзии, никогда не учил любить то или иное произведение: я учил моих студентов любить литературу, видеть в литературе род счастья.

Мне кажется, нет поэта, который не написал бы однажды самое прекрасное в мире стихотворение. И тогда он на миг становился Шекспиром. Разумеется, только на миг. А потом он снова превращался... ну, хотя бы в какого-то там Хорхе Луиса Борхеса..

В о п р о с: Сеньор Борхес, что вы ответили бы тем, кто утверждает, что в ваших произведениях есть лишь эрудиция, обширные познания?

О т в е т: Ответил бы, что, возможно, они правы. Но я всегда верил, что в них было и нечто иное. Верил, что в них были люди, улицы, сумерки...

В о п р о с: Почему вы не пишете романов? Какова основная разница между романом и рассказом?

О т в е т: Я не пишу романов, потому что, как мне кажется, мне не дано писать их. Для меня суть романа состоит прежде всего в изображении людей, а суть рассказа — в пересказе историй, изложении событий. И себя я считаю более способным создавать истории, нежели людей.

Последние дни я пишу рассказ о Сегизмундо, герое пьесы «Жизнь есть сон». Давайте посмотрим, как он у меня рождается... Идея пришла мне в голову недавно ночью. Я проснулся: было около четырех часов утра, спать я уже не мог. И я подумал: надо бы извлечь пользу из бессонницы, а? И вдруг мне вспомнился отрывок из Кальдерона, которого я читал лет пятнадцать назад. И я сказал себе: «Из этого может выйти рассказ». Он будет походить, хоть и не очень, на «Жизнь есть сон». А чтобы было понятно, что к чему, я назову его «Монолог Сегизмундо». Монолог, в достаточной мере измененный, разумеется. Надеюсь, получится хороший рассказ.

«..мы ищем, зная, что никогда не найдем»

Интеллектуальный инстинкт проявляется в том, что мы ищем, зная, что никогда не найдем. Кажется, Лессинг сказал: если бы Бог дал ему знать, что в правой руке у него истина, а в левой — поиск истины, Лессинг захотел бы получить то, что находится в левой руке; то есть — поиск истины, а не саму истину. И это естест-

венно; поиск предполагает бесконечные гипотезы, а истина — одна-единственная. И она не удовлетворит разум, ибо одно из его главных свойств — любопытство...

Искать интересно. Я много раз думал, что, если бы мы точно знали, что происходит после смерти, почти вся человеческая поэзия утратила бы свою силу. Счастье, что мы этого не знаем. Наше неведение позволяет многое домысливать, выдумывать. Скажем, если бы мы точно знали, что происходит после смерти, чем бы был для нас фантастический роман под названием «Божественная комедия»? Так вот, тогда он, наверное, так и остался бы только фантастическим романом. В то время как сейчас... Ведь мы допускаем возможность существования ада, чистилища, рая, а?

...Было бы очень странно, если бы мы могли понять истину. В одном моем рассказе, или в чем-то вроде рассказа, я говорю об этом. Я перечитывал «Божественную комедию», и вы, наверное, помните: в первой песни Данте встречается с двумя или тремя животными, среди них леопард. Позднее в примечаниях издатель напишет, что такого-то числа во Флоренцию привезли леопарда, и Данте скорее всего, как и весь город, вся Флоренция, видел этого леопарда, и именно поэтому он поместил его в первую песнь «Ада». И вот мне представляется, что этому леопарду во сне открывается, что он был создан, дабы Данте его увидел и использовал в своей поэме. Леопард во сне это понимает, но когда просыпается, естественно — как ему понять, что он существует лишь для того, чтобы невесть кто сочинил поэму. А затем я говорю, что, если бы самому Данте открылось, почему он написал «Комедию», во сне он еще смог бы это понять, но проснувшись — нет. И для него причина была бы столь же сложна, как для леопарда.

«Лабиринты, тигры, кинжалы...»

Лишь прожив столько лет, я научился приручать свои кошмары. Например, постоянно возвращающийся кошмар — кошмар лабиринта: я нахожусь в какой-то комнате, хочу из нее выйти, мне это удается, и я оказываюсь в другой комнате, точно такой же, как и первая. Тогда я говорю себе. «А, ну вот, конечно, это кошмар в лабиринте». И я уже знаю, что мне нужно сделать: вытянуться на полу и постараться прикоснуться к стене. И так как стена находится, скажем, слева от меня, я протягиваю руку — на самом деле я ее не протягиваю. мне снится, что я ее протягиваю,— и тогда мне иногда снится, что я просыпаюсь в своей комнате, но нет, это опять часть сна, потому что и эта комната снова сообщается с другой, совершенно такой же... То же самое происходит с зеркалами и другими, довольно часто встречающимися у меня символами. Некоторые обвиняют меня в том, что я повторяюсь, что у меня много тигров... Но если бы я заменил тигра на пантеру, а? Любой читатель знал бы, что речь идет все о том же тигре, только замаскированном под пантеру...

В детстве меня водили в зоопарк, и, как только я там оказывался, я часами, застыв, стоял перед клеткой тигра. Я не хотел смотреть на других животных. Я наблюдал, как тигр ходит по клетке из конца в конец, пока мне не говорили, что зоопарк закрывается и пора уходить. Все книги и энциклопедии, которые были у моего отца, я оценивал по тому, сколько изображений тигров в них имеется. Позднее я натолкнулся на другую картинку и обычно смотрел на нее, пока мне не становилось страшно,— это был сфинкс. У отца был словарь с большим изображением сфинкса. Играя, я с напряженной смесью страха и желания перелистывал страницы, чтобы как бы случайно обнаружить его.

Я очень устал от лабиринтов, тигров, зеркал... Особенно когда их используют другие. Но в этом и преимущество: когда имеешь подражателей, получается, что множество людей делает то же, что и ты, и теперь тебе нет необходимости этим заниматься.

«Надо предоставить право решать — времени...»

Когда я смотрю на эту кипу бумаг — мое Полное собрание сочинений, которое, кроме всего прочего, еще и не полное, я физически испытываю стыд за то, что столько написал... Я считаю себя очень ленивым человеком, однако моя лень породила вот этот огромный том. Но было бы очень странно, если среди стольких страниц не нашлось бы, не говорю уж одной хорошей страницы, но хотя бы одного хорошего сюжета, одной фразы, может, одного хорошего стихотворения. Не целой поэмы, это было бы слишком; но было бы очень страшно, если бы не было хоть одной строки, заслуживающей снисхождения.

Я полагаю, что по сути своей Собрания сочинений, как правило, нелепость. Я нахожу более естественным то, что делалось прежде: надо предоставить право решать времени, оно лучший составитель антологий, как мне представляется.

Нобелевская премия

Вопрос: Сеньор Борхес, Вы много раз стояли на пороге Нобелевской премии, но так его и не перешагнули. Вас это волнует?

Ответ: Ну, сна я от этого не лишаюсь. Если бы мне дали эту премию, я бы принял ее с удовольствием, но не более того. Они должны знать, почему всегда оставляли меня за порогом.

Вопрос: Почему?

Ответ: Вероятно потому, что шведы — люди очень разумные и понимают, что я этой премии недостоин. Наверное, было бы смешно, если бы я ее получил. Другие ее заслуживают, несомненно, больше. К тому же премий и почестей мне не занимать: доктор гонорис кауза почти всех универ-

ситетов мира, кроме, разумеется, университета Буэнос-Айреса, который пока не обратил на меня внимания.

Вопрос: Каково Ваше мнение о Нобелевской премии?

Ответ: Думаю, что в настоящее время господа из Шведской академии проводят иную, нежели прежде, политику. Прежде они подтверждали признанное, теперь — открывают новое. И мне кажется, это хорошо.

Вопрос: Сеньор Борхес, если бы Вы были Шведской академией наук, кому бы вы дали Нобелевскую премию?

Ответ: Уж конечно не Борхесу! Дал бы ее человеку, чьим главным достоинством было бы то, что он — не я. Но не дал бы я ее и Рабиндранату Тагору или... Габриэле Мистраль.

Вопрос: А кому из современных писателей вы бы ее присудили?

Ответ: Я ведь известный националист, не так ли? Я бы дал ее... Адольфо Бьой Касаресу[3], Сильвии Окампо[4], Мануэлю Мухике Лайнесу[5]. (Улыбается.)

Вопрос: А если бы Вы могли лишить кого-то Нобелевской премии, у кого бы вы ее отобрали?

Ответ: Это труднее. Достаточно представить себя на месте того, другого, и ничего уже не получится.

Вопрос: Назовите великого лауреата Нобелевской премии.

Ответ: Их много, много! Бернард Шоу, Уильям Фолкнер, Бертран Рассел, Андре Жид — или он не получил ее?[6]

Вопрос: Не помню. Не получил ее и Мачадо. И Валери.

Ответ: Вообще-то, Мачадо много выше Валери. Валери, мне кажется,— французский предрассудок. Так же, как Габриэла Мистраль — предрассудок чилийский.

Вопрос: Толстой?

Ответ: Великий писатель, конечно. И как я думаю, превосходящий Достоевского.

Вопрос: Ибсен? Джойс тоже не имел Нобелевской премии. И Пруст.

Ответ: Я не большой почитатель Пруста. Знаю, что рискую предстать в весьма невыгодном свете, признаваясь в этом, но... если книга требует от читателя усилия... Роман не должен требовать от читателя усилий.

Вопрос: Кого из романистов вы назвали бы лучшим?

Ответ: Джозефа Конрада. Нет и не может быть сомнения.

Вопрос: А теперь — поэта.

Ответ: Поэта? Да, если так, сразу... я бы поколебался между Вергилием... Шекспиром... Верленом... Почему бы и не Верлен? Ведь Верлен, вся его суть,— в поэзии. А вот Вергилий — совсем другое дело. Вергилий написал длинный эпический роман, эпопею — «Энеиду». Шекспир? Сам Шекспир — меньше Шекспир, чем Макбет, или чем Парки, или чем леди Макбет, или чем Гамлет... А вот Верлен — просто поэт. Просто... Черт побери! Разве этого мало?

«Каковы ваши литературные пристрастия?»

Книга, которую я постоянно читаю,— вторая часть «Дон Кихота», и она кажется мне много лучше, чем первая, вопреки тому, что сказал по этому поводу Сервантес. В первой части Алонсо Кихано — который хочет быть Дон Кихотом — для всех чужой, люди встречают его побоями и оскорблениями. А вот во второй все становятся соучастниками его безумных затей. Последняя глава ужасна: он понимает, что никогда не был Дон Кихотом, а так и остался Алонсо Кихано.

Я обладаю исключительно устной памятью... Я могу начать читать вам, например, стихи Кеведо; даже не знаю, сколько времени я мог бы это делать не прерываясь... Кеведо, Гонгора, Хуан Рамон Хименес, большой поэт Хорхе Гильен, Лорка, написавший, я уверен, самые лучшие сонеты на испанском языке. А потом я мог бы читать вам англосаксонские стихи...

Вопрос: Английский критик Стайнер утверждает, что есть три гиганта современной литературы: Борхес, Беккет и Набоков. Что Вы думаете по этому поводу?

Ответ: О Набокове я ничего не могу сказать, потому что читал его мало. К несчастью, я читал Беккета...

Модернизм был великим движением. Если сравнить, что писалось до него и после, то увидишь: в модернизме — все... Теперь существует большая свобода... Произошло обновление языка, метрики, метафор, тематики. Вам могут нравиться или нет, скажем, Амадо Нерво[7], Дарио[8], Лугонес[9]... Они могут нравиться или нет. Мне лично они нравятся. Но несомненно, после них все переменилось... мы пишем с такой свободой, о какой раньше и не мечтали. Например, испанская литература XVIII—XIX веков была довольно убогой. Ее обновило это движение... Мехико и Буэнос-Айрес явились двумя столицами модернизма. Лишь позже он пришел в Испанию... И это признавал Хуан Рамон Хименес, который мне рассказывал, с каким волнением они в Испании встречали книги из Латинской

[3] Адольфо Бьой Касарес (р. 1914) — аргентинский писатель, друг и соавтор Борхеса. Его роман «Изобретение Мореля» увидел свет в 1940 году. «Теневая сторона» — в Библиотеке журнала «Иностранная литература». М., 1987.

[4] Сильвия Окампо (р. 1909) — аргентинская поэтесса и писательница.

[5] Мануэль Мухика Лайнес (1910—1984) — аргентинский журналист, писатель.

[6] Андре Жид получил Нобелевскую премию по литературе в 1947 году.

[7] Амадо Нерво (1870—1919) — мексиканский поэт, писатель, дипломат.

[8] Рубен Дарио (1867—1916) — никарагуанский поэт, основоположник движения за обновление поэтического языка в литературах испаноязычных стран.

[9] Леопольдо Лугонес Аргуэльо (1874—1938) — аргентинский прозаик и поэт. Один из основоположников поэзии модернизма. Борхес написал о нем книгу (1955) и посвятил его памяти сборник «Делатель». Лугонес, как и Борхес, был директором Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе.

Америки. Таким образом, мы немало сделали для литературы вообще и для испаноязычной литературы в частности.

О Кафке

Мое первое воспоминание о Кафке относится к 1916 году, когда я решил изучить немецкий язык. Еще раньше я попытался выучить русский, но у меня ничего не получилось. Оказалось, что немецкий для меня гораздо проще, поэтому и занялся я им с удовольствием. Я пользовался только немецко-английским словарем — и уж не знаю, точно ли понимал то, что читал,— но несколько месяцев спустя я уже мог наслаждаться стихами некоторых немецких поэтов. Именно тогда я прочитал первую книгу Кафки. Мне кажется, хотя точно я сейчас не припомню, что она называлась «Одиннадцать рассказов».

Мое внимание привлекло то, что Кафка писал так просто, что даже я смог понять его, несмотря на то, что экспрессионизм, игравший столь важную роль в ту эпоху, ориентировался прежде всего на барокко и потому играл бесконечными возможностями немецкого языка. Потом мне представился случай прочитать «Процесс», и с этого времени я стал читать Кафку постоянно.

Что отличало его от современников и даже от великих писателей других эпох — скажем, Бернарда Шоу или Честертона? Читая их, нужно все время помнить об определенной среде, атмосфере, иметь в виду место и время действия. То же самое относится к Ибсену, Диккенсу. А у Кафки есть тексты особенно рассказы, в которые он вводит нечто вечное. Мы читаем Кафку и думаем, что его темы так же вечны, как сама история, что сны его снились людям иных времен, и нет надобности прибязывать их ни к Германии, ни к Аравии. Важно то, что создан текст, вырвавшийся из границ времени, когда он был написан... Когда Кафка повествует, он пророчествует. Человек захваченный в плен режимом, человек против Государства — одна из его излюбленных тем.

В свое время я перевел книгу его рассказов под общим заглавием «Превращение» и никогда не мог понять, почему ее название упорно переводят — «Метаморфоза». Это бессмыслица. Не знаю, как может прийти в голову таким образом переводить простейшее немецкое слово. Когда я работал над переводом, издатель настоял на том, чтобы было оставлено привычное название, потому что оно уже стало известным и прочно связалось с именем Кафки.

Рассказы Кафки я бы поставил выше его романов. С другой стороны, его романы не имеют конца. В них бесконечное количество глав, потому что их темы бесконечно много требуют от автора. Больше всего мне нравятся его короткие рассказы, и хотя сейчас мне вроде бы и не к чему выделять из них лучший, я назвал бы тот, где речь идет о возведении стены. Ведь я тоже написал несколько рассказов, в которых попытался — в порыве бесплодного, бессмысленного тщеславия — стать Кафкой. Один из этих рассказов называется «Вавилонская библиотека», есть и еще несколько — все они попытка быть Кафкой. Эти рассказы вызвали интерес, но сам я отдавал себе отчет, что не смог выполнить задуманное и что надо было искать иной путь...

Многое Кафка не хотел публиковать при жизни и завещал уничтожить свои произведения. Это напоминает мне случай с Вергилием — он также поручил друзьям уничтожить незавершенную «Энеиду». К счастью для нас, они его не послушались, и произведение сохранилось. Думаю, что ни Вергилий, ни Кафка на самом деле не хотели, чтобы их произведения погибли. В противном случае они сами взяли бы на себя этот труд. Если я поручаю что-то своему другу, то хочу показать, что таким образом снимаю с себя ответственность за это что-то. Мой отец, например, написал очень много, но перед смертью все сжег сам.

Кафка — один из самых великих авторов всей мировой литературы. Для меня он первый в нашем веке. Я присутствовал на вечере, посвященном столетию Джойса, и когда кто-то сравнил его с Кафкой, я заявил, что это святотатство. Ведь Джойс имеет значение лишь в странах английского языка с его богатейшими возможностями: но он непереводим. А вот Кафка писал на очень простом и изящном немецком. И к тому же для него, несомненно, важно было произведение, а не слава.

Как бы то ни было, этот сновидец, не хотевший чтобы сны его стали известны, сегодня сам стал частью нашего всеобщего сна — памяти. Факты его биографии известны, мы знаем, какова была его жизнь, знаем, что он был евреем. Все это забудется, а вот его рассказы будут жить.

О латиноамериканской литературе

...Не знаю, можно ли пользоваться таким вот обобщающим термином, как латиноамериканская литература. Ведь регионы, расы, страны — и талант каждого писателя — такие разные... Я, например, был в Колумбии. Она мне очень понравилась... Но ни на миг я не посчитал себя колумбийцем. Я чувствовал себя аргентинцем, даже не аргентинцем, а скорее портеньо. Ведь даже в собственной стране, попадая в отдаленные провинции, я чувствовал себя иностранцем.

Вопрос: Давайте все же поговорим об испаноамериканской литературе. В последние десятилетия произошло то, что называют «бумом»...

Ответ: Ну нет, в этом отсутствует всякий смысл, это чистая реклама. Эту литературу я знаю очень плохо. Конечно, если речь идет не об Альфонсо Рейесе [10], не о Гарсиа Маркесе, не о Марии Луисе Бомбаль [11]... или о литературе моей страны. У нас были выдающиеся писатели. Эсекьель

[10] Альфонсо Рейес (1889—1959) — мексиканский поэт, эссеист, политический деятель, ряд лет был послом в Аргентине, друг и корреспондент Борхеса.

[11] Мария Луиса Бомбаль (р. 1910) — чилийская писательница.

Мартинес Эстрада [12], к примеру. Совершенно несправедливо забытый...

Вопрос: Знаете, меня удивило, что вы назвали Гарсиа Маркеса.

Ответ: Почему?

Вопрос: Мне всегда казалось, что Гарсиа Маркес, как говорится, не в вашем вкусе.

Ответ: Как сказать. Но... по крайней мере первые пятьдесят лет «Ста лет одиночества» запоминаются, а?

Вопрос: Да. Цыган, который привозит лед...

Ответ: Все это в высшей степени незаурядно, да.

Вопрос: И очень красиво.

Ответ: По сути это фантастический роман. Это называют каким-то реализмом. Но ведь реализм — также одна из разновидностей фантастической литературы!

Вопрос: А Рульфо? [13]

Ответ: «Педро Парамо» — превосходная книга, конечно.

Вопрос: И тоже фантастическая.

Ответ: И есть еще один мексиканский писатель, который мне очень нравится. Это Аурeола [14].

Вопрос: А Варгас Льоса?

Ответ: Нет, его я не знаю. И это естественно. Ведь я потерял зрение в 1955 году. С тех пор я занимаюсь перечитыванием, так как у меня остается мало времени. Друзья приходят читать мне, и я не хочу терять время, пробуя новые и случайные книги...

Вопрос: А Хулио Кортасар?

Ответ: Хулио Кортасара я считаю великим писателем. И имел честь быть его первым публикатором. В то время я руководил одним журналом, почти подпольным, «Аналес де Буэнос-Айрес». Кортасар пришел в редакцию, принес мне рассказ и спросил, буду ли я его печатать. Я попросил его прийти за ответом через десять дней. Он оставил мне рассказ — восхитительный рассказ, нечто в стиле Генри Джеймса, под названием «Захваченный дом». Кортасар пришел, но не через десять дней, а через неделю, и спросил меня о его судьбе. Я ему сказал: «У меня для вас две новости. Первая — то, что ваш рассказ уже в типографии. Вторая — моя сестра Нора Борхес иллюстрирует его». Так вот. Потом я забыл этот эпизод и считал, что не знаком с Кортасаром: для меня это было лишь еще одно новое имя. Однажды мы встретились в Париже, вместе обедали, и он мне сказал: «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы первый напечатали меня». «Когда?» — спросил я. И тогда он напомнил мне эту историю.

Вопрос: Скажите несколько слов о Бьой Касаресе.

Ответ: Бьой Касарес... большой друг и большой писатель. Я писал предисловие к его первой книге. Одной из самых замечательных книг на испанском языке — «Изобретение Мореля». Но потом он превзошел эту книгу и написал другие — книги фантастических рассказов. Кроме того, мы с ним вдвоем породили еще одно лицо, которое стало называться именами наших дедушек: Бустос Домек (Бустос — как мои родственники из Кордовы, Домек — как его близкие с юга Франции). ...Обычно говорят, что Бьой Касарес — мой ученик... В действительности я ничему его не учил, а вот он научил меня многому. Я многим обязан Бьой Касаресу и как другу и как писателю. Постепенно он излечил меня от любви к барокко, в некоторой степени — от Лугонеса, немного от Кеведо. Немного, нет, пожалуй, даже много — от Джойса. И именно он сделал так, что сейчас я стал писателем — по крайней мере на первый взгляд — несложным. Я всегда тяготел к педантизму, к архаике, к неологизмам, а он освободил меня от всего этого. Не произнося ни единого слова. Только уверенностью в том, что я разделяю его мнение на этот счет.

Вопрос: Вы ощущаете себя латиноамериканским писателем?

Ответ: Разумеется.

Вопрос: Однажды Кортасар заявил, что такие писатели, как Борхес и Бьой Касарес, пишут, обратив взоры к Европе. В то время, как писатели его поколения: он сам, Гарсиа Маркес, Варгас Льоса и другие — пишут, обратив взоры к Америке.

Ответ: Не знаю, обращают ли они взоры к Америке. Я-то их обращал и даже слишком часто — куда? — я обращал их к окрестностям Буэнос-Айреса или к историческому прошлому Аргентины. Не знаю, писал ли Кортасар милонги или тексты танго, но в том, что я у него читал, мало истинно креольского. Техника — она у Кортасара американская, в том смысле, что он несколько подражает Фолкнеру.

«Литература гаучо» [15] была создана городскими жителями, и она представляет собой не что иное, как миф, легенду. Потому что и самих гаучо-то уже давно не осталось, разве что в Парагвае и Бразилии. А в Аргентине их почти нет. То, что создается,— это, скорее, выражение ностальгии по прошлому. И это дело рук горожан, таких, как Аскасуби [16], Эрнандес [17], дель

[12] Эсекьель Мартинес Эстрада (1895—1964) — аргентинский писатель, литературовед.

[13] Хуан Рульфо (1918—1986) — мексиканский писатель. «Равнина в огне». М., 1970, «Педро Парамо», рассказы: «Звезда», 1957, № 5, «Молодая гвардия», 1965, № 5.

[14] Хуан Хосе Арреола (р. 1918) — мексиканский писатель.

[15] Гаучо — этническая группа в Южной Америке. Образовалась в XVII—XVIII веках в результате браков испанцев с индейскими женщинами Ла-Платы. В середине XX века — скотоводы, земледельцы, охотники, влились в состав аргентинцев и уругвайцев.

[16] Иларио Аскасуби (1807 — 1875) — аргентинский поэт и публицист, видный представитель поэзии гаучо в Аргентине.

[17] Хосе Рафаэль Эрнандес Пуэйрредон (1834—1886) — аргентинский поэт, журналист, политический деятель, автор знаменитой эпической поэмы «Мартин Фьерро» (1872—1879).

Кампо [18], Бартоломе Идальго [19], Гуиральдес [20]. Это не народная литература. Само слово «гаучо» почти неизвестно в сельской местности. То же самое происходит со словом «пампа», которое никогда не употребляется в деревне. Вместо него говорят «поле», а вместо «гаучо» — «пеон», «крестьянин». Слово «гаучо» если и бытует, то исключительно под влиянием радио. Оно не принадлежит деревне. Да и такие темы для сельских жителей неинтересны — они и так погружены во все это. Ведь людям интересно далекое, экзотическое или то, что обладает притягательностью далекого.

Но и когда существовали гаучо, эти гаучо, конечно, совершенно не знали «поэзии гаучо». И вы это ясно увидите, если для сравнения прочитаете сборник народных копл [21]. Коплы написаны на разговорном испанском, с закономерными ошибками, как и должно быть. Потом вы берете то, что называется литературой гаучо... В ней множество, в первую очередь креольских слов, подобранных специально. Большие города, как они есть, не слишком интересны. Наоборот. Я бы сказал, что, наверное, литература гаучо живет именно потому, что существует тяга к прошлому, ностальгия по нему.

«Я никогда не жил во тьме...»

Знаете, нет ничего более неудобного и грустного, чем слепота, но она не трагична и не патетична. Если человек теряет зрение внезапно, он может прийти к мысли о самоубийстве. Но когда слепота подходит постепенно, удар смягчается. Я потерял зрение — свое читательское и писательское зрение — в 1955 году... Однажды ты начинаешь чувствовать себя неграмотным, потом — из зеркала исчезает твое отражение, а у друзей уже нет лиц... После этого жизнь течет в неясном светящемся тумане. Но я никогда не жил во тьме...

Все думают, что слепых окружает тьма, но это не так. Первыми исчезают два цвета — это заставляет вспомнить Стендаля — красный и черный... Другие цвета остаются... Затем сливаются голубой и зеленый, остается только желтый, и возникает это светящееся облако. И я вижу это свечение!..

Поскольку я слеп, мне приходится делать много черновиков в уме. И то, что я диктую, является уже пятым или шестым вариантом. Диктовка может показаться импровизацией, но это вовсе не так. И кое-какие места в тексте, смахивающие на небрежность, вовсе не таковы. Я очень внимателен. Иногда мне случается подолгу работать над страницей прозы, а потом я... вставляю намеренную небрежность, чтобы все остальное стало казаться более тщательно отделанным. Этим я пользуюсь, хотя никому другому такого не порекомендовал бы. Зачем специально вставлять ошибки, когда и так сколько угодно огрехов непреднамеренных?

«...у меня, прежде всего, остается сомнение»

Я продолжаю писать. Что мне еще остается? Хотя... нет, у меня осталась дружба. Некоторым образом, у меня осталась любовь... и у меня прежде всего осталось сомнение, столь драгоценное, не так ли? Это самый прекрасный дар...

Вопрос: На вас давят ваши годы?

Ответ: Они ужасны: слепота, физические недуги, и хотя некоторые молодые люди, и среди них Мария Кодама [22], относятся ко мне благосклонно, в моем возрасте человек остается один. Многие из моих друзей уже на Ла Реколете [23] и других кладбищах мира, что тут поделаешь...

Вопрос: Но вы из семьи долгожителей. Если не ошибаюсь, ваша мать умерла в 99 лет...

Ответ: Бедная, она была в ужасе, она боялась состариться еще больше. Так что над ней нависло нечто вроде дамоклова меча — это неподражаемая метафора — сто лет, ужасная дата. Но она умерла за несколько месяцев до того...

Вопрос: Какое значение имеет любовь в вашей жизни?

Ответ: Часто говорят, что я ничего не понимаю в любви и поэтому мало говорю о ней в своих книгах. Я полагаю, что она в них всегда присутствует... Кто считает иначе, пусть их перечитает. Личное для меня, несмотря на возраст, любовь — нечто удивительно живое.

...Если бы мне сказали, что сегодня ночью я умру, я принял бы это известие с радостью, но одновременно и с изрядной долей любопытства, потому что почти уверен, что иной жизни нет. Но всегда все-таки остается минимальная вероятность того, что она существует. Ну, тогда почему бы не рискнуть? А? Ну что поделаешь, раз это не зависит от нас... Я не хочу, чтобы обо мне вспоминали после моей смерти. Хочу, чтобы через несколько лет люди спросили: «Борхес? Кто такой Борхес? Черт возьми, где-то я это имя слышал... Он имеет отношение к генералу Франсиско Борхесу [24]? Внук? Хорхе Луис Борхес. Ну, ладно...»

Из диалога Сьюзен Зонтаг и Хорхе Луиса Борхеса

С. Зонтаг. Хотелось бы, чтобы Борхес объяснил, что значит для него самого влияние, которое он оказал на стольких писателей,

[18] Эстанислао дель Кампо (1834—1871) — аргентинский писатель, автор знаменитого поэтического сборника «Фауст»

[19] Бартоломе Идальго (1788—1822) — уругвайский поэт, считается родоначальником национальной поэзии Аргентины и Уругвая, один из основоположников литературы гаучо.

[20] Рикардо Гуиральдес (1886—1927) — аргентинский писатель, поэт. В романе «Дон Сегундо Сомбра» (1926, русский перевод 1960) нашли отражение традиции литературы гаучо.

[21] Простейшая и наиболее распространенная в Латинской Америке песенная форма.

[22] Мария Кодама — личный секретарь, а с 1986 года — жена Борхеса.

[23] Ла Реколета — кладбище в Буэнос-Айресе.

[24] Дед писателя, полковник аргентинской армии, погиб в бою под Ла Верде.

хотя я не знаю, представляет ли он себе реально это влияние. Ведь Борхес всегда с такой скромностью отзывается о собственных произведениях...

Х. Л. Борхес: Это не скромность, просто я мыслю здраво. Меня удивляет, что я известен. Никогда ни о чем подобном я не думал. Это пришло ко мне, когда мне было далеко за пятьдесят. Меня вдруг увидели, и я перестал быть тем незаметным человеком, каким был до того. Теперь я привыкаю к известности, и это требует от меня ужасных усилий. Меня очень удивляет всеобщее великодушие; порой мне кажется, что я олицетворяю собой разновидность некоего, довольно распространенного сейчас суеверия. И в любой момент может обнаружиться, что я самозванец. Но как бы то ни было, самозванец я — невольный.

С. З.: Вы часто с восхищением говорите о других писателях, особенно о писателях прошлого...

Х. Л. Б.: И особенно американского прошлого, которому я стольким обязан. Когда я думаю о Новой Англии и о том количестве замечательных людей, которых Новая Англия дала миру (вероятно, это могут как-то объяснить астрологи), я начинаю их вспоминать: Эмерсон, Мелвилл, Торо, Генри Джеймс, Эмили Дикинсон и многие другие... Если бы их не было, не было бы и нас. Ведь мы в какой-то мере — отражение этого созвездия Новой Англии.

С. З.: Но сначала Вы больше интересовались английской литературой?

Х. Л. Б.: Да, но первым в моей жизни романом был «Гекльберри Финн» Марка Твена, а потом я прочитал «Завоевание Мексики и Перу» Прескотта. И я до сих пор благодарен им... Мне кажется, что на писателей влияет все прошлое человечества в целом. Не только культура одной страны, не только какой-то язык, но даже авторы, которых он не читал и которые приходят к нему через язык, так как язык есть факт эстетический, и он есть произведение тысяч людей.

С. З.: Какая литература, кроме английской и американской, вас интересует?

Х. Л. Б.: Ну, прежде всего, скандинавская литература, саги, исландская старина... Знаете, вся литература прекрасна. Представить себе мир, например, без Верлена, без Гюго, было бы очень печально. Впрочем, зачем лишать себя чего-то? Для чего становиться библиотечным аскетом? Библиотеки дают нам постоянное счастье, доступное счастье. Вот если бы я был Робинзоном Крузо, то книгой, которую я взял бы с собой на остров, была бы «История западной философии» Бертрана Рассела, и, наверное, этого мне было бы достаточно. Хотя было бы намного лучше, если бы мне позволили взять какую-нибудь энциклопедию. Ведь для такого праздного и любопытного человека, как я, лучшее чтение — энциклопедия. Будь то самая древняя — Плиния, или одна из новых — Британская, или Европейская, все они бесценны.

С. З.: Каким литературным жанром вам хотелось бы сейчас заняться?

Х. Л. Б.: Тем, в котором я работаю. Я пишу короткие стихотворения и рассказы. Они мне нравятся, но я чувствую внутреннюю потребность посвятить себя именно этому, иначе они начнут меня преследовать. И только завершив работу, я могу перейти к чему-нибудь другому. Скоро опубликую книгу под названием «Заговорщики», куда войдет 30—40 коротких вещей. Не знаю, будут ли они хороши, не покажутся ли претенциозными.

С. З.: Вам всегда больше нравились малые формы...

Х. Л. Б.: Эдгар По как-то сказал, что длинного стихотворения вообще не существует в природе.

С. З.: Но ведь есть что-то вроде длинной истории. То, что мы называем романом.

Х. Л. Б.: Как правило, я не выдерживал схватки с этим жанром. Исключение для меня — только «Дон Кихот», Конрад или Диккенс. А так, даже самые знаменитые романы, как романы Теккерея или Флобера, выдержать я не мог. А жаль...

С. З.: Один из удивительных феноменов нашего времени — всеобщий интерес к японской литературе.

Х. Л. Б.: Да, я сейчас пытаюсь выучить японский язык, но он настолько сложен... Наши западные языки отстоят от него так же далеко, как испанский — от гуарани[25]. Японский язык очень богат оттенками, поэтому можно прочитать несколько переводов одного хокку, и они окажутся одновременно совершенно разными и верными. Это потому, что оригинал мудро неоднозначен (как и проза Генри Джеймса).

С. З.: Самым интересным в японской литературе мне кажется стремление к миниатюризации.

Х. Л. Б.: И понимание ценности мгновения — это бросается в глаза в хокку. Будто цель их — остановить мгновение. И еще, я обратил внимание на отсутствие метафор. Создается впечатление, что для японцев каждое явление, предмет — уникальны; ничто и ни с чем нельзя сравнивать. А вот контраст — пожалуйста.

С. З.: Вы хотите сказать, что функция метафоры — продлить миг?

Х. Л. Б.: Конечно. И это, думается, идет вразрез со стремлением японской литературы остановить мгновение.

С. З.: Большинство писателей постоянно жалуется на то, как им трудно пишется.

Х. Л. Б.: Ну нет. Вот не писать — было бы ужасно. Для меня это было бы почти невозможно.

С. З.: Несомненно, Борхес — исключение. Я часто думаю: быть писателем — очень редкое призвание и очень странное. Почти все писатели, о которых я что-нибудь знаю (включая меня саму), с раннего детства знали, кем хотят стать.

Х. Л. Б.: Ну, по крайней мере Конрад и Де Куинси знали это; и я (это не в смыс-

[25] Гуарани — один из самых распространенных индейских языков (Парагвай, юго-восточная Боливия, юг и юго-запад Бразилии).

ле сравнения) всегда знал, что моей судьбой будет литература. Я знал, что буду связан с литературой: то ли как писатель, то ли как читатель.

С. З.: А думали Вы когда-нибудь о книгах, которые вам предстояло опубликовать?

Х. Л. Б.: Нет, никогда об этом не думал. Я думал о наслаждении читать и о наслаждении писать, но — публиковать?.. Нет, никогда.

С. З.: Вы думаете, что могли бы стать таким писателем, как Эмили Дикинсон, ничего не опубликовавшая при жизни?

Х. Л. Б.: Да, но неблагоразумный шаг уже сделан. Как-то я спросил Альфонсо Рейеса, зачем мы печатаемся, и Рейес мне ответил: «Мы публикуем свои произведения, чтобы не тратить жизнь на бесконечное переделывание черновиков». Думаю, он был прав. Каждый раз, как выходит в свет моя книга, я не пытаюсь разузнать, что там с ней происходит, не читаю абсолютно ничего из того, что о ней пишется, не знаю, пользуется она спросом или нет. Я стараюсь просто мечтать о другом и написать новую книгу, совсем другую. Но, как правило, каждая следующая книга выходит очень похожей на предыдущую.

С. З.: Однажды Валери спросили, как он узнает, что стихотворение завершено, и он ответил: «Да когда приходит издатель и его уносит».

Х. Л. Б.: Меня всегда очень удивляет, когда речь заходит об окончательной редакции. Разве можно предположить, что автор когда-нибудь не посчитает неуместной какую-нибудь точку, эпитет? Это абсурд.

С. З.: Я тоже чувствую, что мне хотелось бы снова написать почти все, что уже написано.

Х. Л. Б.: А я хотел бы уничтожить все, что написал. Пожалуй, мне было бы приятно спасти только одну книгу — «Книгу песчинок» и еще, возможно, «Шифр». А все остальное может и должно быть забыто.

С. З.: Что думает Борхес о различии между прозой и поэзией?

Х. Л. Б.: Я думаю, что главное в этом различии идет от читателя, а не от текста. От страницы прозы читатель ждет новостей, информации, суждений; читающий стихи в свою очередь знает, что они должны воздействовать на его чувства. В самом тексте нет никаких различий, они в читателе, в разной читательской установке. Я думаю, что и классика — это не книга как-то по-особому написанная, но книга особым образом прочитанная.

С. З.: То есть вы действительно верите, что есть разные типы читателей?

Х. Л. Б.: Читательских типов столько же, сколько вообще на свете читателей. Точно так же я верю, что каждая страница поэзии или прозы — неповторима.

С. З.: Тогда давайте содействовать расширению читательского сообщества.

Х. Л. Б.: Да, потому что этому разряду людей угрожает исчезновение. Вот писателей сейчас много, а читателей — почти ни одного. Давайте учредим Секту читателей, или Тайное общество читателей...

Составление и перевод с испанского
Н. БОГОМОЛОВОЙ

Заметки писателя

ЯН ПИЛАРЖ

МЫ ЕДЕМ В МОСКВУ

Страницы из книги воспоминаний

Вступительное слово и перевод с чешского
СВЕТЛАНЫ ШЕРЛАИМОВОЙ

Для Чехословакии 1988-й год — год знаменательных юбилеев: в октябре 1918-го чехи и словаки после трехсотлетнего чужеземного порабощения обрели национальную независимость; в феврале 1948-го, преодолев попытку сил оппозиции реставрировать капиталистический строй, страна взяла курс на построение социалистического общества. 70-летие самостоятельного государства, 40-летие социалистической республики — серьезный повод, чтобы задуматься над уроками пройденного пути, на котором были и большие достижения, и драматические конфликты, острые классовые бои, тяготы фашистской оккупации, общественно-политический кризис конца 60-х годов, был самоотверженный труд народных масс.

Развертывающаяся сегодня в Чехословакии перестройка предопределила «неюбилейный» характер многих юбилейных материалов и размышлений. Такова и еще полностью не опубликованная книга воспоминаний народного деятеля искусств, известного чешского поэта Яна Пиларжа (род. в 1917 г.), главу из которой мы предлагаем читателю.

Воспоминания эти интересны прежде всего потому, что их автор — самый непосредственный участник борьбы за новую организацию литературного дела в стране, за социалистическую культуру.

Разумеется, Пиларж — прежде всего поэт. Представитель самого «потерянного» поколения чешской литературы, вызревание которого пришлось на мрачные годы фашистской оккупации, он издал свой первый сборник стихотворений «Яблоневый сад» в июне 1939 года, когда войска вермахта уже захватили Чехословакию. Юный студент философского факультета Карлова университета попытался поэтическим словом передать свою любовь к родине — этому прекрасному «яблоневому саду», а в стихотворении «На сгубленную яблоню» в иносказательной форме откликнуться на народную трагедию, выразить веру в неминуемость возмездия:

Уши зажму и слышу прямо рядом с собой
жалобный плач, паденье яблони и звезды.
Тот, кто упал, возродится,— и это тебе дано.
Яблоня, ты упала! Верю в твою звезду.
Верю, что есть возмездие: яблоко — вот оно!
И я семена бросаю в грядущую борозду.

(Перевод Ю. Кузнецова)

Сборник вышел в начале лета, а уже в ноябре того же года после антифашистских студенческих демонстраций его автор вместе со своими товарищами был заключен в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Вернувшись после долгих мытарств в Чехию, Пиларж включается в движение Сопротивления, во время Пражского восстания в мае 1945 года редактирует одну из возрожденных газет, после освобождения страны становится редактором культурной рубрики газеты «Земедельске новины», завершая одновременно свое университетское образование и принимая деятельное участие в подготовке к созданию новой писательской организации.

Уже в сборниках лет оккупации («Тоска Орфея», «Смерть Орфея», «Дом без окон») Пиларж создал образцы одухотворенного изображения природы, но в этих подцензурных стихах он сумел передать и свои тяжелые переживания, и свою веру в народ. Мотив купленного дорогой ценой освобождения зазвучал в сборнике «Бадья» (1946), тревога по поводу возможных катастрофических последствий новой резкой конфронтации двух миров — в сборнике «Снег» (1948). Зрелым мастером со своей сложившейся манерой, с особой преданностью природе, мастером исполненных философского смысла пейзажных зарисовок и любовной лирики Пиларж предстал в стихах рубежа 50—60-х годов («Дерево не хоронят», «Раскрылась предо мной роза»).

Дыхание конкретного исторического времени, его страстей и конфликтов пронизывает стихи Пиларжа на «вечные» темы, его пейзажи и раздумья в книгах «По земле несется конь» (1967), «Желтый лист» (1972), «Круги на воде» (1975), «Взгляд в глаза» (1979), «Винтовая лестница» (1983). О стихах Пиларжа из книги «Остановиться среди природы» (1985) его младший собрат по перу, поэт и теоретик литературы Йозеф Петерка, весьма метко сказал: «В суматошном круговороте жизни, где неизбежно господствуют экономические показатели, обменные ценности, факты и информация, они побуждают нас к самопознанию». Эти слова по праву можно было бы отнести ко всей поэзии Пиларжа последних лет.

Надо особо сказать о переводческой деятельности Пиларжа. Он много переводил из польской поэзии (Броневский, Тувим, Галчиньский, современные поэты), из поэзии советской (Щипачев, Гамзатов), чилийской (Пабло Неруда), болгарской.

Поэт красочной и своеобычной образности, Пиларж в мемуарной прозе очень сдержан, порой почти протоколен. Личная позиция автора выявлена четко, но это позиция не судьи, с дистанции времени раздающего оценки, а объективного свидетеля, предельно искреннего в рассказе о прошлом.

В своих воспоминаниях Пиларж воспроизводит важные страницы истории Союза чехословацких писателей, которая еще не написана и не изучена, между тем этой самой крупной в стране организации творческой интеллигенции принадлежит видная роль в развитии не только литературы, но и всего чехословацкого общества.

Еженедельник «Творба» (1988, № 8) под заголовком «Февраль и писатели» опубликовал отрывки из воспоминаний Пиларжа, относящиеся к переломной эпохе 1948—1949 годов. Автор стремится подчеркнуть закономерность февральской победы народных масс. «Весь этот переворот,— пишет Пиларж,— был проведен сугубо демократическими методами. Это особенно досаждало обанкротившимся политикам, которым на голову свалился «железный потолок», если употребить заглавие романа Б. Бржезовского, где все это правдиво описано» — и с горьким сожалением добавляет: — Не всегда в будущем применялись те же демократические методы».

Революционный поворот в истории Чехословакии усугубил раскол в писательской среде, вызвал волну эмиграции, в которой, однако, не оказалось по-настоящему крупных литературных имен. Вскоре после Февраля встал вопрос о создании нового Союза чехословацких писателей.

У чехов и словаков и раньше существовала традиция писательских объединений, в основном по типу союзов взаимопомощи и чисто профессиональных организаций. Теперь речь шла о другом. Пиларж вспоминает: «Все наши рассуждения о характере новой писательской организации сходились на советском образце. Мы тоже намеревались создать на определенной идейной основе союз, который участвовал бы в проведении партийной и государственной литературной политики. В момент создания Союза в него вошли 219 чешских и 81 словацкий писатель и соответственно 37 и 25 кандидатов. Члены нового Союза были весьма представительным отрядом нашей литературы,— отмечает Пиларж.— Далеко не все они были марксистами, молодые еще только начинали приобретать политический опыт, самые младшие были радикалами, некоторые выжидали или спешно переориентировались, кое-кто позже вступал в Союз из конъюнктурных соображений. Счастье, что среди нас еще жили великаны чешской литературы, представители революционного поколения основоположников, которые стояли у колыбели КПЧ, были вместе с ней во всех боях. Я имею в виду Незвала, С. К. Неймана, Ольбрахта, Майерову, Пуйманову, Галаса, Библа, Заваду, Э. Ф. Буриана». По его мнению, присутствие этих крупных писателей уберегло новый Союз от еще более тяжелых ошибок, чем те, которые выявились в его деятельности в 50-е годы.

Ориентация на советский пример придавала чехословацким писателям уверенности в новом для них и сложном деле, но она имела и свои теневые стороны, ибо в качестве образца зачастую некритически воспринимались и наши не слишком удачные, а то и попросту неверные методы руководства литературной жизнью и догматические критерии тогдашней советской литературной критики.

В 1949 году Ян Пиларж стал секретарем Союза чехословацких писателей (председателем был избран Ян Дрда). Окидывая сегодняшним взглядом противоречивую историю Союза, Пиларж признает серьезные недостатки в его общей линии и практической работе. В начале 50-х годов «с легкостью делались скидки на тему», партия и государство поддерживали и отмечали премиями явно слабые книги — вроде неудачного сборника стихов Станислава Неймана или производственного романа Алены Бернашковой «Путь открыт». Признает автор и недостаточно дифференцированное отношение Союза к сложным писателям и произведениям.

Глава, которую мы публикуем и которая была подготовлена специально для нашего журнала, относится к более позднему и качественно иному этапу литературной жизни Чехословакии. Она посвящена кануну Второго съезда чехословацких писателей (1956),

когда группа руководителей Союза приехала в Москву и Ленинград, чтобы посоветоваться с советскими коллегами о новых формах и методах работы.

Как подчеркивает сам Пиларж, он не пишет историю Союза чехословацких писателей, но его живые воспоминания воссоздают саму атмосферу литературной и общественной жизни тех уже отошедших в прошлое лет. Он рассказывает о людях, вместе с которыми работал, о встречах с советскими писателями. Автор неизменно дружелюбен, но отнюдь не пишет «иконы», напротив, стремится подметить и какие-то смешные черточки и случаи. Дружеские отношения и неформальное сотрудничество чехословацких и советских писателей складывались не без проблем, но на своем собственном примере Пиларж доказывает, что в этой области не должно быть места подозрительности и поспешным или необоснованным оценкам.

В книге Пиларжа естественно возникает вопрос и о социалистическом реализме, с которым связаны многие прошлые и продолжающиеся до сих пор споры и дискуссии. Автор не претендует на теоретическое решение этой проблемы, он просто рассказывает, как на встрече в ЦДЛ Незвал объявил этот метод не подходящим к чешским условиям. Здесь, наверное, следует дать некоторые пояснения.

В чешской литературной критике понятие «социалистический реализм» появилось сразу же после Первого съезда советских писателей, на котором присутствовала группа чешских и словацких литераторов, в том числе — Витезслав Незвал и Лацо Новомеский. Наибольшее впечатление на чехословацких участников съезда произвел доклад Н. И. Бухарина, который Незвал горячо поддержал в своем выступлении, сочувственно отмеченном в заключительном слове докладчика. Уже в 1934 году перевод доклада Бухарина был напечатан в «Творбе», а затем — единственный из докладов на Первом съезде советских писателей — включен в сборник «Социалистический реализм» (1935), содержавший материалы состоявшейся в Праге дискуссии. Основной доклад на дискуссии сделал критик-марксист Курт Конрад, который, опираясь, в частности, и на Бухарина, доказывал, что социалистический реализм, ориентирующийся «на человека во всей его полноте», может развиваться не только в советской литературе, но и в литературах капиталистических стран. Иную точку зрения высказал Витезслав Незвал, который в 1934-м основал группу чешских сюрреалистов. В дискуссии Незвал, также ссылаясь на Бухарина, отстаивал мысль, что социалистический реализм годится только для литературы Советского Союза как страны победившего социализма, методом же революционного искусства капиталистического мира он объявил сюрреализм. Но это был спор литераторов, находящихся «по одну сторону баррикады», спор политических единомышленников вокруг эстетических проблем. Большинство революционных писателей и критиков-коммунистов приняло тогда широкую трактовку социалистического реализма, восходящую к докладу Бухарина и работам Луначарского. Но это не мешало им высоко ценить поэзию Незвала — при всей ее близости к сюрреализму.

Иная ситуация возникла в конце 40-х — начале 50-х годов. После создания Союза чехословацких писателей социалистический реализм был провозглашен единственным методом новой литературы, распространение получило узкое его понимание, сводившее социалистический реализм к жестким нормативам, к набору строго определенных тем, конфликтов, героев, жанров и даже поэтических форм. С подобных позиций некоторые ортодоксальные критики осуждали отдельные произведения Незвала, написанные уже после войны, усматривая в них сюрреализм. На самом же деле при всей сугубой оригинальности многие межвоенные и по сути все послевоенные произведения Незвала («Песнь мира», «Из родного края» и другие) вне всякого сомнения составляют классику чешской поэзии социалистического реализма. Возражения же Незвала против социалистического реализма, о которых идет речь в воспоминаниях Пиларжа, объясняются прежде всего естественной и здоровой реакцией на узкое понимание этого метода, нанесшее немало вреда развитию чешской литературы после 1945 года.

Как и все книги подобного рода, воспоминания Пиларжа в чем-то субъективны. Он рассказывает о людях, с которыми доводилось встречаться лично ему, описывает их так, как их воспринимал именно он. Но его воспоминания помогают воссоздать объективную картину непростого литературного развития послевоенного периода, убеждают в органичности и прочности советско-чехословацких литературных и культурных связей.

И у нас в культуре начали обнаруживаться первые признаки оттепели, как стали называть этот процесс по заглавию известной повести Ильи Эренбурга. Уже давно минул определенный уставом четырехлетний срок, когда следовало созвать Второй съезд чехословацких писателей. Мы накопили большой опыт, позитивный и негативный, по руководству писательской организацией и влиянию на литературу. После периода жесткого сектантства и догматизма возникал новый этикет: либерализм.

Мы в руководстве Союза ясно сознавали, что Второй съезд надо готовить по-иному и прежде всего — избежать схематического доклада-речи, в котором все свалено в кучу и политическое внимание сосредоточено на так называемых «обоймах», то есть на перечислении имен писателей с положительной или отрицательной оценкой. Было принято решение, что ведущие литераторы подготовят доклады по главным литературным жанрам. Мы хотели использовать творческий опыт таких крупных писателей, как Мария Майерова, Витезслав Незвал, Ян Мукаржовский, и предоставить им возможность широко сформулировать их личный взгляд на развитие литературы после Февраля. Доклад о поэзии был поручен В. Незвалу, о

детской литературе — М. Майеровой, о литературной критике — Я. Мукаржовскому, о драме — драматургу М. Стеглику. Тезисы докладов мы решили предварительно проконсультировать с советскими писателями.

Делегацию, которая отправилась в Москву в конце 1955 года, возглавлял тогдашний председатель СЧСП Я. Дрда. В нее входили: В. Незвал, Я. Мукаржовский, Й. Секера, В. Минач, П. Карваш, З. Есевка, Ц. Штитницкий и я, выполнявший обязанности секретаря. Я носил портфель с деньгами и заботился о программе вместе с Иностранной комиссией Союза советских писателей, где референтом по Чехословакии была тогда Соня Шмераль. Мы жили в гостинице «Советская». Меня поселили в одном номере с Яном Дрдой, и именно здесь происходило большинство встреч и обсуждений.

Кто не знаком с довольно необычным укладом жизни Незвала, тот вряд ли в состоянии представить себе, как трудно было нашей делегации договориться о единой программе. Незвал не делал ни шагу, не сверив его с расположением звезд. С молодых лет он стал страстным астрологом и непоколебимо верил во влияние космических сил на ход человеческой жизни. Поэтому было почти невозможно прийти к согласию ни о дате отъезда в Ленинград, ни о средствах передвижения. Когда вечером мы собирались у ресторанного столика за поздним ужином, под влиянием вина обнаруживалась давняя антипатия Незвала к более молодому Дрде, с которым поэт несправедливо связывал все плохое, что принесли литературе некоторые неуместные методы Союза писателей; Незвал стремился перетянуть на свою сторону всю делегацию, но это ему не удавалось. Вместе с Владимиром Миначем мы не без озорства пресекали и некоторые экскурсы Незвала в любовную сферу.

Союз советских писателей не давал нам советов и не навязывал своего мнения. Нам предоставили возможность встретиться с некоторыми ведущими писателями. Так, мы посетили дома Леонида Леонова, автора «Русского леса» и «Золотой кареты». На нас произвели большое впечатление его мудрость и чуткость. Вспоминаю его рабочий стол, где рядом с ручкой и бумагой лежали тиски и разные столярные инструменты. Когда Леонов уставал писать, он превращался в заправского мастерового. У нас подобными склонностями отличался Милан Яриш, который в своей мастерской вытачивал из дерева удивительные вещи.

Прямо-таки царский пир закатил нам у себя дома Константин Симонов. Он считал себя немножечко чехословацким гражданином, ибо в мае 1945-го был военным корреспондентом в Праге. За круглым банкетным столом царила дружеская атмосфера. Тост следовал за тостом. Когда с большим опозданием появился Й. Секера, его заставили выпить столько штрафных рюмок водки, сколько было произнесено тостов. Он это проделал и... не свалился под стол. Позже он мне признался, что заранее «подготовился» — потихоньку проглотил несколько ложечек масла. Это его и спасло. К ближайшим друзьям чехословацких писателей принадлежали также Борис Полевой и Степан Щипачев. Они нас принимали с распростертыми объятиями и в редакции «Юности», и на даче в Переделкине.

Я усердно посещал редакцию «Литературной газеты», восхищался широкой постановкой работы с документацией — в этой области наши «Литерарни новины» выглядели провинциальной газетенкой. Кое-чему я здесь научился, нашел добрых друзей. Значительным событием нашего пребывания в Москве стала встреча с советскими поэтами на собрании поэтической секции. Зал был полон. Приветствовали нас очень сердечно. Промелькнул и Пабло Неруда, мой добрый приятель еще с 1949 года. Незвал попросил слова. Он был прекрасным оратором, говорил с пафосом о ситуации в чешской поэзии, но больше всего — о лирической традиции, идущей от народной песни и наследия К. Г. Махи. Именно тогда он впервые публично высказал сомнение в пригодности для нашей поэзии метода социалистического реализма. Тогда я как секретарь Союза посчитал своей обязанностью пояснить, что у нас, наряду с мнением Незвала, существуют и другие, прямо противоположные. В те годы «присяга на верность» социалистическому реализму служила своего рода пробным камнем, проверкой позиции каждого из нас. Я часто с этим сталкивался в «Литерарних новинах». Тем больше меня восхитила смелость Незвала, который высказал свое особое мнение.

Позднее он сделал это еще раз. Вспоминаю здесь об этом потому, что все опять-таки произошло в беседе с советскими товарищами. Прагу посетил советский министр культуры. На встречу с ним пригласили некоторых деятелей искусств. Я сидел возле Незвала, он быстро и нервно пил холодное белое вино, потом попросил слова. Очень веско говорил он о нашем отношении к Советскому Союзу. Потом сказал приблизительно следующее: «Уважаемый товарищ министр, я хочу сослаться на Никиту Хрущева, который не советовал нашим земледельцам пользоваться советскими комбайнами, ибо они не подходят для наших полей. Я думаю, что и социалистический реализм — типично ваше дело, а к традициям чешской поэзии он не подходит». Наши политики окаменели. Антонин Запотоцкий с улыбкой попытался сгладить выступление Незвала, заметив что-то о его необузданной богемности. Незвал снова попросил слова. Со всей искренностью большого поэта он говорил о причинах своего прихода к коммунистическому движению еще в предвоенные годы. В моем свободном изложении он сказал приблизительно вот что: «У нас, товарищ Запотоцкий, были для этого совсем иные причины, чем у твоего поколения. Ты исходил из социальных побуждений, тебя революционизировала человеческая бедность, сочувствие ей. Наше поколение после первой мировой войны увидело в звезде коммунизма рождение нового радостного мира с развитой цивилизацией, которая способна осуществить самые дерзкие мечты». Поэт, который выразил свою веру в Страну Советов в стихотворении «Приглашение к путешествию», не был обязан никого убеждать, что его слова искренни.

И еще, уже в третий раз, о социалистическом реализме. Это было в 1958 году.

Гостем Союза чехословацких писателей был Михаил Шолохов. В писательском клубе состоялась его беседа с нами, писателями. Шолохов отвечал на вопросы. Он был остроумен, избегал как теоретизирования, так и политического жаргона. Мы понимали, что перед нами один из великих европейских прозаиков. Среди многих заданных ему вопросов был и такой: «Что вы думаете о социалистическом реализме?» Шолохов засмеялся и ответил: «Я не теоретик. Когда я был у Александра Фадеева незадолго до его смерти, я спросил его об этом, подобно тому, как вы меня спрашиваете. Он ответил: «Черт знает, что это, собственно, такое». Видите, я думаю, что это искусство, которое помогает советскому правительству и написано простым, понятным языком»

Эту беседу я поручил застенографировать и основную ее часть опубликовал в «Литерарних новинах». Высказывание о социалистическом реализме обошло мировую прессу. Мне за это досталось. Меня заставляли, как это тогда обычно делалось, чтобы я объявил запись высказывания неточной и тем «поправил», особенно на Западе, репутацию великого писателя, которого пытались представить законодателем в вопросах эстетики. Но я не поддался, не сделал этого. Я защищался, говоря, что стенограф абсолютно точно записал подлинные слова и я не имею права подвергать цензуре автора «Тихого Дона».

Но вернемся к нашей делегации. В моей памяти осталась не только Москва, где я был впервые, и, как многие из нас, сравнивал неумелую работу нашей пропаганды с реальной действительностью. Я открывал для себя красоту и подлинность советского народа. Я смотрел на толпы людей, проходящих по улице Горького, находил друзей, с которыми впоследствии пережил вместе немало приятных минут. Среди них были — Михаил Луконин, Мариэтта Шагинян, Мая Конева, Б. Шуплецов, А. Кривицкий и многие другие, о которых я еще скажу.

До Ленинграда мы все же добрались. Ехали поездом. На берегу моря у нас замерзало дыхание. То была русская зима, которая в этом удивительном городе обретала легендарные черты Тем больше грело нас человеческое тепло, которым нас окружили. Дома у Михаила Дудина я познакомился с Прокофьевым и Ольгой Берггольц. Эта ночь глубоко запала мне в душу. Я так и слышу рассказ Ольги о ее молодой дружбе с Максимом Горьким, в ушах звучат куплеты песен первых послереволюционных лет — «Цыпленок жареный» и другие. А потом как в трансе воспоминания о годах ленинградской блокады. О той воле к жизни, которую она каждый день воскрешала в себе снова и снова.

Мы вместе вышли в морозную ночь. Она обняла меня. Слышу ее слова: «Мы корабли, которые плывут во тьме. Наше революционное время трагично». Когда мы в 1956 году переживали потрясшее нас известие о разоблачении сталинских деформаций, когда мы в Братиславе слышали выстрелы из Будапешта, я написал в стихах «Письмо Ольге Берггольц»: «Вам, которая не знает в Ленинграде». Не знаю, прочитала ли его Ольга Берггольц: ни в один из изданных на русском языке сборников моих произведений это стихотворение о поисках новой веры в смысл революции не было включено...

Однажды во время нашего пребывания в Москве к нам в номер был доставлен ящик с различными алкогольными напитками. А вслед за ним появился молодой дагестанский поэт Расул Гамзатов. Молодой, но уже известный выпускник Литературного института пришел выпить с нами за дружбу. Он сразу нам понравился. Его непосредственность, природная непринужденность поэта с гор увлекли меня настолько, что, вернувшись домой, я начал переводить его стихи о благоухающих лугах и водопадах возле его родного аула Цада, о мире мальчика, который родился в семье деревенского учителя и основоположника аварской письменности. Так начались перипетии нашей дружбы, которая длится и по сей день; мы часто видимся — то в Москве, то в Дагестане, то в Праге, то в Карловых Варах.

Наш отъезд из Москвы не обошелся без драматических событий. В четыре часа утра в морозной мгле я стал будить членов делегации,— пора было ехать в аэропорт. Только в номере у Незвала никто не брал трубку. Ничто не помогало — ни стук в дверь, ни стук в стену из соседнего номера. Эта угрожающая тишина в утренней полутьме рождала во всех нас страшные предположения. Дрда потребовал разбудить директора гостиницы и настаивал, чтобы двери были взломаны. Но в гостинице «Советская» очень основательные дубовые двери и стены как в крепости. Тогда директор решил, что со двора приставят лестницу к окну Незвала на четвертом этаже. Мы скорбно молчали, ожидая самого худшего.

В минуту наивысшего напряжения за дверью незваловского номера вдруг послышался шум. Мы стояли в коридоре. Что-то зашуршало, в замке повернулся ключ. Выглянула растрепанная голова Незвала. Он моргал заспанными глазами. «Сейчас, сейчас» — и снова исчез. Потом он нам рассказывал, что на Барановой улице, на Жижкове, где он жил долгие годы, каменщики на соседней стройке приучили его к утреннему шуму и грохоту. Эта привычка и не давала ему проснуться, когда мы шли на штурм его номера.

...Самолет набрал высоту, и мы понеслись над землей, я обернулся назад и увидел, как сидят рядышком, склонившись друг к другу головами, Дрда и Незвал. Они доверительно перешептывались. Словно бы хотели преодолеть ту трещину, которая часто между ними образовывалась, вдохнуть освежающего воздуха, найти общий язык. Ведь они оба — каждый по-своему — любили Советский Союз и связали с ним свою судьбу.

Мое поколение было самыми тесными узами соединено с многими конкретными людьми в Советском Союзе. Это единение было органичным, подлинным, в нем не было ни капли конъюнктурщины. Поэтому разоблачения XX съезда мы восприняли скорее с горечью, чем с возмущением. Об этом свидетельствует, например, мое стихотворение «Мартовским утром»: «На городские улицы мы вышли /где в фонарях желтое пламя/ дрожало в тумане/ и во взбудораженных мыслях/ нам хотелось сбросить с плеч /ржавое

равнодушие тишины/ и из горла вырвать свой голос».

Это стихотворение было включено в сборник «Дерево не хоронят», который вышел в следующем году. Здесь кроме «Письма Ольге Бергольц» и стихотворения о встрече с грузинскими друзьями на Сухумской горе напечатано и стихотворение «Советской стране». Это ключевые стихи, как и весь сборник, который был реакцией на прошлое и поиском утраченного равновесия. После Второго съезда писателей, когда «Литерарни новины», которые я все еще редактировал, стали главной платформой поднимавшегося среди интеллигенции брожения, меня не раз критиковали, что я не могу удержать в узде этот поток и даю слово разным «ревизионистам и либералам» (по тогдашним меркам). Это было действительно трудно, и я об этом еще напишу.

Осенью в советском посольстве состоялся прием. На нем присутствовал один ответственный партийный работник из СССР. Когда меня ему представили, он взял меня за лацкан пиджака и несколько раз повторил: «За это вы будете отвечать перед историей». Прием затянулся до поздней ночи. Министр Вацлав Копецкий уже в узком кругу меня обвинил, что я плохо отношусь к Советскому Союзу. Это меня больно задело. В возбуждении я позвонил жене, чтобы она продиктовала мне незадолго до того написанное мною стихотворение-исповедь «Советской стране». Я вернулся к столу, вынул листок и попросил минуту тишины. Я читал:

Не напрягай голос,
не выставляй напоказ
свою любовь, чтоб над всем возвышалась.
Ты, чешская земля, знаешь —
здесь она всюду:
о ней шумит трава, о ней поет ручей.
Не надо громких слов, барабанных од,
лучше сказать тихо.
Это — как аромат розы,
как для каждого ломоть пшеничного хлеба.

В последней строфе есть стихи:

И у меня так сегодня, и несмелый мой голос
в наше вздыбленное время
несет в себе эту живительную любовь.
Любовь к простому советскому человеку.

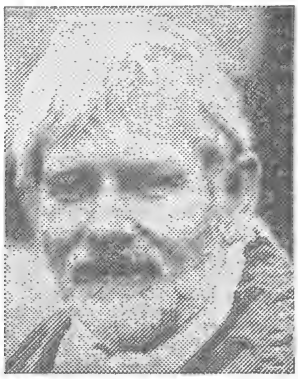
Наступила тишина.

События раскручивались все быстрее. Сколько всего еще случилось! Кто-то позднее отрекался от дружбы с Советами, кто-то лицемерно взывал к ней! Но и позже ни я, ни моя жена ни на миг не утратили веру в первую страну социализма. Моя любовь не была показной, в ней не было бездумного подражания и льстивого копирования нерассуждающих людей. Правда, открытая на XX съезде, и особенно форма, в которой она была донесена до общественности, была жестокой. В партии не нашлось тогда политика такого формата, как сегодняшний Михаил Горбачев. Способ и пути, какими возвещалось миру об ошибках и перегибах, не были на уровне марксистской исторической науки. Поэтому сейчас в Советском Союзе об этом говорят снова. Но ведь та перекрученная эпоха существовала, и ее развитие решало судьбы сотен тысяч людей. Одни нашли правду, другие ее безвозвратно потеряли. Поэтому я стремлюсь описать в своих воспоминаниях ее этапы такими, как они запечатлелись в моей памяти и моей поэзии.

◆

К нашим иллюстрациям

«Праздник сладостной печали»



«У каждого венецианца, — писал Вольтер,— два лица: одно — подлинное, другое — маска. Когда они надевают свои маски, возникает чувство, будто ты находишься среди духов».

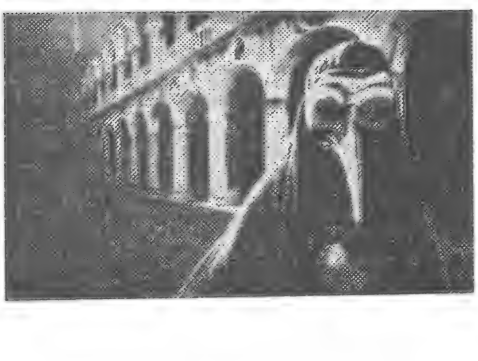
Венецианский карнавал уходит корнями в далекое прошлое. У его истоков — античные празднества масок. Неотъемлемой чертой города, такой же характерной его особенностью, как каналы и дворцы, карнавал стал уже в Средние века. Его расцвет приходится на XVII столетие. В ту пору праздник длился около полугода: с первого воскресенья и до первой великопостной среды, с коротким перерывом под рождество, когда обычаи «языческие» уступали место торжествам христианским. Карнавал был для венецианцев не просто представлением, в котором каждый участвовал и как зритель, и как главное действующее лицо, он олицетворял собой целую жизненную философию, помогал справляться с невзгодами, защищал, по поверью, от болезней и напастей. Если в городе вспыхивали эпидемии,— прежде всего чума, от которой Венеция страдала особенно часто,— маски служили гигиеническим целям. Например, специальная маска с длинным птичьим носом, дополнявшаяся плотно запахнутым плащом и широкополой шляпой,— так называемая «медико делла песте» — предназначалась для врача. Такой наряд практически исключал непосредственный контакт эскулапа с пациентом.

Венецианцы, носившие маски, пользовались определенными свободами; закон охранял их инкогнито, а неписаные правила позволяли им пренебрегать целым рядом бытовавших условностей, обязательных для человека с открытым лицом.

Карнавалу придавалось подчас большее значение, чем иным политическим событиям. Так, в 1789 году, дабы не портить венецианцам праздничного настроения, до окончания карнавала держалось в тайне сообщение о смерти дожа Паоло Реньера.

В 1797 году, после того как город захватили наполеоновские солдаты, карнавал был запрещен. На двести лет умолкли улицы Венеции. Искусство импровизированного театра пришло в упадок.

В 1979 году венецианцы возродили свой карнавал. Студенты и ученые, художники и артисты вернули городу этот удивительный, причудливый и неповторимый «праздник сладостной печали». Однажды осенним вечером они вышли на площадь Святого Марка в старинных костюмах комедии дель арте — Коломбина, Пьеро, Арлекин, Бригелла, Пульчинелла, Панталоне — и начали безмолвный спектакль. Звучала музыка, тускло светила ранняя луна, и на глазах у немногих зрителей (туристский сезон уже был позади) медленно оживало прошлое...



С тех пор карнавал повторяется каждый год. Он стал многолюдным, посмотреть его приезжают, как в былые времена, издалека. Он все более приобретает черты туристского шоу, теряя постепенно непосредственность и сдержанное очарование. Поэтому люди, напомнившие венецианцам об их истории, ушли с главных площадей и улиц. Теперь они собираются в отдаленных переулках, малоизвестных тем, кто на их энтузиазме пытался было делать бизнес. И когда на город опускаются сумерки, мостовая превращается в подмостки, дома — в декорацию, и вновь появляются жизнерадостная Коломбина, грустный Пьеро, плутоватый Бригелла и многие, многие другие.

Фотохудожнику из ФРГ, лауреату международной премии Фото-Кино-Обелиск Хансу Зивику довелось увидеть один из первых карнавалов — он приехал в Венецию уже в 1980 году. Захваченный необычным действом, он бродил среди масок, заговаривал с ними, вступал с ними в игру. Как-то незаметно, исподволь маски стали его друзьями, помогли увидеть карнавал «изнутри». И тогда художник при помощи фотообъектива рассказал о том, что увидел. Так возникла замечательная серия «Венеция: люди под масками», которая недавно была показана в Центральном Доме литераторов в Москве. Некоторые фотографии этой серии изысканно-декоративны, другие поражают психологической глубиной, и все они безусловно свидетельствуют о таланте автора, о его умении «остановить прекрасное мгновенье».

В этом году Ханс Зивик впервые приехал в нашу страну по приглашению Союза писателей СССР и Советского комитета за европейскую безопасность. Впереди — сложная работа над совместным советско-западногерманским изданием «Европа на пороге третьего тысячелетия», над книгами о Большом театре, о Москве и москвичах, о проблемах экологии, о русской православной церкви. Впереди — интересные встречи, увлекательные путешествия, познание огромного, незнакомого мастеру мира. Нет сомнения в том, что взгляд Х. Зивика на нашу Родину — взгляд со стороны — будет своеобразен и доброжелателен, и его рассказ о Стране Советов наверняка заинтересует не только европейскую публику, но и нас с вами. Пожелаем же ему успеха и скорейшего осуществления творческих планов!

МАРИНА ЗАСЛАВСКАЯ

Наша почта

Читатели ободряют, протестуют, предлагают...

Журнал ваш читаю давно, и хотелось бы, чтобы он был еще интереснее, чтобы захотелось прочитать его «от корки до корки». К сожалению, сейчас это еще мечта... Меня интересует — как вы подбираете материалы для публикаций? Если вы стремитесь отразить наиболее значительные произведения мировой литературы, то в этом случае весь журнал должен состоять из одной-единственной рубрики — «Литературное наследие», ибо единственный критерий, который подходит для оценки книги на «прочность»,— это время. Тогда как же быть с изданиями последних лет? Как выбирать? По личному вкусу главного редактора? Или по «массовости чтения»? В корне не согласен с т. Китупом из Вильнюса, чье письмо вы опубликовали в № 3, где он пишет, что «чепуха вроде «Челюстей» — это обыкновенная, довольно скучная, бульварная литература, серьезному журналу не пристало баловаться подобной безделицей». В конце концов, уж скучной «Челюсти» никак не назовешь. Бульварная? — надо подумать. Да, эта книга для массового читателя, Питер Бенчли писал «на публику». А на кого же должен работать писатель? Ведь если где-то за рубежом какая-то книга нарасхват, это не значит, что там, на «загнивающем Западе», книга-бестселлер обязательно заполнена сексом, насилием, антисоветчиной и т. д. Неужели люди «тая» глупее нас? Да нет же! Поэтому я призываю вас: давайте печатать последние зарубежные бестселлеры. Неужели среди них нет стоящих книг. Конечно, я не призываю «ИЛ» стать сборником зарубежных бестселлеров, но хотелось бы знать, что читают люди за рубежом, что нравится, кого издают. Взять вот, например, книгу Мариты Влади «Владимир, или Прерванный полет». Уверен, что большинство советских читателей с интересом (если не сказать больше) прочтут эту вещь. Во всяком случае, спрос обеспечен. Планируете ли вы издать эту вещь? Далее, по поводу «спорных книг». Полностью разделяю точку зрения т. Иванова о том, что не стоит судить о книгах, которые не читал. Поэтому у меня имеется необычное предложение. Давайте попробуем опубликовать некоторые книги «вредных» писателей, пусть даже Александра Солженицына. Ведь вот что поражает: в последнее время проводится много различных телемостов, в том числе и с США. Когда американцам задают вопрос: «Кого вы знаете из русских и советских писателей?» — большинство говорят: Солженицын. У нас много говорилось о «вредности» Солженицына. Но ведь его читают! Пусть не у нас, а в США, но читают! Вопрос: почему мы не можем прочитать? Или Солженицын такой уж антисоветчик, в его книгах что ни слово — против СССР, а американцы все дураки, что не замечают этого или все антисоветчики, а мы, умные, и этого сами не читаем, и другим не даем. Или, наоборот, в книгах Солженицына антисоветчины нет или совсем чуть-чуть, американцы любят читать его книги, которые являются действительно стоящими, а мы, дураки, не понимаем художественной ценности его книг. Естественно, что ни того, ни другого я допустить не могу. Что же делать? А давайте попробуем напечатать! Обращаюсь именно к вам, потому что, поскольку А. Солженицын живет в США, это — «ИЛ». И давайте не будем так сильно беспокоиться о нашей нравственной чистоте, ведь 70 лет беспокоились, а к чему пришли? — не надо думать, что все — дураки, дай только что-нибудь «ближе к телу». В конце концов, народ у нас грамотный и сам разберет — что читать, а что выбросить. И кроме того, иногда так хочется почитать чего-нибудь легкого после тяжелых вещей. Попробуйте напечатать «Архипелаг Гулаг» того же Солженицына. Может быть, его стоит почитать?

С уважением Александр Васильченко, 23 года, программист, г. Тюмень.

Я с радостью обнаружила в первом номере вашего журнала диалог между Дмитрием Сергеевичем Лихачевым и Николаем Григорьевичем Самвеляном «Возвращение к человеку...».

Думаю, что у диалогов найдутся не только сторонники, но и противники. Эти последние наверняка обвинят и говорящих, и одобряющих в абстрактном гуманизме, космополитизме и пацифизме; и не исключено, что потребуют принять меры.

Хотелось бы вступить с ними в небольшую заочную дискуссию.

Гуманизм не бывает абстрактным. Хотеть добра конкретному человечеству, нам всем, путем отказа от насилия — мне кажется, это вполне естественное желание. В борьбе с конкретным злом гуманизм — надклассовый, наднациональный— проявляется в виде конкретных, по самой высокой мерке героических поступков.

Януш Корчак, которому предлагали сохранить жизнь, пошел в газовую камеру со своими воспитанниками не потому, что его гибель могла спасти хоть одного из них, изменить исход войны, а потому, что не мог бросить в последнюю минуту тех, кого воспитал на идеалах добра и кто ему безгранично верил. И действительно, ничего не изменилось... кроме того, что все человечество помнит о поступке, и каждый, читая книги о Корчаке, спрашивает себя: «А я бы смог?»

Хелен Вудсон, ломая полузаброшенную ракетную шахту, не знала, кого и от чего она спасает,— но стремилась уберечь человечество от ядерного уничтожения.

Брайен Уилсон преградил путь поезду с оружием отнюдь не с классовых позиций: «Всякий раз, когда поезда с оружием проходят мимо нас, это означает, что вновь многие люди будут убиты или искалечены. Только тогда, когда мы по-настоящему поймем, что жизнь этих людей не менее драгоценна, чем наша собственная, мы станем по-настоящему свободны. Наше правительство может продолжать войны только с нашей помощью. Нужны действия и открытые высказывания, а не шепот за обеденным столом. Я бы хотел, чтобы наш народ почувствовал ответственность за все убийства, которые совершаются от его имени. Как это сделать, пусть каждому подскажет совесть. Только мы можем остановить это безумие».

Когда я читала эта слова, то испытывала чувство какой-то «социальной неполноценности». Вспомнила об этом, когда увидела в «Диалоге» — потеряно умение «объемно видеть мир». Только потеряно оно у нас по многим причинам: и узкая специализация, и знакомство с миром через плоский экран телевизора, и многое другое.

Поэтому стремление сделать мир, мировую культуру доступными каждому из нас — это не просто желание видеть нас более духовно развитыми, «сбалансированными», это еще и вера в то, что каждый человек — личность — способен не только взять, но и дать, что узы с человечеством — это естественное состояние человека.

Кстати, наш родной русский язык перекинул мостик от «человека» сразу к «человечеству», не удовлетворившись «народом. людьми, нацией».

Г. АНДРОЧНИКОВА, научный сотрудник, г. Москва.

...Нет никаких сомнений, что наше нынешнее общественное движение является движением по возвращению уважения к личности, как назвал журнал — движением по возвращению к Человеку. Конечно же, не возвратив человеку его место центра общества, того центра, ради которого все совершается, мы не сумеем прийти к планетарному мышлению. Планетарное мышление вообще невозможно без признания принципиальной ценности томосферы и этногомосферы. Но в связи с этногомосферами, национальными культурами и национальными государствами возникает вопрос о том, может ли быть современный человек рабом узкой национальной идеи, узкой государственной идеи?

Немецкие и итальянские фашисты ратовали за укрепление своих национальных государств. Но это несло гибель и беды другим народам. Так вот. Может ли человек, понимающий, что спасение нынешней цивилизации в планетарном мышлении, оказаться в положении не так давно истово критиковавшегося космополита? Например, тот же Чингиз Айтматов с его космизмом («Плаха») и призывами ко всему человечеству, а не к отдельному народу — будь то киргизский или русский?

Вот недавно по ТВ смотрела передачу об организации в одном из древнейших русских монастырей школы эстетического воспитания молодежи. И один из организаторов этого прекрасного начинания сказал фразу, поразившую меня: «Мы воспитываем детей на конкретных примерах национальной истории, а не на каких-то абстрактных идеалах космополитизма». И последние три слова были сказаны с каким-то явным пренебрежением! Мне кажется, что это опасная тенденция: ведь еще Ключевский писал, что «успехи людского общежития, приобретения культуры или цивилизации, которыми пользуются в большей или меньшей степени отдельные народы, не суть плоды только их деятельности, а созданные совместными или преемственными усилиями всех культурных народов, и ход их накопления не может быть изображен в тесных рамках какой-либо местной истории, которая может только указать связь местной цивилизации с общечеловеческой, участие отдельного народа в общей культурной работе человечества или, по крайней мере, в плодах этой работы».

Хотелось бы получше разобраться в этом вопросе.

С уважением, Е. Сысоева, г. Москва.

Уважаемые товарищи!

Вы сделали доброе общекультурное дело, опубликовав «Арфу царя Давида» в переводе С. Аверинцева и с его вступлением[1]. Мала по своим размерам эта публикация, но велико ее значение. Журнал, следящий за мировым литературным процессом современности, обращается к истокам. Здесь много неведомого нашему читателю материала. Еще раз — вы сделали доброе дело.

Спасибо!

Лев Озеров, г. Москва.

О статье В. Зотова «Китай: десять лет по пути обновления»[2]

Молодцы, что дали слово на своих страницах молодому, но, как видно, талантливому публицисту-китаеведу В. Зотову. Очень интересная статья! Оригинальное мышление и у Д. Фекете. В № 5 всех «обыграла» публицистика. Надо и другим подтянуться! А вообще ваш журнал стал интереснее!

А. Новикова, г. Москва.

Товарищ редактор!

Случайно попал в руки пятый номер вашего журнала. Как это ни странно, но больше всего заинтересовала статья т. Зотова В. Е. о Китае. Сильно написано, а главное понятно! Актуально, многие китайские проблемы перекликаются с нашими, и поэтому очень и очень интересен опыт, уже накопленный КНР. Характерно, что статья заставляет еще и еще раз возвращаться к ней, а перечитывая, проникаешь все более пластыми причин противоречий, переживаемых социалистическими странами. Выводы т. Зотова будоражат мысль, заставляют задуматься и, по крайней мере, не оставляют равнодушными. Передайте, если можно, конечно, мою искреннюю благодарность автору.

С уважением Огнивец О. В., шофер, Якутия.

P. S. *Решил подписаться на ваш журнал и желаю вам дальнейших успехов в том, чтобы он становился все более интересным.*

Уважаемая редакция!

Хочу поздравить вас с «рождением» новой рубрики вашего журнала — «Публицистика». Не удивляйтесь. Хотя рубрика эта в журнале существует давно, но, по-моему, лишь в последних номерах вашего издания она стала по-настоящему боевой, актуальной и где-то даже задиристой (в хорошем смысле). Так держать!

Особенно хотелось бы отметить появление статьи «Китай: десять лет по пути обновления». Очень глубокий политический материал, подталкивающий к размышлениям о дальнейшей судьбе социализма не только в Китае, но и в нашей стране, и это, очевидно, главное достоинство статьи.

Еще раз поздравляю!

С уважением ваш постоянный читатель с 1977 года, старший лейтенант Гречуха Николай Григорьевич, г. Киев.

Уважаемая редакция «Иностранной литературы»!

Очень емкую, проблемную и актуальную статью вы поместили в своем пятом номере — «Китай: десять лет по пути обновления». Не буду подробно ее анализировать, остановлюсь на главном. Важное достоинство этого материала заключается в показе взаимосвязи процессов, происходящих как в КНР, так и в Советском Союзе. Автор очень чутко прослеживает противоречия, с которыми сталкивается Китай на избранном им пути, и в то же время постоянно перебрасывает «мостики» к проблемам нашей страны. Такой подход позволяет более глубоко уяснить не только закономерности развития реформ в Китае, но и в определенной степени понять логику дальнейшего осуществления перестройки у нас в стране, хотя, естественно, будут и различия, причем иногда и немалые. Но все же.

По своей профессии я занимаюсь изучением современного Китая более 15 лет и, конечно, внимательно слежу за публикациями, связанными с этой страной, и должен подчеркнуть, что статья, помещенная в вашем журнале, является лучшим публицистическим материалом о Китае за последние годы. В связи с этим хочу выразить вам благодарность, а автору пожелать дальнейших успехов!

С уважением Вл. Галин, г. Москва

[1] Опубликовано в «ИЛ», 1988, № 6.
[2] Опубликована в «ИЛ», 1988, № 5.

Из месяца в месяц

Великобритания

«СИЛА ВЫРАЖЕНИЯ» ГЕНРИ МУРА

Издательство «Фабер энд Фабер» выпустило библиографическую книгу об одном из наиболее значительных современных английских скульпторов — Генри Муре (см. о нем «ИЛ», 1987, № 3). Рецензент журнала «Лиснер», искусствовед Франсис Сполдинг, считает, что в книге Роджера Бертхоуда удачно сочетается описание жизни Мура и рассказ о его творчестве, подкрепленный многочисленными высказываниями критиков.

Имя Генри Мура известно во многих странах, и это, как отмечает «Лиснер», — нечастое явление в истории британского искусства, именно благодаря Муру получившего и признание за рубежом, и поддержку в самой Великобритании. Особое значение творчество Г. Мура имеет для развития английской скульптуры за последние четверть века.

Рецензент подчеркивает, что в этой книге Р. Бертхоуд верен своей манере: тщательно выверена хронология событий, широко представлены выдержки из публикаций о скульпторе, приводятся высказывания самого Мура, с которыми Р. Бертхоуд порой не соглашается: завязывается как бы спор между «героем» биографии и ее автором. В книге подробно описаны внешние обстоятельства жизни Г. Мура, однако мало сказано о его внутреннем мире — «подлинном источнике его творчества», почти не освещены профессиональные и личные отношения со многими людьми — возможно, недостаток архивных документов и чрезмерное увлечение материалами прессы дали чересчур «официальную» картину жизни замечательного мастера.

«Даже в самых абстрактных проявлениях его искусство по-человечески красноречиво, за формальными поисками всегда ощущаются психологические и эмоциональные глубины содержания». — пишет рецензент Ф. Сполдинг. Г. Мура часто обвиняли в создании чрезмерно гигантских, «помпезных» скульптур, однако в них он выражал свое программное «желание не красоты, но силы выражения». Лучшие его работы подтверждают поиск этой силы выражения, которая, по его собственным словам, обладает «духовностью, волнующей людей и глубоко воздействующей на них», заключает «Лиснер».

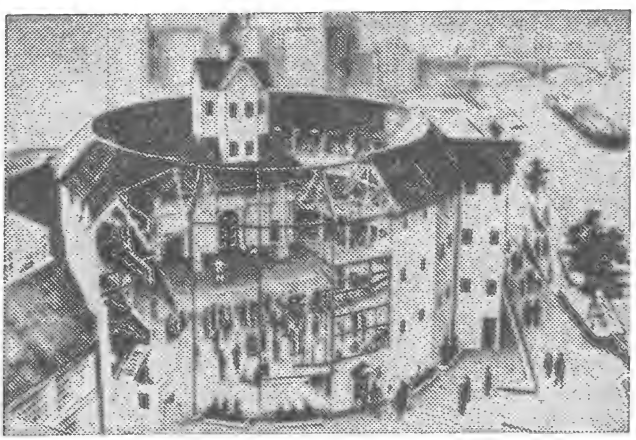
ДВОЙНИК ШЕКСПИРОВСКОГО «ГЛОБУСА»

Лондонский театр «Глобус» занимает особое место в истории мировой культуры. Здание этого общедоступного театра, украшенное изображением Геркулеса с земным шаром на плечах, было построено в 1599 году для труппы «Слуги лорда-камергера», одним из актеров-пайщиков которой был Уильям Шекспир. Здесь с 1600 по 1607 год состоялись премьеры комедии «Двенадцатая ночь», трагедий «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет» и других. Но, как считают корреспонденты еженедельника «Ньюсуик» Б. Хьюитт и Э. Джоунз, саму историю знаменитого театра можно назвать трагичной. Первое деревянное его здание, вмещавшее до тысячи зрителей, сгорело в 1613 году во время пышного представления пьесы «Генрих VIII», когда горящий пыж, выпавший из театральной пушки, поджег соломенную крышу театра. Построенное вскоре второе здание «Глобуса» простояло три десятилетия — его снесли в 1644 году по указу пуританского парламента, запретившего театральные действа.

В наши дни история «Глобуса» получила неожиданное продолжение. На месте, где некогда стоял дере-

Проект современного двойника «Глобуса».

(Еженедельник «Ньюсуик»)



вянный «круглый» театр, недавно начато строительство его современного двойника, сообщают корреспонденты еженедельника, отмечая, что кампанию за возрождение не только «Глобуса», но и традиций общедоступного театра времен Шекспира вот уже двадцать лет возглавляет американский актер и режиссер Сэм Уонамейкер. По его инициативе была создана специальная комиссия, которая утвердила проект нового «Глобуса», позволяющий по возможности точно воспроизвести все, что известно о шекспировском театре начала XVII века (автор проекта — архитектор Тео Кросби). Это будет деревянное двадцатичетырехугольное здание с крышей, закрывающей лишь трехъярусные галереи и оставляющей под открытым небом сцену и пространство вокруг нее. Как и во времена Шекспира, спектакли будут идти при дневном свете, почти без декораций, а зрителям, не сумевшим занять сидячие места на галерее, придется смотреть представление, стоя рядом со сценой. И только в одном, считают устроители театра, им при всем желании не удастся добиться сходства с прообразом: чтобы попасть в «Глобус», зрители во времена Елизаветы платили всего по одному пенни. Предполагается, что входная плата в новом театре будет все же невысокой. Двери возрожденного «Глобуса» откроются в апреле 1992 года, ко дню рождения великого драматурга.

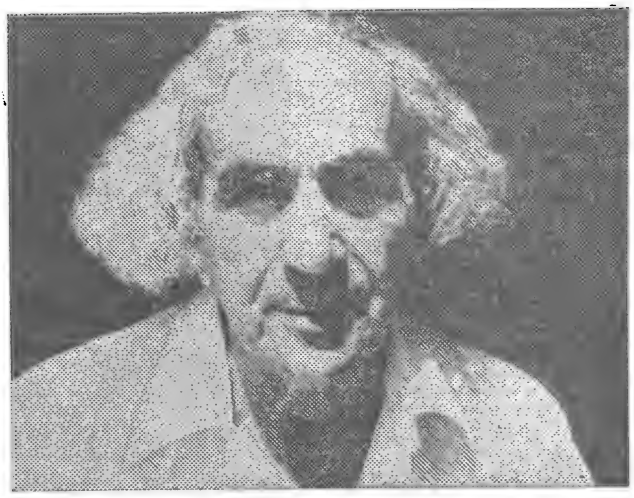
«ДЖЕЙМС ДЖОЙС СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»

Так назвал великого английского поэта Джефри Чосера исследователь его творчества, доктор Кентского университета Питер Браун. В интервью обозревателю газеты «Интернэшнл геральд трибюн» Фрэнсису Клайнзу он напоминает, что Чосер, как и Джойс, озадачивал и поражал современников, предлагая самые разные интерпретации своих произведений, дабы «сила воображения превзошла ученые толкования».

«Кентерберийские рассказы» Чосера навели жителей городка на мысль о создании в Кентербери оригинального туристского и музейного центра «Путь паломника», об открытии которого сообщает газета. Расположен этот литературный музей-панорама в недавно отреставрированном здании церкви XIV века. Посетители смогут увидеть здесь персонажей «Кентерберийских рассказов» и «во плоти», и на экране, где демонстрируются снятые по «Рассказам» киноэтюды, смогут повторить путь чосеровских паломников. Устроители центра вполне обоснованно рассчитывают на успех и ожидают прибытия многочисленных «паломников».

Отмечая необыкновенную привлекательность Кентербери, рецензент Ф. Клайнз приводит слова Вирджинии Вулф, которая, находясь в 1904 году во Флоренции, писала: «В целом свете не сыскать места прелестнее Кентербери — это я говорю положа руку на сердце».

Организованная экспозиция, по мнению газеты, прекрасно отражает всю непосредственность и удивительную современность «Кентерберийских рассказов». «Чосер завораживает, он неисчерпаем — и в этом его магия»,— считает Питер Браун.



Дёрдь Фалуди. Кадр из фильма «Поэт Дёрдь Фалуди».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

Венгрия

ФИЛЬМ-ПОРТРЕТ

«Меня зовут Дёрдь Фалуди. Я венгерский поэт и писатель. Родился в Пеште в 1910 году. Учился в Берлинском, Грацском, Венском и Парижском университетах. Закончив обучение, вернулся на родину, стал довольно известным писателем. В 1938 году эмигрировал в Париж, оттуда в Марокко и затем в США, во время второй мировой войны воевал вместе с американскими солдатами против фашизма. В 1946 году возвратился в Венгрию, в 1950 году на основании доноса меня арестовали и поместили в печально известный лагерь «Речк». В 1953 году меня освободили, а в 1956 году я вторично эмигрировал, жил в Англии, на Мальте, во Флоренции, в США, Канаде. Преподавал в колледжах, университетах. Зарабатываю на жизнь тем, что читаю лекции, пишу книги, статьи».

Это — отрывок из монолога, звучащего в фильме о поэте Дёрде Фалуди, главную роль в котором исполняет сам Дёрдь Фалуди. Публикуя отрывки из монолога героя фильма, созданного режиссерами Ливией Дярмати и Гезой Бёсёрмени (оператор — Ференц Папп), журнал «Фильм, синхаз, мюжика» сообщает и об истории возникновения этой ленты. В основу фильма — работа над ним велась в течение двух лет — положено интервью, которое создатели картины сняли на пленку в прошлом году, когда Д. Фалуди отдыхал в Дубровнике.

Д. Фалуди рассказывает в интервью о себе и, в частности, о тех трех годах (с 1950-го по 1953-й), которые он — вместе с 1300 другими заключенными, среди них был и Геза Бёсёрмени — провел в лагере «Речк», рассказывает о пережитом, о трагических и трагикомических эпизодах своей богатой, насыщенной событиями жизни.

«Поэт Дёрдь Фалуди», пишет обозреватель журнала,— первый фильм из задуманной режиссерами серии фильмов-портретов. Замысел масштабный и волнующий. Это будут записи бесед с очевидцами событий, происходивших во времена Ракоши, бесед обо всем, о причинах и последствиях, об атмосфере страха и молчания. Своей серией фильмов, продолжает обозреватель, авторы пытаются ответить на вопрос: «Что и почему случилось в 60-е годы?» Стремясь к полноте, не упуская нюансов и оттенков, они пытаются проникнуть в суть проблем периода культа личности, увидеть их социологические, экономические, общественно-политические и психологические аспекты. В этом видит критик основные достоинства «нового, потрясающего фильма-портрета, снятого Л. Дярмати и Г. Бёсёрмени».

ГДР

ФИЛЬМ О ХАНСЕ ФАЛЛАДЕ

Новый фильм студии ДЕФА, созданный режиссером Рональдом Грэфом по сценарию известной писательницы Хельги Шюц, называется «Фаллада. Последняя глава». Он повествует о последнем периоде жизни Ханса Фаллады (с 1937 по 1947 год).

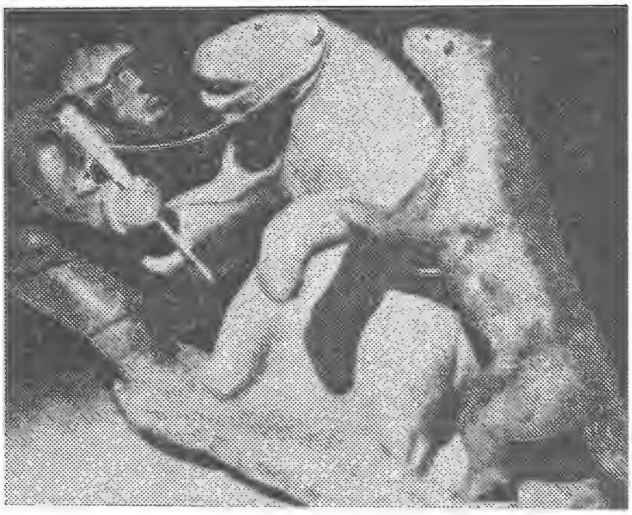
Автор романов о «маленьких людях» и антифашистского романа «Каждый умирает в одиночку» жил в гитлеровской Германии, был арестован, затем освобожден, но подвергался преследованиям и травле, а в 1944 году его поместили в исправительное учреждение как «нервнобольного». В 1945 году он радостно встретил приход советских войск, стал бургомистром города Фельдберга в советской зоне оккупации. Жизнь писателя трагически оборвалась в расцвете его творческих сил.

Рассказывая на страницах еженедельника «Зоннтаг» об истории создания фильма, Роланд Грэф отметил, что в своей работе он обращался к высказываниям Иоганнеса Бехера, высоко ценившего Фалладу. В речи у гроба писателя Бехер назвал Фалладу «куском Германии», художником, отразившим все противоречия и сложности целого исторического периода страны.

«Это рассказ о трагедии писателя и человека в фашистской Германии», — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». Газета «Берлинер цайтунг» называет фильм «лучшим созданием Рональда Грэфа». Отмечая прекрасное исполнение главной роли Йоргом Гудцуном, а также исполнение женских ролей, критик считает, что фильм вызовет новый интерес к творчеству писателя.

На Пятом фестивале художественных фильмов, состоявшемся в мае в городе Карл-Маркс-штадт, фильм «Фаллада. Последняя глава» был удостоен первой премии.

Кадр из фильма «Фаллада. Последняя глава».
(Еженедельник «Зоннтаг»)



В Дрездене в Японском дворце прошла выставка, посвященная культуре и искусству эскимосов, сообщает журнал «Нойе берлинер иллюстрирте». Посетители ее смогли увидеть предметы быта и произведения искусства народа, живущего в Канаде, на Аляске, Гренландии, на севере и востоке Сибири; численность его составляет 93 тысячи человек. Название «эскимосы» («те, кто ест сырое мясо»), ставшее чуть ли не клеймом, дали им соседи-индейцы, напоминает обозреватель журнала, а сами себя они чаще всего называют иннуитами (людьми).

Эта выставка, отмечает далее критик, показала, насколько интересна и своеобразна культура народа, живущего за полярным кругом, как восприимчив он к красоте. Художники по большей части изображают сцены из повседневной жизни своего народа, запечатлевают картины родного края, в графических работах сильна фольклорная традиция, замечательны фигурки, вырезанные из камня.

На снимке: экспонат выставки — «Охотник и медведь».

(Журнал «Нойе берлинер иллюстрирте»)

Греция

«ДЕТИ ЛАСТОЧКИ»

Крупным событием в культурной жизни Греции стал XXVIII фестиваль национального кино, который прошел в Салониках в минувшем году.

Больше всего наград на фестивале получил первый полнометражный фильм Костаса Вреттакоса «Дети ласточки». Картина поставлена по одноименному роману Д. Харитопулоса о гражданской войне в Греции, однако фильм не рассказывает непосредственно об исторических событиях, а лишь постоянно отсылает к ним. «Национальную рану К. Вреттакос обнажает с талантливейшей кинематографической дерзостью. Прошлое он переносит в настоящее...» — пишет обозреватель газеты «Та Неа». Шесть членов греческой провинциальной семьи, раз-

веянной вихрями истории, ныне уже престарелые люди, должны встретиться перед объективами телекамер, чтобы рассказать о своей жизни. Устроители передачи — старый опытный журналист и начинающий режиссер — надеются «открыть великую тайну в волшебном миге примирения людей». Но вспышка личных и политических страстей внезапно преображает встречу родственников, много лет не видевших друг друга, в отвратительную ссору, за которой встает «потрясающий образ вечно раздираемой распрями Греции».

Критики высказывали мнение о том, что «дети ласточки» — это уходящие поколения, «загробные духи», которых современные авторы постоянно вызывают, заклинают, претворяют память о них в художественные образы, рассчитывая повлиять на ход истории. Но эти мечтания тщетны. По словам создателя фильма, два главных героя, «по существу, давно умерли и могут ждать исполнения своих надежд лишь в снах». «В «Детях ласточки»,— сказал режиссер в интервью газете «Та Неа»,— простыми средствами воспроизведен кризис родового предания, ибо оно уже никого не волнует, кроме тех, кто самодовольно его пересказывает...»

Костас Бреттакос, охарактеризованный ныне греческой прессой как «выдающийся художник», в своем интервью подчеркнул, что мотивы, побудившие его к созданию фильма, были чисто личными: «Всякий, кто, собираясь снимать фильм, утверждает, будто бы руководствуется не личными мотивами, лжет, пусть он не рассчитывает на доверие».

Дания

ВАСИЛИЙ ШУКШИН НА ДАТСКОМ ЯЗЫКЕ

В издательстве «Спутник» вышел сборник рассказов Василия Шукшина.

«Новеллы Шукшина обладают особой кинематографичностью, — отмечает рецензент газеты «Ланд ог фольк» Клаус Ингеманн Йоргенсен. — Шукшин избегает острых сюжетных поворотов, но его рассказы весьма драматичны. Он — наследник традиций русского классического рассказа, и в то же время в прозе Шукшина отразился его опыт актера, режиссера и драматурга».

Рецензент подчеркивает, что, несмотря на сложность шукшинской прозы, переводчику Хансу Хенрику Брокдорфу «удалось передать своеобразие писательской манеры, колорит и глубину созданных им образов».

Египет

«ЦВЕТЫ ЛИМОННОГО ДЕРЕВА»

Роман писателя Аля ад-Диба «Цветы лимонного дерева», сообщает журнал «Аль-Хиляль», опубликован в серии «Избранные произведения», выпускаемой литературным журналом «Фусуль».

Образ главного героя романа Абд аль-Халика аль-Масири, говорится в издательской аннотации,— это «едва ли не первый созданный арабским писателем-романистом образ нашего современника, человека эпохи шестидесятых — восьмидесятых годов,— причем «герой нашего времени» показан с позиций высокой художественности, а не наивной прямолинейности».

Символом судьбы аль-Масири в романе становятся цветы лимонного дерева: «Цветы эти падают на землю, их топчут ноги прохожих, и они смешиваются с прахом земли, чтобы дать жизнь новому растению».

Судя по результатам опроса, проведенного журналом «Аль-Хиляль» среди крупнейших египетских писателей, критиков и деятелей искусства, роман Аля ад-Диба можно считать одним из лучших романов 1987 года, его ставят в один ряд с такими произведениями этого жанра, как «Зов» и «Акробат» Юсуфа Идриса, «Путешествие» Лютфи аль-Холи, «Соляные города» Абд ар-Рахмана Манифа и последние романы Нагиба Махфуза.

Израиль

«ОКНО В АРАБСКУЮ КУЛЬТУРУ»

Газета «Зу гадерех» — орган Коммунистической партии Израиля на языке иврит — несколько месяцев тому назад ввела у себя специальный раздел под названием «Окно в арабскую культуру». Этот раздел регулярно знакомит израильских читателей с новостями арабской общественной и культурной жизни как в самом Израиле, так и на оккупированных территориях и в арабских странах в целом. Большое место в разделе уделяется борьбе арабских деятелей культуры против дискриминации, которой подвергаются арабы Израиля и оккупированных земель, движению солидарности с арабами среди израильской интеллигенции.

Индия

СУДЬБЫ ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Правительство и общественность страны проявляют постоянную заботу о сохранности памятников культуры, которыми так богат индийский субконтинент. Как сообщает еженедельник «Нью эйдж», в Индии создан и действует «Индийский национальный трест искусства и культурного наследия» — общественная организация, призванная выявлять и сохранять памятники культуры, материальной и духовной. Председателем этого «фонда культуры» является премьер-министр Индии Раджив Ганди. Располагая значительными финансовыми средствами, организация занимается широким кругом вопросов, связанных с культурой: проведением фестивалей как в самой Индии, так и за рубежом, охраной исторических памятников и природной среды, собиранием образцов народного творчества. Организация действует в тесном сотрудничестве с департаментом археологии, академиями музыки и танца, созданными почти в каждом штате Индии. Сотрудничают с «Трестом» также и некоторые зарубежные организации, в частности американская «Форд фаундэйшн», которая взяла на себя задачу пропагандировать в своей стране богатейшие традиции индийской музыки и танца.

Наибольшую активность проявляет «Индийский трест искусств» в Раджастхане, где действует девять его филиалов. Однако в деятельности «Треста», с тревогой отмечает еженедельник «Нью эйдж», начинает преобладать коммерческий подход. Недавно один из руководителей «Треста» выступил с предложением реконструировать древние крепости Раджастхана, переоборудовав их в современные фешенебельные отели, которые станут приманкой для зарубежных туристов. Хотя это предложение вызвало взрыв возмущения и было с негодованием отвергнуто общественностью штата, тем не менее на семинаре, который был проведен «Трестом» в Джодхпуре — одном из крупнейших городов Раджастхана,— все же поднимался вопрос о возможности беспрепятственной продажи памятников старины, что, естественно, вызвало недоумение и озабоченность широкой общественности. «Печально, но факт,— пишет в связи с этим «Нью эйдж»,— в то время, как в индустриально развитых странах стремятся разыскать и сохранить свои истоки, у нас при наличии столь прочных корней только тем и занимаются, что обрубают эти корни, настойчиво насаждая взамен методы и практику шоу-бизнеса».

Ирландия

НЕЖНЫЙ МАСТЕР СОНЕТОВ

«Мигающий фонарик» — так называется новый сборник стихотворений ирландского поэта Шеймаса Хини, вышедший в издательстве «Фаррар, Штраус и Жиру». Главной отличительной чертой этой сравнительно небольшой по объему книги является «нарочитая отстраненность», отмечает на страницах «Нью-Йорк таймс бук ревью» писатель и критик Марк Рудман, однако лучшим стихотворениям сборника присущ знакомый по предыдущим книгам («Север», «Полевые работы», «Стоянка на острове») стиль Шеймаса Хини — «интимность, нежность, чувственность».

Здесь, продолжает рецензент, как и в других произведениях, поэт раскрывает свою излюбленную тему: образы и «мифы» происхождения слов. Так, слово «остров» (по-английски «айленд») он рассматривает как слияние корней «видеть» («ай») и «земля» («ленд»).

Для писательской манеры Шеймаса Хини характерно «отсечение всего лишнего». Он, по меткому определению М. Рудмана, «прекрасно знает, что надо «выпустить» из стиха, чтобы «впустить» в него читателя». Одно из лучших стихотворений сборника, сонет «Просветы», посвященный матери поэта, «полон нежности, тонко и искусно переданной подлинным мастером поэзии». Критик Марк Рудман считает, что «Просветы» наряду с «Гланморскими сонетами» оживляют эту классическую стихотворную форму и «входят в число лучших сонетов XX века, написанных на английском языке».

Несколько стихотворений в сборнике «Мигающий фонарик» свидетельствуют о новом направлении в творчестве Ш. Хини — это «аллегории», в которых основное внимание уделено абстракции. По мнению рецензента, им недостает лиричности и глубины, но в то же время они выражают стремление поэта экспериментировать, пробовать себя в новых экспрессивных формах, давая, по словам самого Шеймаса Хини, «современное поэтическое толкование размышлений о жизни».

Италия

«НАУЧНЫЕ» ФАНТАЗИИ БОНАВИРИ

«Дрёма» — новое произведение одного из самых своеобразных итальянских писателей Джузеппе Бонавири, вышедшее одновременно в издательствах «Мондадори» и «Риццоли», принадлежит к излюбленному автором жанру фантастических романов-путешествий. На сей раз, уточняет Боназири, в его замыслы входило создать «фантабиологический» роман, продолжающий, однако, традиции дидактической литературы.

Рассказчик Среда, его друг генетик Эпамимонда, американец Купер, мулатка Заид и китаец Ли Бо, используя все мыслимые средства передвижения, включая батискаф и дельтаплан, побывают в подвалах Ватикана, в Китае, в некрополе на дне Тихого океана и даже на Луне — движимые, как всегда у Бонавири, познавательной целью: исследовать природу состояния, которое предшествует сну, и возникающих в полудреме видений. Читатель, знакомый с творчеством Бонавири (а книги его переведены на 12 языков), не удивится кажущейся несообразности цели и средств: в его художественном универсуме, основанном на идее торжества микро- и макромира, космос, общество и индивид подчинены действию одних и тех же законов, и вся природа одушевлена. Не удивится он и тому, что диалоги путешественников напоминают фрагменты научных трактатов: естественнонаучные познания автора — врача-кардиолога с 30-летним стажем — проявляются в его прозе и поэзии, подсказывают ему оригинальные метафоры и сюжетные ходы. В новом романе Бонавири сведения из естественных наук (космологии, физики элементарных частиц, биоинженерии) сплавлены, как обычно, с поэтическим вымыслом: такова, например, теория alter ego Эпамимонды, создателя «карты снов».

«Корни фантазий Бонавири, — отмечает в еженедельнике «Эспрессо» Энрико Арозио, — следует искать в произведениях философов-досократиков и классиков натурфилософии, Гесиода, Эмпедокла, Вергилия, Лукреция, ученых XVII века — от Галилея до анатома, ботаника и физика Марчелло Мальпиги». «Поэтом-орфиком» называет Бонавири известный писатель Джорджо Манганелли.

Как и прежде, активно использует автор элементы мифов, сказок, легенд родной Сицилии, сочетает «научные» неологизмы с диалектальными речениями и архаизмами, придает черты сицилийского городка Минео экзотическим странам, подводному миру, небесным телам. «У Бонавири все не просто, все есть результат комбинации, а точнее сказать — прививки», — так резюмирует суть его творческого метода обозреватель «газеты «Коррьере делла сера» Джулиано Граминья.

ПАРАД «ЛЕОНАРДИСТОВ»

По сообщению газеты «Унита», в столице области Ломбардии, Милане, в галерее «Палаццо Реале» развернута необычная экспозиция живописи и графики. Авторы работ — художники-последователи великого Леонардо да Винчи, принадлежащие к направлению, которое именуется в искусствоведении «леонардизмом».

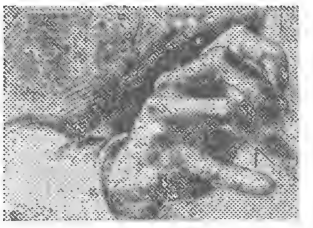


Рисунок неизвестного «леонардиста», показанный в миланской экспозиции.

(Газета «Унита»)

«Леонардизм» как течение, поясняет рецензент Нелло Форти Граццини, сформировался в конце XV века, когда в атмосфере всеобщего преклонения перед гением Леонардо молодые ломбардские художники нашли в живописи своего знаменитого соотечественника идеал мастерства и, дабы приблизиться к нему, стали работать в той же манере. Однако это не было простым копированием, и миланская выставка возвращает доброе имя талантливым живописцам, считавшимся ремесленниками и подражателями. Кроме того, специалисты (выстазка организована в основном для них) установили или уточнили авторство ряда работ.

Многие из числа восьмидесяти экспонируемых картин и рисунков тематически перекликаются с полотнами выдающегося мастера. Здесь и классические библейские и мифологические сюжеты, и традиционные мадонны с младенцами, запечатленные, в частности, на картинах Бернардино Луини и Джампьетрино. Техника графических работ Джован Антонио Болтраффио и Амброджио де Предиса, продолжает рецензент Нелло Форти Граццини, близка к манере исполнения характерных «анатомических» рисунков Леонардо. Однако в стремлении приблизиться к почерку Леонардо Франческо Мелци, например, по мнению критиков, зачастую доходит до карикатурности. Особое внимание искусствоведов привлекли рисунки Джовани Агостино да Лоди, известного ранее под именем «Псевдобоккаччино»: они наполнены светом, необычайно ярки и выразительны.

К числу несомненных достоинств выставки «леонардистов», пишет в заключение «Унита», следует отнести и ее прекрасную организацию (хронологическую последовательность расположения работ, выпуск подробного каталога с комментариями), благодаря чему миланская экспозиция стала также интересной и познавательной для самого широкого зрителя.

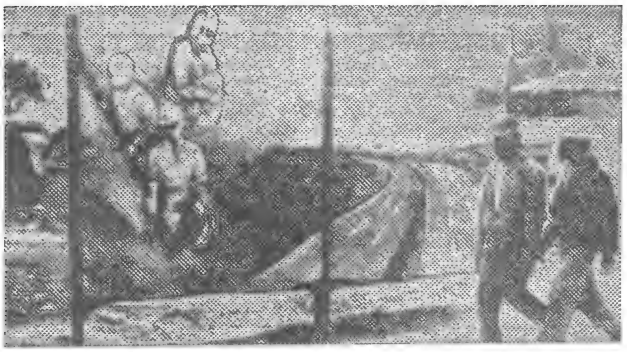
Китай

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ

В Пекине прошла конференция, посвященная проблемам перевода русской и советской поэзии в КНР. Подобная конференция проводилась в Китае в первый раз, организовать ее помогли Китайский комитет по литературному переводу, издательство «Народная литература», редакция журнала «Шицзе вэньсюе» («Мировая литература») и факультет русского языка Пекинского университета.

Как сообщает журнал «Шицзе вэньсюе», в конференции участвовали представители нескольких поколений китайских переводчиков, поэтов и литературоведов. Известные переводчики Гэ Баоцюань и Сунь Шэну рассказали о более чем полувековой истории перевода русской и советской поэзии в Китае. В их выступлениях звучали имена Лу Синя, Мао Дуня, Цюй Цюбо, Го Можо и других выдающихся китайских писателей и поэтов, которые в сложных исторических условиях помогали русской поэзии перешагнуть границу, разделяющую наши страны. Усилия этих людей, отмечали ораторы, не пропали даром — сейчас в Китае работает целый отряд талантливых и компетентных переводчиков и литературоведов, внимательно следящих за литературным процессом в СССР и знакомящих китайских читателей с наиболее интересными произведениями русской и советской поэзии.

Значительное внимание на конференции было уделено вопросам теории литературного перевода. «Стихи — это уникальная, тончайшая форма словесного творчества. — подчеркивали многие выступающие, — на поэте-переводчике лежит огромная ответственность, и особые трудности возникают из-за специфики китайского языка». Китайские переводчики делились друг с другом опытом, рассказывали о выработанных ими подходах к переводу с русского. Переводчик У Ланьхань рассказал о том, как он пытался передать звукопись стихотворения А. Вознесенского «Гойя». Ван Тужань анализировал проблему передачи подтекста на примере перевода «Евгения Онегина». Многие выступающие высказались за необходимость увеличения выпуска литературоведческих работ по русской поэзии. По мнению журнала «Шицзе вэньсюе», значение прошедшей конференции в том, что она, продемонстрировав достижения китайской переводческой школы, наметила также реальные перспективы расширения издания и пропаганды русской и советской поэзии в КНР.



Своеобразная «стенная газета».

(Газета «Гранма»)

Куба

МАСТЕРА ОТКРЫВАЮТ ГОРИЗОНТЫ

«Невзрачная панель вдруг стала картиной, гравюры украсили голые стены столовой, ствол пальмы преобразился, обломки старого железа превратились в диковинный цветок». Все эти чудеса, о которых сообщает газета «Гранма», — творения рук мастеров образованного недавно объединения «Группа Саис».

Создание подобного объединения — один из первых шагов реализации проекта «Искусство декоративной миниатюры», поясняет обозреватель газеты Владиа Рубио. Авторы проекта считают, что декоративное оформление бытовой среды — это дополнительное средство формирования и развития эстетического чувства человека. Работы «Группы Саис» — попытка воплощения задуманного, и, по мнению В. Рубио, она вполне удалась. Как считает рецензент, найдена необычная и плодотворная форма синтеза труда строителей и художников. Кроме того, искусство декоративной миниатюры «открывает горизонты и позволяет взглянуть на мир другими глазами».

Авторы проекта планируют привлечь к работе помимо художников и других специалистов — архитекторов, дизайнеров, социологов, психологов, что также будет способствовать «открытию горизонтов», пишет в заключение газета «Гранма».

Диковинная пальма в лагере мастеров.

(Газета «Гранма»)

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

В гаванском издательстве «Арте и литература» вышел в свет первый номер журнала «Опсьон» («Выбор»), об истории создания, назначении и содержании которого рассказала в своем интервью корреспонденту газеты «Хувентуд ребельде» директор издательства Элисабет Диас.

«Одна из важнейших задач журнала — это выпуск в переводе на испанский язык произведений зарубежных писателей XX века. В 1988 году — в соответствии с планом — выйдут из печати еще сорок две книги. Однако необходимо отметить, что и ныне творчество целого ряда зарубежных авторов неизвестно кубинским читателям. В целях популяризации наиболее значительных, ранее не издававшихся произведений зарубежной литературы мы приняли решение создать журнал «Опсьон». Название его не случайно: он адресован не только профессиональным литераторам, но и широким читательским кругам — он призван побуждать их к чтению иностранной литературы и способствовать формированию их художественного вкуса».

О содержании журнала, по словам Э Диас, можно судить по материалам его первого номера. В разделах «Искусство прозы», «Поэтическое творчество», «Театр», «Размышления и оценки» представлены пятьдесят авторов из двадцати стран; среди них — советский писатель Валентин Распутин, английский поэт

Т. С. Элиот, испанский поэт Висенте Алейсандре, древнекитайские поэты Ли Бо и Ду Фу. В журнале будут публиковаться в сокращенном виде романы, поэмы и пьесы, небольшие по объему повести, рассказы и стихи, отдельные главы и отрывки из книг, статьи видных критиков и литературоведов. Заметное место займут произведения таких популярных жанров, как детектив, научная фантастика и приключенческая литература.

Норвегия

УСПЕХ НОРВЕЖСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ЗА РУБЕЖОМ

Еще никогда произведения норвежских писателей не пользовались таким успехом за рубежом, пишет газета «Фрихетен». Норвежские издательства «Капеллен» и «Гюльдендаль» побили в этом году своеобразный рекорд — они заключили более ста контрактов на издание произведений своих авторов в восемнадцати странах.

Наиболее популярны за пределами Норвегии романы Хербьёрг Вассмо — лауреата литературной премии Северного Совета 1987 года. Ее книги переведены на одиннадцать языков, изданы в США, Испании, Бельгии, Исландии, Италии, Франции, Дании, Швеции.

Романы Ингвара Амбьёрнсона «Белые негры» и «Падение колоссов» пользуются читательским спросом в Западной Германии и Швейцарии. Сборник эссе Юхана Боргена издан в СССР, а сборник новелл — в США. В США успешно распродаются также романы Кнута Фальдбаккена — «Дневник Адама», «Свадебное путешествие», которыми заинтересовались голливудские продюсеры. Во Франции готовится издание его романа «Глан».

Тор Вильямсен.

(Газета «Фрихетен»)

В Югославии в скором времени выйдут книги Тура Оке Брингсверда. Будут изданы его произведения и в Советском Союзе на эстонском языке.

А юные итальянские читатели с интересом читают норвежские детские книги, особенно повесть Тормода Хаугена «Ночные птицы».

Польша

«ТО, ЧТО ЕСТЬ В МУЗЫКЕ ПОМИМО НОТ»

Кшиштоф Пендерецкий (р. 1933) — один из самых известных сегодня композиторов, лауреат множества премий и наград (в том числе премии Международной Академии философии и искусства 1987 года), почетный доктор восьми университетов Европы и Америки. Пендерецкий много концертирует в Польше и за ее пределами, дирижирует собственными сочинениями, в течение пятнадцати лет возглавлял Музыкальную академию в Кракове, в 1987 году стал художественным руководителем краковской филармонии.

Пендерецкий — мастер сонористического синтеза, виртуозно владеющий современной звукотехникой. В конце 50-х — начале 60-х годов его «Эпитафия», «Строфы», «Анакласис», «Полиморфия» и «Плач по жертвам Хиросимы» произвели подлинный переворот в польской музыке. В камерных, симфонических, хоровых и оперных сочинениях 60—80-х годов представлен богатейший спектр экспрессивных средств, разнообразных вокальных и оркестровых приемов. В интервью журналу «Нурт» композитор заметил: «В XX веке нельзя позволить себе постоянно писать одним и тем же языком. Не меняется лишь творчество авторов, лишенных воображения». В то же время он подчеркнул: «Никто никогда не начинал с нуля... Традицию невозможно разрушить. То есть можно пытаться, даже необходимо, когда тебе 20, но потом человек шаг за шагом возвращается к тому, что в искусстве было раньше, только с новым пониманием. Хорошая музыка сегодня — то же, что и хорошая музыка всегда».

По убеждению Пендерецкого, высказанному в интервью журналу «Панорама», «музыка вырастает не из прописей, а из впечатлений и чувств», самое главное — «то, что в ней есть помимо нот». По его мнению, «сегодня композитора все больше заботят вопросы истории и политики, и это закономерно: «Заутреня» Пендерецкого, его «Страсти по Луке», «Польский

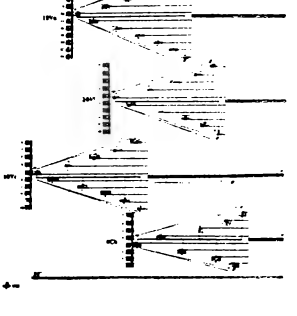
Кшиштоф Пендерецкий.

(Журнал «Нурт»)

реквием», оперы «Дьяволы из Лудена», «Потерянный рай» страстно эмоциональны, глубоко философичны, проникнуты трагизмом нашей эпохи. В одном из последних произведений — опере «Черная маска», написанной по мотивам драмы Г. Гауптмана,— композитор вновь поднимает проблемы духовного гнета, унижения человеческого достоинства, смертельной угрозы человеческой психике, таящейся в мнимом мире согласия. По отзывам критики, оперу отличает богатый, гибкий, образный язык, широкий диапазон вокальных приемов, образующий сложное полифоническое сплетение голосов, что идеально соответствует сценическим задачам.

В апреле 1988 года, в рамках «Дней польской музыки», познанский Большой театр имени С. Монюшко показал оперу «Черная маска» в СССР. В июне Ленинградский симфонический оркестр принял участие в международном фестивале сочинений Кшиштофа Пендерецкого в Кракове.

Страница партитуры «Плача по жертвам Хиросимы» К. Пендерецкого.



ВОЙНА ИМПЕРИЙ ДЕТСКИМИ ГЛАЗАМИ

«Империя солнца» — так называется новый фильм кинорежиссера Стивена Спилберга, снятый по одноименному роману Дж. Г. Болларда. Как отмечает обозревательница журнала «Лиснер» Маргарет Уолтерз, для большинства фильмов С. Спилберга характерны живость и высокое техническое мастерство; он успешно работает в самых разных жанрах (фантастика, приключения), ему же принадлежит знаменитый фильм ужасов «Челюсти».

И вот — еще одна экранизация литературного произведения. В «Империи солнца» рассказывается история Джима, английского мальчика-подростка, потерявшего родителей при вторжении японцев в Шанхай во время второй мировой войны. Потрясенный мальчик, оставшийся в полном одиночестве, попадает в концлагерь, где отчаянно, изо всех сил стремится выжить. Еще недавно он играл в войну, а теперь уже совсем не игрушечные самолеты и танки вошли в его жизнь...

Рецензент обращает внимание на необычайно убедительное и правдивое изображение событий. Однако оценка фильма в США была неоднозначной, он не получил крупных кинематографических призов (например, премию Оскара). В чем же дело? Возможно, предполагает Маргарет Уолтерз, на это повлияло непривычное мистико-романтическое восприятие Джимом японских оккупантов, а также некоторые «антиамериканские» моменты. Мальчик с восхищением наблюдает за отправляющимися в последний полет камикадзе, дружит в лагере с японским подростком. Американские же самолеты помимо продовольствия сбрасывают на лагерь и бомбы, несущие гибель не только захватчикам, но и пленным.

Кадр из фильма С. Спилберга «Империя солнца».

(Журнал «Лиснер»)

Кадр из фильма «Иствикские ведьмы».

(Журнал «Амика»)

МЕЧТА И РЕАЛЬНОСТЬ

Героини романа Джона Апдайка «Иствикские ведьмы», с одной стороны,— обычные представительницы средних классов, одинокие, скучающие молодые женщины, с другой стороны — настоящие ведьмы, ведущие свое происхождение от сейлемских колдуний XVII века; они умеют летать, знают секрет любовного зелья и многое другое. Александра, Джейн и Сьюки собираются каждый четверг и после третьего стакана вина принимаются рассуждать об идеальном мужчине. Каким он должен быть? Богатым, привлекательным, эксцентричным, страстным, загадочным... Они так мечтают о нем, что в один прекрасный день — и это вовсе неудивительно — в Иствике, в их сонном городке, появляется некий Дэрил Ван Хорн, наделенный как раз теми достоинствами, о которых они грезили. А может своим появлением Дэрил Ван Хорн обязан сверхъестественной способности обитательниц Иствика превращать мечту в реальность? Из-за Ван Хорна разгорается соперничество, бушуют страсти...

Известная канадская романистка Маргарет Этвуд, откликнувшаяся в журнале «Бук ревью» на книгу Апдайка сразу, как только она появилась (1984 год), подчеркивала ее многозначность. Этот роман, по ее мнению,— беспощадное аналитическое изображение нравов американской жизни начала 70-х годов, но можно его прочесть и как сатиру на неофеминизм. М. Этвуд отмечала также «по-апдайковски ироничное и виртуозное повествование», проникнутое атмосферой меланхоличности, щемящей печали.

Недавно американский ре-

жиссер Джордж Миллер снял фильм по этому роману. Ведьминское трио исполняют актрисы Чер, Мишель Пфайфер, Сьюзен Сарадон, в роли идеального мужчины, коллекционера произведений поп-арта — Джек Николсон (советскому зрителю он известен по кинокартине «Полет над гнездом кукушки»).

Обозреватель журнала «Фильм» характеризует жанр новой киноленты Джорджа Миллера как своего рода гибрид: «Это и натурализм, который использует возможности метафоры, и абсурдистская комедия, высмеивающая нравы маленького городка, и бурлескная демонология». В картине, считает критик, есть черты, присущие «мыльной опере», мелодраме и фильму ужасов, она вобрала в себя романтические фантазии и неоматериализм, американскую мечту о роскошной жизни и идеи крайнего феминизма. «Иствикские ведьмы», по мнению критика,— мозаичное панно, отразившее множество проблем сегодняшней жизни.

Финляндия

ПЯТЬ СТОЛЕТИЙ ФИНСКОЙ КНИГИ

В 1988 году исполняется 500 лет с момента появления в Финляндии, первой печатной книги, сообщает журнал «Букс фром Финланд». Это был «Миссал из Або», отпечатанный в Любеке в 1488 году, — сборник латинских религиозных текстов, предназначенный для церковной службы в Финляндии.

Хотя памятники средневековой финской литературы почти полностью исчезли в огне Реформации (в начале XVI века), по немногим сохранившимся фрагментам видно, что она была богата и разнообразна. Первые печатные книги на финском языке появились в середине XVI века: азбука и Новый завет в переводе Микаэля Агриколы, который считается создателем финской литературы, литературного языка.

Сейчас книга занимает важное место в культурном и социальном развитии страны, отмечается в статье. Финляндия — одна из самых «читающих» стран мира, одна из ведущих по количеству выпускаемых книг.

Год финской книги будет широко отмечаться как в Финляндии, так и за рубежом. В подготовке выставок, конференций, лекций и литературных фестивалей примут участие издательства, библиотеки, школы и литературные общества. Создан специальный комитет Года книги, его задача — подчеркнуть значимость книги, ее незаменимость даже в век электроники. В этом же году будет отмечаться 100-летие со дня рождения финского писателя, лауреата Нобелевской премии Ф. Э. Силланпяя (1888—1964).

Франция

ФРАНЦУЗЫ ОТКРЫВАЮТ МАРИНУ ЦВЕТАЕВУ

Впервые Цветаева побывала во Франции шестнадцати лет, в 1908 году В ту пору кумиром Марины был Наполеон, и приехала она смотреть Сару Бернар в «Орленке» Ростана, рассказывает обозреватель журнала «Кензен литтерер». Семнадцать лет спустя она снова очутилась в Париже. За эти годы ей пришлось пережить голод, нищету, смерть дочери Ирины, долгую разлуку с мужем — «пережить» для Цветаевой всегда означало «испить чашу до дна». Четырнадцать лет, до отъезда в СССР в 1939 году, прожила М. Цветаева во Франции, но только теперь, в восьмидесятые годы, состоялась третья и настоящая встреча Цветаевой с Францией, и Франция открыла для себя прекрасного русского поэта. Характерно свидетельство журналиста Пьера Паше о его знакомстве с творчеством Цветаевой: «Сначала мне попалось опубликованное в журнале «Эфемер» за 1971 год в переводе В. Лосски письмо-послание «Новогоднее». Это стихотворение, обращенное к Рильке — Цветаева только что узнала о его смерти,— дышит необыкновенной силой: оно опрокидывает барьер смерти и силой страсти словно возвращает к жизни уже ушедшего. Потом я спросил у Филиппа Жаккоте, который интересуется русской поэзией, знает ли он автора этого страстного послания к Рильке, и он ответил, что читал стихи Цветаевой в антологии Эльзы Триоле, вышедшей в издательстве «Галлимар», но плохо запомнил. Затем, в 1981 году, то же издательство опубликовало замечательную переписку Рильке, Цветаевой и Пастернака (летом 1926 года), немецкую часть которой перевел Жаккоте, русскую, прозаическую,— Лили Дени, а стихи Цветаевой — Ева Мальре. Стала вырисовываться биография поэта, стали проясняться стихи...»

Ева Мальре сыграла значительную роль в приобщении французских читателей к поэзии Цветаевой. В ее переводе зазвучали по-французски «Поэма горы», «Поэма конца», ею был издан сборник «Попытка ревности и другие стихотворения». В 1984 году в журнале «Пассе/презан» появились переведенные ею воспоминания Лидии Чуковской о последних годах жизни Цветаевой. В том же году молодая и талантливая Ева Мальре скончалась; работу ее продолжили Пьер Леон, Сильви Текутов.

Сегодня крупнейшим знатоком Цветаевой во Франции является Вероника Лосски. Ей принадлежат переводы прозаических произведений: «Черт», «Сказка матери», «Искусство при свете совести». А совсем недавно в издательстве «Солен» вышла книга В. Лосс-

Вера Эфрон, Сергей Эфрон с Мариной Цветаевой, Майя Кудашева. Редкая фотография.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

М. И. Цветаева. Фотография 1940 г.

(Журнал «Кензен литтерер»)

ки «Марина Цветаева: путь поэта», первое на французском языке подробное описание жизни и творчества Цветаевой. Рецензию П. Паше на эту книгу опубликовал журнал «Кензен литтерер» вместе с тремя другими статьями о Цветаевой. Автор одной из них, Элен Анри, размышляет об образе Пушкина в прозаических шедеврах Цветаевой «Мой Пушкин» и «Пушкин и Пугачев». По его мнению, переводчику этих, казалось бы, непереводимых текстов Андре Марковичу удалось добиться стилистической и эмоциональной адекватности подлиннику.

В 1933 году М. Цветаева перевела (или, вернее, создала заново по-французски, превратив обычную переписку в художественное произведение) письма, написанные ею десятью годами раньше А. Г. Вишняку, и один его ответ. «Девять писем с десятым неотправленным и одиннадцатым ответным» («Флорентийские ночи»), вышедшие в издательстве «Клеманс Ивер», критик Клод Мушар рассматривает как особый жанр в творчестве Цветаевой. Он с восторгом пишет: «Французский Цветаевой смел, точен и до чего же свободен! Как чутко уловила она звуковые и смысловые его волны!» («Флорентийские ночи» в русском переводе напечатаны в «Новом мире», 1985, № 8).

После прозы о Пушкине и писем к Вишняку издательство «Клеманс Ивер» опубликовало в 1987 году небольшую книгу «Земные приметы» в переводе В. Лосски. Это не общеизвестный цикл стихов, а московские записки 1917—1919 годов, которые Цветаевой при жизни так и не удалось издать. Из приведенной в «Кензен литтерер» библиографии цветаевских публикаций явствует, что освоение наследства поэта идет весьма интенсивно и некоторые страницы творчества Цветаевой французскому читателю стали известны раньше, чем были напечатаны на ее родине.

«ГРУСТЬ БУМАЖНОГО ЗМЕЯ»

Так называется новый роман французской писательницы Франсуазы Малле-Жорис. Обозреватель журнала «Магазин литтерер» Надин Сотель считает, что в этой книге автор умело «анатомирует жизнь», отделяя с помощью пера-скальпеля одно событие в жизни персонажей от другого,

Подобно бумажному змею, летит повествование от эпизода к эпизоду, из времен первой мировой войны, через тридцатые годы и вторую мировую войну к нашим дням, к современности. Главные герои — Крис и его младшая сестра Клара — потомки семьи нотариусов из Фландрии, родившиеся в начале XX века. Они живут в старинной башне замка, здесь подростками переживают потрясения первой мировой войны, и здесь они взрослеют.

Крис, которого писательница сравнивает с «деревом, ожидающим, когда на его ветви сядут птицы», мечтает стать художником и пробует рисовать. Одну из своих фресок-аллегорий, нарисованных на стенах башни, он называет «Грусть бумажного змея»: маленькие человечки давят друг друга, стремясь ухватиться за нить невиданного воздушного змея. «Не мы ли это с вами?» — обращается к читателям рецензент Надин Сотель.

Перед второй мировой войной 35-летний Крис покидает башню — он стал художником, а Клара выходит замуж за сына местных фермеров Жюста Маттиссена, вступившего во время оккупации в ряды французского Сопротивления. В 1943 году Крис трагически погибает. Возможно, он покончил с собой, чтобы не попасть в руки гестаповцев, но кто его выдал — остается загадкой, и совсем не исключено, что это был Жюст Маттиссен...

В романе неожиданно сближаются и сталкиваются самые разные времена, события и чувства, и это, по мнению рецензента, характерно для писателей манеры Ф. Малле-Жорис, несколько напоминающей стиль классика французской литературы Ж.-П. Сартра.

«В крови и слезах эта семейная сага продвигается к душевному спокойствию душевнобольных, а за счастье нередко приходится расплачиваться печалями близких людей», — пишет Н. Сотель. Она полагает, что «бумажный змей, возможно, улетел в прошлое» — в те времена, когда 15-летний Крис рисовал на перегородке костер, чтобы сестренка не так мерзла...

«Грусть бумажного змея», по определению журнала «Магазин литтерер», — одна из тех. увы, редких книг, чье «содержание, благодаря хитросплетению сюжетных линий, поднимается до уровня мифа».

ФРГ

«КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ» КЁППЕНА

Западногерманская газета «Унзере цайт» представляет читателям новый фильм «Теплица», снятый кинорежиссером Петером Гёделем по одноименному роману известного писателя. В. Кёппен, опубликовавший в 1953 году это произведение, где воссоздана «гнетущая атмосфера ремилитаризации и реваншизма» в стране и показано возрождение духа узколобого обывательского делячества в правительственной резиденции на берегах Рейна, не мог

предвидеть, сколь актуальной станет эта тема более трех десятков лет спустя, после скандальных разоблачений коррупции и злоупотреблений властью в старинном городе Киле.

Сам Кёппен, которому уже минуло восемьдесят, не скрывает своего мнения о недавних кильских событиях: «Мне как писателю никто не поверил бы, расскажи я историю, подобную кильской. Это было бы воспринято как неудачная сайенс-фикшн», — цитирует его слова «Унзере цайт».

Действие «Теплицы» разыгрывается и в бундестаге, и за его «кулисами». Главный герой — Кетенхёве, антифашист, после многолетней эмиграции возвратившийся на родину, полный надежд «на лучшее будущее Германии», — стремится воплотить в жизнь свои мечты, став депутатом от социал-демократической партии в боннском Федеральном парламенте второго созыва. Вскоре, однако, он начинает распознавать скрытые механизмы реальной власти: политические решения принимаются отнюдь не в парламентских залах, а в совещательных комнатах немецких и иностранных монополий. Подлинные властители страны угрозами или подкупом пытаются склонить на свою сторону депутатов бундестага, нисколько не колеблясь в выборе «средств переубеждения» политических противников. Лишенный какой-либо поддержки Кетенхёве оказывается в полной изоляции. Не выдержав краха своих иллюзий, идеалист Кетенхёве (эту трагическую роль блестяще исполнил Кристиан Дёрмер) в отчаянии бросается с Рейнского моста в волны реки, с незапамятных времен ставшей символом Германии.

Кёппен, отмечает рецензент «Унзере цайт», почти не обращается к реальным лицам и событиям. Фильм Петера Гёделя, работу над которым режиссер завершил относительно недавно, гораздо более конкретен в разработке исторического материала, соотнесенность с политическими реалиями в нем острее, а это усиливает злободневность ленты. По своей форме, по стилю повествования картина отличается от «обычной экранизации» литературного произведения. Пассажи романа, произнесенные «за кадром» от лица рассказчика, приобретают совершенно неожиданный смысл в сопоставлении с изобразительным рядом картины, будь то игровые сцены либо вставки архивных документальных кадров. Свой фильм П. Гёдель скорее склонен назвать экспериментальным «кинематографическим прочтением романа». Использованная в фильме музыка вагнеровского «Золота Рейна» подчеркивает остроту политического комментария, становясь средством сатиры. «Унзере цайт» особо выделяет тот эпизод фильма, в котором под звуки возвышенного хорала на экране высвечивается звездочка фирменного знака концерна «Мерседес», обретшая силу «герба» действительных правителей государства.

«СЕНСАЦИЯ ИЗ МОСКВЫ»

Свыше 500 театральных деятелей из 12 стран собрал фестиваль «Театр в мире», проходивший в июне прошлого года в Штутгарте. Вниманию зрителей было предложено 70 спектаклей, отражающих, по мнению организаторов, наиболее интересные направления в поиске новых сценических форм.

По единому утверждению критики, сенсацией фестиваля стало выступление московской «Школы драматического искусства», которой руководит режиссер Анатолий Васильев. Более двух десятков восторженных рецензий и отзывов, посвященных работе этого театра, поместили на своих страницах газеты и журна-

Анатолий Васильев.

(Журнал «Театер хойте»)

лы ФРГ, среди них — такие крупные издания, как «Франкфуртер альгемайне», «Цайт» и другие. Вот что пишут их корреспонденты: «Театр Васильева произвел настоящий фурор... «Серсо» Славкина — это «чеховская пьеса конца XX века». Бесконечная потерянность героев его пьесы заставляет нас вспомнить о неосуществленных стремлениях и глубокой грусти героев «Вишневого сада»... Значение спектакля выходит за рамки театра» («Штутгартер нахрихтен»). «Правда жизни без прикрас... Серьезное театральное достижение...» («Зюддойче цайтунг»). «Оригинальное звучание, внутренняя динамичность, «хореографичность» постановки, почти мистическое торжество актерской игры — вот что увидели зрители в один из самых знаменательных и незабываемых вечеров фестиваля» («Швебише Донау-цайтунг»).

Вскоре после окончания Штутгартского фестиваля пьеса В. Славкина «Серсо» была опубликована в переводе на немецкий язык в журнале «Театер хойте».

Несколько месяцев спустя журнал продолжил знакомство своих читателей с театром Анатолия Васильева. Корреспондент Мари-Луиза Ботт рассказала об инсценировке пьесы Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора».

Подробно описывая весь ход спектакля, М.-Л. Ботт попыталась проанализировать «совершенно особую, изысканно-утонченную» творческую манеру А. Васильева. «Советский театр,— отмечает рецензент,— впервые за послевоенный период обращается к наследию Пиранделло, что уже само по себе является событием в культурной жизни страны. В этой постановке режиссер остро и нетрадиционно решает вопрос о взаимном влиянии реальной жизни и жизни, созданной на театральных подмостках. Арсенал его выразительных средств очень богат и содержит также некоторые приемы, заимствованные из кинематографа».

Кадр из фильма П. Гёделя «Теплица».

(Газета «Унзере цайт»)

Завершая статью, М.-Л. Ботт пишет: «Школа драматического искусства» в очередной раз оправдала свое название. У нас на глазах актеры как бы проходят весь путь овладения сценическим ремеслом — от азов до вершин совершенства».

Чехословакия

«ПОЧЕМУ?»

Фильм сценариста Радека Йона и режиссера Карела Смычека «Почему?» чешская критика часто сравнивает с лентой «Легко ли быть молодым?» советского режиссера Ю. Подниекса, видя сходство этих произведений в проблематике и остроте поставленных вопросов. Художественный фильм «Почему?» — четвертая совместная работа Р. Йона и К. Смычека — воспроизводит на экране действительный случай: толпа юных болельщиков футбольной команды «Спарта» разгромила в 1985 году, по дороге на матч, три железнодорожных вагона. Группа подростков предстала за вандализм перед судом.

Авторы фильма, изменив имена персонажей, исследуют причины агрессивности и варварства в поведении подростков. Юноши и девушки, не узнавшие доброты и любви в фактически давно распавшихся семьях своих родителей, не получившие нравственного воспитания в школах, где упор делается во многом на технические знания и где у педагога нет времени заниматься индивидуальным воспитанием, не приемлют моральных ценностей общества — они утратили доверие к методам и формам прокламации этих ценностей. Не имея стимула учиться дальше (рабочий получает больше, чем человек с образованием), но мечтая о самореализации, эти ребята ищут убежища от стрессов окружающей жизни в группах себе подобных — в объединениях людей с минимальными духовными запросами. Сталкиваясь с ложью и аморальностью в мире взрослых, подростки начинают крушить все подряд...

«Какой другой чешский фильм последнего десятилетия поднимает одновременно столько острых вопросов?» — спрашивает в газете «Творба» М. Шмидмайер, отмечая исключительную откровенность ленты. «Этот фильм-дискуссия заставляет обсуждать очень важные проблемы», — подчеркивает на страницах «Творбы» и Зд. Выбирал.

Критика высоко оценивает и художественные достоинства картины, придающие ей убедительность документа. «На сегодняшний день это самый острый и честный чехословацкий кинофильм о молодежи (хотя он и исследует лишь «неблагополучную» ее часть), а также лучшая работа К. Смычека и Р. Йона»,— утверждает М. Шмидмайер.

Кадр из фильма К. Смычека «Почему?».

(Еженедельник «Творба»)

Сам К. Смычек назвал свою ленту «фильмом о насилии как проявлении примитивизма». Режиссера тревожит отход от принципов гуманности. «Мы остановились на полпути, не вскрыв всех причин вандализма молодежи? Но наш фильм не социологическое исследование. Мы предоставляем зрителям определенную информацию — их дело оценивать ее»,— сказал режиссер в интервью газете «Творба».

Япония

ПО ПУТИ ГЕССЕ И СЭЛИНДЖЕРА

Новая книга популярного молодого писателя Харуки Мураками «Норвежский лес» сразу же стала бестселлером, была высоко оценена критиками. По мнению литературного обозревателя «Джапан таймс уикли» Кадзуо Нукадзава, в романе очень точно переданы настроения двадцатилетних японцев, вошедших во «взрослую» жизнь на исходе эпохи бурных темпов экономического роста 50—60-х годов. Идеалы возрождения национальной мощи страны, питавшие послевоенное поколение, к этому времени поблекли — цель была достигнута, «общество массового потребления» в основном построено. Молодежь второй половины 60-х начала поиски новых нравственных ориентиров.

Ввести читателя в атмосферу тех лет призвано само название книги, повторившее название одной из популярнейших песен ансамбля «Битлз». Ее настрой (утрата цели в жизни, разбитые надежды) определяет содержание романа Мураками. Главный герой отказывается принять господствующий в обществе прагматизм, ему претит «жажда преуспеяния любой ценой». Но он не пытается преобразовать действительность, а стремится уйти от нее, всецело погружаясь в мир личных переживаний. И дело вовсе не в его слабости — в заключительной главе автор дает понять, что общество просто не способно предоставить молодому человеку достойное поле приложения его душевных сил.

В стремлении раскрыть образ чуткого, ранимого героя, отвергающего общепринятые ценности своего окружения, пишет К. Нукадзава, автор близок Герману Гессе и Дж. Сэлинджеру. Критик полагает также, что в романе «налицо характерный для сегодняшней японской прозы мотив бессилия индивида перед лицом внешних обстоятельств: герой не чувствует себя хозяином собственной судьбы. Единственное, на что он способен — это попытаться создать свой нравственно состоятельный внутренний мирок в большом мире, где вопросы жизни и смерти человечества суждено решать двум сверхдержавам».

Харуки Мураками.

(Еженедельник «Джапан таймс уикли»)

Авторы этого номера

КАРОЙ САКОНИ (SZAKONYI KÁROLY; род. в 1931 г.) — венгерский прозаик и драматург, лауреат премии имени Аттилы Йожефа. Начал печататься в 1958 г. Автор сборников рассказов «Среди облаков» («Középütt vannak a felhök», 1961), «За городом» («Túl a városon», 1964), «Мужчины» («Ferfiak», 1967), сборников новелл, очерков, эссе «Одинокий велосипедист» («Maganyos biciklista», 1984), «Гость во дворце» («Vendég a palotában», 1985), сборника пьес «Играют двое» («Ketten játsszák», 1984) и др. В русском переводе вышел сборник рассказов К. Сакони «Человек, отзовись!», а также несколько пьес. В «Иностранной литературе» печатались рассказы (1963, № 7, 1982, № 9).

Повесть «Французская ферма» («Francia tanya») была опубликована в Венгрии в 1968 году; предлагаемый перевод повести сделан по тексту книги повестей и рассказов Сакони «Emberi üdvözlet». Budapest, Magvetö és Szépirodalmi könyvkiadó,1980.

МАЛЫХИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА — советский переводчик, литературовед. Автор многих статей к изданиям венгерских писателей на русском языке. В ее переводе с венгерского изданы романы Д. Ийеша «Шандор Петёфи», Л. Немета «Траур», Т. Дери «Ответ», Д. Костолани «Корнел Эшти», Д. Круди «Семь сов», Л. Мештерхази «Загадка Прометея» («ИЛ», 1976, № 4, 5), повести М. Радноти «Под знаком Близнецов» («ИЛ», 1975, № 7), Т. Дери «Милый бо-пэр!..» («ИЛ», 1979, № 7), «Ники», Т. Череша «Сын и враг человеческий», Д. Фекете «Смерть врача», Ф. Шанты «20 часов» и др.

АЛЬФРЕДО ВИВАР (ALFREDO VIVAR; род в 1932 г.) — эквадорский поэт, художник, критик, переводчик европейской и японской поэзии. Автор семи поэтических сборников «Песня, у которой нет конца» («Son sin fin», 1986, 1987), книг стихов «Вариации» («Variaciones», Cuenca, Universidad de Cuenca, 1978), откуда взяты публикуемые стихи.

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род. в 1945 г.) — советский поэт и переводчик, филолог-испанист, кандидат филологических наук. Автор книги стихов «Четыре лета в году» (1980). Переводчик поэзии Луиса де Гонгоры, Мигеля де Унамуно, Пабло Неруды, Николаса Гильена, Леона де Грейффа и других испанских и латиноамериканских поэтов. Ему принадлежит ряд работ в области романской филологии и теории перевода, в том числе двуязычное издание «Испанская поэзия в русских переводах 1789—1980 гг.» (М., 1984), «Испанская рифма» (М., 1987), «Стилистический анализ испанского стихотворного текста (основы теории испанской поэтической речи)» (М., 1988).

ТАДЕУШ БОРОВСКИЙ (TADEUSZ BOROWSKI; 1922—1951) — польский писатель, поэт, прозаик, публицист. По-русски отдельные стихотворения Т. Боровского печатались в сборнике «Современная польская поэзия» (М., 1971), некоторые рассказы — в сборниках рассказов польских писателей и в «Иностранной литературе» (1955, № 2). Публикуемые стихи взяты из изданий: Т. Боровский «Стихи» (T. Borowski „Wiersze". Warszawa, Czytelnik, 1968) и «Стихотворения» („Poezje". Warszawa, PIW, 1972). Рассказ «У нас в Аушвице...» („U nas w Auschwitzu. . .") — из книги Т. Боровского «Избранные рассказы» (T. Borowski „Wybór opowiadań", Warszawa, PIW, 1964).

БРИТАНИШСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ (род. в 1933 г.) — советский писатель, переводчик, полонист. Автор книг стихов, прозы, статей и очерков о польской литературе. Лауреат польской премии ЗАиКС «за выдающиеся достижения в области перевода польской литературы» (1979). В «Иностранной литературе» печатались его статья о творчестве Я. Ивашкевича, переводы из поэзии Я. Ивашкевича, С. Е. Леца, Т. Ружевича, З. Херберта и др. польских поэтов, а также из американских поэтов (У. К. Уильямс, Э. Э. Каммингс, Л. Хьюз, Дж. Берримен и др.).

ЛЕВИЦКИЙ ЗИГМУНТ (СИГИЗМУНД ИОСИФОВИЧ, род. в 1944 г.) — советский поэт, переводчик. В его переводах публиковались стихи польских поэтов К. К. Бачиньского, Е. Харасымовича, В. Слободника, Ю. Озги-Михальского («ИЛ», 1979, № 3).

ЛЫСЕНКО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА — советский переводчик. В ее переводе с польского выходили книги Я. Ивашкевича «Красные щиты», «Шопен», Я. Парандовского «Небо в огне», с испанского — Велеса де Гевара «Хромой бес», Х. Л. Борхеса «Избранное», Х. Кортасара «62. Модель для сборки», с французского — Густава Флобера «О литературе» и др.

БАСМАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (род. в 1918 г.) — советский поэт-переводчик. В его переводах с китайского вышли книги: Синь Цицзи «Стихи» (1962 и 1985), Ли Цинчжао «Строфы из граненой яшмы» (1970 и 1974), «Цветет мэйхуа. Классическая поэзия Китая в жанре цы» (1979). Переводы М. Басманова и его статьи о китайской поэзии неоднократно печатались в антологиях китайской поэзии, на страницах «Иностранной литературы» и других журналов.

РОБЕР МЕРЛЬ (ROBERT MERLE; род. в 1908 г.) — французский писатель, лауреат Гонкуровской премии. Автор романов «Уикэнд на южном берегу» („Week-end à Zuydcoote» 1949), «Разумное животное» („Un animal doué de raison", 1967), «За стеклом» („Derrière la vitre" 1970), «Мальвиль» („Malevil", 1972), «Мадрапур» („Madrapour", 1976), цикла исторических романов, посвященных эпохе религиозных войн во Франции XVI века, пьес, документальных и др. произведений.

В русском переводе изданы романы «Смерть—мое ремесло» (М., 1963), «Остров» (М., 1963), «Мальвиль» (М., 1977), пьеса «Сизиф и смерть» («ИЛ», 1955, № 4). Роман-репортаж «Солнце встает не для нас» вышел в Париже в 1986 г. („Le jour ne se lève pas pour nous", Paris, Plon, 1986).

СТЕФАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1939 г.) — советский поэт-переводчик. В числе его работ — переводы старофранцузских романов и фарсов, эстетических трактатов Т. Себилле и Ж. Б. Дюбо, романов М. Бети «Помни Рубена» (М., 1978), С. Бадиана «Кровоточащие маски» (М., 1979), Чикайя У'Тамси «Тараканы» (М., 1987) повестей Вольтера «Белый бык», М. К. Бле «Дневник Полины Аршанж», пьес, стихотворений Ф. Вийона, А. Шенье, Э. Верхарна, А. Рембо, А. Боске, Ф. Г. Лорки, Д. Ийеша, Л. Новомеского, Я. Сейферта, Н. Христозова, М. Бсису и др.

АСОЯН БОРИС РУБЕНОВИЧ (род. в 1945 г.) — советский журналист, кандидат исторических наук. Автор семи книг о политике и культуре Африки, в том числе «Дикие гуси» убивают на рассвете» (1984), «ЮАР: каким будет завтрашний день» (1985), «Все еще удивительная Африка» (1987), «Загадка проекта «U-209» (1988) и многих статей по африканским проблемам в советской и зарубежной прессе.

ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЙ ШАЛВОВИЧ (род. в 1956 г.) — советский переводчик с японского. В его переводе публиковались рассказы Кобо Абэ, Синъити Хоси, Кэндзи Маруямы, Ясуси Иноуэ, главы из книги Такэси Кайко «Все дальше и дальше!» («ИЛ», 1986, № 3) и др.

◆

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Роман ГЕНРИХА БЁЛЛЯ «Под конвоем заботы» затрагивает злободневные проблемы современного западногерманского общества, его самые чувствительные болевые точки, в частности феномен терроризма.

«Фреска для театра» — так определил АРТУР МИЛЛЕР свою пьесу «Часы Америки», где развернута панорама частных и общественных коллизий страны в пору молодости драматурга, которая пришлась на годы Великой депрессии.

«Суждения» французского писателя и мыслителя АЛЕНА — афористичные, нередко парадоксальные размышления о нравственной природе человека, о его разуме и страстях, об искусстве жить достойно.

К столетию со дня рождения всемирно известного португальского поэта ФЕРНАНДО ПЕССОА публикуются стихи, написанные в последние годы жизни поэта и увидевшие свет лишь через сорок лет после его смерти.

Статья «Принцип Питера, теорема Антонова и другие открытия века». Автор Л. В. СТЕПАНОВ — переводчик знаменитой книги канадского педагога и сатирика Лоренса Питера — в жанре, приближенном к манере оригинала, обсуждает проблемы, волнующие многих советских публицистов.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Ч. Т. АЙТМАТОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ, Н. А. АНАСТАСЬЕВ (первый зам. главного редактора), **О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017 Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, тел. 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27.07.88. Подписано в печать 10.10.88. Формат 70×108$^{1}/_{16}$. Печать высокая. Объем 16 п. л., 22,4 усл. п. л., 30,05 уч.-изд л.

Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.). Зак. 2470.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394